84(2Рос-Рус)6
А67

Маргарита АНИСИМКОВА



Плач гагары

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач. _____

9/03 - 18174
21/03 - 19595
2010
16.12 - 51680
2015
05.11 - 74211
2016
18.02 - 2146
14.04 - 74415

84(2Рос-Рус)6
А 67

Маргарита Анисимкова



12+

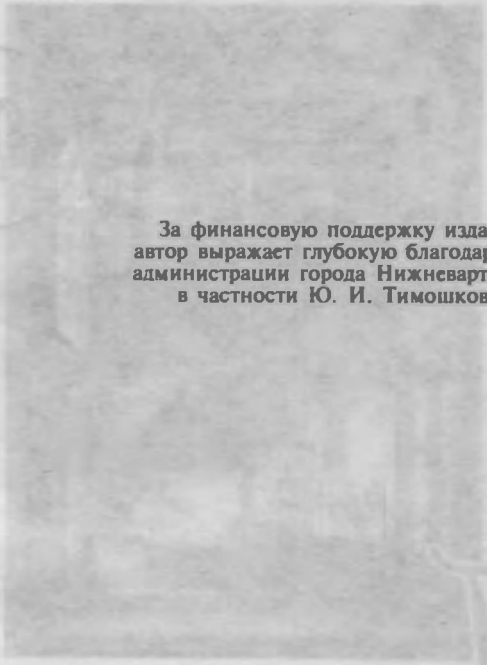
Плач гагары

Исторический
роман

ЕКАТЕРИНБУРГ
Средне-Уральское книжное
издательство
1997

Нижневартовское
МУ "БИБ
инв.№ 75203/А-

ББК 84Р7
А 67



За финансовую поддержку издания
автор выражает глубокую благодарность
администрации города Нижневартовска,
в частности Ю. И. Тимошкову.

А 4702010200-011
М158(03)-97 Без объявл.-97

ISBN 5—7529—0676—8

© М. Анисимкова, 1997
© А. Коротич, ил., 1997

Посвящается
25-летию
Нижневартовска

Глава первая



День выдался слякотный. Серые, похожие на густой туман облака с невиданной силой давили на землю.

В такую погоду главному гофмейстеру при царском дворе Алексею Григорьевичу Долгорукову всегда нездоровилось. Он не мог точно объяснить свое состояние. Тело болело, ныло, дрожало, казалось, не было живого места. «Все не мило!» — вздыхая, подумал он, но тут же встряхнул головой, поправил большой черный парик с завитыми буклями до самых плеч, повернулся спиной к слуге, ловко надевавшему на него новый кафтан.

— Домой поеду, прилягу.

Селиван распахнул дверцу кареты, спустил до земли ступеньки, помог Алексею Григорьевичу поудобнее сесть на мягкое сиденье.

Застоявшиеся рысаки по одному взмаху вожжей понеслись рысцой.

Дворник распахнул тяжелые тесовые ворота.

Прасковья Юрьевна, ожидая, стояла у окна.

По тихой походке, опущенной голове определила, что у князя плохое настроение, и решила не выходить из опочивальни, пока сам Алексей Григорьевич не позовет ее.

Алексей Григорьевич, переступив порог своей спальни, троекратно перекрестился, опустился в кресло и обхватил голову руками.

Спальник Пахом молча топтался возле, готовый в любой миг раздеть хозяина и уложить под теплое пуховое одеяло, как тот любил. Тихо, на цыпочках подошел к одному окну, потом к другому, задернул портьеры и замер — услышал за спиной храп.

— Ваша светлость,— тихонько позвал Пахом, не зная, тревожить князя или так и оставить в покое. Алексей Григорьевич испуганно вскочил с кресла, каким-то безразличным взглядом обвел спальню и, как показалось Пахому, не почувствовал, как тот раздел его и полусонного уложил в постель.

«Кабы порчи какой не напустили на светлейшего,— Пахом перекрестил хозяина, глядя на его осунувшееся лицо.— И какие у господ могут быть кручины, когда всего вдосталь? Живи — не хочу! Поди, изнутри какая хвороба точит. Слов нет, точит. Нос завострился, как у коршуна, щеки ввалились, да и волосья все с головы выпали — хошь блины на лысине пеки».— Тут Пахом прикрыл рот ладонью, боясь сказать неладное. Удостоверившись, что князь уснул, вышел из спальни.

Камердинер Ксенофонт, в безделье расхаживавший по коридору, увидев Пахома, обрадовался: слава Богу, есть с кем обмолвиться словом. Экая тут скука, экое безделье: ждать приказаний, а коли хозяин занемог, то и вовсе скука сердце съест. И на что им камердинеры? И так полон дом всякой прислуги.

— Отдыхает его светлость? — спросил спальника полушепотом.— Кажись, заболел. Шел как кипятком ошпаренный.

— Тише ты! — цыкнул на него Пахом.— Язык-то больно не распускай. Все оне до поры до времени мягко стелют, да жестко спать. Из-за одного слова могут на дыбу отправить.

— Княжна-то Катерина куда-то собирается. И видать, тайком от отца,— отозвав Пахома к окну, сказал камердинер.— Сама бегала, экипаж заказывала. Видел в окно.

— Видел, да не видел,— буркнул Пахом.

— Видать, что-то надумала. С младшей княжной Еленой шепчется, сговаривает ее.

— Не лезь не в свое дело. Помалкивай.

— Рад бы не видеть, да все на глазах. Окна-то во двор выходят, а я от скуки туда смотрю да смотрю. Уж больно пригожи княжны! Ох, как пригожи!

— Ладно, будь возле дверей — слушай, вдруг да колокольчик зазвенит, я хоть до ветру схожу!

Ксенофонт опять остался один, несколько раз кряду громко чихнул, обтер нос и губы ладонью. Уже дня два как он ощущал в себе простуду, подтверждением того

был сильный насморк. «В деревенскую баню бы.— подумал,— да ковша два пенной браги, и все как рукой сняло бы, а тут ходи с распухшим носом. Ясное дело, простуда — на дворе-то какая слякоть: дождь со снегом! Поди, и светлейший князь простудился»,— и он снова громко чихнул.

За дверью спальни послышался звон колокольчика. Ксенофонт приоткрыл дверь и через проем сказал:

— Пахом до ветру убег.

— Заходи, все едино за тобой бы послал,— послышался голос Алексея Григорьевича.— Боже милостивый! — сбрасывая с себя теплое одеяло и спуская босые ноги на медвежью шкуру, еле слышно, дрожащим голосом проговорил князь.— И надо же такому присниться. Только глаза закрыл,— князь отирал ладонью липкую испарину на лбу и висках,— а он явился, каналья! Стоит, похохатывает да в руках каким-то свертком помахивает. Ясное дело — не к добру! Чего уж хорошего от него ждать, хотя и за тридевять земель.

Ксенофонт ничего не мог понять из слов Алексея Григорьевича, молча, про себя, прочитал краткую молитву; к счастью, появился Пахом.

— Чего хорошего ждать от него, опального? При дворе-то всех в кулаке держал, а уж коли явится вдруг по государевой милости — так меня собственными руками задушит. Только не бывать этому! Не бывать!

Пахом сразу догадался, что Алексею Григорьевичу снова приснился светлейший князь Александр Данилович Меншиков.

— Руки-то у него сильнущие и цепкие, как клещи! — Алексей Григорьевич, засунув руку под исподнюю рубаху, достал нагрудный золотой крест, троекратно поцеловал и сказал с облегчением: — Фу! Во сне приснится, так и то в дрожь бросает.— Он опять схватил со стола колокольчик и стал неистово звонить, по всей видимости стараясь отогнать от себя приснившееся видение.

— Тут я, ваша светлость!

— Хоть заорись! Хоть сдохни! — сердито сказал князь, с силой ударив попытавшегося помочь ему подняться Пахома по руке.

— Да тутo я! — придерживая рукой парик, говорил спальник, негодуя не оттого, что Алексей Григорьевич ударил его по руке, а оттого, что надоел ему этот

косматый, напудренный парик, который постоянно слетал с его густых русых кудрей.

— Да сбрось с башки эту оказию! — уже миролюбиво сказал князь.— На кой черт эти парики? Всем наказываю: ходите дома по-людски, без этих собачьих ушей. Блюдите этикет, уж коли гости какие явятся — напяливайте, чтоб при дворе меня не судили. Доподлинно знаю: у графа Апраксина, и у князя Голицына, и у князя Головкина вся прислуга по русскому обычаю живет, после смерти государя Петра Алексеевича — всяк на свой манер. Мыслимо ли все на чужой лад переделывать? Это нам, государственным мужам, моду блюсти, чтоб не выказать своего неуважения к европейцам. А они — как мухи на мед. Каждый день, каждый день — экипажи за экипажами! Только встречать успевай да ассамблеи устраивай! Ф-у-у-у! — опять с шумом выдохнул князь.— Подай-ка мне теплый халат да распорядись принести ковш вишен в патоке. Горечь одолела.

— Сей миг, Алексей Григорьевич,— поклонившись, ответил Пахом.

— Да вели принести теплые чесанки! — крикнул вдогонку.— Сей вечер никуда не поеду, хотя и звал на ужин Андрей Иванович Остерман. Неспроста. И надо бы съездить, да простуда одолела.

Мало-помалу светлейший князь освобождался от неприятного сновидения. И если уж совсем быть с собой откровенным, то ему кажется, он и не спал вовсе, а так — прикорнул, а он, этот Меншиков, тут как тут. Как оборотень! У него сбудется! На все горазд Александр Данилович. Царь только подумает, а Алексаша вприпрыжку бежит, а то и опередит... Парик-то первым он напялил. Только государь наш батюшка молвил о срезанье бород, он первым во дворец явился. Глядеть-то попервости страшно было, а после и всякий, кому царская милость нужна была, бороды лишился.

Алексей Григорьевич сокрушенно покачал головой, вспомнив тот миг, когда сам бороду срезал. И по прошествии времени не мог без содрогания вспоминать того дня. Вышел на улицу, как вор, по сторонам оглядываясь. А ветром лицо ополоснуло, будто кто кипятком ошпарил. Шел не шел, а бежал, будто нагишом. Петр Алексеевич по плечу похлопал, да за то, что сразу за Меншиковым бороду сбрил, одарил небольшим имением

под Рязанью. А уж парик да туфли на каблуках с серебряными пряжками как-то сами собой наделись.

Голова шла кругом. Пристало ли ему, светлейшему князю Алексею Долгорукову, имеющему огромную семью родственников, на склоне лет печалиться? Всего в достатке, а уж о почестях и говорить не приходится. Живи спокойно, доживай век в сытости, праздности... Да по теперешним временам с ума сойти можно. Считай, все на карту поставил. Решительно все, хотя не раз высокопарно прилюдно вещал, повторяя чьи-то слова, запамятовал чьи, а на сердце пали: «А которая земля перестраивает порядки свои, и та земля недолго стоит». Считай, каждое слово верно. Но то он больше всего относил к государю Петру Алексеевичу. По сути, так все и случилось. Началось будто безвинно — беда какая, для прихоти монарха парики надели, а ведь потом одно за другим, одно за другим. Добро бы смотреть на этот маскарад, живя в заморских странах, а уж дома-то, дома... Кабы не эта мода — щеголять в туфельках с пряжками, меньше простуды было бы. Экая нынче осень холодная. А заграничные-то кибитки да кареты с виду узорчаты, да холодные. Наши не чета им — теплющие. Вчера из Тобольска брат губернатор Михаил Владимирович приехал. Так, Боже мой, какой у него возок! Чудо! Сверху обтянут лосиной кожей, окна опущены медведем: двойные отводины сделаны так, что возок не опрокинется! Внутри обит синим репсом, ручки, крючки, кнопки из слоновой кости, внутри два фонаря, зеркало, рамы двойные. Разве в таком озябнешь? Нет, теплее наших возков, карет, кибиток не сышешь. Эта мысль пришла к Алексею Григорьевичу не случайно: ноющий с самого утра зуб не давал покоя, и он искал причину и нашел, что именно в своей карете, сработанной польским мастером, когда ездил утром на службу, почувствовал, как околели ноги в блестящих туфлях. Он нащупал языком дупло в зубе, простонал. Все в одну кучу: и это виление-сон, и зуб! Да ладно, черт возьми этот зуб. А вот сон этот. Будто фигура опального князя все время стоит за его спиной. Он уж и на исповеди был, и молился об отпущении грехов, и уговаривал себя, что не один повинен в опале Александра Даниловича, а спокойствие все не приходит, на душе кошки скребут, хотя и понимает: останься Меншиков возле престола — столкнул бы всех Долгоруких!

Столкнул! Или заставил жить тихо, как мышь в подполье. По одной бы половице ходили — на другую не заглядывали.

В это время Пахом приоткрыл тяжелую дверь спальни, взял от прислуги расписной поднос, на котором стоял ковш ручной работы, наполненный бордовой вишней в золотистой патоке. Возле лежала ложка и блюдце под косточки.

— Кушайте на доброе здоровьице, ваша светлость! — сказал Пахом, преклоняя голову.

Князь с наслаждением отпил через край ковша тягучую, запашистую патоку.

— Ой! — вдруг вскрикнул, по-молодецки вскакивая с постели.

Пахом догадался, что князь по нечаянности придавил больным зубом вишневую косточку, и встал навытяжку, зажмурив глаза.

— О-о-о! Грехи мои тяжкие! — завопил князь, будто его пытали каленым железом.

Такая картина длилась несколько минут. Пахом не знал, чем помочь хозяину, а Алексей Григорьевич безутешно кричал, к дверям спальни уже сбежалась прислуга, которую отгонял камердинер, шепотом оповещая всех, что у князя разболелся зуб.

— Какую оказию в прошлый раз ты клал мне на зуб? Вспоминай, каналья!

— Запамятовал,— дрожа, ответил Пахом.— Сэстолько всяких трав да разных порошков с наговорами!

— Да вспоминай ты, вспоминай. Еще дымишем пахло. После во рту будто кошки ночевали, а боль прошла.

— А-а! — радостно протянул Пахом, но тут же поперхнулся. На ум пришел строгий запрет князя произносить в доме имя графа Милиссимо — сердечного друга старшей дочери Екатерины. А именно он, этот молодой и красивый иностранец, не расставшийся с массивной трубкой, в пору очередного приступа зубной боли князя посоветовал взять из его трубки капельку черной копоти. Пахом сам тонким ощепом от лучинки выковырнул черную дегтевую капельку. Тогда Алексей Григорьевич, промучившись болью больше суток, не спросил, что это такое. А после забыл.

— Ну, говори! — требовал князь, схватив спальника за рубаху.— По глазам вижу, что вспомнил. Не отраву

же ты мне клал. Или это лекарь каким-то зельем помог?

— Да то граф Милиссимо из своей трубки какую-то копоть велел взять. Я и взял. Вы в ту пору, считай, в беспамятстве были.

При одном упоминании имени Милиссимо князь в гневе сбросил со столика ковш с вишней, огрел звонкой оплеухой Пахома.

— Милиссимо?! — возмутился князь.— Я кому говорил, чтоб его ноги в моем доме не было! Кому говорил? Или я уже не хозяином стал?

Пахом стоял не дыша: парик совсем сполз на глаза, но он его не поправлял. Что он мог ответить? И какой спрос со спальника? Это понимал и сам Алексей Григорьевич, но надо же было на ком-то сорвать свой гнев: ведь ни для кого в столице не было секретом, что племянник немецкого посланника — молодой граф — был поклонником старшей дочери Алексея Григорьевича. Дважды в своем доме светлейший князь устраивал пышный прием с приглашением чужестранных особ, где и познакомился с отцом Милиссимо — породистым, лупоглазым графом, страдающим одышкой. Он был дальним родственником знаменитого архитектора Доменико Трезини, в неимоверных трудах и стараниях сумевшего воплотить свои планы, построив на безлюдных берегах Невы Летний дворец Петра Первого, Собор Петропавловской крепости, здание двенадцати коллегий.

Тогда к приему светлейший князь Алексей Григорьевич распорядился приготовить любимое кушанье гостя итальянскую похлебку — минестру, которую готовили на мясном бульоне с клецками, солеными грибами, заправляли оливковым маслом, сыром и разными травами.

— Будь оно все трижды проклято! — прикрыв щеку ладонью, стонал князь.— Всем наказывал — не произносить при мне даже имя его! Все пороги отоптал.

Пахом молчал. Он сам видел сей день графа Милиссимо. Был тот в покоях княжеских дочерей и там играл в карты.

Слов нет, никогда бы с языка Алексея Григорьевича не сорвались такие жестокие слова в адрес чужеземца, если бы в государстве не шли перемены, если бы в клане Долгоруковых не зрели грандиозные планы, если бы старший сын его Иван не был первым другом молодого

императора. А это рождало такие планы, что дух захватывало.

— Малец-то император дня не может прожить без Ивана. Гляжу вечор, а Петруша куксится,— доверился Алексей Григорьевич Андрею Ивановичу Остерману — главному наставнику императора.

И этих слов хватило хитрому и проницательному немцу, чтобы понять намерения Долгорукова.

— А мне помнится, Иван все время на полу возле мальца спал, мух отгонял,— как бы между прочим промолвил Остерман, зная, что больно ушипнул князя.

«Ничего, стерплю,— тут же подумал тогда Алексей Григорьевич.— Лишь бы императора приголубить, приручить, а уж потом все пойдет само собой. Он еще податлив. Вся надежда на Ивана. Он бы не оплошал. Даст Бог, обворожит Петрушу. Ему есть чем. До пятнадцати лет Иван жил в доме деда, Григория Федоровича, российского посла в Варшаве, среди шляхты и магнатов, прожигающих жизнь при пышном дворе короля Августа II. А император-то с детства под опекой тетки Натальи был, а та истинно русского характера, и все русские обычаи свято блюдет. Нам надо русского государя и невесту ему русскую. Только бы Иван не оплошал,— снова вернулся к мысли светлейший,— а уж потом потихоньку за Катерину примемся. Экая коза самонравная. Не может догадаться о намерении отца — все с этим Милиссимо амурничает. Тьфу! Громило лупоглазое. И чего нашим девкам все заграничные женихи нравятся? Слов не знают, про порядки в чужой стране не ведают, а как прислушаешься к их переводчикам-толмачам, так они в нашем же доме над нами смеются. Даже этот Милиссимо не без смеха жестами показывал, как Петр наш Великий всем бороды срезал. А его какое дело? Ну хоть бы супротив воли срезал. Так это наше дело и государь наш, Богом нам посланный, и не его дело похохатывать. Слов нет, для русского боярина борода — священная принадлежность. Может быть, и сила наша в наших вековечных устоях. Мы тут привечаем их с почестями, а они табачищем смердят. Прут и прут в Россию. Да всякий норовит русскую себе в жены взять. Девки-то наши — кровь с молоком: чистотелые, лицом красивые, а уж характером добры и милосердны...»

Все эти мысли, сбивчивые и непоследовательные, роем кружились в голове князя, и от них, казалось ему, болит не только зуб, а ноет все тело.

— Да я лучше сам свой зуб клешами вырву, чем...— не договорил он, тяжело постанывая.

Вдруг он как будто чего испугался, насторожился, на цыпочках, будто в легкой мазурке, стремглав подбежал к высокому окну: ему почудился заливистый смех Екатерины.

В дверь послышался легкий стук. Так стучал только его камердинер Ксенофонт, отозвавшийся на звон колокольчика князя.

Алексей Григорьевич любил своего седовласого слугу, побывавшего с ним в зарубежных странах и при исполнении князем губернаторства в Смоленске.

— Кто это там так заливается смехом? Поди, Катерина?

— Чо им, молодым, не хохотать да не дурачиться,— уклончиво, без подробностей, ответил Ксенофонт.

— Зуб болит, нет мочи! — пожаловался ему князь, боясь услышать от камердинера доподлинную правду о веселье в палатах дочерей.

— Золы из загнеты велю принести, да шалфеем прополощем. Разве впервой? — убаюкивающе проговорил Ксенофонт.

Глава вторая

Все утверждали, что княжна Екатерина хороша собой: ладная, высока, с тонкой талией. Лицо ее со вздернутым носиком украшали карие глаза с томной поволокой под густыми рыжеватыми ресницами, что придавало ее облику таинственную загадочность. Но особую красу все видели в ее густых, отливающих бронзовым блеском косах. Но поскольку все придворные особы обязаны были носить парики или прически на европейский лад, ее косами любовались только домашние.

Появившиеся в Москве заморские парикмахеры часами крутились возле Екатерины, не зная, как уложить в замысловатые букли ее богатые волосы.

— Зер гут! Зер гут! — цокал языком выписанный из Мюнхена парикмахер, расчесывая и разглаживая косы Екатерины. Потом обтер рукой вспотевший лоб, какой-то душистой жидкостью смочил волосы княжны, легко и аккуратно расположил на ее голове согнутую в полукруг тонкую проволоку, стал старательно укладывать тонкими прядями, закрепляя привезенными с собой зигзагообразными шпильками.

— Да шевелись же! Устала я! — мотнула головой девушка.

Парикмахер издал какой-то неестественно тонкий звук, положил обе ладони на плечи княжны.

— Навыдумывали вороньи гнезда на голове вить! Терпения нету!

Парикмахер тяжело задышал. Екатерина почувствовала его волнение, немного успокоилась. «Надолго ли твои старания? Мне бы только на ужин съездить, а дома все твои шпильки вышвырну да косы заплету. Домой-то приезжают и все ваши парики по углам швыряют, обрезанные кафтаны в чуланы уносят. И папенька так, и маменька, точно знаю, и Головкины, и Голицыны, и Черкасские»,— рассуждала она.

Княжна Екатерина собиралась на ужин к Ягужинским. «Слава Богу, нынче ни папенька, ни маменька не поедут, а то глаз не спускают. Не будет и брата Ивана, а главное, молодого императора, отчего все старшие останутся по домам сидеть. Зато там будет Милиссимо! Какая радость! Он сам мне передал, прислал со служанкой оказию».— При воспоминании о нем лицо княжны зарделось. Хотя Милиссимо совсем плохо говорил по-русски, она понимала его по глазам, по тихому шепоту, по мало кем уловимым жестам. Она чувствовала и знала, что он готов просить у отца ее руки. Об этом говорил его друг-переводчик Юзек. Ей нравились учтивость и тактичность Милиссимо. Не то что наши сердцееды: слов путних не скажут, а только караулят и норовят то ущипнуть, то в охапку схватить! Кроме всего, Милиссимо умел делать подарки. Вот и вчера прислал с Юзеком небольшую коробочку. Открыла — а там адамантовый перстень заморской работы. Такой же в точности она видела только у княжны Марии Меншиковой.

Она даже сама не могла себе объяснить, почему при мысли о Марии что-то у нее внутри содрогалось и что-то тревожное закрадывалось в душу, и она не могла найти этому объяснения.

— Этакая краса,— осторожно вынимая кольцо из коробочки, с затаенным дыханием шептала Екатерина.

— О, да, да! —подтвердил Юзек, вздохнув, и трудно было объяснить, что было больше в его скупых словах, восторга или печали. «Как бы братец Иван не увидел,— подумала Екатерина.— Как передаст папеньке, греха не оберешься. Тоже пристали со своим Петрушей. Шагу ступить не дают. Сиди дома да жди этого малолетку императора».

Она поднесла к губам драгоценный перстень и еще раз передала Юзеку о своем непременном посещении ужина у Ягужинских.

— Брат Иван? — настороженно спросил Юзек.

— С императором на охоте! — шепнула Екатерина.

Немногословный Юзек, высоченный парень с небольшим шрамом на верхней губе, кивнул и постарался выйти из хором светлейшего князя незамеченным.

Узнает Иван — голову оторвет. Так и сказал недавно: как увидит еще ее рядом с этим лупоглазым Милиссимо — голову оторвет, и она, зная, что отец во всем вторит брату, постаралась спрятать подарок Милиссимо подальше.

Для отвода глаз можно взять на ужин и Елену. Давно просится, да ее все не пускают, говорят: придет твое время, дай Екатерину в люди вывести. Сестра Елена была в восторге. Она даже не знала, что и сказать от радости, и покорно подчинилась прислуге, наряжавшей ее. У опальной фрейлины двора Софьи Шмигельской был изысканный вкус. Она за полчаса так нарядила Елену, что Екатерина позавидовала, но не подала виду.

Палаты Павла Ивановича Ягужинского, генерал-прокурора Сената, были роскошными. Герольды — торжественные вестники, глашатаи — возвещали о каждом прибывшем госте.

Уже въезжая в карете на широкий двор Ягужинских, Екатерина вдруг почувствовала неловкость, зная, что всем бросится в глаза отсутствие рядом маменьки. «Слава Богу, ума хватило позвать Елену»,— подумала она, услышав голос кучера, останавливавшего грех холеных жеребцов.

— А Милиссимо будет? — шепотом спросила Елена, зная о запрете папеньки. «Если бы была одна,— часто думала она,— и папенька, и маменька давно бы меня вывозили в свет, а так все Екатерина да Екатерина!» — Елена знала, что многие ее сверстницы из знаменитых родов уже не раз выезжали в свет.

Погруженная в свои мысли, Екатерина не ответила на вопрос сестры. Она вспомнила недавний скандал дома, когда отец в гневе, сбросив с головы парик и долго топча его, стучал по столу кулаком и кричал: «Косы выдеру, коли ослушаешься! А если это не поможет, на цепь посажу!»

Хотя семейство светлейшего князя не отличалось великой любовью друг к другу и не умело прощать ни братьям, ни сестрам даже малых обид, все это было среди домашних. На людях же все выглядело пристойно. Всякий знал хорошие светские манеры и умел сдерживать себя. Иногда в пылу гнева Алексей Григорьевич говаривал слова покруче, чем «косы выдеру!», но чтоб кому-то из своих детей грозил карой, никто не слышал, а тут: «На цепь посажу!» После очередного приступа гнева князь покаянно говаривал: милые дерутся — только тешатся! И то было правдой: через час-другой разговаривал как ни в чем не бывало. А тут строго стоял на своем: «Берегись, Катерина, на цепь посажу!»

Она еще точно не знала, что затеяли родственники и почему вдруг опротивел им Милиссимо. Но именно в эту минуту, когда они с Еленой выходили из кареты, трепет и страх охватили княжну. Будто откуда-то из-за спины, вдогонку, услышала она голос отца, обернулась: никого.

— А Милиссимо будет? — снова спросила Елена, которой нравился этот молодой человек со степенными движениями, негромким голосом. Особенно она запомнила его мягкие, теплые руки, когда он со всеми здоровался.

— Будет, будет,— ответила Екатерина, но не обратила внимания, как сестренка, не скрывая радости, подпрыгнула на одном месте.

— Он как грозный рыцарь! — сказала весело и тут же, не останавливаясь, спросила: — А отчего он по-нашему, по-русски, не говорит?

— Наш язык трудный.

— А коли он у нас, то и говорить должен по-нашему.

Все надо сказать через этого Юзека. Разве он хуже Юзека? Юзек выучил русский язык, а Милиссимо не может? Наверно, не хочет. Я бы ихний язык выучила. День и ночь бы по буковке, а выучила.

— Остепенись ты, Елена. Вот взяла тебя на свою голову всякую муру выслушивать,— недовольно ответила ей Екатерина.— И дома чтобы ни гугу про Милиссимо, поняла?

— Уж как не поняла? Папенька так гневается. Чего уж хорошего за иноземца замуж выходить. Маменька-то рассказывала про мать нашего молодого императора. Шарлоттой ее звали. Сказывали, ни одного русского слова не знала и ненавидела Россию, от той ненависти и померла.

— Ну, Елена, вырвать тебе язык мало. Сколько всего наболтала. Откуда только все и знаешь?

— Вот и знаю! — не унималась сестренка.— Потому, сказывают, и убегал от нее царевич с девкой Ефросиньей и всем жаловался: навесили силой чужеземку на шею! Сколько ни учили царевича разным правилам «европейских кумплиментов», а он все едино делал по-русски, за то и живот положил.

— Замолкни, Елена! Или домой отправлю. Нашла время, об чем речь вести.

С неба плавно опускались крупные снежинки, будто боясь упасть на сырую, холодную землю. Отовсюду доносились какие-то невнятные разговоры: то перекидывались отдельными фразами выходившие из подъезжающих карет гости.

На широком крыльце стояло несколько молодых людей. Среди всех выделялась высокая, статная фигура Милиссимо. Сердце Екатерины сжалось. Она даже приостановилась, зачем-то стала поправлять бант на груди Елены и поля на ее шляпе, отороченной пушистым соболем. Это было так мило, так естественно, что она услышала сзади себя одобрительные слова старого графа Шафирова:

— Пора, пора такой красавице в свет появляться! Пора. Ишь какая остроглазая! — говорил он, явно имея в виду Елену.

— Маменька,— почему-то вдруг, обернувшись, произнесла Екатерина, поднимаясь на ступеньки дворца. Елена вытаращила на сестру глаза, еще не понимая, что это сделано специально, чтобы ни у кого не возникло



вопросов, отчего сегодня сестры Долгоруковы явились на ужин одни. Она только собралась что-то сказать Екатерине, как споткнулась. Надо было видеть, с какой поспешностью подскочил к ней Милиссимо, подал руку и на ломаном русском языке произнес:

— Топрый ночь! — По всей видимости, хотел сказать: добрый вечер, а получилось так нескладно! Подбежал Юзек, и Милиссимо сконфуженно сказал:

— Добрый вечер! Добрый вечер! — Потом он притянул к губам руку Елены и бережно поцеловал.

«Козявка!» — с раздражением и ревностью неслышно произнесла Екатерина и, высоко подняв голову, прошла мимо компании молодых людей.

Широко распахнулась входная дверь. По полу заклубился белый пар. Сразу запахло вкусным сдобным печеньем.

— Что это за милая девушка? — спросили друзья Милиссимо.

— Младшая Долгорукова!

— Зря такую девушку не выводят в свет.

— Тут еще надо сравнить: кто пригожей. Эта малютка может перешеголять в красоте старшую сестру. Заметили, какие у нее очаровательные глаза?

Из зала уже доносились отдельные звуки скрипки. Все знали, что это новый, привезенный из Германии скрипач. Он играл незнакомую мелодию, нежную и спокойную, располагающую к умиротворению.

На этот раз, зная, что на ужине не будет молодого императора, а значит, не будет и высокопоставленных особ царского двора, Ягужинские решили изменить традиционный ужин и сделали это, скорее всего, по предложению повара-француза, знавшего толк в европейских приемах.

От обилия конфет, всевозможных замысловатых десертных блюд ломились столы. В изящных вазах на высоких ножках красовались яблоки разных сортов, груши и гроздья винограда и много легкого вина в хрустальных штофах, графинчиках.

Молодой граф Апраксин, приехавший из дома навеселе, вдруг закричал:

— И тут не по-русски!

На него кто-то цыкнул, пытаясь усовестить.

— Что? — оказавшись один посреди зала, невесть кого с вызовом спросил он.— Что? Скоро заставят нас

штаны задом наперед носить, и мы согласимся! Кушайте, клюйте виноградинки! — схватил он свисавшую с вазы гроздь и швырнул ее в угол.

Чопорные вельможи зашушукались, попытались сделать вид, что не расслышали. Но, на удивление всем, молодая княжна Елена Долгорукова захлопала в ладоши, чем обратила на себя внимание.

— Чья это? — не зная, какое подобрать слово, спросил княжич Волконский, подбегая к Елене и целуя ей руки.

Из-за тяжелой портьеры высунулась голова повара-француза. Он ничего не мог понять, но чувствовал, что кому-то не угодил. Но когда вторая гроздь винограда была брошена графом Апраксиным в его сторону, понесся по длинному коридору в кухонное помещение, по пути стуча кулаками в каждую дверь.

— Говорила ему, показывала, так не послушал. Будто я не знаю вкуса наших господ,— бурчала дородная стряпуха.

Скоро все было улажено. Конфуз повара-француза тут же забылся. Заиграл оркестр из крепостных музыкантов. Екатерина Долгорукова беспрепятственно танцевала с графом Милиссимо, принимала его комплименты, которые он хорошо произносил по-русски. Он знал, что нравится многим девушкам высшего общества. Знала и Екатерина, что любая окажет ему внимание, потому назло всем и даже наперекор отцу, хотя он не видел этого, на глазах у всех вела с ним красивую амурную игру.

Ужин приближался к концу. Княгиня Черкасская, обтирая салфеткой губы, стала что-то нашептывать мужу. Но это что-то знали все: пора ехать домой.

— Все одно,— зевая, сказала она,— после смерти Петра Алексеевича не бывает такого веселья. Не бывает,— повторила она, закатывая под лоб отцветшие голубые глаза.— Умел он устраивать маскарады да ассамблеи на целые недели. При нем хоть поневоле, да гуляй!

— Не пойму тебя,— с шумом отодвигая стул и поправляя орденскую ленту на плече, ответил жене князь.— Сама остарела, вот и стало все не так. Гляди-ка, что молодежь выкомаривает.

Тут совсем некстати у княгини выпала из волос большая, украшенная жемчугом булавка, покатилась по паркетному полу. Степенный камердинер тушил в канделябрах по углам зала свечи. Он тут же поднял булавку,

подал княгине с низким поклоном, за что она ему незамедлительно положила в ладонь петровский крестовик. Безусловно, это была большая награда камердинеру и служила бы причиной долгих переживаний княгини, если бы в дальнем углу она не заметила графа Милиссимо с дочерью светлейшего князя Алексея Григорьевича, враз спутавших все ее мысли. «Батеньки,— подумала княгиня Черкасская.— А по Москве слухи ползут, будто малолетнему нашему императору нравится старшая дочь Долгорукова. Хотя этих Долгоруковых немало, но ведь при молодом-то императоре только Алексей Григорьевич со своим сыном Иваном».

— Гляди,— толкнула она дородного князя, поторопившись застегнуть на его кафтане пуговицу.

— Молчи,— остепенил ее князь.

Княгине только и осталось всплеснуть руками, да ни с того ни с сего, повернувшись к княжне Елене, проговорить:

— Дай-ка, дитятко, твой бантик поправлю. Кружевато у тебя какие красивые!

У Елены от нескольких глотков вина кружилась голова, все виделось в каком-то сияющем свете. Улыбка не сходила с ее уст, и это в сочетании с искренностью и непорочной божественной красотой придавало ей то очарование, какое свойственно русским девушкам.

— Катерина...— непроизвольно вырвалось из уст княгини. Она устремила немигающий взгляд на Милиссимо и вдруг в его больших черных глазах увидела какой-то встревоживший ее пугающий взгляд, от которого хотелось крикнуть или бежать прочь.— Зови домой сестру, Елена. Зови от греха подальше,— тихо сказала княгиня Черкасская, поправляя в волосах заколку.

Подбежав к Екатерине, Елена решительно схватила ее за руку:

— Поехали домой! Все на вас глядят! Поехали, или скажу папеньке.

Екатерина, отдернув руку, зло, сквозь зубы, произнесла:

— Мерзавка! Зачем только взяла с собой!

Граф Милиссимо, словно преобразившись, глядел на Елену в упор, и с его губ слетело презрительное:

— Кляйн швестер! Кляйн швестер!

— Кляйн, кляйн! — с вызовом передразнила его Елена, и эта неслыханная дерзость девушки-подростка вызвала в нем по меньшей мере негодование.

— Милиссимо, не слушай ее! Давай поедем к нам! Поедем. Приглашай всех друзей и поедем! — Екатерина в сильном возбуждении схватила графа за руку.— Не боюсь я их никого!

Так оно и было на самом деле: Екатерина в доме никого не боялась, разве только брата Ивана. Слова матери пропускала мимо ушей и угрозам отца тоже не верила.

Юзек весело подхватил приглашение, и по всему залу пронеслось: едем к Долгоруковым! Едем к Долгоруковым!

На какой-то миг у Екатерины сжалось сердце, мелькнула мысль: «Вот папенька задаст жару!» Но все уже закрутилось, завертелось. Как показалось Елене, все будто только того и ждали, бросились одеваться.

Во дворе тоже поднялась толкотня. Дремавшие в ожидании хозяев кучера громкими окриками вспугнули застоявшихся лошадей. Шестерки Шафирова да Остермана пришлось выводить под узды.

Только княжны Долгоруковы бабочками вспорхнули в карету, как распахнулась дверца кареты, и на ходу, оглядевшись по сторонам, совсем по-хозяйски ввалился Милиссимо. «Бесстыжая рожа»,— подумала про себя Елена, совсем не предполагая, что за какие-то считанные часы она так возненавидит Милиссимо. И если бы спросили, почему он стал так ей неприятен, она сразу бы не смогла ответить. Буквально все в этом графе казалось Елене противным: и смрадный запах табака, и вид простуженного, швыркающего носа. Ко всему, не умея объясняться по-русски, он давал волю рукам: то трогал Екатерину за подбородок, то пытался обнять.

— Чего он лапает тебя? — не сдержалась Елена.

— Кляйн Елена,— Милиссимо, повернув к Екатерине расплывшееся в улыбке лицо, изрек: — Катерина нефеста!

— Тьфу! — зло ответила Елена.— «Неф-ф-ф-еста!» Юзека зови! Не стыдно, столько живешь в Москве, и все тебе переводчика надо, лентяй! «Невеста» как следует сказать не можешь! Тьфу!

— Елена, замолчи! — истерично закричала Екатерина, но в это время карета загрохотала по промороженному деревянному настилу возле дома Долгоруковых.

Не все экипажи домчались до дома светлейшего князя Алексея Григорьевича. Многие разъехались по домам,

но молодые люди, прибывшие на ужин к Ягужинским без родителей, весело вываливались из своих карет.

На этот вечер в доме не ожидали гостей, и прислуга была в полной растерянности, многие благодарили Бога, что нет князя Ивана.

Когда княгине Прасковье Юрьевне доложили о приезде с ужина у Ягужинских молодых людей навеселе, она схватилась за голову и запричитала:

— Катерина-то с ума сошла! Алексей Григорьевич ей принародно косы выдерет. Не знает она его гнева! А я, дура, еще Елену с ней отпустила. Боже мой, Пресвятая Богородица, обереги меня от гнева хозяина! — причитала она, не стесняясь прислуги.

Спальница Матрена подала ей стакан воды, в который успела накапать пустырника.

— Одевайте же! — приказала княгиня.— Не ровен час, к гостям выходить надо. Вот наказанье-то! С ума сошла Катерина. Не боится гнева родителя! На цепь посадит, как обещал! Не приведи Господь, если среди этих молодцов Милиссимо будет.

— Прибыл Милиссимо. В одной карете с княжнами был,— ответила бойкая служанка, успевшая сбегать в палаты княжен.

— Господи помилуй! — взмолилась княгиня, рухнув в кресло напротив зеркала, и так сидела с закрытыми глазами, пока надевали на голову парик, запудривали локоны, наводили на дряблые щеки румяна. Одна из служанок стала надевать на княгиню широкий, синего цвета, плисовый сарафан, в котором любила ходить дома Прасковья Юрьевна, но та замахала руками:

— Чтоб все знали, что дома мы оболокаемся по своим порядкам, дуры? Соображать надо — там есть иноземные гости.

— Есть, есть! — подтвердила служанка.

— Да потише вы! Вот затянули — дышать нечем. Можно и послабее, не во дворец же еду! — говорила она, с ужасом вспоминая, каких мучений стоит облачение на царские приемы: тогда на нее надевали привезенный из Польши новый корсет, способный утянуть отвислый живот, выносивший одиннадцать детей, из которых семеро живы-здоровы.

А Екатерина в это время, наоборот, толкнув почти взашей скомороха Тюньку Губошлепа смешить гостей, побежала к сенным девушкам, которые выбрали из ее

волос шпильки, заколки, обруч и заплели две косы, которыми всегда любовался Милиссимо. Тут же девушки принесли расшитый золотом, собранный в сборки сарафан с застежками спереди и пояском, который особенно подчеркивал ее тонкую талию.

— Любо-то как! — хлопотали вокруг Екатерины девушки-нянюшки, искренне любившие свою княжну, хотя и получали от нее частые оплеухи.

— Сбегай-ка, Нюрка, погляди, что там делается,— велела княгиня бойкой служанке, которая доложила ей, что видела Милиссимо. «Сама-то пока не пойду! Не малолетка. Пусть сама за все отвечает»,— думала она об Екатерине.

Нюрка вбежала в спальню хозяйки, запыхавшись. Переведя дух, сказала:

— Тюнька веселит их. Все что есть мочи хохочут.

— Ну и слава Богу! — с облегчением проговорила княгиня, а думы все были об Алексее Григорьевиче. «И что он учинит в гневе — Богу одному ведомо».

— А в палаты уже шли музыканты,— немного погодя сказала Нюрка.— Шляхтич Понятовский так и рвется в круг, так и рвется, а Тюнька его подзадоривает: «Чо ты, как комарик перед дождем, припрыгиваешь? Или как дождик над озером!» А сам звенит колокольчиком. Весело там. Я в щелочку все увидела. А потом кто-то, я не разглядела кто, кричал: «Не робей! Что на пол-то глядишь, будто перед тобой трещина в шаг шириной? Иди в круг, коли нежданно-негаданно приехали». И откуда у Тюньки в голове сэстолько разных прибауток берется?

— На то и скоморох! За то и есть-пить получает.

Нюрка не слышала еще многого, не слышала и того, что княжич Голицын взял княжну Елену за локоть и потащил в круг танцевать, а та упиралась, Тюнька и сказал:

— Не изгибайся, княжна, как молодой горностай. Глаза-то у тебя сверкают! Видно, люб он тебе.

Появление Екатерины, переодетой по-домашнему, у всех вызвало восторг, а главное то, что она многим прибывшим барышням как бы бросила вызов, показав, что и они так же делают дома.

Милиссимо, широко раскинув руки, спешил ей навстречу.

Именно в эту минуту в дверях появился светлейший князь Алексей Григорьевич.

Екатерина застыла, успев заметить на лице отца заходившие желваки. «Мерзавка! Мерзавка! Забью до полусмерти! — стучало в висках.— Царицей великого государства может стать, а принародно с этим Милиссимо амурничает! Говорил по-доброму! Говорил, ан неймется!»

Гнев так обуял его, что он, забыв всякое приличие и сжав кулаки, подошел к Екатерине, намереваясь схватить ее за косу.

— Папенька! — стремглав подбежала к нему Елена.— У всех дома парики сбрасывают.

— У всех, да чтобы в своем доме я этого не видел,— строго сказал Алексей Григорьевич, вовремя остановленный, не в пример старшей дочери, разнаряженной Еленой, которую в таком одеянии он еще не видел. Отмяк. Махнул рукой, и камердинер, принесший из конюховки тонкую плеть, незаметно так и продержал ее за спиной. «Ну, Ленка, спасибо. Вовремя охладила, а то бы опозорился на всю Москву».

Вздохнув с облегчением, он подал знак музыкантам играть.

Глава третья



В дерзкой выходке Екатерины светлейшего князя волновало одно — как бы о случившемся не узнал сын Иван. «Тогда, Катька, тебе несдобровать,— думал он в растерянности.— И прав будет Иван. Как еще прав. Надолго ли хватит такой закадычной дружбы с императором. Сколько вокруг злых языков. Сколько завистников. Одна бабка его — Евдокия Лопухина — всех за пояс заткнет! В какой силе! Вроде только родилась. Найдет еще, на ком обиду выместить за свое монастырское житье. А там начнет мстить за жестокую смерть своего возлюбленного майора Степана Глебова, который в дни ее монашества согревал ее не только добрым словом. Сама недавно сказывала одной из своих фрейлин:

— Уж как любить умел Степан, так ране мне и во

сне не снилось. Петр-то только похоть знал. Валил всякую бабу под себя, а те больше всего из-за царского имени и со страху ему отдавались. Вечно пьян! Все больше молчком справлял свое мужицкое дело. Тьфу на него! Антихрист он и есть антихрист. А Степанушка-то сколько медовых слов знал. Каждый пальчик на ножке обцелует. Ни в жизнь не променяла бы его на царскую похоть, кабы воля была!

Фрейлины, они и есть фрейлины. Редко какая молчит, а больше одна другой шепчут, вот и ползут слухи. Как бы я узнал про это, кабы не сплетни. А мне вовсе и знать их не надо. Немало горевала она и по своему духовному отцу — епископу ростовскому Досифею, который и при колесовании просил верующих поминать в молитвах Евдокию царицею.

Ох, Екатерина, Екатерина! На блюдечке ей царство преподносят, а она этакое творит, кобыла необъезженная! Ведь узнает Иван. Все едино узнает».

На город надвигалась холодная осенняя ночь. Порывистый ветер хлестал со всей силой, кружа в воздухе тяжелые снежинки. Опустел двор от чужих экипажей. Темными глазницами глядели окна на противоположной стороне улицы. Если бы кто присмотрелся к дому Долгоруковых, непременно увидел бы в двух окнах тусклый свет свечей: в спальнях княгини Прасковьи Юрьевны и князя Алексея Григорьевича. В эти минуты они думали об одном и том же, но понимали, что не будет ладу в разговоре, а только взаимные укоры, и все не кончится добром.

Прасковья Юрьевна, уткнувшись в подушку, горько рыдала и толком не могла бы объяснить причину слез. Она не встревала в мужнины дела и не знала всевозможных передряг при дворе. Она больше сожалела о том, что по иноземным порядкам должна спать в отдельной от мужа спальне.

Зато светлейший князь изнемогал от дум и, зная, что не уснет долго, велел спальнику зажечь еще одну свечу возле столика и достать колоду карт. «Неужто играть позовет? Кажись, околоточный токо два раза прошел с колотушкой»,— подумал спальник, зевая.

— Мне бы твои заботы, Пахом,— сказал Алексей Григорьевич и, тусуя карты, тяжело вздохнул: — А ты гадать не умеешь?

— Не-е-ет. Я только масти знаю.

— На-ка, вытяни три. У тебя рука честная, чистая.

Спальник поглядел на ладони. Алексей Григорьевич крепко держал колоду, и спальник старательно стал тянуть.

— Да ты не дрожи, смелее.

— А вдруг да пиковой масти выдерну?

— Тяни, тяни!

Первой картой оказался туз пик.

У Пахома округлились глаза. Сон как рукой сняло. Кажись, это казенный дом али удар какой.

Князь засопел, поудобнее сел на постели, подтыкая под себя одеяло.

— Тяни,— сказал, не глядя на спальника.

— А вдруг да ишо черную вытяну?

— Тяни! — в голосе князя чувствовалось недовольство.

— Опять черная, шестерка виней. Это хорошо. Это дальняя дорога. Когда мне сюда надо было ехать, мать в рев пустилась, а чернавка, приходившая в нашу деревню, погадала ей, вытащила вот такую же карту и сказала: парню твоему дальняя дорога. Так и сбылось. Вскорости сюда доставили. Ничо ведь, живу.— Тут Пахом сник. Алексей Григорьевич сразу это заметил.

— Тебе тут плохо?

— Нет, светлейший князь,— словно отпарировал Пахом.— Жить-то неплохо живется, только я жениться хотел. Настена в деревне осталась. Сказывала: всю жисть ждать станет.

Алексей Григорьевич поморщился, но слов Пахома будто не расслышал, думал о своем: «Дорога, дорога... Дорога дороге — рознь!»

— А скоко у вас дальних деревень? Только до нашей ден пять ехать надо. Кабы близко была, все едино вас молил бы отпустить хоть глазком посмотреть, как тамо живут. Поди, уже в полях управились. Мужиков-то ноне мало стало. Все мрут и мрут.

— Тяни,— не глядя на спальника, велел князь.

— Боязно,— сознался тот, дотрагиваясь до карт.

— Тя-ни!

Пахом, зажмурившись, потянул.

Черный виневый валет дрожал в руках светлейшего князя. Конечно, гадать он не умел, но слышал, что виневые карты в гадании несут или, лучше сказать, предсказывают неприятности.

— Да с какой стороны ждать неприятностей? — сказал он вслух, в сердцах бросив карты на столик. Несколько карт упало на пол. Пахом стал собирать и удивился:

— Экая краснота выпала! Экая краснота!

— Гаси свет! — распорядился Алексей Григорьевич, утопая в мягкой пуховой постели.

Перед глазами промелькнули вытянутые Пахомом три карты. Но скоро опять все пошло по кругу: Лопухины, Нарышкины, Апраксины. Закрутят малолетнего императора. А тут еще этот Остерман-опекун все время шепчет мальцу на ухо. Меншикова-то он подсадил! Никто и не заметил. Ох и хитер! Такие сети плетет — не разглядишь. Как осенний лесной паук. Все стонет, а свое дело творит. А ведь может статься, если рот-то разинем, он такое выкрутит, еще на русский трон немчину посадит. Мы-то друг с другом свару устроим, а он тут как тут! Все про то понимают, а все едино — кто в лес, кто по дрова. Никакой подмоги друг другу нет. Уж на что мы, Долгоруковы, какие все чины и звания имеем в государстве, а как коснется какая беда — всяк по себе. Я тоже такой. От князя-то Федора, только слух прошел, что в Сибирь ездил,— все отвернулись. Виделся ли с Меншиковым — никто не спросил, не узнал. Испугались — как бы не быть замеченным.

— Боже милостивый,— прошептал князь,— помоги исполниться задуманному.

Возникла еще мысль, что Иван с императором неотлучно. На охоте больше месяца. Обсказаны все заповедные места в царских вотчинах. Знаменитые знатоки охотники рядом. Понедельно меняют лошадей — шлют самых резвых и выносливых, самых красивых. Государь любит буланых, со звездочками на лбу. Вчера только послали хорошо объезженного красавца да стаю гончих.

Алексей Григорьевич вроде бы расслышал далекий лай, который тут же потерялся. Его одолевал сон. Иван бы не оплошал.

Главный фаворит молодого императора Иван Долгоруков задумал ни много ни мало — обвенчать Петра со своей сестрой Екатериной, хотя она и смотреть не хотела в сторону капризного юнца, перед которым все в три погибели склонялись.

— Нравится Ивану возле царя быть — пусть и служит. И вы лелейте его,— ответила она как-то отцу, просившему быть с Петром поласковее.

— Это мы еще поглядим,— сердито ответил за отца Иван.

— Отстань от меня со своими порядками. Как хочу — так и живу. Или я не дворянского рода?

— Я тебя и спрашивать не стану.

— Ты тут иноземные порядки не ставь! Кабы все время дома жил, так по одной половичке ходил. Был бы послушным сыном Ванюшей, как остальные. Столько воли взял. Папенька и тот тебе в рот смотрит.

— Катерина! — багровея, закричал отец. Княжна засмеялась и пошла. Возле порога остановилась, скорчила всем гримасу.

— Сама-то не больно по одной половичке ходит,— с укором сказал Иван отцу, подал знак ожидавшим его двум гайдукам и твердым шагом, как в марше, прошагал через весь зал, выражая свое недовольство.

На этом и закончился разговор, но каждому запала в сердце эта короткая сцена. Будто было брошено ядовитое семя, и день ото дня оно стало прорастать, разъедая душу.

В это утро княгиня Прасковья Юрьевна проснулась рано, заставила сонную спальницу перетряхнуть ей подушки, принести горячего чаю, заваренного со смородиновым листом.

В коридоре послышался шепот: по всей видимости, спальница разбудила камердинера, он и стал прохаживаться да подстерегать ее. «Вот дура,— обозвала себя Прасковья Юрьевна.— Пока все спали, надо было уйти к Алексею Григорьевичу. Вот дура! — Она искренне винила себя за недогадливость, а идти в ранний час при людях совестилась, хотя и знала: нет никому до этого дела! — Кабы так смолоду жили, разве народила б столько ребят? Иван, Николушка, Алеша, Александр, Катерина, Елена да Анна. Все, слава Богу, пока возле отца с матерью крутятся,— перекрестилась Прасковья Юрьевна и помолилась за их здравие: — Обереги, Господи, чад моих. Спаси их от всякого зла!» — Перебрала всех по пальцам. Семеро живы-здоровы, а четверых Господь к себе взял малолетними.

В дверях неаккуратная спальница забренчала ложкой, положенной в бокал, отвлекла мысли Прасковьи Юрьевны.

— Алексей Григорьевич не проснулся? — спросила спальницу.

— Кажись, нет,— ответила та и стала наливать чай. Напахнуло лесом и лугом.

«Кабы был рядом Алексей Григорьевич, как в ранешние времена, вместе бы чаек пили. Он всегда сам клал мне в бокал всякие сладости. Положит, размешает и даст попробовать. Да ладно, скоро я этому положу конец. Срам один: всяк камердинер, всяк лакей знает, когда я к нему иду, когда он ко мне!"

Вставать было еше рано. Прасковья Юрьевна, выпив чай, укрылась одеялом с головой — пыталась еще уснуть, зная, что после обеда надо непременно собираться и ехать на очередной бал. Алексею же Григорьевичу, как гофмейстеру при царском дворе, следовало быть обязательно. Тем более все знали — молодой государь самозабвенно любит их сына.

Приглашение на придворный бал уже доставлено ранним утром по заведенному порядку.

Если честно, то Прасковья Юрьевна давно бы отказалась от этих выездов: ей надоели празднества, соблюдение всевозможных нововведенных правил этикета, а особенно постоянная смена нарядов и причесок. Всегда надо было помнить и следить, как бы чего не перепутать, не сказать лишнего, что могло бы стать предметом обсуждения в обществе. К тому же в последнее время она стала замечать большее внимание к собственной персоне. И не надо было искать причины таких перемен. Все дело было в сыне Иване.

По Москве ползли слухи о непременном желании Долгоруковых выдать свою дочь за императора. Хоть бы уж уехать скорее в новую столицу, там спокойнее. Большинство-то вельмож не любят жить в Петербурге. Там меньше сплетен. Меньше на маскарадах бывает вельмож, больше все иностранные гости — разные архитекторы да рисовальщики.

С Алексеем Григорьевичем встретились только за столом. «Как чужие»,— подумала княгиня, перебирая в тарелке кусочки тушеной телятины, залитые сметанным соусом. Потом принесли всякую сдобу, варенья, компоты. Есть не хотелось. Если бы за столом они сидели вдвоем, она непременно высказала бы мужу свою обиду, но собралась вся семья, и каждый старался быть вежливым друг с другом, хотя бы с утра. При виде Екатерины щеки Алексея Григорьевича вспыхнули, лицо побледнело до такой степени, что морщинки на лбу

казались полосками, прочерченными грифелем. «Сучка,— подумал он, не глядя на дочь.— Жаль, что не отхлестал кнутом,— и тут же порадовался, что не сделал этого. Сумел перебороть гнев.— Отвел Господь, а сатана-то шептал: отдубась ее! Отдубась. Каково бы было сегодня. Как бы ехать во дворец? Может, кто-нибудь нарочно наушает этого Милиссимо. Ведь было ему сказано: оставь в покое княжну! Так нет, за ней волочится, будто барышень других нету. А может, она сама?.. Сей же день распоряжусь под любым предлогом вытурить его в Петербург, а уж оттуда — восвояси. Не сразу бросится в глаза, меньше будет пересудов».

Мучительное душевное состояние князя после вчерашнего вечера усугублялось не проходящей зубной болью. Он сам заметил, что еле-еле сдерживает себя и может сорваться в любую минуту.

— Карета подана,— сказал лакей, когда Алексей Григорьевич, усердно обтирая носовым платком лоб, зашел в свой кабинет. В ответ кивнул.

Лакей надел на князя кафтан со всеми регалиями, припудрил парик, поправил на плечах локоны, отступил в сторону, застыл в поклоне.

В дверь постучали, затем послышались голоса. Это удивило Алексея Григорьевича. Он вопросительно посмотрел на лакея. Вошла Прасковья Юрьевна. Она вся сияла, будто стряслось что-то невообразимо радостное. Алексей Григорьевич пристально посмотрел на супругу. На княгине было новое черное бархатное платье с белой накидкой тонкой ручной работы. На вшитых по бедрам и подолу каркасах бархатные фалды лежали аккуратно, придавая стройность оплывшей фигуре. Но не это удивило светлейшего, а хитровато-лукавая улыбка на подрумяненном лице.

— Я распорядилась,— заговорщически сказала она,— кровать мою, пока нас не будет, перетащить в твою спальню.

Алексей Григорьевич вдруг громко расхохотался, крепко поцеловал княгиню и безо всяких слов сам распахнул дверь.

— Поехали, а то опоздаем!

Из-за нового платья пришлось расстегнуть шубу, уложить обручи и сесть в них.

Алексей Григорьевич немного повеселел, но все-таки не мог высказать Прасковье Юрьевне своего

беспокойства. Кабы узнал Иван о вчерашней выходке Катерины...

Прасковья Юрьевна почувствовала, как остановилась карета, но сидела молча, задумавшись. «Каждого жалко, что Ивана, что Катерину. Какой палец ни укуси — все одинаково больно».

Распахнулась дверца кареты.

Издали слышались звуки музыки. В огромном зале было еще немного народу, в зеркалах отражались фигуры модниц с высокими прическами. Оркестр играл знакомые мелодии.

В дверях зала стоял князь Михаил Владимирович. Он держал руки за спиной, словно выставил напоказ орденскую звезду, орден Белого слона и другие награды. На лице сибирского губернатора играл румянец, придавая всему облику князя ту свежесть и одухотворенность, какая свойственна здоровым и спокойным людям. И взгляд его был светел. Князь любовался столичной красотой, наслаждался звуками музыки, кланялся, увидев знакомых. «Как ни говори, провинция всегда остается провинцией со своими достоинствами и недостатками, а человеку, выросшему в высшем обществе и повидавшему свет, не так-то легко отвыкать от столичного шума и суеты»,— подумал Алексеи Григорьевич, замечая в брате непривычную для него словоохотливость.

Заметив Алексея Григорьевича и Прасковью Юрьевну, губернатор поспешно подошел, учтиво поцеловал ручку, сказал комплимент, и все они, не сговариваясь, вышли из танцевального зала.

И, словно в подтверждение мысли светлейшего князя, губернатор стал рассказывать о столице Сибирского края Тобольске и о главном деле церкви — обращении язычников в православную веру.

— Бога не зна-ют! Церквей нету? — удивилась Прасковья Юрьевна.— А как живут без веры?

— У них своя вера — идолопоклонство. Да, с Божьей помощью строим там церкви. Епархия-то Тобольская на зависть другим, а кремль... разве только нашему, столичному, уступит по красоте.

— Ладно уж, Михаил Владимирович,— запротестовала княгиня,— коли этакая глушь да кругом язычники — и вдруг кремль краше нашего!

Навстречу им, чуть прихрамывая, шел Андрей Иванович Остерман. Еще издали заметив Алексея Григорьевича,

собрался было узнать, что известно о возвращении в столицу императора, но передумал, узнав сибирского губернатора.

— Видеть стал плохо,— пожаловался он, как всегда, на свое нездоровье, кланяясь. Большой нарядный парик его был натянут на лоб, касался бровей, из-под которых он бросал редкий, пытливый взгляд на собеседника. Больше же разговаривал с припущенными веками, боялся, что по глазам легко распознают его лукавые мысли. А Остерман лукавил всегда. Все это знали и настолько привыкли, что, махнув рукой, старались обходить царского опекуна и одного из главных членов Тайного совета. Он чувствовал это, понимал и искал случая отомстить: он умел вовремя вставить замечание, охаять, указать на промахи или неблаговидные черты характера человека. Давненько, еще когда князь Меншиков был во власти и держал его, как он выражался, «под сапогом», светлейший, находясь во власти Бахуса, спросил: «Назови, Андрей Иванович, человека, который тебе нравится,— сто душ крепостных подарю!» Остерман занервничал, стал грызть ногти и после долгого молчания чуть слышно изрек: «Спроси, Александр Данилович, что-нибудь полегче!» — «Вот тут ты и весь, каналья! — закричал Меншиков.— Вот какое у тебя поганое нутро». Остерман молчал, но обиды не забыл до самого рокового часа Александра Даниловича.

Его так и подмывало сейчас спросить губернатора, как тому живется в Сибири, но вовремя спохватился: «Не из Европы прибыл. Считай, всех недругов в Сибирь согнали. И Михаил Владимирович не по своей воле там».

Но, так или иначе, надо было продолжать разговор, и Андрей Иванович, сотворив на лице нечто наподобие улыбки, не без восторга в голосе провозгласил:

— Зверь! Мех! Соболь!

Надо сказать, что он давно и лучше других разбирался в сибирских мехах и заказывал для себя и своей жены шубы, одеяла, подкладки и кафтаны только из собольего меха.

— Этим наш край не обеднел. На Севере, сказывают охотники, белку можно палкой с дерева сшибать. В урожайные годы ореха, зверья видимо-невидимо! — не без гордости подтвердил губернатор.

— Здесь лес, охота корошая, а сополя нет! — сказал и обрадовался, что самый раз спросить у Алексея Гри-

горьевича о столичных охотниках, он имел в виду царскую охоту: — У нас лисы да зайцы!

— Не скажите, Андрей Иванович,— возразил Алексей Григорьевич, большой любитель охоты.— Чтобы про медведя не вспомнить, про лося? А дичи сколько!

— Сополь! — Остерман многозначительно поднял палец, выражая искренний восторг.— Наши-то охотники талеко? — почти по-отечески спросил Остерман, будто речь шла не об императоре.

Алексей Григорьевич изумился, даже вспыхнул лицом.

— Вы имеете в виду Его Величество?

— Да, конечно,— подтвердил немец.

— Теперь в наших подмосковных лесах благодать! — пришел на выручку брату Михаил Владимирович. Бывало, в молодости погоняли лис да зайчишек.

— Коворили — Измайловский лес,— уже утвердительно сказал Андрей Иванович, давая понять Долгоруковым, что он не меньше их знает о местонахождении императора.

— Лес чист! Дали до самого горизонта просматриваются! От топота копыт, кажется, вся земля дрожит. Звонперезвон, собаки лают, кони храпят, псари орут, свистят! Все птицы с перепугу на крыло встают,— с восторгом вспоминая юные годы, губернатор отводил разговор, чувствуя, что Алексею Григорьевичу не хотелось бы говорить ни об Иване, ни об императоре.

— А вот и сама Евдокия Лопухина,— подала голос Прасковья Юрьевна. Княгиня так вольно называла по имени бабушку молодого императора, потому что в молодости они были подругами, по возрасту почти ровесницы и своей вины перед бывшей царицей она не чувствовала. Зато Остерман как-то заметно сник, поспешно откланялся и зашаркал по паркету, не отрывая подошв.

Народ хлынул за бывшей царицей, отдавая ей почести. Она бегло огляделась. Заметив сибирского губернатора и оставив за собой всех фрейлин, направилась к нему:

— Мишенька, Михаил Владимирович разлюбезный! Как давно я не видела тебя! Боже мой, как давно!

— Давненько, государыня,— подчеркнуто вежливо ответил смутившийся губернатор.

— Господи, слезы сами брызжут, как родные лица встречаю! — поднося к глазам платок, растрогалась Евдокия Федоровна, а затем, подхватив гостя под руку

ротливую, поместили в яме, где она немного успокоилась, но при приближении человека поднимала страшный рев, ловко подпрыгивала, размахивала когтистой лапой, устрашая каждого. Главный медвежатник заранее распорядился изготовить березовые рогатины для усмирения медведицы.

На удивление, Петр отказался от интересной забавы и, не дожидаясь, когда его переоденут, лег поперек кровати.

— Не заболели, Ваше Величество? — просунув голову в царский шатер, спросил царский лекарь.— Может, озноб берет? Экий туман да сырь от земли.

— Нет,— ответил коротко Петр с легкой хрипотой в голосе.

У Ивана не находилось слов. Он будто позабыл все на свете, с трудом, через силу, насвистывал любимый куплет императора из походной песни разудалых стрельцов. «Знай, Иван, край, да не падай,— думал закадычный друг.— Ненароком и в опале окажешься». Он был недалек от истины. Случись такое в столице — Бог знает, как повел бы себя император, окруженный не прислугой и псарями, а высокопоставленными особами.

Петр уснул сразу, укутанный спальником в теплое одеяло.

«Катьку ему в жены! Катьку! Приеду и силком ее к нему в постель затолкаю. Знаю я его слабость. Знаю,— ворочался с боку на бок Иван, благодаря Бога, что завтра они еще не возвращаются в столицу.— А время вылечит, пройдет обида».

Глава четвертая



Измайловские мужики ходили в дальние деляны чистить лес от сухостоя, поваленных после недавней бури деревьев. День клонился к закату. Перед тем как отправиться в село, присели на кучи сухих веток передохнуть, встряхнуть онучи, перевязать лапти.

Овдовевший в прошлом году Кирилл, по всей видимости мечтавший на пути в Измайлово свернуть на хуторок к леснику, у которого была дочь на выданье, прихорашивался, очищал кудрявую бороду от хвоинок, чешуек, осенней паутины. Вдруг он приложил к уху ладонь, затаился.

— Так и есть! Я ведь сказывал ныне, когда нам в лицо совенок заухал,— к встрече. Не знаю, какая будет встреча, а по мне, так целый табун лошадей копытами землю бьет.— Засунув палец в ухо, потряс им, лег на землю.— Табун! — В глазах мужика появилась тревога.— Али оглохли? Гончие лают.

— Неужто барская охота?

— Пора охотничья.

— Какая барская? Разве — царская! Вотчина-то наша — царская.

— Господи, оборони и помилуй.

Чуть поодаль во весь мах несся заяц, готовый выскочить из пятнистой от линьки шкуры.

— Куда теперича?

— По мне, так к гумну надо податься,— сказал Кирилл.

— Очнись! Экий круг делать. Ноги и так гудят.

— Зато спокою боле. А вдруг да царская охота? Боле некому.

— Твоя правда, Кирилл, надо через гумно в село попадать.

Мужики пошли быстрым шагом, под ногами шуршали опавшие, прихваченные первыми заморозками листья. Потом, будто подстегнутые кем-то, побежали бегом, пока Захар Коровин не зашелся в кашле.

— Этак тут Богу душу отдам,— прохрипел он.— Бегите, я сам приду. Не заблужусь. Дома, поди.— На губах его показалась кровь и тонкой струйкой потекла к подбородку.

— Чо несемся? Чай не воры — хозяйские холопы,— остепенился Кирилл, остановились и остальные.

Над лесом, свистя крыльями, летела встревоженная стайка уток. Не набирая высоты, утки полетели к болотистой стороне, отыскивая пристанище для ночлега.

Мужики вернулись домой заполночь, а утром хозяйка усадьбы Измайлово Прасковья Федоровна, в девичестве графиня Салтыкова, вдовствующая царица, жена Ивана, сводного брата Петра Великого, узнала от своих

придворных, что вернувшиеся из лесных делян мужики рассказывали о беспокойстве в лесу.

Не раздумывая, послала в лес верховых гайдуков, сама же была немало обеспокоена: «Вдруг да молодой император? Сказывают, горазд до охотничьих дел»,— Прасковья Федоровна крикнула:

— Позовите ко мне Тимофея Архипыча!

Комнатные няньки, постельницы, странницы, находившие место в чуланчиках, боковушках, бросились врассыпную — отыскивать любимца хозяйки: кособокого, одноглазого юродивого Тимофея Архипыча, без которого она не могла обходиться в трудные минуты.

Тимофей Архипыч явился в усадьбу Измайлово в сорокоуст, который служили по скоропостижной смерти любимейшего супруга Прасковьи Федоровны. Как пришел — так и остался, будто прильнул. И было трудно объяснить, как такая ворчливая, брезгливая, непомерно хитрющая хозяйка, окруженная немалой свитой верующих, остановила свой взгляд на этом мужичонке. Быть может, потому, что при виде ее он не мог стоять на ногах — сразу падал на колени и полз на четвереньках и сиднем сидел возле ног, как ученый кот. Правда, в последний год в нем произошли перемены. Иногда он стал выходить из хором, но Прасковья Федоровна не судила его строго.

Речи Тимофей Архипыч говорил сладкие, голосом тихим и ласковым. И все сказанное им было истиной. Она верила ему, прожившему возле ее ног более двадцати лет, и сейчас хотела удостовериться: может ли, по его ясновидению, явиться в усадьбу высокий гость — молодой император.

В душе Прасковьи Федоровны что-то екнуло: то ли было какое предчувствие, то ли просто испугалась встречи с молодым Петром. «В деда пойдет — крут будет! Тогда лебезить придется, как давно не лебезила. Коли в отца — мямлей будет. Всяк управлять им станет. Тогда проще!» — думала она.

Отдав распоряжение позвать юродивого, она приказала достать золотой кокошник с ниспадающей на лоб жемчужной рясой, что сразу придавало ее увядающему лицу царственное благородство. Но не сразу решила, в какой наряд лучше облачиться: молодой-то император только наполовину русский. Алексей-то истинно русских кровей, а этот наполовину. Мать его, Шарлотта,—

немка. Но, поразмыслив, вспомнила, что воспитанием его занимались русские няньки — Нарышкины да Лопуховы, и велела нести русский сарафан!

К своенравному Петру Алексеевичу — Петру Великому — Прасковья Федоровна приспособилась сразу, сумела преодолеть в себе отвращение к иноземцам и их порядкам, научилась что-то лепетать по-ихнему, даже несколько раз ездила с дочерьми в немецкую слободу, а в 1708 году, на удивление многим, двинулась со всем громадным поездом царской семьи из Москвы в Петербург. Тепло и уютно жилось ей возле властного императора. Теперь многое менялось, и быть может, молодой император опять вернет старые порядки.

На этот раз велела достать одежду смиренного, вдовьего цвета: темно-зеленый повойник с черными крапинками да шушун с кумачовыми прошивками. «Господи, ладно ли что с Тимофеем Архипычем?» — подумала она, подходя к окну в сопровождении спальниц и нянек.

День предвещал быть погожим. Осеннее солнце спешило покрасоваться на безоблачном небе перед притаившейся в заморозках холодной землей. Большой журавлиный клин поднялся из-за леса. После ночного отдыха птицы еще не набрали высоту, и сквозь окна было слышно их тревожное курлыканье.

— Где это потерялся наш Тимофей Архипыч? — вздохнув, спросила Прасковья Федоровна, немало удивленная его долгим отсутствием.

И тут многочисленные карлики и карлицы, притаившиеся возле дверей и под лавками, за шторами и сундуками, боявшиеся без надобности показаться хозяйке на глаза, заговорили-загомонили со всех сторон, перебивая друг друга. И вдруг раздался пронзительно-визгливый крик любимицы хозяйки, по-иноземному одетой карлицы, прозванной Ягодкой. Взъерошенный, с густыми, длинными прядями седых волос карл Всеволод, повалив Ягодку на пол и усевшись на нее верхом, колотил любимицу Прасковьи Федоровны прямо на глазах у всех: сбросил с головы Ягодки напудренный парик, оторвал на сарафане лямку, порвал на короткой шее нитку, и разноцветные стеклянные бусы покатились по полу в разные стороны.

— Всеволод! — Прасковья Федоровна сама подбежала к карлу, схватила за шиворот. Сшитая из самотканого

льна, рубаха оказалась слишком крепкой. Всеволод захрипел, но не выпустил из рук Ягодку.

— Мерзавка! Мокрохвостка! — пищал в яростном гневе Всеволод.— Сказывал — прибью, как услежу, с кем шупаешься! Неймется тебе! Ужо сколько разов трепал!

— Всеволод, прогоню! — вцепившись в волосы карла, кричала Прасковья Федоровна, зная, что, исполнив угрозу, обречет карла на верную смерть, и он всегда этого боялся.

— Теперича все едино погибну! — разжав цепкие пальцы, тихо сказал карл. Ягодка, не поднимаясь, лежала на полу, как тряпичная кукла.

— Она, Ваша светлость, с Тимофеем Архипычем важгается! — закричал в истерике Всеволод.— С вечера ее потерял. Чует сердце — блудит она, а укараулить не мог. А как Ваша светлость повелела позвать Тимофея Архипыча, я и побег на гумно, забег в конюховку. Все заперто, тихо. Да на то я и карл — мышью пролез в щелку двери. Глядь, она на руке Тимофея Архипыча спит, а он храпит — пена на губах. Я хряпнул его плеткой по роже. Да какая сила у карла? Кабы была, тут же порешил бы этого одноглазого и сам тут же сдох. Я ведь с ней, с Ягодкой-то, пятнадцать годов греюсь.

— Замолчи, Всеволод! — еле стоя на ногах, Прасковья Федоровна от бессилия закрыла уши ладонями.

Вся прислуга замерла, прибежал доктор, усадил хозяйку в кресло, подал каких-то капель, стал натирать виски.

— Прикажи, Прасковья Федоровна, убить меня, али утопить, али повесить! Сам на себя не могу руки наложить, а жить не хочу! Прикажи, как козявку, прижать. Беда ведь — сердце-то у меня человечье, болит и ноет и страдать умеет.

— Прости-и-и-и! Прости-и-и! — не поднимая головы с полу, стонала Ягодка.

Если бы Прасковья Федоровна не любила их, она давно бы распростилась со всеми, но...

В это время кто-то из служанок, взглянув в окно, шепнул:

— Сам Тимофей Архипыч идет!

Все прильнули к окну, будто сроду не видели главного предсказателя Прасковьи Федоровны. У нее задрожали губы, на глаза навернулись слезы. Она еще как следует не поняла, что стряслось в ее усадьбе, а по

большому счету стоило ли придавать случившемуся значение? Она не была ханжой, знала, что нет на свете человека без порока, без слабостей.

Ничего не подозревая, он шел со стороны хозяйских построек неторопливой походкой, подставив морщинистое, маленькое, похожее на кошачье, лицо солнцу. В длиннополом мухояровом кафтане предсказатель казался повыше ростом. Одна пола кафтана волочилась по земле, другая была выше щиколотки: настолько один бок был ниже другого. Самим им сшитые из свиной кожи отопки с соломенными подстилками легко снимались с ног и почти всегда стояли в углу, под крыльцом холопской двери. Не раз эти онучи утаскивали игривые щенки, но тут же их находили: всяк знал — это обувка Тимофея Архипыча.

Веселым лаем встретила его барская кудрявая болонка. Она заигрывала с ним, хватала за полы кафтана. Всегда ласковый к кошкам и собакам, он на этот раз шлепнул болонку по морде. От неожиданности собака взвизгнула, отскочила в сторону, обежала вокруг деревянной кадки и юркнула в щель многочисленных домашних построек.

Какое-то недоброе предчувствие сжало сердце юродивого. Возле крыльца, через которое он обычно заходил в царские хоромы, Тимофей Архипыч многократно перекрестился, снял с головы ветхую шапку с опушкой из облезлой рыжей лисы и во многих местах потертой канителью на тулье. Перед порогом рухнул, будто кто-то ударил его, на колени и пополз на четвереньках.

Прасковья Федоровна не видела этого, она была еще под впечатлением дикой драки карла с карлицей, и надо сказать, что эта сцена вызвала в ней чувство брезгливости. В ушах ее все еще стояли вопли Ягодки, хрип Всеволода и даже свой грозный голос: «Вон с моих глаз!»

Царица была набожной, строго соблюдала православные обряды, посты, исправно ходила в церковь, искренне молилась, по нескольку часов не вставая с колен. С щедрой милостью относилась к юродивым.

Прасковья Федоровна услышала, что в дверь скребется Тимофей Архипыч. Этот своеобразный шорох не шорох, скрип не скрип, стук не стук производил только он.

Пожалуй, впервые она обрадовалась, что в палатах не одна, что тут спальница, служанки ждут ее приказаний,

а она все не может собраться с мыслями. Присутствие за дверью подьячего беспокоило.

Она повернулась к красному углу с образами и горевшей лампадкой, перекрестилась:

— Слышу, слышу,— подавляя в себе душевное смятение, ответила Прасковья Федоровна и увидела почти у самого порога голову Тимофея Архипыча. Было впечатление, что голова его отделена от туловища и лежит у порога сама по себе.

Машинально схватив со стола колокольчик, она зазвонила. Ожидавший в коридоре камердинер остановился в нерешительности, видя возле покоев подьячего, просунувшего голову в приоткрытую дверь.

— Посторонись, Архипыч! — распахивая дверь, сказал камердинер.

Прасковья Федоровна, овладев собой, села в мягкое, обитое бархатом кресло. Постепенно приходя в себя, поправила на лбу жемчужную рясну, спросила:

— Царевна Анна еще не проснулась?

— Не ведаю,— ответил камердинер.— Девки-служанки в покои не заходили, спальница — не выходила.

— Ладно, иди.

Возле порога перешагнул через Тимофея Архипыча, удивляясь робости подьячего, буркнул:

— Да ужо ползи!

Опираясь на сухие ладони с длинными пальцами, Тимофей Архипыч полз к ногам Прасковьи Федоровны, опустив голову с обозначившейся плешиной на макушке.

— Чего уж ты этак, Тимофей Архипыч? По двору шагал — грудь колесом, мужик мужиком, а тут... смотреть на тебя жаль. Надо чтить хозяйку, но не в такую же скотину превращаться. Разве я требую от тебя этакого? Даже убогие карлы так лбом о пол не бьют,— сухо говорила Прасковья Федоровна.— Или грехов много?

— Много, царица,— еле слышно ответил подьячий, с трудом подняв голову. Все лицо его было залито слезами.

— Ладно ли с тобой, Тимофей Архипыч? — дотрагиваясь до костлявого плеча, спросила она.

— О, нынешней ночью видел сон: быть в нашем доме высокому гостю. Сильно высокому.

— Не государя ли ты видал во сне? Не его ли? — сказала и замерла, удивленная пророчеством подьячего,

и все разговоры о неблаговидных его делах враз забылись, будто тоже являлись во сне. Но все-таки промелькнула мысль: «Подьячего бойся и лежачего».

— Кому мы нужны теперь в нашем захолустном Измайлово? Вот государь Петр Алексеевич находил время сюда наведываться, а теперь и не знаю, чего творится в царских хоромах. Младенцем-то теперь крутят-вертят. Вот и Меншикова Александра Даниловича свалили да в ссылку сослали, а уж он истинным столпом был при государе. Так по одному выведут русское дворянство.

Тимофей Архипыч глубоко вздохнул, поерзал на персидском ковре, сел, поджав под себя ноги, слушал, когда выговорится Прасковья Федоровна.

— Ладно, еше в милости у государя была, за ним как нитка за иголкой. Как бы я без его милости и внимания? Девчонки мои после отца одна меньше другой были. Екатерине — четыре года, Анне — три, Прасковьюшка еше в зыбке качалась. Да чего я тебе рассказываю? Слышал-переслышал. А не устану повторять. Человек должен добро всю жизнь помнить. Кабы не он — не справиться мне было б с жизнью. Разве сорвалась бы с места? А не прогадала, когда оставила Москву. От царя в дар дом получила в полную собственность на самой Петербургской стороне, на берегу Невы, близ Петрова дома. Да чего это я тебе говорю? — спохватилась Прасковья Федоровна и украдкой посмотрела на Тимофея Архипыча. Он, обратив внимание на царское одеяние, сидел в задумчивости: «К обеду снарядилась. С неделю как дочь ее Анна из Курляндии погостить приехала. Теперь, как в разлуке стали жить, друг другом не налюбуются, а то тоже как кошка с собакой. Анна-то вся салом заплыла. Спит денно и ношно».— Подьячий от греховных мыслей весь сжался, незаметно просунул руку под полу своего кафтана и больно ушипнул себя, думая, что это не его мысли, а черта. Зашептал молитву.

— Помнишь, как свадьбу Анне справляли в палатах князя Меншикова на Васильевском острове?

Тимофей Архипыч не понимал, о чем говорила Прасковья Федоровна. Все плыло перед глазами, качались стены, окна, двери, хозяйское кресло и хозяйка вместе с ним.

— В полотняной походной церкви обряд венчания проводил архимандрит Феодосий Яновский. Ох и пир был, воистину на весь мир!

«С этого и околел жених!» — опять шепнул черт на ухо Тимофею Архипычу. Лицо подьячего побледнело, он приткнулся головой к ножке кресла, не в силах что-либо ответить хозяйке.

— А помнишь, как государь тут же устроил свадьбу карла Ефима Волкова? Помнишь, сколько карлов было выписано на это торжество? Их свозили со всей России.

— Семьдесят две особы! — Тимофей Архипыч почувствовал, что кто-то словно опять подсказал ему.

— Семьдесят две особы! Боже ты мой! Какое торжество устроили — не описать. В церкви Петропавловской крепости то венчание было.— В словах Прасковьи Федоровны прозвучала злоба.

«Все про карлов да про карлов. Неужто что про Ягодку проведала?»

— А подьячему и на том свете хорошо: умрет — прямо в дьяволы,— вдруг подал он голос.

— Какие слова говоришь, Тимофей Архипыч, при святых ликах? — наклонившись, строго сказала Прасковья Федоровна и ужаснулась: глаз подьячего закатился под лоб, и на царицу смотрел только белый овал с красными прожилками, что придавало искаженному лицу неописуемо страшный вид.

— Лекаря сюда! — закричала Прасковья Федоровна.

Спальница выбежала в коридор, позвала камердинера.

— Гость, что вскорости прибудет сюда,— не жилец на земле. Возле смерти ходит. По самому краю! По самому краю! — шептали искривленные губы предсказателя. Он безжизненно повалился на пол.— Помрет. Помяните мое слово. Сон видел. Мои сны вещие,— елва расслышала Прасковья Федоровна последнее бормотание юродивого.

В коридоре послышалась беготня.

— Царевна Анна проснулась! Обед подан! — с поклоном, в нарядном зеленом кафтане с широкими обшлагами, сказал слуга, посторонясь.

Тимофея Архипыча вынесли из покоев Прасковьи Федоровны, которая и не предполагала, что ее предсказатель отдал Богу душу.

Глава пятая



Интерес Андрея Ивановича Остермана к измайловской поездке императора насторожил князя. «Эта хитрая бестия не станет без умысла интересоваться охотой,— думал Алексей Григорьевич, возвращаясь с бала.— Не иначе, что-то задумал. Кабы не подговорил кого. Кабы там Ивана не изувечил».

Так думать о замыслах Остермана у него были все основания. Как-то граф Мясоедов во хмелю только и осмелился Андрею Ивановичу намекнуть на его любезное ухаживание за фрейлиной Леморой — через какое-то время исчез из дворцовых палат, как корова языком слизнула. Сказывали, в Сибирь был отправлен за какие-то денежные дела. А какие там деньги у Мясоедова? Он до тех дел и не касался. А уж что говорить про других — простых чиновников, на которых у него всегда была какая-нибудь зацепка. Да хотя бы тот же писарь Лев Петрович. Имел смелость в ссоре послать его к такой-то матери. И тоже из канцелярии — вон! И след потерялся.

Все знали, что Иван Долгоруков был лучшим дружком императора еще при Екатерине-матушке царице. Она с охотой назначила его гофюнкером в то время еще к великому князю. И не кто иной, как Андрей Иванович, бочком-бочком да и отодвинул его от юного Петра. Ан судьбе было угодно опрокинуть его планы. Пока Меншикова отодвигал от опеки над Петром, Долгоруковы-то, не лыком шиты, дулю ему к носу поднесли: Иван для императора стал закадычным дружком — молодость объединила, потехи и проказы молодецкие.

Слов нет, не хотелось самолюбивому Андрею Ивановичу терять свое опекунство. К тому же у него было законное основание — Указ, в котором четко было записано: не ослаблять своего влияния как опекуна, так как молодой император имеет малые знания в науках. Еще в июле 1727 года Верховный тайный совет утвердил для юного императора Петра расписание ежедневных

занятий по три-четыре часа. Кроме того, надлежало по средам и пятницам присутствовать на заседаниях Верховного тайного совета — учиться соблюдению регламента, государственным делам, постигать законы, по которым живет его великая Российская империя.

Малолетнего Петра нельзя было считать малообразованным для своего возраста, но был он обойден теплотой материнской любви, прощающей детские шалости. В трехлетнем возрасте он остался без матери, скоро лишился и отца, оказавшись на попечении сурового деда — Петра Великого, всегда занятого государственными делами, войнами, походами. Это сказалось на характере отрока. Он был замкнут по натуре, рано обнаружил в себе тягу к деспотизму и желание властвовать, не допускал пререканий и делал все, что хотел. Даже с высокими чинами разговаривал тоном властелина. Этому всему учил его Андрей Иванович. И уж совсем не ожидал он, что после опалы Меншикова придется ему зачитать Указ, в котором Петр освобождал себя от опеки Верховного тайного совета и становился полновластным императором. Все насторожились. Ликовали только Долгоруковы. Андрей Иванович заболел по-настоящему. «Отныне и до смерти он будет во власти Ивана,— охал Остерман, сидя на мягких бархатных подушках кареты.— Как заколдовал его Иван, тянется к Долгоруковым, к их охотничьим забавам, разным потехам. Меншиков умен был. Слов нет — умен. Сразу испугался влияния на юнца Ивана — отправил поручиком в поле. И быть бы ему там, в поле, этому Ивану! Но я сам, сам приложил руку к опале светлейшего».

В день издания Указа Иван уже был приглашен во дворец. Там Иван Долгоруков пал перед императором на колени и клялся ему в преданности.

После этого пятнадцатилетнему Ивану, по сути ничем не отличившемуся в ратных делах, было присвоено звание гвардии майора. Он тут же стал обер-камергером при императоре и был награжден орденами Андрея Первозванного и Александра Невского.

Андрей Иванович настолько пал духом, до того испугался, что готов был заживо лечь в гроб. Он заболел не теми болезнями, о которых знал весь царский двор: частыми головокружениями, обострившейся подагрой или появлением темноты в глазах,— на этот раз он заболел завистью к физической силе, смелости, ловкости,

которые свойственны истинно русским людям. Леса, просторы, охота на зверье и птицу, единоборство со стихией, выносливость в почти невообразимых условиях — все это было подвластно и присуще терпеливому русскому человеку. Он знал это по Петру Великому, не щадившему для блага России ни себя, ни свой народ. Остерман относил эти качества только к великому монарху, к его неукротимой натуре и силе, к неистовому устремлению во что бы то ни стало показать мощь России Европе. Петровские реформы с трудом приживались в российском обществе. Балы, ассамблеи, маскарады, пришедшие на смену соколиной охоте, охоте на дичь и зайца, на медведя, вроде тоже уходили сами собой. Все реже говорили уединившиеся в сторону вельможи об охотничьих приключениях и побывальщинах, связанных с охотой, все больше о походах, о строительстве Петербурга. Говорили о заграничных нарядах, париках, духах, музыкантах и амурных делах.

В этой среде Андрей Иванович чувствовал себя как рыба в воде. Шаркая по паркетному полу дворца подошвами модных башмаков, он с любезными поклонами подходил то к одной, то к другой уединившейся компании и всюду был принят с почтением и любезностью. Мог каждому дать совет, с кем-то поспорить, хотя сам в своей немецкой стороне и близко не бывал допущен к высокому обществу по своему скромному чину писаря.

И тут вдруг Андрей Иванович услышал, что князь Дмитрий Куракин купил и привез из Польши новую породу гончих собак и успел уже всласть поохотиться в своих вотчинах близ Воронежа.

— Боже мой, какой восторг испытал! В лесу воздух до того свеж. Нет, не свеж, а просто пьянит. Так и валит с ног, дурманит голову. Отлеживался в старой дедовской избушке,— услышал Андрей Иванович, но, пожав плечами, учтиво поклонился, зашел в танцевальный зал, прошелся с пожилой графиней Макаровой в мазурке, получив удовольствие от легкости ее движений и изящных па, которым научил ее привезенный для обучения танцам француз Моколье.

Откланявшись и незаметно сдувая с лица выступивший пот, прошелся по длинному коридору, мимо вытянувшихся перед ним камердинеров, стоявших возле каждой двери. Все они при такой должности носили

золотые ключи на голубой ленте при левой поясничной пуговице.

— Надо и на псарне, и в конюшнях побывать,— узнал Андрей Иванович хриплый голос Михаила Шереметева — сына прославленного фельдмаршала, род которого вел свою родословную с XIV века. Даже фамилия этого славного рода возникла от прозвища «Шеремет», что значит — кобыла. И великая привязанность и интерес к лошадям были престижными в этом роде. Находясь на важных постах государственной власти при Петре Великом, фельдмаршал проявлял подлинную любовь к лошадям. И даже в редких письмах не упускал случая упоминать о своих любимцах, а в письме к Якову Вилимовичу Брюсу писал о погибшей лошади: «Где мои цуги, где мои лучшие лошади: чубарые, и чалые, и гнедые цуги? Всех марш истратил: лучший мерин, светло-серый, пал».

Остерман вздохнул, поймав себя на том, что не знает этих русских занятий. И вдруг он понял истинную причину неуемной тяги молодого императора к воле, к лесным просторам, к охоте.

Подойдя к Михаилу Владимировичу Долгорукову, он услышал, что в нынешнюю ночь князь Алексей Григорьевич со всем семейством отбыл на охоту с привезенными из Германии гончими — посмотреть, как они будут гонять зайцев в российских лесах.

— Ныншэ? Вся семья? — на этот раз нисколько не стесняясь своего плохого произношения, каким-то не свойственным ему громким голосом переспросил он.— Катал шена? Сыны? Княшон? — спрашивал он и, как бы для большей ясности машинально перечисляя, загибал один палец за другим, унизанный драгоценными кольцами.

— А долго ли ему? Только свистнуть. Все наготове: лошади, упряжь, прислуга, собаки. Вот и новых гончих купил,— откровенно и спокойно ответил Михаил Владимирович.— Все Долгоруковы охотники отменные! И я не прочь, да поотвык. Егеря сказывают, Иван охотится в измайловских лесах.

— Так император там! — всплеснув руками, воскликнул Андрей Иванович. Лицо его вдруг стало бледным, длинным, аккуратный нос заострился, как у ястреба. Озлобленный вид дополняли широко распахнутые глаза. Они, оказывается, были у него зеленоватого цвета

с мелкими коричневыми крапинками. Андрей Иванович еле слышно простонал, но не так-то легко было ему утихомирить свой гнев.

— Да, быть может, всех взял с собой?

— Как не взял. И Прасковья Юрьевна говорила, что давно с Прасковьей Федоровной встречи не имела.

Остерман не мог больше сдерживать себя. Его единственным желанием было немедленно покинуть бал и уехать домой, где в тиши кабинета он сможет пережить эту весть.

Жена Остермана Марта Ивановна, а попросту Марфуточка, как ласково называл ее Андрей Иванович, как и все женщины, всегда интуитивно угадывала настроение своего супруга. Мало, что может скрыться от проницательного взгляда жен. По голосу, по жестам, по отдельным словам и даже по смеху они умеют определить перемены в своем суженом.

Как только Андрей Иванович перешагнул порог, она, отойдя шага два назад, всплеснула руками:

— Опять какую-то весть плохую узнал! Опять кто-то наплел что-нибудь на милого! Нет ему покоя! Поедом едят мужика, а он ли не служит? И не он ли все дела ведет? Всяк к нему за советом лезет, а чуть что не так — Остерман виноват. Он и при Петре-батюшке был как топор за поясом! А эти нехристи грызут и грызут милейшего моего Андрея Ивановича! — И, оттолкнув слугу, стала сама снимать с него шубу, приговаривая: — Ну их всех к лешему! На всех не угодишь. Не слушай их. На каждый роток не набросишь платок. Был бы ты у них не на виду да не подле императора — не глодала бы их зависть. В зал пойдем? Али я тебя в кабинет провожу да прикажу подать тебе, мое солнышко красное, пуншу, какой кипятит тебе Вильгельм, ягодок в сметанке принесут. А, быть может, и для сугреву подать, хотя и знаю — не любишь ты этих крепких напитков.

— На этот раз подай бургундского в кабинет,— стараясь казаться спокойным и веселым, ласково погладил он Марфу Ивановну по густым русым волосам.

— Не притворяйся. Все одно по глазам вижу — на душе-то кошки скребут.— Взяв Андрея Ивановича за руку, как берут матери обиженного ребенка, молча повела его по коридору в кабинет.

Поудобнее усевшись в свое излюбленное кресло с мягкими, потертыми подлокотниками, стал выщипывать

в нем ворсинку за ворсинкой бирюзового цвета бархата, скатывать ниточки в крохотные катышки и подолгу крутить их между большим и указательным пальцами. На какое-то время с умилением подумал о Марфуточке, еще и еще раз убеждаясь в верности спутницы жизни, в которой ему было любо все: и мягкий голос, и золотистые волосы, и чистота белого теплого тела, и запах, которым он не мог надышаться после не страстных, но по-особому нежных ласк.

Слуга нес на подносе все самые любимые яства, за ним торопливо вышагивала Марфа Ивановна, успевшая прихорошиться.

— Ты, Андрей Иванович, как маленькое дитя,— обиженно сказала она, взяв со столика четки и положив их ему в ладонь.— На кресло твое срам смотреть. Кто увидит, ужаснется: у канцлера Его Императорского Величества этакое позорное кресло! Завтра же заставлю обить новой тканью. С золотыми нитками. У Апраксиных уж вся мебель такой тканью обтянута, а ты не велишь, да этак нитки тянешь и тянешь. Глянь, на полу-то сколько узелков.

— Погоди, Марфутошка. Погоди. В нем хорошо тумать.

— Ну ладно, думай,— спокойно ответила Марфа Ивановна, не желая перебивать Андрея Ивановича, и только возле порога спросила: — Курта прислать?

Курт Шаубер служил в доме Остермана библиотекарем, был чрезвычайно образован и мог с закрытыми глазами отыскать любую книгу в библиотеке Остермана.

— Посову,— ответил граф, разглядывая вино в хрустальном бокале, будто что-то хотел увидеть. Возле порога радостно взлаяла левретка — маленькая игривая собачка, переданная в дар Андрею Ивановичу английским послом.

— Фу! — прикрикнула на нее Марфа Ивановна.— Фу! Хозяину не до тебя!

— Пустите ее,— сказал Андрей Иванович. Радостная собачонка подпрыгнула, как мячик, и враз оказалась на коленях хозяина, к которому успела привыкнуть, получая от него больше ласки, чем от всех других домочадцев, которым не нравилась ее неуемная прыть. «Толкоруковы, Толкоруковы! — стучало в висках Остермана после нескольких глотков бургундского.— К власти потбираются Толкоруковы!»

Он с трудом допускал мысль, что Алексей Григорьевич всей семьей поехал на охоту. А если так, то остерегаться его надобно, остерегаться.

Чтобы удостовериться в этом, Андрей Иванович подумал, что проще всего это получится у Марфы Ивановны. Какое-то время посидев в кресле, он позвонил. Приоткрылась дверь. У порога стоял камер-лакей.

— Марфу Ивановну,— не глядя, сказал Андрей Иванович.

— Чего, душа моя? — запыхавшись, спросила она.— Только тут была — молчал, и вдруг камер-лакей к тебе позвал. Чуть сердце не выскочило.

Андрей Иванович долго и пристально смотрел на жену, блаженно улыбаясь.

— Ну, чего надумал? Сказывай! Не зря же позвал так спешно.

— Ты сказывала, у Прасковьи Юрьевны появился красивый карнитур.

— Боже ты мой, об чем решил спрашивать!? Алмазные пуговицы, такой же работы перстень и золотые часы с камушками. Я все хорошо разглядела на старшей дочери Екатерине.

— А с какой стороны? С какой косударства?

— Да ты чего это, Андрей Иванович? С каких пор тебе пуговицы да перстни стали интересными? — громко засмеялась Марфа Ивановна.— На что это тебе?

— Подарок такой сделать хочу.

— Не мне ли?

— А кому же еще, душа моя! Не из Англии?

Марфа Ивановна удивленно уставилась на мужа.

— А может, из Германии или из Дании?

— Так почем я знаю эти страны. Услышу и тут же забуду. Нужда какая! Мало у меня разных каменьев да ожерельев!

— Узнать надо. Послы в разные стороны разъезжаются.

— Так я мигом съезжу к Долгоруковым. Прасковья-то Юрьевна все время навестить просит. У нее спину отсекает, так заодно нашу девку дня на три отвезу. Она помнет ей хребтину-то умеючи, позвонки перещупает — все как рукой снимет. Разве ты по мне не заметил? Тебе все говорить надобно. Я уж недель пять не охаю по утрам. Все наша девка из орловской деревни изладила. Ладно, я мигом. Пускай экипаж твой не распрягают.

— Поезшай, туша моя! — потянулся к Марфе Ивановне Андрей Иванович поцеловать в щечку.

Она быстро оделась, не забыла облачиться в новую бархатную епанчу, отороченную по подолу и рукавам баргузинскими соболями, приказала за ней же отправить в легком экипаже орловскую девку с необычным именем Доротея. Уже при выезде из ворот вспомнила, что не воспользовалась привезенными из Франции духами, но возвращаться не захотела, веря в примету: возвращение сулит неудачу.

Экипаж объехал Немецкую слободу, свернул вправо к мосту через Москву-реку. На улице было тихо и безлюдно. Первые морозцы подняли с деревьев птиц, спугнули бродячих собак, которые любили шнырять возле многочисленных торговых лавок, и только ветер мел, как исправный дворник, опавшие разноцветные листья. Поглядывая в окно кареты, Марфа Ивановна заметила, как во многих окнах вельмож, привлеченных стуком колес экипажа, зашевелились портьеры и занавески.

Выйдя из кареты, отряхнула подол епанчи. Ждать повозку с девкой Доротеей не стала. «Подождет в людской!» — подумала и направилась по широким ступенькам парадного крыльца.

Надо ли говорить, какое удивление отразилось на лице Марфы Ивановны, когда широко распахнувший перед ней дверь усатый привратник, поклонившись в пояс, тихо сказал:

— Хозяев нету дома. Кому изволите доложить?

— Княгине Прасковье Юрьевне,— испытывая неловкость, расстегнула верхнюю пуговицу на епанче Марфа Ивановна.

— Изволили всем семейством на охоту отправиться,— разведя руками, извинительно ответил привратник.

— И княгиня? И княжна? — недоумевала графиня. В ответ служивый человек подтвердил сказанное кивком головы.

— Она, Прасковья-то Юрьевна, из ума выжила, что ли? На дворе экая непогода. Хороший хозяин собаку не выпустит, а она на охоту. А еще сказывала, что у нее спина болит.

По широкой лестнице, устланной персидскими коврами, спускались при полной амуниции два камердинера. Безмолвно поклонились Марфе Ивановне, всем видом показывая — приглашения не последует.

— Дом-то вымер, что ли?

Ответа ни от кого из присутствующих не последовало. Графиня, как выстеганная, не дожидаясь, пока привратник откроет ей дверь, сама толкнула ее, но дверь оказалась на притворе.

— Совсем люди обезумели,— Марфа Ивановна, забыв о боли в колене, легко направилась к карете, но, увидев смущенную девку Доротею, крикнула:

— Поезжайте домой!

В карете долго не могла устроиться в мягких подушках, ерзала, поправляя подол, швырнула в противоположный угол перчатки, громко выдохнула, не находя подходящих слов и не зная, на кого направить свой гнев. «А Андрей-то Иванович разве не знал?» — мелькнула мысль, но она тут же забыла о ней, не желая подозревать мужа. «На охоту уехали? — фыркала Марфа Ивановна.— Брошь да алмазные пуговицы поехала глядеть! Часики!» — И если бы не безмерная любовь графини к своему супругу, она, несмотря на свою кротость, могла бы устроить в доме грандиозный скандал. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! — вздыхала она.— Вот у Долгоруковых привратнику можно носить и усы и, кажется, бороду! Им можно, а нам все нельзя!» — не зная, к чему придраться, опять распалялась графиня.

— Да скоро ли до дому-то ты меня довезешь? Не на охоту ли тоже захотел увезти? — закричала она кучеру.— Едем, едем, и все будто на одном месте топчемся.

«А наш-то старый слуга Тимофей сколько просил Андрея Ивановича позволить носить ему бороду — нипочем не согласился. Так и ушел Тимофей в деревню, в дымную халупу жить, а с бородой не расстался... В коридоре-то у Долгоруковых какой серебряный столик стоит, на нем ореховая шкатулка, зеленой медью окована. Такую только видела...»

Слуга прервал ее мысли, распахнув дверцы кареты, подъехавшей к дому.

До приезда жены Андрей Иванович с неохотой проглотил несколько ягодок клубники, позвал к себе библиотекаря, велел подать сафьяновую папку, в которой лежала небольшая книжица стихов знаменитого итальянского поэта Франческо Петрарки на немецком языке.

Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда мой взор те очи встретил!
Благословен тот край и дол тот светел,
Где пленником я стал прекрасных глаз!
Благословенна боль, что в первый раз
Я ощутил, когда, и не приметил,
Как глубоко пронзен стрелой, что метил
Мне в сердце Бог, тайком разящий нас!

Андрей Иванович с болезненным стоном откинул голову на спинку кресла, еще раз перечитал будто из потустороннего мира произнесенные поэтом слова и только на миг признался себе, что его миновала такая участь. И вообще, существуют ли на свете такие искренние исповеди перед всем миром? И насколько они искренни?

...Столь нежно петь еще не удавалось
Мне о моих страданьях нестерпимых,
Но милости я так и не вкусил.
Какую муку я в душе носил! —

прочел он на наугад открытой странице, и вдруг тупая, щемящая боль кольнула в левой стороне груди, ударила в спину, затуманила голову. Послышались быстрые шаги по коридору возвратившейся Марфы Ивановны.

— Так и есть, уехало все семейство! — со вздохом проговорил Андрей Иванович, окончательно расстроившись, но не убрал стихов с колен.

— Андрей Иванович! Что ты так побледнел? Не надоели тебе эти книжки? Сколько читать! Голова может треснуть,— она отшвырнула в сторону сафьяновую тетрадь.— Вижу ведь, что опять голову обнесло. Лекаря сюда!

— Не надо лекаря! — взял он за руку Марфу Ивановну.— Как Долгоруковы? Быстро вернулась.

— Совсем вся семейка сдурела. В такую погоду на охоту поехали.

Остерман сник и еле слышно сказал:

— По делу поехали.

— Какое дело? Какое дело! — искренне возмутилась Марфа Ивановна.— По первой пороше решили проверить борзых собак, ловчих для травли зверя. Привратник сказал: «Хорошие собаки, дерзкие, с гладкой шерстью, не в пример нашим — мохнатым».

— Кабы все были такие, как ты! — тихо проговорил Андрей Иванович.

— Что до сей поры в парике сидишь? Как в канцелярии. Слуга-то ослеп? И ты молчишь.— По-хозяйски сташив с головы Андрея Ивановича парик, она надела ему на макушку круглую шерстяную ермолку.— Винца-то испил? Ягодок попробовал?

— Ох, Марфутошка, Марфутошка! Кабы все были, как ты! А то вот и Прасковья Юрьевна на охоту поехала. Из любви к мужу.

— Да я за тебя, мой дорогой Андрей Иванович, не только на охоту — и в полымя брошусь. Только скажи! Великое дело — охотиться. Пусть они столько башками покумекают! Кто из них грамотней тебя? Кто? Как есть никто! В целом нашем царстве-государстве.— И такая легкость, такие любовь и вера были в словах полуграмотной графини, что Остерману стало не по себе. Он больше ни о чем не стал спрашивать супругу и попросил ее оставить его одного.

«Да пусть они вовсе не возвращаются с этой охоты! Пусть бы скупили всех борзых в Польше и Германии. Разве об этом болит голова? Там с ними молодой император! Царь России! Или не пример всем Петр Великий? Тоже в потешные полки играл по молодости, пока в годы не вошел. А потом? Что было потом! Всех поставил на колени. Всех! И своих, и Европу! А этот, если приглядеться, весь в него! То ли еще наворохает?! Господи, спаси и помилуй. А возле него Долгоруковы! Да они меня в порошок сотрут. Им ничего не надо — лишь бы русским духом пахло. А при Петре-то Алексеевиче царевич меня, истинного наставника, слушал. По шесть тысяч рублей платил. Знал Петр: готовлю властелина — будущего государя! Было от чего кружиться голове. Женят они его, женят! Им все русскую надо. Подговаривал Александра Даниловича Меншикова обвенчать юнца на иноземке, подыскали принцессу Брауншвейг-Бвернскую! Так он тогда меня такой оплеухой угостил, до сих пор щека ноет. Он свою корысть имел — дочь с царевичем обвенчать, а я, дурак, другого слова не скажешь, дурак, полез с советами. А эти — далеко ли ушли от Меншикова? Эти похлеще! И древнего рода! Бояре!»

Андрей Иванович был вне себя. Он потрогал вздувшиеся на шее вены и почувствовал, как запылали щеки. И как будто кто-то шептал ему на ухо: «Не егозись. В Сибирь угодишь!»

Марфа Ивановна, беспокоясь, предложила Андрею Ивановичу лечь в постель.

— Полегчало тебе, душа моя? — защебстала Марфа Ивановна.— А я у белошвеек была. Жемчугом мое платье расшивают — к новому обручению императора. Не может того быть, чтобы место царицы пустовало. Не допустят этого наши дворяне. Слыхивала на балу, будто какую-то немку для него привезти хотели. Имя говорили, да я запамятовала. Такой шум поднялся! Кто-то из Долгоруковых как крикнет: «Хватит нам этой немчины! Итак опоганили весь царский двор. Наши-то княжны одна краше другой». Я хоть поодаль стояла, а от крика вздрогнула.

То, что говорила Марфа Ивановна, только подтверждало грустные опасения Андрея Ивановича: прибрали Долгоруковы к рукам императора. Дочерей у них полным-полно. У одного только Алексея Григорьевича трое, и все в невесты годны.

— Значит, вся семья на охоту поехала?

— Как есть вся!

— Значит, умысел есть,— тихо ответил Андрей Иванович.

— Умысел да умысел! — бурчала жена.— Только и слышишь: умысел! Жить вовсе некогда, только и думай, у кого какой умысел. Все чего-то ждут. У всех тайные умыслы. Жили бы себе да жили. На балы ездить из-за этого не стало охоты. То ли дело при Петре Алексеевиче. Едешь на бал — радуешься. Какие танцы, маскарады. А ныне только и шушукаются, только про тайные умыслы разговор ведут.

— Пока нет косутарони, так и пудет! — ответил Андрей Иванович.

— Скорей бы обвенчали. Мало ли невест? Экие красавицы! Черкасские, Нарышкины, Салтыковы, Долгоруковы, Куракины, Макаровы, Шереметевы. Видел на последнем-то балу, когда император был, сколько их с маменьками приехало? Думаешь, зря? Тороплюсь платье сшить. Вернется с охоты, отдохнет да и объявит о новой помолвке.

В постель к Андрею Ивановичу Марфа Ивановна легла в шелковой рубашке изумрудного цвета и кружевном чепчике. Рука его уже лежала на подушке, готовая сразу же обнять и успокоить жену, которая, забыв обо всем на свете, сразу умолкла, припав губами к устам Андрея Ивановича.

— Видать, прихворнул, голубь мой? — тихо спросила она, не получая от мужа ответной ласки. Он нежно погладил ее плечо и поцеловал. Марфа Ивановна с жаром схватила его руку, притянула к губам. Большой перстень на указательном пальце, с которым ни днем ни ночью не расставался Андрей Иванович, зацепил прядку выбившихся из-под чепчика волос. Марфа Ивановна бережно коснулась перстня — дар самого государя Петра Алексеевича, украшенный двуглавым орлом с корундом, вздохнула. Он без слов догадался, о чем в этот миг думает супруга, тихо сказал:

— Полно, Марфутошка, полно. Што было, то прошло. Осталась память. Што прошло — уже тлен.— Произнеся слово «тлен», он вдруг с каким-то внутренним трепетом осознал смысл этого слова. Еще и еще раз повторил его мысленно. Тлен — безвозвратный конец всему.

— Ивану Долгорукову только девятнадцать лет, а он уже майор и при императоре обер-камергер,— проговорил Андрей Иванович, от чего Марфа Ивановна чуть не подпрыгнула на постели.

— Хватит, душа моя. Весь день только и думаешь про этих Долгоруковых! Да их в России полным-полно!

— Женят они его, женят! — будто не слышал он слов жены.— Не зря Алексей Григорьевич со всем семейством поехал. Не зря.

— Ну и пускай женят! На свадьбе гулять станем! — просто и спокойно отвечала графиня, прикасаясь теплой мягкой ладонью к волосатой груди мужа.

Всемогущий при царском дворе вице-канцлер Андрей Иванович Остерман был недалек от истины.

Глава шестая

Князь Иван спал плохо, хотя и был в таком возрасте, когда заботы мало одолевают человека. И все-таки размолвка с императором принесла бессонную ночь.

Не долго думая, он поднялся с постели, огляделся. Тускло горевшая в шатре одинокая свеча освещала только постель императора. Тот спал безмятежно, сладко посапывая. Чуть наотмашь лежала правая рука с перевязанным указательным пальцем, который он ошпарил кипятком из самовара. Лекарь, обомлев от страха, смазал крохотный ожог гусиным салом, наложил повязку.

Иван легонько свистнул, что было условным знаком для деншика, спавшего на полу, возле кроватей. Не подавая голоса, деншик стал одевать князя Ивана: натягивать шерстяные носки, теплое нательное белье. Скоро князь в сопровождении деншика вышел из шатра.

Ночь выдалась морозная: на землю легла пороша, траву и кусты посеребрило инеем. Мышка-полевка обозначила строчку-дорожку, прячась под кочку. И только следы царского караула вырисовывались темными плешинами.

Иван огляделся вокруг, чуть прикрыл глаза, восторгаясь божественной красотой мироздания. Морозец ополоснул лицо, будто кто-то провел по нему влажной ладонью. Откуда-то издалека долетал собачий лай. «Из заречной деревни»,— подумал Иван, любуясь преобразившейся за ночь округой. Захотелось крикнуть, послушать, как улетит эхо к далекому горизонту, но передумал, боясь побеспокоить сон императора.

— Выведи моего коня,— не оборачиваясь, приказал князь денщику.— Проскачу вдоль берега по первому снегу.

— Кого еще?

— Хватит двух сопровождающих,— сказал и, печатая на снегу след, направился к временным конюшням.

Под уздцы выводили каурого жеребца. Ременная упряжь и седло были чуть темнее.

В синем кафтане, украшенном шнурками с бархатными кистями, и в треугольной шляпе он походил на сказочного королевича. На охоте, рядом с императором, в скопище царской свиты, Иван мало отличался от других, если не брать во внимание его природную стать. А тут, на безбрежном белом поле, только слепой мог не восхититься его величественным видом.

— Гончих выводить? — робко спросил денщик.

— Каких гончих? Я только версты три проскачу вдоль берега — вспугну зайчишек да отведу душу в одиночестве.



По спине холеного жеребца пробежала мелкая дрожь от нетерпения. Он фыркнул, переступая с ноги на ногу. Гусары лихо вскочили в седла.

Каурый, почувствовав волю, сразу помчался. Топот копыт по подмороженной земле будил землю. Эхо улетало вдаль, за леса, пугая мелкое зверье и сонных птиц. Тонкий ледок хрустел и звенел под копытами лихо мчавшихся лошадей. Каурый несся во весь опор под легкое гиканье князя, не обращая внимания на сильно натянутую узду. Конь был молодым, малообъезженным и потому, почуяв свободу, в беге оказался неукротимым. Гусары почувствовали это, попытались обогнать разгоряченного жеребца или хотя бы прижать к лесу, но не тут-то было. На полном скаку конь вылетел на неглубокое, покрытое тонким слоем льда озеро, споткнулся. Князь перелетел через его голову и грохнулся на землю. Каурый стремительно удалялся.

Перепуганные гусары, пососкакивав с коней, подбежали к князю Ивану. Он лежал недвижим, с закрытыми глазами, распластав в стороны руки.

— Князь! Любезнейший князь! — один из гусаров пытался привести в чувства князя.

Второй, настегивая коня, несся к царскому шатру.

Узнав о случившемся, охрана протрубила в рожки и, оседлав коней, опрометью понеслась вдоль берега. Император, еле сдерживая слезы, в окружении свиты тоже помчался к месту падения князя Ивана.

— Пристрелить этого коня! Пристрелить! — потребовал император, узнав, что каурый, оставив хозяина, умчался невесть куда.

— Иван! Иванушка, друг мой! — соскакивая с коня, император бросился к другу.— Прости мои капризы, прости! Перед Господом Богом говорю: все обиды прошу! Только открой глаза, только посмотри на меня.

К подоспевшей карете князя несли на руках. Император придерживал голову Ивана. Сел вместе с лекарем в карету и до самого привала держал в своей руке теплую ладонь друга.

— Не оставляй меня, не оставляй,— шептал он, наклонившись над бледным лицом Ивана.

Страдания императора были искренними. Он еще не научился скрывать своих чувств.

Знаток охотничьих дел, князь Петр Сергеевич Нарышкин, будучи главным распорядителем всех охотничьих

приготовлений, организатором порядка и охраны императора, ответственным за проведение маршрута и состояние дорог, был в полной растерянности и не знал, что делать.

— Румянец у него на щеках,— осмелившись, почти шепотом сказал он, стоя за спиной Петра.— Не убивайтесь, Ваше Величество, поправится князь!

— Милейший князь Петр Сергеевич, как я боюсь потерять Ивана, боюсь остаться один! — уткнув лицо в распахнутый кафтан умудренного годами старца, сказал юнец император.

— Один-то, Ваше Величество, вы никогда не останетесь, но слов нет: старый друг — лучше новых двух.— Князь по-отцовски провел шершавой ладонью по густым волосам Петра, прижал к себе и чуть было не разрыдался сам, да крепко прикусил дрожащую губу.— С Божьей помощью все обойдется.

— Какое-то слово молвил князь Иван! — доложил лекарь, колдуя над распахнутым баулом со склянками.

— Вот видишь, живой! — сказал Петру Нарышкин.

Незаметно и скоро потерялась белизна утра. Поднимающееся солнце, большое, тяжелое, сумело скупыми лучами слизнуть всю изморозь и даже растопить тонкий ледок. Над землей поднимался не то туман, не то дымок.

Императорская карета сопровождалась отрядом гусар.

— Мой совет, Ваше Величество, лучше всего ехать в Измайлово. Как-никак, это царская усадьба. И недалеко,— посоветовал Нарышкин, стоя на подножке царской кареты.

— Делай, как лучше, князь,— услышал в ответ.

Поспешно менялись все планы. Нарышкин распорядился отправить в столицу всех иностранцев — любителей охоты, большую часть лошадей, всю псарню со всею прислугой.

Царский кортеж из нескольких карет в сопровождении гусар направился в Измайлово.

Хозяйские холопы издали увидели скачущих гусар и во весь дух помчались к царской усадьбе.

Прасковья Федоровна в эти ранние часы, нарушив свой распорядок, приятно беседовала с накануне прибывшим сюда со всем семейством Алексеем Григорьевичем Долгоруковым в небольшом изысканном кабинете мужа — сына царя Алексея Михайловича и его первой жены Милославской. Иван рос слабым и болезненным.

Нарышкины — родня второй жены Алексея Михайловича — обошли его и провозгласили царем тогда еще малолетнего Петра. Но тут взбунтовались стрельцы, и, во избежание новой смуты, Собор решил венчать на царство как Ивана, так и Петра. 25 июня 1682 года оба малолетних монарха были торжественно коронованы в Кремле, а 29 января 1696 года Иван скоропостижно скончался, оставив державу в руках своего младшего брата Петра, ставшего позднее Петром Великим.

Жену же Ивана Алексеевича так и величали — царицею, которой, как уже было упомянуто, жилось вольготно. После смерти Петра, когда стали происходить большие и непонятные перемены, вдовствующая царица притихла, не выезжала, сказывалась больной, но не упускала случая выведать все от высоких вельмож, заезжавших иногда в царскую усадьбу.

Алексея же Григорьевича она, как и весь род Долгоруковых, считала очень влиятельным человеком при дворе.

Яркое солнце высвечивало бесконечные дали, залив золотом и высокие стволы многолетних сосен, и комнаты усадьбы. Изумрудным ковром казались издали дружно взошедшие на поле озимые. И вся эта красота земли перекликалась с праздничной позолотой рам портретов царей и членов царской фамилии.

Прасковья Федоровна была в хорошем расположении духа, и ей не терпелось вызвать Алексея Григорьевича на разговор о неустойчивости власти, о неразберихе и нарушении вековечных традиций.

Алексей Григорьевич слушал Прасковью Федоровну, кроткую и набожную женщину, которая всю жизнь была тише воды, ниже травы и при жизни Петра Алексеевича крепко держала язык за зубами, будто и слыхом не слыхала, что делается в стране. И вдруг она заговорила не о жизни своего семейства, не о чем-то житейском, а о государственной власти.

— А уж после казни царевича Алексея — законного наследника — все пошло кувырком. Надо же было царевича приговорить к смерти, обвинить в государственной измене! И с какой это стати влезла на русский престол Марта Скавронская? Или загреб в свои лапы власть Меншиков? — Она отошла от окна, где они стояли рядом с Алексеем Григорьевичем. Взглянув в передний угол с иконой, усердно перекрестилась и произнесла

молитву Пресвятой Троице: «Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззакония наша. Святый, посети и исцели немоши наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй! — произнесла три раза, и продолжила: — Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

В кабинете воцарилась настороженная тишина, и только последнему «аминь» будто вторила, жужжа между рам, осенняя муха.

— Слава Господу, да многим простятся грехи за доброе дело — возведение в императоры истинного наследника — внука Петрова!

«Ну и Паруша! — вслед за ней осенял себя крестным знаменем Алексей Григорьевич.— Поди, уж пронюхала про мои намерения?» — подумал и еще раз перекрестился.

— У Петруши-то мать Шарлотта — тоже из немчины. Слова русского не знала и знать не хотела, да ладно, бабка у него крепкого русского корня да тетка — Наталья Алексеевна. Им славу воздать надо, ежели удержится малой у трона да русские порядки станет блюсти!

— Как это «удержится»? — вдруг с возмущением подал голос все время молчавший Алексей Григорьевич.— Коронован поди!

— О-о-ох! — протянула Прасковья Федоровна.— Да ныне все непрочно, яко лед на весенней реке. Того и гляди, проломится лед или оторвет льдину... Теперь дворянство должно взять силу.

— Тут ты права,— проговорил князь.— Умные головы твердо стоят за петровский «Табель о рангах». Теперь любому проявившему свои способности на ниве служения Отечеству позволено получить как личное, так и потомственное дворянство.

— Куда-то мы с тобой, любезный Алексей Григорьевич, полезли не в свои дела. Я язык распустила, ты уши развесил да вторишь мне. На что гончих-то столько приобрел? Да все ненашенской породы. Больших денег стоят. А царская-то казна уже пуста.

Алексей Григорьевич покачал головой.

— Все-то ты знаешь. Вроде вдали от столицы живешь, на балах не бываешь.

Прасковья Федоровна хохотнула и даже умудрилась подмигнуть князю: мол, знай наших!

И вдруг громкий, взывающий звук охотничьего рожка влетел в кабинет, от чего Прасковья Федоровна инстинктивно закрыла ладонями уши, в испуге уставилась на побледневшего Алексея Григорьевича.

— Император изволил посетить усадьбу! — заволновалась она.— Знала ведь, что идет охота где-то поблизости. Мужики сказывали, да не поверила.

«Как же так? — стучало в висках Алексея Григорьевича.— Нарышкин депешой сообщил: охотятся в этих лесах, но в усадьбу гостить не собирались! — Сердце екнуло: — Неужто беда какая приключилась? Не приведи, Господь!» — стараясь скрыть волнение, тихо сказал вдовствующей царице:

— Царь так царь! Или впервой видеть в своей усадьбе царей?

Прасковья Федоровна уже ничего не могла ему на это ответить, торопливо пошла по залам.

Звуки рожка расшевелили всю усадьбу, и она стала походить на муравьиную кучу. Заметалась прислуга, многочисленные карлы выскочили из своих облюбованных, обжитых углов, не зная, куда бежать.

Невообразимый лай подняли вновь привезенные гончие. Псари, не привыкшие еще к чужеземным гончим, не знали, как их утихомирить.

Гостившая у матери в Измайлово Курляндская герцогиня Анна Ивановна негодовала от собачьего лая, разбудившего ее. Она допытывала прислугу: откуда и для чего в усадьбе так много собак, но ни от кого не получила вразумительного ответа. Приехавший с ней погостить молодой красивый курляндец Эрнст Иоганн Бирон робко сообщил своей госпоже, путая немецкие и русские слова, что в усадьбу, кажется, прибывает молодой император. Она тут же приказала одеть ее, как подобает для встречи высоких гостей: нанести на лицо румяна, потуже затянуть талию ярко-красного, расшитого кружевами платья. Немало кряхтела и отдувалась. Когда натягивали корсет, успела несколько раз ударить по голове служанку. Та, по привычке, только сопела. Эрнст Иоганн ползал возле стола, собирая колоду карт, разбросанную герцогиней, оставшейся на сон грядущий «в дураках».

На этот раз Прасковья Федоровна не учинила дочери скандала по случаю приглашения незнакомца. Скорее всего, из-за того, что вместе с ним была жена Бенигна —

сухопарая, с тонким лицом и бойкими глазами. В первый день только сказала: «Не забудь, Петр Бестужев поставлен для тебя резидентом в Митаве самим государем Петром. Не вздумай подпустить к себе этого блюдолиза. По всему видно, невысокого роду-племени. Скорее всего — лошадник. Только и торчит возле лошадей».

Анна Ивановна тогда крепко рассердилась на мать, хотела было, как раньше, учинить ссору, да раздумала: мать была близка к истине.

К парадным воротам дворца вихрем скакали три всадника, в руках одного развевался царский флаг с черным орлом на золотом поле.

Прасковья Федоровна переступила порог только с помошью слуг: у нее подкосились колени и помутилось в глазах.

— Его Величество император Петр Второй прибывает в ваши апартаменты! — громко крикнул всадник, приструнивая разгоряченного коня.

Прасковья Федоровна в ответ не могла вымолвить ни слова.

Алексей Григорьевич по-молодецки спрыгнул с крыльца, допытывал одного из всадников:

— Где князь Нарышкин? Или еше кто-нибудь из вельмож? — На что служивые не могли дать ответа.

Торопливым шагом, в сопровождении слуг, среди которых был и Эрнст Бирон, на крыльцо вышла Курляндская герцогиня. Ощутив прохладу осеннего утра, поежилась, приблизилась к матери и, как бы от ее имени, изрекла:

— Великая честь лицезреть императора...— Но тут же сообразив, что не перед кем еше вести какие-либо разговоры, кинула взгляд на метавшегося в догадках о случившемся Алексея Григорьевича, который бросился было бежать по проезжей дороге навстречу, воротился, схватился за голову руками: что-то случилось, что-то там стряслось!

— Не станем кадать! — подойдя к князю, сказала Анна Ивановна. Князь уловил чужое произношение. Он пристально посмотрел на герцогиню. В ее черных, чуть навыкате, глазах было холодное спокойствие. Она думала о своем: «Каков же ты, русский император? Крохотным мальцом видела, зато хорошо знала твоего папеньку — несчастного царевича да мать Шарлотту: злую и худую, пришедшуюся не ко двору немку!»

И снова, будто в самое ухо Анны Ивановны, протрубил охотничий рожок. Она испуганно отпрянула в сторону, упершись ладонью в плечо подоспевшего Эрнста.

— О, Господи! — воскликнула она, то ли от звука рожка, то ли увидев выбегающих на дорогу молодых княжичей и княжон. Она еще не знала, что Алексей Григорьевич прибыл в усадьбу со всем семейством, с дороги отдыхающим в отведенных для него покоях. Один из княжичей бежал по дороге в туфлях с позолоченными пряжками, одетых на босу ногу, да и другие были спросонья. Больше всего ее удивили причитания княгини Прасковьи Юрьевны, шедшей к дороге в окружении дочерей. Светлейший князь Алексей Григорьевич, взяв себя в руки, поспешил к семье, стараясь успокоить ее, хотя в голове стучало: «Что случилось? Не просто же приехали проведать старую Прасковью? Хоть бы здесь девки были молодые, а то одна старее другой. На что им Измайлово? Не с бухты же барахты едут сюда?»

И, словно опомнившись, обернулся, увидел Анну Ивановну.

— Прости, герцогиня,— учтиво поклонился князь.— Глаза от волнения мороком застило. Встреча-то какая! Кабы не этот переполох, каким бы приятным стало наше времяпрепровождение в Измайлово! — Он дружески обнял герцогиню.

По дороге бежала упряжка, запряженная цугом. Форейтор едва сдерживал ретивого коренника. Рядом с форейтором сидел сам Нарышкин. У крыльца он спрыгнул с облучка и сразу пал на колени.

— Светлейший! — протягивал он трясущиеся руки к небу.— Сынок ваш, Иван, упал с лошади, зашибся.

— Государь где? — еле сдерживая отчаяние, спросил Алексей Григорьевич громко. Вдовствующая царица и все вокруг затаили дыхание.

— Бог милостив! — воскликнул Нарышкин.— В карете он, с вашим сыном.

Безутешно плакали княгиня Долгорукова и княжны.

Распахнулись дверцы кареты, из которой первым выпрыгнул император и, ни на кого не глядя и не оборачиваясь, следил за тем, как из кареты на руках выносили князя Ивана.

— Поправится он. Поправится. Уж два слова молвил,— утешал княжну император, держа за руку князя Ивана.

Анна Ивановна, удивленная таким ласковым обращением императора к княгине Долгоруковой, не находила слов.

— Это весь долгоруковский выводок? — с нескрываемым раздражением вдруг спросила она.— Обуздают они нашего государя. Обуздают. Княжон-то сколько!

— Самая главная красавица — Катенька! — бойко ответил Анне Ивановне кто-то из слуг Долгоруковых.

— Зер гут! Зер гут! — услышала герцогиня голос Эрнста, сразу же обратившего внимание на стать молодой княжны, на ее соболиные брови да косы до пояса.

— Весь царский двор прочит ее в невесты императора.

Анна Ивановна уже не заметила, кто это говорил.

— Долгоруковы царствовать зохотели,— сквозь зубы процедила герцогиня. Она хотела было уйти с крыльца, но красивый курляндец попридержал ее за локоть.

Глава седьмая

Главный распорядитель в измайловском хозяйстве Захар Иванович Богомолов, благообразный, чуть сутуловатый человек, во время прибытия гостей всегда стоял чуть поодаль от Прасковьи Федоровны, не спуская с нее глаз, будто нарочно спрятанных под густыми, нависшими бровями. За годы службы он привык понимать хозяйку с первого взгляда, с малозаметного жеста.

— В государевы палаты! В государевы палаты! — спешно распоряжался он, то и дело низко кланяясь. Толпа повиновалась его жестам и голосу, расступилась.

Догадливая жена Богомолова быстро сдернула с головы шерстяной плат, расстелила под ноги выпрыгнувшего из кареты императора. И, пока слуги вытаскивали из чуланов цветные самотканые половики, чтобы быстро устлать дорожку к крыльцу, каждая фрейлина и служанка княжон Долгоруковых и сама княгиня расторопно сдергивали платки и устилали ими землю.

— В государевы палаты! — повторил Богомолов, когда из кареты с помошью денщиков вынесли князя Ивана и на плечи императора легла его рука. Княгиня со слезами на глазах попыталась было обнять сына, но Захар Иванович решительно отстранил ее.

— В государевы палаты!

В государевых палатах никогда не царствовавшего Ивана Алексеевича после его смерти никто не спал, но слуги, как и при жизни его, содержали их в заведенном в этом доме порядке: тщательно протирали и чистили мебель, начищали до блеска рукоятки висевших на стенах сабель, клинков, серебряные и позолоченые шандалы, рожки, подсвечники, стоявшие на столах кубки, шкатулки. Еженедельно перестилали постель, меняли спальное белье.

Прасковья Федоровна приходила в хоромы мужа только по большим церковным праздникам, в сопровождении фрейлин, садилась на какое-то время в кресло мужа. В первые годы всякий раз рыдала до изнеможения, так что камердинерам приходилось выводить ее под руки. С годами боль и тоска по мужу притупились, а уж после переезда в Петербург, в редкие приезды в Измайлово, царица уже как бы для очищения совести в первые же часы шла в палаты, но была там недолго и, молясь, выходила с чувством тоски и одиночества.

Коленопреклонная толпа только кроткими взглядами наблюдала за медленными шагами императора, шедшего за походными носилками с низко опушенной головой.

Говорят, плохие новости не лежат на месте, а уж то, что на царской охоте случилось какое-то несчастье, вмиг облетело столицу. Но толком никто ничего сказать не мог, кроме одного: кого-то сбросила лошадь. Скорее всего, это могло случиться с князем Иваном Долгоруковым. «Если этот отпрыск Долгоруковых расшибся — не велика беда. Как бы с императором чего не приключилось. Опять начнется кутерьма. Да когда ее не было в этой России?» — Остерман только что явился во дворец и заметил смятение высокопоставленных особ, заказавших экипажи ехать в Измайлово. Топот копыт, гиканье, окрики форейторов — трудно было что-то разобрать в этом шуме.

— Ваша светлость, Андрей Иванович, вы едете? — спросил Остермана князь Черкасский и, не дожидаясь

ответа, добавил: — Ведь сразу же переворот случится, коли какая беда с императором. У дворцового подъезда в карауле солдаты Преображенского полка. Все уши востро держат, да разве правду скажут. Поди, сам император захлестнулся, а говорят об Иване Долгоруком. Тут все на кофейной гуще затворено и замешано.

— Скорей всего, об Иване коворят,— ответил Андрей Иванович, почесывая в затылке под париком. Ничего не сказав Черкасскому об отъезде, зашаркал подошвами в свой кабинет.

«Кто тебя поймет: горюешь ли ты, радуешься ли? Что тебе наши заботы и печали?» — вздохнув, подумал князь. «Сердце чувствует,— отметил про себя Остерман,— беда с Иваном. Все знают, что на лошадях по всему городу носится, да и по ночам нередко скачки устраивает».

— Хоть бы уж все обошлось,— стонал почтеннейший князь Голицын.— От тоски по Ивану наш император захворать может. И надо же иметь такое пристрастие к охоте!

— Есть в кого! — добавил шедший с ним граф Головкин.— Прадед-то Петра, Алексей Михайлович, так тот, сказывал отец, более трех тысяч соколов да кречетов и других охотничьих птиц имел. Свыше сорока тысяч лошадей! И все только для охоты. А говоришь, к охоте пристрастился!

— Все едино, ехать в Измайлово надо.

— Как же! Как же! — ответил Головкин, прищурив подслеповатые глаза, кому-то помахал в окно рукой. По-видимому, готовому в дорогу экипажу.

— До встречи,— сказал на ходу, не сомневаясь, что и граф вскоре появится в царской усадьбе Измайлово.

— Как снег на голову! — увидев в окно целый эскорт экипажей, призналась Богомолову Прасковья Федоровна.— Да ведь все такие важные особы, перед которыми не захлопнешь ворота.

— Да, да, любезнейшая Прасковья Федоровна,— согласился взмокший от беготни распорядитель.— Голова кругом — кого куда.

— Твое наиглавнейшее дело напоить да накормить гостей.

— Да и про Анну Ивановну забыть нельзя.

— Чего ее забывать-то? Не больно велика птипа,

видит, сколько свалилось дел. Заленилась там в своей Курляндии. Гости-то, гости-то, считай, все царство, а она с этим лошадником Бироном перешептывается. Я бы на месте его жены Бенигны...— Она не договорила. Богомолов показал взглядом Прасковье Федоровне на горбатенькую дочь Бирона.

— Она токо говорить по-нашему не хочет, а понимать все понимает, как наши охотничьи собаки.

В ответ Прасковья Федоровна только заливисто рассмеялась.

Фрейлины Анны Ивановны, узнав от жены Богомолова имена тех, кто приезжает в усадьбу, сообщили герцогине о каждом, и она поняла, что куражиться да фыркать она не вправе.

Пришлось снять красный платок, которым она любила повязывать голову, и заменить его эмалевыми рясками с жемчужным шитьем и такими же подвесками. Поверх сарафана приказала надеть просторный и широкий летник со свободными рукавами и зеленой бархатной тканью по полу. На жену Бирона посмотрела хмуро, и та тут же скрылась за дверью в спальне. Оглядев себя со всех сторон, пошла, переваливаясь, как осенняя утка, к матери.

— Князь Иван испить попросил,— услышала голос Захара Ивановича.

Выходившие из экипажей важные государственные сановники били челом вдовствующей царице, не забывая целовать руку Курляндской герцогине. Все останавливались на широком крыльце, справлялись о здоровье пострадавшего, и каждый восхвалял Господа.

Экипажи все подъезжали и подъезжали. Многие приехавшие, устав в тряской дороге, заторопились в залы — посидеть возле каминов, поиграть в шашки и шахматы, любимые игры покойного государя Петра Алексеевича.

Между стоявшими на крыльце вдруг пронесся шепот. Все устремили взгляды на дорогу. Мчался очередной экипаж — шестерней. Не было сомнений, это был экипаж князя Никиты Юрьевича Трубецкого. «Теперь князь Иван сразу пойдет на поправку»,— ехидно сказала княгиня Волконская, имея в виду супругу Трубецкого — красавицу двора, дочь государственного канцлера Головкина.

«Занять бы пока, до появления императора, гостей

танцами. Да опять же, кто будет танцевать на голодный желудок,— рассуждала озабоченная царица.— Да и музыка сейчас некстати, все-таки в доме лежит больной. А все-таки жаль. И музыканты у меня отменные, и инструменты: фаготы, гобои, литавры, тарелки!»

Тут Захар Иванович шепнул ей на ушко:

— В окошко видел, как император с Иваном в шахматы играют.

— К чему этот маскарад? — вспылила Прасковья Федоровна.— Вся столица вздыбилась. Экипаж за экипажем мчат в Измайлово, а они...

— Но ведь это воля императора,— низко кланяясь своей госпоже, промолвил Захар Иванович, сожалея о сказанном.

— Ладно, воля так воля!

Подошла разнаряженная Анна Ивановна, положила ладонь на плечо матери:

— Подумаешь, упал с лошади князь Иван Долгоруков. Сколько Иванов себе лбы расшибают! А тут весь двор всполошился.

— Иван всем Иванам — Иван! Первый человек для императора, и поди с ним поспорь!

— Будь моя воля...— Анна Ивановна не договорила. В приоткрытых дверях в низком поклоне стоял Эрнст Бирон.

— Солнце высоко много-много. Роса сухой. Кони штут косяйку.

«Ну когда он научится говорить по-русски? Там, в Курляндии, ладно — дома. А тут, когда везде русская речь, хоть уши затыкай: «штут косяйку»,— краснея перед матерью, которая опустила голову и смотрела в пол, раздраженно думала Анна Ивановна, но ответила любезно:

— Не живи, как хочется, говорят у нас, а живи, как Бог велит.— На одутловатых шеках ее ясно обозначились две глубокие ямочки. И понятливый курляндец понял: намеченная на сегодня верховая прогулка с герцогиней по окрестным дубравам не состоится. Она не может пренебречь обедом в честь приезда императора. Бог знает, чем может закончиться царская немилость. Тут шутки плохи — можно угодить в монастырь!

Поцеловав мать, Анна Ивановна пошла в свои покои. Заставила ее вернуться в свои палаты зависть. Княгиня Анастасия Верейская вырядилась в легкую радужно-

и бросив озорной взгляд на Алексея Григорьевича, повела сибирского губернатора в танцевальный зал.

«Ишь ты, про Измайловский лес вспомнил. Пронюхал, в какой стороне император, и дни подсчитывает, готовится к встрече»,— подумал Алексей Григорьевич про Остермана, и у него опять заныл зуб.

— Ох, поди и надоело Ивану на этой охоте пропадать,— поделился он своими заботами о сыне.— К роскоши привык, да знает: отступи он от императора, дружков навалится к тому со всех сторон. Ими в Москве пруд пруди.

— Я тоже про то же думаю, да боюсь тебе вслух сказать,— призналась Прасковья.

Между молодым императором и Иваном произошла небольшая размолвка. Можно считать, по пустяку.

Как всем было известно, малолетний император не терпел ни малейшего непослушания. Иван же, на несколько лет старше его, имел привычку, по праву друга, делать ему замечания или даже посмеяться над какой-нибудь неловкостью Петра или промахом во время выстрела. Петруша вспыхивал, бросал в его сторону гневный взгляд. Иван сразу пускал в ход льстивые слова, начинал навеличивать юнца к месту и не к месту — Его Императорское Величество; на этом все и заканчивалось. А после очередной выходки, когда Петр настоял разбить ночлег возле красивого озера, чтобы на зорянке поохотиться, скорее по привычке, а не по злому умыслу назвал императора молокососом.

Петр стремглав выскочил из седла, с силой хлестнул кнутом гайдука, оттолкнул Ивана так, что у того слетела треуголка, и, не оглядываясь, твердым шагом пошел вдоль берега, срывая с низкорослых кустарников и бросая по сторонам пожухлые листья. Ивану стало не по себе. Сразу пришли на память слова, сказанные юнцом светлейшему князю Меншикову, о которых знали все: «Я тебя научу знать, что я — император, и хочу, чтобы меня слушались!» С этим и пришел конец карьеры великой в государстве особы.

Иван испугался, готов был тут же упасть на колени, просить прощения, но вовремя нашелся: приказал немедля всем кричать во все горло:

— Государь, вернись!

— О-су-дарь! О-су-дарь! — вторило эхо множеству голосов царской охраны и прислуги.

Иван знал: это понравится молодому императору.

Иногда Иван рассказывал юному императору, как много лет жил в доме своего деда Григория Федоровича, о дворе короля Августа II. Малолетний император со вниманием слушал эти рассказы, глаза его светились, и во всех поступках он хотел быть похожим на короля, предполагая завести при российском дворе такие же порядки. Особенно в том, как просыпался король. А просыпался бывший король Речи Посполитой, за которым Карл XII сохранил почетный титул, к полудню.

— Король встал! — оповещал первый камердинер.

— Король встал! — вторили гренадеры в королевских коридорах.

— Король встал! — оповещалась округа, и замок просыпался.

После Иван рассказывал подробности королевских причуд и развлечений. Петр млел и в порыве восторга обещал другу завести такие же порядки.

Перепуганный случившимся, Иван радовался, что нашелся, как исправить ошибку.

— Государь идет! — неслось по берегам и всей округе.

Петр возвращался, улыбаясь. Обида на друга прошла, но он все-таки ошпарил Ивана хлыстом, но то был государь, и Иван снес оскорбление.

На ночлег было выбрано место недалеко от села Измайлово — царской загородной усадьбы. В походном шатре был большой полог с балдахином, стояла кровать, на спине которой был вырезан двуглавый орел. И хотя от жаровен было тепло, старший спальник распорядился достать для государя одеяло из кызылбашской камки, подбитое соболями.

Село Измайлово было за рекой, примерно в версте от царского привала, но гончие вели себя беспокойно, часто взлаивали, потревоженные деревенскими запахами, приносимыми ветром, и отрывистым лаем деревенских собак. Псари торопливо кормили гончих, отдавали строгие команды, взмахивали плетьми, опасаясь, что их дружный вой потревожил сон императора.

Кровать Ивана, тоже роскошная, только без двуглавого орла на спинке, стояла чуть поодаль от Петра.

При кажущемся хорошем настроении молодого императора Иван улавливал в его жестах и взглядах раздражение. Предложил Петру посмотреть на поднятую из берлоги медведицу. Хозяйку леса, жирную и непово-

желтую бархатную шубку, подбитую соболями, на что все сразу обратили внимание.

— Принесите сюда ожерелье, да то, что из кожи, обтянутое парчовой тканью,— сказала она жене Бирона, неотступно ходившей за ней по пятам.— То, которое вышито золотом. Да гляди, не перепутай!

Та ринулась к двери, Анна Ивановна, обернувшись через плечо, добавила:

— Принеси еще епанчу изумрудного цвета с фигурными пуговицами из металла.— Бенигна остановилась, стала кусать дрожащие губы: — Как вижу, не поняла. Где тебе понять? Зови фрейлину Настасью.

Когда герцогиня осталась одна, сразу подошла к окнам, глядевшим в сторону парка. Сквозь прямую, прорубленную просеку увидела скачущего всадника. Не было сомнения, что это Эрнст Бирон. Только вчера они катались с ним до самого заката солнца. Багровый закат предвещал ветер и непогоду. Вспомнилось и то, как ловко со своего коня спрыгнул Эрнст, чтобы поправить на ее лошади попону, а потом долго и нежно не выпускал ее руки из своей, покрывая горячими поцелуями. Она чувствовала, как у нее начала кружиться голова и слабеть руки.

— Поскакали,— еле слышно произнесла и торопливо, почти на ощупь отыскала уздечку.

Она прижалась лбом к холодному стеклу, пристально вглядываясь в мчавшегося среди величественных, темных дубов всадника. Конечно, это был он. «Мой Бирон. С тобой бы сейчас была. С тобой. Скакала бы по дубравам на гнедом коне с гривой на левую сторону. Твой конь. Ты его подарил, Эрнст. Ты знаешь толк в лошадях. И хотя служишь в главных шталмейстерах, но только пока. Найдется место ко мне поближе».

— Епанчу изумрудного цвета? — переспросила фрейлина, приоткрыв двери.

— С фигурными пуговицами, выкованными из металла. Кажется, у московских графинь и княжон таких пуговиц нет.

Она снова вернулась к мысли, что не стоит вызывать неудовольствие у молодого императора. «Он здоров и молод. Долго придется жить под его зорким оком и всемогущей рукой».

Облаченная в изысканный наряд, она, как никогда, долго гляделась в зеркало и осталась довольна своим видом.

Ее позвали в зал, когда император был уже за столом. Анна смутилась, что грубо нарушила этикет. Выручила мать Прасковья Федоровна, громогласно заявив:

— Прости, государь. Прости меня, доченька. В суматохе запамятовала, что ты у нас в гостях.

На выручку унизительных для Анны извинений пришел колокольный звон измайловских церквей.

— Бог всех простит,— величественно подходя к Анне Ивановне, сказал Петр,— а пока идемте справить молебен за здравие моего верного друга.— Он взял руку герцогини, приложился губами к ней и крепко пожал ее, чего герцогиня вовсе не ожидала. Она была ошеломлена внешностью Петра. Высокий рост, плотное телосложение и приобретенный на постоянном воздухе и солнце красивый загар придавали мужественность его миловидному лицу, а от взгляда черных, необыкновенно живых глаз редкий не испытывал смущения. «Он не выглядит несмышленым юнцом и ведет себя как истинный император»,— подумала герцогиня и низко поклонилась Петру. Даже Прасковья Федоровна, зная своенравный характер дочери, была немало удивлена. «Не похоже на нее. Или грехов много заимела?»

У светлейшего князя Алексея Григорьевича на этот счет было другое мнение. Он просто вспомнил коленопреклонную Анну перед великим Петром Алексеевичем, который властной рукой бракосочетал ее с племянником прусского короля Фридриха-Вильгельма. И многим здесь присутствующим еще памятны те гулянья в Петербурге в палатах князя Меншикова на Васильевском острове. А архимандрит Феодосий Яновский сам совершал обряд венчания, по окончании которого произнес на латинском языке назидательное слово жениху: любить и беречь невесту — племянницу великого монарха. А какие были танцы! Первой парой был сам царь с царицей, второй — светлейший князь Меншиков с Анной. После герцог с сестрой царя, хотя все заметили: герцог еле стоял на ногах. Считай, с той поры многие из присутствующих не видели в столице Курляндскую герцогиню, но все знали, что она овдовела сразу же после свадьбы. По дороге в Курляндию, а точнее, в Митаву, в сорока километрах от Петербурга, на мызе Дудергоф, герцог неожиданно скончался. Съехавшиеся врачи, не сговариваясь, дали заключение: скончался

от неумеренного употребления спиртного. Так доложили Петру, который ответил: «Гниль! Сразу видно, не русского корня!» Овдовевшей же племяннице, не испытавшей радости и счастья замужества, повелительно сказал: «Жить станешь во владениях своего мужа». А кто мог противиться Петру? Слов своих Петр Алексеевич на ветер не бросал. На безутешные слезы Анны добавил: «Резидентом к тебе пошлю Петра Бестужева. Забот знать не будешь. Живи разумно. Приеду, погляжу...»

Алексей Григорьевич был под впечатлением любезной встречи императора с Анной и радовался, что та старее старой для Петра.

Во всех церквушках по округе шел молебен за скорое выздоровление князя Ивана Долгорукова. Так повелел император.

Идя под руку с Петром, Анна испытывала гордость. Быть может, ей чудилось, быть может, так хотелось, но от прикосновения его руки ей становилось теплее, будто какие-то внутренние токи касались глубины ее сердца. Помимо воли на глаза накатывались слезы. И никто во всем свете не мог бы объяснить их причину. В душе Анны перепуталось все: восторг, жалость к своей судьбе, зависть, умиление от сознания своей причастности к великому роду Романовых.

Глава восьмая

Перепуганный появлением императора, старый священник до молебна твердил как заклинание: «Благодарствую, государь великий! Благодарствую!» Робким, неестественно высоким голосом он начал молебен.

«Перепугался-то отец Иона как! Голос пропал»,— испугалась Прасковья Федоровна и перекрестилась.

Церковный хор пел, славя Отечество, родную землю и ее подданных. В эти минуты у каждого христианина затихает душа и каждый просит прошения за свое мирское житье, иша успокоения.

— Заступись, Божья Матерь, за раба Божьего Ивана,— пронесся над склонившейся толпой высокий голос епископа.

Священник мало-помалу приходил в себя, боязливо смотрел на юного царя и, разглядев в нем смирную, кроткую душу, успокоился. У отца Ионы отлегло от сердца.

В церкви стихло. Дым от кадил поднимался к потолку, плавал над Божьими ликами.

Многие вельможи, отстояв молебен, будто очистились от грехов и не прочь были возвратиться засветло в столицу, но присутствие за столом считалось делом обязательным.

Хозяйка усадьбы Прасковья Федоровна знала вкусы столичных особ. Только на этот раз распорядилась поставить на стол не заморские вина, как было принято в последнее время, а как любил Петр Алексеевич, когда наведывался сюда, романею — сладкую настойку на фряжском вине да оловину: брагу, пиво, мед. Начинал-то он с браги. Пил Петр Алексеевич красиво, всегда стоя, запрокидывал назад голову и налитый кубок осушал до дна. Потом какое-то время стоял, будто прислушивался, как содержимое кубка согревает все внутри, и только потом громко крякал, обтирая губы обшлагом, картинно поправлял короткие, торчащие усы и подмигивал присутствующим левым глазом...

На столе стоял цеженый мед, калачи крупитчатые. Появились и наливки разные.

Скоро на золоченых подносах разносчицы подавали куру жареную, лбы свиные под чесноком, почки бараньи, части реберной говядины, утку под грушевым взваром.

Со своего места поднялся Петр и, с превеликим достоинством поклонившись присутствующим, выразил благодарность за прибытие в Измайлово и за искреннее сочувствие его переживаниям по случаю несчастья, приключившегося с верным другом Иваном Алексеевичем Долгоруковым, которому с Божьей помощью становится легче. Ему был подан бокал, из которого при жизни пил только царь. Многих, конечно, удивило то, что юнец выпил кубок до дна.

Дмитрий Иванович Голицын, один из главных сторонников идеи сохранения старых российских порядков, поерзал на стуле, встретился взглядом с Алексеем Григорьевичем Долгоруковым, покачал головой, давая

понять, что пристрастие к Бахусу идет от его сынка Ивана. Дмитрий Иванович, в отличие от других, был без парика. Его длинные седые волосы волнистыми прядями доставали до плеч. Одет он был в охабень зеленого бархата, расшитый жемчугом. За столом же сидел в кафтане из ткани с голубыми разводами-травами, с закинутыми за спину длинными рукавами и кушаком с крученными кистями, на концах которых искрились малые яхонты.

— Да ниспошлют Ивану силы небесные скорейшего выздоровления,— сказал Голицын и посмотрел в сторону императора.

— Пусть придет успокоение Вашему Величеству да здоровья другу Вашему — сыну светлейшего Алексея Григорьевича да Прасковьи Юрьевны,— добавил боярин Арсентьев.

А по щекам вдовствующей царицы, торжественно восседавшей в своем царском кресле, безутешно текли слезы на глазах всего столичного общества.

— Простите, гости дорогие, — молвила она.— Мои слезы бабьи, а льются от воспоминаний о памятных днях. Да нижайше прошу простить меня, коли скажу кому-нибудь в неугоду: молодой-то наш наследник — истинный дед! Прости меня великодушно, Петр Алексеевич. Теперь хоть как, а вторым тебя называть станут. Сидишь на дедушкином месте, будто он помолодевший. Вот слезы сами и бегут. Считай, от великой радости видеть тебя! Не зря ведь сказывают: не было бы счастья, да несчастье помогло. Когда бы ты собрался в наше Измайлово?

Ох, уж эта Прасковья Федоровна! Умеет, умеет она обласкать царский слух. Не всякому это дано. Да все вовремя. Все, как говорят, в самое яблочко.

У Петра по обветренному, загорелому лицу пробежала легкая улыбка, пошевелились желваки, выдавая его волнение.

— Благодарствую за память, царица. Ласкают меня ваши слова, а еше больше заботят,— поцеловал ее в щеку.

Вслушиваясь в слова Петра, Анна Ивановна приподняла брови, угадав в кратких словах императора вполне сформировавшееся представление о ведении государственных дел. «Закрутит по-лопухински. Не жди добра. Так, видать, и коротать мне дни свои в Курляндии. Кабы Петр Алексеевич был жив!! — И тут она поймала

себя на мысли, что и этот — Петр Алексеевич и, как правильно сказала маменька, только второй».

В зале воцарилась тишина, но ненадолго. Выпитое вино делает человека другим, чем он бывает в обыденной жизни: у него появляются лишние жесты, многословие, одних одолевает сонливость, у иных проявляется буйный нрав. Да на то и хмель, чтоб забыться, отвлечься от повседневных забот. Только никому не дано в этот момент взглянуть на себя со стороны.

— Ну, кто-то родился на свет слишком молчаливым,— поглаживая пушистые усы, промолвил князь Трубецкой, и было замечено всеми, как жена подтолкнула его локтем в бок.

— А что? — повернулся князь к Наталье Гавриловне.— Я разве что-то лишнее сказал? Такая примета есть. Разве ты не знала об этом, душа моя?

Весь двор знал недостаток этого высокообразованного, красивого, светлого ума человека: чуть подвыпив, он пытался вовлечь в философские рассуждения собеседников, и хотя, если вдуматься, все, что он говорил, было верно, слушать никто не хотел.

— Может, домой поедем? — спросила Никиту Юрьевича жена в ту минуту, когда Петр что-то шептал на ухо Алексею Григорьевичу Долгорукову, подозвав его к себе.

— И то верно! — поддержал княгиню боярин Дмитрий Иванович. — Дорога не ближняя. Слава Богу, все живы-здоровы. Все свиделись, пора и честь знать,— отодвигая ногой кресло, он попытался было выйти из-за стола, но кто бы простил ему такую дерзость? А в это время император, взяв с собой князя Долгорукова, откланялся и вышел из-за стола.

У большинства прибывших экипажи были наготове, бывалые во многих дорогах кучера и форейторы умели выкраивать и для своего удовольствия время. Конечно, и в Измайлово вкусно поесть, попробовать медовухи да хоть маленько пощупать горничных и спальниц умудрялись.

Семка Толстобрылый вовремя посвист дал. Только один из вельмож на крыльце появился, а кучера, как надо им быть,— возле своих карет.

Только все собрались разъезжаться, как тут на середину зала выбежала привезенная из Курляндии Анной Ивановной дура-шутиха. Она сразу привлекла внимание своим одеянием. В длиннополом армяке, обшитом

по подолу золотыми кружевами, она начала кружиться, напевая какую-то песенку на чужом языке. Из-под армяка мелькал черный плисовый саян. Шлык набекрень, а на маковке вершка бубенчик серебряный. Звенел бубенчик, напевала частушки шутиха, Анна Ивановна одна хлопала ей в ладоши, подбадривая свою любимицу.

— Да сгинь ты, уродица! Чудо-юдо иноземное! — воротясь с крыльца, Дмитрий Иванович взял со стола блюдо со студнем и надел его на шапку с бубенчиком.

Карлица завизжала. Здоровенный камердинер в три шага очутился в зале, схватил ее под мышки и унес.

Анна Ивановна тяжело задышала, но, сдерживаясь, еще какое-то время шутила с повеселевшим князем Трубецким, однако порывалась оставить столичных гостей, уединиться, чтобы не наговорить кому-нибудь из них грубостей, как она могла это позволить себе в своем герцогстве.

В это время Нарышкин сообщил Алексею Григорьевичу, что его семейству придется остаться ночевать в Измайлово. Так распорядился император.

— И то верно. Куда в такую дорогу ехать Ивану? Еле-еле поднялся. Голова еще кругом идет.

— При чем здесь Его Величество и ваш сын? — неожиданно грубо спросила Анна Ивановна.

— Так как же? Так велено, — растерялся Алексей Григорьевич, не ожидавший от герцогини такого вопроса.

— Каждый сверчок знай свой шесток! — услышал в ответ.

— Это я-то сверчок? — надрывно закричал благообразный Алексей Григорьевич.— Мы, Долгоруковы, роду знатного и с конюхами в обнимку не хаживаем!

Анна Ивановна приостановилась и, не зная, куда деть полные, потные руки, поставила их себе на бедра.

— А Меншиков? Не конюх? — нагло смотрела она в глаза князю.

— Про то государя надо было спрашивать, а не меня. А уж как припомню, так и ваша светлость в его дворце изволили венчаться. С ним менуэты выплясывать.

И в кошмарном сне невозможно было представить, чего будет стоить светлейшему князю этот разговор. Какую цену возымеют эти дерзкие слова в скором времени.

Он обернулся по сторонам. Никто не слышал их перебранки, если не считать захмелевшего князя Трубецкого, старательно натягивающего лайковые перчатки. У него это плохо получалось.

Великая моя земля! Сколько бурь, огня и пепла пронеслось над тобой. Сколько пережил и будет еще переживать твой великий народ? Чем прогневал Создателя? Отчего сатанинские силы не оставят тебя в покое? Не оттого ли, что народ твой молчалив и терпелив? Но именно в этом и сила твоя, моя Россия. Не дают тебе завистники покоя, из столетия в столетие пытаясь поставить тебя на грань нищеты и унижений. Но не одолеть тебя сатане. Не даст Господь Бог поставить на колени Россию. Воспрянет она — порукой тому твой терпеливый народ.

Обширный двор царской усадьбы опустел. Экипаж за экипажем возвращались в столицу.

В осеннюю пору вечереет рано, а в сумерках любая дорога кажется длиннее. Клонит ко сну: на привезенных с Демидовских заводов рессорах карета качается, как зыбка на очепе, лишний раз не поглядишь в оконце, все равно уже не видно ни зги. Да и кучера приутихли, разве подъезжая к крутояру или оврагу, закричат: загигикают будто на лошадей, а больше для того, чтобы господа приободрились и не свалились с мягких подушек.

Все стихло в Измайлово, но присутствие императора в царских покоях нарушало обыденную жизнь.

Прасковья Федоровна помолилась усердно, прежде чем навестить Петра да благословить его на сон грядущий. Пошла в сопровождении двух, отвыкших от шумных компаний и потому попеременно зевающих старых фрейлин.

Камердинер доложил императору о приходе царицы. Каково же было ее удивление, когда юный Петр, будто сын, истосковавшийся в долгой разлуке с матерью, обнял ее, припал горячей шекой к ее щеке, шепча:

— Не забуду! Никогда не забуду. Благодарствую, Прасковья Федоровна.

— За что благодарствуешь? Ты теперь надо мной господин. Да только ли надо мной?

— Прости меня, царица Прасковья Федоровна. Прости! — винился Петр.— Не тебе ко мне надо было идти, а мне к тебе.

— О, сын мой Петруша, коли твое сердце это заботит, то великое благо. Без этого нельзя. Не про себя говорю. Ежели человек после своих дел оборачиваться умеет и память будить — все заметят.

Петр, не выпуская ее руки из своей, повел к накрытому столу.

— Нет, любезнейший Петр Алексеевич, Ваше Величество. Благословить тебя пришла на сон грядущий. Потом к тебе не будет доступа.

— Как так не будет? — удивился Петр.

— Не до меня тебе будет! Дел навалится столько, что забудешь, как и зовут вдовствующую царицу в Измайлово. Это я так, Петр Алексеевич, для памяти говорю, а садиться не стану. Сам знаешь, день какой хлопотный был! Столько народу, а я уж к тишине привыкать стала. Пойду я. Благословляю и благодарю. Дружку твоему доброго здоровья желаю. На том и раскланяюсь.— При своей тучной фигуре она умудрилась низко поклониться Петру в пояс и даже кончиками пальцев коснуться пола. Потом медленно, царственно поднялась и величественно вышла из покоев. «Добрый юнец»,— подумала, и губы ее задрожали. Почему-то вспомнились, пали на ум слова Тимофея Архипыча: «Тот гость, что вскорости прибудет сюда,— не жилец на земле. Возле смерти ходит». Прасковье Федоровне стало не по себе, и опять же подумалось: «Гостей-то ныне столько было! Может, он и не об императоре Петре Алексеевиче говорил? Экий тополек! Кровь с молоком. Бахус бы не подвел. В нем такое зло сидит!»

Фрейлины еле поспевали за взволнованной царицей, не решаясь ни о чем спрашивать.

— Спать! Спать хочу. Помолиться на сон грядущий и спать. И никого на глаза. Никого.

Двое денщиков кроме прочей охраны, парни из Преображенского полка, верой и правдой служили Петру. Они одни знали тайные разговоры друзей — юного Петра и его друга Ивана и их подружек. По одному взгляду знали, куда гнать лошадей, возле какого дома остановиться. Хотя бы недавний приезд к цесаревне Елизавете Петровне — тетке Петра, всего-то на пять лет постарше его. Она отличалась необыкновенной красотой, но была и необыкновенного поведения, шокировавшего степенных вельмож. И надо же было такому случиться, что император вдруг воспылал страстью к ней, что совсем не входило в планы Ивана Долгорукова.

Дом цесаревны Елизаветы поражал необыкновенной роскошью, которая изумляла иностранных резидентов. Но мало кому было известно, что капитала у нее не было: получая со своих имений около сорока тысяч рублей в год, она щедро раздавала их, в особенности вдовам солдат Преображенского полка.

Цесаревна всегда была украшением бала и других празднеств при дворе. Не без основания ее называли Венерой.

Глядя на денщиков, захмелевший Петр совсем по-юношески озорно им подмигнул, но денщики, получившие напутствия по службе, твердо помнили, кто перед ними, и не вступали в разговор, а только отвечали: «Слушаюсь, Ваше Величество!» Петр подошел к Ивану, который к этому времени смог с постели пересесть в кресло, постанывая и кривясь от боли в боку и голени, куда были приложены компрессы из каких-то пахучих настоев. Один из деншиков, прибывший на службу из Курской губернии, украдкой шепнул князю: «Лучше бы из мочи», на что Иван тоже шепотом ответил: «Дома сделаю, ежели не пройдет».

— Жаль, княгиня Трубецкая уехала, — присаживаясь к столу, сказал Петр,— премилая женщина: все-то у ней прелестно. Заметил, одета, в отличие от других, в темный наряд. И все по сторонам смотрела. Особенно на Алексея Григорьевича. Может, чего узнать хотела? Я не стал у всех на глазах устраивать с ней аудиенцию.

— Все правильно! — со вздохом ответил Иван.— А уж если совсем начистоту, то пора мне жениться. Хватит мужей сердить да славу себе наживать. Ведь не столько делается, сколько людьми сказывается. То отец проговорится, то мать, то Катерина какую-нибудь сплетню принесет.

— Может, и пора,— наполняя красивые чарочки, весело сказал Петр.— Так за кого же ты хотел бы поднять тост?

Иван скорчился от боли, но чарку, наполненную янтарным вином, не поставил, а пристально разглядывал узор и витиеватый родовой вензель.

— Рука устала держать,— прищурившись, сказал Петр.— Только молви: сватов тут же пошлем.

— Как ты смотришь на Наталью Борисовну Шереметеву?

— О-о! Когда ты успел при наших похождениях заметить эту скромную девушку? Я ее раза два только и видел на балах.

— То-то,— ответил князь.— Кроткая. Рано осталась без отца.

Император одним махом выпил содержимое чарки. предварительно чокнувшись с другом, сложил руки крест-накрест.

— Такую любить и жалеть надо,— проговорил он и долго сидел в задумчивости, быть может, вспоминая свое сиротское детство.

— Шереметевы очень богаты, кроме всего,— тихо сказал Петр.— В Сенате докладывали о российских богачах за много лет, так после Меншикова самым богатым считается род Шереметевых.

— Не в богатстве дело,— ответил Иван.— Его хоть сколько будет — все мало! Такая у человека натура: чем больше имеешь — тем больше надо.

— Иван, я вроде в церкви княжну Екатерину видел? Не померещилось? — будто спохватился император.— Рядом с твоей матушкой стояла.

— Тут они все,— ответил Иван. Душа заликовала. Сколько он сегодня думал о том, как бы Екатерину свести с Петром! Вроде вот они оба рядышком, а как и с чего начать разговор? Хотя знает Иван: истосковался Петр по царским дворам, балам, барышням. Два месяца на охоте, два месяца возле лошадей, псов и псарей, драгунов да денщиков! Вот и говори, что чудес не бывает. Разве думал, что тут отца встретит. Он новых гончих купил, откуда-то из дальних краев выписывал. Порадовать хотел, а вот как получилось.

— Княжна-то здесь? — допытывался император. Он размеренными шагами ходил по большому залу, со стен которого глядели портреты царей и цариц Российского государства.

— Да все тут: и маменька, и братья, и сестры. Даже младшую Анну в Измайлово привезли.

— Так отчего сюда Алексея Григорьевича да Прасковью Юрьевну не позвать? И княжон, конечно. Веселей будет.

— Поди, уж спать собираются,— сказал Иван и прикусил язык. Не время было ему отговаривать Петра от задуманного, говорил так, для порядка, хотя чувствовал, как стучит сердце.— Тогда и герцогиню Курляндскую надо звать.

Император фыркнул, махнул рукой:

— Еще ее здесь недоставало.

— Посылаю камердинера! Слово царское — закон!

«А вдруг да Катька заупрямится? Не пойдет, да и только. Я-то ее не мытьем, так катаньем притащил бы, ан перед отцом с матерью начнет ломаться. Она это умеет».

Алексей Григорьевич, как и предполагал Иван, не дождавшись от Ивана никаких вестей, собирался ложиться спать. Сыновья ушли в сопровождении слуг на псарню да разузнать у князя Нарышкина, как все приключилось с Иваном, а княжны только вернулись с прогулки по парку, нанесли полным-полно разноцветных дубовых листьев. Нянюшки снимали с их ног туфельки, приговаривая: «Поди, ножки застудились? Землица-то холодная да лужи кругом. Листья их закрывают, а вы, не знаючи этого, ступаете туда. И подолы промокли. Теперь бы в баню, погреться!»

Услышанная от камердинера весть — явиться всему семейству в царские палаты — в первый миг напугала светлейшего князя. Мало ли какая блажь придет? Смог же, считай, в одночасье, разделаться с Меншиковым. Тот и глазом моргнуть не успел, поди, до самого Березова думал, что случился с ним сон кошмарный. Почему-то камердинер сильно хлопнул входной дверью. Конечно, камердинер и есть камердинер, но все же! Вольность какая. Пуганая-то ворона куста боится. Да когда и кем я пуганый? — вскочил Алексей Григорьевич на ноги, позвал Прасковью Юрьевну и без всяких объяснений приказал:

— Одевайтесь все. Петр Алексеевич зовет.

— Мы в карты собрались поиграть на сон грядущий.

— Какие карты? Император в свои палаты всех приглашает. Разве можно отказываться?

Тут же появились дочери.

— А сыновья где?

— Где им быть? Одна теперь забава — гончие. На псарню ушли.

— Нужна им псарня, — вставила Екатерина.— Разве только Алексею, а Николай да Александр, точно знаю, к фрейлинам герцогини Курляндской ушли. Там братьев искать надо. Сама-то герцогиня с этим красавцем, который по-русски не говорит, на прогулку верхом на лошадях ускакала. Шутиха сказала, та, на которую

студень вывалили. Она вовсе не из Курляндии, а из Воронежской губернии, ее в подарок герцогине привезли и песни петь по-курляндски научили.

— Парни ладно, — махнул рукой Алексей Григорьевич.— Они в подоле не принесут.

— Да ладно, пойдем,— смиренно ответила Прасковья Юрьевна, угадав во взгляде мужа мольбу.— Время еще не позднее. Собирайтесь.

Елена захлопала в ладоши, а младшая робко спросила:

— И мне можно?

И только Екатерина вдруг разразилась смехом:

— Петр Алексеевич! Ха-ха-ха! Поди, опять под Бахусом Петруша?

— Ка-те-рина! — взмолился отец, поглядывая на двери.— Катерина, замолчи!

— Или не правда, папенька? Он за столом полон кубок осушил.

— За-мол-чи-и-и, — зашипел Алексей Григорьевич.— Здесь у всех стен уши есть.

Екатерина перестала смеяться, но все равно шептала:

— Петр Алексеевич! Петр Алексеевич! Нос у него еще не дорос!

— Экая дерзость! — всплеснула руками княгиня.— В монастырь угодишь!

Алексей Григорьевич гневно повторил:

— Собирайся! — И, чтобы не услышать вдогонку отказ Екатерины, вышел. «Такой случай! Такой случай! Вот бабы дуры: недаром говорят: волос долог, да ум короток. Этой дуре, считай, если ум будет, вся Россия в ноги кланяться станет, а она хохочет! Тьфу!» — Он спустился по крыльцу, которое выходило в парк. На небе не было ни одной звезды, темные тучи медленно плыли над вековыми дубравами. С остывающей земли волной подымался промозглый сырой воздух, покрывая легкой изморозью деревянный настил вокруг крыльца, но не касаясь посыпанных песком тропинок.

Младших дочерей долго ждать не пришлось. Они моментально надели накрахмаленные белые газовые платья с разными чехлами: старшая — в салатном, младшая — в розовом. Спальница Инесса быстро поправила княжнам локоны да украсила волосы букетиками. Княгиня, довольная младшими дочерьми, поцеловала их. Приоткрыв дверь, громко крикнула светлейшему князю: «Мы скоро придем!» — хотя сердце кольнуло

так, что в глазах потемнело. Села в кресло и молча глядела на Екатерину, которая, отвернувшись к окну, вглядывалась в темноту осеннего вечера. О чем думала она в эти минуты? Должно быть, яснее ясного понимала, что вечер этот для нее роковой: или она, вопреки сердцу, подчинится желанию родных и станет царской невестой, или так обозлит Петрушу, что окажется в каком-нибудь дальнем монастыре. «Боже милостивый, помоги! На тебя положусь. Какую дорогу укажешь — такой судьбе и повинуюсь».

— Собирайся, маменька, пойдем, а то император заждался.

Прасковья Юрьевна, не знавшая, как начать разговор с дочерью, упала перед ней на колени.

Екатерина не проронила ни слова, не просила ее встать, не обласкала ее нежными поцелуями, как раньше. Она знала, что станет невестой императора Петра Второго, и первый, кто оказался возле ее ног,— мать, княгиня Прасковья Юрьевна Долгорукова.

Глава девятая

На Екатерину напала оторопь. Показались вдруг правдивыми слова отца: «Здесь и стены имеют уши». Чувство тревоги, страха охватило строптивую девушку, но не хотелось подавать виду. Она подхватила под руку мать и долгое время молчала, будто прислушиваясь к чьим-то шагам.

— Лучше бы домой с Натальей Гавриловной. Она звала меня.

— Так и поезжала бы,— ответила Прасковья Юрьевна.— А коли не поехала, так чего об этом говорить. Завтра все дома будем. Иванушке чуть полегчает.— Она взяла руку Екатерины в свою мягкую теплую ладонь. «Какая холодненькая, — подумала княгиня, вздохнув.— Все младших лелеешь, а для тех, кто подрастает, все времени нет. Катенька-то первой дочерью была, изне-

жена, а после, как родилась Елена, про нее и забыла. Может, оттого она такая ершистая стала. Ласки ей мало. Как что не по нраву — отец ругает, как что не нравится — Иван кричит. Да и у меня не лишку сердечных слов для нее. Туда же, со всеми заодно: Катерина! Катька! А она кричит в ответ — защищается».

Прасковья Юрьевна не сдержалась, чуть приостановилась, поцеловала дочь в щеку.

Екатерина не отшатнулась, ничего не сказала, как ожидала княгиня.

— Как-то боязно тут. Мне все шорохи слышатся.

— Да чего это ты? Время-то не полуночное. Только вечер настает. Гляди-ка, вершины деревьев разглядеть можно.— Мать притянула руку дочери к своим губам.

— Не надо, маменька. Или я маленькая!

— Для меня все маленькие,— чуть слышно, сдавленным голосом ответила княгиня.

Между тем неприятное чувство, будто кто-то подглядывает, было небезосновательно. Шутов и карликов чаще всего держали в царских хоромах для подслушивания разговоров. Не важно чьих, гостей ли, разговора матери с дочерью, с прислугой, с фрейлинами. Не зря же у царицы Прасковьи Федоровны выработалась привычка, заходя в любую комнату, возле порога топать ногой и грозиться: «Кто там? За космы-то вытащу!» Но это действовало только на первом году пребывания. Проходил год-другой, и никто не обращал внимания на грозные предупреждения хозяйки. Разве что затаившийся в каком-нибудь углу или под столом, или под кроватью карл плотнее прижимался к стене и замирал.

Мать с дочерью и не могли подозревать, что в палатах княгинь уже давно сидела подосланная герцогиней Анной Ивановной старшая смышленая карлица Красуля, умеющая писать письма и научившаяся говорить по-немецки и по-польски. Пробралась она туда в то время, когда все были на званом обеде. Стоявших возле дверей камердинеров она умела обхитрить. Рассчитав их шаги, умеючи, бесшумно отворила дверь, юркнула в узкую щель. Она проползла на четвереньках под широкую кровать со стеганым, на лебяжьем пуху, теплыми одеялами, из-под которых виднелись широкие ажурные подзоры, связанные крепостными девушками,— в самый дальний угол, где лежала мягкая лопотина. Но, к удивлению Красули, место ее было занято.

Хозяйка дома тоже не дремала: послала свою карлицу — рыжеватую Краснобайку. Встретившись под кроватью, они чуть было не разодрались. Но старая Красуля оказалась мудрее:

— Я только до полуночи. Как все заснут — вылезу.

В это время распахнулась дверь, бегом вбежала младшая княжна в сопровождении двух нянек и стала весело рассказывать о маленьком жеребенке, пасшемся на поле, и о том, как пригожий князь Трубецкой брал ее на руки и переносил на лужок, призывая жеребеночка, и тот прибежал.

— Так мы видели это, Аннушка. Видели. Красивый жеребеночек.

— У нас на конюшне таких нет.

— Есть! Да еще получше!

— Нет! — капризничала княжна, притопывая ножкой.

Карлицы сквозь подзор разглядывали нарядные туфельки княжны и двух служанок, которые что-то говорили между собой. Старая Красуля приложила крохотную ладонь к уху, памятуя, что из разговоров фрейлин, служанок, спальниц можно узнать немало всевозможных тайн.

А в царской спальне на верхней полке шкафа уже сидел карл Капитон. Его, по приказанию царицы, затащил в одеяле сам управляющий усадьбой граф Захар Иванович. Еше звучали рожки, возвещающие приезд императора, а Капитон уже расстилал на полке одеяльце, приглядывался к замаскированной щели.

При жизни царя Капитон почти каждодневно сидел на этой полке. Но прошло много лет. Капитон стал туговат на ухо, да и неловок: спускался со шкафа уже не так проворно. Раньше-то как хорек был, а теперь... Сказал об этом хозяйке, всегда любившей его. «Капитона туда, да и только»,— строго распорядилась она.

— Это ведь не какие-нибудь маломальские гости,— сопротивлялся Захару Ивановичу Капитон.— Тамо денно и ночно будут денщики да спальники. Заметят они меня, прибьют, затопчут!

— Царицей велено! — прикрывая дверцу, сказал Захар Иванович. Немного отойдя, вернулся, проверил, как открывается дверца, и, оставшись довольным, ушел.

Не зря княжна Екатерина чувствовала себя неловко. Они шли по широкому коридору. Шаги тонули в мягких коврах, от которых тянуло лежалым затхлым духом.

Застелить ими пол Захар Иванович распорядился только утром. Расписные ковры были извлечены из сундуков и чуланов, куда их убрали после просушки на ветру в летние жаркие дни.

Камердинеры стояли навытяжку. Слуга распахнул дверь, и скоро послышался радостный возглас Петра. Он быстро подошел к вошедшим, сделал изящный поклон, поднес к губам вначале руку княгини, после — Екатерины. И хотя он был под хмельком, во всех его движениях, манерах чувствовалось воспитание, которого так недоставало большинству столичных вельмож. «Не зря, не зря старалась тетушка Наталья Алексеевна, духовный отец и сам Остерман, приглашая из-за границы учителей»,— мелькнуло в голове светлейшего князя Алексея Григорьевича.

Конечно, в общении с друзьями-весельчаками, на охоте, среди денщиков и драгунов некому было обратить внимание на талантливость Петра, да и сам он в какой-то степени старался быть в общении с ними попроще, но не допускал ни с кем панибратства. Даже с Иваном, знающим о нем все, существовала дистанция. Стоило Ивану нарушить ее, как тут же Петр поставил своего любимца на место.

Екатерина была смущена. Она встречалась с ним на балах, но смотрела на него всегда только как на императора. И не видела в нем истинного кавалера.

— Княжна! — устремил он на нее свои черные, чуть навыкате глаза, облизнул пересохшие, обветренные губы:— Вы воистину прекрасны! Вы образец русской красоты!

— Полно, Петр Алексеевич,— заливаясь румянцем, впервые назвала она его по имени-отчеству.

— Проходите! Садитесь в мое кресло.

— Как можно?! — вскричал князь, вскакивая со стула.— Ваше Величество! — Ему мгновенно вспомнился конфуз с Александром Даниловичем Меншиковым, который имел неосторожность в отсутствие юного Петра сесть в императорское кресло. Это тоже явилось причиной опалы.

— Не могу,— игриво ответила Екатерина и, чтобы смягчить неловкость, бойко села в кресло рядом с княгиней. «Умница, умница», — облегченно вздохнул Алексей Григорьевич, переглянувшись с Иваном.

— Садись, садись, Екатерина,— посоветовала сестре Елена, своей наивностью вызвав неподдельный смех.

— Елена! — грозно посмотрев на дочь, пригрозил князь младшей дочери.

— Я бы села и сразу стала царицей.— В палатах стало веселее и не так напряженно. Иван тут же принялся рассказывать анекдот из жизни польского короля.

Петр, по-видимому, уже многое знал о польских обычаях из рассказов Ивана, но не уставал слушать. Вдруг он пристально посмотрел на Екатерину, на князя Алексея Григорьевича и потупил взор. А быть может, он насторожился, прислушиваясь к топоту копыт.

— Это герцогиня приехала с прогулки с Бироном,— пояснила княжна Анна.— Я видела, как они еще совсем засветло ускакали.

Княжна не ошиблась. Это возвращалась Анна Ивановна со своим услужливым курляндцем Эрнстом Бироном, который все больше и больше завоевывал сердце герцогини своим преданным служением, а вернее — ухаживаниями. Анна Ивановна при всей своей подозрительности сама не замечала, как просто и доверчиво шла на любые просьбы Эрнста. Вначале ей было приятно, а затем стало потребностью принимать от него постоянные комплименты, которых она не слышала от других. Порой, оставшись одна, она понимала, что поступает опрометчиво, что не ее, герцогини, занятие кататься на лошадях в сопровождении конюха, но не тут-то было! Стоило Эрнсту появиться в дверях, как сердце ее вздрагивало и все уверения, что она больше не откликнется ни на какие его предложения, улетучивались, как дым. Она не могла устоять перед его красотой, силой, перед его пытливым взглядом.

Так случилось и в этот день после обеда. Эрнст заговорщически сказал, что кони уже выведены за конюшни и что они смогут объехать усадьбу так, что их никто не заметит.

Податливость Анны Ивановны давала повод смекалистому курляндцу вести себя с ней все решительнее и вольнее. Ему уже не терпелось окончательно покорить сердце герцогини, хотя он и не чувствовал к ней влечения. По своей природе он вообще не знал, что такое любовь,— он знал, что такое выгода. И на сухопарой Бенигне он женился только потому, что отец ее имел богатое имение и породистых и красивых лошадей.

— Потише, Эрнст,— попросила герцогиня, натягивая поводья.— Тише. Здесь император. Ему может не понравиться.

— Ах да! — согласился он, похлопывая по крутой шее коня. Соскочив с седла, он подал Анне Ивановне руку, придерживая поводья. Подождал, когда она поправит шляпу, подвязанную широкой лентой под подбородком, и они пошли рядом, ведя коня под уздцы.

— А что, Екатерина Алексеевна, может, и мы проскачем по дубраве? — вскакивая с кресла, спросил Петр и хлопнул ладонями, что означало: явиться деншику.

— Поди, поздновато, Петр Алексеевич,— в испуге сказал Алексей Григорьевич, хотя сердце его готово было выскочить от такого внимания императора к дочери.

— Разве это поздно? Да какая луна выплывает! Я прикажу подать княжне самого смирного коня. Можно, Алексей Григорьевич? Когда еще будет такая возможность? Там, в столице, только одни церемонии.

«Да он еще под хмелем! Не приведи Бог, что случится».— Иван побледнел от напряжения, глядя на отца, но, сдержавшись, пошутил:

— А нас одних оставляете?

— Вас так много, а я хочу похитить одну царевну! — весело сказал Петр.

— Не шути, Петр Алексеевич, такими словами. Екатерина — княжна, так ее и называть надлежит. Кто чужой услышит, подумает — насмешка. Мы-то свои, нам все слышится и нами все простится,— заметил Иван.

— Пусть говорят,— подмигнув Екатерине, сказал Петр.

— На дворе-то прохлада. Вызвездило. А коли звезды, то и прохлада,— вставила Прасковья Юрьевна и приказала принести для княжны новую шубку. Княгиня была несказанно рада, что совсем недавно сшила для старшей дочери яркую шубку, украшенную по рукавам и подолу дорогим горностаевым мехом и кованым серебряным кружевом.

— Так поедем, Екатерина Алексеевна?

— Поедем! — с вызовом и в тон ему ответила княжна.

Когда Екатерине принесли шубку и она, надев ее, показалась на глаза императору, он, не скрывая восторга, снова воскликнул:

— О, какое счастье, Екатерина Алексеевна, увидеть вас здесь, а не в толпе!

Прасковья Юрьевна, опустив веки, старалась не показать слез радости. «Царские речи сладкие,— думала княгиня.— Да пусть все простится ему. Во хмелю всякое сказать можно. Бог ему судья, а все одно приятно матери слышать это».

Петр, пожалуй, впервые в жизни сам, без чьего-то подсказа, выбрал себе попутчицу для прогулки верхом. Все было так естественно и непринужденно, без оглядки на кого бы то ни было! Опекуны, гувернеры, учителя, поставленные к нему с малолетства, хотя и обходились ласкою и предупредительно, но мешали ему быть самим собой. Всегда надо было слушать чьих-то советов. А душа просила воли. Петр быстро взрослел, и охотничьи забавы были единственным проявлением самостоятельности. Все похождения, пирушки с Иваном, посещения знатных подруг — не грели сердце юноши. Он уже понимал, что все для него было продумано, подстроено, подсказано. Он уже успел обручиться с Марией Меншиковой, но все это не находило его понимания. Все слышал одно: «Во благо!» И Петр старался делать все «во благо».

Трудно было разобраться и во всех семейных перипетиях, отношениях деда и отца.

Его все больше стала мучить мысль: отчего так жесток был дед по отношению к своему сыну? Отцу Петра. Эта мысль постоянно тревожила его. И совсем недавно, оставшись один и размышляя о своей дальнейшей жизни, дал себе слово — никогда не ссориться со своими детьми. Вечером, стоя на службе, он обратился к образу Божьей Матери и попросил у нее заступничества. У него впервые появились тревожные чувства, он впервые задумался о жизни. После снова приходили веселые, беззаботные дни, но, явившись раз, чувство тревоги уже не покидало его. Он стал задумчив, не всегда и не сразу соглашался с указами Тайного совета. Это первым заметил Остерман. «Надо быть поосторожней,— решил Андрей Иванович.— В делах он может стать покруче деда». Прозорливый и хитрый канцлер чувствовал, что постепенно теряет влияние на императора, а значит — и власть.

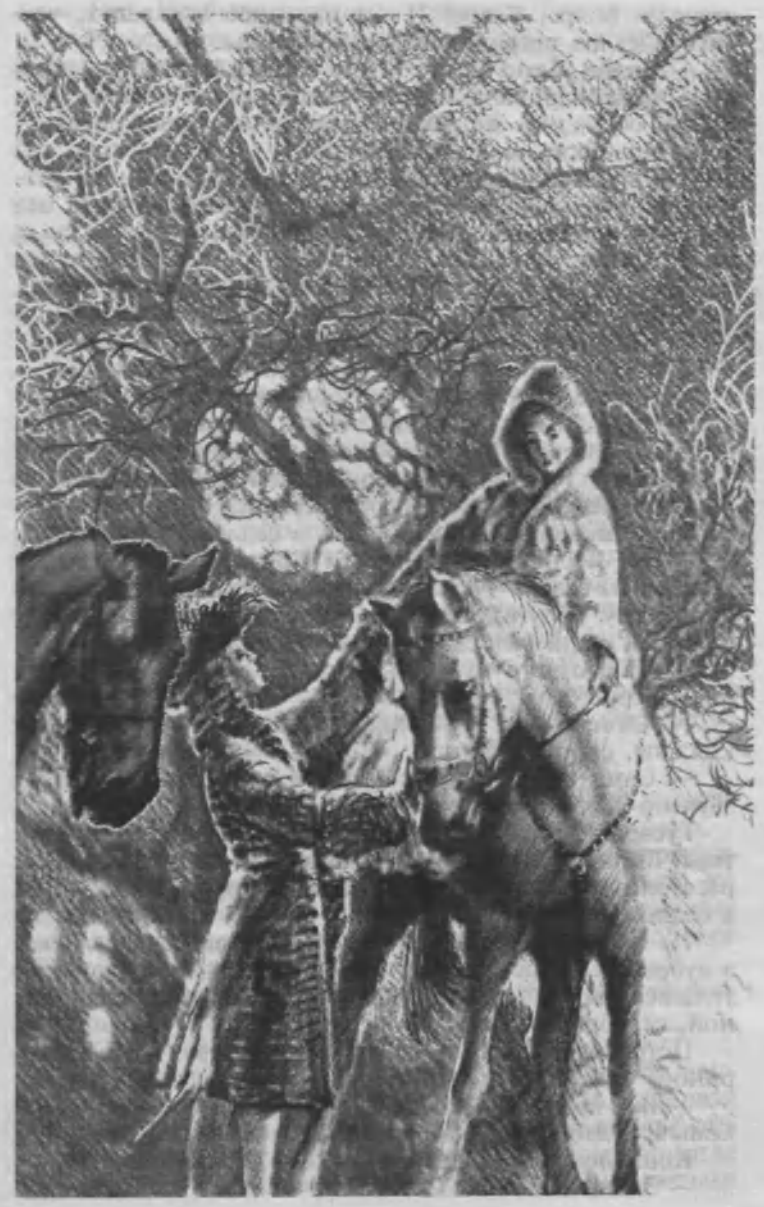
Из Измайлово вестей ждал с нетерпением. Приказал верст на десять поставить скороходов, чтобы успеть, как опытный шахматист, расставить все фигуры при императорском дворе. Главной его заботой и головной

болью было семейство Долгоруковых, которое оказалось на самой дороге Петра. И заботы его были не напрасными.

— Что там? Что там? — спрашивал он вельмож и сановников, возвращающихся из Измайлово. Узнав, что несчастье приключилось с Иваном, в первый миг перекрестился. От радости готов был облобызать каждого. Но когда от князя Трубецкого, всю дорогу проспавшего в экипаже, услышал, что император, встретившись с Долгоруковыми, решил остаться в царской усадьбе до следующего дня, остолбенел. Остерман больше других понимал: женитьба Петра на Долгоруковой означала полный разрыв с зарубежными связями и полное утверждение исконно российских порядков, возврат к старым обычаям, нравам. Не очень-то кручинился Андрей Иванович о процветании России и ее судьбе, но точно знал, что русские, не очень-то верившие в дела державного властелина и в перемены, а то и вовсе ненавидевшие их, спокойно могут выдворить из России всякого иноземца. «У них сбудется. Сбудется. У этого варварского народа все может быть. Этому Петр поможет». В висках вице-канцлера застучало, будто там, внутри, кто-то постукивал маленьким молоточком. И вдруг он заговорил с окружающими по-немецки, враз забыв все русские слова.

Марфа Ивановна, приехавшая с мужем, изумилась, вопросительно и с недоумением посмотрела на него, а потом несколько раз бесцеремонно дернула его за рукав кафтана.

— Я не понимаю тебя, Яган. Или ты с иноземными дипломатами разговор ведешь? Яган! Поехали домой. Поехали! — впервые в жизни она увидела своего мужа в растерянности. Никогда еще не было, чтобы Андрей Иванович не сумел совладать с собой. Даже в минуты гнева Петра Алексеевича он умел успокаивать себя, всегда боялся показаться разгаданным, а тут ослаб.— Поехали, поехали! Остановись, душа моя, — уже со слезами на глазах стала просить она мужа.— Что это ты все русские слова враз позабыл? — Она уже было уговорила мужа, но тут они услышали в стороне веселые разговоры князей Долгоруковых. Быть может, они говорили не об императоре и совсем не обсуждали, почему брат Алексей Григорьевич еще не вернулся из Измайлово, но в возбужденном мозгу Остермана назойливо



стучало: бояре, бояре! И он произнес это вслух, уже спускаясь по широкой лестнице дворца.

— Бояре, Яган! Бояре! Что с ними сделаешь? — ласково приговаривала Марфа Ивановна.— Считай, все братья собрались в столице. Только Алексея Григорьевича нет. Экие они, Долгоруковы! — бесхитростно говорила вице-канцлерша, не подозревая, что своими разговорами все больше убеждает Андрея Ивановича в необратимости случившегося.

Деншик доложил:

— Кони поданы.

— Хороша ли попона?

— Наилучшая, — не без радости ответил деншик.

При виде Екатерины — розовощекой, с золотистыми бровями, длинными косами — у Петра возликовало сердце: Екатерина без прикрас была хороша собой!

Алексей Григорьевич, пристально приглядываясь к походке Петра, пытался удостовериться в том, что император сможет уверенно сидеть в седле.

— Не беспокойся, Алексей Григорьевич, Петр не вылетит из седла, — смеясь, сказал император, пропуская Екатерину. Слуга, шедший впереди, приостановился, услышав сзади голоса. Это говорила Екатерина:

— Мне отчего-то боязно стало! — тихо призналась она Петру.

— Отчего же? — обрадованный доверчивостью княжны, спросил Петр.

— Сама не знаю,— услышал в ответ. Это было созвучено и его состоянию.

Гусары, всегда и повсюду сопровождавшие императора, были уже в седлах и находились на почтительном расстоянии. Петр подал руку, и Екатерина ловко села в седло.

Из-за леса им навстречу медленно выплывала луна, а дубрава казалась темной стеной, и только русло реки, упавшее на дно меж крутых берегов, светилось длинной, серебристой дорогой.

Петр подстраивал коня, чтобы ехать рядом с Екатериной.

— Все так таинственно. Слышно, как отдается топот копыт, будто кто-то скачет за нами на том берегу.

Кони понесли наездников вдоль берега.

— Значит, вы не ездили в ночи.

— Нет. Не было нужды. — ответила Екатерина.

— Разве, Катя, вы поехали по нужде? — машинально дернув поводья, спросил Петр.

— Нет, отчего же? — весело ответила Екатерина.— Тут все как-то загадочно, все не так, как при солнце, как днем. Даже звуки не такие.

— В ночи много тишины. Вы не находите, что сейчас вместо нас кто-то говорит нашими словами. Мне кажется, я все говорю, говорю вам хорошие слова. Вот прислушайтесь.

Екатерина в ответ засмеялась.

— Не слышите? — остановив коня, спросил Петр.

— Вроде как птица в лесу ухнула.

— Нет, птицы не слышу. Хотя... Что-то рано заухал филин.— прислушиваясь, сказал он. Топот копыт будил притихшие берега и терялся тут же, не улетая вдаль. Так же и слова замирали на устах, а Петру так хотелось слышать голос Екатерины. Он даже не мог себе объяснить, почему не может найти подходящих слов. И как могло случиться, что он позабыл их, а какие появлялись — казались нелепыми. «Быть может, оттого, что выпил два бокала вина? Так все бывало наоборот. После этого слова лились сами!» — мелькнула мысль.

— Катя, вы не разговариваете со мной? Отчего?

— Разговариваю,— услышал в ответ.— Я спрашивала себя, отчего нам не приходилось никогда разговаривать раньше? Все возле Вас такие дамы! Такие фрейлины! Дочери иностранных послов.

— Это укор?

— Не знаю. Только на балах к Вам никакой княжне не подойти. Возле Вас все рассыпаются в реверансах.

Петр остановил коня. Он не знал, как реагировать на слова Екатерины, в которых все было правдой, но которая была его подданной, а не всякой из таковых было доступно разговаривать с императором подобным образом.

— Извините, Ваше Величество,— быстро нашлась Екатерина.

— Отчего же, Катя, говорите.

— Все сказала,— дернув коня за уздечку, почти шепнула княжна и наклонила голову, пряча глаза. Ревнивая дерзость прозвучала в голосе Екатерины, но в душе она гордилась, что не струсила. Быть может, этому помогла темнота? Так или иначе, но между молодыми людьми

наступило молчание. У Екатерины мелькнула беспокойная мысль: «Как бы Петр не рассердился,— она инстинктивно боялась этого. Ей хотелось услышать от него простые, обыденные слова, однако она понимала разделявшую их дистанцию.— Отчего он молчит?» — думала княжна. Она видела, что император не управляет конем, опустил уздечку.

— Ваше Величество, я обидела Вас? — у нее дрожал голос, но Петр не заметил этого. Он все молчал.

Впереди маячили фигуры гусар, доносилось легкое ржание коней и посвистывание. Один, стегнув коня, подъехал к императору, доложил:

— Дале тропка ведет вдоль яра, Ваше Величество! Но чистая и ровная.

— Поскакали! — обрадованный, крикнул Петр, но, приостановив коня, пропустил Екатерину: — Легонько поезжайте, Катя. Я буду возле Вас. Скачите за гусаром!

Если бы было светло, она непременно увидела бы восхищенный взгляд императора и непременно догадалась бы, что, называя ее просто Катей, он давал ей возможность говорить с ним как с другом, а не как с императором.

Бывалый гусар знал все тонкости верховой езды и соблюдал большую осторожность, хотя с удалью посвистывал на коня.

— Вам нравится, Катя? — догоняя Екатерину, спросил Петр, любуясь издали красивой осанкой княжны.

Она подождала, когда Петр подъедет ближе.

— Я так давно не ездила верхом. Спасибо, Ваше Величество! — услышал Петр.

— Полно, Катя. Не здесь называть меня «Ваше Величество».

Княжна пришпорила коня, не говоря ни слова, помчалась во весь дух по узкой тропе, освещенной лунным светом, в глубь дубравы.

Топот конских копыт послышался со всех сторон — это мчались гусары, отвечающие за безопасность императора. С деревьев вспорхнули вспуганные птицы, одна с перепугу летела вдоль дороги, будто специально указывая путь.

— Катя-я-я! — неслось над дубравой, и ей, княжне Екатерине Долгоруковой, было радостно. Она чувствовала искреннее внимание Петра, догоняющего ее.— Катя-я-я!

Ветер трепал гриву коня, заворачивал на груди застегнутую попону, развевал широкие ленты развязавшегося шарфа, держащего шляпу, которая вот-вот могла слететь с головы. Она думала о Петре, прислушиваясь к его голосу, и изумлялась, а скорее всего, сожалела, что старалась избегать с ним встречи. Возможно, потому, что брат Иван говорил о Петре постоянно, и она знала их намерения. В такие минуты перед ней всегда вставал образ несчастной Марии Меншиковой, опальной царской невесты.

— Ты сердишься-ся-ся? — кричал ей вдогонку Петр. Ветер уносил его слова, оставляя их за быстрым бегом коней, но все равно Екатерина слышала их. Душа девушки ликовала.

— Не-е-е-ет! — летело навстречу Петру. Было в этой необыкновенной прогулке что-то предостерегающее: быть может, темнота и лунный свет усиливали ощущение тревоги.

Аллея вывела наездников на широкую дорогу, ведущую в царскую усадьбу Измайлово, вдоль которой простирались раздольные поля.

— Катя, Вы так красиво сидите в седле,— нагнав ее, сказал Петр, стараясь выровнять ход коня и задыхаясь, словно сам бежал за Екатериной вдогонку.

Княжна молчала. Не могла же она ему сейчас рассказать, что Алексей Григорьевич выписал из Польши учителя верховой езды и что младшие сестры ездят гораздо лучше ее.

Звенели удила, стучали копыта по дороге. Неловкое молчание навевало чувство какой-то беспомощности, и она готова была разрыдаться. У нее и раньше бывали такие минуты, но она всегда могла убежать, спрятаться, скрыть навернувшиеся слезы. Здесь слез можно не увидеть, но голос... голос выдаст волнение. Не может же она не отвечать на вопросы Петра.

— Может, вернемся в усадьбу? — спросил он.

Екатерина в знак согласия кивнула.

— Если бы было светло! Завтра, Катя, завтра с утра. Прямо с восходом солнца поскачем в дубраву!

— Не надо, Ваше Величество. Не забывайте, кто Вы.

— Катя, чтоб я больше не слышал «Ваше Величество». Вы лишаете меня возможности разговаривать с Вами просто. Или Вам приятно, когда Вас называют «княжна»?

— Не путайте, Ваше Величество. Княжон много. Император — один!

Петр соскочил с седла. Он схватил ее коня за узду, подал руку и повелительным тоном сказал:

— Идемте, княжна, пешими. Я так хочу.

Она враз повиновалась, промолвив:

— Слушаюсь, Ваше Величество!

Боже ты мой, что бы подумал свет, увидев такое обращение княжны! Сколько бы было судов-пересудов. А здесь, где свидетели только дорога, поля да вольный ветер, она почувствовала себя легко и радостно. Эта радость передавалась Петру.

— Мне так любо с Вами, Катя,— не выпуская из своей руки руку княжны, говорил Петр.— Я стану просить Вашей руки у Алексея Григорьевича.

— Как можно говорить такие слова, Петр Алексеевич? Ночью все кошки серые,— серьезно и мудро ответила Екатерина. И если бы это было днем, то Петр увидел бы скатившиеся по щекам слезы. Она проглотила вставший в горле комок. Не готова была Екатерина к ответу, хотя все сказанное Петром грело ее самолюбие.

— Не надо мне искать невест в чужих странах и государствах,— откровенничал Петр, и княжна еще раз убеждалась, что его ни на шаг не отпускают от себя влиятельные вельможи двора. И что он не волен в своем выборе.

— Боязно идти за Вас замуж, хотя Вы и государь,— откровенно ответила Екатерина.

— Что так, княжна Екатерина? — опустив уздечку и повернув Екатерину к себе лицом, возбужденно спросил Петр.— Боязно! Или я так страшен? Чего меня бояться?

— Разве я лика Вашего боюсь, Петр Алексеевич? Вы пригожи и ласковы.

— Готовьтесь, Катя, я объявлю о нашей помолвке.

— Что так быстро, Петр Алексеевич? Да здесь, в поле, говорите такие слова.

— А мне все равно, где говорить их. Вы знатного русского рода, красивы и умны. Здесь слышит нас только Бог, перед которым мы все равны. А слова мои искренни.

Екатерина вздрогнула. Петр почувствовал это по ее руке, которую притянул к губам.

— Вот и отвечайте, Катя.— Он тоже немало волновался, сбивался, но сомневаться в искренности его слов Екатерина не могла.

— Кто же откажет? Вам, наш государь? Только чем я лучше других?

Петр уже не вел разговор. Он просто прижал Екатерину к своей груди, поправил на голове ее шляпку.

— Мне любо быть с Вами!

Кони мирно стояли возле хозяев, будто догадавшись, что не всякому гусару следует видеть, как целует свою невесту российский император.

Глава десятая



Княгиня Прасковья Юрьевна ходила от окна к окну.

— Где-то наши всадники? Такая темень на дворе, и ветрено,— говорила она, немало переживая за Екатерину, которая по прихоти императора отправилась на прогулку.

— Не одни. Гусары с ними, а после и Захар Иванович поскакал. Он-то в этих местах каждый бугорок знает,— не то жену успокаивал, не то себя Алексей Григорьевич. Вздохнув, добавил: — Дело молодое...— убеждая сам себя, что нет ничего предосудительного в поступке Екатерины и императора, но в душе больше всего боялся, как бы княжна не наговорила дерзостей Петру.

— Луна-то как высоко! К полуночи время.

— Да уж заполночь,— сквозь дрему бурчал Алексей Григорьевич.

— Во всех палатах свет погашен, — не унималась княгиня, прислушиваясь к тишине.

У царицы ненадолго вспыхнула свеча и тут же погасла. В это время к царице приполз карл Капитон. Пролежав на дубовой полке шкафа около суток, он при первой возможности спустился со шкафа, кубарем упал на пол, прижался в углу и замер. Князь Иван, оставшись на какое-то время один, заснул и грохот упавшего со шкафа карла принял за проказы ветра, стучавшего ставнями окон. Через некоторое время Капитон прополз

к порогу, а там, по давно проверенным укромным углам, прошел к хозяйке. Спальница, дремавшая возле царицы, вздрогнула от прикосновения его руки, холодной, как ледышка, дернула его за чупрыню, пошла будить государыню: несдобровать было бы спальнице, не пусти она к хозяйке Капитона. Вспыхнула свеча, но Прасковья Федоровна велела ее тотчас погасить.

Этот миг и уловила княгиня Прасковья Юрьевна.

— Пойду я, однако, к конюшням,— не выдержал Алексей Григорьевич и вышел на крыльцо. Тишина в усадьбе стояла особенная. Люди в эту пору спят сладким сном, веря, что в каждой хибаре, избушке, дворце живут свои обереги — незаметные ночные хозяева, увидеть которых можно только во время светлой зари в заднем углу хлева. Мало кому удавалось видеть домовых, но рассказов о том, что именно они наводят на злоумышленников страх, было располным-полно.

Луна залила светом округу, и было что-то загадочное и колдовское в этой вечной спутнице земли.

Не расслышав никаких шорохов, Алексей Григорьевич вернулся, позвал к себе княгиню. Та, накинув на плечи теплую шаль, вышла.

— А у нашей Екатерины нижняя рубашка подхватывается пояском, как у тебя? — не зная, куда спрятать глаза от стыда, спросил Алексей Григорьевич.

Прасковья Юрьевна замерла, не веря ушам. Она, ясное дело, знала обычай, что даже дома без тонкого пояса-оберега на нательной рубашке считалось быть зазорным, а при посторонних — верхом неприличия.

— Может, теперь все по-другому?

— Ты что, Алексей Григорьевич, про такое спрашиваешь? Или думаешь, наша Катерина такая вольная? И что ежели она сейчас возле царя, то он сразу с маху и под рубаху?

Князь молчал.

— Неужто такие твои дочери? — расплакалась княгиня, уставшая от беспокойного дня, сутолоки и переживаний.

— Ну ладно, прости,— повинился князь.— Перестань. Кажись, слышу конский топот. Хоть бы потише ехали.

— Поди, не кто-нибудь, а сам император! Неужто ему какой запрет есть? — утирая слезы, строго сказала княгиня мужу.— Пояс на рубахе! Какие мысли пришли тебе!

— Ладно, успокойся. Едут!

Караул усадьбы на часах, в полном составе, как принято, охранял покой в царских палатах.

Карлица Красуля пересказала Анне Ивановне со всеми подробностями ответ старшей дочери Долгоруковых на приглашение Петра, и та долго хохотала над язвительными словами княжны, которая называла его просто «Петрушей», потом, помолясь, ушла спать.

Пронырливая Красуля, услышав топот копыт, взобралась на подоконник, долго приглядывалась, стараясь угадать, кто же едет к усадьбе. Приглядевшись, обомлела: это был император с какой-то женщиной или девушкой. Ошибиться карлица не могла: гусары, скачущие впереди и вдоль дороги, были верным признаком царского выезда. «Княжна-то которая? — кусая ногти, думала карлица.— Неужто средняя? Али старшая?» — Она не знала, как об этом сказать герцогине, но не сказать не могла. В покои Анны Ивановны она заходила свободно, будила ее легким потягиванием за мочку уха, а если у хозяйки был крепкий сон, начинала щекотать ее, перебирая пальцами по щеке и подбородку. Анна Ивановна только легла, а значит, по-настоящему еще не уснула.

— Чего тебе, Красуля? — спросила герцогиня, не открывая глаз.

— Кажись, император с которой-то из княжон с прогулки возвращается.

— С какой прогулки?

— С верховой прогулки. В окна видно — гусары скачут.

С постели герцогиню как ветром сдуло. Надев поверх ночной сорочки вторую из шелковой ткани, более длинную, чем нательная, с длинными рукавами, и подпоясавшись, побежала в зал, к окнам, выходящим на главную дорогу.

Слов не было. Ехал император, а рядом с ним Екатерина Долгорукова. Она узнала ее по горделивой осанке.

«Так я и знала. Так и знала. Не напрасно сюда прибыл этот Алексей со своим выводком да с целой псарней. Поди, все продумано. Иван-то, может, грохнулся с коня с умыслом... Нет, плетью обуха не перешибешь. Лучше ничего не знать.— Отходя от окна, она по пути шлепнула Красулю ладонью по морщинистому лицу. Та пошатнулась, клубком покатилась до стены, не издавая ни звука, чтобы не рассердить хозяйку.— Вот скоро

и объявится новая царица, или, как велел братец Петр, теперь их называть — императрица». — Лучше ли, хуже ли это, Анна Ивановна не знала и знать не хотела. Ей было ясно одно: до самой кончины, как и ее матушка, царицей будет зваться и жить со всеми почестями. Плохо ли быть царицей? Нельзя было сказать, что герцогиня изнемогала от ревности, она просто завидовала молодости и красоте. Молодость прошла, красотой Бог не наградил, а любви и в помине не было. А главное, не родила дитя. Уж это наказание так наказание! Она понимала, что все, кто вертелся возле нее, то больше из-за того, что она имела немалые земли, была богаче других.

Попросив спальницу раздеть ее, Анна Ивановна улеглась спать. Конечно, на сердце было бы спокойнее, если бы Красуля не разбудила ее и она не увидела бы прогулку Петра с Екатериной. Сон бы явился сразу, а теперь не спалось, был слышен каждый шорох. Царские конюшни находятся поодаль от хором, и до палат оттуда не доносится никаких звуков, но грохот рассыпавшихся поленьев заставил ее приподнять с подушки голову.

— То печник охапку дров рассыпал,— убаюкивающим голосом сказала спальница.— Поди, запнулся.

Алексей Григорьевич поспешил к конюшням, когда Петр, ловко соскочив с седла, подавал Екатерине руку. Князь от радости весь затрепетал, готов был тут же облобызать дочь, но отяжелели ноги. Он прижался к стене, прикрыв губы холодной ладонью.

— Катя, ты зайдешь к нам? — спросил Петр.

— Сильно зябко. Спать пойду, — приостановившись, ответила княжна. И опять ни он, ни она не могли сказать друг другу ни слова. Захар Иванович, отдав уздечки в руки подбежавшим конюхам, зашагал, чуть прихрамывая, к хоромам. За ним следовали Екатерина и Петр. Возле крыльца император остановился, взял Екатерину за руку, притянул к себе, шепнул на ухо:

— Спокойной ночи, душа моя!

Прасковья Юрьевна отпрянула от окна, плюхнулась в кресло, не поверив собственным глазам.

— Боже милостивый! — только и могла вымолвить княгиня, закрыв лицо ладонями. Она услышала, как Екатерина распахнула дверь, почти птицей влетела в просторную спальню и позвала служанку раздеть ее.

— Ну как? — приподняла голову сестра Елена.— Не ссорилась с Петром?

— Спать хочу! — услышала в ответ и увидела, как княжна юркнула под теплое одеяло, закрылась с головой и более не хотела ни слушать, ни отвечать на вопросы. Она боялась своей радости.

Глава одиннадцатая



Обмолвившись несколькими словами с Иваном, Петр приказал приготовить постель, затушить свечи. Но сон не приходил к нему до самого утра. Все мысли были об Екатерине. Перед ним проплывало ее лицо, силуэт всадницы. Чтобы отогнать навязчивые образы, он попытался вспомнить хотя бы одну из многочисленных поклонниц, которая запала бы в душу и могла бы сравниться с княжной Долгоруковой,— и не мог. К своему удивлению, отметил, что каждая столичная красавица была представлена ему или Андреем Ивановичем Остерманом, или кем-то из знатных родов, или иностранным послом. «Катерина! Только Екатерина! — думал император, вспоминая зеленоватые глаза в пушистых ресницах, в которых словно жила колдовская сила.— В ней все пригоже! Завтра же, нет — не завтра, а уже сегодня, за столом, перед царицей Прасковьей Федоровной, перед Курляндской герцогиней Анной Ивановной, перед всей родней Долгоруковых объявлю о своем желании жениться на Екатерине.— Он понимал, что своим поступком ошеломит всю Москву, весь царский двор. Представив лица высокопоставленных министров, членов Тайного совета, он улыбнулся. Ему пришлась по душе такая дерзкая выходка. «Мыслимо ли?» — придется услышать ему не один раз, но на то он и император. Здесь состоится сватовство, или, как говорят на Руси,— сговор, или первый пропой! А там, в Москве,— обручение. На этот раз я сам сделал свой выбор.— Нельзя сказать, что, приняв такое решение,

Петр не волновался. Он представлял свою ответственность не только перед Богом, но и перед всем русским народом.— Царицей станет Екатерина.— И тут же поправился: — Императрицей! И пусть все церкви звонят в колокола. Императрица!»

Императорский титул в России — вспомнилось молодому императору — был введен Петром Первым. «Первовенчанником» в России был еще Дмитрий — внук Ивана III, венчанный на царство 4 февраля 1498 года. Во второй раз увидела Москва этот обряд в 1547 году, когда венчался на царство Иван Васильевич — Иван IV. Тоже трагедия — отца с сыном. Хоть и не то же самое, а скобленуло сердце...

Да, так сколько было венчаний на царство в России? Петр начал перечислять: Иван IV, Федор Иванович, Борис Годунов, Лжедимитрий, Василий Шуйский, Михаил Федорович — прапрадед, прадед Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Иван и Петр Алексеевичи — это уж вовсе близко. А отца среди них нет. Петр-то Первый, дед его, не просто российский царь был — а первый российский император. И орден святого Андрея Первозванного, и мантия императорская — первые у него, и императорская корона — первая, первой была коронована в 1724 году Екатерина — супруга его великого деда. Да только на престол-то возвел ее Александр Данилович Меншиков...

— Импе-ра-три-ца! — протянул Петр, будто только сейчас по-настоящему осознал высокую значимость этого слова. По обычаю того времени, совершеннолетие наступало по истечении семнадцати лет. Эту традицию нарушил светлейший князь Александр Данилович Меншиков. Петр Второй стал императором в двадцать лет, перед обручением его с княжной Марией Меншиковой — 12 мая 1727 года, после чего было сделано распоряжение о том, чтобы церкви всей Российской империи во время церковной службы молились вместе за здравие государя императора и за здравие благочестивейшей государыни великой княжны Марии Александровны. Еше невестой получила титул «Ее Величество» дочь светлейшего князя. «То было, да быльем поросло! — вдруг сказал себе Петр.— А княжну Марию Александровну жаль». Перед ним на какой-то миг промелькнуло лицо светлейшего князя Александра Даниловича, которого помнил он с самых младенческих лет и по воле которого

был возведен на престол и стал императором. Если бы не вечерняя прогулка с Екатериной Долгоруковой, мысли его непременно улетели бы в дальнюю Сибирь, и только одному Богу ведомо, как бы он поступил на следующий день: не вернул ли бы в столицу хотя бы не самого Меншикова, а его детей? Теперь все в его власти. Тогда он не мог понять, что означало его обручение с княжной Меншиковой. Его согласия никто не спрашивал, да если и спросили бы, то для женитьбы он был слишком молод. «Император! — застучало в висках Петра.— Мое предназначение управлять государством, а я занимаюсь только развлечениями, охотой да веселыми балами! Пожалуй, впервые в жизни ему стало не по себе. — Ведь я возведен на престол, чтоб стать достойным продолжателем дела, начатого дедом. Отчего все вокруг забыли его? Отчего молчат о его делах? Или так надо? Кому? Каждый скажет — императору! А это значит — мне». Петр открыл глаза. В тусклом утреннем свете, пробивающемся через окно, обратил внимание на галерею портретов на стене. То были лица его предшественников: российских царей. Он без труда отыскал портрет деда. Было что-то грозное в порывистом повороте его головы и укор в пристальном взгляде. На память явились слова, которые он запомнил с детства, но сейчас забыл. Нет, не забыл. Петр прикрыл ладонью глаза, вспоминая: плакал весь Петербург! И чьи-то слова. Он запомнил их наизусть: «Во всех полках не было ни одного человека, который бы не плакал об уснувшей силе — о солдатском отце. Плакала императрица, занявшая осиротевший трон своего великого мужа, осиротели птенцы этого действительно небывалого в мире «чернорабочего царя» — князь Меншиков, Бутурлин, Ягужинский, Дивер, Макаров, Нарышкин, тесно сомкнулись возле державной вдовы». И вдруг какая-то буйная сила вскипела в душе молодого Петра! Все лицо окатило жаром. Его будто кто-то цепко схватил за горло и не давал дышать. «Я занял его трон! — стучало в висках.— И прозябаю в безделье. Как прирученный теленок, живу чужим умом, слушаюсь разных советов, подписываю множество указов, не читая. Кто управляет моим народом?»

Признаться, Петр еще не знал, в какой стороне его сердце. Оно еще не буйствовало в страстях, не умело переживать, не знало потрясений. Но сейчас будто кто-то

пощипывал в левой половине груди, и ему стало трудно дышать.

«Жениться! Скорее жениться и заняться делом! — решительно сказал себе Петр.— И никаких потех, никаких забав!»

Невеста только Екатерина Долгорукова! На дух не надо никаких иноземок, никаких принцесс. Царство небесное моей матушке! Из чужих земель была. Но батюшка предпочел ей дворовую девку Ефросинью. И был счастлив».

Вот такая метаморфоза произошла в сознании Петра. Велик был умом его пращур и вместе с троном оставил ему в наследство великий азарт и светлый разум. Прочь от себя угодливых сенаторов и министров, чинопочитателей и блюдолизов, покорно выполняющих его полудетские прихоти. Одна Екатерина строптива. Не обольщается его словами. Имеет дерзость подшучивать над ним. Кто бы посмел, кроме нее, называть его «Петрушей»?

Усталый от нахлынувших мыслей, Петр встал, не позвав слугу, на цыпочках подошел к постели Ивана. Тот сразу открыл глаза.

— Не спишь, князь? — присаживаясь на пуф возле постели, спросил Петр.— Какие сны видел?

Иван вздрогнул. В голосе императора он сразу уловил незнакомую интонацию, но с охотой ответил:

— Плохо спалось. Луна мешала. Говорят, она имеет какое-то притяжение,— Иван попытался приподняться на локтях.— Бедро немного ломит.

— Мне тоже плохо спалось,— распахивая тяжелые голландские портьеры с расписными узорами, он вглядывался в протянувшееся до самого окоема хлебное поле. Дружные озимые, прибитые первыми заморозками, прижались к земле, уже потеряли свой изумрудный окрас и в низинах темнели черными пятнами. Среди этих полей шла дорога. По ней, всего несколько часов назад, они с Екатериной возвращались с прогулки.

— Ваше Величество, что так тревожит вас? Может, наша Катька наговорила чего обидное? С нее, зубоскалки, сбудется,— осмелился спросить Иван.

Петр молчал. «Отчего мне так боязно»,— вспоминались ему слова Екатерины. Сказанные тогда некстати, они, как никакие другие, запомнились Петру и были созвучны его настроению. «Отчего и мне так боязно? —

подумал император.— Быть может, от нерешительности. От боязни, которую чувствую постоянно в разговоре с Андреем Ивановичем Остерманом? А главное, конечно, оттого, что на этот раз, наперекор всем, решил поступить так, как надумал».

— А как ты смотришь, Иван,— повернувшись к другу, спросил он, но на какое-то мгновение остановился.— Как ты смотришь, если сегодня за обедом я объявлю перед всеми, что имею намерение взять себе в жены княжну Екатерину Долгорукову? Это и будет моим сватовством — первой помолвкой. Все по-христиански. А уж в Москве обручимся.

Иван онемел. Ему показалось, что он ослышался, едва нашел в себе силы переспросить. И услышал:

— Да. Вашу Екатерину.

От волнения Иван не знал, куда спрятать глаза. Они были полны слез.

— Или не расслышал? Или думы другие? — после молчания спросил Петр.

— Правду ли молвишь, царь? — поперхнувшись, спросил Иван.— Неужто наша Катерина приглянулась тебе? Ты ведь ее и раньше видел.

— Видел, да не разглядел при великом множестве людей, а вечор, при лунном свете... Екатерина ваша несравнима с другими, она скромна и мила.

— Скромна?

— Скромна и мила, а главное — крепкого русского корня.

Главный фаворит при русском престоле не нашел подходящих слов. Он как-то беспомощно заерзал на постели, ощутив боль не только в ушибленном бедре, но и во всей спине. «Знать, судьба у Екатерины такова. Жребий счастливый. Может ли быть больше счастья для всего нашего роду?» — Он готов был вскочить с постели, бежать, кричать на всю округу, целовать первого встречного, палить во все ружья и самострелы.

Иван в счастливой лихорадке забыл, о чем спрашивал его Петр, который вопрошающе смотрел на него.

«А вдруг Екатерина да откажет? — насупив брови, подумал император, не умеющий еще скрывать своего настроения. Ведь он привык к безоговорочному выполненню своих желаний.

Нестерпимо захотелось увидеть Екатерину. «А думает ли она обо мне? Быть может, это для нее просто

прогулка при луне? — И чем больше думал о княжне император, тем нетерпеливее было ожидание встречи.— Отказавшись от завтрака, он приказал подать коня. Стремглав вскочил в седло и, не сказав другу ни слова, помчался во весь мах по одной из множества троп в дубраве.

— Петр куда-то помчался ни свет ни заря! — сказала княгиня, то и дело твердившая светлейшему князю, что дома и руки и ноги спят, а в чужих постелях и головушка не дремлет.

— Петр? Поскакал? — удивленно спросила Екатерина, задремавшая только перед утром. После прогулки ей то и дело чудился голос Петра: «Катя, Катя!» И было в этом обращении к ней затаенное желание сказать еще что-то. Она ждала. Ей хотелось услышать в свой адрес комплименты, какими баловали ее поклонники. Петр же этого не сделал. Он только твердил: «Катя, Катя!»

— Куда это он поскакал? — почти крикнула княжна.— Вот еше!

— Катерина! Как ты смеешь? — попытался остановить ее Алексей Григорьевич, совсем не подозревая, что дочь его весь остаток ночи только и думала о Петре. Из головы не выходила Мария Меншикова. Любил ли он ее? Наверное, нет, просто не успел. О ком же? О ком сейчас вздыхает Петр? Разве только Иван знает. Но его спрашивать Екатерина не станет. Да что думать, об ком вздыхает Петр? О нем пол-Москвы вздыхает. Он-то, поди, еще никого не любил. Кабы любил — не пропадал бы целыми месяцами на охоте,— успокаивала она себя.

— Никак он по аллее скачет? — закричала княжна так громко, что княгиня вздрогнула, приложила ладонь ко лбу дочери.— Ясное дело, он. Гусары-то по сторонам!

Для княгини ничего не было удивительного в том, что император решил после сна подышать свежим воздухом, послушать на восходе солнца пение птиц.

— Мог бы и меня позвать! — буркнула княжна.

— Екатерина, тебе ли приказывать императору? — пыталась вразумить дочь Прасковья Юрьевна.

— А по-моему, пора экипажи заказывать да домой возвращаться,— бросила на подоконник попавший под руки веер Екатерина.

— Батюшка так же думает. К Ивану пошел.— согласилась с желанием дочери Прасковья Юрьевна.

Запыхавшись, вошел Алексей Григорьевич. Опустившись в кресло, откинул голову.

— Али с Иваном беда? Лекарь-то там? — запричитала княгиня. Князь взял ее за руку:

— Да все хорошо. Все хорошо. Домой после обеда поедем. Так Петр распорядился.

— Да чего хорошего? На самом-то лица нет. Может, Петр с Иваном поссорился, то он и поскакал.

— Да нет! — махнул рукой Алексей Григорьевич.

— Тогда сказывай, отчего такой бледный. Может, сердце зашлось?

Услышанная от Ивана весть о намерении Петра за обедом, при царице Прасковье Федоровне и герцогине Курляндской, просить руки их дочери Екатерины была так неожиданна, что он чуть было не упал в обморок. «Мыслимо ли? Мыслимо ли?» — стучало в висках светлейшего князя, оказавшегося совсем не готовым пережить такое известие.

— Хозяин он и есть хозяин,— вздохнула княгиня.— Кто же пойдет поперек его желания? Сказано — после обеда!

— А чего это Петр-то Алексеевич все кружит, все кружит подле усадьбы? — проговорила княжна Елена, не отходившая от окна.— Только спрячется за лесом и опять ворочается, только спрячется за лесом и опять выскакивает.

— Отойди от окна! — прикрикнула на сестру Екатерина.— Все-то ты знаешь!

Екатерина была обижена невниманием Петра, и попадись он ей в эти минуты на глаза — не взглянула бы в его сторону. Но отчего-то ей захотелось плакать. Но еще больше встать к окну и смотреть на скачущего верхом императора.

Мало-помалу Алексей Григорьевич приходил в себя, то и дело бросая взгляд на Екатерину, которая вскорости могла стать императрицей, а значит, и вся жизнь рода Долгоруковых надолго будет в зените славы.

Поднялся с кресла с ощущением слабости во всем теле, моргнул правым глазом Прасковье Юрьевне, приглашая ее на тайный от дочерей разговор. А те облепили весь подоконник, наблюдая за императором.

— Катерину-то к обеду наряди как следует,— и снова сел в кресло.

— Или она хуже других наряжена? — возмутилась княгиня.

— Сама посуди,— пытаясь сгладить неловкость, поглаживал руку жены Алексей Григорьевич,— все-таки царица будет, герцогиня.

— Так они и вчера были! — не унималась Прасковья Юрьевна, не на шутку рассердившись.

— Вчера толкотня была. Народищу полно, а ныне не слишком много будет людей за столом.

— А боле тебе нечего мне сказать?

— Нет,— категорически ответил князь, поправляя напудренный парик и поглаживая сросшиеся на переносице брови. Он так делал всегда, когда волновался. «Мало ли чего они промежду собой говорят,— вздыхал князь, приходя в полное спокойствие.— Их дело молодое. Мало ли чего не наговорят друг другу. Да еше вчера навеселе были. Языком-то можно сто раз жениться, да столько же развестись, а сватовство — дело серьезное. Да в особенности для Его Величества! Тут сразу все бояре на дыбы поднимутся! Как! Без их согласия? Без благословения Совета. Господи помилуй!» — Он мог бы перечислять множество причин, по которым не так-то просто жениться императору, но не стал мучить себя и положился на судьбу.

А время, как нарочно, тянулось медленно. И он обрадовался возможности сходить на псарню, поскольку с приездом в Измайлово не нашел еще времени как следует посмотреть на гончих, не предполагая, что там встретит Петра. Испуг и растерянность овладели светлейшим. Если бы он знал, что император на псарне, то свернул бы с тропинки или скрылся бы за углом какой-нибудь постройки, но, когда он его заметил, это выглядело бы до смешного нелепым, и потому, приободрившись, князь зашагал твердым шагом, однако раскашлялся, ощутив подкативший к горлу комок.

— Ну, спасибо, любезнейший Алексей Григорьевич! — услышал он голос Петра.— Такая стая! Все как на подбор. Считал и не сосчитал.

— На добрую память, Петр Алексеевич,— почтительно ответил князь, с опаской взглянув на Петра. Свежее от ветра и утренней прохлады лицо было прекрасным. Большие черные глаза, черные брови и густые тонкие усики — все было полной копией покойного Петра Алексеевича. «Как же ты повзрослел!» — так и хотелось сказать князю, но вместо этого изрек:

— Росту-то такого же, как он, двухметрового. Да каково семя — таково и племя.

Петр улыбнулся: ему всегда нравилось, когда в нем находили сходство с державным дедом.

Слуга придерживал императорского коня, который фыркал и бил передними копытами по подмерзшей земле.

— Зовет, — кивнув в сторону гнедого жеребца темно-рыжей масти с черным хвостом и гривой, сказал светлейший князь.

— Только разгон взял, а я остановил его,— проговорил Петр и подошел к коню. Уже сел в седло, рысцой проскочил вдоль изгороди, вдруг вернулся и спросил стоявшего в полной растерянности Алексея Григорьевича:

— Как здоровье княжны Кати?

— Слава Богу! — только и мог ответить князь. Искривленные от переживания губы подергивались. В первые минуты молчание императора расстроило князя, посчитавшего все, что сказал Иван, царской болтовней. Молил Бога помочь перебороть испуг: простофиля, обольстился, поверил хмельным словам, куда там Катерине, этакой задире. Кабы было что серьезно, Петр не упустил бы случая поговорить о ней.— Домой надо ехать! Домой! — после некоторого молчания выдавил Алексей Григорьевич.

— После обеда! — свистнув на коня, улыбнулся император.

Эти слова успокаивающе подействовали на светлейшего князя.

«Все на воде вилами писано. Все вилами писано».— Алексей Григорьевич, вяло переставляя ноги, шел к палатам, жалея, что пошел на псарню, что встретил там Петра.

Отовсюду доносились звуки пробудившейся жизни: лай собак, равномерный стук топора, грохот телеги и голоса работающих на гумне крестьян.

Царица Прасковья Федоровна велела снова позвать Капитона, так как заспала все, о чем говорил ей в ночной тишине уставший карл.

— Посмотрю я на тебя, Капитон, совсем ты стар,— царица разглядывала прибежавшего после недолгого сна крохотного старикашку.

— Остарел, матушка царица. Когда это было, чтоб сердечко у меня зашлось на полке? — Капитон наклонил голову, ждал вопросов Прасковьи Федоровны.

— Так ты сказывал али мне приснилось, будто молодой император в ночь на прогулку с княжной Долгоруковой уезжал?

— Уезжал.

— Что, им дня мало? Этакая ночь холодная да лунная! А еще про что сказывали?

— Да все про амурные дела. Князь Иван кручинился, что не зашла к нему княгиня Трубецкая.

— Это неинтересно. Про то вся Москва говорит,— махнула рукой Прасковья Федоровна.— А старый-то князь чего молвит? Об чем недовольствует?

— Не стану наговаривать. Он ушел вскорости, как император на прогулку отправился.

— А я и не прошу тебя наговаривать! — строго сказала царица и кивнула спальнице. Та бесцеремонно схватила Капитона за ворот рубахи и выставила за дверь.

Прасковья Федоровна еще не поднималась с постели, пошевеливала под одеялом теплыми ногами, ощупывала отвисший живот, который после беременностей растянулся да так и остался сальным мешком. Под широкими рубахами и платьями никто не замечал этого, и даже сам царь, будучи живым и здоровым, похваливал Прасковью Федоровну за мягкое, теплое тело, прижимаясь, приговаривал: «Что это за худосочные бабы? Нет в них тепла — а значит, и нет для мужчины радости». Так это или нет, царица не знала. Она всю жизнь была строгих правил, прожила век, гордясь тем, что никем не мята, не клята.

Герцогиня тоже нежилась в теплых пуховиках, но ей нестерпимо хотелось узнать, как скоро покинут усадьбу эти Долгоруковы. Если бы не император Петр, она уже давно бы заявила об этом самому князю, но тут надо было иметь терпение.

— А все-таки когда они собираются домой? Уже и пора! — спросила она кемарившую возле постели Красулю.

— Старик-то с утра собирался,— сглотнув слюну, ответила Красуля.— Но их задержал сам император. «После обеда!» — сказал он, сама слышала. Я уже сбегала на конюшни. Экипажи готовят. Особливо там хлопочут о карете, в которой поедет князь Иван.

— Молодой, сдюжит,— заметила герцогиня.— Опять наряжаться надо! Опять утягиваться в корсет. Столько хлопот с этими гостями.

— Бегала на кухню. Там-м-м-м! Все жарится-парится! — добавила Красуля.— Повара все как в бане — пот градом: бегают, хлопочут. Ране-то не знали, что сам император пожалует. Все однодневно изладить надо. Да как! С одними поросятами заливными столько мороки. А кто-то сказывал, император любит это кушанье, да еще с хреном!

Большие настенные часы с золочеными цепями и гирями пробили двенадцать раз. Золоченые стрелки на круглом циферблате слились в одну, и замысловатый механизм, равномерно тикая, перебирая внутри колесики, скоро отделил одну от другой.

Денщик еще с раннего утра нагладил один из лучших кафтанов императора — с цепью ордена Святого Андрея Первозванного. По тому, что денщик был блондином высокого роста, с бородой, можно было безошибочно угадать, что он из третьей или пятой роты Преображенского полка. В ту пору по обличью можно было сразу определить тип гвардейских солдат. В Семеновском полку служили высокого роста шатены без бород, в Измайловском — брюнеты, рота Его Величества была с бородами. Об этих различиях знал и стар и млад. Поглаживая короткую, но густую бороду, денщик призадумался: «Кабы это было вчера, когда съехалось столько столичных господ. А ныне-то перед самой дорогой». Но солдат не привык рассуждать. Его дело выполнять поручения. Кроме всего, император приказал изладить поудобнее кресло для князя Ивана, посадить его рядом с царицей.

Стол ломился от яств. В зале были все знакомые лица, и только почти в самом краю стола сидел приглашенный самой Прасковьей Федоровной живший по соседству князь Измайлов — усохший от прожитых лет старик. Он пришел в сопровождении дочери — миловидной старой девы, облаченной в дорогой наряд. На ней было длинное платье свободного покроя, дополненное накидкой с каймой. Из-под рукавов выставлялись наручи, украшенные плетеным ажуром. По поверью, нечистая сила не могла ни войти, ни выйти через отверстие, защищенное рукотворным плетением. Но никакие украшения не могли скрыть страдания и печали в ее глазах. Живя всю жизнь с отцом, княжна очень смущалась, не знала, куда ступить, куда сесть. Статные фрейлины Прасковьи Федоровны услужливо старались успокоить ее.

Царица и герцогиня переглянулись, когда в зал вошло все семейство Долгоруковых. Анна Ивановна, не скрывая удивления, таращила на Екатерину округлившиеся глаза. Она была поражена изысканным сарафаном ярко-красного цвета с золотым и серебряным шитьем и душегреей — короткой и широкой курточкой до талии, отороченной соболиным мехом. Герцогиня не успела рассмотреть нарядный плат на голове княжны, как вошел Петр и, поклонившись, по-хозяйски сел в царское кресло.

В воцарившейся на мгновение тишине вдруг раздалось громкое восклицание:

— Какое великое сходство с Петром Алексеевичем! — всплеснув руками, старая дева бухнулась на колени.

Минуту неловкости нарушила Анна Ивановна, укоризненно покачав головой. Если честно признаться, то ей вовсе не нравилось, что юнца императора постоянно сравнивали с дедом. Ей так хотелось сказать: «Говорите лучше, что похож он на своего отца — Алексея Петровича!» Но хотя у него и было сходство с царевичем Алексеем, но кто же осмелится вспоминать мрачное прошлое?

— Что похож, то похож,— промямлил старый Измайлов и вдруг разразился мелким смешком, по-видимому вспомнив свою молодость и проказы молодого Петра Алексеевича, любившего повеселиться. Ему было что рассказать о посещении царем измайловской вотчины, но Петр неожиданно встал и предложил всем наполнить бокалы.

На золотых подносах стояли разноцветного стекла бутылки с заморскими винами, жбанчики с русской медовухой и кубки с разными настойками. Слуги наполняли бокалы и рюмки.

У всех было ощущение какой-то торжественности, все ждали от императора чего-то важного, хотя как будто и не было никакого повода. Накануне Прасковья Федоровна заставила писаря тщательно пересмотреть все святцы и круглые даты романовского рода, но на этот день, по ее твердому убеждению, не приходилось никакого праздника.

И тут Петр, приподняв над головой до краев наполненный царский украшенный позолотой рог, заметно волнуясь, попросил руки княжны Екатерины у отца и матери. Сказано это было так просто и обыденно, так

неожиданно для всех, что все будто забыли слова, а князь Иван, не веря собственным ушам, зажмурился. Никто не знал, что сказать императору, но и затянувшееся молчание было невыносимым.

Дрогнувшим голосом Алексей Григорьевич, который безо всякой веры принял утром сообщение сына о намерении Петра и вряд ли был готов к ошеломившему всех предложению императора, стоя в поклоне, сдавленно проговорил:

— Господи, благослови, дети мои! Слов-то боле нету! Отшибло все.

Княгиня уливалась слезами.

На выручку всем пришла вдовствующая царица.

— Экое счастье мне привалило! Первой услышать царское сватовство. Быть может, Петр Алексеевич, ты станешь считать меня своей свахой. А Екатерина-то Алексеевна что скажет?

И в самом деле, княжна, зардевшись, потупила взор, крепко ухватилась за край свисавшей до колен скатерти, какой-то миг, казалось, была в замешательстве, но, на удивление отцу и матери, встала и низко поклонилась императору. Петр вскочил с кресла, быстро подошел к Екатерине, поцеловал ее, взял ее руку и не выпускал из своей.

Старый Измайлов, еле сообразив, что случилось, перекрестился, сказал: «Господи, благослови! Дело молодое да царское».

Надо ли сейчас описывать, что происходило в душе завистливой Курляндской герцогини Анны Ивановны?

— А теперь пора в Москву! — с каким-то облегчением сказал Петр Алексеевич, представляя, сколь будет удивлен весь двор. Но от сознания, что он сам выбрал себе невесту, душа его ликовала.

Царский кортеж в два десятка карет был готов к отбытию в столицу. В царских палатах стоял переполох. Все суетились, шептались, какая-то из фрейлин царицы громко рыдала, завидуя счастливой звезде княжны, по коридору бегали карлы и карлицы, путаясь под ногами, выслушивая каждое слово. Так распорядилась Прасковья Федоровна, зная, что в сутолоке человек бывает болтлив и словоохотлив.

Петр сидел в царских покоях, чокался кубком с Иваном Долгоруковым и крепко обнимал своего неизменного друга, требуя и от него немедленного сватовства.

— Невесту тебе выбрали — Наталью Борисовну Шереметеву.

Счастливый князь Иван был согласен на все. И могло ли что-нибудь быть значительнее в его жизни, чем женитьба императора на его родной сестре, хотя и строптивой, но все-таки сестре, родной по крови, по нраву да и по характеру.

Деншик доложил:

— Кареты поданы!

— Проводите в мою князя Ивана,— распорядился Петр, подходя к окну, чтобы увидеть Екатерину. Она стояла на крыльце, почтительно принимая в свой адрес поздравления и многочисленные поцелуи. Не обошла этой прощальной церемонии и Анна Ивановна, пожелав княжне доброго здоровья и высказав намерение обязательно побывать на обручении.

Петр шел по коридору среди коленопреклонной толпы, потупившей взоры, и только одна царица Прасковья Федоровна, вспомнив былое превосходство над всеми, не упустила случая — оказалась возле Петра и провожала его до самой кареты.

— Петр Алексеевич! — вдруг вскричала царица.— Совсем забыла, соколик мой. Подпиши-ка старику Измайлову бумагу на продажу дубровой рощи и земли с тремя десятинами деревень.

— Иван, друг сердечный,— приоткрыв дверцу кареты, сказал Петр.— Подпиши, у тебя это хорошо получается, да, ко всему, сам знаешь, у меня палец болит.

«И этого уже успела обвести вокруг пальца», — прощаясь с императором, подумал князь Измайлов.

Петр еще долго раскланивался. Подойдя к карете, в которой удобно сидела на мягких подушках княжна Екатерина с матерью, обласкал ее любезными словами и почтительно откланялся.

Скоро кортеж тронулся. Вздрогнули колокольчики на расписных дугах, зазвенели удила, заскрежетали телеги.

В столицу уехал молодой император с выбранной по своему сердцу невестой — Екатериной Долгоруковой.

Глава двенадцатая



Надо ли описывать, какой переполох был в столице! Андрей Иванович Остерман даже постарел лицом и как ни старался говорить внятнее по-русски, у него ничего не получалось.

— В самом деле, как обухом по голове! — поддержал его обер-секретарь Сената Иван Кириллович Кириллов, готовивший к рассмотрению проект Второй Камчатской экспедиции. Тут же при канцелярии оказался Наум Акимович Синявин — известный всей России контр-адмирал, первый сподвижник Петра Великого.

Остерман делал над собой усилия, чтобы отвлечься от ужасного известия о намерении молодого императора, порой ему казалось, что это дурной сон, но о том, что это не сон, напомнил контр-адмирал:

— Молодым — молодое. Все в мире изменчиво.

— Он косудар! Он вся Россия — косудар! — не скрывая возмущения, с визгом говорил Остерман, боясь вслух признаться, что Петр потребовал немедленного заседания Верховного тайного совета, на котором собирался объявить, что не позднее двух недель должно состояться его обручение с княжной Екатериной Алексеевной Долгоруковой.— Как опухом ис-са укла!

— Стоит ли, Андрей Иванович, так кручиниться? Наш император уже не птенец, каким вы обручили его с княжной Меншиковой. Повстречал его ныне, так еле узнал. Возмужал. Давно бы пора его к делу приучать, а вы все толкаете его на разгульную жизнь. А уж коли сами нарушили закон да короновали его на трон ране положенного, то и ответ сами несите.

— Кватит! — завопил Остерман, останавливая Наума Акимовича.— Колова круком!

На это у Наума Акимовича нашлось бы еще немало язвительных слов, но вместо этого, опираясь на костыль и приволакивая раненую ногу, он сел за стол напротив вице-канцлера, хлопнул ладонью по папке в кожаном переплете, в которой лежал готовый проект Второй

Камчатской экспедиции. Этот жест не обещал благостного разговора, в котором так нуждался Остерман.

— Это гоже надо, нимало не медля, разобрать на Тайном совете. Дело Петрово! И так полное запустение. Одни дворцовые распри.

— Кватит,— прошипел Андрей Иванович.

Будь на месте контр-адмирала кто-нибудь чином поменьше да от славы подальше, вице-канцлер сумел бы употребить власть. Но крутого характера Синявина побаивался. Его, обласканного за ратные подвиги, участвовавшего почти во всех баталиях Северной войны и о храбрости которого ходили легенды, урезонить и Остерману не хватило был сил.

На выручку пришел все время молчавший обер-секретарь Иван Кириллович.

— Да погоди, Наум Акимович. Эко заторопился. Поди, экспедиция славного Витуса Беринга пятый год в трудах и заботах где-то в холодных морях. И все молчали. Ныне, когда в столице экий переполох — через две недели обручение молодого императора, — ты затвердил «нимало не медля!».

— Да. Нимало не медля! — повторил контр-адмирал.— И это твое дело наипервейшее, Иван Кириллович. Ты тут сиднем сидишь!

В другое время Андрей Иванович был бы сторонним наблюдателем перебранки двух влиятельных господ, немало бы порадовался этому, а при случае подтолкнул бы к настоящей ссоре, но на этот раз ему важнее было разобраться, как они относятся к самостоятельному выбору императора.

— Неошитанно. Совсем неошитанно. Это ше катастроф! В России новая императриса.

— Какая же тут катастрофа? Жениться все равно надо. И хорошо, что выбрал сам, да еще свою, русскую!

Но Андрей Иванович пропустил эти слова мимо ушей. В его голове не укладывалась такая дерзость Петра. Он готов был к любым его поступкам и выходкам. Ему, воспитателю императора, даже нравилось, что под влиянием Ивана Долгорукова он часто бывает навеселе, ни во что не вмешивается, не имеет никакого представления о государственных делах. В конце концов, при безвольном молодом императоре удобно управлять страной от его имени. Теперь все могло измениться. Влиятельные русские верховники потребуют своей власти. Как-

никак, после смерти Петра Великого в России не стало твердой руки, настоящей власти, настоящей политики. Все шло по воле судьбы. Передовые умы общества задавали вопрос: что творится в государстве? Не по сердцу пришлось и воцарение на престол Екатерины Первой. Императрице-вдове многие отказывались присягать, говорили: если женщина стала царем, так пусть женщины ей и крест целуют. Недовольное дворянство и дворцовая знать считали себя оскорбленными, а Верховный тайный совет стремился умерить власть императрицы.

— Все, Андрей Иванович, идет своим порядком,— поставив костыль меж колен и опершись подбородком о круглый набалдашник, украшенный резьбой, с твердостью в голосе сказал Наум Акимович.— А об этом, что юный император сам себе невесту выбрал, твоей голове нечего болеть. Выбрал свою, русскую, а не какую-нибудь, из-за моря-океана вытребованную.

— Но Россия не Запад! — решил козырнуть своими доводами Андрей Иванович, чем вызвал откровенное негодование.

— Сам-то ты много знаешь? Можно подумать, в государстве был первым человеком. Да кабы не Петр Алексеевич, не сиживать тебе при царском дворе! Нам, россиянам, плюнуть да растоптать, глядючи на иноземные порядки. Нашей России-махине настоящий державный хозяин надобен. И чтоб царица наша была и помогла мужу дела Петровы до ума довести. Сколько годов после смерти прошло, а? А про ту Камчатскую экспедицию никто и не вспомнил. Али ты забыл, Андрей Иванович, как дюжина лекарей не могла остановить государя, не могла отговорить от личной встречи с Витусом Берингом? Напрасно ли?

— Сопирайте все в кучу! — зная вспыльчивый характер русских вельмож, Остерман безнадежно махнул рукой, отошел к окну.

Наум Акимович вошел в раж, предался воспоминаниям.

— К государю Витус явился в зеленом флотском кафтане с красными обшлагами, с медными пуговицами. Штаны до колен, белые шерстяные чулки, башмаки с пряжками. Треугольная шляпа в руках. А мы-то стояли, прижавшись, как мыши, не дышали, вытянулись в струнку. Петр Алексеевич не открывал глаза. У него

только веки дрожали. Жестом приказал Витусу сесть: «С Гангутской баталии мы с тобой не виделись, Витязь?» — Так любовно называл он Витуса.— «Да, государь»,— чуть слышно ответил Беринг. «Говори громче»,— попросил, по-прежнему не открывая глаз, Петр. Потом спрашивал, когда тот вступил в русскую армию и правда ли то, что его рекомендовал сам адмирал Корнелий Крюйс. На что Беринг только и отвечал: «Да, Ваше Величество! Да, Ваше Величество!» — «В Ост-Индию плавал?» — «Дважды. На голландских кораблях юнгой»,— был ответ. «Не хочешь стать русским Колумбом?» — И тут Петр Алексеевич сбросил с себя одеяло, приподнялся, почти на ощупь взял со стола карту и скорее по памяти, чем разглядывая ее, уперся желтым прокуренным ногтем в правый верхний угол. Стоявший возле стола Иван Кириллович улыбнулся. Ему было приятно сознавать, что эту карту для государя составлял именно он. «Отыщешь пролив, про который еще венецианец-путешественник Марко Поло писал. Если он прав, то ты Америку достигнешь. А там...— Петр Алексеевич откинулся на подушку, долго лежал, не проронив ни слова. Не скрою, тягостное было молчание.— А за тобой купцы поплывут. Великое дело тебе поручаю, капитан. Справишься с ним, в один ряд с первыми мировыми державами встанем». Вот так-то рек наш император, а мы про все забыли.

— На том и расстались? — полюбопытствовал Иван Кириллович.

— Пожалуй, что так и расстались. Помню только, Витус припал губами к государевой руке и беспрестанно повторял: «Ваше Величество! Ваше Величество!» — «Прощай, Витязь! — ответил Петр Алексеевич.— Возвращайся русским Колумбом!»

Взгляд Остермана был безразличным. Казалось, все пролетает мимо его ушей: его занимали лишь грядущие перемены. Он был потрясен, взволнован. И не мог скрывать душевного переживания.

«Тоже стареет немчина! — с каким-то упрямым упорством Наум Акимович продолжил свою мысль о государе, хотя и понимал, что неплохо было бы сегодня посудачить и о предстоящих днях, обещавших перемены. Он тоже понимал, что плодовитый род Долгоруковых, в котором только одних Владимировичей было шестеро высокопоставленных особ, а Григорьевичей,

Михайловичей — счету нет! — круто станет влиять на молодого императора. А как же жить, если никого не слушать? Ни с кем не считаться?» — только промелькнуло в голове, а недосказанная мысль о Беринге, явившаяся с такой ясностью, заполонила его сознание. Беринг стоял перед его глазами неотступно, как наваждение.

Всем показалось, что разговор об экспедиции на какое-то время опять забудется, и каждый пообещал сам себе безотлагательно изучить все материалы, присланные экспедицией, представить полную картину деяний на пользу Отечества живущих во льдах посланцев. Науму Акимовичу вспомнилось, как за несколько дней до отъезда экспедиции они с Берингом встретились в печальном зале Зимнего дворца, прощаясь с Петром Алексеевичем. Смерть разгладила морщины на высоком челе императора, натруженные руки, умевшие держать плотницкий топор и кузнечный молот, кирку, весла и шпагу, лежали неподвижно.

Остерман застонал. Он, быть может, и хотел поддержать разговор, но это оказалось выше его сил.

Между тем Москва гудела от неожиданной новости — объявления императором скорого обручения с княжной Екатериной Долгоруковой. Всяких разговоров, домыслов, сплетен было не переслушать. Кареты вельмож, министров, послов грохотали по промороженной первыми заморозками земле, развозя нетерпеливых жен, дочерей, сестер, жаждущих узнать подробности, по разным адресам. Говорили, что от этой вести молодая княжна Черкасская упала в обморок и ее еле-еле привели в чувство. Всезнающая графиня Шафирова объясняла это непременным оноем молодого императора пóтом княжны Екатерины, собранным в бане с ее тела. Третьи — к ним относилась большая часть мужчин — считали, что это хорошо продуманный план светлейшего князя Алексея Григорьевича и главное — результаты дружбы Петра с преданным ему фаворитом Иваном.

А сколько разговоров было о князе Иване! Одни восхищались им, другие, как Андрей Иванович Остерман,— будь на то его воля! — готовы были незамедлительно бросить его в застенки тайной полиции. Зато дворяне и бояре зажигали лампады в красных углах, молились, надеясь на сохранение истинно русских

порядков и традиций. Коли и царица будет русского корню — не заполонят иноземцы Россию. Некому будет нашептывать государю на ухо и вводить чужие порядки. А потомственный дворянин Иван Васильевич Ростовцев немало рыдал от счастья и приказал не тушить свечей ни днем, ни ночью, но боялся наушников: что, как услышат его слова, да донесут, да наговорят располным-полно всякой напраслины, а он ведь только и сетует: «На что мне чужой кафтан, коли моя шубейка на бараньей шерсти теплее греет. На что мне безбородое обличье, когда в своей бороде я — господин. На что мне заморские вина, когда пенистая брага с одного ковша наповал валит. И если такое сватовство стало делом фаворита — князя Ивана, я за его здоровье до скончания жизни стану ставить свечу!»

Как бы там ни было, двор готовился к торжеству. А князь Иван по приезде домой заболел сильнее. По дороге из Измайлово его несколько раз стошнило. Петр немедленно прислал к нему трех царских лекарей-иностранцев, состоявших на службе при дворе. Долговязый Шаубер обратил внимание на ушибы и остался доволен: измайловские знахарки, обкладывая его тело травяными примочками, а в особенности мочой, сняли и жар, и красноту. Но он больше ошупывал голову, смотрел язык, закрывал и открывал костлявыми указательными пальцами веки. Сел напротив постели князя, вытер носовым платком пальцы и, подбирая русские слова, многозначительно сказал:

— Ле-шать нато. Ле-шать.

Иван и сам чувствовал, что в Измайлово рано вышел к столу, но то было царское приглашение и мог ли он пропустить такое застолье?

Дома — дело другое. Дома был полный покой. Постоянное напряжение, ответственность за все, что окружало Петра, выполнение его постоянных прихотей и капризов оказали влияние на вспыльчивый характер изнеженного князя. Если при императоре он заставлял себя сдерживаться, то дома давал волю своему настроению. С отцом был дерзок, с матерью вспыльчив, с братьями и сестрами просто груб. Да и они, зная его характер, не искали с ним частого общения, не желая лишний раз портить и ему, и самим себе настроение.

По прошествии трех дней, славно выспавшись и вволю нанежившись в постели, князь Иван многое

передумал. Он не был настолько легкомысленным и беспечным, как пытались его представить при дворе, и всегда помнил и знал, какую ответственность несет перед императором как перед главой государства, и всегда старался оберегать его честь и достоинство, многих держал на почтительном расстоянии, а иных доброхотов просто приказывал отправлять восвояси. Сейчас же, когда они станут связаны семейным родством, он дал себе слово, не жалея сил, помогать императору в укреплении власти и наведении порядка. Рассуждая обо всем этом, князь Иван пришел к мысли о своей женитьбе. Женитьба всегда предполагает укрощение необдуманных юношеских поступков и подводит черту под беспечным житьем.

«Что-то батюшка долго не заходит,— подумал князь.— Посоветуюсь да заставлю к Шереметевым сватов слать. Наташа — девушка скромная, кроткая, семейства достойного. Раза два на балах была, показывали ее мне. Кажется, дядюшка Владимир шепнул: достойная невеста!» — Князь натянул пуховое одеяло до самого подбородка, хотя от изразцовой голландской печи тянуло теплом.

Ветер, постукивающий ставнями окон, налипшие на стекло снежинки, темные облака, затянувшие небо хмурью,— все вызывало ощущение зябкости и неуютности. Иван позвонил в колокольчик. Бесшумно открылась тяжелая дверь, тут же явился спальник.

— Прикажи принести горячего чаю.— И когда тот был у двери, добавил: — Да пусть не забудут — с мятой.

С улицы доносился грохот колес экипажей, голоса прохожих и звон колоколов, созывающих к обедне мирян. Прислушиваясь, Иван узнал певучий Симоновский колокол, без труда определил голоса самых старинных и крупных колоколов под названием «Сысой» и «Полиелейный». Их звучание, перезвон, круживший над золотыми куполами церквей, всегда придавало Москве особую торжественность, вызывая в душах людей смирение, кротость. «Кабы не эта болезнь — поехал бы нынче на бал. Непременно увидел бы графиню Наталью, а коли она по какой-нибудь причине не приедет — надобно послать ей цветы. Цветы! И надо ли ждать бала?» — радуясь осенившей его мысли, князь решил сделать это немедленно. Как правило, у русских вельмож было не в особой чести делать подарки в виде

букетов. Больше предпочитались презенты в виде украшений: оставленные на память, они служили долгим напоминанием о внимании молодого человека. Но Иван знал силу воздействия роскошных букетов. Бывая вместе с дедом на приемах у польских королей, он мог наблюдать, как панские жены восторгались корзинами роз, тюльпанов, орхидей.

Он снова позвонил.

— Корзину самых лучших цветов из государевой оранжереи и немедля доставить Шереметевым — графине Наталье Борисовне.

Оказалось, что ни спальник, ни явившийся денщик даже не могли выговорить слово «оранжерея». На помощь пришел камердинер.

Дрему сняло как рукой. Князь Иван постарался припомнить рассказы родственников из жизни фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева. Но, как водится, молодых мало интересовали заслуги и подвиги старших: жизнь несет их своим бурным потоком... Не был исключением и князь Иван. Напрягая память, он вспомнил только разговор дяди с дедушкой по случаю смерти фельдмаршала. Они говорили, что Борис Петрович в своем завещании просил похоронить себя рядом с могилой своего старшего сына Михаила в Киево-Печерской лавре. Но царь Петр Алексеевич посчитал, что первый фельдмаршал России должен быть похоронен в новой столице, и по его велению тело фельдмаршала было перевезено в Петербург.

«Бедная Наташа,— подумал Иван,— как рано лишилась она отца.— Ясно вспомнилась тонкая ручка графини с пальчиками, украшенными золотыми перстеньками с драгоценными камешками.— Чистое и невинное дитя! А ее ручка, кажется, дрожала.— Князь Иван представил вдруг, каковы будут хлопоты. В том, что Наталья Борисовна не откажет ему, он был уверен. Настроение у него поднялось, стала меньше болеть голова, исчезла горечь во рту, которая мучила его несколько дней. Захотелось послушать песни крепостных девушек.

Явившийся в покои домашний секретарь Илья Степанович, стоя от князя на почтительном расстоянии, доложил, что светлейшего князя Алексея Григорьевича и княгини Прасковьи Юрьевны дома нет: они изволили уехать в царский дворец с княжной Екатериной, где начинаются приготовления к торжеству.

Всякий знает, в русском брачном обряде много тонкостей и условностей, которые надобно соблюсти. На протяжении двух недель — от сговора до обручения — длятся причитания по невесте. Именно на эти дни нанимают плакушу — женщину, которая заводит плачи по невесте на девичнике, зная все причитания и заплачки. Подружки жалобно поют песни. Из палат доносятся плаксивые голоса. Невеста не поет, а оплакивает свою девичью красу, русую косу, волюшку, заступничество матушки. По ней плачут подруги, в песнях бранят сваху и даже жениха. Но все равно в свадебных плачах-напевах чувствуется радость: плач голосит, а печаль смиренна.

Невеста должна плакаться на причете, каждому из родных и каждой подруге особо. Она должна встречать и поминать всех плачем, припевками. И все это неспроста. Семья на благословенной Руси имела крепкие устои. Жениху же и невесте, когда их разум опоен счастьем любви, все это кажется суетой сует и что сердца их и без этих обрядов будут вечно охвачены страстью. Но по прошествии времени все приобретает особый смысл.

Глава тринадцатая

Встреча Федора Долгорукова в Тобольске с дядей, генерал-губернатором Западной Сибири Михаилом Владимировичем, не вселяла надежд на возвращение в Березов, где осталась в тревожном ожидании возлюбленного старшая дочь опального князя Меншикова Мария.

В ушах звучали строгие слова: «До столицы будешь доставлен под охраной, а там делай как знаешь... Покорись судьбе!» Мыслимо ли пережить этот удар. Наивно и надеяться на милостивое расположение генерал-губернатора, но все-таки хоть бы какая крохотная надежда... Но судьба распорядилась иначе: захлопнулась тяжелая резная дверь, сурового вида дежурный нахлобучил на глаза треуголку. В изнеможении Федор сел на

грубо сколоченный табурет возле порога и какое-то время сидел в задумчивости. Он был не волен поступать по-своему. Кабы не полковник Миклашевский, назначенный властями охранять семейство опального Александра Даниловича Меншикова, он до окончания ссылки мог бы жить возле благородного семейства. Все остается в прошлом. Бедная Мария, думал князь, боясь представить испуганный взгляд княжны и ее горькие переживания.

С раннего утра, пока князь находился в генерал-губернаторском особняке, верный друг его, денщик Мирон, был в тревожном ожидании, сидел горемыкой возле старого тополя, откуда хорошо просматривались тесовые ворота с замысловатыми деревянными кружевами и бесшумно открывающейся калиткой. Неотлучно сопровождавший своего хозяина в военных походах на Кавказе, служивший при нем на Балтике, совершивший с ним многомесячную поездку на край Сибири — в далекий Березов, он был словно тенью князя Федора и не мыслил своей жизни без служения этому образованному и высоконравственному господину. Он сопереживал с ним дни больших побед, разочарований, любовных переживаний. Он знал все премудрости и коварства могущественных мужей, потому и молился без устали. Малиновый перезвон колоколов Софийского собора, божественные эти звуки навевали на него тоску и вызывали слезы.

Подъехавшая к воротам скромная карета с драгунами не предвещала ничего хорошего. «Наверное, для моего хозяина!» — решил денщик и, покоряясь судьбе, ждал.

В это время к губернаторскому дому подъехал крытый фургон, из которого вылез краснощекий, с окладистой рыжей бородой человек — в малиновых портках, шитых по швам до голенища жемчугом. Огляделся по сторонам, постучал в калитку. Вскоре верхом на гнедом коне подъехал стрелецкий в белом кафтане, увешанный у седла оружием. Ловко соскочил, по-хозяйски привязал коня к коновязи, засунул ременную плеть за голенище и тоже скрылся за калиткой.

Поодаль, за стеной деревьев, проходила объездная дорога, по которой грохотали телеги, возки, разносились громкие голоса и посвисты наездников, торопивших лошадей по неотложным житейским делам.

Холодный осенний дождь подкрался бесшумно и незаметно. От земли потянуло сырью опавших листьев. Аллея, с опавшими от первых заморозков листьями, потемнела и затерялась в моросящем дожде. Мирон сиротливо съежился, плотнее прижался спиной к стволу тополя. Он давно не испытывал такого гнетущего чувства подавленности и одиночества.

Увидев в калитке князя Федора, почему-то вздрогнул. Ни о чем не спрашивая князя, страдальчески смотрел на его потемневшее лицо и вновь услышал:

— Бедная моя Мария! — И этими словами было сказано все.

Вскоре из калитки вышел офицер, подошел к неказистой карете, одному из драгунов передал пакет.

— Доброй дороги,— сухо сказал офицер, подходя к князю Федору.— Не обессудь! Просил передать...— Он не досказал, кто велел сказать ему эти слова. Но в этом не было нужды. Генерал-губернатор все это время стоял за широкими портьерами у окна, с тоской наблюдая, как один из отпрысков Долгоруковых, живя не в ладу с законами, может быть сурово наказан.

Карета оказалась не чишена: по-видимому, давно никем не была востребована. Но, по всегдашней привычке, денщик Мирон не мог допустить, чтобы князь в дальнюю дорогу поехал в пропитанной пылью, с обшарпанной обивкой, оторванными ручками карете.

— Поди, арестантов возили? — спросил Мирон старшего драгуна.

Независимый вид денщика показался тому слишком дерзким, и он с пренебрежением крикнул:

— Садитесь и поменьше разговаривайте.

Но на то и был Мирон княжеским денщиком.

— Коли не ведаешь, кого повезешь в столицу,— ступай к генерал-губернатору да спроси. И пусть тебе в этом доме прочистят уши. Мой господин — Долгоруков! Тебе о чем-нибудь говорит эта фамилия? Ежели вразумел, о ком идет речь, и имеешь желание не испытывать в дороге неприятностей — обиходь карету! Я, зная своего князя, пособлю. Ну как? Пойдешь к губернатору или сами все спроворим?

— Черт с тобой,— был ответ.— Через пару часов выезжаем.

Не было дня, чтобы из уст князя Федора не слетали грустные слова: «Бедная моя Мария. Я все равно вернусь к тебе. Нет мне без тебя покоя, нет и жизни».

Измотанный долгой дорогой из Тобольска, князь Федор был несказанно рад, когда освободился от постоянного надзора драгунов, как это было предписано генерал-губернатором, и смог по своему желанию спокойно расхаживать по бедным крестьянским деревням, мыться в курных банях, пить парное молоко, ходить в церквушки и подолгу стоять перед образами на коленях, предаваясь молитве. Так прошло недели две.

Деншик Мирон, видя его нежелание появляться в столице, не знал, как заговорить со своим хозяином.

— Если бы можно было вернуться! Пошел бы в Березов пешком,— отвечал он на тревожные вздохи денщика.— Там теперь холода. Все птицы улетели. Ты заметил, что птицы в небе не появляются? Опять холодной зимы жди.

Мирон молчал. Ждал, когда наконец князь распорядится приобретать экипаж.

— По-моему, батюшки нет в Москве,— начал князь разговор в один из хмурых дней.— Он должен быть в Петербурге.

Мирон знал, что князю не хочется появляться в родительском доме, где все станут приставать к нему с вопросами, устраивать приемы, и ему волей-неволей придется общаться со многими знакомыми, лицемерить, говорить неправду, объяснять свое долгое отсутствие.

— Завтра в дорогу! Остановимся у моего крестного отца — Наума Акимовича Синявина. Он хоть и пожурит, да тут же все и простит. Ему-то я безбоязненно могу все сказать.

Князь Федор не ошибся. Не только Наум Акимович встретил его с распростертыми объятиями, но и милейшая Татьяна Степановна облобызала его по-матерински, растрогавшись. После, как принято в гостеприимных домах, были и баня, и медовуха к столу, и сытный ужин. Неспроста в наших сказках сказывается, если кто забывает про это, герой напоминает: ты меня вначале напои-накорми, а потом спрашивай.

Федор заметил, что контр-адмирал беспрестанно бурчал, а сняв форменный мундир и оказавшись в домашнем кафтане, стал походить на заурядного человека. Таким молодой князь никогда не мог даже представить Наума Акимовича и был немало обескуражен. Ведь в нашей жизни всегда живут высокие нравственные

ориентиры, с которыми человек соотносит свою жизнь, свои поступки, свое умение заглянуть вперед. И этой всегдашней уверенности у Наума Акимовича не было. Будто кто-то невидимый отнял ее, а значит, опустошил душу. Когда же этот бывалый, храбрый адмирал стал возмущенно рассказывать о политике государственных чинов и их абсолютном невнимании к морскому делу, Федор сочувственно соглашался, понимая, в какой нечести оказался Наум Акимович. Постоянные его напоминания о важности Камчатской экспедиции, посланной в северные моря, о ее финансировании, о достройке уже начатых кораблей, об открытии намеченных Петром Алексеевичем новых торговых маршрутов мало что меняли. У Сената был один ответ: у государства нет денег.

Разводя руками, Наум Акимович грустно усмехнулся:

— В это можно поверить! Какую праздную жизнь ведет двор! Балы, маскарады, торжественные выезды, дорогие украшения, приобретение высокопородных коней истощили казну. И люди-то словно сдурели. И все валят на заведенные умершим государем порядки. Да тот хоть и был часто пьян, да как умен! Не зря говорят: два угодья в нем! И эти туда же. Глаза бы не глядели. А флот пока только и держится на фундаменте, созданном Петром Алексеевичем. Год-два, ну от силы три — и все рухнет.

Настроение Наума Акимовича передалось Федору, хотя, совершенно не зная столичных дел, он не мог поддержать разговора, а только слушал.

— Скажу тебе, будто все подменили. Слушаю иных господ и ушам не верю: думать никому нет охоты, работать — тоже, а уж ежели колупнуть поглубже, то считай, каждого рука к чужому добру прильнула. А те, кто живота своего не жалели во славу России, не могут смотреть на этот разброд. Граф Калашников пьет беспробудно. Белобородов в дальнюю деревню сбег, генерал Лемешев ушел в отставку — на Урал, в глушь, на демидовские прииски подался. Остались только молодые да ловкие — у них сейчас пир горой да дым коромыслом!

Наум Акимович говорил это с нескрываемой тоской, постукивая костяным костылем о пол, и вдруг спохватился:

— Прости, князь, великодушно мою слабость. Не всякому скажешь теперь, не всякий слушать станет, не каждому любо слушать... Одним словом, прости.

Кабинет контр-адмирала был обставлен со вкусом. По крайней мере, так казалось князю Федору. Все стены были увешаны картинами морских баталий российского флота на Балтийских морях. И если приглядеться внимательно, то обязательно можно было увидеть, разглядеть на них самого Наума Акимовича. Приглашенные царем художники из заморских стран знали толк в живописи, умели угодить будущему хозяину картины. На одном большом холсте был изображен морской бой. Казалось, все смешалось в брызгах волн, в дыму, всполохах огня. Одинокие фигуры моряков искали спасения из этого ада: кто-то взбирался на мачту, кто-то бросался за борт, кто-то раскачивался на канате, отыскивая место на палубе... или в волнах. И в самом отдалении, в левом углу картины, среди матросов, заряжающих пушку, тонкой, еле заметной черточкой обозначен костыль контр-адмирала. Сквозь туман и дым едва угадывалась рука Наума Акимовича, сжатая в кулак.

Поодаль, на полках и столиках, размешались копии кораблей, сработанные большей частью из кости, но были и вырезанные ножом по дереву.

— А куда это ты, голубчик, изволил потеряться? — вдруг построжал Наум Акимович, будто и не было тех откровенных разговоров.— Ни слуху ни духу. Отец завалил Адмиралтейство депешами с одним вопросом: в какие края направлено их чадо? Только и увертывался, что ему на этот раз надо бы обратиться не в морское ведомство, а к регулярным войскам на Кавказе, куда ты был прикомандирован. Благо,— поперхнулся адмирал,— столица-то не поймешь где. Одни бумаги в Петербурге, другие обратно в Москву перевезли. Нигде концов не найдешь ни по какому делу. А если по чести, то я соврал твоему отцу: сказал, что ты Петром Алексеевичем был определен в Камчатскую экспедицию Беринга. Он вроде поверил, а тут опять спрашивал. В неправде-то концов нет, только единожды соври. Всякую ложь надо на корню вырывать, иначе затянет.

— Ваше высочество, Наум Акимович! Рассказ ваш близок к истине,— стараясь быть как можно спокойнее, сказал князь. Наум Акимович устремил на него свои черные глаза под клочковатыми седыми бровями. Смотрел долго, или так показалось Федору, потупившему взор.— Не спрашивайте пока. После покаюсь. Потому и явился к вам прямо с дороги, минуя родительский дом.

— Нет уж, дружок, выкладывай, как на духу. Непристало бравому офицеру...

— Извольте! — с вызовом ответил князь Федор, встав навытяжку, одернул полы синего кафтана.— Явился из Сибири, от светлейшего князя Меншикова, где находился все это время и просил. Да. Слезно просил руки его дочери — Марии Александровны.

У контр-адмирала из рук выпал костыль. Отвалившийся от удара драгоценный камушек укатился под стол. Придерживаясь за краешек стола, он сел в кресло, потянулся к чубуку, сделал несколько длинных затяжек и закашлялся.

— А с дядюшкой Михаилом Владимировичем встречался в Сибири? — спросил и, не дожидаясь ответа, будто разговаривая с собой, вымолвил: — Вчера его видел на балу. Сказывает, по делам явился, да угодил на обручение племянницы. Весел. О тебе и слова не промолвил.

Наум Акимович потупил взор. Нельзя сказать, что он сидел обуянный гневом. Скорее наоборот, отчаянный поступок князя Федора показался ему не дерзостью, а подвигом, на который способен не всякий.

— Я знаю: для меня нет оправдания, но мне необходимо вернуться в Березов. Я не хочу просить милости для светлейшего князя и его семейства. Я хочу, чтобы мне позволили жить там, Рядом с моей Марией.

Федор не знал о готовящемся обручении императора с Екатериной Долгоруковой, догадался Наум Акимович. Он подумал, что молодому, влюбленному отпрыску Долгоруковых повезло. Сейчас о князе Меншикове забыли все: и друзья, и враги. Столица шумела, готовясь к торжествам. Правда, вчера до него дошли слухи, что недовольное шляхетство, приехавшее на обручение Петра Второго, составило заговор против верховников, но об этом Наум Акимович промолчал, и вообще в памяти его явственно встал образ светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова, который в бытность свою приказал выстроить Преображенский и Измайловский полки возле царских хором, и прежде всего возле Кремля.

— О каком прощении князю Меншикову помыслил дерзнуть ты? — захлебываясь дымом после каждой затяжки, спросил контр-адмирал и тут же ответил: — Весь ваш род Долгоруковых на дыбы встанет: они свалили

его. Светлейший князь не безгрешен, но не более других. Многим был не по зубам! Многим! Теперь, как мне думается, он надломлен духом.

— Он стар и болен! — чуть не выкрикнул князь Федор, все так же почтительно стоя перед Наумом Акимовичем. Он приготовился выслушивать от него назидания и упреки и до глубины души был потрясен искренним сочувствием контр-адмирала судьбе Меншикова.

— Такому человеку, как светлейший князь Александр Данилович, лучше не знать и не видеть сегодняшнего разора! — сказав это, Наум Акимович указал рукой на кресло, разрешая Федору сесть. Тот будто мимоходом поднял выпавший из рук Наума Акимовича костыль, хотел было заглянуть под стол, куда укатился камушек, но услышал:

— Все! Закатилась звезда Петрова за темные тучи. Не нужны стали России такие люди, как Александр Данилович, а без таких удальцов возле царского трона нет надежды на процветание. Тебе, поди, горько это слышать? Ты Долгоруков.

— Боже милостивый! — живя еще своими думами, проговорил князь.— А при чем тут дети Меншикова?

— Молод ты еше и горяч. Ведь каково семя — таково и племя.

— Беззащитные, одни! Им ли жить в снегах? — говорил князь Федор, не понаслышке узнавший далекий Березов.

Наум Акимович, не глядя на стол, долго шарил ладонью, пока не взял в руку колокольчик. Денщик в матросской одежде чеканно отдал честь и замер в ожидании приказа.

— Доложи Надежде Константиновне: к обеду не спущусь. Накройте стол в кабинете.

— Слушаюсь! — был ответ денщика.

— Погоди. И скажи Надежде Константиновне — гость у меня, а то станет думать, что я болен.

— Слушаюсь!

Когда захлопнулась дверь, Наум Акимович громко выдохнул, как часто бывает с человеком, вдруг остановившимся после долгого бега.

— Порадовал ты меня, старика,— нервно постукивая по столу тонкими узловатыми пальцами, сказал контр-адмирал и с какой-то особой гордостью в голосе про-



должил: — Мало, князь, было возле Петра Алексеевича таких преданных людей, как Александр Данилович, готовых за него хоть в огонь, хоть в воду. Чего греха таить: многим верховникам не глянулись новые порядки! Теперь легко разводить руками, ругаться, счеты друг с другом сводить. А подле себя, хотя и ставят ему в вину, что много привез иноземцев, подле себя он только русских держал. Миловал их, награждал, порол и снова обласкивал. Меншиков, Апраксин, Шереметев, Головкин, Толстой, Долгоруковы, Макаров, Нартов! Тряс всей силой и берег, как детей. А иноземцы-то: архитекторы, художники, музыканты, учителя — летели к нам в Россию, как мухи на мед. Слов нет — этакую красоту сотворили. Всему миру застил глаза наш Санкт-Петербург. А кто же был, по-твоему, возле этого дела? Кому было поручено? Опять же Александру Даниловичу. Нет, что ни говори, а таланту у нашего народа полно... Он смолк. Но молчание не показалось князю Федору тягостным. Рассуждения о Меншикове в такой превосходной степени он, пожалуй, еще не слышал. «У нас только про покойников начинают добрые слова говорить»,— подумалось, но он тут же отогнал от себя эту мысль.

— Как хоть ему живется, несчастному? — полюбопытствовал контр-адмирал, не глядя на Федора, будто сам был повинен в опале Меншикова.

— Как всем изгнанникам,— был ответ, но в голосе князя чувствовалась печаль. Нельзя было сказать, что Наум Акимович был благосклонен к светлейшему князю. Он, как и многие, не упускал случая позлословить о его роскошной жизни, позавидовать богатству, поревновать по поводу близости к трону. Одним словом, готов был в общем злословии подать и свой голос. Но в отличие от многих ценил в Меншикове беспримерную храбрость, которой был сам свидетель. Сейчас, погрузившись в раздумья, этот видавший виды человек высветил в своей памяти незабываемые, запомнившиеся ему моменты, связанные с Александром Даниловичем.

Именно в эти дни, а быть может часы, в занесенном первыми обильными снегами Березове происходила трагедия: светлейший князь хоронил свою старшую дочь Марию Александровну — бывшую невесту императора. А вскоре и сам уже лежал на смертном одре!

— Как же, как же мне выпросить царскую милость хотя бы для детей светлейшего? — опять с жаром, как-то

лихорадочно произнес князь Федор, готовый упасть на колени перед контр-адмиралом, хотя и понимал, что от него ничего не зависит. Просто его охватило отчаяние.

— Лейтенант Долгоруков! — вдруг сурово остановил его Наум Акимович. Слово «лейтенант» остепенило князя, на миг поддавшегося эмоциям.— Возьмите себя в руки!

— Ваше высочество, Наум Акимович! — побледнев, чеканно ответил князь.— Прошу прошения. Что-то сердце вдруг вздрогнуло.

— Какое еще у тебя сердце,— стараясь сгладить суровость, снова упершись подбородком о костыль, совсем по-отечески сказал контр-адмирал и даже позволил себе пожаловаться на ноющую боль в бедре.— Вот сейчас выпьем с тобой по чарочке,— жестом пригласил князя к небольшому накрытому столику.— Разобьем в теле кровь, а потом ты расскажешь про сегодняшнюю жизнь светлейшего князя. Встревожил ты меня, старика, упоминанием о нем. Мне особо памятен день отправки главного обоза Камчатской экспедиции,— налив по чарке и испив свою, сказал Наум Акимович и крякнул громко и смачно, как умеют делать знающие толк в действии Бахуса.— На дворе стоял март. Над нашей северной столицей в это время со всей силой является солнце. Государя уже не было в живых, и вместо него прибыл Александр Данилович. Он в ту пору был в зените власти. Свита при нем многочисленная. Любил, ох уж как любил светлейший роскошь и славу! Вышел на помост. Алая адмиралтейская лента со звездою Андрея Первозванного сияла на его груди. Роскошный парик, с распушенными до плеч локонами, шел к его могучей фигуре. Рядом с ним был вице-адмирал Головкин, не скрою: и я имел честь там присутствовать. Само собой разумеется, и командор Беринг.

— Офицеры и матросы, корабельные мастера! — сильный голос Меншикова разнесся далеко.

В ответ понеслось громкое: «Виват! Виват!»

Тут Наум Акимович налил и торопливо выпил еще одну чарку. Несколько капелек скатились по подбородку. Убирая их широкой ладонью, грустно произнес:

— Все было, да былью поросло, сын мой.

Он еще не рассказал князю, как, стоя на мостике, Александр Данилович страстно обращался к участникам Камчатской экспедиции с призывом, чтобы русские

моряки не посрамили славы, добытой в морских викториях под Гангутом и Грингамом, и что Россия вправе ожидать от них подобных реляций в восточных и северных морях.

Чувствовалось, что при упоминании о прошедших событиях контр-адмирал старался подавить в себе волнение.

— Попутного ветра вам, братцы, и семь футов под килем! Ура-а-а-а! — подняв вверх руку, призывал светлейший князь. И какая русская душа не откликнется на такой призыв. А уж громкое «ура-а-а!» неслось нескончаемым эхом. В воздух летели треухи, треуголки, платки. В это время адмиралтейский колокол стал отбивать время, раздались пушечная пальба, ружейные выстрелы. Народ ликовал. Командор Беринг тоже поднес к губам рупор и подал команду:

— По саням!

Рука Наума Акимовича опять потянулась к чарке, которую он самолично передал князю Федору, по нечаянности опрокинул на столе тарелку со студнем, заодно полетела под стол вилка.

— Куда ты смотришь? — закричал он на денщика.

— Ваше высочество, экипажи поданы,— стараясь отвлечь хозяина, спокойно сказал деншик.

— Какие еще экипажи? — удивленно спросил он.— Извини, князь,— сказал после некоторого молчания.— Еще лет пять тому назад этакие чарочки я и в руки не брал. При случае кубки норовил поднимать. В голове светлело, мысли роем роились, из уст медовые слова лились, а теперь-то в косицу ударяет,— приложил он к виску руку с аккуратно вычищенными ногтями.

— Экипажи поданы,— улучив момент, повторил денщик.

Наум Акимович посмотрел на разрумяневшееся лицо князя, подмигнул хитровато:

— Я ведь смекнул: свидание тебе надобно с братом Иваном. Он теперь купается в лучах славы. А в такой миг человек щедр. Мог бы тебе многое рассказать про графа Шереметева, который так умел выбирать время и такие слова говорить государю, что стал самым богатым в России. Царские щедрости так и сыпались на его голову! Слов нет — за дела, за подвиги, за победы, но все-таки он умел так ульстить императора, в такие минуты подоспеть, что и царь был не волен ему отказать.

Да, кстати, князь-то Иван тоже надумал жениться. По секрету слышал, на дочери умершего графа, фельдмаршала Шереметева. А сам-то Иван, сказывают, болен. На охоте с лошади упал.

Затея контр-адмирала была для князя Федора полной неожиданностью, но он полностью полагался на его доброжелательное к нему отношение и покорился судьбе.

— Не питай иллюзий, князь Федор. При каких бы стечениях обстоятельств ни происходили нынешние неурядицы при дворе, получить помилование светлейшему князю Александру Даниловичу через Сенат не получится,— сказал Наум Акимович.— Только князь Иван сможет помочь. Другой дороги у тебя нет. А пока сам император и его окружение живут во власти предстоящих событий, можно пролезть во власть, как в игольное ушко, и вымолить освобождение из снежного плена твоей возлюбленной.

— Все так неожиданно,— признался князь Федор, не зная, как поделикатнее выразить свое опасение и сомнение, чтобы ненароком не обидеть Наума Акимовича, рискнувшего с какой-то, на первый взгляд необдуманной, легкостью поехать к первому фавориту императора.

— Без сомнений, лейтенант! Без сомнений! Быть может, это и мне составляет удовольствие. Не думай, что я такой простачок и помчусь на всех парусах. Кабы не храбрость твоя, не блеск ума, которым ты всегда покорял многих, то...

— Полно, Ваше высочество! Но не скрою: не думал, что вы примите в моих делах столько участия.

— Не хитри. Коли не думал, так отчего, минуя родительский дом, у меня объявился? И правильно сделал, что не струсил, как другие, все ходят вокруг да около, а обратиться к контр-адмирау боятся. А то не думают, что под кафтаном у меня, под орденскими лентами да крестами тоже сердце стучит.

— Может, все-таки завтра? — пропуская вперед себя Наума Акимовича, спросил князь.

— Ох, князь, князь! Да может и не быть этого завтра. Дело у тебя не бумажное, не служебное. К твоему делу нужно только душевное расположение, а оно, это душевное расположение, явиться должно. Как явится, так и улетучится. И у меня может пройти угар, и я начну

рассуждать строгим умом, сопоставлять свои намерения да раздумья — и передумать могу. Натри-ка мне виски нашатырем! Да надень мундир парадный! — сказал денщику, а Федору добавил: — Свой своему — поневоле друг, а Ивана Алексеевича только и можно изловить, пока он лежачий.

Глава четырнадцатая



Слюдяные фонари возле богатых особняков еще не зажигались, но из темных переулков уже доносились удары деревянных колотушек. Это перекликались околоточные, вспугивая воров и другую нищую сволочь, дожидавшуюся темноты, чтобы поживиться чужим добром.

В последние годы Москва была заполнена шатающимися бездельниками, беглыми людьми. В дневное время вся голодрань — сирые и убогие, юродивые и шелудивые — пряталась где ни попадя, а с наступлением темноты выползала из всех щелей, закоулков, перегородок в поисках еды. Голодные и бездомные, они не брезговали помойными ямами, шарились в сараях, а бывалые, не раз битые до полусмерти, набирались смелости и забирались в барские амбары, подвалы и кухни.

В карете на мягких подушках Наум Акимович враз захрапел, упершись подбородком в грудь. Размеренное покачивание кареты располагало к дреме, но Федор, давно разлученный с цивилизованным миром, был в возбуждении и волей-неволей предавался воспоминаниям. Пристально вглядываясь в строения, поймал себя на мысли, что пытается увидеть меншиковский особняк. «Как хорошо, что не помчался в Петербург,— подумал он.— Там буквально все напоминало бы о светлейшем князе Александре Даниловиче, о моей Марии! Да мучила бы вина перед батюшкой, не появись я в родительском доме».

В эти годы — безумной неразберихи — многие знатные люди спасались от излишних наговоров и сплетен

тем, что возили свой скарб из новой столицы в старую и обратно. Батюшка Федора, после смерти государя Петра Алексеевича, отошел от государственных дел и не рискнул перебраться, как многие, за молодым императором в Москву, хотя из месяца в месяц обещал приехать, порадовать свое сердце, погреть на солнце косточки, поездить по подмосковным монастырям, где жил неистребимый запах русской старины.

«А вдруг да откажет Иван? Как бы худшего не наделал, — усомнился Федор, зная, что раньше тот завидовал брату, к которому фортуна была благосклонна: Федор был замечен царским двором за ратные дела и превосходную службу, в то время как Иван рос баловнем, жил в роскоши в Польском посольстве. Поможет только из-за своего превосходства! А какая мне разница? Ни один из высоких чинов рода Долгоруковых и ухом не поведет, слушать не пожелает о светлейшем князе Меншикове. Отец? И тот стиснет зубы. В лучшем случае промолчит, да и то потому, что давно не видел меня».

К счастью, громкий окрик кучера прервал его мысли.

— Неужто приехали? — удивился Наум Акимович, потряхивая головой. С парика на кафтан Федора посыпалась пудра.— Не умеет Макар парики пудрить и не брался бы,— забурчал почтенный флотоводец, выбрасывая вперед себя трость, как только приоткрылась дверца кареты.

На удивление, светлейший князь Алексей Григорьевич оказался дома. Надо ли описывать, с каким восторгом, без всякой оглядки принял он контр-адмирала Синявина! И ласковых слов для Федора не пожалел, не единожды, пока шли по широкому коридору, назвал его «гордостью Долгоруковых...». По всему видно было, что скорая женитьба императора на дочери Екатерине затмила ему весь белый свет. Если бы раньше ни с того ни с сего явился к нему Наум Акимович, он искал бы причину визита героя морских побед.

— Искренне поздравляю с великой радостью,— соблюдая правила этикета, учтиво сказал Наум Акимович. При всех регалиях и орденах Наум Акимович имел внушительный вид, и всегда какую-то особую значимость его облику придавала украшенная дорогими каменьями трость, которой он с годами научился пользоваться искусно.

— Милости прошу! Милости прошу! — приглашал в гостиную прибывших Алексей Григорьевич, принимая лестные поздравления.

— Прикажи, Алексей Григорьевич, принести мне кваску,— мучаясь жаждой и сухостью во рту, попросил хозяина контр-адмирал.— Все из-за этой медовухи! — еле заметно подмигнул он левым глазом.

Федора хозяин, пригрозив пальцем, троекратно поцеловал и укоризненно сказал:

— Матушка-то твоя вся извелась, не ведая, в какой стороне тебя искать. Сколько слез пролила. Или Наум Акимович тоже не знал?

Щеки князя Федора вспыхнули, но он, как и Наум Акимович, не упустил случая поздравить дядюшку с предстоящими торжествами, да такими великими, что и во сне присниться не могли. Родная дочь Екатерина взойдет на императорский трон!

— Слов нет! — признался растроганный светлейший князь.— Голова в круг. За что этакая звезда озарила? Только перед вами царский кортеж подъезжал. Катерину с матерью и сестрами увезли в царские хоромы готовить к обручению. Бабки да няньки, как сороки, слетелись. Сама бабушка Петра — Евдокия хлопочет. Уж они-то более всех знают, какие надобно соблюсти обряды.

— Главный-то, говорят, в семье будет тот, кто раньше вступит на платок, разостланный перед аналоем,— хохотнул Наум Акимович, вспомнив былое. Усмехнулся: — Кажись, я в тот миг не оплошал.

— А где хоть ты оплошал? — многозначительно, с некоторой ноткой лести, ответил Алексей Григорьевич, отмечая в уме: «Моя Катерина это спроворит. Успеет побыстрее поставить ножку, а значит, будет держать муженька под каблучком, хоть и царь!», а сам хладнокровно ответил: — Мало ли всяких примет да суеверий связывают с русской свадьбой.

— Да хоть ты-то не притворяйся. Вроде все забыл. Всякая княжеская свадьба — пир на весь мир!

— Да то будет не княжеская! А царская. В самом Кремлевском дворце. Помню, сколько было разного люду,— не останавливался Алексей Григорьевич.— Возле ваших ворот было столько саней-розвальней, верховых лошадей, пеших, любопытных зевак. А сколько питья и еды было выставлено по склону Москвы-реки!

— Думаешь, все остались довольны? — спросил Наум Акимович.

— Да разве всем угодишь? Солнышко, и то всем угодить не может, а уж человек...

— Наши порядки теперь не в чести. А когда еще доведется походить по кремлевским залам, по кремлевским палатам, как не на этой свадьбе? Более и не дожить. Император-то наш молодехонький. Ему жить да жить! Всех нас перехоронит.

Стройный русоголовый парень с аккуратной стрижкой «под горшок» принес на блестящем золоченом подносе полные кружки квасу.

— Пенится, ярится квасок,— раздувая широкие ноздри и улавливая терпкость напитка, сказал контр-адмирал, картинно приподнимая двумя пальцами усы.— По мне,— сделав несколько больших глотков и смачно крякнув, продолжал Наум Акимович,— всех краше Грановитая палата. Помню, как торжественно там отмечалась победа над шведами в Полтавской баталии. Роскошь! Все стены наглухо затянуты малиновым бархатом с вышитыми серебром двуглавыми орлами. Меня в тот раз Петр Алексеевич одарил имением под Тверью да перстнем с бриллиантами, не говорю уж о высоком звании, в коем хожу по сей день.

— Да уж палат-то всех сразу и не перечесть. Одна другой краше,— проговорил Алексей Григорьевич.

— Как не перечесть? Или их боле стало? Или поубавилось? Теремной дворец, Святые сени, Золотая царицына палата...

Светлейший князь молча кивал головой. Всю нынешнюю ночь он в сопровождении главного камергера Кремля обходил все палаты и не верил, что Катерина, его дочь, станет их хозяйкой. Особо долго разглядывал Золоченую царскую палату, в которую, быть может, и не пустит его родная дочь, своенравная Катерина. Он отметил, что расположена эта палата на высоком арочном подклете и окна ее смотрят на Соборную площадь. Не без трепета заходил и в Теремной дворец, где на двух нижних этажах пустовали возведенные парадные и жилые палаты для царя. Перекрестясь, вошел в первую палату — Трапезную. Раньше в ней поутру собирались бояре, ожидая выхода царя. Сидели в ожидании с замиранием сердца. Вторая — Крестовая, или Гостиная, предназначалась для «сидения» царя с боярами. В Тронной, или царском кабинете, Алексей Григорьевич долго стоял возле порога, но, насмелившись, присел на стул у окна, которое называли челобитным. Из него опускали на площадь ящик, куда всякий житель мог класть

челобитную царю. Следующая была Опочивальня, рядом с ней Молельня. Туда Алексей Григорьевич не рискнул войти, а только попросил приоткрыть дверь и был поражен роскошью. В окна из цветной слюды, в белокаменных резных наличниках, били яркие солнечные лучи, освещая настенную живопись, покрытую позолотой. Он, схватив камергера за руку, заторопился выйти из палат, чувствуя дрожь во всем теле и опасаясь, как бы кто из царской семьи не увидел его: по лестнице, через Золотое крыльцо, которое выходило к Верхоспасской площади и соединяло Теремной дворец с Верхоспасским собором, где возле лестницы, опираясь передними лапами на гербовые щиты, сидели два каменных льва. Верхоспасский собор был домовой церковью русских царей.

Дальше Алексей Григорьевич не пошел, охваченный недобрым предчувствием. Показалось, что сияющий блеск царских палат просто наваждение и послано его семейству как испытание.

Наум Акимович, наклонив голову, кивал, будто вместе с Алексеем Григорьевичем обходил Кремль, в котором не бывал с 1709 года.

Занятый ошеломившей его еще одной новостью — желанием сына Ивана слать сватов к Шереметевым, просить руки молодой графини Натальи, светлейший князь с трудом переключил свое внимание на неожиданных посетителей. Конечно, он ничего не имел против Шереметевых. Дочь прославленного фельдмаршала не нуждалась ни в чьих рекомендациях. Каждый бы считал за честь. При ней все: почет, уважение, капитал. Пугали очередные хлопоты, выбившие светлейшего князя из колеи обычной, размеренной жизни. Но, как водится, русский мужик часто намерен все сделать одним махом, но не всегда верно оценивает свои силы и возможности, чего и опасался светлейший князь. «Хоть бы чуть погодил. Все едино станут сравнивать царскую свадьбу с Ивановой, а он стоит на своем. В одно время с Петром — и ничего больше слушать не хочет. Да и император это же твердит. Поди ж возьми их!»

— Ох уж эти хлопоты! — заговорил князь и с прищуром посмотрел на князя Федора, будто силился что-то вспомнить, но никак не мог. По-видимому, в сутолоке дней и собственных забот запамятовал о пересудах столичного общества на счет любви молодого Долгорукова

к старшей дочери светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова.

— Кто от них оборонится и надо ли? — вставил князь Федор.

— Да ты вот не больно озадачиваешь своих родителей такими заботами, а пора бы!

— Мое дело особое, — уклончиво ответил князь Федор, не дав возможности светлейшему князю Алексею Григорьевичу продолжить начатый о женитьбе разговор, который неминуемо мог коснуться опалы Меншикова.

— А как здоровье князя Ивана? — ерзая на мягком кожаном диванчике, вставил Наум Акимович.— Я в последнее время нигде не бываю, а слухи дошли: сказывают, ушибся князь?

— Все по удали молодецкой. Горюю об этом, а сам все думаю: не приведи, Господи, на его месте императору нашему оказаться. Они ведь друг без друга никуда и не больно-то слушают старших. Князей-то у нас полно, а император один,— сокрушался Алексей Григорьевич, по-видимому догадываясь, что неожиданно прибывшие к нему гости имели намерение увидеться с Иваном.— Пойдемте к нему. Он, сердечный, весь испереживался. Хотя император раза по два в день навещает его, а все едино чувствую... хандрит он. Хотел бы, может, с кем посоветоваться, поговорить, да не тут-то было. Не всякого к нему допустят. Уж я-то доподлинно знаю: все вокруг начеку! Отовсюду за нашими палатами глазеют. Неминуемо куда надо доложат, что и ваша светлость навестила.

— Испокон веку в нашей России соглядатаям почет,— поддержал хозяина Наум Акимович, направляясь в сопровождении светлейшего в покои князя Ивана.

Камердинер шагов за пять распахнул дверь. Князь Иван полулежал в кресле с бархатными подушками. Хорошо выбрит, красиво причесан, в белой полотняной рубашке, он был похож на статного юношу, сошедшего с полотен голландских художников. Мелкие родинки на правой щеке, как модные приклеенные мушки, придавали его и без того красивому лицу особую пикантность. Чуть поодаль, на спинке стула, висел мундир с голубой лентой и орденами.

Встреча двух братьев показалась Науму Акимовичу трогательной: Федор порывисто присел на одно колено,

чтобы не заставлять Ивана подниматься с кресла, а тот в свою очередь крепко притянул к себе его, и они, обнявшись, не выпускали из объятий друг друга, будто боялись, что, разжав руки, они снова расстанутся на долгие годы.

— Будет, будет,— ласково говорил Алексей Григорьевич.— Ишь как стосковались. А как порознь живете, так и не вспоминаете один об другом.

Науму Акимовичу вдруг представилось трогательное расставание родных с участниками Камчатской экспедиции. Быть может, эта ассоциация связана с именем князя Меншикова, оказавшегося в Сибири; быть может, навеяна рассказами князя Федора о его тайном посещении сурового края. И будто бы ни с того ни с сего старый контр-адмирал продолжил, казалось бы, всеми забытый разговор.

— Я доподлинно знаю, что было в тот памятный день отправлено двести шестьдесят груженых саней! Обоз тронулся по живому коридору, образованному гардемаринами.

Все обратили на Наума Акимовича удивленные взгляды, и только Федор, заметив сконфуженный взгляд контр-адмирала, догадался — понял, как тот мучительно искал повода начать разговор о Сибири, неминуемо коснуться жития там светлейшего князя Александра Даниловича.— И когда тронулся этот поезд, Беринга, флотского капитана, на глазах всего люда обнял светлейший князь Александр Данилович, выполняя волю нашего прославленного подвигами императора Петра Алексеевича.— Сказал и зажмурился: напоминание о могущественном императорском фаворите больше всех насторожило Алексея Григорьевича.

— Чего это ты, Наум Акимович, ни с того ни с сего об опальном заговорил? Да ни с начала ни с конца!

— Бог его знает! — вздохнул контр-адмирал.— Вспомнил, да и только. Начало-то князю Федору обсказывал, а теперь будто кто за язык потянул. А уж коли начал, так доскажу.

Наступила какая-то неловкая пауза. Не выпуская из своей руки руку Федора, Иван испытующе посмотрел на Наума Акимовича.

— Александр-то Данилович, царство ему небесное, на помосте заместо царя стоял.

— Отчего же «царство ему небесное»? — порывисто обернувшись, спросил князь Федор.— Кто такое известие принес?

Оторопевший Алексей Григорьевич несколько раз кряду перекрестился, не ожидая ответа. Он не мог совладать с собой, не мог ответить, какими чувствами вызвано его глубокое волнение: страхом, жалостью, покаянием, прощением. Все перепуталось в голове.

— Откуда тебе ведомо это, Наум Акимович? — чуть слышно спросил князь Федор, усаживаясь в рядом стоявшее кресло.

— Не ведаю,— каким-то виноватым голосом ответил контр-адмирал.— Сердце щипнуло.

Именно в это время, быть может, день и час, душа светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова навсегда оставляла грешную землю.

Чтобы сгладить неловкость, Наум Акимович все-таки продолжил:

— Сани немедленно тронулись и стали выезжать за адмиралтейские ворота. Чуть погодя тронулись офицерские кибитки, в которых ехали жены, пожелавшие сопровождать мужей в Сибирь. Теперь все забыли про эту экспедицию. Докуда Александр Данилович был возле престола императрицы, знали, где те отряды и чем занимаются. Связь славно была налажена. Каждонедельно получали эстафеты, а теперь...

— Полно, Наум Акимович,— остановил контр-адмирала хозяин.— И у молодого императора руки дотянутся. Срок надо дать.

—...Прошли те сани-кибитки через триумфальные ворота, которые возвели в честь наших викторий над шведами на суше и на море. Ты же помнишь Невскую першпективу: широкую, обсаженную в три ряда березами? — обратился гость к Алексею Григорьевичу, которому ничего не оставалось, как в подтверждение кивнуть и сменить разговор. Но в покои будто влетел дух Меншикова, вызывая у каждого воспоминания, связанные с делами этого человека.

— О, Господи,— вырвалось из груди Алексея Григорьевича. При упоминании имени опального Меншикова у него испортилось настроение, появилось желание зажечь в церкви свечу, и опять сомнение: за здравие или за упокой?

Мысли развеял шум и громкие шаги в коридоре. Отталкивая камердинера, в палаты влетел запыхавшийся денщик.

— Гонец прискакал от Его Императорского Величества. К нам соизволит приехать сейчас.

Алексей Григорьевич пристально посмотрел на сына Ивана, как бы спрашивая: «Ладно ли там? В Кремле? Не выкинула ли Екатерина какого-нибудь фортеля? С нее сбудется».

— Разве впервой? — ответил Иван.

— Да ведь только-только был здесь. Или что там у него стряслось?

В ответ раздался какой-то возглас, вроде смешка. Стараясь показать свое панибратское отношение к императору, Иван лениво изрек:

— Скучно малому. Скучно Петруше!

— Князь! — строго остановил сына Алексей Григорьевич, отметив про себя, что мало еще мудрости, мало еще хитрости, хочется недорослю предстать перед гостями императорским покровителем. По сути-то, так оно и было, но надо же, надо же быть поскромней.

Стоит ли говорить, что появление императора верхом на лихом аргамаке, белом как снег, в окружении стройных верховых лошадей с разукрашенной упряжью, вызвало восторг московского люда. Особо зевак останавливала удивительная упряжь: чепраки украшены дорогими самоцветами, вышиты золотом и серебром стремена, уздечка! Все достойно восхищения и восторженных возгласов!

Между тем для контр-адмирала Наума Акимовича Синявина встреча с императором здесь, у Долгоруковых, нежелательна по своим, личным, причинам. Не лезть же под кровать, не прятаться же за какую-нибудь ширму.

— Может, мне лучше откланяться? — взглянув на взволнованного Алексея Григорьевича, спросил гость, выбрасывая перед собой костыль, чтобы упереться.— Пойдем, дружок,— обратился он к Федору.

— Да куда вы? — остановил их Иван.— Экая невидаль! — сказал и смутился.

Светлейший князь, только-только приказавший собрать все ковры и спрятать в чуланах, давал на ходу распоряжения сбежавшейся прислуге: расстилать ковры и половики, накрывать столы, зажигать во всех углах свечи. Он почему-то несколько раз запнулся на ровном месте и в укромном закутке коридора присел на лавку, стоявшую вдоль стены, покрытую алым бархатом, закрыл ладонями лицо. «Кабы Катька чего не натворила. Да и эти явились! Принесла нелегкая, незнамо зачем.

Наум-то Акимович ляпнет что попало! Опять станет напоминать Петру о загубленных дедовых намерениях. Не упустит случая. Кабы погодил, ан нет: ни раньше, ни после!»

— Пойду я к карете,— немного поразмыслив, сказал Наум Акимович и подозвал Федора: — А ты не робей. Быть может, тут все и уладится. Они на радостях-то полцарства отдадут,— и низко откланявшись, заковылял по коридору в сопровождении словно выросшего из-под земли деншика.

Великолепный царский кортеж подъезжал к дому Долгоруковых. Надо сказать, что Андрей Иванович Остерман слезно просил молодого императора не делать этого! Не возвышать в глазах людей и без того знатный род, что все придет само по себе, что не царское это дело, но Петр был неумолим. На улице сквозь густые тучи, как сквозь сито, сеял снег. Дул холодный северный ветер. Великолепные царские лошади, в богатых седлах которых сидели бравые офицеры, приближались к дому светлейшего князя Долгорукова.

Князь Федор чувствовал себя неловко: не знал, то ли ему остаться, то ли уйти вслед за Наумом Акимовичем.

— Ладно, брат Иван! Времени нет. Хоть сейчас голову руби, хоть немного погодя. Прошу, замолви перед императором слово!

Первый фаворит двора наконец-то почувствовал превосходство над своим талантливым братом, обласканным за деяния и успехи перед Отечеством Петром Великим, ставившим его в пример другим князьям.

— Чего тебе? — спросил Иван, разглядывая тщательно вычищенные ногти на пальцах рук.

— Замолви слово за семейство светлейшего князя Меншикова Александра Даниловича.

В глазах Ивана вспыхнул недобрый свет. Он, упершись руками о подлокотники кресла, хотел было приподняться и встать, не находя сразу подходящих слов.

— Лежачих не бьют,— не дав вымолвить ни слова Ивану, опередил Федор.— Теперь, когда решено, что Екатерина наша станет царицей, можно и Петру сменить гнев на милость. Да уж если и быть нам с тобой чистосердечными, то надо признать: если бы не Александр Данилович, не видать бы Петруше императорского трона! Он-то молод, поди, и не догадывается, не знает всех споров и положенных жизней за его воцарение.

— Для чего это тебе? — сухо спросил Иван.

— Или тебе не ведомо? Я люблю Марию Александровну. Я только что вернулся из Березова. Я готов там, рядом с ней, коротать жизнь, только испроси у императора милости для детей Александра Даниловича.

— Ты в своем уме? — растерянно спросил Иван.

— Я буду надеяться! — обнимая Ивана и не дав ему опомниться, сказал Федор.— А пока у меня нет желания мешать твоей встрече с императором. Поправляйся, да смотри — не забудь моей просьбы. От императора-то и нужна одна закорючка в Указе.

«Закорючки царские и я умею делать, а только испросить надо»,— подумал Иван, расслышав громкий голос императора, шумно вбежавшего в покои друга.

Надо отдать должное князю Ивану. Петр не без грусти вспомнил былое, молча подписал бумагу о возвращении из ссылки и вступление во все права русского дворянства семейства светлейшего князя Меншикова. Но к этому времени ни его самого, ни царской невесты Марии Александровны уже не было в живых.

Глава пятнадцатая

Все эти годы молодого императора не обременяли особыми делами и заботами. Он жил в постоянной неге, оберегаемый от всех перипетий, переживаний, а главное — от государственных дел. Многих это устраивало. Если светлейший князь Меншиков, сумевший, вопреки закону, возвести внука Петра на престол, питал великие надежды и видел в нем продолжателя своего дела, то после его опалы о великом преобразователе забыли. Или хотели забыть.

С попустительства главного опекуна Остермана занятия молодого императора, определенные государственным регламентом, стали проводиться нерегулярно. Исподволь, но слишком часто внушалась мысль только о его беспредельной императорской власти. О двухгодовом

путешествии по стране с целью ознакомления с российскими просторами сразу забыли, а стали поощряться всевозможные развлечения и утехи. Но, к великому счастью не только для Петра, но и для блага государства, воспитывающая его тетка Наталья Алексеевна — сестра покойного императора смогла привить ему любовь к природе, а дружба с дворянскими отроками — заядлыми охотниками — помогла отстранить его от назойливых влияний двора, к этому времени заполоненного иноземцами.

Но главную тревогу о воспитании Петра забила его бабушка — царица Евдокия Федоровна Лопухина. Ее появление в высшем обществе столицы у многих вызвало смущение, удивление, а главное — страх. Все знали, что, отвергнутая всемогущественным монархом, она была насильно сослана в монастырь, пострижена, где и провела многие годы жизни. И теперь по Указу малолетнего внука-императора вызволена из монастырских стен. Сделал он это по наущению знатных бояр, вопреки желанию Андрея Ивановича Остермана. Узнав об этом, отвергнутая царица не сразу поверила: немало молилась, обливалась слезами. Но в назначенный день и час, в сопровождении настоятельницы игуменьи Дорофеи и многочисленной свиты, въехала в престольную столицу.

Смиренная годами гордыня еще не позволяла ей чувствовать себя той, кем она являлась на самом деле. В ворохе событий затмились горькие дни, но только одна кровоточащая рана о судьбе сына Алеши не давала покоя. Осиротевший, живший без материнской ласки и догляда, окруженный темными силами, вороньем кружившим над его беззащитной головой, раньше времени сошел он в могилу. Это подкосило здоровье царицы, и она, будто прижатая к земле чьей-то зловещей рукой, стала привыкать к монастырю, готовая распроститься с жизнью, нимало о том не жалея. «Быть может, Алешины молитвы да мои слезы заронили в душу внука сострадание? Или это кровинка моя смогла пошевелить его сердце?»

Она боялась встречи с внуком, которого довелось видеть всего два раза, да и то крохотным. Чаще она вспоминала тайные встречи с сыном Алешей и каждый раз убеждалась, что измучен он, затравлен жизнью и нуждается в успокоении души.

— Отчего же ты, Алешенька, пристрастился к питью? От того у тебя и сил мало, и голос слаб.

— Силой, маменька, силой поят.

— Кабы чур знал, так и батюшка к тебе был полюбезнее. Сын ты ему.

— Не зашишай его, матушка. Мало он тебе горя принес?

— Мое горе — бабья доля да царская нелюбовь. Боль по своей судьбе — не боль в сравнении с плачем о сыне. Тебя, Алешенька, на трон возводить станут. Ты один царский наследник.

— Не надо мне царской короны.

И горько было царице слышать такие слова, а изменить ничего было невозможно. И сердцем Евдокия Федоровна понимала, что такой царь никому не нужен: хил и слаб. Только и быть ему в заточении да менять монастыри. Слава Богу, хоть сына после себя оставил! И тут царица вспомнила про светлейшего князя Меншикова. «Он, этот бестия, всю жизнь куролесил с государем. По его наушению возили меня из монастыря в монастырь! Но он же и возвел внука на престол. Кабы не он — не видать бы мне до самой кончины ничего, кроме унижения. Что для них я? Они и самого Петра Алексеевича забыли. А о нем, этом воре и моте, по век. до самого гроба молиться стану!»

Обо всем этом передумала царица Евдокия Федоровна, идя на встречу к внуку.

— Дитятко мое ненаглядное! — с порога бросилась она в объятия внука. В больших серых глазах ее, спрятанных в густых ресницах, дрожали слезы.— Как же ты на дедушку похож. Так похож. А я так боялась встречи с тобой! — говорила царица, не замечая, как по щекам ее катились слезы.

Петр зарделся.

— Чего боялась? Ты же законная царица,— не убирая бабушкиных рук со своих плеч, взволнованно отвечал внук.

— Не слушай, не слушай меня, грешную,— заговорила она.— Я от твоей великой милости как в угаре. О, Господи, как же ты похож на своего дедушку! — опять повторила она.

Петр замер. Все слова застыли на устах, и, поддавшись внутреннему зову, он припал к ее щеке и с нежностью стал целовать ее лицо. Все стихли вокруг.

Эта встреча поразила всех, облетела столицу. Многие жаждали повидать царицу — Евдокию Федоровну Лопухину!

В Грановитую палату она вошла под руку с молодым императором. Вид ее был величествен. Высокая, еще статная, облаченная в царские одежды, она вошла хозяйкой. И никто не мог этому воспротивиться. Скорее наоборот... У многих было странное чувство, будто и не было долгих лет ее отсутствия, будто она все время находилась тут, за дверьми, и ей следовало бы только открыть их и войти в собственные хоромы.

Сама Евдокия Федоровна не могла долго быть в кругу придворной знати. Ей ни с кем пока не хотелось общаться: неловко было смотреть на старых царедворцев, расшаркивающихся в любезностях, а многие лица были незнакомыми. Она только успела отметить, что многое при дворе стало на чужеземный лад: наряды, парики, вокруг — безбородые лица и много, очень много незнакомой речи.

«Бедный мой сынок. Бедное дитятко! Подомнут тебя под себя эти нехристи. Тебе сейчас уже надо показывать им зубы, а не смотреть в рот!» — думала она, высказав желание отправиться домой сразу же, как только загремела музыка и начались танцы.

Петр в окружении молодых людей, среди которых тогда был и Иван Долгоруков, проводил ее до кареты и откланялся.

Оказавшись в роскошной карете, принадлежавшей раньше светлейшему князю Меншикову, в сопровождении придворных фрейлин, она откинулась на мягкие подушки, закрыла глаза и отдалась думам о внуке. «Сирота,— с грустью подумала она.— Мать его, Шарлотта, дочь Вольфенбюттельского герцога, умерла через две недели после его рождения. Она успела только несколько раз прижать его, приложить к плоской, безмолочной груди да прикоснуться сухими губами к его красноватому, сморщенному лобику. Ей ни разу не распеленали его, и она не смогла обцеловать его крохотные пальчики, не могла его благословить как будущего наследника престола».

На Руси, кажущейся со стороны страной варварских и диких нравов, людей с непредсказуемыми поступками, в обиходе, даже среди простолюдинов, было множество слов, остужающих гнев, успокаивающих сердце, вызывающих слезы любви и умиления!

В доме Долгоруковых, не отличающихся особой дружбой между собой, в повседневной жизни бытовали чудодейственные слова доброты. И чаще других они исходили из уст княгини Прасковьи Юрьевны. Именно у них Петр услышал много хороших слов. Они не были подобострастными, а произносились с какими-то особыми теплыми интонациями. Да и Екатерина при встречах успевала назвать его «разлюбезный», «свет мой», «соколик». Они были необычными для Петра, но так схожими с бабушкиными.

Узнав о самостоятельном намерении внука жениться на одной из дочерей светлейшего князя Алексея Григорьевича Долгорукова, царица первой благословила внука, несказанно радуясь, что пронырливые иноземцы не успели сосватать ему какую-нибудь дочь Карла, Августа, Фридриха. Она, не дожидаясь больших церемоний, при первой же встрече, у себя в покоях, благословила собственной иконой Петра, той самой, которой была благословлена в жены Петру Алексеевичу и с которой никогда не расставалась.

— Это я тебя заместо отца и заместо матери благословляю! В тишине да подальше от любопытствующих глаз,— смиренно сказала Евдокия Федоровна.

От наблюдательного взгляда царицы не могли ускользнуть постоянная торопливость внука, желание поскорее оставить ее покои. Особенно когда они оставались вдвоем. Она не могла не догадываться: много ему с малых лет было наговорено нелестного о бабке Евдокии. Хотелось выбрать подходящее время, чтобы поговорить с Петром по душам, но все не было подходящего случая. Не могла же она ни с того ни с сего рассказать внуку о скорой нелюбви к ней царя Петра Алексеевича, о том, как, попав в объятия гуляшей немки Анны Монс, скоро возненавидел он не только ее — царицу Евдокию, но и сына своего. Не могла она до поры до времени пожаловаться внуку, как ее сослали в монастырь и как воспротивилась она — скинула с себя монашеское одеяние и надела мирское платье, хотя и чувствовала, что ей все это так не пройдет! И скоро последовал Указ императора, в котором он обвинил ее, царицу Евдокию, в причастности к стрелецкому бунту и в пагубной связи ее с майором Степаном Глебовым. И покарал того смиренного человека, посадив его на кол на Красной площади. Не пощадил он чувства отвергнутой царицы, ославил

перед всей Россией, а потом многие годы под строгим надзором перевозил ее из монастыря в монастырь: то в Суздальско-Покровский, то в Ладожско-Успенский, то в Шлиссельбургский и под конец в Новодевичий! Но с этим она уже смирилась. Все прошло, все осталось в прошлом. Но жгло сердце царицы другое: и по прошествии лет не забудет она жестокости Петра Алексеевича. Не могло и сейчас простить сердце его жестокости! Вечно будут в глазах стоять пытки стрельцов. Тысячи отрубленных голов, нанизанных на столбах, держали столицу в неописуемом страхе. И ей хотелось дать наказ внуку: быть к подданным своим милосерднее. Хотелось... Надо было время. Сейчас же она, как всякая русская женщина, измученная, униженная, истосковавшаяся по любви, только и могла при виде внука вздыхать и желать ему побыстрее обвенчаться и отбить намерения многих высокопоставленных мужей, роем кружившихся возле молодого императора с советами,— подумать, «крепко подумать» о своем намерении обручиться с княжной Долгоруковой. За этими советами угадывалась фигура Андрея Ивановича Остермана. «Чистый ворон! Так и ждет добычи»,— думала о нем царица, почти постоянно ощущая недобрый взгляд вице-канцлера. Он чувствовал, что царица одобряет выбор Петра, и еще больше негодовал. К ней-то ему непросто было подойти. Он знал, крепко знал характер Евдокии Федоровны: прямой, неподкупный и откровенный. Знал, что ей есть что сказать ему такого, что он надолго забудет сон и спокойствие. «От греха подальше! — смиренно успокаивал себя Андрей Иванович.— Найдем, с какого края тебя укусить!»

Зная неприязнь Евдокии Федоровны к дочери Петра — Елизавете, чье присутствие на всех балах и приемах было обязательным, он постарался воспользоваться этим. Слов нет, красота и грация Елизаветы покорили всех! Ее цвет лица, несравненный стан, красивая шея, прекрасные глаза у всех вызывали восторг. Если бы она не была дочерью ее соперницы, царица Евдокия непременно заметила бы не только это, но и ее блистательный, живой ум, умение общаться. Все в ней было прекрасно. Но ревность и обиды, причиненные ей ее матерью, напрочь отвергали все достоинства Елизаветы. Она не могла не только слушать о ней, но даже смотреть в ее сторону.

Остерман, заметив это, не отказался от возможности позлить царицу. Не поленившись, прошаркал по паркету через весь зал, подхватил императора под локоть, полюбезничал, посетовал на невнимание Петра к своему опекуну и медленным шагом подвел его к Елизавете.

— О! — восторженно воскликнула та, кокетливо повела обнаженным плечом, раскланиваясь перед Петром в низком реверансе.— То ли поздравлять, то ли удивляться? — услышала царица, вспыхнув от прилива крови к лицу, но не подала вида. Как ей показалось, была в словах Елизаветы какая-то язвительно-насмешливая интонация. Быть может, царице так показалось. При дворе все знали, что Елизавета принимала ухаживания князя Ивана Долгорукова.

— Поздравлять,— был твердый ответ Петра.

Остермана будто ошпарили кипятком. Он круто повернулся и отправился восвояси. «Опять захромал. Притвора. Сколько помню, все больным сказывается, а всех пережил»,— подумала царица, провожая вице-канцлера пришуренным взглядом.— На серую мышь похож!» — Заметила это Евдокия Федоровна не без основания. Зал блистал нарядно одетой публикой. От ее взгляда не ушло и то, что Петр был чем-то взволнован. Он сегодня побывал в Успенском соборе, где будет проходить обручение. Прошел со свитой мимо Писцовой палаты, где на длинных, обитых суконными подушками лавках вдоль стен сидели почтенные князья и решали многие дела по проведению царского обручения. За огромным столом, покрытым красным сукном, стоял дородный, с огромным животом, князь Матвей Сидорович Сухомлинский. В руках его были исписанные столбцами листы белой бумаги и возле лежали старинные грамоты, старые книги... Царица знала, что вчера благообразные настоятели храма смиренно и тихо показывали Петру, как надобно будет вести невесту, как кому встать. Все это он слушал смиренно, но исподволь появлялось желание убежать от всего и всех, снова поехать в леса, гоняться за лисами и слушать только свист ветра в ушах да заливистый лай гончих собак. К этому подтолкнуло его чувство, появившееся у него в соборе. Громадные, величественные своды храма, неописуемое убранство его, сотворенное и украшенное лучшими зодчими со всей России, лики святых, смотрящие отовсюду, вызвали в душе таинственный трепет. Ему показалось, что

кто-то шепнул ему на ухо: не торопись. Остановись. Оглянись.

Петр остановился посредине храма, замер, устремив взор на иконы. И тут в центре первого ряда иконостаса, в специальном киоте, где помещена икона Божией Матери, словно промелькнуло лицо отвергнутой им невесты — Марии Меншиковой. Петр вздрогнул, чуть отпрянул, вспомнив свое первое обручение в этом храме. Образ Марии явился ему невесть откуда и так же бесследно исчез. Но этого было достаточно, чтобы вернуть императора к тем дням, когда он шел к алтарю под опекой светлейшего князя Александра Даниловича. Он в ту пору был совершенным ребенком. «Святые образы напоминают мне о несчастной Марии»,— мелькнула мысль, и он поспешил к южным дверям собора, на которых золотом выполнены были библейские сцены, затейливые орнаменты, славянские надписи. Распахнулись перед ним двери. Оказавшись на Красном крыльце, он долго стоял в оцепенении от явившегося ему наваждения, и только звоны колоколов с белоснежно-златоглавой башни Ивана Великого вывели его из этого состояния.

Ярко светило солнце. Легкие снежинки медленно кружились в воздухе, барахтались в его лучах и медленно опускались на землю. Не всякий решался первым вступить на эту белизну. И только черные вороны, гнездившиеся под сводами высоких куполов церквей, боязливо, с ворчливыми криками слетали на свежевыпавший снег, обновляя первый зазимок.

Глава шестнадцатая

Петр, наперекор Андрею Ивановичу, зачастил к Долгоруковым. Его можно было ждать в любую минуту, потому Алексей Григорьевич прибавил скороходу Ипполиту жалованье, и тот несся стремглав через переулки и подворотни прямиком к хозяйскому дому с вестями.

Велика ли в ту пору была Москва! Выезд императора из Кремля всегда сопровождался колокольным звоном и представлял торжественное зрелище. Отовсюду сбегался народ — коленопреклоненный, с челобитными, живущий надеждой на великое заступничество Божьего помазанника.

По брусчатой площади раздавался равномерный цокот копыт. Петр, как сказочный принц, сидел в седле величественно, изредка бросая взгляды по сторонам. Мысли его были заняты встречей с Екатериной. Он с удовольствием ехал к Долгоруковым. Вдали от всевидящих, всеслышащих стен дворцовых палат, подобострастных приветствий со всех сторон, он в этом особняке чувствовал себя свободно: мог громко смеяться, играть в карты, слушать разные байки-небылицы про охотничьи приключения. Алексей Григорьевич был на это большим мастером.

Вчера, к примеру, он рассказал было про Прасковью Юрьевну. Как они с графиней Софьей Даниловной Голицыной непременно захотели съездить с мужьями по ягоду-бруснику, которой великое множество уродилось в сосновых борах. Сами же они настояли, чтобы рядом не было ни нянек, ни служанок. Взяли в руки легкие берестяные лукошки, пошли в глубь бора. А в сосновом бору будто специально был разостлан брусничный ковер. Глаза у них разбежались: ягодка к ягодке заманили их в глубину леса, потерялись из виду кареты.

Мужья с ружьями наперевес отправились в разные стороны пострелять боровую дичь. Невидимое множество рябчиков! Лес был наполнен фырканьем крыльев этих серепьких птиц. Софья Даниловна часто вздрагивала от неожиданного взлета рябчика, примостившегося на каком-нибудь кусте. Первой забеспокоилась Прасковья Юрьевна. Она стала кружиться на одном месте, пытаясь через просветы меж золотистых стволов сосен увидеть оставленные кареты. А Софья Даниловна, попытавшаяся тут же закричать, враз потеряла голос. Ко всему, как ей показалось, кто-то спрятался за дальними кустами.

— Хозяин! Сам хозяин! — схватив за руку графиню, шепнула Прасковья Юрьевна, и они, бросив лукошки, запинаясь о мшистые кочки, путаясь в подолах длинных юбок, бежали, не зная куда. К счастью, скоро стало темнеть и мужчины вернулись к каретам. Началась

пальба. Перепуганные Прасковья Юрьевна с Софьей Даниловной не могли определить, в какой стороне стреляли, метались из стороны в сторону, пока в изнеможении не упали возле громадной сосны. Надо ли было рассказывать, в каком виде, в каком состоянии были они, когда бравый денщик нашел их!

Среди этих счастливых, веселых минут сердце Петра жило ожиданием встречи с Екатериной, которая в это время была в своих покоях. После всего случившегося в Измайлово она потеряла покой. Нет, она не раскаивалась в случившемся, а скорее недоумевала: как могло все произойти? Как она безоговорочно согласилась с предложением Петра? И ее возлюбленный Милиссимо не мог поверить в случившееся. Несколько раз являлся на балы в состоянии сильного опьянения, и, чтобы избежать неприятностей, стража была начеку: вовремя брала его под руки и выводила из дворца.

По всей видимости, близкие друзья посоветовали ему вести себя осторожнее: заигрыванием с царской невестой он мог навлечь на себя неприятности. Но он не мог поверить, что Катюша, которая так искала с ним встреч, вдруг отвергла его! Не мог же один случай так изменить ее отношение! Он и сейчас считает: нет ничего обидного в том, что сказал ей, что большинство русских живут чужим умом. Иначе незачем было бы Петру Великому звать в Россию чужеземцев. Екатерина тогда возмутилась, рассердилась, но не нашлась, что ответить. «Вот тебе — русские живут чужим умом!» — злорадно думала княжна, получив от Милиссимо записку, переданную из рук в руки княжной Виноградовой, только что приехавшей с обеда от князей Муравьевых, где собиралась молодежь.

— Передай,— прочитав любезное письмо с немыслимо исковерканными русскими словами, попросила Екатерина,— умеют русские жить своим умом.

Золотовласая княжна Виноградова ничего не поняла из ответа Екатерины.

— Он поймет,— был сухой ответ.

После отъезда подруги Екатерина не могла найти себе места, несколько раз принималась плакать. В душе ее все перепуталось. Ясно, что не эти слова разобидели ее. Мало ли она слышала всевозможных пренебрежительных высказываний о российских порядках, обычаях, нравах, манерах. Где-то соглашалась, где-то защищалась, но всерьез ничего не воспринимала. Она была просто не

в состоянии спорить, потому что ей не с чем было сравнивать, но честь своих соотечественников не позволяла порочить.

— Не лезьте со своим уставом в чужой монастырь,— всегда был ее ответ. Ей где-то даже было лестно, что она нашла такой хороший ответ... А счастливые, беззаботные вечера забыть не так просто! Было столько веселья! Столько свободы!

Отец, зная Екатерину, чаще других навещал своенравную дочь. Он понимал, что весь сговор с Петром может рухнуть: от нее можно было ожидать чего угодно и потому по вечерам молился, твердя одно: поскорее бы прошло обручение! Поскорее!

Не такой дурой была Екатерина, как думалось Алексею Григорьевичу. Почувствовав к своей персоне трепетное отношение всех окружающих, желание исполнить любое ее желание, каприз и даже некоторое преклонение перед ней государственных лиц, княжна испытывала и наслаждение, и смущение, а когда Андрей Иванович Остерман шепотом назвал ее «Ея Высошшество!», лукаво подмигнув припухшим глазом, поняла: шутки плохи! Да и Петр, веселый, одетый в лучшие одежды, всегда внимательный и ласковый с ней — все это покорило сердце Екатерины. А если быть до конца откровенной, то главную роль в сближении молодых сыграла царица Евдокия Федоровна. Это она в последнее время находила разные предлоги, чтобы ее внук меньше обшался с Андреем Ивановичем и другими «советчиками». В то же время и невесте, присылая дорогие подарки, советовала больше бывать среди богомольцев или назначала веселые балы в самых богатых домах столицы. Ей никто не мог в этом отказать!

— Дворцы — ваши,— ласково говорила она Петру.— Эти стены от вас никуда не денутся. Все будут стоять на одном месте. А ты лучше узнаешь русских дворян. Они — твоя главная опора,— улыбаясь, говорила царица внуку. А хозяева падали ниц от «царской» затеи. Еще бы: являлся в дом сам император.

Петр хорошо танцевал, и на всех вечерах был в первой паре с Екатериной, после — хозяин с кем-нибудь из царедворцев... Танцевали все приглашенные. Начинали с кадрили. Веселье длилось до полуночи. Домой Екатерина уезжала в роскошной царской карете с приставленной к ней свитой.

По утру Алексей Григорьевич первым делом заглядывал в покои царской невесты. К своему удивлению, отметил, что Екатерина по утрам перестала нежиться в постели, а стала вставать рано, приказывая служанкам как следует расчесывать толстые косы, а главное — украшать голову. Вчера, любуясь бриллиантовой диадемой, приколотой на гладко зачесанные волосы, она вдруг представила на своей голове царскую корону и зажмурилась. Но чувство величия запало в душу Екатерины. Она понимала, как осчастливила ее судьба, и ждала этого часа.

При расставании Петр весело сказал ей: «До завтра!» А это значило: надо встречать императора. И он приехал.

Алексей Григорьевич, постучав, приоткрыл дверь.

— Приехал? — спросила Екатерина, не оборачиваясь. От ее надменного тона у светлейшего князя захолодело сердце.

— К Ивану прошел,— сказал еле слышно, но не показал своей обеспокоенности, прошелся до окна, потом обратно к двери и сел в кресло.

Екатерина резко повернулась к отцу.

— Не беспокойся. Не такая я дура, чтобы грубить Петру. Он не заслуживает этого.

Алексей Григорьевич непременно всплеснул бы руками, но, сидя в кресле, только и мог ответить:

— Петр доброты необыкновенной.

— Затеяли тоже мне: Петруша! Петруша! — сердито сказала будущая императрица.— Царь он! Петр Алексеевич!

Мурашки пробежали по спине Алексея Григорьевича. Сразу вспомнился образ великого преобразователя.

— Никто как следует не знает Петра. Никто не знает его души. Судят только! Да власти жаждут!

Князь боялся посмотреть на дочь. Уж слишком резким и властным был ее голос. «Кто ее поймет,— тяжело поднимаясь с кресла, думал Алексей Григорьевич.— В народе не зря говорят: бодливой корове Бог рогов не дает, а Катерина бодливая! Ох и бодливая! Боязно. Нет у Катерины кротости, почитания». Но то, что дочь его малопомалу начала понимать свалившуюся на нее удачу, освобождало светлейшего князя от боязни размолвки дочери с Петром.

Петр же, воспитанный в лучших традициях русского дворянства, где прежде всего почитались честь, досто-

инство и высокая нравственность, был кротким и деликатным. Это поняла Екатерина.

Безусловно, раннее восхождение на императорский престол, постоянное напоминание о его неограниченной власти над своими подданными сформировали в нем уверенность в безоговорочном исполнении его желаний. А встреча с Иваном Долгоруковым, их частые посещения молодежных компаний, где царили вольность, Бахус, утехи, прибавили повелительных ноток в его голосе. Появление на этих встречах молодых княжон, прекрасных фрейлин раскрыло в нем непознанный мир сладострастия.

Во дворец его тетки — красавицы Елизаветы Петровны их тянуло с магической силой. Русская Венера, как с восхищением называли ее иностранцы, живущие в России, была радушной хозяйкой. Балы и маскарады она закатывала на широкую ногу. В свое время вошедшая на престол Екатерина Первая с Меншиковым, опасаясь ее претензий на отцовский престол, торопились обручить ее с Людовиком XV, чтобы отправить с глаз долой. Но из этой затеи ничего не вышло. Потом было намерение сослать ее в монастырь, но и тут пришлось расстаться с затеей. Марфа Шепелева, преданная прислуга цесаревны Елизаветы, назначенная к ней камерфрау с одиннадцати лет, умела узнавать обо всех перипетиях и намерениях царедворцев, умела предупредить кого надо. А заступников у Елизаветы хватало.

Заводить тяжбу с ней никто не хотел.

Друзья ее, Алексей Разумовский, братья Шуваловы, Михаил Воронцов да и друг Петра — Иван Долгоруков, не прочь были просить ее руки.

Императора во дворце Елизаветы не обходили вниманием. Он был равен со всеми, но присутствовавшие всегда понимали, что несут за него ответственность, и не дай Бог что-нибудь случится с ним. Как ни крути, а император был еще слишком молод.

И вдруг! Петр самолично принимает решение — жениться! Переполох, да и только! Про двор и царедворцев, про Остермана, чуть не получившего удар, и слов нет. Но не меньше судачили в каждом именитом доме. Кто-то считал этот поступок сродни поступкам деда Петра Алексеевича, который мог приводить в изумление не только своих приближенных, но и весь мир. Кто-то считал и сваливал все случившееся на происки

клана Долгоруковых. Но многие отрицали это, считая, что самим Долгоруковым такое неподвластно, к тому же про дочь их Екатерину не ходила по Москве молва как о красавице или умнице, да богатством и землями не могли они со многими тягаться. Зато среди женского общества было твердое убеждение: не могло такого случиться без нечистой силы и колдовства. И чего только не придумывали: будто бы в то время, как император был на охоте в Измайловских лесах, по небу плыла туча, а на туче той сидело видимо-невидимо мужичья с луками и стрелами. Будто в клетке у графа Мартынова долго молчавший попугай вдруг четко проговорил: «Ка-те-ри-на». Будто из долгоруковских деревень привезли настой из дурманных трав и все время императора подпаивали этой травой, смешанной с цветами иван-чая, который наливала только Екатерина. Да возможно ли было переслушать все поверья, какие знают на Руси!

Гадали-гадали, а самого Петра спросить о том побаивались. Андрей Иванович все-таки искал минуты, как бы об этом узнать от императора. И на бесхитростный вопрос, чем ему понравилась княжна Долгорукова, услышал: «Всем!»

Остерману хотелось возразить, сказать о ее вспыльчивости, чванливости, несдержанности на язык. Такое слышал он от многих, но Петр, сверкнув глазами, повторил: «Всем!»

Мало кто знал, что за кажущейся дерзостью скрывается ранимая, трогательная, ласковая душа девушки. Петр был поражен растерянностью Екатерины, когда они оставались вдвоем. Ее сразу будто подменяли. Куда девались слова? Куда девалось высокомерие? Она становилась похожей на птицу, пойманную в клетку, даже не знала, куда девать руки.

Так было вчера. Так будет сегодня.

Стоило к ней войти Петру, как она сразу изменилась в лице. В этот миг Екатерина была особенно хороша: статная, белолицая, с длинными косами. Всю прислугу как ветром сдуло. Даже Алексей Григорьевич вышел в двери, пятясь назад.

— Катя! — первым нарушил неловкое молчание Петр.— Пойдем к Ивану. Он обижен, что ты не навещаешь его.

— Вчера была,— удивленно приподняла она брови. С какой-то детской лихостью Петр схватил ее за руку,

и они вмиг очутились в коридоре, озорно улыбаясь друг другу. Петр был высокого роста. Белоснежный шарф вокруг шеи, выбивающийся из-под стоячего воротника бархатного кафтана, оттенял его густой загар на лице. Ему вдруг показалось, что шарф сдавливает горло, мешает дышать, оттого он не может подобрать для Екатерины нужные слова. Но они были не нужны. Притянув к своим губам ее руку, ощутил запах заграничных духов.

— Петр Алексеевич! — лепетала Екатерина, зардевшись.

— Для тебя-то, Катя, какой я Петр Алексеевич? — совсем простодушно сказал император. Они подошли к двери князя Ивана. Камердинер взялся за ручку.

— А платье на тебе какое нарядное! Ты и впрямь царица, только короны нет на голове. Но скоро будет, будет, будет! — он схватил ее в объятия, приподнял и закружил вокруг себя.

— Петр,— попыталась остановить его Екатерина.

— Вот так-то лучше! «Петр»! Вот так-то лучше!

Ей хотелось сказать императору, что он помнет ее новое платье из дорогого шитья, только вчера привезенное из Торжка — городка золотошвеек. Но Петр был в веселом азарте.

— Весь в деда! — шептал невесть откуда оказавшийся рядом Алексей Григорьевич.— В него! — вытирал глаза светлейший князь.— Тот, будь хоть в каком обществе, не умел скрывать своих порывов.

— Петр Алексеевич! Петр! — умоляюще просила Екатерина.

— Вот так-то лучше. Петр! Петр я для тебя, душа моя! — остановился император и будто нечаянно поцеловал княжну в щеку. И это было так просто и естественно.— А теперь можно и к братцу зайти,— весело сказал император, перед которым медленно распахивались двери.— Совета твоего ждет.

Иван попытался встать с кресла, но Петр остановил друга.

— Да я уже хожу! Надо было посмотреть, что там творилось в коридоре. Лучшего места не нашли!

Но этот укор князя Ивана только вызвал смех у молодых.

— С каких это пор моих советов ждут? Кто и когда спрашивал моих советов? — игриво спросила Екатерина.

Главный фаворит императора немало раздумывал, прежде чем решился посоветоваться с сестрой, с мнением

которой до этого не очень считался. Но теперь, когда все так переменилось, не хотел оставлять ее в стороне от своих проблем. Об этом же сказал и Петр, что немало поразило Ивана.

— Дело семейное,— сказал Иван.— Вдруг да не поглянется?— Он не стал договаривать. Было и так ясно: без ее советов семейство Долгоруковых теперь не сможет обходиться. Особенно тех, от которых зависело будущее.

Узнав от брата, что он собрался жениться и велит отцу слать сватов, Екатерина насторожилась.

— Жениться? На ком это? — не сдержалась она не только от любопытства, но и от какой-то ревности, на миг представив, что какая-то княжна или графиня станет претендовать на равноправное положение в их доме.

Иван не стал томить сестру. Поправив ладонью упавшие на лоб волнистые волосы, стараясь сохранить спокойствие и быть готовым к любым высказываниям Екатерины, произнес:

— На графине Наталье Борисовне Шереметовой.

Для княжны этот выбор был совсем неожиданным: она мало знала графиню, раза два встречала на балах и совсем не имела о ней никакого представления. Если бы он назвал дочь князя Головкова, или блистательную княжну Саломатину, или красавицу дочь графа Мартынова, на худой конец свояченицу уральских заводостроителей Демидовых. А тут Шереметева! Екатерина взглянула на императора, на отца, стоявшего поодаль.

— На все Божья воля,— со смирением в голосе ответила княжна, твердо веря, что браки людей свершаются на небесах, и нет нужды противиться этому. К такому рассуждению Екатерина пришла, размышляя о себе.

— Спасибо,— услышала от Ивана, и ее охватило смущение.

— Вслед за вами сыграем свадьбу! Посылай, папенька, сватов.

«Хорошо да легко сказывается, да не легко делается»,— подумал Алексей Григорьевич, представляя новые хлопоты, хотя и знал: не найдется невесты, которая не дала бы согласия на брак с его сыном. И это была правда.

На какое-то время в княжеских покоях воцарилась тишина.

— А маменька как? Знает ли она об этом? — спросила Екатерина.

— Маменька твоя слезами уливается. Кто ее знает отчего, а слова выговорить не может, оттого и не пришла сюда.— Он хотел добавить: «А может, сердце что-то неладное чует. Столько благ сразу!» — подумал, но не сказал.

— Посылайте сватов! — вдруг сказал Петр, чем дал понять, что все решено.

У Алексея Григорьевича на лбу выступил пот.

Глава семнадцатая



Честно признаться, князь Иван не очень хорошо знал Наталью Борисовну. Он танцевал с ней несколько раз на балах и хорошо помнил, как первый раз его подвел к Шереметевым дядя фельдмаршал Михаил Владимирович, не упустивший случая при этом сказать: «Зело богата!» А ему запомнились глаза девушки. Весь вечер в них был восторг. Девушка почти ничего не говорила, а сухо отвечала на редкие, ни к чему не обязывающие вопросы. Но как она смотрела на Ивана! Теперь же ей надо было ответить на вопрос: желает ли она, графиня Шереметева, стать женой князя Ивана Долгорукова? В том, что ее родные будут настаивать непременно принять предложение царского фаворита, не было сомнений. Кто в этом мире не желает погреться возле сильных мира сего! Но поскольку молва об Иване как о прожигателе жизни, праздном повесе крепко жила среди обывателей, то молодая графиня могла и воспротивиться решению родни.

— Спасибо, государь,— сказал Иван, растроганный сердечным участием императора в его судьбе, когда они остались вдвоем.

Император, подошедший к окну, не слышал князя. Он пристально смотрел в окно, опершись о подоконник. Резко повернувшись к Ивану, удивленно, но с твердой определенностью сказал:

— Там, без сомнения, стоит экипаж контр-адмирала Синявина! Приехал или уезжает сей муж? Давно я не встречал его.



— Меня навешал,— не лукавя, ответил Иван и рассказал о разговоре, связанном с Камчатской экспедицией командора Беринга.

— Отчего тебя? Разве нет Адмиралтейства? Нет службы, ведающей флотом?

Иван растерянно пожал плечами, понимая, что все вопросы мореплавания, отправки экспедиции рассматривались в Петербурге. Переехавшие в Москву чиновники все дела, связанные с русским флотом, оставили там до поры до времени. И кто знает, сколько потребовалось бы времени на продолжение Камчатской экспедиции, а может, о ней никогда и не вспомнили бы, не окажись во дворе Долгоруковых экипажа престарелого контр-адмирала.

— Что молчат Головкин, Остерман, Черкасский? — меняясь в лице, спросил Петр.

Иван был не рад, что рассказал императору о разговоре с контр-адмиралом, не подозревая, какую реакцию вызовет это у Петра.

— После опалы светлейшего князя Меншикова я ни разу не слышал хоть какой-нибудь заботы о флоте! — сердито сказал император уже возле двери, и уговорить его задержаться, понял Иван, было невозможно.

Уже около двух лет в России было безвластие. Наблюдая за жизнью великого государства, иностранные представители и послы дивились полной неразберихе и не знали, о чем писать и докладывать монархам.

В сопровождении еле поспевающей за ним охраны император стремительно вышел во двор как раз в тот миг, когда денщик, взяв в руки костыль Наума Акимовича, помогал тому подняться на ступеньку кареты.

— Приветствую вас, почтеннейший Наум Акимович!

Контр-адмирал, обернувшись через плечо, чуть было не оступился.

— Боже милостивый! — был его возглас.— Как же Ваше Величество похож...— Он не стал договаривать: и так было ясно, с кем нашел сходство бывалый вояка.

Петр без промедления сказал:

— Ваше высочество Наум Акимович, пожалуйте со мной в дворец.— Голос императора был строг.

— Воля ваша,— ответил контр-адмирал, перебирая в уме все сказанное за последнее время. «Язык-то отрежут!» — мелькнуло в голове, но, сохраняя спокойствие, добавил: — Со мной в карете князь Долгоруков.

— Князь Долгоруков? Который?

«Семь бед — один ответ»,— решил контр-адмирал про себя.

— Федор Долгоруков.

Петр нахмурил брови, вскочил в седло. Холеный аргамак выгнул шею, несколько раз грациозно переступил на одном месте стройными ногами, резво выскочил из распахнутых ворот. Конники, стоявшие за воротами, поскакали впереди, остальные стражники погнали за аргамаком, соблюдая положенное расстояние и порядок сопровождения императора.

Скорое возвращение от Долгоруковых Его Величества для Андрея Ивановича Остермана было полной неожиданностью. Он, за последнее время исстрадавшись душой, жил в постоянном ожидании непредвиденных поступков Петра. «Все беды от них! От этих Долгоруковых. Надо было не Меншикова, а их с лица земли стереть! Меншиков — один, а этих целый муравейник! — рассуждал он, шаркая по паркету спадающими с ног туфлями.— А этого юнца долго ли настроить? Повторил же он мои слова, когда строго ответил Александру Даниловичу: «Я покажу, кто император! Я или Меншиков!» Тогда он был совсем ребенком, повторял за мной, а теперь окрутили его Долгоруковы. Попробуй скажи что не так. Научил, а палка-то о двух концах!»

При всем своем нездоровье и рези в животе Андрей Иванович не поленился подойти к окну. Петр, приложив руку ко лбу, посмотрел вдаль. Размашистые жесты императора не обещали ничего хорошего. «Кого-то выглядывает»,— прищурился вице-канцлер. Ко крыльцу подъезжала незнакомая карета. Пришлось Андрею Ивановичу подождать. Наума Акимовича, с его костылем, нетрудно было узнать сразу. «Тьфу! Старый пень! Этот наговорит!» — стараясь взять себя в руки, Андрей Иванович, как учил его доктор Ганс, несколько раз глубоко вздохнул, испил из стакана холодной воды, закрыв глаза, и начал считать про себя, но на цифре «одиннадцать» сбился. Торопливо достал из стола флакончик с настоем пустырника.

В этот момент дверь канцелярии распахнулась и ударилась о стену. Остерман зажмурился. «Истинный наследник Петра Алексеевича»,— мелькнула мысль, и он, как много лет назад, явившись во дворец жалким, вздрагивающим от каждого слова императора писарем,

показался сам себе таким же беспомощным и трусливым.

— Прошу мне на стол принести всю переписку Восточно-Камчатской экспедиции. Всю переписку с командором Берингом,— потребовал Петр, не глядя на Остермана, который торопливо поправлял сбившийся на правое ухо парик.

«Где он встретил этого контр-адмирала? Теперь все пропало. Думал ли я, что юнец станет требовать переписку с Берингом. Да ему там ничего не понять! — хаотично путались в голове мысли Остермана, но выполнять приказание Петра надо было безотлагательно.— Чего доброго, возьмет да потеснит меня — другого вместо меня посадит. А кто откажется? Меня и слушать никто не станет, стоит ему только слово промолвить».

Контр-адмирал Синявин не ждал такого поворота дел. Был смущен и обеспокоен, но верил, что худого никому не желает, а сказал об экспедиции потому, что душа болит!

По широким коридорам шел в сопровождении камердинера, ступая по паркетному полу с осторожностью. В царский кабинет входил с волнением. В первый миг показалось, что в кабинете пахнет табаком, которым изредка баловался Петр Алексеевич. По приглашению Петра сел на свое, когда-то отведенное ему регламентом место.

— С вашей помошью, ваша светлость Наум Акимович, разберемся с Камчатской экспедицией. Я помню, в карете сидел, когда ее светлейший князь Александр Данилович провожал. Ветреный день был! И столько народу!

— Всегда рад служить, Ваше величество. Доподлинно знаю одно: Иван Кириллович Кириллов много бумаг имеет. Он более других осведомлен.

Петр постукивал пальцами по большущему полированному столу с массивным чернильным прибором, песочницей, множеством аккуратно отточенных гусиных перьев.

— Пусть заходят,— сказал, ни на минуту не сомневаясь, что все чиновники уже стоят возле двери.

Андрею Ивановичу, как он сам полагал, сейчас надо бы лежать в постели с холодным компрессом на лбу. Но уйти ни за что нельзя. Дело может повернуться круто: писем от Беринга и в самом деле было много, но

хода им никто не давал. Прочитав, он, как вице-канцлер, отсылал их обер-секретарю Сената Ивану Кирилловичу Кириллову. Тот, в свою очередь, исправно давал ответы, писал приглашения командору от имени Сената для обсуждения дел в столице. Но всякий раз Остерман возвращал эти ответы не по адресу, а на стол обер-секретаря, бурча: «Нет денег!»

— Пригласите Головкина, Черкасского, Голицына.

Иван Кириллович принес бумаги о Восточно-Камчатской экспедиции не один. Наспех обтертые папки источали запах затхлости и пыли.

Остерман входил в кабинет боком, бросая на присутствующих взгляд исподлобья, и самое главное, не мог сосредоточиться, собраться с мыслями. Вывела его окончательно из равновесия встреча с князем Федором Долгоруковым. Тут уж было не до притворства!

Император сидел потупив глаза. Какое-то незнакомое чувство беспомощности и растерянности поселилось в душе юного Петра. На память явились слова царицы Евдокии Федоровны. Она как бы мимоходом сказала внуку: «Дед-то в твои годы, Петруша, не гонял ветер. Он уже корабли строил, себе друзей-товарищей верных искал. Преображенский полк заимел, а уж после с тем полком и воевал со шведами. Одержал победу, славу России принес. Все время в делах был. Быть может, оттого и меня забыл». Тогда Петр усмехнулся ей в ответ, а вот сейчас эти слова вдруг встревожили. Была в них истинная правда. А кто еще говорил ему об этом? Кто желал наставить на истинный путь? Кто напоминал о великих делах могущественного деда? Больше всего при дворе обсуждались распри, интриги. А кто возле него? Остерман — главный опекун и наставник. Что он мог дать ему? Что он знал и что тревожило его в нашей России, кроме собственного благополучия и жажды власти?

Петр откинулся на спинку кресла. На противоположной стене кабинета висели гравюры морских пейзажей, морских баталий, и если пристально вглядеться, то без труда можно угадать на них создателей русского флота. На стене слева висел портрет Петра Великого. «Почему я не приказал убрать его?» — успел подумать Андрей Иванович, наблюдая, как обер-секретарь Сената Иван Кириллович не спеша приоткрыл первую массивную папку. По всему было видно, что он не чувствует за собой

никакой вины, а, как показалось Остерману, с особым подобострастием кладет перед императором последнюю переписку с командором Берингом.

— Зело важное дело,— нарушил неловкое молчание Наум Акимович.

Петр совсем не разбирался в бумагах, он умел только ставить свои подписи на всевозможных указах, какие подносил ему Андрей Иванович.

— С вашей помощью, Наум Акимович,— бросив взгляд на седовласых, обласканных царской щедростью мужей и получивших права управлять державой, с присущей ему капризной ноткой в голосе сказал император.

— «Нимало не медля,— прочитал он вслух,— пригласить в Сенат для обсуждения!» — И отпрянул: на листке стояла подпись светлейшего князя Меншикова.

— Приглашался командор? — вскинув горящий взгляд, спросил император.

— Сие еще подписано...— попытался вставить Андрей Иванович, но осекся, втянул голову в плечи.

— При чем тут светлейший князь? Речь идет о русской экспедиции. О деле нашего государства! «А если норд-остный проход откроем, обойдемся и без посредников»,— прочитал на этом же листке.— Или вы не знали об этом? Или запамятовали? Или все обременены великими делами? Походами? — спросил Петр, сверкнув глазами. В его наивных, но верных по смыслу вопросах каждый узнал хватку Петра Алексеевича.

— Ваша светлость, Наум Акимович. Скажите ваше слово. Признаюсь: рано вас отстранили от дел.

— Надо слать второй отряд экспедиции, как было задумано, «нимало не медля». Сия экспедиция, коли удачной будет с нашей да Божьей помощью, прибыль сулит огромную.

Наум Акимович не сомневался, что все бумаги, увиденные императором, сразу были положены Иваном Кирилловичем, изболевшимся душой об отправленной на край света экспедиции, в надлежащую папку.

— Пригласить его в Сенат, штаб Адмиралтейства.

Это было полной неожиданностью для всех, и даже для Наума Акимовича.

— Свободны все,— вставая из-за стола, сказал Петр, как бы невзначай хлопнув ладонью по груде папок, лежавших на кромке стола.— Свободны. Коли последняя

бумага подписана Александром Даниловичем Меншиковым, то говорить не о чем.

«Боже милостивый»,— схватившись за голову, произнес Михаил Михайлович Голицын, когда очутился в коридоре. Они, чиновники, сразу растерялись. Привыкшие в последнее время жить вольготно, вспомнили былые, тревожные годы царствования Петра Великого, который, как в том были согласны все, сам не спал и другим не давал.

— Может, подать в отставку,— сказал граф Гавриил Иванович Головкин.— Что-то враз в голову ударило!

Хуже всех чувствовал себя князь Голицын. Он, участник Азовского похода и Северной войны, не мог себе простить такого позора: не сдержался при виде Наума Акимовича, обнял контр-адмирала и, как стало известно на следующее утро, уехал в Петербург — в Адмиралтейство.

Остерман быстро пришел в себя после всего случившегося. Немало переживая, решил сделать из этого интригу. «Все Долкоруковы, все Долкоруковы!» — не унимаясь, повторял он всем, кто заходил к нему в канцелярию.

— Да при чем тут Долгоруковы? — сердито остановил его князь Черкасский.— С больной головы на здоровую! При чем тут Долгоруковы? — упершись руками о стол, уставился он на Андрея Ивановича воспаленными от волнения глазами.

По велению Петра, который остался в кабинете, пригласили Наума Акимовича. Он почувствовал: Петр нуждается в поддержке.

— Свет наш, Петр Алексеевич,— произнес почти шепотом контр-адмирал,— не грей на своей груди чужеземных змей. Дед ваш тем и был умен — многое дозволял им: строить флот, строить и украшать города и дворцы, устраивать по-европейски балы и маскарады. Но...— тут Наум Акимович перевел дух,— но подле себя держал своего брата — русского мужика да лучших дворянских детей.

Петр молчал. Ему казалось, что он уже слышал когда-то эти слова.

— Головкины, Голицыны, Долгоруковы, Арешкины?.. Разве они чужеземцы?

— Правда твоя, Ваше Величество. Только не гневайся на старика, все едино правду скажу: хозяина нет! —

сказал, перекрестился, не смея поднять глаз, тяжело стал садиться. Костыль выпал из рук, стукнулся о пол.— Фу-ты, Господи! — сконфузился Наум Акимович.

— Контр-адмирал! — послышался резкий голос Петра, в нем была та интонация, после которой следовало остановиться, чтобы не навлечь негодования императора.— Сказывают, адмирал Лефорт — мот, пьяница и распутник, вверг грозного императора в полное растление и блуд! Сказывают, помирая, этот антихрист в обнимку с чертями плясал. Сколько горя принес, а дед слезно рыдал...

Наум Акимович прикрыл дрожащей ладонью рот. Слов нет, все эти мысли навеяны молодому императору царицей Евдокией Федоровной, ее окружением да обозленными на чужеземные порядки дворянами. В том числе и им.

— Не мы судьи его, а Господь! — вставил контр-адмирал, чувствуя все нарастающее раздражение Петра. Не зная, как закончить разговор да подобру-поздорову убраться восвояси, он сказал снисходительно: — В людской памяти только светлое остается: устает человек от жизни, и отторгает память худшие времена, чтобы радовать душу.

— А как дале жить, коли худого не помнить? — поправляя широкие красные обшлага на зеленом кафтане, спросил Петр, вместе с Наумом Акимовичем выходя из кабинета. И эти слова пришлись старому контр-адмиралу по душе.— А что это вы бороду отрастили? Старину вспомнили? Все вспять поворачиваете. Вернулся с охоты, а тут все, кроме Андрея Ивановича да Мандерфама, Лорарта, волосьями обросли.

— Где ни колупни — всюду копошится люд по-своему, на свой лад, как сердцу любо.— Наум Акимович вздохнул с облегчением, чувствуя, что молодой император не недоросль, как пытаются о нем говорить придворные, чужеземцы. «Будет толк, как в силу войдет. Будет у нас русский царь и русская царица!»

Сквозь большие стеклянные окна было видно, как в воздухе кружится снежок. Без труда можно было угадать, что на дворе ветрено. Сквозь снежный хоровод вдали высветились языки огня: не иначе, горит чья-то избенка на окраине столицы.

Шли по коридору молча. По-видимому, услышав гулкий звон на Спасской башне, кто-то из писцов

канцелярии вышел пораньше и, не успев прикрыть дверь, получил от камердинера подзатыльник. Юркнул обратно.

Навстречу шел высокий молодой человек.

— Кажется, это Федор Долгоруков? — не поворачиваясь к контр-адмиралу, спросил Петр.

Сказать по чести, император мало знал князя Федора. Ему были неведомы его заслуги перед Отечеством, не знал он и о том, как был тот обласкан при дворе, отмечен высокими почестями и награжден орденом. Он знал одно: этот флотский офицер был влюблен в княжну Марию Александровну, его невесту. Он помнит, что об этом все время напоминал Андрей Иванович, докладывал, как светлейший князь Александр Данилович сажал его в острог, пытался отправить за границу, но он являлся в столицу, словно вырастал из-под земли. Ну какая могла быть злоба у него, Петра, двенадцатилетнего мальчика в ту пору? И не было в душе императора к нему никакой неприязни.

И все-таки что-то шевельнулось в душе Петра. Он приободрился.

— Милости прошу, Ваше Величество,— услышал Петр.

— Слушаю тебя, князь Федор! — И тут же мелькнула мысль: «Вот кого надо ставить командовать флотом!»

— Не за себя прошу. За семейство светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова.

Петр пристально посмотрел на князя. Взгляд того был полон решимости. Услышанное показалось Петру неслыханной дерзостью. Ему не хотелось, чтобы ему напоминали о Меншикове, не хотелось признаваться самому себе в том, что, если бы это случилось теперь, не было бы никакой опалы светлейшему князю. Но он был императором, и отменять свои указы он не мог.

— Семейству?

— Только семейству!

О, если бы рядом стоял Остерман, а не Наум Акимович! Сколько было бы брошено в сторону князя недобрых взглядов, слов, сбивающих Петра с толку. Хотя и без подсказок ясно: для подобных просьб есть порядок, есть службы. Но это был особый случай, и Федор был уверен, что о его просьбе никогда бы не доложили императору.

— Только семейству,— услышал князь и не поверил собственным ушам. Боялся поверить... Значит, княжнам

Марии Александровне, Александре Александровне, княжичу Александру Александровичу вскорости можно оставить суровую Сибирь...

— Наум Акимович! — подскочил Федор к контр-адмиралу, наблюдавшему, как молодой император сбегал по широким мраморным лестницам. Он торопился на свидание с невестой.

Глава восемнадцатая



Молодой графине в это ненастное утро спалось плохо. Мешали бренчащие от ветра стекла в узорчатых рамах. С дальнего двора доносилось тявканье кем-то потревоженных собак. «Наверное, с охоты вернулся братец Петр Борисович»,— подумала молодая графиня, отыскивая взглядом неотступно находившуюся возле нее няньку. Рыжая, сухопарая немка с красноватыми веками была всегда на своем месте. Наташа потянулась в постели, уперлась острыми локотками в пуховую, обшитую рюшами подушку.

— Солнышко красное,— няня Магда подошла к постели и нежно поправила на лбу девушки мелкие завитки выбившихся из-под капора волос.

— Разве на дворе солнышко? — удивленно спросила графиня, хотя и понимала, что слово «солнышко» вовсе не значило, что на небе разгуливало светило. Она обняла за шею удивленную Магду, чмокнула в щеку. Та смутилась, не ожидая таких нежностей от графини.

Анна Петровна, успевшая за пять лет замужества родить фельдмаршалу Борису Петровичу четверых детей, редко баловала вниманием и любовью свою дочь.

Приставленные к ее воспитанию учителя, в большей части иностранцы, были несказанно удивлены ее прилежанием в учебе, а служанки, крепостные девушки, не чаяли в ней души, да и няня искренне оберегала девушку от всевозможных дурных влияний и так расположила к себе Наташу своим сердечным отношением, что знала

все самые сокровенные ее тайны и обиды. Недавно молодая графиня обиделась на старшего брата, который распорядился для прогулки Наташи впрягать лошадей в обыкновенную карету, без фамильного герба. Или однажды с обидой рассказала, что маменька, постоянно выезжая на балы, редко берет ее с собой, хотя такие же по возрасту княжны Долгоруковы, Черкасские, Головины давно знакомы с высшим обществом. Но главную обиду она держала на братца Петра Борисовича. Не намного старше ее, он постоянно показывал свое превосходство. Недавно, когда они ездили в Петербург на могилу батюшки, он не дал ей возможности выплакаться. Все торопил и даже, помимо ее воли, взял за руку и отвел к карете.

— Притет время. Притет,— успокаивала ее Магда.

Когда Наташа возвратилась домой с первого бала, Магда сразу заметила в девушке перемены. Особенно ее поразила словоохотливость Наташи, ее восторг.

— О, Магда, какого рыцаря я встретила на балу! К матушке подошел император, а с ним князь Долгоруков! — Она больше ничего не сказала, а спрятала прелестное личико в ладони, и этим было сказано больше любых слов, которыми она могла бы описать свой восторг от встречи с молодым князем.

Выслушав ее, Магда сразу нашла объяснение непонятному, переменчивому настроению девушки, находившейся то в тревоге, то в ожидании чего-то чудесного. По нескольку раз в день Наташа принималась плакать, а с приближением вечеров допытывалась, не собирается ли маменька на бал.

Но совсем неожиданно в покои дочери пришла сама Анна Петровна. Пристально посмотрев на Наташу, подошла, прижала ее к груди и долго не выпускала из объятий. Поглаживала дочь по голове, боялась встретиться взглядом.

— Так быстро выросла! — сказала с нежностью в голосе.— Так быстро бежит время!

Анна Петровна была еще, как говорят, женщиной «в полном соку». Стройная, высокая, с выразительными ласковыми глазами, она вызывала любопытство у многих иностранных послов, которые при виде ее не могли сдержать восхищения.

Мимолетный взгляд князя Долгорукова на Наташу и приглашение ее на танец заставили Анну Петровну

посмотреть на дочь как бы со стороны. «Такие же голубые глаза, как у Бориса Петровича, такой же нежный взгляд, румянец»,— отметила графиня про себя. Не будь собой хорош фельдмаршал Шереметев, ни за что бы не вышла за него Анна Петровна. Не смутили ее и годы Бориса Петровича. Он был старше ее на тридцать четыре года. Но как был величествен его вид, благороден.

— Будем собираться на бал,— ласково сказала Анна Петровна. Взяв со столика колокольчик, позвонила, требуя в покои Натальи Борисовны главную распорядительницу дома. Явившись, распорядительница долго стояла перед Анной Петровной в поклоне, пока не услышала голоса хозяйки: нынче в моде бархат с узорами золотого или серебряного шитья.

— Знаю, ваша светлость,— переведя дух, с облегчением ответила распорядительница.— Такие узоры расшивают в Ивановском и Новодевичьем монастырях. Там шьют кокошники, сарафаны из бархата и шелка. Украшают кружевами.

— А цвета какого?

— Разных оттенков: от темно-зеленого до нежных светло-зеленых. Есть розовый, лиловый бархат.

По всей видимости, Анна Петровна осталась довольна осведомленностью старательной женщины и тихо произнесла:

— Хорошо.

Распорядительницей и главной гувернанткой была старая француженка мадам Корфье. Мало кто в столице имел такой изысканный вкус. Поэтому каждый наряд графини Анны Петровны считался эталоном простоты и изящества.

— Собираемся на бал в царский дворец. Наташеньку надобно нарядить! Да...— не следовало дальше договаривать: мадам Корфье совсем неожиданно захлопала в ладоши, радуясь за Наташу.

— Камни: бриллианты, жемчуг?

— Как всегда, на твой вкус,— был ответ хозяйки.

Для портних, белошвеек, кружевниц появилась кропотливая работа. Мадам Корфье имела особенность по нескольку раз осматривать каждый шов, петельку, пришитую пуговицу. Целыми часами она могла перебирать жемчужные и бриллиантовые нити, укладывая их в нарядный узор.

Примерки делала только мадам Корфье, до поры до времени графиню к зеркалу не подводила и не разрешала этого делать другим. Когда же все было готово, она с особой торжественностью подвела Наташу к зеркалу. В первую минуту девушке показалось, что какая-то фея явилась в ее покои. Она не сразу узнала себя. Особенно ей понравился шлейф: длинный, расшитый золотой нитью.

Известные всей столице породистые шереметевские рысаки подвезли ко дворцу роскошную золоченую карету. Анна Петровна и Наталья Борисовна со свитой важно шествовали по дворцу. Многие сразу заметили на молодой графине легкую шубку, по рукавам и подолу отделанную широкой опушкой из горностая. Братец Петр Борисович, всегда подъезжавший раньше Анны Петровны, на этот раз встречал их у входа и был до того внимательным и предупредительным, что у Анны Петровны повлажнели глаза. Она была ему благодарна. Она знала: быть постоянно возле нее ему не составляло радости. У него был свой круг товарищей, но в то же время являться на балы одной, без чьего-либо сопровождения, было неприлично. Дядя Лев Кириллович Нарышкин в последнее время потерял всякий интерес к балам, категорично заявив:

— Глядеть там не на кого! Речи держать не с кем! Глядеть на иноземцев — глаза болят!

А Анне Петровне еще хотелось смотреть на мир.

Нарядные, чопорные жены и дочери государственных чинов, следуя самым последним веяниям моды, чувствовали себя прескверно. Входившие в моду громадные фижмы вызывали боязнь. Дамы постоянно рисковали быть опрокинутыми, ходили неестественно, как-то пугливо озираясь по сторонам. Разве только баронесса Шацкая, недавно вернувшаяся из Польши, спокойно и грациозно расхаживала, любуясь собой, и низко кланялась каждой страдалице, рискнувшей надеть непривычный наряд.

— Лучше со шлейфом,— тихо сказала на ухо дочери Анна Петровна.— Иначе, чего доброго, упасть можно.

Было нарядно и празднично. И вдруг разом опустились все шторы, закрыв дневной свет. Наташа только успела схватить за руку Анну Петровну, как вспыхнули тысячи свечей! Их яркий свет отражался в больших зеркалах. Зал сиял. Оркестр из шестидесяти музыкантов

грянул кадриль. Пронесся шепоток. В первой паре шел князь Иван Долгоруков с цесаревной Елизаветой Петровной. У Наташи замерло в груди. Она даже почувствовала себя нездоровой. Глядя на прекрасного князя и его изящные манеры, побледнела и почувствовала себя дурнушкой.

Анна Петровна крепко пожала дочери руку, когда распахнулась дверь и все увидели великолепный трон. С него поднялся молодой император и направился в зал. Навстречу ему в окружении многочисленной родни шла Екатерина Долгорукова. Кто-то, не сдержавшись, громко ахнул. Если у некоторых вельмож еще были сомнения в намерении императора жениться на Екатерине Долгоруковой, то теперь они развеялись. Близилась пора скорого обручения императора. Надо было любить и жаловать его избранницу.

Танцевали менуэты, польки, полонезы.

Пока Анна Петровна с дочерью были в роли зрителей. Графиня мило улыбалась, кланялась, подавала знаки внимания многим знакомым. Откуда-то со стороны к Шереметевым подошел молодой человек с роскошной черной шевелюрой, одетый в красивый кафтан, украшенный золотым шитьем. Это был сын вице-президента главного магистрата Ильи Ивановича Исаева. Наташа не без боязни приняла приглашение. На вопросы и комплименты партнера отвечала невнятно. Она еще не могла сосредоточиться, освоиться, хотя бы немного привыкнуть к окружающей ее обстановке. Ей казалось, что все ее движения скованны и она выглядит в глазах завсегдатаев просто неумехой. Она не могла дождаться конца танца и дала себе слово под любым предлогом всем отказывать. Анна Петровна взяла дочь под руку и познакомила с Алексеем Васильевичем Макаровым — кабинет-секретарем. В свое время, после смерти фельдмаршала, она просила кабинет-секретаря «во благополучное время» доложить царю и царице, чтобы те «оборонили» ее от истцов. Да кто не искал у него содействия в устройстве своих дел? Добрый и приветливый, он для многих был покровителем и заступником перед государем. Анна Петровна всегда помнила это.

Но тут случилось непредвиденное: Наталья Борисовна почти глаза в глаза встретилась с князем Иваном Долгоруковым, который вел разговор с благоухающей роскошью Елизаветой Петровной. Графиня зарделась

и почти без раздумья, не помня себя, пошла танцевать с пригласившим ее молодым офицером. Надо было отдать должное учителю танцев — поляку Юзефу Матковичу, научившему графиню всем замысловатым па. И когда в темпе менуэта она плавно обходила стоявшего на одном колене партнера, вновь ощутила на себе внимательный взгляд князя Долгорукова.

Домой возвращались в хорошем расположении духа. Анна Петровна, довольная дочерью, сказала, что Алеша Исаев очень славный молодой человек и давно заметен в обществе. Но перед молодой графиней стоял образ князя Долгорукова, и она горько сожалела, что ей мало лет: «Не для меня он, не для меня!»

О своей увлеченности молодым князем она прежде всего поделилась с няней Магдой, которая никогда не разговаривала с девушкой о сердечных делах, и графине казалось, что такие чуветва, как любовь, обошли стороной эту добрую женщину. Но как же была она удивлена, когда увидела на глазах Магды слезы.

— Магда, ты была влюблена? — догадалась Наташа, схватив няню за руку. Та в ответ кивнула, но не посмотрела на графиню, стесняясь своего признания.

— Магда, расскажи, расскажи: кто он?

Няня отрицательно покачала головой, закрыла лицо ладонями. И сколько ни просила Наташа рассказать няню о ее любви, та была непреклонна. Не могла же она поведать графине, что любила своего хозяина. И что имела от него ребенка, который живет в его княжестве и воспитывается как сын. И что ее, по настоянию хозяйки, продали князю Шереметеву — с глаз долой.

— Магда, как же он пригож! — уже забыв о слезах няни, говорила графиня, вспоминая князя.

— Это пройдет! — сухо ответила Магда, сожалея, что не сдержала своих слез.

А в столице по нескольку раз в неделю устраивались балы, маскарады, ассамблеи, будто вся Россия справляла невесть по какому случаю торжество. Наблюдавшие со стороны иностранцы писали в своих письмах о положении в стране: «Все живут здесь в такой беспечности, что человеческий разум не может понять, как такая огромная машина держится без всякой подмоги».

Через день Анна Петровна спросила дочь, нет ли у нее желания поехать на бал. Графиня почему-то думала, что Наташа откажется. Ей казалось, что дочь не

в восторге от высшего света. Она даже подумала: «Мала еще. Повзрослеет, войдет во вкус!»

Но дочь приняла предложение с охотой.

Мадам Корфье была особенно внимательна к молодой графине: быть может, ей что-нибудь шепнула на ухо Магда. Особенно красиво были уложены волосы графини: переплетены жемчужными нитями.

Даже признанная в свете красавица Елизавета Петровна, не скрыв восторга, учтиво подошла к Анне Петровне и заметила:

— Какое прелестное создание! — Она бросила на Наташу беглый взгляд, не упустила случая взглянуть на диадему, вспыхнувшую при многочисленных свечах искрами драгоценных камней.

Стоило цесаревне с ее свитой удалиться, как зашушукались поодаль стоявшие дамы.

— Повеса-то Долгоруков изменил ей,— сказала полушепотом дама в возрасте с густыми черными усиками над верхней губой.— Амурничает теперь с княгиней Трубецкой. Вчера, сказывают, ночью на лошадях с драгунами по городу носился и в частные дома заскакивал! Кабы не был царским фаворитом, давно бы ему не только уздечки на конях, но и руки укоротили!

Наталья Борисовна, догадавшись, что речь шла о князе Долгорукове, вся сжалась, будто это касалось ее.

Именно в это время князь Иван через весь зал направился в их сторону. Стоявшие сзади дамы смолкли. «Неужто к нам? Зачем?» — волнуясь, подумала Наташа.

Князь Иван Алексеевич Долгоруков пригласил на танец молодую графиню Шереметеву! Ей показалось, что сердце ее остановилось.

Она танцевала самозабвенно, крепкая рука князя касалась ее стана, а красивые карие глаза, улыбаясь, смотрели на нее пристально и в то же время шутливо.

Закончился танец, танцующие расходились по местам, и только Наталья Шереметева стояла как вкопанная, пока властная рука князя не взяла ее под руку.

— Благодарствую,— сказал он, целуя дрожащую ручку графини.

И снова заиграл оркестр. У Наташи кружилась голова: плыли перед глазами лепные потолки, золоченые канделябры, расшитые золотым узором шторы на окнах и наряды, наряды, наряды...

Наташа сияла от счастья: этот танец с князем Долгоруковым наполнял ее радостью, вселял призрачные надежды.

За столом Петр Борисович не без удовольствия сообщил, что на праздниках не будет императора, так как он отправился на охоту, и что всем будет верховодить, как всегда, Елизавета Петровна. У Натальи Борисовны испортилось настроение, но никто этого не заметил.

— Предполагается, что цесаревна явится на бал в костюме кавалера!

Многим женщинам это не понравилось, они боялись, что Елизавета Петровна изъявит желание, чтобы и другие дамы явились на бал в мужском костюме.

— Вздор! — остановила сына Анна Петровна, на минуту представив, как она будет выглядеть в таком наряде.— Не говори вздор, Петр Борисович.

Няня, не спрашивая ни о чем графиню, поняла, что постоянно появляющиеся слезы — первый признак неудачи в любви. Утром рано она пошла в людскую к главному балалаечнику Павлу Харитонову, который с малых лет любил играть для маленькой графини, учил ее петь крестьянские песни. Павел был крепостным, привезенным из дальней рязанской деревни, где остались его братья и сестры, по которым он всегда тосковал. А взяли его, кудрявого, белозубого, высоченного, за виртуозную игру на собственно им изложенной балалайке. Он сумел из крепостных мужиков и баб создать оркестр, какого не было во всей столице. Из трещеток, гребенок, жалеек, свистулек рождались неповторимые звуки, божественные напевы русских лесов, полей, лугов. А пронзительный голосок крепостной девушки Алены и протяжное пение хора мало кого оставляли равнодушным.

Павел взял балалайку, побренчал одним пальцем по туго натянутой струне, пристально поглядел на Магду.

— Видать, любовь залетела в сердце нашей лебедушки. От моих напевов зальется слезами, а мне печально глядеть.

В войлочных чеботах, осторожно ступая на припудренную снежком землю, Магда шла из людской в дом. Стояла затаенная тишина: в воздухе плавал одинокий березовый лист, будто присматривал место, где удобней прижаться к земле.

Откуда-то донесся громкий голос, и тут же послышался стук в ворота. Магда, вздрогнув, сквозь шель

в калитке увидела гарцующего на коне вахмистра. Запыхавшийся скороход Илька свалился на завалинку, заталкивая в опаленный рот пригоршни снега.

— Зови привратников! — сипел он, увидев затаившуюся возле забора Магду.— Зови! Царские экипажи сюда едут!

Приподняв подол длинной юбки, няня во весь дух понеслась по широкому двору. Завидев ее в крохотное оконце конюховки, три привратника, бросив карты, выскочили, толкая один другого и поправляя на головах помятые картузы. Магде нечего было им объяснять: голоса за воротами были громкими и властными.

Анну Петровну наспех одевали сбежавшиеся гувернантки. На крыльцо Анна Петровна вышла в сопровождении приближенных, одетая в багряно-зеленую шубку на лисьем меху, подаренную еще Борисом Петровичем как свадебный подарок.

— Все наспех, все бегом! — ругала она прислугу, а провинившегося скорохода Илью велела вышвырнуть за ворота немедля.

Магда, сбросив чеботы, по ступенькам, на цыпочках юркнула в покои Натальи Борисовны.

— Гости приехали! Гости! — испуганно говорила она, но графиня не могла понять ее возбужденной суетливости. «Мало ли кто навещает наш дом»,— подумала Наталья Борисовна и, скорее из любопытства, подошла к окну.

Роскошные кони, запряженные в золоченые кареты, остановились у крыльца. Из первой, в богатой куньей шубе и бобровой шапке, вышел светлейший князь Алексей Григорьевич Долгоруков, подавая руку Прасковье Юрьевне.

— Кони-то, кони! — восхищенно говорила Магда. Ее удивляло убранство сбруи: унизанные самоцветными каменьями уздечки, нагрудники, расписанная позолотой дуга.

Но когда из второй кареты стали появляться женщины в широченных юбках, теплых меховых душегрейках и больших суконных шалях, из-под которых выставлялись повязанные вокруг головы платки, Наташа удивленно посмотрела на няню. Магда, плохо знающая русские обычаи, пожимала плечами.

— Свахи-и-и! — испуганно прижимаясь к няне, чуть слышно вымолвила графиня, бросилась бежать к двери,

вернулась обратно.— Свахи-и-и! — Она не знала в лицо отца и мать князя Ивана и, конечно, не предполагала, что это его родители.— Неужто маменька без моего согласия вступит с кем-то в сговор? Неужто? Боже мой, Магда! — У нее появилось желание убежать, спрятаться. Она показалась себе такой несчастной, такой беззашитной, что в изнеможении упала на постель.

В дверь постучали. Наташа вздрогнула, сжалась.

В покои вошла Анна Петровна с братцем Петром Борисовичем. Девушка не поднимала глаз.

— Собирайся, Наташенька,— ласково сказала Анна Петровна, подходя к постели дочери.— Собирайся. За тобой приехали.

— Сжалься, маменька! Сжалься! Или я надоела вам? Не хочу я замуж! Отчего вы меня не спрашиваете? «Собирайся, Наташенька».

— Что ты! Сам император свах прислал! Честь нашей семье великая! — дотронулась до плеча дочери Анна Петровна.— Не куражься!

— Или это не на всю жизнь? «Не куражься». Незнамо за кого! — И молодая графиня разразилась таким громким плачем, что впору было закрывать уши.

— Да ты чего, Наталья? Как незнамо за кого? По мне, так он поглянулся тебе! — громко, в запальчивости говорил брат.— Или ты не знаешь князя Ивана Долгорукова?

Графиня, не поверив собственным ушам, приподняла с подушки голову, боясь посмотреть на брата.

— Кабы кто другой, так я тоже воспротивился бы! А тут этакий князь. Всем женихам жених.

Наталья Борисовна не верила брату, который в самом деле мог заметить, с каким благоговением она смотрела на князя Ивана. Анна Петровна, для которой, по-видимому, такая высокая честь была полной неожиданностью, изрекла:

— Видать, звезда над тобой, Наталья, счастливая! — Подошла, поцеловала дочь: — Будь умницей.

— А ежели не пойду? В монастырь отправишь?

— Отправлю, Наташенька. И глазом не моргну — отправлю.

Появилась мадам Корфье.

— Платьице наденет наша раскрасавица розового бархата,— распорядительница дома взглянула на мадам,— расшитое золотом, с длинным шлейфом такого же шитья.— Мадам как будто ждала этого дня.

— Никого мне не надо! — вырвалось у Натальи Борисовны.— Бог его знает этого князя! — по-взрослому рассудительно, с печалью ответила девушка.

— Счастливым счастье само валится,— весело ответила графине мадам Корфье.— Скоро песни запоем свадебные.

— Полно,— остановила ее Наташа, давая понять мадам, что всяк должен знать свое место. Та, привыкшая к полной свободе, не ожидала такого окрика со стороны молодой графини. Обиженная окриком графини, мадам поджала губы. Стояла поодаль, смотрела, как девушки готовили Наталью Борисовну к смотринам. Та была как неживая: не могла понять, что все это наяву, не могла воспротивиться ни единому слову маменьки или брата. Но вдруг сказала:

— А я сотворю отказ, а там будь что будет! — сказала вслух Наталья Борисовна.

Мадам Корфье, забыв обиду, тихо, по-матерински, сказала:

— Жених-то какой! Пол-Москвы княжон и графинь о нем вздыхают.

— Никого мне не надо! — был ответ Натальи Борисовны.

— Приехал-то сам Алексей Григорьевич. Али не знаешь, каков твой жених? Камер-юнкер Его Величества Императора Иван Алексеевич! Сама не видела, а все сказывают: красавец, каких в свете не много. Тебе пригожей перед родителями показаться надо. Дай-ка я глазки тебе вытру.— Она прижала к своей полной груди Наташу.— Ступай, милая, с Богом. Да улыбнись. Улыбка у тебя ласковая.

Наталья Борисовна не могла запомнить всех слов говорливых свах, не могла вникнуть в суть их прибауток и шуток. Она только хорошо помнила, что на настоятельные вопросы их, люб ли ей будущий муж, имя которому Иван Алексеевич, согласно кивнула головой и вымолвила тихо:

— Люб.

Она вся горела огнем. От сильного волнения поднялся жар.

Глава девятнадцатая



Князь Иван с нетерпением ждал отца с матерью от Шереметевых. «Мало ли? У скромных девушек столько страха и сомнений»,— подумалось совсем неожиданно. И он был недалек от истины, хотя знал и другое: в молодости человек ждет любви, полон радужных мечтаний, желаний. Рассуждения будут после, а пока любовь! Это она воспаляет разум. А не будь ее — что бы значил тогда человек? Не было бы этого взлета души — жизнь была бы тусклой.

Князь вдруг усомнился в себе. Не каждая, далеко не каждая девушка без сомнений и безоглядно пошла бы за него замуж. Да и не каждые родители приняли бы его в зятья с распростертыми объятиями. Не все простят ему амурные дела. Уж очень много слухов ходило по Москве.

Но, как оказалось, все обошлось как нельзя лучше. Прасковья Юрьевна восхищалась свахами, любезностью Анны Петровны, прелестным нарядом невесты, которая сказалась больной: была бледна и ушла из-за стола. Княгиня, рассказывая это сыну, была совершенно спокойна.

— Себя помню! До сватов ли мне было? Так и Наталья Борисовна! — заключила она, с облегчением вздохнув.— Теперь дело за обручением!

— А она не заплакала? — спросил князь, когда Прасковья Юрьевна уже была возле двери.

— Заплакала? — с удивлением переспросила княгиня.— Отчего ей плакать? Богу денно и нощно надо молиться: этакое счастье привалило.

Князю Ивану не понравились последние слова матери, оставившие какое-то неприятное чувство. «Умеет в бочку меда ложку дегтя бросить»,— подумал, но, поскольку Прасковья Юрьевна это делала частенько, махнул рукой.

Задумано — сделано!

А в это время Андрей Иванович Остерман, узнав о сговоре Долгоруковых с Шереметевыми, готов был

рвать и метать. Еше бы! Он, Остерман, почти управляющий всей страной, и вдруг обойден? С ним не посоветовались! Тут хитроумному интригану некогда было ломать комедию, притворяться больным. Власть уплывала из рук, как лед по вешней воде. Камердинер, стоявший возле дверей императора, за каждую новость получавший от Андрея Ивановича по гривеннику, шепнул: «Собирается к Шереметевым!» Вице-канцлер после этой новости еле добрался до кареты. «И до разжалования недалеко! — была первая мысль, когда он, закрыв глаза, откинул голову на спинку в карете.— Пусть, пусть наломают дров! Придет еше твой час, Генрих Иоганн Фридрих!» — впервые за многие годы он назвал свое настоящее имя.

А в доме Шереметевых шли приготовления. Оказалось так много родни! Возле ворот скопились кареты. Уезжали одни — приезжали другие. Шум, смех, говор. Наталья Борисовна будто явилась из-за моря-океана: всяк желал увидеть ее, сказать ласковое слово, справиться о ее здоровье. Каждый называл не иначе, как «Наташенька — душа моя!».

Наталья Борисовна после отъезда свах многое передумала. То прекрасное чувство, которое вспыхнуло в ней при первой встрече с князем Иваном, не угасло, скорее наоборот. Случившееся казалось сном! Она волновалась скорее оттого, что Господь Бог незаслуженно награждает ее таким счастьем.

— Наташенька, красавица наша! — обнимая дочь, Анна Петровна с волнением смотрела на дорогу. Кареты подъехали, с шумом распахнулись застекленные дверцы.

С порога гостей встречали, по обычаю, хлебом-солью: на огромном блюде с расписным полотенцем лежал каравай и рядом соль в золоченой солонке.

— Невесту кажите! Невесту! — громко требовал император, вбегая на крыльцо и пропуская вперед себя князя Ивана.

Прислуга попятилась, расступилась. Веселая бесцеремонность императора ошеломила прислугу.

— Не томите, дорогие хозяева! — не мог остановиться Петр в своем залихватском веселье, что бывало с ним обычно после того, когда выпивал хмельной медовухи. А этим они побаловались перед самым отъездом к Шереметевым.

— Покажите! — твердил Петр.

Анна Петровна разволновалась. «Как бы все это в шутовство не превратилось»,— пронеслось в голове, отчего ее будто ошпарили кипятком.

— Идет наша Наталья Борисовна,— нашелся братец Петр Борисович, неоднократно видевший Петра таким озорным.

Наташа вошла в зал. Стеснение и робость читались на ее лице, но высоко поднятую голову она держала с достоинством, от чего сам император смутился и затих.

— Я счастлив! — было первое слово князя Ивана. Он низко поклонился, поцеловал руку.

С этого мига закрутилось свадебное колесо!

— Прощай, наша жизнь молодецкая! — весело сказал Петр, когда они возвращались обратно. Кони бежали рысью, из-под копыт летел мокрый снег, по стеклам кареты он скатывался крупными каплями.

Князь Иван вздыхал, соглашаясь с Петром, хотя и не осознавал еще, что веселое прошлое остается позади.

— А ведь Борис Петрович был первым, кто победил шведов,— неожиданно серьезно сказал Петр. На его лице появилась печать тоски: губы сжались, взгляд стал сосредоточенным. Иван не раз замечал такие перемены в друге, и всегда они были связаны с разговорами о порядке в государстве. Петр понимал, что дело это для него неохватное и неподъемное. Его никто не учил этому. По рассказам бабушки он знал, как старался дед приобщить своего сына, его отца, к государственным делам: брал с собой в походы, в море, на строительство северной столицы, учил водить корабли, заставлял спать в походных палатках, поручал своим полководцам и адмиралам вводить его во многие дела. Он готовил себе замену, преемника, но из этого ничего не получилось. А его, Петра, не обучали ничему! Он, как во сне, вспоминает попытки светлейшего князя Меншикова научить его «не выпускать из рук штурвал». Сейчас, в карете, упомянув о деяниях фельдмаршала Шереметева, вспомнил разговор с Наумом Акимовичем Синявиным. «Этого я так не оставлю! После обручения закручу всем рога!»

— Слышал, он всю жизнь был в походах,— запоздало поддержал друга князь.

— В те годы у России было много побед.

— Я знаю. Август II с великой симпатией относился к фельдмаршалу. При каждой возможности непременно

упоминал, что имел удовольствие присылать за Шереметевым карету «зело богато позолоченную» и что провожал его «до самых дверей», будучи в то время польским королем и саксонским курфюрстом. А уж после победы под Полтавой Августу не до любезностей было!

— А ведомо ли тебе, князь, что в одной из кампаний в Восточной Лифляндии, со взятием крепости Мариенбург, среди многочисленных трофеев и пленных была и будущая императрица Екатерина? Ее взял к себе Шереметев прачкой! — в сердцах сказал Петр.

— Про то, как она стала царицей русского престола, у деда надо было спросить,— съязвил князь Иван. Он мог бы еще добавить, что пленница та была накануне плена обвенчана с драгуном и что была она крепостной крестьянкой... Но Петр молчал. Ивану хотелось как-то сгладить вылетевшие из уст фразы, но... вылетит птичка — не поймаешь! Ничего путного не мог вспомнить, в голову лезла всякая ерунда.

По подмерзшей земле раздавался четкий перестук копыт. Вслушиваясь в эту дробь, каждый оставался наедине со своими раздумьями. Бывают такие неловкие паузы, когда вроде бы не знаешь, что сказать.

— А помнишь ли, князь, что-нибудь о Камчатской экспедиции? Я в тот день прибыл к Адмиралтейству со светлейшим князем Александром Даниловичем. Он там всем управлял. Я только вздрагивал от грохота пушек. Всюду слышалось: в Сибирь! в Сибирь! В день отправки экспедиции столпотворение было,— Петр громко вздохнул, и опять наступила пауза.— А когда светлейший князь сел в карету, то обнял меня, потрепал сколько было сил и воскликнул: «Ну, император, еще одно дело спроворили во славу России!»

Экипаж подъехал к Кремлю. Денщик стремительно распахнул дверцы кареты.

— Закрой! — сказал император денщику и, повернувшись к Ивану, спросил, не глядя в глаза: — О чем просил меня князь Федор? Напомни.

Князь ответил не сразу.

— Просил заступничества для семейства светлейшего князя. Сказывают, болен сильно Александр Данилович и все дети болеют.

Петр нахмурился, по-видимому перебирая в памяти все сплетни и наговоры, путающие правду с ложью. Все делалось для того, чтобы отстранить неугодного Мен-

шикова от царского двора. От его имени, за его подписями были все указы, написанные Андреем Ивановичем. Но дело сделано! С тех пор много воды утекло.

— Прикажи писать императорский Указ о послаблении жизни семейству светлейшего князя с переездом на жительство в какое-нибудь имение вдали от столицы! Да поручи проследить, чтоб было отправлено.

В это время, когда император с князем Иваном выходили из кареты, Андрей Иванович стоял возле окна, спрятавшись за штору. Он похудел, осунулся за эти дни. Император интуитивно почувствовал неприязнь к этому человеку, хотя никто из приближенных не говорил ни единого худого слова о вице-канцлере, если не считать бабушки. Та уж не упускала случая предупредить внука: «Гляди в оба, сынок. Коварен этот немчина!» — Она никогда не называла его по имени.

А Петру не хотелось встречаться со своим опекуном, который «случайно» оказывался в самых вроде неподходящих для него местах: на лестнице, возле порога, в коридоре. Так и случилось: вице-канцлер шел навстречу Петру, пытаясь улыбаться. Но глаза его смотрели холодно, и в какие-то мгновения в них вспыхивала искорка, как тлеющий в загнете уголек.

— Андрей Иванович,— не желая услышать какой-либо давным-давно продуманный вопрос опекуна, первым поздоровался Петр. Голос его заставил вздрогнуть Остермана, и уже не было возможности перебить императора.

— Слушаю, Ваше Величество.— не без труда выдавил вице-канцлер.

— Мы не закончили разговор о Камчатской экспедиции.

— Все на совести Ивана Кирилловича,— был быстрый ответ Андрея Ивановича.

— С Ивана Кирилловича и Михаила Михайловича особый спрос. Через две недели требую от вас обстоятельного доклада. Обстоятельного!

Остерман обомлел, не ожидая от Петра, всегда обращавшегося к нему за советом, такой категоричности. Он не нашелся, что сказать, а только выдавил:

— Ад-ми-рал-тей-ство.

— Имеете в виду, что все дела по этой экспедиции находятся в новой столице? — опередил его император.— Немедля! — раздраженно потребовал Петр.

Андрей Иванович чуть было не присел от испуга, растерянно глядя, как за императором захлопнулась дверь.

Зная крутой нрав Петра, он боялся попасть в царскую немилость. Мог же Петр грозно сказать светлейшему князю Меншикову: «Я покажу, кто царь!» — И дело сделано. А вдруг да скажет: «Вон, в отставку!» Мало ли что ему взбредет в голову. Долгоруковы люди умные, дворяне! Они берут власть над Петром. Андрей Иванович встревожился не на шутку. Уже не было в голове злых умыслов, как бы кого столкнуть лбами, как бы кого оклеветать. Он дрожал за себя!

Позабыв о хвори, заказал карету, приказал гнать экипаж к генерал-фельдмаршалу Михаилу Михайловичу Голицыну, зная, что тот постоянно требовал заслушать в Сенате отчеты Беринга. «Упаду в ноги, не переломлюсь!» — думал, подъезжая к особняку Голицыных.

Михаил Михайлович не удивился визиту Андрея Ивановича, который сразу с порога бросил несколько нелестных слов в адрес Наума Акимовича Синявина.

— Не Синявин тут виновен,— строго ответил гостю Михаил Михайлович, приглашая Андрея Ивановича присесть.— Дело нешуточное. Сошлет всех в Сибирь, будем тогда знать! Столько времени люди во льдах. Да про Беринга ли с нас надобно спрашивать! — разошелся генерал-фельдмаршал, чувствуя немалую свою вину.— Или думали, все так будет? Силу берет император, слава Богу. В Петербург, в Адмиралтейство, ехать надобно. Откуда известно капитану Берингу, что мы этак бездействуем? Туда все бумаги шлет. Или вы велели в Москву слать реляции? Доподлинно знаю: нет. В одночасье можно всем головы положить на плаху.

— Не надо, не надо,— от страха закрыв уши ладонями, взмолился вице-канцлер.

Глава двадцатая



Михаил Михайлович Голицын, несмотря на ненастную, слякотную погоду, приказал срочно готовить экипажи. Он торопился в Петербург. Форейторы, денщики, конюшенные, каретники, уверовавшие в то, что до установления санного пути генерал-фельдмаршал не рискнет отправиться в неближний путь, жили спокойно. В дымных конюховках, в шорне играли в карты, пили чай из разнотравья, рассказывали байки про господ — одним словом, жили в полном спокойствии, оставляя дела на длинные зимние дни. И вдруг — готовить экипажи! Особо забеспокоились каретники. Изготовленные к санному пути кареты, возки, кибитки осталось только переставить на сани, а тут, по грязи, нужны еще колеса. А почти каждая карета нуждалась в починке. За осень, после вояжей по имениям, в большей части находившимся в глухих деревнях, большинство карет было разбито начисто. А из рязанских, вологодских вотчин и ильменской глухомани генерал-фельдмаршала вывозили на крестьянских телегах, оставляя в грязи утонувшие колеса.

Узнав о немедленном отъезде хозяина в Петербург, старший каретник Ксенофонт рвал на себе волосы: не миновать плетей, не миновать!

За сараями, под горой, горели костры, в глиняных котлах и ведрах кипятили смолу и деготь, в сараях при свете фонарей гнули обода, вставляли спицы, шорники чинили упряжь, пришивали ко многим уздечкам наглазники, строгали оглобли.

Бегая, как загнанный мерин, Ксенофонт кряхтел, тяжело дышал и беспрестанно бранился.

Возок готовили особо, понимая, что едет Михаил Михайлович не в деревню, а как-никак в столицу.

Русскому мужику только свистни — лоб разобьет, коли надо. К утру, когда на небосклоне появилась узкая полоска рассвета, шесть карет выстроились в ряд, как будто явились по щучьему велению. Костры догорали,

гарь прижималась к земле, уползала черной змеей в низину и терялась в изморози. Чумазый подмастерье, бегая челноком вокруг мужиков, перед утром совсем ослабел. Присел на корточки возле тлеющих углей. Проходивший мимо Ксенофонт, пошарив в кармане, сунул ему в рот огрызок ржаного сухаря.

— На черта похож,— помогая пареньку подняться, сказал Ксенофонт.—Башку-то пушай мать щелоком вымоет, али совсем пакли-то срежь: эко! Смолу-то тебе кто на башку вылил?

— Никто, сам ручищами лапал. Кабы картуз не потерял...

Утром, ни свет ни заря, денщик надел на генерал-фельдмаршала овчинный тулуп, ушастый картуз, теплые чесанки. Михаил Михайлович удобно расположился в карете, обитой изнутри синим бархатом, рамы — с двойными стеклами, по углам — фонари. Многочисленная свита, повара, лекарь. В охране верховые драгуны. С неба сыпала ледяная крупа. «Кабы был снежок — легко проскочили бы, а теперь...» — подумал Михаил Михайлович, приподнимая густые усы, чтобы горячее поцеловать генеральшу.

Экипаж тронулся, под колесами сразу хлюпнула грязь, обрызгала подол юбки плачущей генеральши.

Во времена Петра Алексеевича во всякое время года петербургский тракт кишмя кишел подводами работного люда. Чтобы проехать государю, часа за два выезжали верховые с нагайками, разгоняя непонятливых на обочины дороги. На строительство столицы на Неве, как в темную прожорливую пучину, сгонялся российский люд. Мало по доброй воле кому-то хотелось мерзнуть на ветрах, тонуть в зыбких болотах, умирать без священника, оставаться в чужой земле, а не на родном погосте. Шли пешими пильщики, рамщики, каменотесы. Больше всего лаптями да босыми ногами месили грязь, протаптывая дорогу. Кряхтели, рвали гужи повозок, груженных камнями для строительства грандиозных царских дворцов. Везли плиты, литые на демидовских заводах, замысловатые ажурные ограды, кованные искусными мастерами, гвозди, скобы, проволоку... Днем и ночью тракт был в движении, как какое-то неописанное, необсказанное живое существо, похожее, скорее всего, на огромный муравейник.

Но умер великий преобразователь России, и медленно стало все затихать. Утихал и этот тракт.



Далеко просматривалась ухабистая дорога. Завидев господские экипажи, телеги, возки с грохотом съезжали на обочины.

Карета генерал-фельдмаршала, запряженная шестерней, неслась резво. Покачиваясь на рессорах, убаюкивала Михаила Михайловича и даже погрузила в сон.

Вдруг кони резко остановились, генерал-фельдмаршала выбросило из мягких подушек, откинуло в противоположную сторону, и даже мягкий козырек ушастого картуза не спас его от удара. Денщик, вопя, выпрыгнул из кареты, увидев на лбу Михаила Михайловича струившуюся кровь.

Раздались два выстрела: драгуны стреляли из пищалей. Прикрывая ладонью рассеченный лоб, Михаил Михайлович, оставив в карете тулуп, выскочил на дорогу, бросился было бежать к передним экипажам, но окружившие его слуги настоятельно просили его остановиться и принять помощь от лекаря. Подчиниться генерал-фельдмаршалу все-таки пришлось. Лекарь быстро обработал рассеченное место и забинтовал голову.

Оказалось, пропустив верховых драгунов, на экипажи напала разбойная ватага, пробирающаяся из гибельных мест в теплые края. По-видимому, не разглядев, не сосчитав количества карет, десятка полтора смельчаков выскочили из-под мокрых кустов, ловко схватив разгоряченных коней за удила, вмиг перерезали всю упряжь и, опрокинув две первые кареты и прорезав ножами стенки, стали выбрасывать все, что могли нащупать.

Услышав крики и шум, драгуны открыли пальбу. Впряженные в кареты кони, испуганные выстрелами, встали на дыбы, заржали. Форейторы что было силы сдерживали коренников, готовых увлечь за собой все шестерни под обочину. Охрана не сразу сообразила, что к чему. Давала команды вразнобой.

Мало-помалу все стало утихать. Мимо настегивал лошаденку, отчаянно крестясь, седок на крестьянской телеге, благодаря судьбу, что его миновала гибель от разбойников. Валил мелкий снежок, со стороны болота свистел ветер. На обочине лежали два сраженных выстрелами разбойника. Снег таял на их еще не остывших бородатых лицах. Со стороны кустарника доносился пронзительный свист. Разбойный люд скрылся на болотах в зарослях камыша. Четко вырисовывались глубокие ямины, заполненные водой,— следы двух угнанных выездных коней.

Карета генерал-фельдмаршала была цела и невредима. Денщик держал в руках овчинный тулуп, опасаясь, как бы пронзительный ветер не остудил господина, и досадовал, что посоветовал надеть в дорогу чесанки, которые промокли. Сапоги с ботфортами сейчас были бы в самый раз.

— Ваша светлость, испейте, от простуды. Христом Богом прошу,— умолял деншик Михаила Михайловича, держа в окоченевших руках штоф с водкой, настоянной на перце.— Отпейте, Христа ради. Холодище экое.

На одутловатых щеках хозяина еще были видны следы размазанной крови. От волнения под глазами образовались мешки, и взгляд Михаила Михайловича казался от этого каким-то угрожающим.

— Давай! — услышал денщик.

После выпитого князь любил смачно крякнуть от удовольствия. Тут же, облизнув губы, полез в карету. Задумавшись, перебирал в памяти недавний разговор с императором и клял себя, совестил, что поступал, как дитя неразумное. «Все палку ждем!» — заключил он и дал себе слово все дела в Петербурге сделать так, чтобы комар носу не подточил.

Экипажи тронулись в путь не сразу. Пришлось заменить несколько сломанных оглобель, убрать перерезанные остатки сбруи, поднять перевернутые кареты и впрячь в них по два коня, убавив от оставшихся в других каретах, исключая, конечно, карету генерал-фельдмаршала. Догадливые форейторы привязали к дугам колокольца-щелкунчики, издающие веселый звон.

Шпили дворцов показались издали. В Адмиралтействе о приезде Михаила Михайловича уже знали. Все службы были готовы к встрече Голицына.

В северной столице волей-неволей вспоминались великие страдания и подвиги людей, строивших новую столицу. Михаил Михайлович тоже был причастен к строительству Петербурга. Потому и ревущий ветер с берегов Невы, и хлесткие волны ее, и хмурое небо, и землянки вызывали в душе Михаила Михайловича ностальгию по прожитому — буйному, безоглядному времени.

Васильевский остров подарен был Петром Алексеевичем светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову. На нем началась постройка усадьбы столичного губернатора. В каменном дворце, называемом «посольским домом», проходили праздники по поводу

военных побед, прием послов, свадьбы, торжества царской семьи. Меншиковский дом содержался по европейскому образцу. Петр жил на втором этаже двухэтажного дома «голландского фасона». А первая дочь светлейшего князя родилась в первом, мазанковом, доме. Сколько было восторгов! Сколько дней обмывал ее рождение император! Да только ли это? А здание Адмиралтейства? Боже милостивый, сколько сотворено этим человеком, царем-работником!

Михаил Михайлович, приняв поздравления с благополучным прибытием и очутившись в тепле натопленных покоев, отведенных ему, никак не мог освободиться от нахлынувших воспоминаний. Душа ныла. Не было для нее покоя, радости, восторга. Накинув на плечи теплый, на рысьем меху, кафтан, подошел к окну. По стеклам скользили тяжелые снежинки, сквозь них можно было увидеть крестьянские телеги, груженные сеном, а за ними подводы с плетеными коробами, покрытыми рогожами. Мужики из близлежащих деревень везли в Петербург первый улов озерной рыбы. Голицын отметил про себя, что лошади тощи, изработаны. На углу какой-то мужичонка наигрывал на шарманке тягучие, заунывные звуки. В брошенную под ноги заячью шапку было кинуто несколько гривенников. Померещилось: в мужике с легкой походкой увиделся Александр Данилович Меншиков. Форсистый кафтан... Михаил Михайлович протер глаза, чертыхнулся, дух светлейшего князя витал повсюду. Не удивительно: на каждом камне его следы! Мысли теснили голову, но до главного дела, ради которого явился в северную столицу, не допускал мысли. Точнее сказать, боялся думать, зная, что там запустение! А ведь он помнит, как ликовали у стрелки на пристани, встречая первый фрегат «Штандарт» да еще шесть судов, спущенных на Олонецкой верфи. «И чин здесь генерал-фельдмаршала получил. Кто просил меня перебраться со всеми в Москву? Адмиралтейство тут — и дело мое здесь. А поперся, как все, за царскими санями! Поближе к Кремлю. А сердце-то русского флота тут».

Михаил Михайлович потянулся к колокольчику. Денщик Афанасий, вскипятивший давно самовар, ходил по коридору взад-вперед. Вошел к хозяину с самоваром: Михаил Михайлович по утрам первым делом пил чай.

— Или кто огрел по шеке-то? Краснота какая,— спросил деншика хозяин.

— Зуб покоя не дает. Ночью ревмя ревел. Тепереча терпимо, ваша светлость. Не извольте беспокоиться,— растрогался Афанасий, давно не слышавший в свой адрес добрых слов.

— Перцовки отпей, да немного. Не жаль, да ты этакие фортеля хмельным выписываешь. В прошлый-то раз какую бучу учинил — иностранных-то послов экими словами обзывал.

— Они, ваша светлость, ни одного моего слова не поняли. Толмача рядом не было.

— Считай, повезло тебе,— вздохнул Михаил Михайлович, зная, что челядь нельзя подпускать близко. Сегодня, поддавшись воспоминаниям, где и Афанасию было место, обмолвился несколькими словами и построжал: — Скажи прислуге — пельменей хочу горячих!

Повеселевший деншик уже подошел к двери.

— Как на Петропавловке зазвенят колокола...

Афанасию не надо было говорить дальше: все мундиры были давно начищены, ленты наглажены, звезды, награды, ордена блестели.

Возле крыльца стояли вороные в нарядной упряжи, впряженные в кожаную карету с позолоченными ободками и ручками. Форейтор браво сидел на облучке. По сторонам — строй солдат в коротких кафтанах, белых чулках и в форменных треуголках.

— В Адмиралтейство? — спросил бравый офицер.

— На верфь! — был ответ Голицына.

Офицер вскочил на подведенного к нему коня, поскакал вперед.

В тяжелом, сыром воздухе глухо отдавался топот копыт. На промерзших лужах под колесами кареты звенел лед.

— Вот она, боевая крепость на Заячьем острове, вот боевые валы, грозящие на все стороны бастионы. Вот и верфь — Петрово детище Балтийского флота. За одиннадцать месяцев построено Адмиралтейство!

Он видит возведенные через протоки голландские подъемные мостики, дощатые помосты. Все высшие чины Адмиралтейства стояли на помосте в ожидании Михаила Михайловича. По Неве сновали многочисленные галеры, не боящиеся ветра. Зыбко качался на сколоченном плоту одинокий смельчак. Сколько раз

доводилось ему слышать громкую команду: «Готово!», когда под крутым днищем судна начинали стучать молотки, сбивая сваи, подпирающие спереди судно. У всех на глазах начинала качаться мачта корабля, который медленно оседал на салазки и полз по наклонным стапелям, смазанным салом. И восторженные крики: виват! пошел! пошел! Корабль носом касался воды, касался невской волны. Рассеченные по сторонам носом корабля волны омывали берег, стаскивали стружки, щепу, остатки досок, клочки сена. С бастионов, бортов стоявших на якорях кораблей гремели пушечные выстрелы. С грохотом разбивались бутылки с винами, поднятые вверх стаканы наполняли вином. Начиналось нескончаемое гулянье. Пир был на весь мир. За прибавку к русскому флоту! А на очереди стояли ребристые остовы новых кораблей. В ту пору российский флот стал сильнее всех и мог соперничать с флотом Англии — владычицы морей! «Был при сем не последней спицей в колеснице»,— подумал про себя генерал-фельдмаршал.

Выскочив из кареты, огляделся и, увидев развевающиеся на ветру штандарты иноземных стран, обрадовался и в приподнятом настроении пошел по промороженным лужам, бухая по помосту тяжелыми ботфортами, что было так не свойственно этому важному человеку.

Приближенные сдержанно кланялись генерал-фельдмаршалу, понимая, чем вызвана неподдельная радость Голицына. Кто-то из офицеров подал ему подзорную трубу.

На горизонте показалась мачта парусника. Чей был флаг, Михаил Михайлович не рассмотрел. Но он точно знал: корабль торговый, а значит, издалека.

Безусловно, в Адмиралтействе понимали, что приезд в Петербург в такую непогоду высокопоставленного чиновника не случаен, поэтому улавливали каждое слово. Не успел он обмолвиться, известно ли что о путешествии капитана Беринга, как генерал-адмирал Апраксин ответил:

— Днями вернулся с докладом лейтенант Овцын.

— Назначьте срочно с ним встречу.

— Лежит в госпитале. Болен. Простужен,— уклончиво ответил адмирал и пошел к карете. Денщики поддерживали его под руки.

Документы, переписка, доклады о Камчатской экспедиции к приходу в Адмиралтейство Михаила Михайловича лежали у него на столе.

Глава двадцать первая



В Адмиралтействе тишь да благодать. Навигация заканчивалась. Мореходы, зная коварство балтийских штормов, без нужды не рисковали выходить в море. На Неве хозяйничали волны, выбрасывали на берег невесть откуда принесенные льдины. Неистовый ветер гнул до самой земли чахлые деревца. В промозглом воздухе стонали чайки-поморники, с жалобным криком искали пристанища в сухой озерной осоке.

Аккуратный во всем, командор Беринг строго следил за еженедельными донесениями, слал подробные отчеты о продвижении экспедиции на восток, к тихоокеанскому побережью. Путь неближний — десять тысяч верст, из которых только одна тысяча была по тракту. Везли с собой якоря, канаты, паруса, снасти, гвозди, железо, пушки-фальконеты. Немыслимо трудная дорога с тяжелейшим грузом изнуряла людей, а лошади, надрываясь, околевали в дороге. Добравшись до Тобольска, вздохнули с облегчением. Но что предстояло впереди!..

Погода стояла милостивая, когда шла погрузка имущества в небольшие лодки-дощаники. Умываясь иртышской водой, члены экспедиции поклонились реке-богатырю, отслужили молебен и отправились в плавание. Плыли из Иртыша в Обь, из Оби в Енисей, из Енисея в Лену. Одному Богу известно, какие вопли и стоны звучали по берегам, по волокам, когда перетаскивали работные люди по обмелевшим речушкам тяжелые дощаники.

Понадобилось семнадцать месяцев, чтобы добраться до Якутского острога. Великие реки-труженицы остались позади. Впереди — бурные, каменистые, порожистые

речушки, перевозка грузов на небольших судах. Продовольствие решено было перевозить на лошадях по тайге, среди горных перевалов. До семисот лошадей было снаряжено. И вся эта живая цепь с нанятыми проводниками двигалась к тихоокеанскому побережью с единственной целью-мечтой: попыткой обрести для России берег американский.

Из экспедиции шел отчет за отчетом, послание за посланием. Беринг, понимая важность начатого дела, пытался доказать, что на пути оказалось много непредвиденного: суровый климат, бездорожье, гибель лошадей, а главное — физическое истощение команды. И на все нужны дополнительные расходы. В Адмиралтействе знали маршруты экспедиции и не стесняли ее в средствах. Так было, когда на троне была Екатерина Первая, а после ее смерти строго следил за всеми делами светлейший князь Меншиков.

Перемены при дворе не на шутку встревожили Беринга, появились сомнение и опасение остаться забытыми. Петрова затея и при жизни великого монарха многим была не по нутру...

В Адмиралтействе был переполох: в большой и просторный кабинет поступала каждая бумага, имеющая отношение к экспедиции. «У семи нянек — дитя без глаза»,— секретарь канцелярии вытаскивал из шкафов, доставал с полок и раскладывал по столу запыленные папки. В воздухе клубилась пыль...

— Достанется, достанется всем от старика! Ему бы только покуражиться, только бы свою власть показать,— думали многие о престарелом адмирале Апраксине.— Он уж, поди, вовсе забыл не только про экспедицию, но и про то, что называется палубой.

Зная, с чего начинается любая проверка, секретарь Иван Анисимович Лукин в первую очередь положил на видное место бумагу: «...на построенном небольшом одномачтовом судне «Святой архангел Гавриил» покинули Нижне-Камчатск и вышли в открытое море...» и другое: «...более месяца пребываем мы в плавании, и попытки обрести берег американский доселе для нас бесплодными были, хотя берег азиатский на вест повернулся. Мню я, что без пользы дальнейшей поиски оного будут. Надобно наиболее разумное решение поставить. Мыслю я, что для верности надобно еще дня два на норд курс держать и, коли не объявится искомый берег

американский, возвращаться в Нижне-Камчатск либо искать гавань, где можно было зазимовать».

Вскоре пришли донесения о продвижении экспедиции вдоль неизведанного морского побережья: «...ни на одном склоне гор не растет лес, песцы, куропатки совсем не боятся людей».

Нельзя точно утверждать, что секретарь умышленно положил сверху послание экспедиции с подчеркнутыми словами: «сможем ли мы вырваться отсюда» и «страшит бесчестие». Под этими словами стояла размашистая подпись Беринга.

Не стоит рассказывать, какое впечатление произвели эти документы на Голицына. Да и адмирал Апраксин, с утра находившийся в приподнятом настроении, вдруг стал заикаться. Такое с ним случалось в момент душевного волнения.

Краткий доклад адмиралтейской коллегии о работе экспедиции по имеющимся документам вывел генерал-фельдмаршала из себя.

— Хватит! — остановил он офицера, читавшего донесения экспедиции. Папка выпала из рук читавшего, документы рассыпались по столу, несколько страниц упало под стол. Всем присутствующим было ясно: все пущено на самотек, никто ничего не может сказать о состоянии дел в экспедиции, не только о ее судьбе, но и самого командора. Михаилу Михайловичу показались пророческими слова самого Беринга — «Страшусь бесчестия!». «Легче легкого все предать забвению и обвинить людей!» — стучало в висках Михаила Михайловича, не потерявшего чувства ответственности, а главное, сохранившего чувство долга.

— Не бывать этому! — сказал он вдруг решительно.— Чтоб мы загубили великое дело? Немедленно проверить все переводимые средства. Выгрести все из адмиралтейских закромов и продолжать экспедицию. Так велено императором! — взял Голицын на себя такую смелость.

У присутствующих морских офицеров блеснули глаза.

— В госпитале лежит прибывший из экспедиции лейтенант-гидрограф Дмитрий Леонтьевич Овцын,— нарушая воцарившееся молчание, вставил секретарь Иван Анисимович.

— Да-да, я запамятовал,— встрепенулся адмирал Апраксин.— Мне докладывали.

Долее двух месяцев с докладами, чертежами и картами на перекладных добирался до столицы лейтенант Овцын. Разыгравшиеся осенние бураны еще не перемели дорог, и он приказывал гнать лошадей все световое время дня. Возок его был продуваем со всех сторон, и хотя его денщик, крестьянский парень, старательно законопачивал старые и вновь образующиеся щели, устилал пол сеном, не мог уберечь своего хозяина от простуды. Остановившись в какой-то деревушке, заставил хозяйку истопить баню, докрасна накалил камни-булыжники и, подпуская пару, неистово стал охаживать веником доверившегося ему лейтенанта. Напоив его травяным настоем, уложил спать. Лейтенант уснул мгновенно, будто провалился. Утром был румян и здоров, а денщик, купив у хозяина коровью шкуру, утеплял возок. Одной шкуры, конечно, было мало, тогда хозяин отдал изодранный овчинный тулуп. Заодно денщик подкормил лошаденок хозяйским овсом, погрел им спины войлочными попонами. Да и сам понежился: заночевал в избушке по соседству, погрелся возле теплой вдовы Марии, досыта напился теплой, стоящей на приступке печи браги, потел всю ночь: то ли от браги, то ли от ласковой Маньки. Днем старался не показываться на глаза Дмитрию Леонтьевичу, до самой темноты возился у возка, передавая через хозяина, что до будущего утра со всеми делами ему не управиться.

Зато на следующее утро выехали ни свет ни заря. Соседка оказалась пригожей молодкой в длинной душегрейке, накинутой на голову и плечи большой шерстяной шали с завитыми кистями. Она стояла возле возка и тоскливо глядела на денщика.

— Долго здравствовать тебе, голубка,— не постеснялся изумленного Дмитрия Леонтьевича денщик, поклонился ей поясно и свистнул на застоявшихся лошадей.

До Камня дорога показалась легкой.

Ближе к центру России погода совсем испортилась: здесь еще шли промозглые дожди вперемежку со снегом. На дорогах — непроходимая, непролазная грязь.

К Петербургу подъезжали в пасмурный день. «Хорошо, что никто не видит моего убожества»,— подумал Дмитрий Леонтьевич, переступая порог Адмиралтейства. До его сознания долетел, словно издалека, знакомый голос денщика:

— Не троньте его, он болен!

Очнулся лейтенант Овцын в госпитале. Изнурительно трудная дорога, скудная еда серьезно подкосили здоровье бывалого мореплавателя. Несколько дней в полубреду виделись только колышашиеся морские волны да бородатые воспаленные от бурь и ветров лица товарищей. Вот матросы надевают чистые рубахи, припрятанные на самом дне деревянных сундуков, а вот могильные холмы без крестов, где навечно остались умершие товарищи.

Чаше всего смерть наступала не от болезней, а от скудной еды и уныния, неверия в возвращение. И командору трудно было доказать отчаявшимся людям обратное. «Почитай, все, хотя несколько времени, тяжкими головными, грудными, цинговыми болезнями, паче горячками больны»,— писал в Петербург Беринг, сохраняя надежду, что на эти послания получит ответ, но все было напрасно.

Быть может, лейтенанту Овцыну пришлось бы провести в госпитале еще немало дней, если бы не приезд в Адмиралтейство генерал-фельдмаршала Голицына.

Его перевели в отдельную палату, переодели в белую льняную рубаху, такие же портки. Еду стали подавать только скоромную. Дмитрий Леонтьевич не мог понять такого отношения к себе, пока в госпиталь не пришел офицер из Адмиралтейства. Ему было сказано, что все ждут его скорого выздоровления и что ему назначается аудиенция с адмиралом Апраксиным и генерал-фельдмаршалом Голицыным, как только здоровье его улучшится.

После визита штабного офицера у Дмитрия Леонтьевича от волнения вновь поднялась температура, но он сразу взял себя в руки и, хорошо поразмыслив, понял, что произошла счастливая случайность, быть может, Богом посланная удача: первым лицам во флоте доложить истинную правду! А там — будь что будет. Беринг знал, кому поручить дело! Хотя перед самым его отъездом, совершенно не надеясь, что лейтенант будет принят адмиралом, командор ему сказал: «...того ради мню, не в туне ль может возвратиться экспедиция».

Сосредоточившись, Дмитрий Леонтьевич обдумывал свой доклад в высшем морском заведении государства. «Лучше начать с Тобольска — главного города Сибири, когда командор, догнав отряд, самолично занялся снаряжением, обратившись к губернатору Долгорукову.

Овцын знал о бумаге, в которой Беринг просил дать ему дополнительно к отправленному отряду «24 солдата и двух пушкарей, которым быть на море, так как морских служителей малое число, которым на двух ботах не управиться». Да еще просил для постройки ботов и лодок выделить добрых плотников шестьдесят человек, семь кузнецов, двух бочаров, токаря и печника со всеми инструментами и морского провианта на шестьдесят человек. За один год только этому отряду было закуплено: сухарей 879 пудов, крупы овсяной — 195 пудов, крупы гречневой — 195 пудов, гороху — 94 пуда, масла коровьего — 117 пудов, пива — 195 ведер, рыбы — 70 пудов, вина — 121 ведро... всего две тысячи пудов. Да, надо не забыть про Ивана Дурасова, умеющего грамотно вести все расходные документы, и про иеромонаха Василия Трескина. Перебирая все это в памяти, Дмитрий Леонтьевич усмехнулся, понимая, какой несусветный бред он несет. Кому станет охота выслушивать его о каких-то крупе да горохе.

Усмешка пробежала по его лицу, но на самом-то деле на душе кошки скребли. Адмирал Апраксин еще пять лет назад предрекал гибель экспедиции. Но это была затея государя. И кто бы ему возражал? А теперь кому до нее дело?

Адмирал Апраксин, узнав от Михаила Михайловича истинную причину его приезда в Петербург, не без сожаления сказал себе: «Отошла коту масленица!»

Для визита в Адмиралтейство лейтенанту Овцыну, офицеру русского флота, были приготовлены зеленый флотский кафтан на меховой подкладке с широкими красными обшлагами, штаны до колен, белые шерстяные чулки, башмаки с мехом внутри, треугольная шляпа.

Деншик, не сразу узнав своего господина, изумился и ни с того ни с сего заплакал:

— Экий ты пригожий, Дмитрий Леонтьевич! Под венец можно идти в сей миг.

— Полно, Иван, полно,— построжав, остановил лейтенант денщика, готового бесконечно восхищаться пригожим видом лейтенанта.

В окна госпиталя глядели любопытствующие больные. Большей частью это были моряки.

— Бог его знает, что ждет этого лейтенанта,— словно сговорившись, повторяли все, видя возле крыльца роскошную карету.— Мягко стелют, да жестко спать.

— Поосторожнее, сынок, земля всякими слухами полна,— шептал деншик. Его резко оттолкнул от кареты разухабистый офицер.

У Дмитрия Леонтьевича от слабости еще кружилась голова. Входя в величественное здание Адмиралтейства, он запнулся о высокий порог. Стоявший возле двери камергер с голубой лентой и висевшим на ней ключом будто между прочим сказал:

— Правой ногой запнулся — к удаче!

В коридорах все чин по чину. Караулы, флотская атрибутика, на стенах картины морских баталий, портрет великого государя и зеркала! Давно не видевший себя в полный рост, Дмитрий Леонтьевич в высоком, худом офицере с впалыми глазами и заострившимся носом не сразу узнал собственную персону. Усмехнувшись, он поправил на шее белоснежный шарф.

Офицер кивком головы пригласил морехода следовать за ним. За тяжелой резной дверью, которая широко распахнулась перед ним, он увидел весь цвет русского флота. За массивным столом сидел облаченный в нарядный мундир со всеми регалиями адмирал Апраксин. Овцын чеканно отдал честь. Крамольная мысль на мгновенье сбила с ритма лейтенанта: «А как да стащить с адмирала мундир, эполеты, орденскую ленту да ордена, то оказался бы перед моим взором заморенный старикашка, коего бы и в лодку-галерку побоялись посадить!» Но он тут же отогнал от себя эту мысль и увидел: поднявшись, к нему шел Михаил Михайлович Голицын, протягивая руку для рукопожатия.

— Прими благодарность искреннюю не только от меня, лейтенант Овцын! Достоин ее каждый, кто сей час трудится во льдах тихоокеанского побережья!

У Дмитрия Леонтьевича образовался в горле комок.

В стороне, на небольшом столике, лежала груда аккуратно сложенных папок, возле которой стояли канцеляристы, готовые по необходимости передать начальству требуемую бумагу. Видно было, что старший по должности офицер сильно волновался: пот обильно орошал его лицо, шею.

Для Дмитрия Леонтьевича все эти бумаги были как бы приятным свиданием с товарищами по экспедиции. Он знал: на любую бумагу, карту, чертеж даст самый точный ответ. Так и случилось. Стоило только его спросить о малоизвестной бухточке Моржоке, как

Дмитрий Леонтьевич стал увлеченно рассказывать во всех подробностях о ней и об утесе, о его вулканическом происхождении. Со времени вылившейся из его кратера огненной лавы земля не смогла оправиться, никакое семя не смогло здесь прижиться. И стоит этот утес черен, гол и неприветлив. Но в сильный шторм мореплаватели нашли за его отвесными берегами спасение. А коли говорить о зимовье в тот год, то надобно было проплыть под парусами трое суток, чтобы увидеть вдали чахлые деревца. Без них вся экспедиция от морозов окоченеть могла.

Адмирал Апраксин откинулся на спинку стула, засверлил острыми, как буравчики, глазами, не спуская взгляда с Овцына.

— Коли дале идти по этому чертежу, ведущему к северу...

— Благодарствую, Дмитрий Леонтьевич,— остановил его адмирал.

Всем было ясно: прибывший посланец от командора Беринга именно тот, кто доложит о Камчатской экспедиции молодому императору, если он еще не забыл о ней за своими праздниками, охотой, а в последнее время приготовлениями к свадьбе.

А у Апраксина мелькнула зловещая мысль, как бы Овцын не оказался нежелательным свидетелем. А ведь его слушает затаив дыхание весь генералитет.

Апраксин и Голицын несколько раз переглядывались, смотрели друг на друга испытующе и, казалось, боялись каждый своих мыслей.

— Яснее ясного,— остановил генерал-фельдмаршал лейтенанта.— Вами благородное дело делается, хотя и не скрою, в сии годы оно стало головной болью Адмиралтейства.— Он снова посмотрел на Апраксина, вытянувшего из воротника тощую, морщинистую шею.— Начатое нам следует завершить.

Кто-то, как в былые времена, крикнул: «Виват!» Но это всем показалось неуместным, хотя и напомнило о кипящих спорах и делах в Адмиралтействе, когда каждая победа сопровождалась этим возгласом.

— Под счастливой звездой родился, лейтенант! — многозначительно сказал офицер, сопровождавший Овцына.

Он был счастлив. Думалось, что, после такого разговора, а главное, в присутствии таких важных чинов

российского флота, экспедиция не будет забыта. И его надежды оправдались.

Для доклада Его Императорскому Величеству в Адмиралтействе принялись срочно готовить все бумаги, но без Овцына разобраться в чертежах никто не мог.

Апраксин с Голицыным пришли к одной мысли: ехать лейтенанту Овцыну в Москву и быть там при генерал-фельдмаршале и его ведомстве консультантом по Камчатской экспедиции, а далее дать возможность ему самому выбрать свою судьбу: то ли отправиться обратно, то ли остаться на Балтике при Адмиралтействе, то ли уйти в отставку.

Предложение поехать в Москву Дмитрий Леонтьевич встретил без особого восторга. Он больше любил Петербург: верфи, море, встречи с мореходами...

За две недели наступившие холода сковали землю. Приготовленные к поездке кибитки, возки стояли на новых санях, гусары, форейторы были одеты по-зимнему, сопровождавшие генерал-фельдмаршала чины оделись в овчинные шубы. Возок Дмитрия Леонтьевича, обитый войлоком и сукном, был с мягкими подушками, волчьим покрывалом и даже одним фонарем.

Из Петербурга выехали ранним утром. Кони, чувствуя скорую дорогу, встряхивали головами, фыркали, нетерпеливо переступали с ноги на ногу. На горизонте еле-еле занималась заря.

Форейтор, сидевший в первом экипаже, подал знак остальным пронзительным свистом. Подводы тронулись.

Глава
двадцать вторая

Теперь каждое утро князь Иван приказывал седлать коня. В сопровождении двух драгунов он птицей вылетал из широко распахнутых ворот, гнал коня к дому Шереметевых, на Воздвиженке.

Он знал: Наташа ждет его, хотя никогда ему об этом и не говорила. Любящего человека легко угадать!

Графиня к этому времени уже была на ногах, металась от окна к окну, прислушивалась к топоту копыт.

— Носочки надень, Наташенька. Простудишь ножки, а от холода всякая хвороба пристает.

— Ванюша про то же говорит: чтобы я потеплее одевалась. Когда в поле выезжаем, ветрище так и свистит, так и свистит.

— А по-моему, лучше бы в горенке сидели да чайком баловались.

— А мне самой хочется по окрестному лесу прокатиться. С Ванюшей так весело: он свистеть по-птичьи умеет, всякие следы разгадывает. Вчера, только перелесок проехали, он и говорит:

— Погляди-ка, душа моя, тут совсем недавно лиса пробежала. Если захочешь, мы ее догнать сможем.

— Хочу,— ответила.

— Ну, тогда крепче сиди,— да как прикрикнет на коня! Конь вмах. Мой тоже. У меня сердце зашлось, я крикнула:

— Стой, Ванюша-а!

Он остановился. Видит, я испугалась.

— Ну ее, эту лису,— сказал. Только подъехал ко мне, а по обочине поля бежит лиса.

— Испугалась, плутовка! — закричал Ванюша да как хлопнет в ладоши, будто из пищали выстрелил. Рыжуха как подпрыгнет и — в лес.

— Да, уж молва о твоем суженом идет как об охотнике несравненном.

— Нынче мы скоро вернемся. Зябко стало. Ванюша дует-дует в мои ладоши, чтоб пальцы согреть! — говорила Наташа с радостным упоением, закрывая при этом глаза, будто в мыслях своих улетала к облакам.

— Вот и твой суженый скачет! — сказала няня.

Графиня нетерпеливо откинула голову, чтобы Магде удобно было завязывать под подбородком шелковый бант чепчика, опушенного лисьим мехом.

Из шереметевской конюшни вывели коня под стать коню князя Ивана. Графиня издали видела улыбку князя, сбежала со ступенек широкого крыльца, с которого дворник только что смел снег. И вот Наташа уже в седле!

Морозец. Вокруг тишина. Редкие снежинки кружатся в воздухе, медленно засыпая всю округу. Звонкий

свист князя будит утреннюю тишину. Куда-то к горизонту улетает, перекатывается эхо, ему отвечают лаем встревоженные собаки, над деревьями поднялось несколько ворон. Бег коней по лесной просеке будит землю и все живое на ней. За леском широкие, безбрежные покосы с туго сметанными зародами. Из-под снега еще торчат ровной шетиной скошенные травы. Метет легкая поземка. С подветренной стороны стоит стреноженный крестьянский конь с вытертой шерстью на шее. Стоит смирно, ощупывая толстыми губами подмороженную отаву. Зная жалость Наташи к животным, князь подстегнул коня. Тот поскакал, увлекая за собой шереметевского рысака, до этого сдерживающего свой буйный нрав степного скакуна.

— Ваня-я-я! — закричала Наташа, почувствовав под собой напряженную силу лошади.— Я боюсь! Боюсь! — графиня что есть силы натягивала уздечку. Князь моментально, на скаку, схватил коня под уздцы, возле которых уже пузырилась пена.

— Я боюсь, боюсь! — испуганно повторяла Наташа.

— Садись со мной в седло. Садись, Наташа.

Графиня находилась в каком-то неописуемом состоянии тревоги. Сильными руками князь ловко посадил ее в свое седло. Кони сравняли шаг.

— Чего ты так испугалась, Наташа? — не видя ее лица, только чувствуя ее нервное состояние, тихо спросил князь Иван, стараясь прикоснуться губами к ее щеке.

— Не знаю,— ответила она.— Лошадь крестьянская испугала. Такая измученная. Шерсти почти нет. А глаза ты видел?

— Какие глаза? Мы так быстро промчались.

— Я увидела у нее слезы.

— Наташенька, душа моя! — ласково говорил князь.— Разве мыслимо так из-за какого-то коня волноваться. Вон как крестьяне живут,— сказал и замолчал, чтобы она не продолжила разговор о крепостных мужиках.

И тут Иван поймал себя на том, что не находит ласковых, успокаивающих слов для Наташи.

Все, что тайно жило в душе, ждало своего часа: истинная любовь не нуждается в словах.

— Скоро мы пойдем с тобой на праздник, на церемонию обручения императора с сестрицей Екатериной,— нашелся князь, чтобы не молчать и хоть немного отвлечь Наташу.

Драгуны, всегда сопровождавшие князя, держались на почтительном расстоянии. Но тут один из них во весь мах настегивал коня.

Иван обернулся, приостановился.

— Его Величество просит вашего возвращения в столицу,— громко крикнул драгун и повторил: — Его Величество!

— Беда случилась? — спросила графиня.

— Отчего же беда? — спокойно ответил князь.— Мало ли какое желание у государя. Быть может, на охоту надумал съездить. Сама видела, как лисы разбегались по первому снегу. Император наш заядлый охотник. Да теперь и на волков можно!

Екатерина последнее время капризничала. Вчера, например, кричала отцу, чтоб он не напоминал ей ни о каких царских бриллиантах, не говорил ничего о цесаревне Елизавете. Она и без него, от самого Петра знает, что та ни с того ни с сего стала звать его в гости и каждый день приезжает сама. Это удивляло императора. И нечего отцу передавать ей всякие слухи. Даже умудрились оповестить, что вчера от императора пахло заморским вином. Но Екатерина не осуждала Петра, а жалела. А отца осудила. Он было по старой привычке пообещал хлестануть ее кнутом, на что Катерина захохотала ему в лицо и так затопала ногами, что батюшка, пятясь, вывалился за дверь ее палаты.

Все слухи об императоре были правдивыми. Еще раньше, играя с племянником, как кошка с мышкой, цесаревна то приближала его к себе, клялась в верной дружбе и считала самым кровным, родным человеком, то отталкивала от себя, не замечала. Потом был момент, когда он по настоянию Андрея Ивановича Остермана чуть было не попросил руки Елизаветы. Все в их жизни было запутано, с царскими выдумками и причудами. Теперь же, когда стало всем известно не по сплетням и слухам, что Петр остановил свой выбор на Екатерине Долгоруковой, цесаревна будто спохватилась, решила опять поиграть с отроком — задалась целью помешать их обручению и даже умудрилась рассказать Петру о Милиссимо. Но, к счастью, Петр уже прошел через многие уловки царского двора.

— Про то,— ответил Елизавете Петр,— я не просил Вас докладывать мне. Я не меньше княжны Екатерины амурничал. Даже имел честь объясняться в любви Вашей светлости.

Цесаревна не сумела скрыть гневного взгляда черных искристых глаз. На этом бы все должно было и кончиться, но высокие персоны не прощают оскорблений. А у гнева ум изощрен!

Тут главным оберегом стал Алексей Григорьевич. Недолго раздумывая, решил немедленно отправить императора на охоту, избавив себя от переживаний, а Петра от лишних наветов и пересудов, которые, как ему стало мниться, могли помешать обручению в самые последние дни. Недалеко ходить: еще не забыли о судьбе светлейшего князя Меншикова.

До него дошли слухи, что недовольное шляхетство съезжается на обручение императора. Надо бы радоваться, а не до этого, ходили разговоры, будто они готовят заговор против «верховников». Надо пока Петра вместе с Иваном с глаз долой отправить из Москвы. «Пущай им там, в лесах, ветер мозги-то прополощет, все лучше, чем слушать разные сплетни,— рассуждал светлейший князь, все больше страшась приближения дня обручения дочери.— А уж после часы считать стану, как вернуться».

— Легавых, легавых выводите! Они в эту пору самые быстрые и выносливые! — кричал он главному псарю.— Да считай их как след, не потеряй, не прозевай! В прошлом годе не досчитались одной суки, а я доподлинно видел ее у Толстобрюхова! Так разве сознается? Людито воры, воры кругом,— брюзжал он.

— Да собирайся ты, собирайся. Не заставляй себя ждать! — торопил он вернувшегося от Шереметевых князя Ивана, который там даже не успел испить чашку чая.

В распахнутые ворота влетела охотничья кибитка императора.

На бегу подмигнув князю Ивану, он по-свойски вошел в покои Екатерины. Ей уже не было удивительным то, что император может в любой миг сменить все на охотничью забаву.

— Готовы? — был первый вопрос Екатерины, взгляд которой искрился смехом.

— Готовы, Катя. Хотел спросить тебя: ты не в обиде? Только прикажи — сниму всю охотничью амуницию! — Но по всему его виду было нетрудно догадаться, что он уже весь в лесах, в этих необъятных московских просторах.

— С Богом,— услышал в ответ.— Разве есть такая сила, способная остановить вас? Ведь охота — пуще неволи, говорит папенька.— Она осеклась. Упоминание папеньки, который в это утро особенно лютовал, чуть испортило ее настроение.

Утром светлейший князь увидел в саду чьи-то незнакомые следы, уже припорошенные снегом, и заподозрил, будто кто-то тайно приходил к Екатерине наплетничать о Петре — лишь расстроить дело.

— Поглядите, какой...— она хотела было показать бриллиантовый перстень необыкновенной красы, подаренный дядей — сибирским губернатором, да вдруг спохватилась: — После, после,— засмеялась.— Будет еще время! А только просить хочу — долго не задерживайтесь.

— А сколько это «долго»? — вдруг спросил Петр, не зная счета времени, проводимого на охоте, а все подчиняя удаче.

— Сколько? — с улыбкой спросила Екатерина.

— Да. Сколько?

— Не боле трех дней,— услышал в ответ император и изумился: — Так мало?

— Хватит, друг мой. Три дня — большой срок для разлуки.

Алексей Григорьевич не поверил бы собственным ушам, если бы не оказался возле двери.

— Катя!

— Три дня,— шепнула Екатерина на ухо императору, подставляя щечку для поцелуя.

— А может, вовсе остаться дома?

У Алексея Григорьевича округлились глаза: скажи одно слово Екатерина — и Петр отменит охоту.

— Отчего же? Я слышу зов охотничьих рожков. Или нет?

— Господи, Катя, душа моя! Я птицей вернусь!

Екатерина взяла Петра под руку, проводила до порога, благословила по русскому обычаю.

«Катя, Катя, скоро, совсем скоро вернусь. Я увидел в твоих глазах желание встречи со мной. Я не знаю, не помню таких глаз, в которых была бы такая тоска»,— думал Петр и не узнавал себя, не подозревая, что только теперь он мужает, обретает не только физическую силу, но и глубину рассуждений, что, кстати, давно заметил в нем Остерман и смертельно этого боялся.

Алексей Григорьевич приказал одеть себя в один из новых кафтанов. Он торопился в Кремль. Надо было просмотреть самому: разосланы ли приглашения на императорское торжество дипломатическому корпусу, сановникам, генералитету и духовенству.

Он подъехал, когда охотничий поезд еше только собирался и площадь имела красочный вид: камзолы зеленого цвета, желтые мундиры псарей, красные кафтаны доезжачих. И стройные звуки охотничьих рожков. Увидев рядом с императором сына, обрадовался и чуть устыдился, что нынешним утром кричал: « Куда денется твоя Шереметева? До нее ли теперь?» А расхрабрившаяся княгиня Прасковья Юрьевна, чтобы утихомирить мужа, набрала полон рот воды и брызнула мужу в лицо. Он поперхнулся, да на том и успокоился.

Только теперь, когда все стихло, он потряс головой, будто просыпаясь ото сна, и важно пошел по широким ступенькам красного крыльца.

Глава двадцать третья

Радостное состояние овладело всем семейством Долгоруковых, когда пришел день обручения императора с Екатериной Долгоруковой.

Остались позади многочисленные хлопоты, слухи, предположения, что Екатерина, мол, немыслимо страдает о своем австрийце Милиссимо, а Петр жалуется тетке и бабушке, что Долгоруковы постоянно, почти ежечасно стерегут его, не давая никакой воли. Безусловно, во всем этом была доля правды. Но и не более.

Все ждали дня торжества. Накануне назначенного дня обручения императора, 13 января 1729 года, по улицам Москвы, а особенно возле Лефортова дворца, всю ночь разъезжали многочисленные всадники, назначенные охранять все входы и выходы, ведущие к кремлевским воротам.

Екатерину учили да переучивали, как идти да где стоять, снаряжали и прихорашивали, расчесывали косу гребешком, смоченным в медовой воде, осыпали голову хмелем, обмахивали соболиными шкурками, пока она, изнемогая от усталости, не повалилась. Будь рядом маменька или кто-нибудь из родственников, устроила бы им царская невеста скандал. Но тут были все чужие. Наконец княжна была одета подобающим образом. Платье ее, охватывающее тонкий стан, было из серебристой ткани. Длинный шлейф — изумительного рукотворного шитья золотом. Волосы убраны алмазами. На голове — маленькая корона. Все вокруг, даже придирчивые придворные и фрейлины, молча восторгались и переглядывались, любуясь царской невестой.

Екатерина устала от чрезмерного внимания. Ей хотелось скрыться от всех, уехать хоть на перекладных, в свои Горенки, зарыться в свои пуховые подушки и уснуть, забыв обо всех и всем. Ей же предстояло быть на виду у приглашенных, под их пристальными взглядами, и всем улыбаться, чтобы расположить к себе гостей да, считай, навсегда остаться такой в их памяти.

Император тоже был уже готов. На нем был кафтан светлой парчи, вышитый серебром. Когда Андрей Иванович Остерман вошел к нему, Петру расчесывали густые волнистые волосы, которые были черны, как вороново крыло. Когда же Петр повернулся, у вице-канцлера перехватило дыхание, и он машинально закрыл глаза: так схож был молодой отрок со своим дедом.

— Только усов не хватает,— еле выговорил Андрей Иванович, не сумев на этот раз скрыть своего изумления.

В Лефортовом дворце все было готово для приема невесты. Иван Долгоруков, обер-камергер государя, имеющий звание гвардии майора, с голубой лентой через плечо, при орденах Андрея Первозванного и Александра Невского, поехал за невестой не как брат, а как близкий человек государя.

Увидев Екатерину в царственном убранстве, почтительно поклонился и торжественно-официальным тоном сообщил, что государь изволит видеть нареченную невесту.

Все это время по коридору взад-вперед расхаживал Алексей Григорьевич, боясь, как бы Катерина в последнюю минуту не выказала своего характера.

Величественный поезд от крыльца Головинского дворца, через Салтыков мост на Яузе направлялся к Лефортову

дворцу. На улице ярко светило солнце. Переливаясь и сверкая, в его лучах купались золоченые маковки церквей. Сверкали, искрились в солнечных лучах и каменья на сбруях и дугах коней, золоченых узорах карет. Казалось, нет в этот день на Руси бедных и убогих, голодных и ниших, уродливых и несчастных людей. Все светло, празднично, весело!

В первой карете в упряжке шестерней мчался Иван Алексеевич. Лихой форейтор с силой удерживал белоснежных коней. Следом мчались кареты с государевой свитой. С царскими пажами, окруженная верховыми камер-юнкерами, гайдуками, гренадерами, двигалась золоченая карета невесты, а за нею кареты приближенных и родственников. Великолепие слепило глаза.

Подъехав первым к красному крыльцу, Иван очутился в окружении разнаряженной толпы.

Иван стоял на нижней ступеньке в ожидании невесты.

Из зала доносились звуки оркестра. Царский духовник, в сопровождении певчих, стоял с ним рядом с большим позолоченным крестом.

Выйдя из кареты, Екатерина ступила на разостланную перед ней красного сукна дорожку и была подхвачена под руку князем Иваном. Он торжественно ввел ее во дворец. Здесь невесту встречал император. Образами, принадлежащими царской фамилии, благословили молодых. Алексей Григорьевич не мог удержать слез радости. Держась за руку мужа, Прасковья Юрьевна уверенно шла за пажами, несшими длинный шлейф невесты.

В большом зале все было готово для приема жениха и невесты. На красивом персидском ковре посреди зала стоял огромный стол, покрытый парчой. На золотой тарелочке — обручальные кольца. Молодые остановились под нарядным балдахином с золотым шитьем и кистями. По обеим сторонам жениха и невесты — самые близкие родные, среди которых царица Евдокия Федоровна, цесаревна Елизавета Петровна, отец и мать невесты и вся свита, сопровождавшая жениха и невесту.

В полном молчании молодые подошли к аналою, на котором лежало Евангелие и крест. Петр объявил, что берет княжну Екатерину в супруги, с улыбкой посмотрел на смутившуюся невесту, взял ее правую руку и надел на тоненький пальчик Екатерины обручальное кольцо. То же сделала и невеста. И оба, наклонившись над аналоем, поцеловали Евангелие и крест. Архиепископ

Новгородский — Феофан Прокопович перекрестил молодых, прочитал молитву: «Благословит вас Господь, и умножит и прославит род ваш, во славу вашу и на счастие вам подвластных, во имя Отца, и Сына, и Святого духа!»

Алексей Григорьевич, не спускавший глаз с молодых, вздохнул с облегчением, и губы его при этом задрожали. Это заметил только Андрей Иванович Остерман, которому ничего не оставалось, как славить со всеми жениха и невесту. В этот момент началась пушечная стрельба, зазвонили колокола всех московских храмов.

На площади ликовал народ. Крики и шум стояли за кремлевскими стенами: кричали здравицу жениху и невесте, бежали к вывезенным из царских погребов бочкам наливок, пива, браги, квасу, меду. Не было числа людям, жаждущим повеселиться.

А во дворце загремели трубы, литавры, запел хор певчих. Петр, стоя в окружении свиты, крепко держал Екатерину за руку и находился в каком-то непривычном для себя состоянии. Улыбка блуждала на его красивом лице. Что-то было новое во взгляде императора. Складывалось впечатление, что присутствующие на балу предстали перед ним в ином свете. «Повзрослел!» — подумал Остерман, уловив прищуренный, сосредоточенный взгляд Петра, напоминавший ему деда,— и по спине его пробежал холодок.

Началось торжественное поздравление обрученных, но прежде Петр назначил для своей невесты придворных кавалеров и дам и изъявил желание, чтобы они сразу же приступали к исполнению своих обязанностей и чтобы с этого часу его невесту Екатерину Алексеевну Долгорукову называли «Ваше Высочество».

— Доченька моя ненаглядная,— не сдержал слез радости Алексей Григорьевич, целуя руку Екатерины. Присутствующие сделали вид, что не заметили этой слабости светлейшего князя. Следом поздравляли царица, цесаревна, Прасковья Юрьевна, сестры и братья. И пошла вереница верноподданных, высокопоставленных государственных чиновников, призванных верой и правдой служить Божьему помазаннику — Его Императорскому Величеству. Высокочтимый фельдмаршал Василий Владимирович Долгоруков, почтительно поклонясь племяннице, поцеловал ее руку и гордо сказал:

— Отныне ты моя государыня, а я — твой верный слуга! Помни, чья ты невеста и чти, оберегай его имя.

Окружающие не сводили глаз с молодых. Поскольку ходили слухи, что Екатерина Долгорукова выходит замуж только по строгому настоянию родни, а Петр дал обещание то ли во хмелю, то ли после того, как в одно раннее утро он оказался в спальне Екатерины, то сейчас любопытствующие с удивлением отмечали, что все досужие разговоры не соответствуют действительности.

Торжества продолжил бал. Открывали его жених с невестой. Взоры всех были устремлены на массивные закрытые двери. Из них под мелодичные звуки оркестра должны были выйти виновники торжества. Екатерина волновалась, хотя обучалась танцам в Варшаве, когда подолгу жила у деда, российского посла. Петр тоже любил танцевать и перед выходом крепко пожал Кате руку, шепнул: «Ты великолепна, радость моя!»

Раздались звуки музыки. Как серебристые голуби выпорхнули они — молодые, веселые, красивые! И невольный восторженный вздох вырвался у многих. Кто-то захлопал в ладоши. И тут же счастливейшая пара Ивана Долгорукова с графиней Натальей Борисовной Шереметевой. И эта пара была великолепна.

«Боже милостивый, к добру ли все это?» — испуганно оглянувшись вокруг, вдруг подумала княгиня Прасковья Юрьевна. Она никогда не видела своих детей такими счастливыми и красивыми. И было в этом что-то лихое, непомерно шальное. Присутствующим передалась их веселость.

— Однако, не откладывая, и свадьбу скоро справить можно! — обтирая вспотевший лоб, сказал Алексей Григорьевич фельдмаршалу Василию Владимировичу. Тот удивленно посмотрел на брата и тихо изрек:

— Полоумный!

Светлейший князь, не ожидавший такого ответа, хотел было возмутиться. Но фельдмаршал тут же его остановил:

— Гляди, Алексей, не подавись: кто же во время поста свадьбу справляет? — И, увидев среди приглашенных племянника Федора, пошел ему навстречу. В эти минуты князь Федор думал о своей Марии Меншиковой, томящейся в суровом Березове, где вьюжат метели, стонет тайга и, как всегда, к непогоде скулят собаки. Давно ли здесь был их белый танец?

— Как прелестна графиня Шереметева,— опередил Федор фельдмаршала, который непременно спросил бы его, как дела с апелляцией по поводу семейства Меншиковых. Федору об этом в такой счастливый день говорить не хотелось.— А давно ли была такая крохотная. Все за руку Петра Борисовича держалась.

— Время идет! — заключил фельдмаршал.

— Нет, все-таки погляди на Ивана! Этакий гуляка, а, кажется мне, в Шереметеву влюблен!

— Да и Катерина наша! Разве не любит Петра? Чего только не наговорили на бедную.

— А все-таки я снова про графиню,— сказал Федор.— Екатерина теперь «Ее Высочество»! Про нее уже какой разговор? А вот Наталья Борисовна! Как же сумел разглядеть ее наш Иван? Чем могла обворожить его эта дурнушка? Пол-Москвы ищут отгадку. А по мне, прелестна...

— А ларчик-то просто открывается,— почесав в затылке, с улыбкой сказал дядюшка.— Этакому красавцу свое гнездо вить надо. Сам говоришь: прелестная девушка! А я добавлю: роду знатного, богатства немалого, да и собой хороша. Экая лебедушка! — кивнул он в сторону танцующих. И они оба стали следить за счастливой парой.

Федор с нескрываемым удивлением посмотрел на фельдмаршала, вовсе не предполагая, что этот пожилой человек строгих правил, всю жизнь проживший бобылем, находивший успокоение только в ратных делах, может рассуждать о семейном счастье.

— Мне все вы, племянники, как дети родные: что ты, что Иван, что Михаил, что Борис! Всех жаль, всем добра желаю. И Ивана, как я погляжу, счастье не оставило.

Среди безудержного веселья вдруг послышался громкий смех, похожий на гусиное гоготание. Все с удивлением увидели, что это смеется Андрей Иванович Остерман. Его жена, Марфа Ивановна, была не меньше других удивлена. Она обтирала носовым платком взмокший лоб вице-канцлера, растерянно глядела на всех.

— Не ведаю, какая напасть. Может, кто изурочил? Он ведь ныне всем поперек горла. И дома не стало ладно: все в тревогах, все в раздумьях. Иной раз даже по ночам плачет,— сквозь слезы рассказывала бесхитростная вице-канцлерша о душевном состоянии своего



супруга.— А теперь этот смех! Ни с того ни с сего! Поначалу легонько похихикивал. Мне бы надо было отвезти его домой.— Подхватив под руку мужа, она пыталась увлечь его в одну из дверей зала.

В эти минуты Остермана было трудно узнать. Лицо его преобразилось: что-то хищное было во всем этом облике — заострившийся длинный нос, одутловатые, сползающие к подбородку, щеки и невообразимый оскал зубов, обычно скрытых за подобострастной улыбкой.

— Уведите его! — как никогда властно, приказала появившаяся рядом царица Евдокия Федоровна.— Или не видно, как злобой исходит? Разве это смех? Уберите его отсюда! — приказала она смутившимся гренадерам.— И ты марш отсюда,— махнула она на Марфу Ивановну.

А Андрей Иванович продолжал смотреть на всех с презрением, не замечая, что парик сполз с потной головы.

— Да поскорее. Не портите праздника! — приказала она сбежавшейся прислуге.

По залу прошел шумок. Почувствовав что-то неладное, Алексей Григорьевич поспешил к столпившимся.

— Андрей Иванович домой уезжают.— Царица взяла под руку светлейшего князя. Ей совсем не хотелось в этот счастливый для него час портить ему настроение.

Глава
двадцать четвертая

Столичный люд гулял долго, шумно, широко. Вместе со свадебными песнями орали разухабистые частушки. После с улиц стали доноситься крики, ругань, брань и плач. Совсем под утро городовая стража развозила драчунов по каталажкам — окровавленных, с разбитыми носами и ссадинами, за непокорность добавляя подзатыльники.

Да и во дворце, оглушенные беспрерывной игрой оркестра, измотанные танцами, опившиеся заморскими винами и насытившиеся яствами, гости имели изнуренный вид: куда-то подевалась бравая выправка мужчин, жалко выглядели дамы без румян на шеках, с помятыми прическами. И уж совсем жалко было смотреть на пожилых княгинь: большинство из них, обувшись в специально сшитые туфельки на высоченных каблуках, шли на полусогнутых ногах, вихляя модными платьями на обручах. Графиня Нарышкина не выдержала боли и сняла туфельки и демонстративно несла их в руках. Многие, спускаясь по лестнице, стонали, а граф Мартынов в бессилии плюхнулся на пуф в темном углу.

Кучера, лакеи, денщики, слуги, завидев господ, подхватывали их под руки, наскоро набрасывали им на плечи шубы и усаживали в кареты.

Царскую невесту усадили в золоченую карету с приставленными к ней двумя фрейлинами. Только кучер натянул вожжи, как за руку его цепко схватил светлейший князь Алексей Григорьевич.

— Ты сдурел, экий негодник! — закричал он.— Собрался ехать без государя? Вон отсюда! — и распахнул дверцы кареты.— Расселись тут, мало им карет! Брысь! — приказал он растерявшимся фрейлинам.— Аполлинарий! — крикнул через плечо.— Так и быть, посади этих фрейлин в мою карету. А после, как свезешь в Горенки государя с Екатериной,— мигом сюда!

Придерживая руками длинные подолы праздничных платьев, фрейлины безмолвно побежали за Аполлинарием.

— Как это ты, Катерина, решила отправиться домой без государя? — еле скрывая гнев, спросил князь в приоткрытую дверцу кареты.

— Так его разве дождешь? Его все окружили — прохода не дают, а я уже спать хочу.

— Вот и надо было своей властью взять его под руку — все и расступились бы, а ты домой поехала!

— Да куда он денется? С Иваном явятся.

— Нет, нет, доченька,— прикрывал ноги Екатерины собольей полостью светлейший князь.— Ты ведь знаешь, что он любит бывать в наших Горенках. А в этакий день да оставить своего суженого?

— Ладно, подожду,— ответила Екатерина, натягивая до самых глаз соболье покрывало. «Опять от него будет

пахнуть вином!» — подумала она о Петре, но, согреваемая теплым мехом, скоро погрузилась в сладкий сон.

Алексей Григорьевич, вернувшись во дворец, заметил издали императора. И надо ли говорить, какую радость испытал светлейший князь, когда услышал громкое:

— Катюша, Катюша где? — Он торопился навстречу князю.

— Так и украдут невесту,— улыбнулся светлейший князь, приговаривая: — Никуда твоя Катюша не денется.

— А все-таки где она? Как могла оставить одного?

— Да уж в карете сидит, тебя дожидается. Сказала: мол, поехала бы, да не знаю, куда ехать: во дворец или в Горенки.

— В Горенки! Ясное дело, в Горенки! Там рай! — улыбался захмелевший император, обнимая светлейшего князя.— А Катюша-то не рассердилась? Не обиделась? Все за руку держали: то Андрей Иванович, то тетка Лизавета ныне весь вечер допытывает, люблю ли я Катюшу. Нашла время.

— Устала Катюша. Да кто нынче на вашем торжестве не устал? Столько танцев! Столько веселья!

— Вот я и проглядел Катеньку,— засмеялся Петр.— А все из-за Ивана, успокаивал его: как только уехала Наталья Борисовна, он впал в тоску, разрыдался.

— То больше вино плачет, а не по Наталье Борисовне он грустит. Срам. Разнюнился прилюдно.

— Как можно, Алексей Григорьевич? Не смейте ругать Ивана Алексеевича! — В глазах Петра промелькнуло негодование.— Знаю я вашу привычку постоянно ругать Ивана Алексеевича.

— Что ты, Ваше Величество! — струсил светлейший князь.— Завтра поутру и Наталья Борисовна при нас будет. На свежую голову всем новые мысли придут. Кое-какие нынешние мысли глупыми покажутся, кое-какие грустными.

— Вы это про что говорите загадкой?

— Да про то, что сейчас хмель в голове у всех шибче, чем в жбане, бродит да пенится.

— Мудр ты, Алексей Григорьевич! Мне Андрей Иванович с малых лет внушал: добр да хитер русский мужик. Вроде простачком прикинется, а пальца в рот не клади — откусит!

— Да про нас, русских, чего только не говорят! Кому какими кажемся. Но верно: голой рукой не возьмешь.

А уж ежели такие, как Андрей Иванович, имеет в нас сомнение, то, пожалуй, и верно. Он-то тоже — мягко стелет, да жестко спать. Только перед дедом твоим колени сгибал да на коленях и ползал.

Верхняя губа молодого императора несколько раз вздрогнула, крылышки носа раздулись, и рука, лежавшая на плече Алексея Григорьевича, стала сжиматься, сгребая в кулак бархатную ткань.

— Катюша-то нас заждалась. На дворе метель посвистывает,— шепнул светлейший в надежде оставить пока разговор, затеянный сейчас напрасно.

— Верно,— со вздохом сказал император.— Поторопимся к Катюше.

Нетрудно было догадаться, что большинство присутствующих сразу же ринулись одеваться. На лестнице образовалась толчея, но при виде Петра и его свиты все расступились.

— А какие вы мне отвели покои в своем имении, Алексей Григорьевич! Красиво, тепло и уютно. Я даже припомнить не могу, в какой перине мне так сладко спалось.

Слов нет, Петр говорил правду. Горница для императора была обставлена богато: роскошная резная кровать, тяжелые, зеленого сукна шторы. Про мягкие подушки и перину говорить не приходится. Но больше всего хвалил себя светлейший князь, что догадался развесить на стене оружие: пищали, пистолеты, ружья, алебарды, пики — словом, все, что радовало Петра, ставшего заядлым охотником.

Почему-то именно сейчас, одеваясь, Петр спросил светлейшего князя, слышал ли Алексей Григорьевич о его удачной охоте.

— А как же, Ваше Величество,— соврал Алексей Григорьевич, лишь бы угодить Петру.

Лакею, одевавшему императора, незаметно пригрозил пальцем, чтобы он не пялил по сторонам глаза, а делал свое дело быстро.

Серебристой белизной сверкали свежие снежинки в свете фонарей. Исполосованный следами карет, возков, кибиток снежный покров напоминал рисунок плетеного рогожного куля.

Возле самой кареты Петр вдруг поскользнулся, легкая меховая шапка слетела с головы. Кто-то из многочисленной прислуги успел подхватить его под руку. Из уст

Петра вырвалось бранное слово. «Иваново ученье. Это он так богохульничает. Слыхал я, да вовремя по губам не нашлепал, а теперь попробуй!» — подумал светлейший, помогая императору сесть в карету.

— Катя, Катюша,— бормотал Петр.— Прости меня, радость моя! — Неумело, то отбрасывая меховое одеяло, то натягивая его, никак не мог без помоши лакея усесться поудобнее.

— Вот, вот твое место,— помогла ему Екатерина, похлопав ладонью возле себя по мягкому сиденью.

Два фонаря из углов кареты осветили царственно одетую невесту, ее красивое белое лицо с тонкими бровями на высоком лбу. Тихая, спокойная, умиротворенная, она была наполнена добротой и нежностью.

Петр тут же уснул, уткнувшись в плечо невесты, и рука его, успевшая обнять Екатерину, так и осталась лежать на пелерине горностаевой мантии.

Запряженная цугом в четверик ко дворцу подъехала карета. Из нее не так прытко, но без помощи слуги вышел господин и по-хозяйски стал подниматься по ступенькам царского дворца. По такой походке трудно было узнать страдающего подагрой Андрея Ивановича Остермана. Алексей Григорьевич догадался, что вице-канцлер вернулся во дворец, чтобы иметь полное представление, что творится на балу, он даже сменил коней в своей упряжке, чтобы быть не сразу узнанным. В этом была вся суть хитроумного вице-канцлера.

Домой он приехал, захлебываясь злобой. Домашние, знающие «хвори» хозяина, поспешили его уложить и, даже не спрашивая, когда его разбудить, услышали: «Ше-ты-ре!»

Ровно в четыре утра слуги разбудили отдохнувшего Андрея Ивановича. Он встал с постели молодцом, был тут же умыт, одет и усажен в другую карету. «Тут-то у вас, голубчиков, я все и выведаю. К этому часу заплетающиеся языки все выбалтывают, все самое затаенное». Остерман не подозревал, что за каждым его шагом наблюдает светлейший князь.

Появление Андрея Ивановича как рукой сняло всю усталость князя. Откуда взялась прыть в ногах. Так ощущал он себя только на охоте, когда входил в азарт, боясь упустить зверя.

При свете множества свечей фигура Остермана сразу изменилась: в ней трудно было узнать того ловко

и уверенно шагавшего вельможу, соскочившего, правда без особой прыти, с подножки кареты. «Проспал, голубок»,— подумал Алексей Григорьевич, наблюдая за каждым движением вице-канцлера, безусловно отыскивающего среди немногих оставшихся во дворце императора.

— Алексей Григорьевич,— услышал он голос Прасковьи Юрьевны, сидевшей на мягком пуфе.— Скоро ли домой?

— Что ты, бал только начинается,— ответил князь уставшей супруге.

— Ежели думаешь состязаться с Андреем Ивановичем, так напрасно. Он выспался.

— А при чем тут Андрей Иванович? — схитрил светлейший князь.

— Все уехали, кроме молодых,— простонала княгиня, бесцеремонно потирая ноющие колени.

— Поезжай и ты. Мне сказали, что цесаревна Елизавета Петровна грозилась танцевать до обеда. Император, поди, уже к Горенкам подъезжает, а мне надо здесь быть до самого конца. Музыканты от князя Головкина прибыли, заиграют с новой силой.

Остерман стоял на лестнице не шелохнувшись: не поверил собственным ушам, что Его Величество уже уехал в Горенки.

— Ванюша только там сидит, кручинится, что Шереметевы рано уехали. Уезжали, тебя спрашивали.

— Я государя с Екатериной провожал,— не для Прасковьи Юрьевны, а для Андрея Ивановича говорил светлейший князь.

— Сама Пелагея Степановна велела тебе в ноги кланяться. А уж Ванюша-то как глядел на Наталью Борисовну! Как глядел!.. А как проводил, стал лицом темнее ночи.

— Не все коту масленица! Надо кому-то и ему чур сказать,— ответил жене Алексей Григорьевич.

— А уж как ему хотелось поехать к Шереметевым! Да и Наталья крепко держала его за руку.

— Ладно, будет. Про то дома расскажешь,— вдруг строго сказал он жене, потеряв из виду Остермана.

В танцевальном зале играли новый танец контрданс, который с лихостью оттанцовывала Елизавета Петровна с испанским герцогом де Лириа. Зараженные их азартом, еще вылетели на середину пять пар.

«Явился к шапочному разбору,— вице-канцлер забрюзжал что-то себе под нос. У него испортилось настроение. Но тут он вдруг приостановился, сосредоточенно из-под нахмуренных бровей стал разглядывать попавшегося ему на глаза бравого офицера. Молодой человек не танцевал. Он стоял, заложив руки за спину.— Знакомо, знакомо лицо,— подумал вице-канцлер. Он достал складной зеленый зонтик, служивший козырьком от яркого света множества свечей, вгляделся пристальнее: — Долгоруков. Да-да, это тот герой, который привез радостную весть от генерала Матюшкина. Он открывал тогда бал с Марией Меншиковой по велению самой императрицы матушки Екатерины. Где же он был все это время? Он вроде был влюблен в дочь Александра Даниловича».— Глубоко вздохнув, он зашагал вдоль зеркальных стен, стараясь отвлечься, и вообще не хотел думать ни о ком из Долгоруковых. Но, пройдя немного, Андрей Иванович вдруг остановился: не мог он так просто уйти от человека, который, как показалось ему, на какое-то мгновение вызвал беспокойство.

Подошедший к Федору молодой Александр Нарышкин что-то шепнул ему на ухо, и князь Федор, улыбнувшись, последовал за ним в зал, где столы ломились от яств.

Здесь уже был князь Иван. Он вошел в этот зал после отъезда Натальи Борисовны и императора, которого, как он полагал, уволок от этого стола папенька. «На что тебе вина-наливки,— усмехнулся про себя князь,— коли пить не с кем». Хотя о князе Иване и шла молва как о выпивохе, но мало кто знал, что в одиночестве он никогда не подносил рюмки к губам.

В этот момент и укараулила его Настасья Гавриловна Трубецкая, до смерти влюбленная в князя Ивана. Увлекшись ею, он претерпел немало неприятностей, готов был сделать вызов ее супругу — милейшему и деликатнейшему князю. Но легкость и изменчивость Настасьи Гавриловны остановили его. Нет, нельзя было сказать, что встречи с ней не оставили следа в его памяти. Он и теперь может вспомнить запах ее духов, из многих голосов узнать ее — звенящий, как колокольчик. И вдруг такой поворот! Наталья Борисовна, Наташа Шереметева. Узнав о намерении князя Ивана жениться на ней, Настасья Гавриловна смеялась до слез, вспомнив неприметную маленькую графиню с большими

испуганными глазами и заостренными плечиками. Княгиня Трубецкая не могла представить графиню в объятиях сильного, стройного, с изысканными манерами князя Ивана.

— Пустое дело,— ответила она зло, узнав о том, что Алексей Григорьевич и Прасковья Юрьевна с почетными и уважаемыми свахами ездили на Воздвиженку к Шереметевым.— Поди, найдет себе под стать! Да у него еше и годы не пришли жениться! Или боятся, что он, как и его двое дядьев, вечным холостяком останется. Те только службе посвятили себя. Экий подвиг!

— Не про дядьев разговор завели, а про князя Ивана,— остановила тогда Настасью Гавриловну княгиня Ягужинская.

Увидев на сегодняшнем балу Наталью Борисовну танцующей с князем Иваном, княгиня Трубецкая обомлела. Так царственна, так величественна, так нежна и скромна была до сих пор никем не замеченная графиня, что у Настасьи Гавриловны не только захватило дух, но на глаза навернулись слезы обиды. Она поняла, что никогда не сможет больше заманить в свои сети царского оберкамергера! Весь вечер она украдкой наблюдала за этой парой и, зная Ивана, горько усмехалась: «Такую Ванюша будет на руках носить!»

В толкотне и шумных разговорах, когда балом стал управлять уже его величество Бахус, Настасья Гавриловна не выдержала, подошла к Ивану в то время, когда он глядел на искрившееся в бокале вино и улыбался.

— Иванушка! — услышал он сзади себя и сразу узнал голос княгини Трубецкой.— Неужто и в самом деле разлюбил меня?

Князь Иван не обернулся. В другое время он бы ни на что не посмотрел: ни на злые языки, ни на судыпересуды, намеки и предположения об их симпатии друг к другу, быстро увлек бы ее за собой и закружил в вихре танца. Но этого не произошло. Он сидел за столом не шевелясь, смотрел в бокал, и в душе его росло негодование.

— Да повернись, взгляни на меня. Все равно весь свет знает о нашей любви.

— Не к чему,— ответил он сухо.— Память сохраню, а любви у нас с тобой не было. Баловство было.

— Неужто на этой... сиротинке? — дрожащим голосом проговорила княгиня Трубецкая.— Может, из жалости?

— Оставь меня, Настя,— Иван круто повернулся: — Из-за таких, как ты, Настасья, я боюсь любить Наташу. Боюсь!

Было в словах Ивана что-то непонятное для Настасьи Гавриловны. На какое-то мгновение она была ошарашена этим «боюсь любить», но гнев и зависть взяли верх над гордыней.

— Любить он боится! Эту, которая засохла над книжками и теперь ломает перед тобой комедию! — Трубецкая знала, что говорит вздор.

— Уходи, Настасья. Хватит наводить тень на плетень. Видишь, Андрей Иванович сюда подходит.

На этот раз Андрей Иванович не хотел быть свидетелем их разговора. Он был ошеломлен, не увидев рядом с князем Иваном императора. «Увезли? Уехал? — терзал себя вопросами вице-канцлер, боясь сказать одно: — Сам проспал!»

Отсутствие Петра рядом с князем Иваном казалось вице-канцлеру просто немыслимым. На этот раз притвориться равнодушным Андрею Ивановичу не удалось. Правда, он попытался было заговорить с датским послом фон Вестфаленом, но тот был пьян и глух. Остерман чуть было не опрокинул стул, заметив в дверях Федора Долгорукова, Михаила Бутурлина, которые направлялись к Ивану.

— Почему я не вижу рядом с вами нашего государя? — как можно спокойнее спросил вице-канцлер.

— Папенька лучше знает,— был ответ князя Ивана.— Мне кажется, они с Катей уехали домой. Слово «домой» так пронзило грудь Остермана, что он не смог вступить с князем в разговор.

Подошли дружки, давая понять Андрею Ивановичу, что у них есть дела.

— Господи, Настасья Гавриловна! — целуя руку княгине, с восторгом произнес князь Федор.— Вы все так же милы!

— Рада видеть тебя живым и здоровым! Так рада, Федя, что и слов нет. Я думаю, мы встретимся, голубчик,— заторопилась Настасья Гавриловна и добавила: — Тороплюсь. Меня ждут!

— Что это с ней? — спросил Федор, но не получил ответа. Невесть откуда перед князем Федором оказалась карлица с большим ярким бантом в рыжих волосах

и подала ему хрустальную вазочку с мороженым, украшенным красной розой.

— Я знаю вас, я знаю вас,— зашептала карлица, спрятавшись под стул.— Я из дома Меншиковых. Вспомните, как я из торта выпрыгнула да танцевала. Я Марии Александровне все пальчики чистила да ручки целовала.

— Горошина?

— Нет, Горошиной собачку княжны звали, а теперь меня здесь кто Кнопкой зовет, кто Жулькой. Я всем отзываюсь. Простите, любезный князь, я вас сразу узнала, да все подойти не могла. Коли знаете, где мои прежние хозяева,— поклон им шлите. Скажите — от карлицы.— Тут она с необычайным проворством поползла вдоль стола и затерялась между множества ног.

Князь Федор сел, откинувшись на спинку стула. Упоминание о Марии навеяло неописуемую тоску. Хотелось закрыть глаза и оказаться в Сибири.

В зале по-прежнему было шумно и весело. По-видимому, Елизавета Петровна распорядилась распахнуть на окнах тяжелые шторы. Поредевшая площадь еще шумела. От догоравших смоляных бочек, зажженных вместо костров, темными змеями ползла по почерневшему снегу густая, черная копоть, огненные языки огня вырывались изнутри уже бесформенных бочек, рассыпая по сторонам сверкающие искры. Люди бежали врассыпную, и только озорная молодежь колола и била палками тугой сгусток смолы, кричала и радовалась очередному всполоху.

В тусклом рассвете угадывались очертания крыш да купола церквей. Федор встал рядом с Иваном и стал пристально смотреть в окно. Он думал о том, что там, за далеким горизонтом, есть холодная Сибирь, где под гнилой крышей острога ждет его любящее существо с тоскующим сердцем — Мария.

— Еще не подписано твое прошение,— не глядя на Федора, сказал Иван.

— А он обещал.

— Подпишет, если обешал. В случае чего и я сумею: не один раз это делал с разрешения Его Величества. Например, «Указ об отмене поворотного сбора и замене его налогом на питейную продажу». Когда принесли тот указ, он послушал его, подумал, попросил главного писаря выйти из кабинета, а меня спросил: «Об чем эта бумага? Мне Андрей Иванович растолковывал, да

мысли были заняты чем-то другим». А немного погодя подал перо и велел на том указе поставить его подпись. Я вначале испугался, а он настоял. Так и стоит на том царском указе мною обозначенная царская подпись.

— Да. У кого власть — тот и живет всласть. Никто так просто ее не отдает. Каждому охота, умен ли, глуп ли, на вершине этой власти быть.

— Помолчи, Федор! — оглянулся по сторонам князь Иван.— Не про то мы с тобой здесь заговорили.

— А про что говорить, когда кругом одно лицемерие. Лучше или в дальнее плавание уйти, или в далекую Сибирь отправиться, или на Кавказ поехать, там все время пули свистят! А по мне, так лучше Сибири и края нет.

— На что тогда тебе царское прошение? Живи там.

— Не каждый там сдюжит, да и там власти, даже самые малые, покоя не дают.

— О таком грустном заговорили в этакий большой день для рода Долгоруковых! — сказал Иван.— Вроде и повода к таким разговорам нет.

— Лучше расскажи про графиню Наталью,— вдруг полюбопытствовал Федор.— Она вроде только появилась в обществе, а ты ее цап-царап! Губа у тебя не дура.

— Господи, Федор, я даже боюсь про нее говорить. Сам-то я сколько амурничал, а она против меня — ангел. Я попытался ей сказать, что не достоин ее любви, так она слова не сказала, а заплакала.

— Тогда женись скорее! — с жаром посоветовал Федор. Ему в этот момент подумалось, что в большом долгоруковском роду живет великий дар — любовь. Если она является, то на всю жизнь!

В глазах Ивана словно вспыхнул огонь, и он крепко пожал Федору руку, вымолвил тихо: «Спасибо, брат!» И по этому жесту Федору стало ясно, что в среде своих близких он не находит поддержки. Все считают его властолюбивым, беззаботным, всемогущим (друг императора), а на самом-то деле в своих мыслях-раздумьях, в переживаниях он одинок.

— Спасибо, Федор! — повторил Иван и пристально, будто впервые взглянул на него.— Недаром отец часто ставил тебя в пример мне. Особенно в последнее время.

— Что значит — недаром? — не понял князь Федор.

— Осмотрится по сторонам и крикнет: «Как Федор! Тоже можешь на край света пойти за своей любовью.

Жил же без этой Шереметовой. Так нет — поезжайте сватать. Кабы император не настоял, не поехал бы со сватами. Даже грозился: «Даже связанным не поеду», а как почуял власть — вперед всех погнал лошадей на Воздвиженку. Господи, не нам судить наших отцов — Бог знает, что сами натворим! — И тут же сразу, без всякого перехода, с удивлением сказал: — Как много у тебя наград, Федор! Вроде и при дворе не жил. Я никогда не знал твоих заслуг. Надо же. И, как я понимаю, самолично врученный портрет Петра Алексеевича и матушки Екатерины. И Андрея Первозванного! И...

— Ладно,— остановил князя Ивана Федор.— Дядюшка настоял надеть их. Говорил, что на балу белой вороной буду, что все забыли меня за эти годы.

— И хорошо сделал. Пусть рот-то разевают. И даже орден святого Александра Невского! Когда успел? Велики ли годы?

— При императоре Петре Алексеевиче. Ты-то у деда был, а я в походы ходил! Но не стоит об этом. Не в укор тебе это говорю, а для того, чтоб ты, находясь при дворе, напоминал императору чтить людей за ратные дела да за верное служение Отечеству, а не тех, кто возле его стола вертится.

Князь Иван вспыхнул:

— Ты меня имеешь в виду?

— Про тебя какой разговор, если ты его правая рука, а вот чтоб дармоеды не получали наград, кои в боях и походах должны добываться.

— И вправду смел ты, князь Федор! Если по чести, то ни от кого я таких слов не слышал! — Иван вздохнул, снова посмотрел в окно.

— Кажется, Андрей Иванович уезжает домой. Устал, пробыв до такого часу.

Федор тут разразился до неприличия громким смехом.

— Да он уже десять снов повидал, снова во дворец вернулся, чтобы со светлой головой у болтливых вельмож побольше секретов выведать.

Иван посмотрел на брата удивленно.

— Да-да! Только с час назад, как вновь во дворце появился. Что бы он несколько раз спрашивал тебя: где император? Уж не упустил бы случая проводить. Ты, Иван, держись подальше от этого подлеца. Гляди в оба. Благодарности и благородства этот человек лишен начисто!

Глава двадцать пятая



В мягких долгоруковских перинах император спал сладко и долго. В доме все ходили в шерстяных носках, говорили шепотом. На заре, до восхода солнца, открыли дальние ворота, чтобы не стучать, не греметь санями, отправили два десятка подвод на дальние покосы по сено. Дворники, разметая метлами выпавший за ночь снег, еле касались земли, а со ступенек красного крыльца снег сметали не голиками, как обычно, а рогожными вехтями, чтобы не потревожить сон императора.

Будить царскую невесту Алексей Григорьевич послал дочь Елену, которая имела привычку залезать к сестре под одеяло и подолгу с ней перешептываться.

Княжна Елена, забравшись под одеяло к Екатерине, перво-наперво сказала:

— Только что кто-то вам в подарок целый табун лошадей пригнал.

— Лошадей? А на что они. Разве у нас мало лошадей? — отходя ото сна и сладко зевая, спросила Екатерина и, простонав, вытянула ноги: — Болят-то как. И все из-за этих каблуков! Высоченные такие.

Сестра не смогла удержаться от смеха, вспомнив, как перешагивала через порог матушка Прасковья Юрьевна.

— Ты бы поглядела, как маменька из кареты вприсядку шла, да еще ногу подвернула, заплакала. А корсет ей так стянул грудь, что она и вздохнуть не могла. Да не только наша маменька мучилась в этом корсете. Все в них еле дышат. Завели тоже чужую моду! У них там все бабы худющие. Погляди-ка на привезенных нянек, учителей — у всех кожа да кости, им можно перетягиваться — ребра одни торчат, а у наших графинь да княгинь телеса какие мягкие.

— Так государь наш Петр Алексеевич повелел.

В 1700 году в Москве под барабанный бой был объявлен царский указ: отменить старые дворянские одежды.

Удобные, просторные одежды княгинь и боярынь требовалось сменить «на образцовые немецкие женские портища», чтобы «в платье были равные, а не розные», иначе... «брать пошлину деньгами, а платья резать и драть».

— Так вы теперь с Петрушей можете новый указ написать, чтоб не рядились русские бабы в корсеты-фижмы,— сказала княжна Елена. Екатерина закрыла ей рот ладонью.

— Экие все прыткие, и даже ты только открыла глаза, а уж об указах думаешь! И чтоб больше никакого «Петруши» от тебя и ни от кого я не слышала! Нашла друга-товарища. Для всех он был и остается Его Величество, поняла?

Бесшумно отворилась дверь. Пытаясь улыбнуться, Прасковья Юрьевна вздохнула от саднящей боли во всем теле и проговорила:

— Одевайся, доченька. Не решили еще, тут ли станем принимать гостей или во дворец поедем. Платье-то какое к сему дню готово! Все серебряной канителью по подолу оторочено. Да такой красивый шиньон привезли из Германии!

— Не хочу я шиньона да парика. От них вся голова потная. Так и хочется принародно стащить все с головы.

— Ладно, Катерина. Мы и так более других в домашнем ходим.

— Не хочу шиньона. Пусть лучше шпильками да заколками мои косы уложат.

— Тогда торопись. Столько возни с твоими косами. Батюшка сказал: император потянулся в постели да на другой бок лег. Глядишь, и голос скоро подаст.

— Хлопот-то сколько,— Екатерина не в пример предыдущим дням, была спокойна и ласкова с домашними.

— Не надо во дворец! — вставила княжна Елена.— Там много незнакомых.

— Петра спросим. Его слово все и решит, а нам останется только подпоясываться.

Петр проснулся от страшного сна: будто в Горенки приехала его сестра — великая княгиня Наталья Алексеевна в сопровождении горфмейстерши. Будто вошла она в его покои, встала возле кровати и говорит: «Поздравляю тебя, Петруша, с обручением. По душе мне княжна Долгорукова. Лучший выбор, чем тетушка Елизавета.—

И, отойдя поодаль, будто боясь гнева брата, сказала: — Не поехал в Петербург? Обманул, а сам до последнего моего часу обещал».— «Обманул, Наташенька. Обманул. Совсем скоро уеду отсюда в Петербург. Да и Андрей Иванович покоя не дает — зовет туда. Слово тебе даю, моя разлюбезная сестрица».— «Да уж теперь ты никуда из Москвы не уедешь»,— тихо молвила сестрица и вдруг потерялась вместе с гофмейстершей.

Петр открыл испуганные глаза, приподнял с подушки голову. На стенах, обитых китайскими обоями, висело оружие. В другое время он непременно снял бы со стены шпагу, помахал ею перед воображаемым противником, но сейчас у него на глаза навернулись слезы. Он чувствовал глубокую вину перед памятью сестры. Вспомнились просьбы Наташи не оставлять ее надолго, не может она привыкнуть к одиночеству, хотя вокруг нее много всякой прислуги, а она нуждается только в его заботе. Он все время страстно клялся, обещал бывать чаше. «Хоть на минутку!» — просила его при расставаниях Наташа, но, увлеченный охотой и частыми торжествами, Петр снова забывал о данном слове.

Петр в те дни был на охоте. Когда по срочному требованию Андрея Ивановича Остермана его нашли в глухом урочище в погоне за кабанами, он высказал свое неудовольствие, но все-таки помчался в Москву. Гонец на словах по просьбе вице-канцлера передал: великой княгине жить остается несколько дней. Петр закричал на гонца, пообещав его заточить в застенки тайной полиции, про которую наслышан был с малолетства и сам боялся ее до смерти.

Наташа была несказанно рада появлению брата. Обняв его за шею, говорила ласковые слова, не переставая просила скорее вернуться в Петербург.

— Какая ты хорошенькая,— говорил Петр, заглядывая сестре в голубые глаза, но они были холодны, без здорового блеска, а руки окоченели, будто в них не было горячей крови. Только изредка появляющийся румянец оживлял бледное лицо, на котором обозначились синеватые прожилки.

— Пообещай мне о переезде в Петербург. Мне скучно здесь. Обещай! Обещай!

Но смерть опередила исполнение ее желания. Она умерла от болезни в груди и частого кровохаркания. Петр безутешно рыдал над гробом сестры и считал себя

главным виновником случившегося. Весь род Долгоруковых искренне сопереживал ему, окружал императора вниманием и заботой.

Только бабушка, царица Евдокия Федоровна, отнеслась к смерти внучки с рассудительным спокойствием, заявляя, что браки людей совершаются на небесах. Она уже давно поняла, что жизнь человека великое таинство природы, высшее творение Создателя. Эта мысль пришла к ней в монастыре, когда она оплакивала жизнь своего сына Алеши, обвиняя его в безволии, бесхарактерности и малодушии. Как мог появиться на свет такой хилый и слабый телом и духом их сын Алексей? Оба они были молоды и сильны — что Петр, что она, Евдокия. Не попала в него искра любви. Он взял от отца внешнее сходство, высокий рост, от нее — распахнутость взгляда, густоту волос.

От такого же бесстрастного брака появились и ее внуки: Наташа и Петр. Ни у отца — Алексея, ни у матери — Шарлотты не было и намека на любовь. Откуда же взяться жару души? «Все во власти Творца»,— повторяла она смиренно.

— Скоро поедем в Петербург. Дел там скопилось превеликое множество,— спокойно говорил Петру Алексей Григорьевич, выслушав расстроивший Петра сон. Светлейший князь, сидя в большом кресле, обитом бордовым бархатом, пристально посмотрел на осунувшееся лицо императора. Он гнал от себя нелепую мысль, которую и думать-то боялся, и по-отечески ласково сказал: — Поди, тебя вчера изурочили. Столько завидущих глаз на вас с Катериной смотрело. Разве все они добры были? — Он позвонил в колокольчик: — Прасковью Юрьевну позови,— строго сказал лакею, просунувшему в проем двери смазанную маслом голову.— Сразу после свадьбы и оставим Москву. До будущей осени. Весной там хороша охота на перелетную птицу. Какой только дичи нет. По первости-то в широкие весенние дни людям спасу не было от птичьего крика и гомона. Даже с бастионов пушки палили, чтобы разогнать, поднять на крыло неугомонные стаи. Я уже свору собак заказал,— придумал на ходу Алексей Григорьевич, хотя у него и в помине не было собак на водоплавающую дичь. «Нет, так будут»,— подумал, когда, прихрамывая, в покои императора вошла княгиня. Прижимая к полной груди деревянный жбанчик,

она приветливо улыбалась, хотела было спросить, как Его Императорскому Величеству спалось, но вовремя взглянула на Алексея Григорьевича и остановилась.

— Умой руки и лицо святой водицей от всякого сглазу и порчи. Водица эта у меня под божницей стоит.

Петр, немного успокоившись, подчинился княгине.

— Сейчас с тобой по рюмочке медовушки отведаем,— шурясь от яркого дневного света, не говорил, а ворковал Алексей Григорьевич, подходя к резному поставцу.— Ополоснем душу да в церковь сходим, свечи за упокой души Натальи Алексеевны поставим.

— Катюша проснулась?

В ответ Прасковья Юрьевна кивнула.

Алексей Григорьевич услышал издали звон колокольчиков. Прислушался, пытаясь по звону определить, чьи бубенчики звенят.

— Кучер Андрея Ивановича коней гонит.

— А князь Иван спит? Или забыл про меня? — капризно спросил Петр.

— Как можно так подумать, Ваше Величество? Он то и дело к вам рвется, а мы его отговариваем. Там они. Как поутру приехали, так и сидят за столами.

— Кто «они»?

— Семен Бутурлин, Александр Нарышкин, Сергей Голицын да Федор Долгоруков. Они все в одной карете ехали да так гнали коней, что один полоз переломился. До Горенок версты, считай, три пешими шли. Хмель-то вытрясли.

Петр, представив, как веселые молодцы ковыляли по проселочной дороге, громко рассмеялся, но немного погодя снова спросил:

— Катюша-то как?

— Что Катюша? — ответила, уходя из покоев, Прасковья Юрьевна.— Наряжается. У них одно дело.

Царская невеста и в самом деле была в хорошем расположении духа. Все это время, находясь в какой-то тревоге, под постоянным не то чтобы присмотром, а доглядом со стороны всех, смирилась с судьбой, которая обещала, как ей казалось, жизнь без забот, жизнь царицы за спиной мужа-императора.

После того как из палаты ушла Прасковья Юрьевна, любопытная княжна Елена не упустила случая спросить сестру, жаль ли ей Милиссимо, на что Екатерина сердито, но ясно ответила:

— Кабы было жаль, никто бы не удержал меня! Запомни это, поняла? — При этом Екатерина сбросила на пол рыжий шиньон, а Елена, вовсе не желавшая портить сестре настроение, чуть было не разрыдалась:

— Вот ты всегда так! Только и знаешь все разбрасывать. Сама и поднимай!

— У меня теперь есть кому не только разбросанные вещи поднимать, а если захочу, то и...— Она хотела сказать грубое слово, но посовестилась.— Подай-ка вон коробочку,— попросила она сестру.— Там лежат мушки.

— Я уже видела, да побоялась тебя спросить: ты вчера приклеивала? Я что-то не приметила. Ты была так пригожа!

— Не знаю и не помню,— призналась Екатерина.

— Давай, Катя, посалим тебе маленькую над верхней губой. В самый уголочек. Знаешь, что она означает?

— Нет,— призналась Екатерина.

— А я знаю. «Кокетка», или «я хочу целоваться!».

Тут без всякого стука в покои Екатерины ворвалась младшая сестренка Анна, закричала:

— Собирайтесь гостей встречать! По дороге в Горенки невидимо сколько экипажей несется. Мы только с Антошкой на колокольню поднимались. Я самолично видела. Да разве тут не слышно, как в Москве пушки бабахают? Антошка сказывает: все для вашей Катерины.

— Едут не дело творить, а казну зорить,— сказала Екатерина, явно повторяя отцовские слова, хотя, если рассуждать по-государственному, если бы княжна что-то смыслила в этом, то слова ее могли бы у многих высокопоставленных мужей вызвать предположение о наличии у молодой царской невесты государственного ума.

К этой поре в государстве Российском было неспокойно. Особенно тревожные сведения поступали из северной столицы. Швеция не согласна с Ништадтским миром. Шведы спят и видят возвращение потерянных по договору земель. Надвигается немалая смута и в Малороссии. С татарских земель поступают тревожные слухи. Уже посланы туда войска, но как все обернется? Зашевелились недруги и в других землях, не чувствуя в России крепкой хозяйской руки. «Как бы опять не война!» — думали многие в России, пережившие изнурительную Северную войну. Петр Великий знал, как истощена войной государственная казна, и понимал, что народ не только лелеет надежды на лучшую жизнь,

а и заслужил ее, но смерть монарха круто изменила жизнь страны. У императрицы Екатерины Первой нашлось много советников и «помощников», живущих без загляда вперед, по принципу: прожил день — и слава Богу. Только и боялись государя, а теперь? Кто в лес, кто по дрова. У многих от этого щемило сердце, все какого-то счастливого часа ждали, на императора надежды возлагали, а сами понимали: обманывают друг друга. Что сможет император-отрок? Может, что спроворит долгоруковский клан от его имени? Все они люди русские. Может, главные «верховники» выпрямят, поднимут государственное дело.

За собравшимся в Горенках застольем первым заговорил об этом контр-адмирал Наум Акимович Синявин. Мало кто думал, что этот бывалый вояка начнет свое поздравление с таких слов:

— Хоть Москва и красная наша столица, хоть и звенят в ней колокола малиновым звоном и хоромы в столице краше и теплее, а дела государства из петербургских окон яснее видятся. Неспроста наш великий государь Петр Алексеевич оставил затхлый запах старой столицы. Единственное спасение всех его побед — переезд в северную столицу. Вспять Россию не повернуть! Оттуда шли и должны идти все указы государя — туда и шлет свои письма народ. За северную столицу! За тебя, наш император! Здравия тебе на многие лета! — сказал и поднял полную чашу крепкой наливки.

Многие обомлели, зная, как дорога Москва императору-отроку. Не знали, то ли поддержать, то ли осудить храброго Синявина. «В Москве все как тараканы,— подумал только что вернувшийся из Петербурга Голицын.— Да и там теперь тишь да благодать!» — подумал, но не сказал. Зато неожиданно для всех из-за стола, с шумом отодвинув кресло, выбежал император и крепко поцеловал смущенного контр-адмирала. И снова многие потупили глаза, угадали в поступке отрока черты умершего императора.

— Поедем! Скоро все вернемся в северную столицу! — сверкнув черными глазами, почти клятвенно произнес Петр.— Благодарствую за все, Наум Акимович! И за напоминание о Камчатской экспедиции. Я не забыл!

Алексею Григорьевичу померещилось, что приглашенные нет-нет да поглядывают на него искоса, будто подозревают во всех грехах. Да и то сказать, в затее

с переездом в Москву главную, если не самую важную роль, сыграл светлейший князь. Да разве он один? Все потянулись, опережая один другого, поспешили в родные имения. Ну, уговорил он императора, завлек охотой, чтобы отвлечь от воспоминаний, связанных со смертью отца, деда, матери и сестры. Пережил Петр и опеку светлейшего князя Меншикова. Много тяжких воспоминаний было у отрока.

И разве худо поступил? Алексей Григорьевич мог бы еще долго доказывать сам себе, что не видит особой беды в переезде, но, к счастью, поляк Юзик Яровский заиграл на органе. Глухие, грозные звуки незнакомого инструмента наполнили зал. Они были созвучны с настроением только что оброненных фраз и со связанными с ними раздумьями. Звуки нарастали, и казалось, что им становилось тесно: они то глохли, то вдруг ударялись о потолок, заполняя палаты.

Князь Василий Владимирович непроизвольно сморщился, Наум Акимович закрыл ладонью правое ухо, и только Андрей Иванович Остерман расплылся в улыбке, вспомнив давние звуки детства, католический храм.

— Музыканты-то твои где? — теряя спокойствие и терпение, спросил Василий Владимирович так громко, что сам смутился.

— Да будет, будет музыка,— потерянным голосом отвечал брату Алексей Григорьевич, решивший удивить гостей чужеземной музыкой. Крепостной музыкант Пашка Морозов пытался через главного распорядителя праздника сказать, что музыка органа не для веселья и не для русской души. Это был конфуз для щепетильного князя Алексея Григорьевича.

А тут подъехала карета графа Шереметева. Выскочил, выпорхнул голубем счастливый Иван, чуть не на руках занес на крыльцо молодую графиню. Куда денешься? Опять улыбаться надо. Заторопился встречать Пелагею Степановну.

Отпуская Наташу к Долгоруковым, бабушка сама проверила, надела ли она шугай с беличьей подкладкой да на ноги теплые кожаные сапожки. «Морозец ядреный ударил. Зима на ноги встает»,— и, погрозив сухим скрюченным пальцем Ивану, обозвала ласково озорником.

Приезд Натальи Борисовны совпал с веселым наигрышем крепостного хора. Краснощекая девица с крутой,

высокой грудью, одетая в расписной русский сарафан, пела:

Ой да как у Катюши,
Да у нашей голубушки,
Ой, голубушки,—

похватывал хор,

Ой, да без белил лицо,
личико белехонько.
Вот белехонько,
Вот белехонько,
Ой да без румянчиков-то у ей да
щечки румянехоньки,
Румянехоньки...

«Скоро и тебе такие песни запоют»,— шепнул на ухо Наташе князь Иван, снимая с нее теплый шугай.

Гости повеселели, хотя роскошный портрет Петра Великого, висевший в парадной комнате, многих вводил в смущение. Величественный вид государя, его зоркий взгляд были настолько живописны, правдоподобны, что большинство гостей, называвших себя «сподвижниками», теперь смущенно отводили взоры от портрета великого реформатора.

А у недавно вернувшегося из Петербурга Михаила Михайловича вдруг так заболела голова, что сидевшая подле него жена, Федосья Петровна, не выдержала и велела позвать кого-нибудь, чтобы, не поднимая переполоха, проводить супруга в тихие палаты отдышаться, отдохнуть. Возможно, на него повлияли горестные мысли о русском флоте, а может, было вызвано дегустацией заморских вин.

А Андрей Иванович в это время неожиданно пригласил на танец Марфу Ивановну, которая была до того удивлена, что первый круг запиналась и не нашлась спросить мужа, что с ним случилось. Тревожно оглянулась вокруг: княгиня Ягужинская мило улыбалась Андрею Ивановичу. «Вот старая мымра!» — вспыхнула Марфа Ивановна, не зная, на что и подумать. Надо сказать, что за Андреем Ивановичем никогда не замечалось никаких амурных дел. Великий Петр, любивший разгуляться, частенько посмеивался над ним, не упускал случая спросить, не намазаны ли у его Марфуточки медом те места, которые под юбками спрятаны?

Иногда и самой вице-канцлерше хотелось похвастать перед дамами преданностью Андрея Ивановича. Увидев улыбку Ягужинской, Марфа Ивановна люто заревновала. «Седина в бороду, бес — в ребро! Этого еще не хватало!» — возмутилась она.

А со всех сторон неслось: браво, Андрей Иванович! Браво!

Но разве среди присутствующих кто-нибудь мог догадаться, что Остерману просто надо было не показать своей слабости при нахлынувших на него воспоминаниях. Если уж говорить начистоту, то именно великий монарх подметил в преданном немце изощренный ум и необычайную хитрость, которую он умело использовал. России в ту пору он служил верой и правдой. Не кого-то другого, а именно его, Остермана, отправил государь подписать договор со шведами, который оставлял за Россией Выборг. После этого был он награжден титулом барона, назначен вице-канцлером и обласкан: «Остерман лучше всех понимает истинные нужды и выгоды России».

Воспоминания расшевелили душу, память, позволили сейчас осознать те главные моменты, которые стали сутью всей жизни и отозвались болью в душе. К несчастью, болью, не радостью! И кто знает, как отзовется этот праздничный день в жизни молодых, обрученных перед Богом и миром? Пока же молодым — молодое!

Большие настенные часы глухо, торжественно пробили два часа пополудни. Во всем великолепии, под руку с императором к присутствующим вышла Екатерина Алексеевна — Ее Высочество, нареченная царская невеста. Молодые, счастливые. И каждый, глядя на них, быть может, хотел увидеть будущее: их и России.

Живя под постоянным присмотром и доглядом тех, кто видел в деяниях Петра I человека, «губящего Русь», юный император с великим трудом пытался понять величие и значимость своего деда. «Петр Великий»,— все чаще повторял он, задумываясь о том, что так просто народ не окрестит своего государя. «Великим» назвали именно его! Но он еще не мог по-настоящему понять и оценить подвиг своего деда.

Только прозорливый Андрей Иванович, уставший от праздничных дней, сидел в мягком кресле и рассуждал: «Говорят, гениальность повторяется через поколение. Может, России повезет».

Глава
двадцать шестая



Обручение графини Натальи Борисовны Шереметевой с князем Иваном Алексеевичем Долгоруковым было назначено на первый день святок. Радостными хлопотами были заняты все родственники.

А пока, после шумного пиршества по случаю императорского обручения, настали будни. И хотя Алексей Григорьевич говорил, что одна забота свалилась с плеч, он все время ощущал тревогу. Он даже перестал спать по ночам. Его замучили кошмары: то будто он тонет в маленькой речушке Смородинке, которую могли бы и куры перейти, то вдруг появлялся медведь, с которого стаскивали шкуру, и он орал на весь лес, то будто кружила над головой птица, у которой вместо клюва торчали острые зубы; или запоротый плетками крепостной пастух слезно убеждал в своей невиновности: пропавшая корова должна обязательно вернуться в стадо, она просто убежала в лес телиться. А напоследок издали показалось личико какой-то молодой княжны. Он старательно вглядывался, но глаза девушки вдруг наполнились слезами. «Никак, Мария Меншикова? — открыв глаза, сел на постели Алексей Григорьевич.— Так вот что не дает мне покоя! Судьба княжны Меншиковой!» — с печалью подумал он, не зная, где найти спасение и защиту от изнуряющей бессонницы. Чего только не перепил, каких только травяных настоев не перепробовал, последние три дня спал на подушке, набитой сушеной мятой и сонной травой. На охоту бы! В лес от всей этой суеты! Алексей Григорьевич вспоминал, как беспробудно, без всяких сновидений спал он в охотничьих шатрах. Если бы не затея Ивана со свадьбой! Не упустил бы случая уговорить Петра поохотиться на волков, которых, по рассказам лесовиков из дальних вотчин, развелось невидимое множество. Или бы позвал молодого императора на медвежью охоту, пошевелить самого хозяина леса. Днями к князю с просьбой о продаже луговых

угодий приезжал боярин Сухоруков из Тулы и рассказывал, что недавно его крестьяне нашли берлогу. А сколько он знает баек про медведя-хозяина! Зверя этого почти все народы считают человеческим подобием. И подтверждений этому немало. Самец похож на мужчину, а самка — на женщину с грудью и толстыми ляжками, широким задом. Ступни, пальцы тоже похожи на человеческие. Да и в поведении лесного хозяина много человеческих черт: любит ходить на двух ногах, по утрам умывается, кормит грудью и любит нянчить своих детей. Умеет радоваться, страдать. В народе бытует поверье, что медведь постится весь Рождественский пост — сосет свою лапу. И знатоки утверждают, что этот зверина неравнодушен не только к меду, но и к водке.

Но не об этих, приятных его сердцу забавах мысли Алексея Григорьевича. На очереди обручение князя Ивана с графиней Натальей Борисовной. «Хорошо бы привезти Ивану на счастье медвежий зуб как оберег! Лаю я на него, лаю, а он в заботах — как мельник в муке».

Раскачиваясь в карете по ухабистой дороге из Горенок в столицу, светлейший князь не заметил, как задремал и вскорости уснул, да так сладко и безмятежно, что не услышал, как лакей распахнул дверцу кареты.

Открыв глаза, смотрел на дворцовое крыльцо тупым, равнодушным взглядом. Дворецкий издали распахнул перед ним дверь, застыл в поклоне. Камергер, встретив светлейшего князя, сопровождал его до кабинета и только после того, как Алексей Григорьевич, поправив парик и посмотревшись в зеркало, остался доволен своим видом, промолвил:

— Его сиятельство Андрей Иванович по приезде вашем нижайше просил не обойти его кабинет.

Вместо ответа светлейший князь что-то буркнул под нос, подумав про себя: «Неспроста. Опять чего-нибудь пронюхал!»

За столом Остерман сидел с видом озабоченного и погрязшего в делах человека. От него можно было ждать самых разных хитростей. Следовало быть очень проницательным, чтобы разгадать их. Но, как говорил по этому поводу светлейший князь, «на мякине тебе меня, старый хрыч, не провести!». Так или иначе, он был готов выслушать вице-канцлера.

— Ведомо, Михаил Михайлович в Петербурге был! — заговорил Остерман. Он пересказал все, чем был озабочен Голицын. А главное в том, что гибнет флот. Зашевелились шведы: корабли их почти беспрепятственно заходят в наши воды. Старый Апраксин бывает в Адмиралтействе редко и то больше спит за столом... и заключил: — Скорей туда возвращаться надо!

— Без тебя знаю! То да по тому! — почти по-хозяйски строго промолвил Алексей Григорьевич.— Да как бы не поскользнуться да лоб не расшибить возле самого трона! — сверкнул он глазами. Остерман сразу смекнул: «Вот чего его больше всего тревожит».

— Еко Величество память крепко тершит.

— А что это ты, Андрей Иванович, сегодня так разговариваешь? Или спал плохо, или какое дело натворил, что слова стал путать. Давно с тобой такого не было,— решительно, без особых деликатностей спросил светлейший князь Остермана. Тот, не ожидавший такого оборота, сразу же выдохнул:

— Поюсь!

— Чего это ты так забоялся?

— Плоко Камчатска экспетитсыя. Совсем сабыл.

— Подумаешь, Камчатская экспедиция! — равнодушно ответил светлейший князь.— Экая забота! Ясное дело, денег надо. Вот и завалили все столы письмами! Где их брать? Казна пуста!

— Савтра Тайный совет. Так распорятился император.

— Когда это он успел распорядиться? — удивился Алексей Григорьевич, вроде все время державший Петра под своим присмотром.— Вот ведь что придумал!

Но не за этим приглашал его Андрей Иванович. Медленно вытянув из стола ящик, он положил перед Долгоруковым государственную бумагу. «Божиею милостию мы, Петр Второй, император и самодержец всероссийский, и протчая, и протчая, и протчая...»

У Алексея Григорьевича зарябило в глазах, запрыгали строчки.

— Читай,— холодея, не зная, на что и подумать, Алексей Григорьевич ухватился за край стола.

«...освободить из ссылки детей Меншикова, с позволением жить, не выезжая в Москву, в деревне дяди их, Василия Арсеньева, и дать на прокормление сто дворов, приискав из нижегородских меншиковских деревень,

а сына записать в полк и отдать на обучение хорошему офицеру...»

— Боже! — обливаясь потом и хватая ртом воздух, светлейший князь рухнул в кресло, словно оглушенный. Остерман, успевший уже пережить это известие, хотел было позвонить в колокольчик, но передумал, налил из кувшина воды, подал Алексею Григорьевичу.

— Возвратить Меншикова из ссылки? — стуча зубами о край бокала, еле выговорил Алексей Григорьевич.— Он что, с ума сошел? — имел он в виду молодого императора. Сказал и тут же перекрестился, зная каверзность Остермана, откинул голову на спинку кресла, в изнеможении закрыв глаза.— Это все по просьбе Федора нашего. Он тут явился, а я все не нашел времени спросить его: зачем он тут, откуда прибыл,— заговорил светлейший князь, по-прежнему сидя в кресле с закрытыми глазами.

Остерман поспешил успокоить светлейшего князя: в бумаге императора нет послабления самому Меншикову. Там пишется только о семействе, а так как Дарья Михайловна умерла по дороге в Сибирь, то вернуться смогут только его дети.

— Дай собственными глазами поглядеть,— протянул руку светлейший.— Печать и подпись подлинные,— заключил Алексей Григорьевич.

Остерман долго и пристально смотрел на собеседника, молчал, но в этом молчании таилась какая-то загадочность.

— Нет,— после некоторой заминки возразил Остерман.— Потпись у меня перет сомнение.

— Чего ты хочешь сказать, Андрей Иванович?

— А то, что эта потпись княся Ифана. Я корошо знаю косутареву.

— Ивана? Немедля сюда Ивана! — не владея собой, закричал Алексей Григорьевич. Остерман успел схватить его за руку, когда светлейший князь хотел было позвонить.

— Император снает. Они вместе писали «Божиею милостию». Я слышал,— и вице-канцлер несколько раз ткнул пальцем в правое ухо.

— Дай им волю, так они насочиняют! — возмутился Алексей Григорьевич.— У нас, поди, и власть есть, и Верховный тайный совет есть. Ты тоже за эти «фокусы», Андрей Иванович, ответ несешь.

Уж тут Остерман не упустил случая напомнить Алексею Григорьевичу, что именно он и его сын приучили молодого императора к хмельным напиткам, а во хмелю, в безумии и безрассудстве, они могут такое насочинять, что никому и в голову не придет.

— Так ты же, Андрей Иванович, назначен главным воспитателем государя. За это и жалованье немалое получаешь.

На этот раз Остермана будто ударили под дых! Он побледнел, губы затряслись, глаза готовы были вылезти из орбит.

Быть бы тут неминуемой ссоре, да в дверях появился Михаил Михайлович Голицын. Его мучила одышка. Еле переведя дух, он сел в кресло:

— Однако завтра завьюжит. Перед переменой погоды и сердце давит, и в пот бросает,— сказал извинительно.

— Что за спешка? — спросил светлейший князь.— Мог бы и послать кого, коли дело есть.

— Не со всяким делом в царский дворец людей без званий посылать,— назидательно ответил генерал-фельдмаршал.

С этим Остерман был полностью согласен.

— По-моему, для пользы дела надобно скорее перебираться в Петербург,— отдышавшись, сказал Михаил Михайлович.

— Ну ей-Богу! Житья не стало. Все то да по тому, то да по тому! — возмутился Алексей Григорьевич.

— И все одно: для пользы дела надо возвращаться в Петербург! — сердито сказал Голицын.— Обручение дочери да свадьбу можно в Петербурге справлять.

— Сказано: все будет после Рождества! — почти выкрикнул светлейший князь, но осекся: — Много ли ден осталось, чего путние дела комкать переездами?

— Да за месяц-другой Швеция нарушит Ништадтский мир!

— Полно, Михаил Михайлович,— взяв себя в руки, твердо сказал светлейший князь.— Все одинаково славу делили, все и вину держать будем. Не время нам укоры друг другу выговаривать.

— Надо быстрее императора в дела государственные вводить. Хватит охотой увлекать. Будет. Сколько времени Верховный совет не заседал? И по чьей милости? — выставил на Алексея Григорьевича глаза генерал-фельдмар-

шал.— Чего тебе в рот-то все глядим? Когда правительство полное заседание имело? Или в этом Петра винить станем? — Михаил Михайлович уже забыл про одышку: грудь его высоко поднималась при каждом вздохе, пот росою осыпал все лицо.

Никогда еше с таким гневом не говорил Голицын. Он всегда был терпелив, сдержан и самые сложные дела умел вывезти с честью. Остерман был не рад, что оказался свидетелем перебранки, которая была явным подтверждением того, что нет у руля капитана!

— Покода какова в Петерпурке? — сощурившись, спросил Остерман.

— Погода? — выдохнул Голицын.— Как всегда, Нева буйствует, швыряет льдины на берег. Суда не все на приколе.

Алексей Григорьевич молчал. Один Бог знал, что творилось в его душе, но сдаваться на полпути он не собирался.

— Про Камчатскую экспедицию?..— только успел спросить Андрей Иванович.

— Сейчас только этого не хватало! Начнем трясти эту экспедицию. Ну погодите вы все,— умолял, потерявши силы, светлейший князь.— Дался им этот Беринг! И Петра уже втравили.

Михаил Михайлович пропустил мимо ушей эту мольбу светлейшего князя. Он встал с кресла и приподнял над столом Остермана руку.

— Вот, вот такая гора писем от Беринга! Полные ящики. А откуда ему стало бы известно, что мы царствуем в столице? Кто написал ему? Вся переписка там. А в ней премного любопытного для пользы России. Не для прогулки снаряжал ее Петр Алексеевич.

Надо сказать, что не зря высокопоставленные чины завели между собой сыр-бор, опасаясь ответственности: Петр стал показывать характер. Ведь никто не смог отговорить его от женитьбы на Екатерине: уж как старались Андрей Иванович, тетка Елизавета, не говоря о многочисленных тетушках, дядюшках, которые нет-нет да исподволь умудрялись где надо вставить словечко то насчет долгоруковской власти над ним, то будто бы какая-то принцесса или дочь августейшего монарха иностранного государства имеет интерес к Его Императорскому Величеству. Он настоял на своем. А уж в делах — подавно: как только поймет, что к чему, да войдет во вкус власти!

«А когда он наберется ума-разума? От кого? От чего? — с горечью думал Остерман.— Весь последний год только и гоняет то зайцев, то лис, то бобров. Все идет к тому, что всем крутить-вертеть станет Алексей Григорьевич. По стране не ездил, в море не бывал, других стран в глаза не видел! Хотя скрывать не стоит — голова светлая, мысль быстрая!»

И в самом деле, произошло так, что на следующий день, появившись во дворце, Петр пригласил к себе вице-канцлера и без всяких обиняков спросил, готовы ли документы и кто станет докладывать о делах Камчатской экспедиции.

«Будто генеральную репетицию проводили»,— подумал Андрей Иванович, вспомнив про вчерашний переполох в его кабинете, закончившийся, правда, любезными рукопожатиями.

Михаил Михайлович своим докладом удивил всех присутствующих. Нелегкий путь в Петербург, бездорожье, разбойное нападение в дороге — стоили того, чтобы получить похвалу и одобрение императора. В добавление ко всему, когда Михаил Михайлович Голицын сказал о молодом лейтенанте, только что прибывшем в Петербург с Камчатки, Петр возгорел желанием лично встретиться с ним. «Как сердце чувствовало привезти его с собой!» — обрадовался генерал-фельдмаршал.

— Он тут, Ваше Величество,— к удивлению Верховного тайного совета, сказал Голицын.

Поднялся переполох. По коридорам царского дворца заметались офицерские чины. Нашли Дмитрия Леонтьевича в кабинете у секретаря Сената Ивана Кирилловича Кириллова.

Лейтенант и мореплаватель Дмитрий Леонтьевич Овцын был сыном священника, получил хорошее морское образование, без колебаний принял предложение командора Витуса Беринга участвовать с ним в столь трудном, но благородном деле во славу Родины. Служил верой и правдой, ни на минуту не усомнившись в правильности выбранного дела, о котором мечтал и которому посвятил все эти трудные годы.

Приглашение к императору было высшим проявлением внимания к Камчатской экспедиции, ее делам. Узнав об этом, заволновался. Но трудно заметить волнение у испытанных офицеров. У него не дрогнул ни один мускул, не спутались мысли, только зарумянились

щеки. Шел по коридору уверенным шагом. Войдя в кабинет, отдал честь, как подобает офицеру.

Петр при виде его вышел из-за стола, долго и пристально смотрел в лицо мореплавателя. Что-то особенное было во всем облике Овцына. Какая-то притягательная сила передавалась присутствующим. На вопросы Михаила Михайловича, поскольку он был больше всех знаком с документами Беринга, отвечал четко и лаконично. Ни слова сомнений о значимости экспедиции, ни звука о трудностях, ни намека о лишениях не было в его словах.

Пожалуй, впервые в жизни перед Петром стоял истинный русский молодой офицер: без низкопоклонства, уверенный в деле, служивший Отечеству верой и правдой. Зависть, искренняя зависть родилась в душе императора. Он понимал, что лишен этого счастья созидания, которое возвышает и дает радость от сотворенного твоими руками дела. Подойдя к Овцыну, он протянул для пожатия руку и вдруг обнял его, что было красноречивее всех слов.

— Рад стараться, Ваше Величество! — ответил Овцын, у которого застрял комок в горле.

...По распоряжению, вернее, в продолжение распоряжения деда, Петра Алексеевича, была снаряжена Вторая Камчатская экспедиция, главной задачей которой было обследование и опись берегов Ледовитого океана — от Печорской губы до Чукотского моря, проверка на практике возможности плавания вдоль берегов Сибири, исследование трудного для судоходства узкого Северо-Западного выступа Гыданского полуострова и проливов между островами, еще совершенно не изученными, у входа в Енисейский залив.

Овцыну была вверена эта экспедиция.

Медленно закрывалась тяжелая дверь, но лейтенант долго ощущал на себе зоркий взгляд Петра.

Глава
двадцать седьмая



Наступил еще один торжественный день в семье Долгоруковых. Красавец сын, обер-камергер Его Императорского Величества, баловень судьбы, покоритель женских сердец князь Иван обручался с графиней Натальей Борисовной Шереметевой.

К четырем часам пополудни все было готово в доме на Воздвиженке. Наталья Борисовна была одета к встрече жениха в платье из дорогого шелка, вышитое серебром и жемчугом, на голове диадема, украшенная крупными алмазами.

Сенные девушки пели графине величальные песни:

Хороша наша графинюшка, пригожая,
Ты красавица ненаглядная —
Свет Наталия Борисовна,
За застольем большим
Чарку выпей до дна!
Хмель ударит во твою головушку.
Слаше, крепче поцелуешься
С ненаглядным своим суженым —
С Иваном свет Алексеевичем!

На сердце Натальи затаилась грусть. И причины особой нет: все светло, радостно, гости веселые, слова все говорят самые разлюбезные, даже скупая на похвалу тетка Есаульчиха и та назвала ее раскрасавицей. Род Шереметевых знатен, царями не в одном поколении обласкан.

Расторопная тетка Пелагея Степановна нашептывала Наталье Борисовне, просила ее подрумяниться, насурмить брови.

— Не хочу, и все! — отвечала она тетке. Пыталась отделаться от нее шуткой, смехом. Говорила, вдруг да жених ее, Ванюша, перепутает да поцелует другую.

Многие эти слова принимали за чистую монету: мол, за этим женихом нужен глаз да глаз. Всякая норовит

украдкой подмигнуть такому красавцу. А в богатых домах, где не обходилось без разговоров об обручении молодых, непременно задавался вопрос: чем же околдовала молодого князя графиня Шереметева? Богатство у Долгоруковых возами возить — за месяц не вывезти! И никому не могло прийти в голову, что князь Иван без памяти влюбился в Наталью. В ней он увидел настоящую красоту. Он не смог бы сразу и просто объяснить это даже самому императору. Когда честно признался, что не достоин любви молодой графини, Петр захохотал.

— Нет, Ваше Величество, тут не до смеха: мне надо набраться смелости и сказать Наталье Борисовне: не стою я вашей любви.

— Ты ли это, друг? — удивился император.— Может, объяснишь?

— Объяснить не могу, а знаю — не стою.

— А может, ты устал слушать признания в любви? — пошутил Петр.

— Не до шуток,— всем своим видом князь дал понять: разговаривать у него на этот счет нет желания.

В богатом шереметевском доме, куда он стал приезжать, все осталось в русском стиле. Все добротно, красиво, ничто не бросается в глаза, а главное, во всем искренность! Простота в отношениях, в разговорах, интонациях. И это заставило князя Ивана задуматься, почему Наталью Борисовну в свете сразу прозвали «кроткой».

Соответственно сложившимся устоям и обычаям готовилась свадьба.

На двор пустили ворожей, знахарок, молельщиц, причитальщиц. А в светлой горнице устроители свадебного торжества спорили: надо ли жениху растоптать чашку, из которой будет пить невеста, или только бросить ее. Решили — растоптать. Больше осколков — больше счастья. Потом еще учинили перебранку: в бочках с рожью или в бочках с пшеницею зажечь свечи.

О ряженых спорили во дворе старухи: встречать ли жениха и невесту из церкви в вывороченных шерстью вверх шубах.

Приехавший из-под Тулы боярин Сиротин, проходя мимо, услышал спор.

— Рехнулись! Экую старину вспомнили. Думаете ли башками — чья свадьба? Ишо в медвежьи шкуры обря-

дитесь. Не позорьте невесту. Отошли скоморошные времена. Тепереча в почете все иноземное, все блеском блестит, а оне с вонючими шкурами затряслись. Сам император приедет.

— Али сам Петр Алексеевич был в почете помене своего внука? Он не брезговал нас! — заспорила звонким голосом старуха — личико с кулачок, острые колючие глазки утонули где-то на дне больших глазниц.— Как сей день, помню его первую свадьбу. Сколько медведей-то привозили со всех волостей!

— Будет ужо! — рассердился краснорожий боярин.

— Ковры стелите-е-е! — невесть кому завизжала старушонка и даже присела и сжала маленькие кулачки.— Попону-у-у-у под ноги княжескому коню! — И голос ее заставил чернеющие на снегу людские фигуры расступиться вдоль дороги.

Князь Иван в окружении верховых гайдуков и многочисленной свиты подъезжал к графскому особняку Шереметевых.

Император, царица Евдокия Федоровна, тетка Елизавета, чужестранные министры, знатные господа, весь генералитет торопился засвидетельствовать свое почтение ближайшему другу Его Величества. Карет, возков, саней, верховых коней не счесть.

— Ах, какая она счастливая! Ах, какая счастливая! — слышалось со всех сторон.

Наташа не верила, что все эти возгласы, весь этот церемониал в их честь. И только когда князь Иван поцеловал ей руку, ярким румянцем вспыхнули ее щеки, слезинка скатилась с ресниц. Сильная, теплая рука Ивана сжала ее крохотную ладонь и вселила уверенность.

— Радость моя! — услышала Наташа, и сразу по всему телу ее пробежал огонь. Она улыбнулась.

— Бог да благословит вас! — послышался голос архиерея, стоявшего рядом. Он взял руки молодых и сложил их вместе...

Все это происходило при многочисленном мерцании свечей.

— Ах, какая она счастливая! — среди приветствий слышались уже надоевшие возгласы. Все было как во сне.

— Не бойся, Наташа! — крепко держа невесту за руку, шептал Иван, чувствуя неописуемое волнение девушки.— Смотри, как запылали во дворе и на улице



смоляные бочки! Смотри, сколько зарева! И сколько народу любят нас!

— Мне кажется, Ванюша, небо на нас падает. Разве ты не видишь: какое темное небо вокруг, без туч, без звезд! Одни искры от сгоревшей смолы да огни фонарей.

— Мир да любовь! Мир да совет! — кричали отовсюду.

— Что же ты, сокол, не целуешь свою лебедушку?

— Не робей, князь Иван, целуй уста сахарные Натальи Борисовны,— подсказывала стоявшая рядом царица Евдокия Федоровна. — Не робей!

Певчие запели величальные песни:

...Будешь думу думать с молодым дружком —
Князем Иваном Алексеевичем,
Та дума ваша верна и крепка,
Те слова по душе тебе,
Дорогая наша графиня,
Наталия Борисовна!

Сколько же было сказано в этот день величальных слов! И начался пир! Три дня и три ночи слились в один непрерывающийся праздник. Только сон невидимой рукой усыплял на ходу. Из всех мало-мальски укромных углов доносились храп, кряхтение, бормотание, а то и протяжная песня. Именитых гостей лакеи и денщики уводили в спальные горницы, а кого попроще — прислуга на плечах уносила в возки и кареты, успевала отвозить по домам.

Пировали в доме на Воздвиженке широко, буйно! На нижних этажах и в людской плясали размалеванные сажей ряженые.

Светлейший князь Алексей Григорьевич с Прасковьей Юрьевной, измученные праздниками, сидели на мягком диване — думали всяк о своем.

— Сколько подарков! — не выдержала, сказала на ухо мужу княгиня.— Целые табуны лошадей да карет без счету.

— Ясное дело, Шереметевы лошадники,— как сквозь сон ответил светлейший князь.

— Да про лошадей-то я просто так... А камней-то дорогих, алмазов да жемчугов, полное с верхом блюдо. А кольца-то им какие дорогие подарили: тыщи, тыщи!

— Полно,— остановил княгиню Алексей Григорьевич, заметив, каким блеском засветились ее глаза.— Куда все денется? Все наше будет, коли подарили!

Глава
двадцать восьмая



Недели две в столице было затишье: ранними утрами чистились улицы и мостовые, разметался снег, чинились ограды, сжигались на кострах невесть откуда появившиеся доски, бревна, переломленные оглобли. На дворцовых кухнях чистилось серебро, мылась в щелоке фарфоровая посуда, стопки, бокалы. Стирались скатерти. Чистились ковры и дорожки. Двор готовился к императорской свадьбе.

В каждой усадьбе, где-нибудь сбоку или в конце огорода, вдали от посторонних глаз, стояли бани. Не может русский человек представить своего житья без этих дымных, пропахших березовыми да дубовыми вениками неказистых строений. И быть может, в этих интимных уголках он омывает не только тело? Бодрость, здоровье, успокоение и даже умиротворение чувствует человек после русской бани, протопленной березовыми дровами, с докрасна накалившимися каменьями, источающими мало уловимые запахи далеких веков.

Густой духовитый дым кудрявился над низкими крышами бань. Водовозы, черпая воду большими деревянными черпаками из Москвы-реки, наполняли бочки, прикрывали отверстия рогожными кулями или бросали специально приготовленные дощечки, а то и льдинки, чтоб не расплескивать воду на взвозах, свистом подбадривали лошадей.

Алексей Григорьевич любил ходить в баню по первому жару, когда с каленых камней скатывалась, превращаясь в горошины и тут же испаряясь и поднимаясь паром к потолку, вылитая из ковшей вода. Он лез на бревенчатый потолок в туманное облако, кряхтел от наслаждения, плашмя растягивался на сухих, прокаленных плахах. Раскрытым ртом глотал каленый воздух и лежал до тех пор, пока все тело не покрывалось мелким, как дождевые капли, потом. Не поднимая головы,

доставал из деревянного, обтянутого ольховой лозой таза залитый кипятком веник, встряхивал с него остатки воды, пахнущие березовым настоем, и начинал париться. Начиная с ног, долго себя хлестал, меняя веник за веником. Прасковью Юрьевну непременно звал с собой. Она сердилась, говорила, что в первом пару боится угореть. Он соглашался, но велел входить, как только выскочит из парной парильщик Антошка и начнет купаться в снегу.

— Как этот идол ополоснется да натянет портки, так чтоб ты была в предбаннике!

Но в последние месяцы Алексей Григорьевич перестал звать княгиню в баню:

— Устал я, Прасковья Юрьевна. Сил не стало. Тело так и ноет. Антошка парит во всю силу, а у меня от этого все внутри будто жечь начинает.

— Самому-то по этакой жаре париться какую силу надо!

— Так была же, была!

По-видимому, вспомнив, как Алексей Григорьевич любил ей в бане расплетать косы, разглаживать мягкой рукой спину и плечи, горько улыбнулась.

— За парильщиком Гришкой Вехтем съездить надо. Сказывают, он так хлещет, да так веником спины и ноги растирает, что выскакивают после этого все молодым-молодехоньки. Днями про то граф Вишневский рассказывал.

— Пошли, коли надумал! — согласилась Прасковья Юрьевна.

— Он, сказывают, умеет каждую косточку и жилку на свое место направить. У меня в пояснице будто деревянный штырь,— признавался князь.— Если сижу — все ладно, а как вставать — в глазах темнеет от боли. Может, тот Вехоть изладит что-нибудь в спине.

— Сказал бы ранее, я бы сама тебе спину потерла.

— Какие тут припарки да растирки. Считай, сколько дней мы с тобой почти стоймя спали. Столько хлопот.

Узнав о том, что послали за Гришкой Вехтем, домашний парильщик Антошка вначале пообиделся, а после смирился: «Ладно уж. Княжичей попарю. Они тоже поняли толк. Их как-никак четверо. Только князь Иван менее других парится. Раза два хлестнешь — ужо на пол садится, видать, в заморских странах не знают толка в банях, а он там вырос».

Гришка Вехоть по-своему пар поддавал, полок окачивал кипятком. На голове шапка, сшитая из войлока,

на руках — рукавицы. Рядом с вениками — лохань с холодной водой.

Парил Алексея Григорьевича усердно — два веника превратились в голики.

— Будет, Гришка,— остановил парильщика Алексей Григорьевич.— Сердце зашлось.

Гришка знал силу парного духа. Недолго раздумывая, вылил на голову князя лохань холодной воды.

— Айда в предбанник,— сказал, подавая руку.— На лавке полежите, да в уши по мороженой клюквинке положим. Не телом, а душой слаб, то и зашлось сердце,— добавил бесхитростно парильщик.— Погодить надо с парилкой,— расстилая на лавке стеганое одеяло, советовал Гришка: — Хребтина-то у тебя еще здоровая.— Вехоть, ощупывая спину князя, перебирал каждый позвонок. Стал надевать портки.

— Хозяйка пущай идет, боле никому не сказывай, что у меня сердце зашлось.

— Знамо дело.

— Пущай,тебя как след угостят.

Вехоть поклонился, со скрипом захлопнул за собой дверь.

Под чьими-то бойкими шагами заскрипел снег. «Прасковья Юрьевна так бегать уже разучилась,— подумал светлейший князь.— Огрузла, стала ходить переваЛку». Но это была княгиня.

Задохнувшись паром, сразу же села у порога.

Алексей Григорьевич отпыхивался на лавке, молчал.

— Откуда эти ягоды? — вдруг громко спросила княгиня.— Голову вскружило? Пойдем домой! — Накинув ему на спину овчинный полушубок, распахнула дверь.— Сама-то утром помоюсь. Девка полена два бросит, и опять париться можно,— пряча за обычными словами беспокойство, княгиня пошла вслед за Алексеем Григорьевичем.

Княгиня шла по узкой тропинке за мужем, с горечью отмечая, как ссутулилась его спина, и он несколько раз запнулся о снег, еле переставляя ноги.

— После отдохнем, Прасковья Юрьевна. Считанные дни остались,— говорил он, пропуская вперед себя княгиню и похлопывая ее по плечу.— Надо, чтоб Катерина ехала на праздник уже настоящей царицей! Чтобы сияло ее одеяние. И чтоб на карете были царские гербы.

— Только молви, и все сделают,— ответила Прасковья Юрьевна.

Пришел праздник Крещения. Утром, ни свет ни заря, Алексей Григорьевич подъехал к Кремлевскому дворцу и не поверил собственным глазам: царский эскорт уже отъехал от крыльца.

— Куда это отправился Его Императорское Величество? — не в силах скрыть удивления, спросил он флигель-адъютанта.

— Поехал навестить Андрея Ивановича Остермана,— сообщил тот. У Алексея Григорьевича кольнуло в левом боку. «Иван не вылезает от Шереметевых. Нет чтобы побыть с Петром рядом! Осталось-то всего ничего, чтобы все стало на свои места»,— светлейший князь вовсе не желал встречи императора с вице-канцлером, который хотя и клялся в верности, но всегда имел свои намерения.— Можно бы и после богослужения навестить сказавшегося больным Андрея Ивановича. Ни раньше ни позже, а именно с раннего утра!»

На этот раз Остерман болел по-настоящему. Лежал в постели, обложенный грелками. На верхней губе вскочили волдыри от внутреннего жара. Узнав о приезде Петра, растрогался. Когда император вошел в спальню, не мог сдержать слез.

Петр тут же сообщил, что визит его будет недолгим, так как Преображенский полк уже двинулся на Москву-реку. Андрей Иванович, не принявший христианства, с пониманием относился ко всем русским обрядам, хотя и не принимал в них участия. В ответ Петру кивнул головой и долго не выпускал его руку, крепко держа в своей, вспоминая при этом счастливые дни, когда маленький Петруша не мог прожить без своего учителя и несколько часов. И еще он знал, что только так, держа его руку в своей, он может быть уверен, что император услышит его и не пропустит ни одного слова.

Лежа в постели, Андрей Иванович непрестанно думал о неизбежном владычестве в государстве Долгоруковых. Конечно, он станет служить ему и при Долгоруковых. Но у них нет того государственного подхода к делам, той цепкой хватки, что была у светлейшего князя Меншикова. И он хотел зародить в душе молодого императора сомнения в честных, бескорыстных намерениях почти пришедшего к власти клана.

— Правда ли, Петр Алексеевич,— слабым голосом спросил Андрей Иванович,— будто Вашим Величеством сделаны распоряжения о новых назначениях: князь Алексей Григорьевич стал генералиссимусом, князь Иван Алексеевич — адмиралом, князь Василий Лукич — канцлером, князь Сергей Григорьевич — оберштальмейстером?

Петр удивленно уставился на Остермана, спросил строго:

— Кто вам это поведал?

Это были личные предположения Андрея Ивановича.

Андрей Иванович смутился, увидев негодование императора.

— Нижайший поклон Екатерине Алексеевне,— перевел он разговор и, немного погодя, добавил: — Слышал, будто в день вашей свадьбы будет выставлен целый батальон гренадеров в одну тысячу двести человек.

— Кто вам приносит такие вести — мои личные враги. И первые враги Долгоруковых,— возмутился Петр.

Остерман понял, что наговорил лишнего. «Можно было попридержать язык, не портить в этот день настроение императору». Не зная, как выйти из положения, сказал:

— Царице Евдокии Федоровне от меня нижайший поклон.

— Будет, Андрей Иванович, всем поклоны передавать. Поправляйтесь,— Петр встал с кресла, поправил сползающий край одеяла, добавил: — Может, послать к вам одного из моих докторов?

— Нет, нет,— остановил его Андрей Иванович.

— Мне пора. Мороз нынче знатный! — сказал на прощание Петр, пожелав Андрею Ивановичу скорого выздоровления.

Утро было туманное. Сквозь снежную дымку плохо просматривались ближние крыши домов.

Андрей Иванович, с трудом поднявшись, потуже перевязал пояс длинного шлафрока и подошел к окну, чтобы взглянуть на отъезжающего императора.

Мог ли кто предположить, что через несколько дней случится непоправимое несчастье.

Осторожно приподняв край занавески, увидел карету в золотых гербах на полозьях, обитых серебром. И хотя не видел, но знал, что внутри этой кареты все обито самыми лучшими мехами. На жеребцах узда была с золочеными удилами и с такого же достоинства цепочками, издавав-

шими звон при каждом движении лошадей. На ногах, сверх копыт, были маленькие колокольчики.

Хотя император недолго оставался у Остермана, мороз заставил сопровождающую его свиту беспрерывно топтаться на одном месте, при этом не меняя порядка. Кони нетерпеливо переступали копытами и потряхивали головами, отчего звенели колокольчики и цепочки.

Петр, выйдя на крыльцо, оглянулся по сторонам, махнул сидевшему в седле кучеру и сел в карету. Карета тронулась. Веселый звон, похожий на россыпь монет, наполнил округу.

У Андрея Ивановича навернулись слезы. Он не мог объяснить причину своего душевного расстройства и все свалил на свое нездоровье. Явившаяся тут же Марфа Ивановна вначале припала к стеклу лбом, но, увидев только удаляющуюся карету, резко повернулась к мужу.

— Обидел?! — запричитала она.— Не бери близко к сердцу, не бери! Не иначе, как Долгоруковы наговорили какую-нибудь напраслину!

— Нет,— на этот раз остановил он жену.

— Так чего ж тогда?

— Да собирайся ты, Марфуша, собирайся. А то опоздаешь. Надо ведь лошадей где поближе поставить. По реке-то пешком пойдешь. Накажи Савелию.

— Да знает он про это,— Марфа Ивановна, застегнув булавкой большую суконную шаль с кистями, взяла мужа под руку и, доведя его до постели, потребовала:— Так отчего такой расстроенный?

— Сам не знаю,— укладывался в постель Андрей Иванович. В душе его все дрожало, а в голове какие-то хаотичные, беспорядочные мысли роем кружились, и он не мог объяснить жене свое состояние.

— Изурочили тебя! Изурочили. Кто в последний раз к нам заходил? У кого этакий урочий взгляд? — заметалась по спальне Марфа Ивановна.

Громкий колокол, возвещавший о начале службы, перебил мысли Марфы Ивановны.

— Савелий, Савелий! — закричала она, но тут же вернулась. Подбежав к Андрею Ивановичу, чмокнула его в щеку. Девка-служанка уже держала шубу на лисьем меху, сверху покрытую зеленым бархатом да опушенную горностаем. Подметая длинным подолом половицы, выскочила из дому в сопровождении служанки и велела гнать лошадей во весь мах.

Из дверей Успенского собора вышел архиерей Феофан Прокопович с многочисленной свитой — епископом и другими духовными чинами, шедшими с шестом, иконами, хоругвиями и под церковное песнопение. Шли медленно, торжественно, возглавляя нескончаемую процессию к Москве-реке.

Посередине реки была выдолблена широкая полынья, по обеим ее сторонам выстроились войска прославленного Преображенского полка. Все ждали приезда императора.

И вот стали доноситься разноголосые перезвоны. Скоро, как легкокрылые птицы, вылетели на лед Москвы-реки белогривые кони с разукрашенной упряжью.

На спинке саней развевался турецкий ковер, на большую медвежью полость из-под копыт летел снег. В этих санях ехала царская невеста Екатерина Алексеевна Долгорукова. А за ней император. Сняв с головы шапку, он размахивал ею, объезжая выстроенное в ровный строй войско. Приветствия молодому императору неслись со всех концов. Москва славила Божьего помазанника.

Над прорубью поднимался холодный пар. Архиерей, встав на колени, поцеловал крест и стал медленно погружать его в воды Москвы-реки.

Жгучий мороз серебрил бороды, жег лица. Снежная пыль, погоняемая метелью, застилала глаза. Налетавшие вихри разметывали гривы коней, раскидывали полы шуб. Губы певчих сводило судорогой. Сидевшая в ногах Екатерины служивая девка беспрестанно прикрывала ей шеки, поднимая меховой воротник и почти до глаз натягивала медвежью полость.

— Петр Алексеевич,— беспрестанно оборачивалась к императору Екатерина:— Накиньте, накиньте на плечи меховую пелерину.

Три лакея держали наготове меховые покрывала и готовы были в любую минуту укрыть императора.

Алексей Григорьевич сам подвел под узды возок императора.

— Простудитесь, Ваше Величество. Этакий морозище! — чуть не плача, просил императора светлейший князь.

А Петр будто впервые увидел своих верноподданных. Краски богатых одежд на белом снегу расцвели разноцветными полевыми цветами. Куньи, собольи, беличьи, заячьи шубы, кафтаны разных цветов бархата и других тканей являли яркую картину, от которой невозможно было оторвать глаз.

— Ваше Величество! — вдруг громко крикнула Екатерина, заставив многих обратить на себя внимание, выпрыгнула из кареты, подбежала к Петру и по праву невесты взяла его под руку.

— Катюша! — воскликнул радостно Петр, будто только увидел ее. Глаза его радостно блестели.

— Пойдем, Петр Алексеевич, в возок. Простудиться можно на таком ветру.

— Да,— согласился Петр, вглядываясь в Екатерину, словно впервые увидев ее.

— Да, в самом деле холодно.— Он посмотрел на лица окоченевших на ветру солдат Преображенского полка и отдал приказ немедля возвращаться в казармы.

Во дворце готовился обед. Послы, консулы иностранных государств, цвет московского общества явились во дворец по случаю праздника. Все ждали молодого императора с невестой.

Петр сразу, как вернулся, пожаловался на головную боль. Доктор тут же посоветовал ему лечь в постель. Но разве можно было удержать его в постели?

Грянул оркестр. Петр и Екатерина торжественно открыли бал.

— Петрушенька,— взяла за руку внука царица Евдокия Федоровна.— Чего это случилось с тобой? Сынок мой ненаглядный, ты весь горишь.

Петр промолчал, почти машинально коснувшись горячими губами ее морщинистой руки.

Кто бы мог подумать в тот час, что это был последний бал в его жизни.

Глава двадцать девятая



За здоровьем императора постоянно смотрели два врача — братья Блюментросты из Германии. На жалобы Петра на головную боль сначала не обратили серьезного внимания. И только к концу второго дня, когда на теле

императора появилась сыпь, забеспокоились. «Оспа!» — услышал Алексей Григорьевич, и от страха ему показалось, что у него оборвалось сердце. Он знал об этой болезни не понаслышке, он был свидетелем, когда в одной из волостей вымерла вся деревня. Про нее говорили со страхом: «Оспа ходит ночами, с совиными очами, с железным клювом». От страха у светлейшего князя началась резь в животе.

Только он появился на пороге своего дома, как тут же спросил:

— Иван-то где? Наверное, там, у Шереметевых, пустая его голова! Мигом за ним! Одна нога тут, другая — там!

Увидев перепуганную Прасковью Юрьевну, не знавшую, с какой стороны подойти к мужу, крикнул ей в лицо: «Все рухнет! Все! Не приведи Бог беды!»

Алексей Григорьевич не отходил от постели императора, мечущегося в жару. Только сейчас он увидел в нем не императора, а долговязого подростка. Из его приоткрытого рта вылетали какие-то слова, по-видимому связанные с играми сестрицы Натальи: «Лови, лови!» или: «Я тебя догоню! Я тебя поймаю!». И на его лице проплывала безмятежная детская улыбка.

Князь Иван примчался тотчас. Увидев мечущегося в жару Петра, схватил его за руку, обнял и зарыдал у него на груди. Слов не было. С испугом он посмотрел на смущенных докторов, те не выдержали его взгляда.

— Сейчас же позвать всех докторов! Дестока, Николая Бидло, доктора австрийского посла. Всех сюда!

— Иван! — остановил его Алексей Григорьевич.— Погоди! Надо ли всех?

— Папенька! Разве не видишь, как страдает император! — резко ответил князь Иван, намереваясь выбежать в коридор, где сидела цесаревна Елизавета, узнавшая о болезни императора.

— Да не бегай ты! Оставайся тут! — чуть было не закричал Алексей Григорьевич.— Сиди!

— Гадалка приходила к Шереметевым, сказывала: горе нас ждет.

— Чего мелешь? Чего каркаешь, дурак! — грозно сверкнул глазами светлейший князь.— Типун тебе на язык, дурень.

Целую неделю к мечущемуся в жару императору никого не допускали — боялись распространения болезни.

Находясь в беспамятстве, Петр, как показалось Ивану, звал на помощь.

— Катерина! — увидев в углу императорской спальни плачущую сестру, окликнул князь Иван.— Подойди к нему, не плачь там.

— Папенька говорит: заразиться могу, не пущает. Я все время Богу молюсь да плачу.

Когда стало известно от докторов, что осталось надеяться только на Господа Бога, Алексей Григорьевич потерял голову. Он вошел к Петру, возле его постели сидели Андрей Иванович Остерман и Иван, готовый, как он говорил беспрестанно, умереть, если случится беда, вместе с Петром. И эти слова не были притворными и лицемерными.

Алексей Григорьевич ушел от постели больного в непередаваемо подавленном состоянии. Уже дома он упал на пол и в истерике стучал кулаками, бился лбом.

Прасковья Юрьевна, боясь подойти к мужу, распорядилась позвать лекаря. Сбежались слуги, явился с заморскими лекарствами лекарь Вильям, сухопарый и молчаливый немец с большим мясистым носом.

Мало-помалу светлейший князь стал успокаиваться: на лбу выступил пот, перед глазами все плыло, как в тумане, и он не мог различить ничьих лиц. Прасковья Юрьевна цепко держала Вильяма за рукав.

— Нервы! Нервы! — говорил он ей. Княгиня несказанно обрадовалась, когда Алексей Григорьевич открыл глаза и попытался подняться с пола.

— Считай, все наши надежды пропали! Все! — сказал светлейший князь, невесть кому протягивая дрожащую руку. Служанка Лушка первая догадалась, подала руку хозяину. Тут же подняли князя, усадили в кресло. И вдруг, совсем неожиданно, Алексей Григорьевич залился смехом. Лекарь тут же стал растирать ему виски и затылок, повторяя одно: нервы! Кто-то принес крещенской воды. Прасковья Юрьевна брызнула ею в лицо светлейшего князя. От неожиданности князь вздрогнул, как будто проснулся. Все ждали гнева светлейшего, но вместо этого он сказал:

— Пойду, погляжу, кто там при императоре, а то еще заставят его какую-нибудь бумагу подписать. Александр-то Данилович Меншиков тому пример: угодил к матушке императрице с заготовленными бумагами.

Быть может, сам же и водил по бумаге ее рукой. Оба одинаково грамотны были. Кто там разбирал их подписи?

— Куда это ты клонишь? — спросил вошедший брат Сергей Григорьевич.

— Куда хочу, туда и клоню! — ответил сердито.— Лучше бы глядел в оба глаза, может, и понял бы, об чем говорю.

— Я только оттуда. Лизавета Петровна сидит подле него, за руку держит, целует, в чем-то кается, а плачет — как будто хоронить собралась.

— Чтоб мои уши не слышали про такое. Мыслимо ли?

— На все Божья воля,— услышал ответ.

И Сергей Григорьевич, и Алексей Григорьевич ясно понимали, что в случае смерти Петра всему роду Долгоруковых придет неминуемая опала: кому ссылка, кому каторга, а кому и того хуже.

— Кто, скажи, кто унаследует царский трон? — уставился блуждающим взглядом на Сергея Григорьевича светлейший князь.

— Одно спасение — женитьба на Екатерине. А так никакого спасения,— ответил брат.— Сам знаешь, самозванцев на Руси не любят. Сколько крови было пролито за этот трон! А кто нам, Долгоруковым, трон так просто отдаст?

— Может, войска подтянуть? Как Меншиков сделал?

— Так в полках тот любимцем был. Солдаты с ним на смерть ходили. Он только гаркнул полкам: «За царицу нашу — матушку! За законную царицу!» И в ответ все услышали громкое: «Ура-а-а-а! Виват!» Да ее и люд российский знал. Она во всех походах подле своего державного государя была. Там и детей рожала. Цесаревна-то Лизавета в день победы над Полтавой родилась. Истинная наследница возле нас ходит — Елизавета Петровна.

Алексей Григорьевич хотел было закрыть ладонями уши.

— Да погодь! Быть может, вразумишься.

«А я что задумал. Свою Екатерину царицей сделать! Петлю себе на шею накинул — только затянуть осталось. И затянется,— рассуждал Алексей Григорьевич.— И зачем я это затеял? Захотелось власти, постоять у престола. И уж если рассуждать по-христиански, то на что мне эта власть? Но дело сделалось, и отступать не стану, пока не оборвется последняя ниточка надежды».

Подбодрив себя, он протянул руку брату, чтобы тот помог ему подняться с кресла. Последние дни он сильно ослаб, похудел и очень изменился в лице, хотя никто не смел ему об этом сказать. Даже Прасковья Юрьевна. Ничего не сказав, еле переставляя ноги, вышел на крыльцо, где его дожидалась карета. «Прасковья Юрьевна распорядилась»,— догадался светлейший.

Возле постели Петра он увидел Евдокию Федоровну, беспрестанно целующую руку внука и причитающую: «Кровинка моя, кровинка последняя. Кто же проклял наш род? Я так радовалась, так надеялась увидать твоих внуков — моих внуков! Так надеялась...»

Оспенные волдыри, обметавшие во время жары губы Петра, исчезли, не стало сплошной красноты на шее. Он с трудом пытался приоткрыть глаза. Это сразу заметил Алексей Григорьевич. Без разговоров самолично стал тушить горевшие возле постели свечи.

— Катя,— неожиданно произнес Петр, обводя вокруг себя потерявшими блеск черными глазами.

К нему метнулся князь Иван.

— Друг мой! Единственный мой!

Наступила тишина, такая напряженная, будто только для того, чтобы услышать тихое императорское слово: «Спасибо, Ваня».

— Не думал, что так расхвораешься,— как можно безмятежнее ответил Иван.— Я тут подумал, что через неделю-другую мы можем поехать на охоту. Медведя в берлоге пошевелим! — Князь Иван знал, чем можно порадовать друга. В воспаленных глазах Петра сверкнул радостный блеск.

— Не уходи, Ваня.

Стоявший поодаль доктор Бидло поднес ко рту императора лекарство. Петр, морщась, проглотил, потом приподнял его голову, влил в рот несколько ложечек клюквенного соку.

— Полегчало,— встрепенулся Алексей Григорьевич и, не в силах скрыть радость, торопливо вышел из покоев, упал на плечо Андрея Ивановича Остермана и разрыдался:— Полегчало нашему голубчику. Полегчало.— Пройдя по коридору, вернулся, велел позвать к нему князя Ивана. «Надо просить Ивана уговорить Петра немедля обвенчаться с Екатериной. Сейчас же».

Узнав о намерении отца, Иван возмутился:

— Как можно? Как можно, папенька?

— Так он же в полном рассудке! — стоял на своем светлейший князь.

— Не могу! Не буду! Хоть режьте, хоть вешайте! — сжав кулаки, говорил князь, вытирая на шеках еще не высохшие слезы.— Как можно?

— Смотри, пожалеешь,— сказал тихо Алексей Григорьевич, заметив появление в дверях Андрея Ивановича Остермана и фельдмаршала Василия Васильевича Долгорукова.

— Папенька велит обвенчать императора с Катериной,— выпалил князь Иван, не переставая твердить одно:— Как можно? Как можно? У меня язык не повернется.

— Тогда придется остаться без языка! — гневно сказал Алексей Григорьевич сыну.

— Не гоже, Алексей Григорьевич,— остановил брата фельдмаршал.— Всему свой час.

— Так ему полегчало. Он даже про охоту с ним вел разговор.

На самом деле это было только временное улучшение. К нему то возвращалось сознание, то он снова впадал в бред: то звал Катерину, то Лизавету, то велел запрягать лошадей.

На другой день доктор, глядя на собравшихся родственников, развел руками. Это был приговор: надежды на спасение жизни императора нет. Надо было звать священника.

В Лефортовом дворце умирал российский император Петр Второй. Он был в беспамятстве. В зале по соседству собрались представители Верховного тайного совета. В головинском дворце собралась родня Долгоруковых. Алексей Григорьевич решил идти напролом.

— Надо написать завещание. Пришлите сюда Ивана.— сказал Алексей Григорьевич недрогнувшим голосом, и только нервные пальцы выражали его состояние.— А сами все ступайте туда. Там, наверное, уже верховодит Голицын.

Иван явился к отцу. Стоял, не поднимая глаз. Он знал: в эти минуты ждать от отца чего-то доброго не стоит.

— Напиши завещание: будто Его Величество собственноручно назначил нашу Екатерину, его обрученную невесту, своей наследницей,— опередил отца Сергей Григорьевич.— Знаю, писать ты по-петровски умеешь.

Разве только один Андрей Иванович вашу писанину отличить сможет.

— Ты сдурел! — возмутился фельдмаршал. — Или думаете, все в России очумели? Захотели всех Долгоруковых на плаху! Позор! Умом рехнулись! Не вздумай, Иван, делать этого! — Василий Владимирович круто повернулся, но тут же вернулся: — Бога побойтесь: император-то еще жив!

— Ступай, коли пошел! — строго сказал брату Алексей Григорьевич.— Да не забудь: Екатерина обручена с императором!

Никто не ожидал, что во дворец к Долгоруковым явится Андрей Иванович Остерман. Кого-кого, а его не ждали.

На этот раз по его лицу текли неподдельные слезы, он искренне страдал. Он казнил себя, что не смог уберечь своего воспитанника, не смог убедить остаться в Петербурге, где меньше забав и развлечений. Или надо было посоветовать Петру съездить в Европу, посмотреть на мир. Кто же будет продолжать начатое дедом великое дело реформирования государства?! Да мало ли что можно поставить себе в вину? Андрей Иванович не мог найти для себя успокоения. Он помнил день его рождения и никак не думал, что придется увидеть его последний час.

Все смотрели на вице-канцлера. По его лицу нетрудно было догадаться: Петра не стало.

— Порви, порви, Иван, если что задумал написать,— тихо сказал прозорливый Остерман, зная уловки царедворцев.— Во имя доброй памяти друга — порви. Нет у тебя больше заступников.

В это время над телом Петра рыдала Евдокия Федоровна:

— На кого ты, Петруша, оставил святую Русь? Осиротела, осиротела Россия. Что же не бьют в колокола?

— Бьет, бьет колокол, — утешали ее.

Царица Евдокия Федоровна прожила недолго после смерти внука.

— Свет не мил,— были ее последние слова.— Будь проклято это царство!

Глава тридцатая



Еще не успели отпеть императора, как верховники собрались в соседнем зале, чтобы решить вопрос престолонаследия. Возглавлял совет Голицын, Петр Великий считал его одним из образованнейших русских людей. Еще в молодые годы он повидал свет, бывал в других государствах, получил хорошее образование. По просьбе императора перевел и напечатал «Введение в трактат об обязанностях человека и гражданина», трактат «О праве войны и мира».

На все, что стало твориться при Петре Втором, князь Голицын смотрел мрачно. Он, как и большинство родовой знати, считал, что только Верховный тайный совет способен держать порядок в стране и что вся власть в России после смерти Петра Великого стоит вне закона. Именно верховники, не дав на этот раз никому опомниться, дружно явились в Кремль, решив, что только они, члены Верховного тайного совета, способны решить вопрос дальнейшей власти. Членами этого совета были Дмитрий Михайлович Голицын, Михаил Михайлович Голицын, князья Василий Дмитриевич и Василий Лукич Долгоруковы и канцлер Российской империи граф Гавриил Иванович Головкин.

Вид их был величествен: степенные, при всех регалиях и наградах, они являли собой цвет нации. Каждый знал себе цену, на протяжении всех лет царствования Петра Великого они были главными столпами Отечества, служили ему верой и правдой. Они были полны решимости и на этот раз не дать посадить на престол самозванца. Пришли Алексей Григорьевич и Сергей Григорьевич Долгоруковы, Андрей Иванович Остерман, явился архиерей Феофан Прокопович. Верховники переглянулись: они не желали вводить в государственные дела духовенство и без особых церемоний объявили ему об этом.

Воцарилась неловкая пауза. Феофан Прокопович покинул зал.

Из-за стола встал Дмитрий Михайлович Голицын. Опершись о стол, он молча обвел взглядом своих сподвижников. Лица у всех были печальными.

— Преждевременная кончина государя Петра Второго,— сказал он,— есть истинное наказание, ниспосланное Богом за их грехи. Господь лишил нас молодого государя, на которого, по всей справедливости, мы возлагали великие надежды. Мужская линия Романовых пресеклась. Есть дочери Петра Первого, но о них думать нечего. Завещание, оставленное Екатериной, не может иметь значения. Нам надобно думать о новой особе на престол и также о себе.

Вдруг раздался голос Сергея Григорьевича Долгорукова:

— Покойный государь оставил завещание!

— Хватит нам ложных завещаний! — багровея, ответил Голицын.— Невеста покойного государя еще не стала его женой, и потому к ней не может перейти право на престол.

Но Долгоруковы не собирались так просто сдаваться, оставлять борьбу за власть, пока есть хоть малая надежда. Князь Василий Лукич Долгоруков вступил с Голицыным в спор.

— Подложно то завещание, если оно и написано! — вставая, сказал фельдмаршал Василий Владимирович Долгоруков.— Да-да, Василий Лукич. Подложно.

Светлейший князь Алексей Григорьевич закрыл уши ладонями, не желая больше ничего слышать. «Все пропало! Все пропало!» — стучало в висках. Затея стать во главе русского престола рухнула. Были возле трона Долгоруковы, и не стало!

Неукротимый Голицын продолжал:

— Было бы всего справедливее и разумнее провозгласить на престол царицу Евдокию, ведь она бабка покойного императора...— Дмитрий Михайлович пристально поглядел на обеспокоенные, нервные лица.— Хочу сказать и о законных дочерях. Я бы не затруднился без дальних рассуждений указать на старшую из них — Екатерину Ивановну, если б она уже не была женою иноземного государя — герцога мекленбургского. Но есть другая сестра — Анна Ивановна, вдовствующая герцогиня Курляндская! Почему бы ей не быть нашей государыней? Она еще в таких летах, что может вступить вторично в брак и оставить после себя потомство.

Нам всем известна доброта ее и прекрасные качества души. Говорят, будто у нее тяжелый характер: но столько лет она живет в Курляндии — и не слышно, чтобы там против нее возникали какие-либо неудовольствия.

— Сам Бог внушил тебе, Дмитрий Михайлович, такую мысль,— поддержал Голицына фельдмаршал Долгоруков.— Она исходит от чистосердечной любви твоей к Отечеству. Виват императрица Анна Ивановна!

— Виват Анна Ивановна! Виват! — раздались голоса.

— Остановитесь! Как бы не угореть от радости! — с издевкой сказал канцлер граф Гавриил Иванович Головкин.— Анна Ивановна! А нам надо как след подумать и в этой власти себе воли прибавить. Долго ли нам терпеть, что нам головы секут. Нам, истинным хозяевам России, воля нужна, и надобно подумать о том, как законно зашишать наши права и как ограничить царскую власть. Анна Ивановна — не Петр Алексеевич. Это надо помнить. Как ты думаешь, Андрей Иванович? — обратился он к Остерману. Остерман был не готов к такому вопросу. Поднялся со стула, осмотрел каждого, будто видел всех впервые. Лицо его приобрело страдальческую гримасу.

— Помилуйте! — сказал лукавый царедворец.— Я шеловек иносемного происхоштения.— Эти слова он произнес с таким подчеркнутым акцентом, что Головкин сморщился, чем немало удивил всех. Взвесив все и быстро сориентировавшись, Андрей Иванович начал новую игру.

— Бестия! — только и буркнул кто-то сидяший сзади него.

Было уже далеко за полночь. Привыкшие рано ложиться, престарелые верховники поочередно зевали.

— Утро вечера мудренее,— нашелся Дмитрий Михайлович, уставший прикрывать ладонью рот.— Поедемте по домам. Утром, к десяти часам, все договорим, напишем и объявим Сенату, генералитету и всем, кому это следует знать.

С кресел поднимались тяжело: кого-то ударило в спину, у кого-то неловко подвернулась нога и хрустнуло колено, у Дмитрия Михайловича закружилась голова, но, какое-то время постояв, он сделал вид, что не торопится.

Один за другим от высокого кремлевского крыльца отъезжали по домам верховники, каждый держа при

себе крепкую думу: не упустить в составлении бумаг выгоды и послабления дворянству, которого их лишил Петр Великий.

Алексей Григорьевич оказался на крыльце один: всех его прислужников как корова языком слизнула. Он даже не поверил собственным глазам, и только кучер, проснувшись, пристально смотрел на своего хозяина. Он смотрел на него и не узнавал: на крыльце стоял сгорбившийся человек с втянутой в плечи головой. Он стремглав подбежал к Алексею Григорьевичу.

— Погодь! — остановил его хозяин.— Погодь!

В ночной тишине волком выла разыгравшаяся метель. Почти рядом раздался грохот колотушки околоточного, да поодаль перебегала площадь поджавшая хвост собака. В карету князь вползал чуть не на коленях: не было сил ни в руках, ни в ногах.

Привратники, как всегда, быстро распахнули двери, поясно кланяясь. Прасковья Юрьевна, потерявшая сон, ожидала Алексея Григорьевича, беспрестанно гадая на картах и со слезами отшвыривая всю виневую масть. Начинала гадать заново. Когда служивая девка сообщила ей, что явился светлейший князь, трижды перекрестилась, выходя навстречу мужу.

— Не пригодилось,— вытащив из-под обшлага написанное Иваном завещание от имени императора, он стал рвать его на мелкие кусочки, разбрасывая по сторонам.— Все кончено, разлюбезная Прасковья Юрьевна. Как есть все! Собирай веши,— говорил тихо и спокойно.— Завтра отчалим в свои Горенки. Нацарствовались.

Княгиня молча уставилась на Алексея Григорьевича. А у него уже не было сил не только объяснить что-либо, но даже пошевелиться.

— Не поняла, что ты сказал про Горенки? — поправляя сбившийся капор, спросила Прасковья Юрьевна.

— Самим надо выехать из дворца, пока не вышвырнули.

— Господи! Ладное ли ты сказываешь или шутить изволишь, Алексей Григорьевич? — не веря собственным ушам, ужаснулась княгиня.— Кто посмеет?

— В Горенки уезжать надо, да побыстрее! — падая на постель в кафтане и прикрыв голову подушкой, повторил он.

Во дворце поднялась беготня. Никто ничего не мог толком понять, но из всех уст слышалось: Горенки.

Обратно в Горенки! Хозяин приказал собирать весь скарб. Поди, отдалят теперь от власти!

— Из разу в раз так: умирает император: власть меняется,— хладнокровно ответил ключник.— Знать, повалили верховники нашего хозяина.

— Экий ты говорливый, отрежут язык-то.

— Наше дело холопское: в Горенки так в Горенки. А тамо получше, повольнее.

— Тише, тише ты! — толкала в бок ключника горничная, прибежавшая из княжеских палат.— Прасковья-то Юрьевна в обморок упала. Ногами как давай сучить по полу, девки на колени пали, прижали да скорее за лекарем. А Екатерина-то заперлась и к себе никого не пущает и даже голосу не подает. Княжна Елена зовет ее, зовет, а она будто не слышит. Та ужо камердинера просила нажать плечом на дверь да выдавить ее, ан тот побоялся.

— Быть может, Катерины Алексеевны нету там.

— Да тамо она. Я сама видела: зашла со своими фрейлинами, и все молчат, будто воды в рот набрали,— тараторила вполголоса напуганная служанка.— Тамо оне.

Служанка говорила правду. После того как скончался император, всем велено было выйти, бабку Евдокию Федоровну еле увели от постели внука.

Екатерина прибежала со своей свитой в покои, велела запереть все двери и молчать, пока не прибегут за ней посыльные, не станут нижайше просить ее самые именитые дворяне. Как-никак, а она царская невеста! Время шло. Прошла ночь, наступил рассвет, но никто, кроме княжны Елены, не стучался в ее дверь. Ни папенька, ни маменька, ни брат Иван.

Оказалось, что ее, бывшую невесту, все забыли, стоило императору закрыть глаза. Что-то очень страшное, необъяснимо страшное поселилось в душе Екатерины. Ей казалось, что все это неправда, что не может быть такого безразличия к ней со стороны не только царских придворных, но и многочисленной родни.

Но так было.

— Какое коварство и лицемерие,— сказала Екатерина.— Вон отсюда! Вон! — указывая на дверь своим фрейлинам, закричала она.— Вы, я знаю, тоже готовы оставить меня. Я не стану ждать этого часу! Я выгоню вас сама, сама! Ясно вам? Вон с моих глаз!

— Милая моя Катерина. Куда я без тебя? — упала на колени няня.— Меня-то куда гонишь?

— Ты оставайся. С тобой мне придется, пожалуй, век коротать.— Глаза Екатерины сверкнули недобрым взглядом. С гордо поднятой головой она величественно пошла по широкому коридору дворца навстречу светлейшему князю Алексею Григорьевичу.

— Ну что, папенька? — язвительно спросила она отца, готового упасть к ней в ноги. Но этого тона хватило ненадолго.— Неужто Петра не стало? Неужто это правда? Боже милостивый, за что?

— После, Катерина, после. Не рви сердце. Будет еше время обо всем поговорить. Ступай, помоги маменьке, да в Горенки собирайтесь.— Он сказал это устало, с таким равнодушием, что княжне показалось, будто он был не в уме, что его будто подменили или в самом деле у него что-то неладное случилось с головой.

Над столицей занимался рассвет. Сквозь морозную дымку вырисовывались кремлевские башни, купола церквей. Равномерное цоканье копыт будило промороженную землю, а разноголосый звон колоколец возвещал о съезжавшихся к Кремлю каретах. Началось очередное заседание Верховного тайного совета.

— Утро вечера мудренее,— раскланялся со всеми Дмитрий Михайлович, получив в ответ подобострастные поклоны. По всему было видно: мало кто из этой государственной элиты спокойно и безмятежно коротал остаток ночи.

Управитель Верховного тайного совета Василий Петрович Степанов сразу же уселся за маленький письменный столик, где предстояло записывать все условия, какими должна быть ограничена власть Анны Ивановны, поскольку ее и только ее решили они возвести на российский престол.

Предложения посыпались со всех сторон. Заскрипело гусиное перо. Не в силах сразу сформулировать мысли, Василий Петрович скоро взмолился:

— Не успеваю!

Недолго думая, канцлер Головкин, повернув голову в сторону смиренно сидевшего Андрея Ивановича Остермана, заявил:

— Чего мучаемся? Андрей Иванович чего отмалчивается? Он умеет быстро мысли выстраивать. Выручай, Андрей Иванович.

У Остермана сжалось сердце. Кто бы другой на его месте не отказался, но он знал и предчувствовал, что

бумаги, ограничивающие власть самодержавца, могут кончиться виселицей. Но отказать верховникам не смог. Он хорошо знал русское общество и был убежден, что в России не может быть другого правления, кроме монархии. Другому правлению не бывать, а те, кто станут стоять на пути этого правления, могут стать лютыми врагами нового монарха.

— Я уше скасал сфою пришину,— прятал глаза Остерман.

«Сколько волка ни корми — все в лес смотрит»,— подумал Дмитрий Михайлович.

Тогда встал Василий Лукич.

— Как я понял первую мысль: избранная императрица должна управлять государством по определениям Верховного тайного совета. Второе: самовольно не может объявлять войну и заключать мир. Третье: не может назначать податей и располагать важными государственными должностями. Четвертое,— продолжал Василий Лукич,— не может казнить дворян без доказательства преступления! Пятое: не может конфисковывать имущество. Написал? — спросил канцлер Головкин.

Писавший кивнул.

— Далее пиши, шестое: не может распоряжаться государственными землями. На супружество надо поставить ограничение, а вдруг да, почуяв власть, такого муженька выберет — всех нас в бараний рог согнет.

— Седьмое,— напомнил Василий Петрович.

— Так,— призадумался Андрей Иванович и продиктовал: — Седьмое: не может вступать в супружество и назначать себе преемника без согласия Верховного совета.

В кабинете стояла тишина.

— Кажись, все,— с облегчением выдохнул Дмитрий Михайлович.

— А что будет по сему обещанию не исполнено, то лишена будет короны российской,— закончил Василий Лукич Долгоруков, и всем показалось, что на этом можно поставить точку да расписаться.

Чинно и важно вошли верховники в зал, где их ждали члены Сената, Синода, генералитета и много прочих других чинов. Было зачитано все, о чем сговорились и что представили для общего обсуждения.

— Кто согласен с этими кондициями,— было испрошено,— подтвердить это прилюдно громким «Виват!».

— Анну Ивановну на престол! — понеслось со всех сторон.

Первосвященник Феофан Прокопович предложил отслужить в Успенском соборе благодарственный молебен, но его остановили.

— Вначале надобно получить согласие на царствование.

Назначили к ней послов: Василия Лукича Долгорукова, Михаила Михайловича Голицына и генерала Леонтьева, которые уполномочены были передать, что написанные ограничения на царствование Анны Ивановны — это условия и желания всего русского народа.

Как выяснилось после, своей подписи Андрей Иванович не оставил ни на одной из посланных в Митаву бумаг, как только на письме к государыне.

В Москве было неспокойно. Можно было ожидать всего. Высшее дворянство со всей России, съезжавшееся на свадьбу императора, а вместе с ними генералы и офицеры начали призывать войска к бунту. Зашевелились знатнейшие из шляхетства, пытавшиеся напасть на верховников с оружием. Другие роптали на то, что «их в содружество не призвали»!

Появись в эти минуты такой человек, как светлейший князь Меншиков, или будь в это время подружнее род Долгоруковых — все могло круто повернуться. Но все растерялись, остановились на полпути, самолично отдали власть, которая лежала под ногами.

Тем временем мчались в Митаву послы Верховного тайного совета. Пытаясь опередить их, неслись гонцы от Ягужинского с уверениями, что затея верховников зряшная. Тайно мчался гонец от владыки Феофана Прокоповича с письмом к будущей императрице, в котором говорилось, что после вступления на престол она может вовсе отменить условия, выдвинутые государственными затейниками.

А пока над столицей стоял нескончаемый звон церковных колоколов, возвещавший о преждевременной смерти императора.

Глава
тридцать первая



Наталью Борисовну будто кто-то толкнул. Она пружинисто села на постели и вскрикнула. Из дальнего угла спальни, освещенного тусклым светом ночника, мелькнула быстрая тень. Прислужница Груша, бесшумно ступая босыми ногами по ковру, оказалась возле постели графини.

— Спи, голубушка наша,— поправляя одеяло, шепотом говорила она.— Ишо рано.

— А чего это, Груша? Разве ты не слышишь — колокол звонит? Отчего среди ночи, знать, какая беда?

— Звонит,— согласилась прислужница.

— Так поди узнай, что стряслось. Вчера княжич Александр за Ванюшей приезжал, сказывал, мол, император его к себе звал.

— Кабы какая беда не стряслась.— Прислужница вовремя прикусила язык.

— Чего ты сказала?

— Все под Богом ходим.

— А, может быть, пожар? — все более волнуясь, проговорила Наталья Борисовна. Спрыгнув с постели и очутившись возле окна, стала торопливо раздергивать тяжелые шторы из красного сукна. Но у нее это плохо получалось. Ловкой белкой она прошмыгнула в щель между двумя половинами штор, вскочила на подоконник. Вглядываясь в темную даль ночи, ничего не могла увидеть.

— Окна запотели. Ничего, кроме неба, не вижу,— сокрушалась Наталья Борисовна.

Проворная прислужница вмиг оказалась возле хозяйки, одним движением развязала за спиной обшитый кружевами фартук, стала протирать стекла.

Колокол на колокольне Ивана Великого прозвучал гулко и стих.

— Может, показалось, что бил колокол? — Недоброе предчувствие приостановило ее дыхание.

Этот звон колокола стал началом ее бесконечных страданий, и первым почувствовало это ее сердце.

— Глянь-ка, радость моя! — радостно заговорила Груша.— Глянь-ка! Антон — Поперек Нога затопил баню! Глянь-ка, дым повалил к небу. Али сдурел? Этак рано. Видать, и вправду говорят, что он по ночам в бане свою ногу трет — выпрямляет да чертей на помощь сзывает. Сказывают, он ране-то вовсе ногу волочил, а сам на заднице ползал да руками об землю упирался, а тепереча ходит. Поди, верно говорят.

Наталья Борисовна не слышала прислужницу. Она стояла словно окаменевшая.

В дверях спальни без стука и без всякой прислуги, еле держась на ногах, появилась бабушка графиня Мария Ивановна в наспех наброшенном шелковом капоте, из-под которого была видна исподняя белого полотна рубаха, с прошвами по подолу. Голова ее тряслась, выбившиеся из-под ночного чепчика седые пряди закрывали щеку, обрюзглое лицо кривилось. При виде Натальи Борисовны она закрыла сухими ладонями лицо, еле слышно выдавила из себя:

— Беда. Пробил колокол Ивана Великого-о-о-о! — И, придерживаясь рукой о косяк двери, медленно повалилась. Груша не успела поддержать ее, истошно закричала. К спальне графини из всех дверей бежала прислуга.

— Бабушка, нет никакой беды, нет пожара,— оказавшись возле Марии Ивановны и заправляя под чепчик ее седые волосы, успокаивала ее Наталья Борисовна.

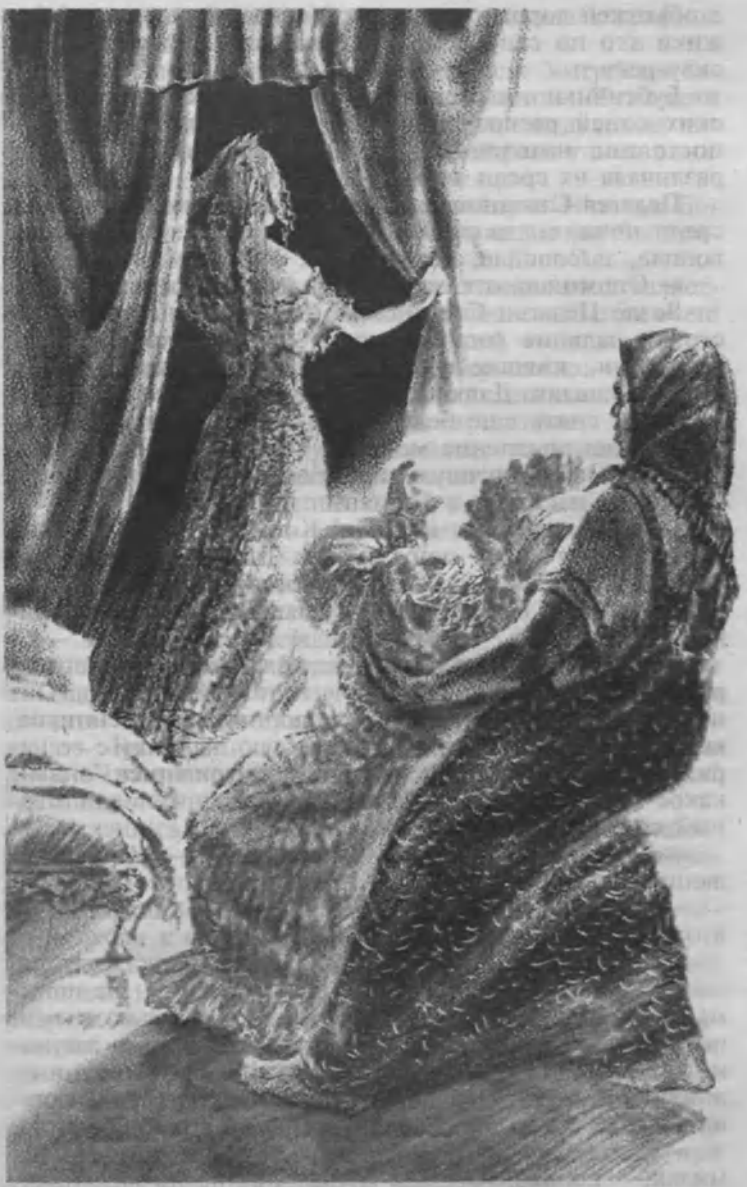
— Какой пожар, моя горемычная! — каким-то незнакомым голосом проговорила старая графиня.— Колокол бил о кончине государя! Не приведи Бог, что теперь будет! Не приведи Бог! — прожившая немало лет, она хорошо знала порядки. Знала, что со смертью государя мало кто из фаворитов оставался на своем месте.— Что после этого колокольного звона станет с тобой, моя милая? Не успела взлететь, а уже опалила все крылышки. Что с тобой станет?

— Со мной? — со страхом спросила графиня.

— Боязно. Ох как боязно.

Сбежавшиеся слуги отвели Марию Ивановну в опочивальню.

Остаток ночи Наталья Борисовна провела возле окна, прислушиваясь к звону колокольчиков, доносившихся



с объезжей дороги, по которой спозаранку уезжали мужики кто по сено, кто по дрова, кто по воду на Москву-реку.

Бубенчики на расписных дугах резвых долгоруковских коней распознавали во всей столице, а уж она, постоянно находясь в ожидании Ивана Алексеевича, различала их среди любого звона.

Пелагея Степановна не слышала колокольного звона среди ночи, спала до самого обеда, а как узнала — завопила, заголосила, запричитала:

— Опомнись, откажись, пока не поздно, от свадьбы.

Возле Пелагеи Степановны с заплаканными глазами стояли дальние родственники. Услышав колокольный звон, они, жившие в других усадьбах, примчались на лихих лошадях. Дядюшка Алексей Иванович Салтыков не успел снять еше богатой, на собольем меху, шубы. Это он, на удивление многим, подарил при обручении молодым самую лучшую карету в столице, сработанную искусным мастером в Германии.

— Экие капиталы вбухали! Кольца-то, кольца одни обручальные какую цену имеют. Твое, Наталья Борисовна, обошлось в шестнадцать тысяч.

— А Ивану в двенадцать! — визгливо вторил дядюшке братец.

В этих истошных причитаниях многочисленной родни Наталья Борисовна ничего не могла понять. Она не знала, как оборониться от злобных родственников, которые еше недавно сдували каждую пылинку с ее нарядов. Закрыв уши ладонями и зажмурившись, она на какое-то мгновение подумала, что ей снится кошмарный сон. Но это была явь.

— Опомнись! Откажись от венчания! — кричал дядюшка.

— Или жениха не найдется на этакое богатство? — вторила ему Пелагея Степановна.

Бедная Наталья Борисовна, хрупкое и, оказывается, совсем беззащитное создание, еще не знала и не понимала истинной причины непочтения не только к ней, но и к ее суженому. Она открыла глаза. Сквозь затуманившие взгляд слезы она различала фигуры обозленных, шипящих ей что-то родных. Сквозь этот злобный наступательный говор прорвался тоненький голос бабушки:

— Наташенька, горемычная ты моя, не слушай их, милая,— поддерживаемая служанкой и, по-видимому,

собравшая в себе последние силы, подошла к графине и обняла ее трясущейся рукой.

— Государь, Наташенька, скончался. Умер ваш защитник и благодетель. Теперь все полетит.— Тут плечи старой женщины затряслись, но, переведя дух, она добавила: — Чего ждать от людей, коли родня этак озлобилась.

— Не может того быть! — вскрикнула Наталья Борисовна.— Не может того быть. Ванюша давно бы прислал нарочного.

— Очнись ты! Твой Долгоруков в ногах отца валяется, а может, уже вместе с отцом в подземелье заточен!

— Вон из моей опочивальни! Вон! — будто очнувшись ото сна, закричала Наталья Борисовна.— Без вас знаю, как мне поступить. Вон с моих глаз.

Все смолкли. Только на миг представила графиня разлуку с любимым и тут же поняла, что готова защищать его, только бы хватило сил.

— Я знаю, при несчастье и правда не помогает. Я никогда не оставлю моего суженого! Прикажите подать карету. Я еду в Кремль.

— Безумная! Откажись от своего! — Николай Борисович в гневе сплюнул на пол.

— Прикажите закладывать карету! И вон из моей спальни! — Наталья Борисовна не узнавала себя. Если бы еще вчера ей сказали, что она осмелится так гневно кричать на своих тетушек и дядюшек, она бы не поверила.— Вам бы надо в такие минуты утешать меня. А вы? Что вы требуете от меня? Чего вам стало жаль? Кого жаль? — властно вдруг спросила графиня.

Оставшись одна с прислужницей, Наталья Борисовна беззвучно зарыдала, уже не надеясь на чьи-нибудь помощь и сочувствие.

— Что же Ванюша не едет? — спросила она, медленно подходя к окну.

Солнце поднялось над горизонтом, низкие облака торопились в сторону Кремля, зернистая изморозь серебрила даль. Вдруг со стороны Кремля загрохотали пушечные выстрелы. В испуге графиня отскочила от окна, приказав подать ей для выезда траурное платье. «Несчастный мой друг»,— подумала Наталья Борисовна о своем суженом, зная, как привязан к нему был Петр и с какой трепетной верностью нес свою службу при императоре главный фаворит царского двора.

— Экипажи готовы,— понуро сказал лакей, молодой парень с румяным лицом, недавно привезенный из дальней шереметевской деревни и еще не научившийся лукавить и лицемерить. Он громко швыркал носом, и по-прежнему старший управитель не обращал на это внимания или просто не говорил парню, что при господах не следует ни сморкаться, ни икать, ни швыркать носом.

— Не велено было вам закладывать лошадей, да сама графиня Мария Ивановна на всех затопала, застучала о пол палкой,— несмело озираясь по сторонам, сказал деревенский паренек.— И сразу все стихли.

Она вышла на широкое крыльцо, где еще недавно толпились провожающие ее родственники. Но каково же было ее удивление, когда она увидела, что на арабском скакуне в сопровождении двух драгун к их дому мчался сам Иван Алексеевич. Он был жив, здоров, невредим! Она даже не поверила собственным глазам — отвернулась, снова посмотрела на дорогу. Да, сам Иван Алексеевич. Одетая в черную опашень, сквозь прорези которой было видно черного бархата платье, она еле сдерживала себя, чтобы не броситься навстречу князю.

Ветер раскидывал тяжелые полы одежды, и издали длинные рукава казались крыльями. Он не мог ошибиться — это была его Наташа. Одна-одинешенька. Куда-то подевалась многочисленная родня, выбегавшая встречать его, поясно кланяясь.

Печаль и грусть были на его лице.

— Голубушка моя! — соскочив с седла, Иван обнял ее обеими руками. Она безмолвно прижалась к нему, не в силах произнести ни слова. Их просто не было.— Горе! — только и мог вымолвить князь. Наташе, прижавшейся к груди, передавалось его волнение.

Из всех окон особняка из-за дорогих занавесей на них были направлены любопытные взгляды тех, кто еще вчера сгибался перед князем в три погибели. Одни испытывали стыд, другие смущение, третьи неприязнь и злобу.

— Не кручинься, радость моя! — успокаивал князь.— Лишь бы не умерла наша любовь.

Князь проводил графиню к карете. Они поехали во дворец, где лежал умерший император Петр, возле которого безутешно рыдала царица Евдокия Федоровна.

Никто не обратил внимания на приезд графини Шереметевой, если не считать Алексея Григорьевича, вид

которого был встревожен. Он поклонился Наталье Борисовне, приставил возле нее одну из фрейлин двора. Да и заплаканная цесаревна Елизавета не обошла ее своим вниманием — приостановилась, скорбно покачала головой. Она по-прежнему искала сочувствия, горе заставило ее сбросить мишуру величия, с которым она всегда держалась. В этом неожиданном горе она вдруг растерялась, но, встретившись со скорбным взглядом Натальи Борисовны, сама покровительственно прижала ее к груди.

— Выходи за Ванюшу замуж. Не бойся. Он честен и добр!

Такого Наталья Борисовна не ждала. Чего только не наговаривали на гордую дочь Петра, которой по всему надлежало бы с сего дня стать законной царицей российского государства. Она была полна свалившимся на нее горем, металась, не зная, к кому приклонить голову. Наталья Борисовна показалась ей самой искренней и чистой.

— Не бойся, Наташа! — снова повторила Елизавета Петровна.— Я знаю: Долгоруковым не бывать у престола, но и без престола жить можно.— При этом красивые глаза Елизаветы сверкнули как-то по-особенному. Она хотела еще что-то сказать, но, узнав издали шаркающую походку Андрея Ивановича Остермана, шепнула: «Вот кто сумеет перехитрить всех!» — Тут она горделиво откланялась и в сопровождении фрейлин, облаченных в черные одежды, удалилась.

— Пойдем, Наталья Борисовна,— услышала она голос сзади. Это был Алексей Григорьевич. Он мало походил на себя: щеки провалились, нос заострился, лицо небритое.

Он взял Наталью Борисовну под локоть, повел в царские покои, откуда доносился громкий плач царицы Евдокии. На подоконниках стояли золоченые чаши со святою водой. Издавшего в агонии последние слова: «Везите меня к сестрице!» — и сразу же испустившего дух императора уже омыли, и теперь он покойно лежал со сложенными крест-накрест руками. Она пристально посмотрела на строгий лик императора и не могла представить, что уже никогда не увидит, не услышит его громкого смеха. Он показался графине старше своих лет.

Никто не вслушивался в плач царицы, но когда толпившаяся знать услышала голос Екатерины Долгору-

ковой, все замерли. Рассеивался миф, что ее силой, без любви обручили с Петром.

— Разве я тебя не любила, мой суженый? Разве не была я тебе верной подругой? Разве не ждала я каждодневно встречи с тобой? На кого ты оставляешь нас?

Плач царицы стал тише. Она не повернула голову к плачущей Екатерине, а только молча протянула ей свою руку и долго держала, выговаривая сквозь рыдания:

— Внука, внука, наследника не дождала-а-ась!

Наталья Борисовна, на миг представив себя на месте Екатерины, не смогла сдержать слез. Как похожа ее судьба на Екатерину. Ее родные требуют отказать князю Ивану, а это значит, она должна похоронить саму о нем память. «Ни за что на свете. Ни за что! — стучало в сердце.— Ни за что!» Подошедшего к ней князя Ивана она крепко схватила за руку.

— Все смертны, Наташа! — князь старался казаться спокойным, чувствуя сильное волнение невесты. Он не знал о ее разговоре с родными, а только догадывался, поскольку никто из родни не вышел встретить его.— Не бойся, радость моя! — И, немного погодя, тихо спросил: — Быть может, тебя отвезти домой? Государя нашего и заступника уже не воротишь.

Наташа в ответ кивнула. Она понимала: делать ей здесь нечего, кроме как вызывать пересуды любопытствующих.

Домой графиня вернулась в сумерках: зимний день короток. Привратник уже распахнул ворота. В графских хоромах стояла тишина, если не считать, что конюхи, распрягая коней, легонько посвистывали, отводя их в конюшни, да позвякивали колокольцы на дугах и цепочки на сбруях.

Проходя мимо икон, висевших в красном углу, она вдруг приостановилась, будто впервые их увидела. В доме Шереметевых иконы были во всех покоях, а в одних, где чаще всего проходило домашнее моление, висели наподобие церковного иконостаса.

Наталья Борисовна пошла туда. В медных подсвечниках уже горели восковые свечи: она глянула на образа — ей словно кто-то подкосил ноги — и упала на колени.

Домашний священник отец Серафим готовился к вечерне. Тихо подошел, ласково положил руку на голову Натальи Борисовны. Он, знавший ее с первого дня

появления на свет, деливший со своими господами радости и горе, сейчас был безмолвен. Графиня припала губами к его руке, пахнущей ладаном.

— Молюсь, милое мое дитятко. Молюсь! — тихо сказал Серафим.— Прошу для тебя крепости духа.

Графиня молилась долго. Подняться с колен ей помогли девушки. В свою опочивальню вошла погруженная в тягостные раздумья о своем суженом. «Ничего, Ванюша, переживем,— успокаивала она себя.— На то и созданы мы, чтобы страдать». И тут в дальнем углу увидела она сидевшую в кресле бабушку. Не было сомнения, что бабушка ожидала ее. Правая рука гладила бархатный подлокотник, чем выказывалось ее волнение.

— Оставь Долгорукова,— услышала Наталья Борисовна тихий, но твердый голос Марии Ивановны. По-видимому, старая женщина решила без всяких утешительных разговоров высказать ей свое твердое решение. Да и не только свое, а всей родни, которая все это время провела за общим столом.

В первую минуту Наталья Борисовна растерялась: всегда обласканная ее заботой, не могла поверить, что дорогой ей человек, всегда желавший ей счастья, вдруг произнес такие слова. «Неужели она не понимает, что нет мне жизни без моего возлюбленного»,— пронеслось в голове девушки.

— Пеняй на себя,— еще суровее был голос бабушки.

— Сам Бог отдал меня в невесты Ивану Алексеевичу! — дрогнув, ответила графиня.— Я не изменю своего решения.

— Проклинать не стану, но и благословения не дам на этот брак!

— Грех на душу берете,— был мгновенный ответ скромной и послушной Натальи Борисовны, от чего у властолюбивой Марии Ивановны перехватило дух.— Моя свадьба будет в назначенный день,— добавила она твердо.

— Пеняй на себя, Наталья,— строго сказала Мария Ивановна и так проворно встала из кресла, что служанки переглянулись между собой. Всегда степенная, малоповоротливая, она вдруг была поднята с кресла какой-то невидимой силой.

Родня сдержала свое слово. В день свадьбы в усадьбе Шереметевых была тишина: ни гостей, ни коней, ни карет. Стыдливо и виновато опускала глаза прислуга.

Знатные родичи поспешили уехать кто куда: одни на богомолье, другие в гости, кто просто сидел, закрывшись в покоях.

Наталью Борисовну одевала мамзель Штауден и прислужница Груша — без песнопения, без родительского наставления и благословения. Она была в своих покоях, дрожа, как бы князя Ивана не отговорили от свадьбы. Но Долгоруковым было не до этого.

Князь Иван в доме своих родителей собирался, наряжался в венчальный наряд. По обычаю, ему должны были дать знак, когда ехать за невестой. Но время приближалось, а от Шереметевых никто не приехал. Он смекнул, в чем дело. Недолго раздумывая, отправился в усадьбу Шереметевых в сопровождении свиты братьев, сестер и священника. Сам князь ехал верхом на красиво убранном коне в сопровождении своих дружков и драгун.

Наташа ждала его уже на крыльце. Тут не вытерпело сердце тетки Пелагеи Степановны. Боясь людского суда, распорядилась для встречи князя выслать на крыльцо свечников со свечами. Вышли и три каравайщика с блюдами, на одном лежала кика — головной убор замужней женщины с принадлежностями. Все продумала тетушка, но сама, по сговору с родней, не показалась на крыльце.

Венчание проходило в подмосковном селе, в пятнадцати верстах от столицы. Две милосердные старушки из жалости к графине сопровождали ее. Если б не они, пришлось бы взять с собой только прислужницу Грушу. Так сурово наказали родные любимую дочь великого фельдмаршала.

По истечении лет, вспоминая свадебный день, сама Наталья Борисовна скажет: «Наш брак был плачу больше подобен, чем веселью». И это было истинной правдой. Как и то, что графиня Шереметева стала образцом для многих поколений русских женщин, способных во имя любви пожертвовать всем.

Глава
тридцать вторая



Настегивая лошадей, делегация подъезжала к Митаве. Это был замок курляндских герцогов, построенный немецким орденом как неприступная крепость, он мало чем изменился за века: был такой же мрачный, с толстыми стенами, узкими окнами, правда, теперь вокруг замка, среди безлесой и болотистой местности, были разбиты парки и сады. Переехав через реку Дриз экипажи остановились. Лошади последние километры мчались рысью и устали. Терпкий пар поднимался над спинами, гривы заиндевели. Кучера, одетые в теплые армяки, спешно накидывали на спины лошадей попоны.

Из карет, охая и кряхтя, выходили посланцы Москвы, разнаряженные в дорогие дорожные шубы, покрытые нарядным бархатом модных цветов.

Студеный ветер свирепствовал на раздольях речной низины, а снежная дымка закрывала дали. Сквозь эту хмарь курляндский замок был почти не виден, если не считать остроконечного шпиля.

Василий Лукич, обтирая ладонью отросшую бородку и поправив шелковистые усы, был, несмотря на усталость, в хорошем расположении духа. Он вспоминал вдовствующую герцогиню, которая любила принимать от него комплименты и вести с ним амурные разговоры. Тем более что он вез ей такой подарок, такое решение Тайного совета!

Уставшее тело нуждалось в разминке, и князь Михаил Михайлович Голицын в сопровождении денщика ушел далеко вдоль берега. Оглядевшись, он увидел ров и вал, тянувшиеся вокруг замка, дома с черепичными крышами и длинные шпили лютеранских церквей.

Герцогиня Курляндская жила здесь по строгому настоянию Его Императорского Величества Петра Алексеевича. Овдовевшая через два месяца после свадьбы, она уже много лет коротала жизнь безвыездно. Не напрасно вступил Петр в родство с прусским королевским

домом: после того как Рига, сдавшись силе русского оружия, вошла в состав Российской империи, необходимо было влияние на курляндские дела. При встрече она постоянно жаловалась дяде на скуку в чужеземной стороне и на то, что немцы-курляндцы относились к ней как к чужеземке. Но Петр не внял ее жалобам. Мало-помалу она стала привыкать. А поскольку годы ее были молодые, то и женихи находились. Всех их привлекало большое приданое — курляндская корона и герцогский жезл. Ко всему, Анна Ивановна была не лишена привлекательности: голубые глаза, красивое очертание губ и ровный ряд белых зубов. Правда, черты лица были резковаты и нос довольно большой. Но это ее не портило. Ее украшением были густые каштановые волосы. Она была высокого роста и имела величественную осанку.

После смерти великого дядюшки женихи осмелели. В Митаву явился граф Мориц Саксонский, персона в Европе известная, любимец польского короля Августа. А точнее — его незаконный сын. Он был откровенен в своих намерениях, хотя вел себя вполне учтиво, был обходителен и внимателен. У Анны Ивановны дрогнуло сердце, и она стала подумывать о возможности расстаться со своим вдовством. Но не тут-то было! Светлейший князь Александр Данилович Меншиков будто нюхом учуял намерения герцогини. И каково же было ее удивление, когда ей донесли, что его высочество Александр Данилович уже пересек границы герцогства.

Он ехал, чтобы самому стать герцогом Курляндским.

Анна Ивановна не на шутку испугалась. Наслышавшись о самоуправстве Меншикова, она знала, что любое его желание выполнялось беспрекословно. Он ехал в Митаву, заручившись письмом Екатерины Первой, в котором писалось, что ей неприлично выходить замуж за графа Морица ввиду вредности интересам российским.

В Митаве Меншиков был принят с великими почестями. Для большей важности и порядка он дал взбучку почтеннейшему Петру Михайловичу Бестужеву за недогляд в герцогстве, где тот был резидентом и управлял от имени русского государя.

Узнав, что не так-то легко собрать курляндский сейм, Александр Данилович решил подождать, пока все сживутся с мыслью о необходимости заседания сейма,

а пока распорядился послать нарочных во Псков с письмом. Ему когда-то приглянулись псковские снетки.

«По получении сего купи снетков псковских два бочонка свежих сухих и два ж сухих самых летчих соленых... И отправьте оные с сим порутчиком немедленно, который для того нарочно отправлен».

— Готово, ваше высочество,— сказал писарь.

— Пиши и другое, семь бед — один ответ. «Господине. Просили мы о присылке сюда пяти человек певчих, и когда изволит оных отправлять, то извольте оным подводы дать сколько возможно немедленно, хотя наняв или каких можете сыскать».

— Готово.

— Давай, подпишу.— Александр Данилович тщательно вывел на обеих бумагах свою размашистую подпись и поцеловал послание, которое тут же запечатали гербовой именной печатью красного сургуча.

Нарочный в ночь погнал во Псков, получив строгий наказ Бестужева вернуться в самое скорое время и сделать все в самый аккурат, поскольку светлейший князь не терпит проволочек.

Все его требования были выполнены не без помощи благородного господина ландрата псковского, который знал крутой норов Меншикова.

С курляндскими немцами, которые явились на заседание сейма и немало важничали, брезгливо и надменно перебрасывались словами, Александр Данилович низко раскланивался. Но когда из уст одного было брошено оскорбительное слово, раздался оглушительный треск: его трость переломилась надвое.

— Не забывайтесь! — раздался его громкий голос.— Мне недосуг ждать и вести разговоры со своими подданными. Забыли, так напомню! — Глаза его сверкнули.

Представители курляндского сейма, не ожидая такого с ними обращения, умолкли и сидели, как трусливые школьники, боясь посмотреть друг на друга. Переводчик испугался, когда Александр Данилович пригрозил им Сибирью, если кто-нибудь подаст голос против его избрания курляндским наместником. Как рассказывал Василию Лукичу Долгорукову Петр Михайлович Бестужев, присутствовавший при этом разговоре, немцы сидели понурив головы и свое согласие продемонстрировали тихим лепетом и подобострастными кивками.

«Вот таков был светлейший князь»,— подумал Василий Лукич и, чтобы не предаваться дальнейшим воспоминаниям, не будоражить память и не думать о судьбе опального Меншикова, громко крикнул в сторону Михаила Михайловича, возвращавшегося к каретам.

Над Митавой плыли низкие облака. Ветер свистел в оголенных ветвях деревьев, кружил в воздухе снежную пыль, которая, угодив на меховые воротники и шапки, не стряхивалась, а только липла. «И тут видно, что нерусская сторона!» — подумалось светлейшему князю, усердно отряхивающему колпак. То же сделал и Михаил Михайлович. Обнажив головы, оставшись в обыкновенных волосниках, они явно не понравились друг другу.

— Ну вот, слава Богу, и добрались,— облегченно сказал Василий Лукич, представляя удивление герцогини. Им, безусловно, было невдомек, что скороход Бурма графа Карла Густава и посыльный Ягужинского окольными дорогами быстрее их оказались в Митавском замке.

В эти дни Анна Ивановна жила в каком-то томительном предчувствии. А когда встретила гонцов, которые вытаскивали из-под подкладок потных шапок бумаги с решением московских верховников выбрать ее государыней русского престола, была не в силах поверить.

— Если бы все так и свершилось, как надумалось,— словно сам с собой разговаривал Голицын.— Власть портит человека. Как только почувствует власть да силу — вроде и ум теряет. А уж коли мужики такие, про бабу и говорить нечего.

— Да будет тебе! — заворчал Василий Лукич. Ему хотелось отвести разговор, от которого щипнуло сердце.

Александр-то Данилович как очутился возле трона, так сразу и подумалось ему, что он самого Господа Бога за бороду поймал. А его цап-царап Долгоруковы!

Василий Лукич вылупил глаза, нервно дернулась щека.

— А кто? Ясное дело, ваш род. Тут и спорить не об чем. Кто императрицей управлял? Он или нет? Он указы строчил, а она подписывала. Да и она ли? Не великую грамоту матушка Екатерина имела.

— Ты что мелешь, Михаил Михайлович? Время нашел,— побагровел Василий Лукич, удивляясь откровенности Голицына.

— А то, не бабье это дело державой управлять. Да еще какой державой!

— Так зачем же мы приехали?

Голицын хмыкнул, направился к карете, прикрывая лицо от липких снежинок.

Прибытие нарочных из Москвы расстроило герцогиню Анну Ивановну. Было что-то загадочное и тревожное в посланиях тех, кто вроде бы желал ей счастья и удачи. Да и кончина молодого племянника — императора Петра Второго произвела сильное впечатление. Она несколько раз принималась плакать, не знала, мчаться ли в столицу на похороны, или подождать подробностей.

Заметив плохое расположение духа хозяйки, ее верный друг Эрнст Бирон несколько раз намеревался предложить катание на лошадях, но что-то удерживало его, да и погода все ухудшалась. Он открыл дверь, когда та, набросив на плечи большую вязаную шаль, стояла возле окна и пристально смотрела куда-то вдаль. По легким шагам она узнала Эрнста и, не обернувшись, спросила, что он думает по поводу полученных из Москвы вестей. Эрнст, заядлый лошадник, мало в чем другом разбирался. Он пожал плечами, но не упустил случая посоветовать Анне Ивановне отправиться на прогулку верхом в загородную усадьбу Вирцау и в быстрой езде отвлечься от раздумий.

У герцогини сразу поднялось настроение. «Приедут облаченные властью люди, тогда и буду ломать голову»,— решила она и, так как любила самолично присутствовать на конюшне при выводке лошадей, заторопилась. У прислуги для любого выезда хозяйки на охоту или на прогулку всегда все было наготове. Десятки конюхов холили лошадей, мыли, расчесывали гривы, подрезали хвосты, держали в образцовом порядке нарядную сбрую, осматривали каждый яхонт или жемчужину на уздечке, расшивали узором попоны. Она любила, когда к ней на выездах присоединялись немецкие бароны. Они низко кланялись ей, бросали в ее сторону томные взгляды, давая понять, что она желанна. В яркого цвета епанче, сшитой специально для верховой езды, она выглядела великолепно. В эти минуты лицо ее наливалось румянцем, появлялась горделивая осанка, вся она преображалась, и Эрнст, в домашней обстановке равнодушный к герцогине, на охоте сгорал от ревности,

когда немецкие бароны наперегонки спешили засвидетельствовать ей свое почтение. «Иоанновна! Иоанновна!» — любовно, на свой лад называли они герцогиню.

Погода стояла пасмурная. В первые минуты застоявшиеся кони неслись вмах. Анна Ивановна, натягивая уздечку, прислушивалась к легкому похрапыванию коня, но в голове ее кружились самые разнообразные мысли. Проскакав километров десять, кони стали вязнуть в снегу. Переметенные снегом дороги замедлили езду и не доставляли ей никакого удовольствия.

Но, ожидавшая приезда хозяйки в Вирцау, прислуга засуетилась. Первым делом принялись растапливать камин, возле которого любила сидеть Анна Ивановна. С печки посыпались, перепрыгивая один через другого, карлы, которые во время непогоды всегда прятались в теплых, укромных местах. Платья их были помяты, волосы не причесаны, лица неумыты. Старая карлица Шарлота, наловчившись, крадучись от всех, отпивала из жбана клубничную настойку и сейчас еле стояла на ногах. Хворая немка Эльза, приставленная для присмотра за любимцами герцогини, плохо справлялась со своими обязанностями: била их по делу и без дела, а они, в свою очередь, платили ей тем же. Особенно изводил ее Алешка-вьюн, кудрявый, русоголовый карлик с бойкими глазами и курносым носом, чересчур смекалистый. Каждый шаг, каждый жест, каждое слово Эльзы он знал наперед. «Русский шорт»,— называла карлика немка, готовая каждый день таскать его за чупрыню. Но он знал такое множество всяких песен и прибауток, притчей и нескладух, что волей-неволей ей приходилось перед ним заискивать и прощать многие проделки, до которых он был большой выдумщик. Кроме всего, в отличие от карлиц-девиц, он всегда был опрятен. Надо было только провести гребнем по кудрявым волосам да умыться — и стоял он перед герцогиней бравым русским мужичком. И каких только песен не знал этот Алешка-вьюн: про весну и про любовь, про разлуку и тоску, про чары и отравы, про сговор и заручины, про согласное житье... Но в этот день Эльза сильно побила карла Алешку-вьюна. Оставила на его пригожем лице большой синяк. А поссорился он со своей наставницей из-за песен про вдовью судьбу:

Аль не печаль, что у меня мила друга нет...—

затянул Алешка поутру. Эльза ударила его по лицу, а он продолжил:

А у нас в реке-в реченьке играют рыбы.
И у каждой рыбки своя пара есть,
А у меня, несчастной,—
Только пара черных глаз да черных бровей.
И никто не глядит в мою сторону!

Эльза и схватила его за волосы да стала бить скалкой по голове. Но тут только Шарлота не растерялась, вцепилась зубами в тощую холку Эльзы. Та взвизгнула, отпустила певуна. Узнав о приезде Анны Ивановны, Эльза от страха потеряла голову: «Позовет она своего любимчика песни петь... А что со мной будет? Разве только Эрнст заступится. В ноги паду»,— решила Эльза, отыскивая на печи Алешку, который так и остался лежать после драки на теплых кирпичах.

Пока распрягали коней, Анна Ивановна стояла в конюшне, наблюдала, как конюхи, повесив на деревянные гвозди слюдяные фонари, обтирали щетками спины лошадей, покрывали войлочными накидками.

К этому времени в камине разгорались дрова, озаряя светом просторные покои, во всех углах были зажжены большие восковые свечи. Пока служанки раздевали ее, тщедушного вида повар поднес на подносе узорчатый штоф и два высоких стакана и фруктовый пастилы. Эрнст Иоганн, зная вкус герцогини, велел подать клубничной настойки.

Полученные из столицы вести не давали покоя. «Встать вровень с дядюшкой? С самим Петром Алексеевичем, перед которым трепетала вся Россия? Мыслимо ли?» — думая об этом, она боялась обсуждать это с кем-либо, а тем более спрашивать совета у Эрнста, который мало что смыслил в этих делах.

Дрова в камине потрескивали, а обуглившиеся части поленьев рассыпались раскаленными углями. Она любила перегребать угли и наблюдать за огненными языками. И вдруг одно из поленьев треснуло, разом развалилось на угольки, и один из них выпрыгнул на середину комнаты.

— Гостям быть! — заметила служанка, проворно схватив уголек и бросив его в камин.

— Говоришь, гостям быть?

— У нас в Туле так говорят. Коли выпадет уголек — гости прибудут, примета такая.

— Гости так гости! — ответила Анна Ивановна, потупив взгляд. И тут же велела позвать к себе Алешку-вьюна. Эльза, со страхом ожидавшая этой минуты, была ни жива ни мертва, с мольбой смотрела на любимца герцогини.

— Он с печки не слезает. Заболел,— сказал Эрнст по-немецки.

— Чего случилось с ним? Лекаря вызывали? — спросила герцогиня и велела провести ее к карлу.

— Экое убожество! — воскликнула Анна Ивановна, подходя к печи.— Экая грязь! Алексей, где ты там? Иль не слышишь?

— Слышу, слышу, ваша светлость!

— Помоги ему слезть,— попросила она Эрнста. Тот вспыхнул, брезгливо отвернулся, подхватил карла под руки и поставил перед Анной Ивановной.

— Кто это так пообидел тебя?

— Ясное дело, Эльза! — ответила, пошатываясь на крохотных ножках, пьяная Шарлота.

— Ваша светлость, пойдемте, я спою вам,— просил Алексей.

Ой, не ходи, старый, около моей избы.
Ой, не топчи, старый, кудрявой мяты.
Я того старого отроду не любила,
По его следочку камни катила.
Ой, походи, молоденький, около моей избы,
Ой, потопчи, молоденький, кудрявую мяту,
Я того молоденького отроду любила,
По его следочку перстенек катила,

— выводил ладно и напевно каждое слово Алексей, ощущая руку герцогини на своей кудрявой голове.

Перепуганная Эльза без умолку читала молитву, и кто знает, чем бы закончилось ее судьба, если бы в ворота замка не застучали приезжие люди.

В замок примчался сам гоф-маршал Бестужев.

«Значит, правы тайные посланники»,— со страхом подумала Анна Ивановна.

Дрожа за свою судьбу, Эрнст Бирон не отходил ни на шаг от герцогини. Узнав от Бестужева, что в Митаву прибыли представители из Москвы, он решил уведомить герцогиню и, если у нее есть желание предложить

ей поехать вместе с ним в главную резиденцию Курляндского герцогства.

Всю ночь Эрнст Бирон проговорил с Бенигной о будущем, они решили во что бы то ни стало оставаться при Анне Ивановне.

К гостям из столицы Анна Ивановна вышла только к обеду. Сияющая, в платье ярко-желтого цвета с длинным шлейфом, который нес маленький паж, она царственно поклонилась именитым гостям.

— Боже милостивый! — вскочив, воскликнул Василий Лукич и неожиданно для себя очутился возле ног Анны Ивановны на коленях, бережно целуя протянутую герцогиней руку.

— Отдохнули? — спокойно спросила Анна Ивановна, не выказав никакого смущения и любопытства о причине приезда гостей. Распорядилась накрыть стол.

— До стола ли нам? Аудиенции просим, а уж после...— вставил Михаил Михайлович Голицын.— Время не терпит.

— Вот так! — Широким жестом герцогиня пригласила гостей в свой кабинет.

Услышав о смерти молодого императора, она снова искренне заплакала, прикрыв ладонями глаза.

— Чего стоишь? Позови герцогине лекаря да подай воды! — прикрикнул на Эрнста Василий Лукич.

— Не надо лекаря,— остановила герцогиня Бирона.— А пока — ступай.

— Матушка наша, государыня всемилостивейшая! — воскликнул светлейший князь Василий Лукич, припав на колени. Его примеру последовали прибывшие с ним Голицын и Леонтьев.

— Полно, господа великие,— смутилась Анна Ивановна.— Экое представление! — голос ее дрогнул.

— Какое представление? Кого садить на русский престол? Ты ведь наследница! — не унимался Василий Лукич.

— Дочь царская! — успел вставить Михаил Михайлович.

— Соглашайся, Анна Ивановна. Охотников на трон много. Сама знаешь, и Лизавета — дочь Петрова, а мы по-другому решили. Ответа ждем. Только надобно кое-какие наши оговорки собственноручной подписью закрепить.

— Да мое ли это дело? — сквозь слезы проговорила герцогиня.— Откуда столько ума-разума набраться?

— Да вся Россия возле твоих ног будет. А сколько умных людей в ней? Боже мой! Особливо в дальней пасмурной и морозной стороне за Камнем! Народ здоровый, чистый! Твое дело только умных советов слушать да повелевать.

— Разве боле тебя знала матушка Екатерина? А царствовала.

Анна Ивановна медленно поднялась с кресла, ответила:

— Утро вечера мудренее.

После всех этих разговоров у нее разболелась голова: перед глазами стоял образ дядюшки — Петра Великого! «Как же осиротела Россия, ежели меня на престол пророчат?» — с грустью и страхом подумала она.

Позвонив в колокольчик, попросила переодеть ее в теплый халат и подбросить в камин полешек. Осталась одна. Много картин проплыло перед ее взором, связанных с царствованием Петра. Все годы после его кончины были пустыми, бесцветными.

Она снова позвонила. Служивый сразу приоткрыл дверь.

— Пригласите ко мне светлейшего князя Василия Лукича Долгорукова.

Что и говорить, хотелось ей пожить в столице, порадовать слух родным русским словом, от которого стала отвыкать, но не в качестве же императрицы!

Василий Лукич вошел при всех орденах и регалиях.

— Слушаю, любезнейшая Анна Ивановна,— вздыхая, сказал он. Герцогиня жестом пригласила его сесть напротив себя.

— О какой бумаге и о каких оговорках ты молвил? — спросила она, будто и не знала о них из полученных из Москвы писем.

— Чего непонятного, Анна Ивановна. Натерпелись дворяне и бояре своего унижения, попрания всего российского. Власти хотят небольшой.

— Коли на пользу они будут,— вспыхнув, ответила Анна Ивановна, не скрывая своего желания стать императрицей,— пусть будет по-вашему.

— Господи, какие у тебя духи, Аннушка! Дух захватывает, голова кругом идет,— сказал старый ловелас, умудрившись поцеловать руку герцогини.

Ночь Анна Ивановна провела в бессоннице, призвав к себе в покои не только Эрнста Бирона, но и его жену



Бенигну. Узнав, что этой ночью пишется письмо верховникам, Эрнст умоляюще просил:

— Соклашайся! Соклашайся. С топой поетем.

— Да куда я без вас? — ответила Анна Ивановна по-немецки, и все весело засмеялись.

Для оглашения написанного от ее имени письма собрались пополудни. У всех был торжественный вид. Василий Лукич кашлянул, поправил полы нарядного кафтана и стал читать:

«Хотя я рассуждала, как тяжко есть правление столь великой и славной монархии, однако же, повинуясь Божеской воле и прося Его, Создателя, помощи, к тому же не хотя оставить Отечества моего и верных наших подданных, намерилась принять державу и правительствовать, елико Бог мне поможет, так, чтобы все наши подданные, как мирские, так и духовные, могли быть довольны. А понеже тому моему намерению потребны благие советы, как и во всех государствах чинится, того для пред вступлением моим на российский престол, по здравом рассуждении, избрали мы за потребное, для пользы Российского государства и к удовольствию верных наших подданных, дабы всяк мог видеть горячность и правое наше намерение, которое мы имеем к Отечеству нашему и верным нашим подданным, и для того, елико время нас допустило, написав, какими способами мы то правление вести хощем, и подписав нашею рукою, послали в Тайный верховный совет, а сами сего месяца в 29 день, конечно, из Митавы к Москве для вступления на престол пойдем».

Закончив читать, светлейший князь Василий Лукич не сразу поднял глаза, чтобы посмотреть на присутствующих. Письмо дрожало в его руках. Он сам это заметил и положил бумагу на стол.

— Не зря, любезнейший князь, занимаешь и занимал важные посты в государстве, наместника, посла, губернатора,— подходя к столу, сказала Анна Ивановна и, не раздумывая больше, поставила подпись.

— Виват! — громко сказал Василий Лукич.

— Виват! — был ответ присутствующих в зале.

Глава тридцать третья

По Москве ползли разные слухи. Взволновалось все общество. Кто-то радовался, что на престол взойдет Анна Ивановна: избранная верховниками, она не сможет распоряжаться самодержавно. Другие, наоборот, утверждали: решение совета послужит прибавлению власти приближенным лицам. Дворяне помельче опасались, что из-за немилости какого-нибудь высокого лица они в одночасье могут быть лишены не только имущества, но и самой свободы. Волновалось и духовенство.

Низшее сословие, привыкшее к повиновению монарху, предпочитало видеть у власти одного только государя или государыню. Кто-то из умных и уважаемых дворян громогласно предупреждал, что при таком правлении появится десятка полтора самовластных и влиятельных фамилий, а у них без вражды не обойдется, а народ станет жить, не зная, какому клану угодить.

Верховники, находясь в ожидании вестей из Митавы, были в полной растерянности: откуда ползут эти слухи? Кто так растолковывает их намерения? Никому и в голову не приходило, что всю эту смуту вносил Андрей Иванович Остерман. Обложившись компрессами, он лежал в постели, и его разлюбезная Марфа Ивановна слезно жаловалась родне, что здоровье мужа — день на день не приходится: «то просветлеет головушка, то ее снова обволакивает туман, и он никого не видит... Если уж что и сказывает, то все с надрывом да со стоном». А поговорить со своей женой Андрей Иванович умел, зная, что его соображениями она обязательно поделится с другими и без всякого злого умысла.

В обществе и в самом деле назревала смута. Самые здравомыслящие, мечтавшие о спокойствии и мире, стали собираться у князя Алексея Михайловича Черкасского — обсуждали вопросы о противозаконных намерениях верховников. Кто-то предлагал двинуть на них силу и покончить с ними. Другие настаивали на приезде

герцогини Анны Ивановны. «Расшевелился муравейник посреди зимы»,— торжествовал Остерман. Он понимал, что если возле герцогини окажутся умные советчики, то подтолкнут ее к решительным мерам: сразу взять власть, и тогда будет положен конец растущему недовольству, как он и предписывал ей в своем тайном письме.

Но верховники не сидели сложа руки. Чувствуя беспокойство в обществе, решили провести совместное собрание Верховного тайного совета, Синода, генералитета. Разослали приглашения.

Получил такое и Алексей Григорьевич Долгоруков и князь Иван. «Бог его знает, кто это задумал. Кого бояться? Кому верить?» — вздыхал светлейший князь, потеряв всякую надежду не только на возвышение своего семейства у престола, но молил Бога, чтобы все обошлось, особо после разговоров о подложном завещании императора в пользу его дочери Екатерины, обрученной с Петром Вторым.— Вот и Дмитрий Михайлович, ожидая ответа из Митавы, дрожит. Боится".

— А может, вовсе и не ходить? — спросил князя Ивана.— Возьмут нас, всех Долгоруковых, под белы рученьки да в тайную полицию упекут. После разбирайся, где правда, где кривда. Врагов-то у нас, как послушаю, экое множество! И кто бы мог подумать! — вздыхал он, облачаясь в черного цвета кафтан, в котором походил на старого ворона.

— А этот повеса-то, поди, к Шереметевым собирается? Боится, как бы нам в вину не поставили, что мы долго скрывали от всех болезнь императора. Слышал я такие упреки. Или боится, что вспомнят, как после кончины императора заорал: «Да здравствует императрица Екатерина!»

— Так то он делал по твоему наущению, Алексей Григорьевич,— сказала осунувшаяся Прасковья Юрьевна.— И завещание писать ты велел!

Алексей Григорьевич гневно взглянул на княгиню, которая только и оборонялась от него молитвами да слезами.

После смерти императора семейство Алексея Григорьевича тихо и спокойно обосновалось в своих Горенках. Езда до Кремля теперь занимала немалое время. В дороге не спалось, думы теснились в голове, и на многое не находил ответа. Это только у власти живешь

всласть, а после в твою сторону и глядеть некому, уже в который раз подумалось ему.

Подъезжая к красному крыльцу, Алексей Григорьевич заметил карету Дмитрия Михайловича Голицына. Порывистый ветер распахивал полы его яркого кафтана, сверкали его раззолоченные сапоги. В его неторопливой походке была природная стать, особая кряжистость. Его украшала роскошная борода, с которой он не расстался даже в самые лихие времена, сумел противостоять Петру.

Этого голой рукой не возьмешь, рассуждали многие, противопоставляя его Алексею Григорьевичу, который пекся только о своем влиянии на царский трон. Теперь он через силу пытался сохранить бодрость духа, старался расправлять плечи, которые сами собой складывались, как крылья подбитой птицы. Кроме всех переживаний в связи со смертью императора, а значит — и всех рухнувших надежд, беспокоили слухи о том, что, переезжая в Горенки, они ограбили дворец, перевезли к себе драгоценную мебель, экипажи и охотничьи принадлежности. Не бывает дыма без огня!

Учтиво поздоровавшись с Дмитрием Михайловичем, присмотрелся к лицам вельмож, отметил, что на них нет печали. «Может, зря сомнения держу?» — подумал, следуя за всеми в зал Верховного тайного совета, где, как истинный хозяин, верховодил Голицын.

— Выбранная нами на престол всемилостивейшая Анна Ивановна соизволила прислать нам ответ,— сказал Голицын притихшим вельможам Российского государства. Голос его был строг, взор пристален.— Вот он, ответ, присланный из Митавы, из герцогства Курляндского.

Воцарилась тишина, которую нарушал только удушающий хрип страдающего грудной жабой боярина Волынского.

Торжественно читал он продиктованное Василием Лукичом и собственноручно подписанное Анной Ивановной письмо. Особо выделил слова: «По сему обещаю все без всякого изъятия содержать». После этого Голицын прижал к груди долгожданный лист бумаги, от себя добавил: — По сему значит: соизволила будущая императрица согласиться на наши предложения. Бог ее вразумил написать нам такое письмо.

Блаженно закатив глаза, он какое-то время умилялся письмом и ждал восторженных возгласов. Но каково

было его удивление, когда присутствующие остались безмолвны.

— Неведомо нам, отчего будущая государыня должна давать нам такой обет,— сказал Василий Никитич Татищев.

Верховники вскочили со скамей и вопрошающе смотрели на Дмитрия Михайловича, своего главного заступника.

— А что, воли не хотите? Или не надоели еще иноземцы? — грозно спросил Голицын. Он был искренне удивлен непониманием благих намерений верховников. Князь Алексей Михайлович Черкасский вышел на середину зала.

— Надобно дать господам дворянам время поразмыслить. Пока ваши слова и полученное письмо от будущей императрицы — удар обуха по голове.

Но не так-то легко было сшибить с ног Дмитрия Михайловича.

— Коли письмо такое получено, всем присутствующим надлежит пойти в Успенский собор и справить там благодарственный молебен по случаю изъявления герцогиней Анной Ивановной согласия на воцарение на российский престол.

Тут уж многих обуял страх. Всем вспомнились критические минуты после смерти императора Петра Алексеевича. Тогда Александр Данилович Меншиков пришел с ратью прямо к императорскому дворцу, выломал дверь палаты, где находились сенаторы и генералы, и объявил законною царицей коронованную императором Екатерину. Никто не ожидал от Меншикова такого решительного шага, и никто не решился воспротивиться. В тот же день Екатерине Алексеевне принесли присягу на верность гвардия, полевые полки и гарнизон.

— Эти не дадут маху! Успеют покуражиться! — говорил вслух Черкасский, направляясь вместе со всеми в Успенский собор.— Выдумали! У семи нянек — дитя без глазу. Послушает императрица верховников — смуты не миновать. Эко придумали! Неужто императрица станет довольствоваться тем, что ей доверят лишь управлять дворцом, распоряжаться деньгами только для нужд двора и командовать только отрядом гвардии, приставленной для охраны? Или обрадовалась, что выедет из Митавы? Сказывают, осточертело ей там. Да и сами верховники скоро перегрызутся меж собой. Знатных-то

фамилий более десятка. Зачем им отдавать императрице все полномочия? — Рассуждая так в окружении единомышленников, Черкасский все же оглядывался по сторонам, зная, что возле него уже имеются уши.— Пушай передают,— сплюнул он в сторону.— Все едино житья не будет.

В Успенский собор вошли степенно, оставив за порогом греховные мысли. Присутствие в храме уравнивало всех, просивших Создателя отпустить им прегрешения, очистить душу и принять покаяния.

— Эко сколько недовольных! — сказал Дмитрий Михайлович оказавшемуся рядом Алексею Григорьевичу. По-видимому, весь молебен мысли его были заняты недовольством дворян и бояр.— Не мешало бы коекого припугнуть.

— Можно,— ответил Алексей Григорьевич.— Пока власть еще в наших руках.

— А чего это во время молебна, провозглашая имя императрицы, дьякон назвал ее самодержавной? Ведь не без благословения Синода? Кто это придумал?

— Не слыхал! — вспыхнуло румянцем лицо Алексея Григорьевича.— Пропустил мимо ушей.

— Доподлинно: назвал Анну Ивановну царицей самодержавной.

— Это Феофан! Будь он трижды проклят! Лезет не в свои дела. Нет среди нас такого, каким был Александр Данилович. Он бы на одной пятке повернулся и такой фортель выкинул, что у всех в штанах бы мокро стало.

Голицын вместо ответа кивнул Алексею Григорьевичу. Впервые за это время он вдруг усомнился: то, что затеяли верховники, может провалиться. «Мы не мальчики, чтобы с нами в кошки-мышки играть!»

И в самом деле опасения были не напрасными. В противовес верховникам, объединились не менее значимые в государстве мужи, категорически отвергавшие преобладание аристократической партии, считавшей возможным избрание на престол наследника четырьмя-пятью лицами. Они сочинили записку за подписью двухсот девяноста трех лиц, в числе первых были подписи Алексея Михайловича Черкасского и Василия Никитича Татищева. В записке выражалось мнение большинства, что в этом важном вопросе должно быть согласие всех подданных, как это делается в других государствах.

Была написана и другая записка, подписанная князем Куракиным и еще с ним двенадцатью дворянами со своими предложениями. Поступила записка и от генерала Матюшкина, подписанная девяноста двумя дворянами. Обо всем этом стало известно Дмитрию Михайловичу Голицыну.

Андрей Иванович имел возможность бойким взглядом пересмотреть все эти бумаги. Он ликовал: в этой сваре императрица никогда не откажется от его совета, тем более что в посланных к ней предложениях верховников нигде нет его подписи.

«Пришел мой час»,— подумал Генрих Иоганн Фридрих Остерман, сын лютеранского пастыря из Вестфалии. И он не ошибся.

Глава тридцать четвертая

В конюшнях герцогини Курляндской было много превосходных лошадей. Немецкие и ливонские рыцари, находясь в постоянных войнах и походах, не могли представить свою армию без конницы. Они имели немало конских заводов, где шел торг со всеми, кто хотел иметь породистых выездных лошадей. Анна Ивановна не скупилась на их приобретение. Особенно ей нравились обученные немецкие и датские лошади. Хорошо выезженные, со стройными ногами, изогнутыми шеями, лоснящейся шерстью, красивыми гривами и хвостами, они всегда вызывали у нее восторг.

Надо сказать, что именно старший конюшенный герцогства Курляндского Эрнст Бирон сумел так пристрастить герцогиню к верховой езде, что та не могла представить жизни без этой забавы.

Для хозяйственных дел выписывали и ввозили больше всего астраханских лошадей степной татарской породы. Они не отличались красотой и статностью, напротив,— были узкобрюхие, с тяжелой головой, короткой

шеей, зато очень крепкие и выносливые. Эти татарские кони годились для любой тяжелой работы.

Зная, по какому случаю предстоит поездка Анны Ивановны в Москву, Бирон распорядился приготовить наилучшие кареты, а особенно самых лучших коней.

— Не грусти,— сказала герцогиня ему, явившись в конюшню, где готовились экипажи.— Как только все образуется, немедля пришлю в Митаву гонца...

Часом раньше до выезда герцогини из широко распахнутых ворот замка вылетели в легких кибитках гонцы.

День выдался солнечным. Снег искрился и сверкал. Пробушевавшая ночью метель замела всякие следы, и если бы не следы от легких кибиток гонцов, пришлось бы высылать конюхов на легких дровнях торить дорогу.

Радостно звенели колокольчики на дугах, поскрипывали полозья карет, словно пытаясь растревожить притихшие снега.

Переехав мост через Друзу, Анна Ивановна приказала остановиться. Одетая по-дорожному, в нарядной длиннополой епанче, в меховой шапке, она неуклюже вышла из кареты и утонула по колено в снегу. Служанки силились вызволить ее, но, вытащив одну ногу, она проваливалась другой, пока смекалистый кучер не утоптал снег вокруг кареты и, подав руку герцогине, помог встать на ноги. Анна Ивановна весело смеялась над своей неуклюжестью. Служанки усердно стряхивали снег, легонько хихикали, зная переменчивость характера герцогини.

Оглядевшись по сторонам, она посмотрела в сторону замка, который она, быть может, покидала навсегда. Она поклонилась ему и упала на колени. Теперь он ей уже не казался замком грусти и печали. Здесь был знаком каждый уголок, каждая вокруг него тропинка. Слезы покатились по ее шекам, губы шептали что-то свое, затаенное и мало кому понятное.

Служанки стояли поодаль, ждали, когда Анна Ивановна успокоится. Свита, сопровождавшая ее, тоже поясно поклонилась Митаве, а Василий Лукич, желая угодить герцогине, встал на колени.

— Ну ладно, поехали, благословясь,— выдохнула она, ожидая, когда служанки возьмут ее под руки и усадят в карету.

Перезвоны многочисленных колокольчиков вызывали в деревнях любопытство. Многие выбегали на дорогу,

смотрели на нарядный эскорт герцогини и не могли знать, по какой нужде решила она отправиться в столь длинное путешествие.

Зимняя езда утомительна: человек все время находится в полудреме, мысль становится ленивой. И Анна Ивановна большей частью в дороге беззаботно спала. Если где-то на ухабах кибитку подбрасывало, она издавала какой-нибудь звук спросонья и опять впадала в дремоту.

Гонцы, прибывшие из Митавы, были встречены с почестями. Князь Дмитрий Михайлович Голицын срочно доложил членам Верховного совета радостную весть: будущая императрица согласна с их предложениями. Было принято решение: немедля отправить для встречи будущей императрицы трех архиереев и трех сенаторов.

— Я так и чувствовал: не зря послали Василия Лукича. Уж он-то знает, как и с кем разговаривать, не зря во многих государствах дипломатом был. А с Анной Ивановной имел особо близкие отношения.

— Как же быть, ведь все в траурных платьях? — сказал кто-то из верховников.

Голицын призадумался. Какое-то время теребил бороду.

— Нам всем порядок блюсти надо. Анна Ивановна сама понимать должна! Да тоже, поди, в трауре.

Посланцы из столицы погнали навстречу новой императрице резвых коней, сбруя которых была обвешана лисьими и собольими хвостами, попоны из объяри обложены золотой бахромой.

Дорога в селах и поместьях недалеко от столицы была укатана. Кони летели как птицы. Поезд из Курляндии прибыл в село Чешники. Анна Ивановна не только отдохнула, но и успела сходить в баню. На этот раз не бурчала на моющую ее служанку, а от наслаждения кряхтела и постанывала.

Боярин Мухин, в чьей усадьбе остановились кареты, был человеком прижимистым и в зимнее время одну половину большого дома не топил, слуг держал в два раза меньше обычного. Но это мало кто заметил. Для принятия гостей хватало большой горницы и спальных покоев. И все-таки хлопот было полным-полно.

Столичные гости прибыли под вечер. Василий Лукич, зная, что они посланцы верховников, засуетился, но стоило ли учить архиереев, с какими словами обращаться к императрице?

Анна Ивановна сидела на самом почетном месте — под образами, по правую руку от нее — хозяин, а потом важные гости.

— Благодетельнице нашей рабски челом бьем, кланяемся стопам твоим, государыня! — произнес один из прибывших архиереев, и от этих слов боярин Мухин не сдержал слез.

Анна Ивановна была польщена такими словами, но, как успел заметить Василий Лукич, смущена. Были ей сказаны и другие благодарственные слова, на что она отвечала поклонами и пригласила посланцев на ужин.

Боярин Мухин заметил, что служанкам одним не справиться. Они сновали, как спуганные белки, не зная, какое дело делать прежде. Молодая хозяйка, привезенная боярином с Пермской стороны, распоряжений давать не умела. Сердись не сердись, а надо поклониться соседу Михаилу Брызгину — попросить у него служанок. Велел управляющему позвать Михаила Петровича к столу.

— Да пущай приведет своих служанок. Оне у него сильно баские да ловкие. А коли куражиться станет, добавь: сама императрица за столом сидеть будет.

Из сарая выкатывали бочки с мороженными пельменями, которые хозяйка стряпала по вечерам со слугами. Еремей Мухин, богатый боярин, когда, поставив свое дело по производству воска и пеньки на широкую ногу, ездил в Пермский край налаживать связи, пристрастился к этой еде. Да еще и жену там выбрал — краснощекую да молодую.

Пришли брязгинские служанки. На сердце полегчало. Скоро и Михаил Петрович в дверях показался. Тут и всяким обидам пришел конец.

Стол ломился от яств, солений и копчений. Но ничего не могло сравниться с пельменями. Но, к великому изумлению боярина Мухина, императрица высказала намерение в ночь выехать в село Всесвятское, куда должны были приехать ее сестры: Екатерина и Прасковья.

— Места-то всем хватит! Никакого никому не будет стеснения! — сложив на груди руки, умолял боярин. Василий Лукич взглядом показал боярину: помолчи. Все едино будет, как сказала.

Прощаясь с хозяином, Анна Ивановна распорядилась оставить ему одного коня белой масти. Набросив на плечи шубу, бежал Мухин до самой околицы села, провожая гостей.

— Видать, угодил хозяин,— сказала одна из служанок, обтирая лицо фартуком.

— А сама-то гостья все время пыхтит, как Савраско воз в гору везет,— ответила другая и, увидев в окно возвращавшегося хозяина, хохотнула: — Эка кланялся. Поди, спину переломил,— и они враз разбежались по своим углам.

Во Всесвятское экипаж прибыл в третьем часу ночи. Над селом висела одинокая луна, тихая рука ночи касалась крыш сараев, конюшен, домов, где все мирно отдыхали.

Пронзительный визг вдруг донесся из усадьбы графа Салтыкова — дальнего родственника царской фамилии. И сразу нарушилась тишина: где-то взлаяла собака, хлопнула калитка, а возле усадьбы Салтыкова скрипели полозья карет да фыркали кони.

— Неужто Анна? Неужто наша красавица? — визжали спросонья сестры будущей императрицы, бросаясь ей на шею и целуя в щеки.

— Боже мой, Анна, ведь вся Россия у твоих ног! — не сдерживая восторга, на пороге причитала от счастья старшая сестра Екатерина Ивановна, герцогиня мекленбургская.— Хватит нам унижений терпеть! Теперь наш черед пришел.

Анну Ивановну раздевали. Стаскивая шубу самолично, отстранив служанку, Екатерина Ивановна не унималась:

— Вспомни-ка, вспомни! Кто нас, царских дочерей, почитал? Замуж-то отдали как? По желанию? По любви? А все так наш дядюшка желал. Нас и по имени-то не называли. Только Ивановны, как прозвище какое.

Быть может, все это было правдой и обиды правильными, но не ночью же, не возле порога говорить от этом, думал Василий Лукич, изумленный рыданиями Екатерины Ивановны.

— Каждое слово — правда,— поддерживала сестру Прасковья Ивановна.

— Мне бы в постели полежать. Столько дней в карете! — ответила Анна Ивановна.— Или мне теперь приходит пора стоя спать?

— Чего это ты сразу и раскисла? — по-свойски ответила ей Екатерина.— Ей на блюдечке с золотой каемочкой власть экую преподнесли, а она чего-то канителится.

— Да спать я хочу. Много вы знаете! На блюдечке поднесли власть. А знаете, что творится в Москве? — Она, хлопнув дверью, ушла в отведенную ей спальню, приказав никого не пускать, пока сам не выйдет.

Сестры переглянулись, посмотрели на Василия Лукича, присутствовавшего при их перебранке. У него екнуло сердце: откуда ей знать, что творится в Москве? У светлейшего князя закружилась голова. Он, находившийся возле Анны Ивановны денно и ношно, вдруг услышал то, чего в первую очередь надо было знать ему!

— Дома и рука и нога спит, а в дороге и головушка не дремлет,— вздыхая, говорил Василий Лукич слуге, раздевавшего его ко сну.

Уснуть Анна Ивановна не могла. В голову лезло разное. Она уже стала понимать, что так просто ее на престол не посадят, хотя теперь уже Верховному тайному совету нет возможности идти на попятную. Но яснее ясного, что царствовать ей придется по тем правилам, какие предписали ей верховники. А она что может сделать? Еще на пороге к столице, а сколько всяких записок, хотя Василий Лукич и сторожем сторожит. И ведь всяк свое требует. Может, в этом и есть справедливые мысли, так ведь каждому не угодить.

На завтра были назначены похороны умершего императора, и она, не явившись на них, заказала большой молебен по усопшему в селе Всесвятском.

В этот холодный и пасмурный день столица прощалась с молодым императором, прямым наследником престола, на которого еще недавно возлагали большие надежды.

Анна Ивановна стояла перед алтарем, молилась и искренне оплакивала его смерть. Слезы залили ее раскрасневшееся лицо, разламывалась голова, и не было желания с кем-либо разговаривать или кого-то слушать.

— Ты чего испугалась? На тебе лица нет,— спросила Анну Ивановну старшая сестра.— Приехали к ней совет держать, порадоваться, а она все молчит и молчит.

— Бога побойтесь, в этакий день! — ответила императрица.

— Может, завтра поздно будет. Воронье-то явится, все по-своему повернет, и опомниться не успеешь!

Была правда в этих бесхитростных словах жаждущих власти и дворцового блеска сестер.

— Ты, Анна, никого не бойся,— возвращаясь после молебна к карете, твердила на этот раз Прасковья.—

Маменька наказывала, чтобы ты не вздумала перестраивать заведенные Петром Алексеевичем порядки. Уж она-то знает! В согласии с ним жила. Он называл ее «умницей». Или забыла?

Анна ничего не отвечала. Экие грамотные: осмелились царице условия ставить!

— Тетушка-то наша Екатерина до престола кем была? — спросила Прасковья и сама же ответила: — Шереметеву портки стирала, опосля Меншикову. А ты дочь законного царя!

— У тетки были преданные люди, Александр Данилович и армия при нем! А у меня кто? — проронила она, захлопывая перед сестрами дверь.

— Разбросишь умом, так найдешь! — успела крикнуть герцогиня мекленбургская.

Со стороны столицы доносились пушечные раскаты. Последние после опускания гроба. Все члены многочисленного семейства Долгоруковых бросили по горсти земли в могилу Петра.

— Все прожитое — тлен! — обтирая лицо ладонью, бормотал Алексей Григорьевич, понимая, какими крутыми могут стать последующие дни не только для него, но и для всей семьи.

После похорон все тихо расходились. И только царица Евдокия Федоровна, цесаревна Елизавета, Екатерина Долгорукова и поддерживающая ее графиня Наталья Борисовна не отходили от могилы и казались сиротами.

Поодаль в скорбном молчании стоял молодой морской офицер. Вид его был пасмурен, и трудно было объяснить, как попал сюда этот высокий, худощавый юноша. Екатерина почувствовала на себе его взгляд и сделала над собой усилие, чтобы вспомнить, кто он. Ей казалось, что когда-то она встречала этот пронзительный взгляд. Но это длилось мгновение. Приподняв голову, она уже не увидела молодого офицера. Но то, что в памяти ее всплыл этот образ, не было случайностью.

Молодой офицер, проезжая в Петербург через Москву и узнав от знакомых, что в Лефортовом дворце назначено обручение императора Петра Второго с княжной Екатериной Долгоруковой, задолго до назначенного часа поехал туда, чтобы посмотреть на торжественную церемонию. Какая царственная походка была у молодой княжны! Какой наряд! Поднимаясь по большой лестнице

дворца, она тогда внимательно посмотрела на присутствующих. И встретилась взглядом с молодым офицером. Это был Дмитрий Овцын. Его сердце дрогнуло от счастья быть обласканным прелестным взглядом, возможно, будущей императрицы!

И вновь встреча! Екатерина, конечно, не могла запомнить его. Но он? Ему было достаточно хотя бы встретиться с княжной взглядом. Он почувствовал, что Екатерина посмотрела в его сторону. Потупив взор, уткнув подбородок в высокий меховой воротник черной епанчи, подхваченная под руку князем Иваном, она пошла к ожидавшей ее карете.

На улице по-прежнему мело. Разбушевавшийся ветер вихрил снег и словно разгружал на небе тяжелые лодки-тучи.

Глава тридцать пятая

Чем ближе Анна Ивановна продвигалась к столице, чем ближе был час ее прибытия в Москву, тем сильнее обуревал ее страх. Самый настоящий, когда от тревожного ожидания дрожит душа. Она поняла, что совершенно не имеет понятия ни об управлении государством, но о системе государственной иерархии, да вообще ни о чем, кроме обычаев светской жизни! «У тетушки, как ястреб, над головой кружил светлейший князь Александр Данилович,— думала она, все больше сомневаясь в помощи и добропорядочности намерений верховников.— Меня тоже пасет Василий Лукич, да что толку? У них свой интерес: оградить меня от власти в их пользу. А если послушать Екатерину да позвать или попросить совета у Андрея Ивановича Остермана? Он может стать надежной опорой. Он знает все, что делается в государстве. Сколько лет дружил с дядюшкой. Он и последующие дела знает».

Озаренная этой мыслью и не откладывая свои намерения на потом, ни с кем не посоветовавшись, она по-

дошла к маленькому столику, взяла колокольчик и позвонила.

— Писаря сюда,— приказала заглянувшему в дверь камердинеру, но сразу спохватилась и замахала рукой, понимая, что от Василия Лукича ничего не скроется и он тут же пошлет своего гонца. На помощь ей пришла Дуняша. Она быстро помогла спроворить дело — тайно написать письмо Андрею Ивановичу Остерману.

До рассвета гонец выехал на проезжую дорогу. Подъезжая к Москве, гонец остановил взопревшую лошадь, постучал в ворота барского дома. Привратник, отворив калитку, еле признал в наезднике брата генерала Салтыкова. Срочно была подготовлена хорошая карета.

Все эти тягостные дни после кончины императора Остерман жил в тревожном ожидании. Теперь он болел по-настоящему. Часто метался в лихорадке по ночам, а к утру куда-то отступали маятные мысли, и он чувствовал себя человеком, боясь приближения ночи. Он только что приехал с похорон: расстроенный, разбитый и, казалось, всеми забытый. Хотя, когда начинал сопоставлять силы в обществе и растущее недовольство, думал: если у Анны Ивановны хватит ума, то она непременно обратится ко мне за помощью и советом.

Когда в кабинет Андрея Ивановича вбежала Марфа Ивановна, впопыхах не успевшая заколоть волосы, он подумал, что что-то стряслось с сыном, который лежал в жару от какой-то ветровой болезни, которая с самой осени летала над Москвой.

— Сон в руку, Андрей Иванович,— задыхаясь от волнения, говорила она мужу.— Гонец из Всесвятского. Сама Анна Ивановна к тебе человека послала. Про что я тебе говорила? Куда они без тебя, без твоей светлой головушки? Никто, кроме тебя, в этой кутерьме не разберется. Так и есть!

— Успокойся, душа моя. До государственных ли дел нынче? — Он страдальчески охнул и закрыл глаза.— О, Бог.— Андрей Иванович старался не показать радости,— пусть подождут. Судорогой ногу стянуло.

— Лекаря-то нынче никудышные. Сколько я им добра делаю, сколько плачу-переплачиваю, а они одного такого человека вылечить не могут. Одно твердят — ходить боле надо, ходить. А кому охота ходить, коли только выйдешь на крыльцо, а экипажи уже ждут.

Сказывал мне германский лекарь, что с годами у всех жилы слабеют.

Она еще что-то говорила, но Андрей Иванович, привыкший к ее болтовне, был погружен в чтение послания будущей императрицы. Откинувшись на спинку кресла, почесал в затылке. Душа его ликовала. Кто поймет этих русских? Мысли у них строем не ходят, а как задумают, так и жизнь свою поворачивают. Хотя бы и Петр Алексеевич. Его думы наперед невозможно было выстроить. Мудрый был человек фельдмаршал граф Шереметев. Бывало, выскочит от царя, румянцем покроется, скажет: попал в стаю, выть не вой, а хвостом виляй. И до чего же по отдельности у всех умные головы, а как соберутся — кричат, спорят, и всякий делает по-своему. И насчет хвоста — тоже верно. Вот и опять наступает пора — надо вилять хвостом».

— Ну чего? Помощи просит? — полюбопытствовала Марфа Ивановна.

— Нет, душа моя. Нет,— остановил он жену, и она поняла, что больше просить Андрея Ивановича не надо. Придет время — сам скажет.— Ступай. Я с мыслями соберусь. Хоть два слова, да написать надо, а два слова написать иной раз труднее, чем двадцать. Как надо будет — позову.

По причине трусости и осторожности он и в самом деле написал только два слова: «Сильны самодержавием». Если думать умеет Анна Ивановна, поймет, если не поймет, то и совета больше не будет.

На улицах столицы уже буйствовал люд: брань, крики, драки. Сенат, верховники, генералитет — никто не хотел брать на себя ответственности.

— Лизавета-то Петровна чо смотрит? Чего медлит? Она законная наследница! — орал, взобравшись на крыльцо, расстроенный мужик без шубы и шапки. Красная рубаха пузырилась на спине.— Али войску нету? Али генералы перевелись?

И только наступающая ночь, разбушевавшийся ветер и крепчайший мороз мало-помалу утихомирили людской гнев.

В это время все высокопоставленные чины мчались во Всесвятское. Для нанесения почетного караула возле императрицы прибыл батальон преображенцев и семеновцев с отрядом кавалергардов.

Анна Ивановна, пока еще герцогиня Курляндская, одетая в траурный наряд, с трепетом принимала гостей,

не веря, что такие высокопоставленные чины поясно кланяются ей. Многих она вспоминала, они были в окружении дядюшки — Петра Алексеевича. Это были те, кто вместе с ним ходил в дальние походы, одерживал великие виктории, создавал флот, строил Петербург. «Неужто меня сравнивают с ним? Неужто они, без умысла, без выгоды и корысти для себя, могут отдать мне власть? Стать моими подданными? — растерянно думала Анна Ивановна.— Да не во сне ли это?»

Василий Лукич, заметив милостивое отношение ее к верховникам, ликовал. Но что и предположить не мог, как скоро в его судьбе все опрокинется. Анна Ивановна, получившая от Андрея Ивановича записку всего в два слова, будто враз оправилась от угара. Еще слышны были звоны колоколец, уносящих в столицу гостей, назначивших ее торжественный въезд в столицу, а она тут же отдала распоряжение стоявшему возле двери караулу: к ней никого не пускать!

Напрасно визжали сестры на бравых парней. Те отвечали: не велено! Изумился и Василий Лукич. И хотя в первую минуту сердце его сжалось в недобром предчувствии, но все это он отнес на счет усталости и волнений, которые все дни сопровождали его.

Как только все успокоились, Анна Ивановна в изнеможении упала на постель. Подбежала Дуняша, но герцогиня уже успела рвануть глухой ворот траурного платья, сдавливающий ей горло. Ряд плотно пришитых пуговиц, обтянутых черным шелком, рассыпался по ковру, обнажая полную грудь и белые плечи герцогини. Лицо ее с широко расставленными глазами, большим покрасневшим носом показалось перепуганной служанке незнакомым. Будто на постели вместо герцогини лежал страшный оборотень. И только рассыпавшиеся по подушке густые каштановые волосы остановили отчаянный крик Дуняши.

— Сглазили, сглазили,— запричитала служанка, глядя на герцогиню, у которой появились признаки приступа падучей.— Тут ли булавка? Я всегда ее пристегиваю от всякого сглазу,— шарила она рукой по исподней рубахе герцогини.— Эко, сколько народу глазело, а у всех глаза завидущие, взгляды урочьи,— говорила Дуняша.

— Беда-то на меня какая свалилась, Дуняша,— завсхлипывала Анна Ивановна.— И кому это в ум пришло

поднять меня на царский трон? Сидела бы в Митаве. Жила бы в полном спокойствии. А здесь толк-то какой от меня? Мне здесь, кроме тебя, и слова сказать не с кем. Все мне в рот глядят, а сами, коли волю дай, друг другу горло перегрызут и меня враз проглотят. Хоть бы Эрнст был тут. Знаю, ума он невеликого, порядков русских не знает, но слушать меня умеет и служит верно. Позвать его надобно. А так страшно мне в эту Москву ехать: одни одно говорят, другие — другое.

— А ты сердце свое слушай, голубушка моя,— посоветовала служанка.— Сердце у человека вещун. Коли в чем есть сумление — поосторожничай.

— Спасибо тебе,— испив валерианового настоя и мало-помалу успокаиваясь, сказала Анна Ивановна, не выпуская из своей руки руку служанки.— Вот сделаю так, как один умный человек советует.

— И сделай, коли человек умный.

Анна Ивановна решительно поднялась с постели и стала расхаживать из угла в угол широкими шагами, скрещенными на груди руками крепко держась за локти.— Так и сделаю, коли во дворце среди вельмож согласия нету.

Служанка, прижавшись к стене, внимательно глядела на свою хозяйку, чувствуя, что та вся дрожит.

— Жить стану по старому порядку. Самодержавно! Так тому и быть! — решительно сказала Анна Ивановна. И, не смыкая глаз, просидела всю ночь в кресле.

Село Всесвятское ничем не отличалось от других подмосковных усадеб. Это она увидела из окна, к которому подошла, чтобы взглянуть на широкую полосу рассвета. На противоположной стороне улицы стоял большой рубленый дом с надстройкой наверху. Высокое крыльцо его было огорожено кувшинообразными колоннами и покрыто остроконечной кровлей. Окна, продолговатые и узкие, затянуты слюдяными кусками, расписанными красками и фигурками, разглядеть которые Анна Ивановна не смогла. Стены дома черны, по-видимому, от давности. Неизвестно откуда, с какой стороны на жердину огородного прясла уселась сорока. Она, будто еще не успев проснуться, покачивалась взад-вперед, еле удерживаясь на тонких лапках, и вдруг замахала крыльями и застрекотала по-сорочьи громко.

— Опять гостей ждать? — сквозь сон ответила Дуняша.

— Теперь без них никуда!

Анна Ивановна решительно подошла к двери, охраняемой кавалергардами, по-хозяйски распахнула ее.

— Позовите ко мне генерал-поручика Салтыкова,— сказала и захлопнула дверь.

Семен Андреевич Салтыков — генерал-поручик Преображенского полка был родственником Анны Ивановны. В коридоре послышались торопливые шаги, шепот и вдруг крик Василия Лукича:

— Как смеете? Мне нужно немедленно увидеться с императрицей!

Еще вчера, такой счастливый, обласканный Анной Ивановной, сегодня он вдруг не стал иметь возможности переговорить с ней.

— Я требую аудиенции! Требую!

По коридору в окружении офицеров шел Салтыков. Отдав честь Василию Лукичу, беспрепятственно вошел через распахнутую перед ним дверь в покои императрицы.

В это утро, обдумав слова Андрея Ивановича Остермана, Анна Ивановна самолично назначила себя полковником Преображенского полка и капитаном кавалергардской роты. А Семен Андреевич был произведен в полковники. От этого известия у Василия Лукича потемнело в глазах. Ему показалось, что небо упало на землю.

— Это же переворот! — пролепетал он, но из-за бурных возгласов офицеров никто этого не заметил.— Перехитрила, телка неповоротливая. Перехитрила! И когда успела обрести такие мысли? Кто надоумил? — еле переставляя ноги, направился он в отведенные ему покои, чтобы не показаться смешным. С горечью Василий Лукич наблюдал, как от милости императрицы офицеры пришли в восторг, а солдаты, одаренные водкой, клялись ей в верности.

Анна Ивановна понимала, что уже нарушила одно из подписанных ею условий верховников. Но она и поняла, что ей никогда не стать императрицей, если у нее не будет опоры в армии.

Глава
тридцать шестая



Москва готовилась к торжественному въезду новой императрицы. Привезенные из близлежащих посадов работники днем и ночью при тусклом свете фонарей строили новые триумфальные арки у Земляного города и Воскресенских ворот. По улице, вдоль которой должен был двигаться царский поезд, возле каждого дома приютились хвойные деревца, придававшие праздничный вид. Кроме того, все улицы были посыпаны песком, а по сторонам выстроились шпалерами полки: Московский, Выборгский, Симбирский, Капорский, Бутырский и Вятский. От Красной площади и Воскресенских ворот до Успенского собора стояли Преображенский и Семеновский полки.

Князь Иван Долгоруков, будучи майором Преображенского полка, по долгу службы командовал гвардией. Красивый и статный, он картинно сидел на своем холеном коне арабской породы, объезжая выстроенные войска. Именно в эти минуты он вспомнил своего дорогого друга. Иван даже не предполагал, как без Петра будет ему сиротливо. Все это время он снился ему: то его будил звон бубенцов, то конский топот, то просто свист, каким умел забавляться император-отрок.

Зная о том, что Ивану снится Петр, Прасковья Юрьевна наказала каждодневно жарить блины и угощать ими всю дворню, чтобы поминали раба Божия Петра Алексеевича.

И теперь, объезжая полки, он будто ощущал присутствие Петра. Казалось, вот-вот он выскочит из какого-нибудь переулка на своем лихом коне.

А в селе Всесвятском прибывшие из столицы сановники преподносили государыне орден Святого Андрея Первозванного. Разнаряженный и торжественный Дмитрий Михайлович Голицын с особыми почестями обращался к Анне Ивановне и просил Ее Величество принять звание гроссмейстера этого ордена. Великий

канцлер Гавриил Иванович Головкин, не однажды в своей жизни удостаивающийся чести преподносить высокие награды отечества ее предшественникам, направился к будущей императрице. И каково же было его изумление, когда Анна Ивановна сделала вид, что не слышит слов графа и смотрит в другую сторону.

— Ах, правда, я позабыла его надеть! — сказала она, повернувшись к кому-то, попросила приколоть ей орден.

У Гавриила Ивановича перехватило дух. Стоявший с ним рядом Михаил Михайлович Голицын успел вовремя поддержать его под руку. Такого оскорбительного отношения к собственной персоне канцлер никогда не испытывал. И по прошествии лет, до самой смерти, он не мог забыть принародного позора.

Студеный, ветреный день 15 февраля 1730 года не испугал многолюдной Москвы. Толпились взглянуть на будущую императрицу. По родне — седьмая вода на киселе, судачили в толпе.

Кому в голову пришло на благословенный трон посадить дочь слабоумного царя Ивана? И вопросам этим не было конца.

— Катя, может, поедешь с нами? — спросила графиня Наталья все эти дни грустившую и не снимавшую с себя траурного платья царскую невесту. Место, которое сейчас должна была занять Анна Ивановна, могло принадлежать ей. И могло ли сердце своенравной и гордой Екатерины вынести это? — Княжичи уже ускакали, и мы с княжнами съездили из любопытства.

От семидесяти одного пушечного выстрела содрогнулся воздух, покатилось к подмосковным далям эхо, над куполами церквей с криками взметнулись перепуганные птицы. Какая-то любопытная бабенка с перепугу, закрыв ладонями уши, закричала истошно и выбежала на дорогу, посыпанную песком, прошмыгнув между стоявшими рядами полков.

Анна Ивановна, герцогиня Курляндская, въезжала в престольную столицу в золоченой карете, запряженной девятью нарядно убранными лошадьми. В лазоревые ливреи с золотыми позументами были одеты кучер и форейтор. Возле каждой лошади шел конюшенный, а по сторонам кареты — пятеро гайдуков. Князь Василий Лукич Долгоруков ехал верхом с правой стороны

императорской кареты. Его сопровождал генерал-майор Леонтьев, а Михаила Михайловича Голицына — генерал-майор Шувалов.

— Какое у нее отвратное лицо,— не сдержавшись, шепнула на ухо Наталье Борисовне княжна Елена. Но графиня глядела только на своего любимого, который среди сотни офицеров, стоявших в карауле, казался ей самым прелестным, и она безошибочно и легко находила его среди невообразимого людского моря.

Навстречу торжественному поезду с императрицей под звон колоколов и новых пушечных выстрелов вышли представители Синода архиерей новгородский митрополит Феофан, архимандрит Чудовского монастыря Арсений и вместе с ними князья Алексей Михайлович Черкасский и генерал-майор Лев Васильевич Измайлов.

Вот и Красная площадь! Святое место столицы. Надо ли описывать, с какими чувствами и воспоминаниями ступает на ее брусчатый настил каждый человек? Сколько слышала она победных фанфар, маршей, ликования! Сколько видела слез и горя.

Неповоротливо, неторопливо вышла из кареты с помощью слуг Анна Ивановна и в сопровождении свиты направилась в Успенский собор. Вид ее был хмур, взгляд тяжел.

— Как толста! Как велика! На голову выше всех кавалеров. А лицо-то рябое,— сжимая руку графини, шептала княжна Елена, озираясь по сторонам.

В это время снова раздалась пушечная пальба и троекратные ружейные выстрелы всех полков. Напуганные кони, стоявшие в проулках, вдруг заржали, поднялись на дыбы и, не слушаясь всадников, помчались вдоль дороги к Москве-реке.

Площадь пришла в движение. Люди кричали, крестились, кое-где завязалась драка. Но Анна Ивановна не видела и не слышала ничего. Все было новым для герцогини Курляндской, по воле верховников оказавшейся на царском троне. Признаться, они уже проклинали тот день, когда отважились пригласить ее на царствование. Но отступать было некуда.

— Глаза бы ни на что не глядели,— вдруг сказал Дмитрий Михайлович Голицын.— Привести бы императрицу к присяге да и спать спокойно.

— А мне кажется, не дадут нам спокойно спать! Экие толпы к ней на аудиенцию попасть хотят. Разве

это спроста? Кто к царю по пустячному делу осмелится пойти?

Окруженная большим количеством помощников, Анна Ивановна поняла, что многое, о чем докладывают ей, не поддается ее пониманию. Дня три она никого не велела пускать к себе, ни даже называть чьих бы то ни было имен и чинов, чтобы не обременять себя навалившимися заботами. Но не так-то просто было отмахнуться от государственных дел! Доложили, что представитель Испанской короны третий день расхаживает по коридорам в ожидании приема, что ждет встречи гонец, прибывший с Кавказа с сообщением о кровопролитных боях с горцами, что явился горнозаводчик Демидов и уже в сердцах разбил не один кувшин в приемных палатах, также требуя немедленной встречи с императрицей: он не мог взять в толк, что власть переменилась и что теперь на троне сидит не Петр Алексеевич, который принимал его, не медля ни минуты.

— Позовите Андрея Ивановича Остермана,— на четвертый день сказала Анна Ивановна, понимая, что решать дела надо, но и допускать к себе представителей какой-либо партии не желала: знала, что от них можно услышать лишь одни жалобы друг на друга.

После этого распоряжения она решила развлечься: захотела познакомиться с шутами и шутихами царского двора. Первым, в красочном одеянии, с нашитыми по рукавам и подолу костюма бубенчиками, явился старый, бывалый шут Балакирев, испытавший на себе милость Петра Великого и несчетное число побоев от Александра Даниловича Меншикова. Он тряхнул стариной: показал каждое движение, походку, повороты головы, взмахи рук Великого Петра, как бы напомнив Анне Ивановне, на чье место она угодила. После выпорхнул португалец Лякоста с огромным синяком под правым глазом, который получил от Балакирева. Со скрипкой под мышкой появился итальянец Педрило. Он прибыл в Россию как скрипач и за артистизм и бойкий ум был оставлен при дворе. Кроме них в покои Анны Ивановны, гримасничая, явились шуты аристократических родов: князь Михаил Алексеевич Голицын, князь Никита Федорович Волконский, Алексей Петрович Апраксин.

Императрица вежливо поклонилась им, не требуя от них никаких потех. Ее не покидало чувство необъяснимой

тревоги. Даже шутовская братия при царском дворе являла собой определенный смысл. Это были не карлицы и карлы, хохочущие и поющие нескладухи. То ли дело — Алешка-вьюн, который мог бесцеремонно сесть ей на колени и петь разные песни, чувствуя настроение хозяйки. И сейчас карл непременно спел бы ей про Митаву, про оставшегося там друга Бирона, который тоже исходит тоской по своей герцогине. Но, как сказали Анне Ивановне, Алешка сильно простудился в дороге и лежит в бреду, оставленный с прислугой во Всесвятском.

Прервав ее размышления, камердинер доложил, что во дворец приехал Андрей Иванович Остерман. В каком подобострастном поклоне предстал перед новой императрицей великий интриган!

— Боги небесные! — воскликнул Андрей Иванович по-немецки, целуя Анне Ивановне руку и проверяя, как отзовется она на немецкую речь. И какова же была его радость, когда он услышал ответ, хотя и на неправильном, но все же на языке его родины. Когда почувствовал расположение к себе императрицы, чуть расслабился.

— Кланяться придется тебе, Андрей Иванович,— вглядываясь в осунувшееся лицо вице-канцлера, сказала Анна Ивановна по-немецки.— Столько разных передряг, столько прошений и писем, а главное, берет сомнение в необходимости ограничений, какие выдвинули верховники и которые я подписала. Если выполнять их, то мне как императрице ни вздохнуть ни выдохнуть. Что же делать?

Андрей Иванович умел держать паузу: он ждал, когда выговорится императрица.

А тем временем Дуняша, которую все эти дни навеличивали Авдотьей Андреевной, накрывала стол на двоих в ее покоях. При дворе хорошо знали вкусы Андрея Ивановича. В еде он был неприхотлив: больше всего любил овощи и рыбу.

Пока накрывали на стол, они говорили о погоде, о малозначащих вещах.

— Ошибаться сегодня нельзя,— тихо, но многозначительно сказал Андрей Иванович, еле касаясь губами чашечки с крепко заваренным китайским чаем, привозимым в Россию через Германию.

— Совета прошу,— так же тихо ответила императрица.— Ты, Андрей Иванович, человек посторонний.

— Как? — вскинув подслеповатые глаза, в испуге спросил Остерман, и Анна Ивановна увидела, что они у него голубые.— Я верой и правдой служу Российскому государству.

— Я не так хотела сказать,— поторопилась оправдаться Анна Ивановна. Да и сам Остерман понял, что она имела в виду.

Из разговора поняла Анна Ивановна, что вице-канцлер обеспокоен более собственной судьбой, чем судьбой Отечества, хотя в здравомыслии отказать ему было нельзя.

На 25 февраля 1830 года было назначено принятие присяги. Перед этим Анна Ивановна долго и усердно молилась, просила у Всевышнего заступничества и благословения на то, что она надумала сделать вопреки обещаниям верховникам. К этому ее подтолкнул и недолгий разговор с архиепископом Феофаном Прокоповичем. С далеких лет, почти постоянно находясь с Петром Великим, он всегда занимал в спорах сторону монарха. В почтительной с ней беседе он не забыл напомнить об этом.

Поутру все важные персоны государства съехались в Успенский собор. Службу вел сам Феофан Прокопович, немало обремененный думами о том, что скажет своим подданным Анна Ивановна и как примет присягу. «Все в ее власти! Но надолго ли? Подпишет условия верховников — рухнет государство!»

Анну Ивановну одевали в самый роскошный наряд, сшитый к этому дню из парчи с золотым шитьем и жемчугом и длинным шлейфом. Парикмахер, высоченный сухопарый немец, делая прическу и украшая ее жемчужными нитями, не скрывал восторга от красивых волос Анны Ивановны.

Высокая свита провожала ее в тронный зал, где все было готово к подписанию присяги. Отзвенели колокола. Молебен был окончен.

Дверь тронного зала распахивали медленно. Императрица уже сидела на троне. Дородная, с высокой грудью она казалась чересчур могучей. И если бы не женское одеяние и искусная прическа, то можно было усомниться в принадлежности ее к женскому полу. Ее лицо было неподвижным, его ни разу не тронула улыбка.

Трон был окружен гвардейцами, и эта деталь насторожила верховников.

— Боже милостивый! — прозвучало в зале, когда князь Алексей Михайлович Черкасский от имени дворянства вдруг протянул императрице петицию. Не упустили случая заявить о себе и представители шляхетства.

В нависшей тишине особенно решительным показался голос князя Кантемира:

— Позволь, государыня, прочту!

Анна Ивановна кивнула головой.

— Долг верноподданных обязывает нас не оставаться неблагодарными перед милостью Вашего Императорского Величества,— растягивая каждое слово, четко произносил князь,— а потому мы, дворяне, предстаем, исполненные благоговения, для изъяснения нашей верноподданнической признательности и всенижайше умоляем соизволить воспринять самодержавие по примеру царственных ваших предшественников и уничтожить подписанные вами кондиции, присланные Вашему Величеству Верховным тайным советом.

— Разве...— императрица подняла голову. Взгляд ее голубых, широко поставленных глаз смотрел на присутствующих, но казалось, что она никого не видит.— Разве подписанные мною условия в Митаве были не по желанию народа?

— Нет, государыня!

Анна Ивановна протянула пухлую руку в сторону стола, на котором лежали подписанные ею кондиции.— Читайте, князь,— обратилась она к Кантемиру.

Он читал одно за другим условия верховников.

— Вы меня обманули? — обратилась Анна Ивановна к Василию Лукичу. Глаза ее сверкнули гневом.

На виду всего высокого собрания Анна Ивановна разорвала подписанные ею в Митаве документы, в которых ограничивалась ее самодержавная власть.

Дмитрий Михайлович Голицын не мог выдержать подобного оскорбления: в глазах потемнело, медленно слабели левая рука и нога, повело в сторону щеку, скривило рот. Его взяли под руки и увели в карету.

В это время Анна Ивановна громко и внятно произнесла:

— Я принимаю власть самодержавную и вступаю на престол не по избранию, а по наследству. Кто же изволит противиться моей воле, будет наказан как изменник.

На миг ошеломленная толпа замерла. Но вдруг Андрей Иванович Остерман подошел к новой императрице

и поцеловал ей руку. Его примеру последовали все, не исключая верховников. И только один из них, Дмитрий Михайлович Голицын, остался верен себе: когда через две недели к нему вернулась речь, смирившимся друзьям-верховникам он сказал пророческие слова: «Пир был готов, но гости стали недостойны пира! Я знаю, что стану жертвой. Так и быть! Пострадаю за Отечество. Я уже и по летам близок к концу жизни. Но те, которые заставляют меня плакать, будут проливать слезы долее, чем я».

Через два дня царский двор встречал любимца Анны Ивановны — Эрнста Иоганна Бирона.

Глава тридцать седьмая

Надо же было так жестоко ошибиться! Намерения верховников ввести в Россию ограниченную монархию рухнули через пять недель, когда новая императрица прилюдно разорвала подписанные ею в Митаве «кондиции».

Противниками верховников оказались такие яркие фигуры в государстве, как Феофан Прокопович, Антиох Кантемир, Василий Татишев, безусловно, вице-канцлер Остерман. Решающее слово оказалось за гвардией.

Любимец императрицы обер-юнкер Эрнст Иоганн Бирон явился в столицу через два дня. Не без волнения шел он по невиданным, великолепным залам Московского кремля.

По прибытии в столицу он тут же занял должность оберкамергера, которую при дворе исполнял князь Иван.

— Он уже возведен в графы, ему пожаловали голубую ленту и орден Андрея Первозванного! — не скрывая раздражения, рассказывал последние новости князь Иван светлейшему князю.

— Ничего хорошего ждать от этой курляндской дуры не приходится ни государству, ни подданным. Кабы тогда согласились объявить наследницей престола Екатерину — все бы шло своим порядком!

— Наша-то Катерина умнее ее, что ли? — возразил князь Иван.

В сердцах светлейший князь сбросил на пол стоявшую возле него фигуру медведя, которую подарил ему Демидов, приезжавший на свидание с государем Петром Алексеевичем.

— Или уж дочь Петрову — Лизавету! Все едино — своя! Куда бы ни повернула, все едино поставили бы по-своему! А мы из глухой Митавы смерть свою привезли! — кричал Алексей Григорьевич, не зная, на ком сорвать свой гнев. Он откровенно корил себя. Да и другие верховники страдали не меньше Долгорукова.

В первые дни царский фаворит робел перед всем и всеми. Он еще не привык к почтению и смущался. Особенно после того, как от имени австрийского императора был возведен в графы вместе с пожалованием ему портрета императора, осыпанного бриллиантами.

В покоях своей жены Бенигны он с нескрываемым удивлением говорил:

— Они меня не за того принимают. Я могу и буду служить верой нашей разлюбезной Анне, нашей покровительнице! Я могу ее утешать, ездить с ней на прогулки, могу развести в России породистых лошадей и даже создать конные заводы, если на то будет ее желание,— волновался Эрнст, ошеломленный невиданными почестями, воздаваемыми ему.— А вчера мне преподнесли подарок в двести тысяч таллеров и снова от имени австрийского императора. В этом нет моей заслуги!

— Это все из уважения к твоей должности оберкамергера,— ответила Бенигна, причисленная к главным фрейлинам двора.— Этих русских варваров надо заставить уважать наши порядки!

Бирон удивился словам Бенигны, всегда ненавидевшей Анну Ивановну, но смирившейся с отведенной ей ролью. Она готова была все терпеть, лишь бы возле красавца Эрнста Иоганна.

И с нескрываемой злобой добавила:

— И не забудь про нашу дочь Гедвигу! Это твое первое дело!

Она понимала, что все почести Бирону достаются не просто так, а как фавориту. Да и он это уже ни от кого не скрывал.

— Я знаю, ты не любишь нашу дочь,— не унималась Бенигна.— Ты стесняешься ее уродства. Но она, хоть

и горбатая,— твоя дочь! В славе своей не забудь и о сыновьях!

— Хватит,— остановил жену Бирон.— Все это сделается. Все сделается,— закрыв глаза, целовал он костлявую, унизанную кольцами руку жены. И теперь, уже боясь потерять расположение Анны Ивановны, он желал бы навсегда расстаться с Бенигной. В голову приходили разные мысли: купить ей в Курляндии имение или вообще сделать полной хозяйкой тех земель. Но понимал и другое: вкусив прелести царского двора, Бенигна никогда не даст на это своего согласия. Он мог бы призвать на помощь Андрея Ивановича Остермана, но боялся, как бы не быть втянутым в интриги, которые могут плохо кончиться. «Не повторить бы прошлой ошибки!» — мелькнуло в голове фаворита. Еще в 1718 году он нашел дорогу к сердцу Анны Ивановны. Она ответила ему взаимностью, и он попытался вступить в интригу с резидентом русского государя Петром Михайловичем Бестужевым, присланным в Митаву в качестве гофмаршала вдовствующей герцогини, и был изгнан им из ее окружения. Но в 1721 году, воспользовавшись долгим отсутствием резидентов, навсегда покорил сердце Анны Ивановны и уже никогда не покидал ее. С тех пор он стал осторожнее и укрощал в себе желание заниматься интригами. А тут вдруг Андрей Иванович! Родственный по духу человек. Можно и рискнуть.

— Все сделаю,— отвечал он Бенигне, но она, зная его натуру, почувствовала, что в мыслях Эрнст далеко и, по всей видимости, забыл, о чем она просила его, а дает обещание, скорее всего, для большего ее успокоения.

— Судьба Гедвиги в первую очередь,— повторила Бенигна.

На этот раз Бирон сдержал обещанное. К дочери Бирона были приставлены всевозможные учителя. Ее стали учить языкам, изящным манерам и всему тому, что помогло бы ей не чувствовать себя ущербной и появляться в обществе.

В первое время Бирон с Андреем Ивановичем Остерманом почти ни о чем не говорили, а только вглядывались друг в друга, будто читали одну и ту же книгу.

— Ваше высочество,— первым титуловал Бирона вице-канцлер и принародно потянулся целовать его руку. Старый лис и интриган седьмым чувством угадал в Бироне умение влиять на императрицу. А тот, уверовав

в свою прочность возле царского двора, скоро перестал бояться старых князей и начал порочить и унижать их фамилии, ставя под сомнение их заслуги перед Отечеством. Он порочил тех, кто не щадил живота своего и был отмечен наградами, чинами и почестями самим великим государем. Но ему, чужестранцу, было все нипочем.

Но откуда было ему знать об этом, не будь рядом Андрея Ивановича? Бирон и по прошествии десятилетий не смог бы разобраться в государственной иерархии России, в ее устройстве и управлении. Разве бы у него хватило ума посоветовать Анне Ивановне распустить Верховный тайный совет, созданный Петром Великим, а вместо него создать Канцелярию тайных розыскных дел? И даже рекомендовать на это место генерала Алексея Ивановича Ушакова — человека хитрого, сурового и мстительного? Или учредить правительствующий Сенат, предложить количество его членов и ко всему регламент с обязательным присутствием на нем императрицы?

Подписывая подготовленные бумаги, Анна Ивановна хитро улыбалась, зная, чьих рук это дело, и только изредка многозначительно покачивала головой.

Между тем Бирон с небывалым интересом вживался в дела управления государством, а главное, был возле императрицы неотступно. Он боялся влияния на нее могущественных дворян, во время своего отсутствия посылал к ней Бенигну, которая развлекала императрицу скоморохами и карлами, новыми забавами и песнями.

При дворе со всеми он стал говорить только по-немецки. День ото дня двор пополнялся служащими, прибывающими из Митавы и других мест Курляндии. Немцы наводнили Россию, заполнили двор, засели во всех доходных местах в управлении.

— Так она еше даже не коронована! — в бессилии удивлялись дворяне, наблюдая за молниеносными изменениями и засилием иноземцев, и по всему было видно, что это мало кому из членов Верховного тайного совета предвещало спокойную жизнь.

Остерман в свою очередь призадумался: если этот курляндец будет все делать с такой быстротой и ничем и никем не будет ограничен, то весьма вероятно, что беда не минует и его, вице-канцлера. Он снова прибег

к своему проверенному средству — болезни. Скоро императрице донесли, что у вице-канцлера обострилась подагра и скрутила его до такой степени, что он не может ступить и шага без помощи слуг. Бирон не замедлил навестить его. Андрей Иванович лежал, обложенный компрессами и примочками. Когда же императорский фаворит заговорил с ним о намерениях выявить главных виновников, пытавшихся оградить власть императрицы. Андрей Иванович застонал и еле слышно посоветовал Эрнсту не торопиться. Напомнил: пока Анна Ивановна не коронована, ею написанные указы могут быть оспорены и, поморщившись, добавил: поосторожней с русскими дворянами, как бы самому не угодить в объятия Алексея Ивановича Ушакова.

Пыл Бирона сразу пропал. Он завертел головой, как резвый конь, которого остановили на скаку.

Коронация Анны Ивановны состоялась 28 апреля 1730 года. Венчал ее на царство архиепископ новгородский Феофан Прокопович в качестве митрополита Российской империи. Все было торжественно, и многих в тот день не обошла царская милость. Андрею Ивановичу Остерману были пожалованы графский титул и имение в Лифляндии стоимостью в сто тысяч рублей.

Узнав о щедрости императрицы, Андрей Иванович растрогался.

— За преданность. За преданность! — не переставал говорить Бирон, оповестивший Остермана о щедрости Анны Ивановны.

Но Бирон глубоко заблуждался. Если кому и служил этот человек верой и правдой, то только великому реформатору Петру Первому. Теперь же, наблюдая за Бироном и зная мнение многих членов Сената, обеспокоенных невиданным влиянием Бирона на Анну Ивановну, он решил укоротить ему руки: найти для вдовствующей императрицы жениха. Эта весть получила широкую огласку. Первым откликнулся австрийский посланник граф Фратиславский, отметив про себя, что Анна Ивановна находится в такой женской поре, что может еще стать счастливой в законном браке. Этой мыслью он поделился с Андреем Ивановичем. Тот, как и следовало ожидать, вроде бы промолчал, но кивком головы одобрил намерение посланника. А вечером уже успел намекнуть об этом графу Головкину. В императорском дворе зашушукались. Императрица нашла

спутника жизни! Государыня выходит замуж! Слухи полетели по Москве.

А женихом, улучив минуту в доверительном разговоре, граф назвал португальского инфанта дона Мануила. Анна Ивановна зарделась, как-то боязливо посмотрела по сторонам, но письмо с просьбой разрешить португальскому дону Мануилу посетить Россию приняла, мысленно представив венчание и то, что рядом с ней всегда будет человек, мужчина, с которым можно будет открыто являться в свет, а не только в окружении свиты и фаворитов. Перед ней сразу промелькнул образ могущественного дядюшки Петра Алексеевича с императрицей Екатериной, смотреть на которых было одно удовольствие. С каким нетерпением ждали все открытия любой ассамблеи, любого бала. С каким изяществом танцевал Петр Алексеевич с Екатериной первый танец, задавая тон всему празднику! «А чем хуже я? — подбадривала себя Анна Ивановна.— Эрнст? Он для всех фаворит. Прилюдно смеет танцевать только с Бенигной». У Анны Ивановны разболелась голова. Она даже пропустила заседание Сената, сказавшись больной. Закрыв плотно дверь и схватив за руку свою преданную Авдотью Андреевну, Дуняшу, она увлекла ее в дальний угол покоев, поспешно вытащила спрятанное на груди письмо. Читать не стала, а пересказала обо всем написанном в нем и торопливо добавила: просит дозволения приехать в Москву.

— Ясно, взглянуть надобно,— спокойно высказалась Дуняша.

— А как же с Эрнстом? — не удержалась императрица, на глазах которой появились слезы.

— Чего Эрнст? У него каждодневно под боком сухопарая Бенигна. Эко нашла из-за чего страдать. Куда он денется? — ответила Дуняша и добавила: — Только поглядеть обличье надобно, а то вдруг да какая-нибудь образина. А мы, русские, баских мужиков любим. Пущай приезжает.

— Умница ты моя,— поправляя воротник шелкового, расшитого кружевами платья Дуняши, какой ей положено было носить при дворе, растрогалась Анна Ивановна.

— А Эрнсту-то Ивановичу, ясное дело, сказать надо, а то еще, не приведи Бог, удар хватит.

— Вот ты всегда, Дуняша, так: вначале обрадуешь, потом напугаешь.

— А чего бояться? И кого? — игриво хохотнула служанка, поцеловав Анну Ивановну в щеку. Ей это было дозволено.

Бирон чутьем угадал неладное. Ближе познакомившись с делами Канцелярии тайных розыскных дел, он стал побаиваться мщения русских, которые долго терпят, да скоро расправляются.

Анну Ивановну нашел в хорошем расположении духа. Было что-то загадочное в блеске ее глаз, в легкой улыбке.

— А сказалась больной,— проговорил Эрнст по-немецки, целуя руку императрицы.

— Так пожелала,— пожала плечами Анна Ивановна.

Поборов в себе негодование, он тут же предложил ей прокатиться верхом по подмосковному лесу.

Это ее обрадовало. После переезда в Москву дела и заботы, ежедневные заседания в Сенате незаметно отлучили ее от любимой забавы — ежедневных выездов на лошади.

За несколько месяцев пребывания в Москве Бирон не оставил любимого дела. Кроме осмотра всех царских конюшен и отбора выездных лошадей он уже вынашивал идею учреждения конюшенной канцелярии и желание поставить коневодство в России на широкую ногу. Анна Ивановна, заядлая лошадница, поддержала намерения Эрнста учредить конюшенный приказ с особым регламентом, где были бы обозначены соответствующие должности. Под его ведомство уже были приписаны города с несколькими волостями и селами, где позже были построены конные заводы. Для разведения пород были выписаны немецкие и датские лошади, профессионалы, занимающиеся обучением конюхов и коновалов. Проводились конные ярмарки в Киеве и Риге.

А в этот солнечный майский день Подмосковье источало запахи отдохнувшей за зиму земли. Лес блестел молодой листвой, рябило в глазах от многотравья, завораживало многоголосие птиц.

Легко и свободно сидела императрица в седле. Драгунские офицеры охраны еле сдерживали застоявшихся в конюшнях лошадей.

Анна Ивановна была в хорошем настроении, радостью она наполнялась и от мысли о возможном замужестве. Хорошо зная Анну Ивановну, Бирон был в полном замешательстве. Искоса бросая взгляды в ее сторону, он

заметил, как она уверена в каждом своем движении, будто летала в облаках и не желала спускаться на землю.

— Что ты скажешь, Эрнст, если я пожелаю выйти замуж?

Бирон похолодел, он даже поднялся на стременах, не поверив услышанному.

— Дон Мануил из Португалии предлагает мне руку и сердце. Намеревается к нам, в Москву, приехать,— с какой-то легкостью говорила императрица.

— Опомнись, Анна! — машинально опустив поводья, курляндец что-то сбивчиво заговорил, путая русские и немецкие слова, чем дал повод Анне Ивановне разразиться безудержным смехом. В эту минуту ей казалось смешным все: и предложение о женитьбе, и вид растерявшегося Бирона, и даже свалившаяся набекрень шапочка на голове верного друга.

— Вот от чего ты так весела! — еле сдерживая раздражение, проговорил Бирон.

Вместо ответа Анна Ивановна стегнула хлыстом лошадь, и та рванула в широкий галоп.

По сторонам замелькали кустарники, перелески. «Кто, когда сумел передать ей письмо? Все это мои враги! Я знаю — их много. Это князья! Я согну их в бараний рог. Они долго будут помнить Эрнста Бирона! Только бы отговорить Анну от замужества. Она вся сияет»,— чуть не плача, думал Бирон, настегивая коня, чтобы догнать уносящуюся в изумрудные леса Подмосковья российскую императрицу.

Глава тридцать восьмая

Бирон был уверен, что все козни по поводу замужества Анны Ивановны строит ему Андрей Иванович Остерман. Это он решил отделаться от него, Бирона. «Он уже добился того, что императрица не может дня прожить без его советов»,— размышлял похудевший и осу-

нувшийся фаворит. Оставить все и уехать в Митаву. Своими переживаниями он поделился с Бенигной, надеясь услышать от нее согласие остаться с ним в Митаве и ни с кем не делить его. Но каково же было его удивление, когда Бенигна разразилась криком:

— Не хочу возвращаться в Митаву! Не хочу! Какое замужество? А ты зачем живешь возле нее? Не для того ли, чтобы быть в фаворе? Не для того ли, чтобы жить в роскоши? Кто, скажи мне, так просто расстанется с царскими милостями? Нет таких дураков. Или она выгоняет тебя? — срывалась на визг Бенигна.— А если не выгоняет, то где же у тебя голова?

Бирон стоял как ошпаренный.

— Глаз с нее не спускай! Отыщи своих недругов. Отыщи,— поучала его жена.

Сомнения рассеялись недели через две.

Был солнечный день. По просохшим тропинкам кремлевского сада императрица прогуливалась с Андреем Ивановичем Остерманом. Бирон шел поодаль, пытаясь изо всех сил сохранять спокойствие. От пристального взгляда вице-канцлера не могло скрыться подавленное состояние фаворита. «Не так силен ты, Эрнст, каким хотел бы казаться. Окоротили тебе руки, вот и сник»,— торжествовал Остерман. Он был несказанно рад, что интрига с замужеством ему удалась на славу, хотя и сам не меньше Бирона побаивался, как бы Анне Ивановне и в самом деле не пришелся по душе этот португальский дон!

— А на что нам женихи, любезная Анна Ивановна, из заморских стран? Кто их знает, этих португальцев? Или в России женихи перевелись? — больше для ушей Бирона сказал Остерман.

Анна Ивановна в ответ усмехнулась, заметив, что от волнения Андрей Иванович вытирал пот носовым платком.

— Когда успокоятся эти верховники? Только они и вносят разлад.— Он явно давал понять, что желание выдать императрицу замуж и недавние бурные высказывания о якобы незаконном воцарении ее на престол исходят только от них.— У русских вечно раздоры и ссоры! — уже не контролируя себя, поносил русских, совсем позабыв, что царица, хотя и говорит с ним на немецком языке, русская. Но слово — не воробей. И тогда, сожалея о своей опрометчивости, без всяких обиняков решительно сказал: — Да, надо окончательно решать с этими

Долгоруковыми. Пока сей род в столице — покоя не будет! Как ни крути, а Екатерина была обручена с императором! Она царская невеста.

— Я покажу этой царской невесте, где раки зимуют! — вдруг грозно сказала императрица.— Эрнст, ты помнишь ее? Она была в Измайлово. Я знакомила тебя с ее отцом — Алексеем Григорьевичем в тот день, когда его сын, фаворит императора, упал с лошади.

Бирон вмиг очутился возле Анны Ивановны, почувствовав в ее голосе власть.

— Андрей Иванович сейчас обозначил мне все вины этого рода. Да еще до меня дошли слухи, что они немалые богатства вывезли из головинского дворца. Соберите все на Долгоруковых и передайте в Сенат,— повернулась она к Остерману.

— Обвинения на всякого человека найти можно, всемилостивейшая государыня,— устранение от дворца, а лучше всего из столицы всех Долгоруковых было его заветной мечтой.

Неведомо кем было встревожено обитающее в саду воронье. Чернокрылая туча с шумом поднялась над деревьями. Птицы орали так, словно хотели перекричать одна другую.

— Перестрелять надо все это воронье! — в сердцах сказала Анна Ивановна, угадав в этом карканье недоброе предзнаменование. Настроение было испорчено вконец, зато императорский фаворит с благодарностью смотрел на Андрея Ивановича и готов был просить у него прошения за свои сомнения.

По возвращении с прогулки Андрей Иванович поспешил откланяться, поехал домой. «Ну, Долгоруковы, берегитесь! Я знаю, что вам поставить в вину. Под корень изведу весь ваш род», — Остерман уже знал, что предстоит ему делать.

Марфа Ивановна встретила мужа на пороге и по бледному лицу поняла, что у него плохое расположение духа. Расспрашивать не стала.

Андрей Иванович тут же сел за стол, но сразу приступить к письму не смог: слишком много мыслей о Долгоруковых крутилось в голове. Сам не зная для чего, встал и пошел в столовую, затем, на удивление стряпухам, очутился в поварне.

— Ваша светлость,— всплеснул руками главный повар, обучившийся у меншиковских поваров многим

замысловатым рецептам.— Али чего не по вкусу? Али чего душа пожелала?

— Нет, просто так,— ответил Андрей Иванович, находясь во власти собственных дум. Проходя мимо блюда со свежими ягодами клубники, только что собранной в оранжереях, положил несколько штучек в рот и так же тихо закрыл за собой дверь. В доме случился переполох. Марфа Ивановна неистово кричала, несколько раз ударила по шекам камердинера, но в кабинет к мужу заглянула, улыбаясь.

В это время Андрей Иванович уже написал на большом листе: «Божиею милостию, мы, Анна Императрица и самодержавица всероссийская, и протчая, и протчая, и протчая, объявляем во всенародное известие...» После этих слов он отбросил перо, откинулся на спинку кресла, нащупал под столом мягкий пуфик для ног и какое-то время сидел с закрытыми глазами. Ему вдруг вспомнились дни, как, определенный писарем в канцелярию русского царя Петра Алексеевича, он тщательно впервые выводил слова императорского указа, а теперь никак не мог вспомнить, когда в последний раз собственноручно писал их. Теперь на любых бумагах он ставил только свою подпись. Но эту бумагу, обвиняющую князей Долгоруковых, он должен непременно написать сам, и только после этого передаст писарю, не оставив никакого следа о своем авторстве.

Писал Андрей Иванович всю ночь, обдумывая каждую фразу. Слуги после гнева Марфы Ивановны потеряли сон и, видя в узкую расщелину двери свет в кабинете хозяина, поддерживали в печи угли, чтобы подавать Андрею Ивановичу горячий чай. К утру текст указа для предоставления в Сенат был готов.

Андрей Иванович поставил точку, вздохнул с облегчением и потянулся. Он снова было взялся за перо, но передумал. «Перепишут. Анна Ивановна приложит к этой бумажке свою руку, прижмут на исписанный лист государеву печать и...»

Спать не хотелось, хотя с разных дворов уже доносились петушиные крики. С кресла он поднимался кряхтя, спальник вскочил, когда Андрей Иванович уже раздвигал тяжелую портьеру.

Багровая полоса рассвета, словно проведенная по горизонту острием ножа, показалась вице-канцлеру кровавой раной. Это сравнение не понравилось Андрею

Ивановичу, и он, отстранив локтем сопевшего над ухом спальника, зашаркал по теплому ковру к постели.

— Укрой одеялом как следует! — сказал и отвернулся к стене лицом. Но сон не приходил. «Все с моим участием,— не то радуясь, не то боясь своих деяний, думал он.— Восшествие на престол Екатерины Первой, возвышение и опала светлейшего князя Меншикова, коронация, жизнь и смерть императора-отрока, владычество Долгоруковых, а теперь и погибель их!» И в самом деле, ко всем этим немаловажным делам в российском государстве была приложена его рука. Но ни раскаяния, ни сострадания и ни покаяния не просила его душа.

Утром он предложил Марфе Ивановне съездить в Горенки — погостить у Долгоруковых.

Глава тридцать девятая

Светлейшего князя Алексея Григорьевича трудно было узнать. Он ссутулился, словно его спину чья-то невидимая рука стягивала в санный полоз, по дому передвигался, спотыкаясь и шаркая. А главное, стал ко всему равнодушен и совсем замолчал. Казалось, даже пожар не вывел бы его из состояния полного безразличия ко всему, что происходило вокруг.

Одетый в широкую и короткую шубу, низко и слабо подпоясанную узким ремешком-опояской, в широкие тафтяные штаны, с волосником на лысине вместо роскошного парика, он выглядел таким жалким, что не надо было слов, чтобы понять его состояние. Но мысли в отличие от духа были не только в полном порядке, но и приобрели ясность. «Все стало в стройный ряд,— сказал он Ивану.— Судьба поведет нас по своей дороге».

Визит Андрея Ивановича Остермана в Горенки, как он после сказал, сшиб его с ног, но не повалил.

Зная иезуитский характер этого человека, Алексей Григорьевич приободрился.

— Мы тоже не лыком шиты! — сказать-то сказал, а понимал, что вся сила теперь на стороне Андрея Ивановича. Теперь он и сам не знал, опальные они или не опальные, но то, что отвергнуты высшим обществом, догадаться можно было по привязанным к коновязам лошадям и повозкам: одни розвальни — дальнего родственника, приехавшего просить в долг до нового урожая пять мешков ржи. Два плетеных короба на санях — из рязанских лесов, привезших знахарку для заговаривания грыжи у ключницы. Один крытый возок, на котором вернулся из ближней деревни священник после отпевания души умершего от побоев рекрута. А если вспомнить прошлые годы? Боже мой, сколько было карет! Счету не было.

Медленно поднявшись из-за стола, на котором разбрасывал игральные карты, пробормотал: «Вини падают, одни вини. Ждать добра не приходится».— И отправился встречать Андрея Ивановича.

— Папенька! — остановила его возле двери младшая дочь Аннушка.— Папенька, неужто в таком виде пойдешь встречать высокого гостя? Экий на нем парик! Экий кафтан, чулки, башмаки. Папенька!

— Мы, Долгоруковы, Аннушка, князья! Роду высокого. Про то все знают, а этот вельможа — простолюдин, писарь, без роду и племени в нашей стране.

— Про то ты никогда не говаривал. Он простолюдин? — удивилась княжна.

Чета Остерманов, в сопровождении большой свиты, торжественно поднималась по лестнице. Алексей Григорьевич вышел с князем Иваном и домочадцами из распахнутой железной двери с массивными затворами. Раскланялся по-хозяйски, поясно.

— Боже праведный, Алексей Григорьевич! Или ныне святки? — засмеялась бесхитростно Марфа Ивановна.— Обрядился, и не узнать,— на что князь улыбнулся, целуя ручку графине.

— Ну и дорога в ваши Горенки. Воды полно,— сказал вице-канцлер.

— Сижу в карете,— перебила его Марфа Ивановна.— Вода так и жулькает под колесами, а кони храпят. Так и храпят.

— Бездорожье в подмосковных местах давным-давно всем ведомо,— поддержал ее князь Иван, провожая в приемные покои гостей.

— Верно сказывают: старый друг — лучше новых двух,— с какой-то неловкой дрожью в голосе сказал Алексей Григорьевич.— Теперь только братья и навешают, а остальные будто враз похоронили светлейшего князя Долгорукова! — Он почему-то особо подчеркнул голосом слово «светлейший», имея в виду не жалованных, а потомственных князей. Не тех, кто из грязи да в князи, а с пеленок навеличиваемых «светлостью». Сказал для Андрея Ивановича. Напомнил. Но не тут-то было. Остерман все воспринимал по-своему.

— Ну ты и обрядился, Алексей Григорьевич! — опять принялась за свое Марфа Ивановна.

— Уж если правду хотите знать, руки опустились. Когда это было видано, чтоб я, при любой занятости, охотничью пору пропустил? А нынче сижу дома, как пень,— подняться нету сил. Вон парни на охоту ездили — им все нипочем.

— Запамятовал. У вашей светлости два сына? — спросил Андрей Иванович.

— Не-ет! — не без гордости ответил светлейший.— Четыре сына да три дочери.

— Богатый,— ответил Андрей Иванович и, услышав доносившийся со двора шум и молодецкий посвист, подошел к окну вместе с Алексеем Григорьевичем. Отроки-княжичи распрягали обрызганных грязью лошадей, отталкивая конюхов, не позволяющих им заниматься не своим делом. Андрей Иванович залился громким смехом, увидев, как один из княжичей накинул на голову старого конюха большой рогожный куль. Отец застучал кулаком по переплету рамы и погрозил пальцем:

— Варнак! Коли сейчас со старшим так поступает, так и на родителя руку подымет. Я те дам! Я те покажу, Алексей!

Но отрок уже убежал на другой конец двора.

И обед не мог настроить хозяина на любезный разговор с гостем. Алексею Григорьевичу вдруг стало казаться, что во всех углах прячется нечистая сила. Он попросил позвать певчих девушек, но и их песни не принесли радости и спокойствия светлейшему князю.

Вице-канцлер, во всевластии и вседозволенности потеряв прежнюю осторожность, укорял себя, что без всякой надобности поехал в Горенки. Присутствовав-

шая на обеде Екатерина вдруг, вставая из-за стола, уставила на Андрея Ивановича свои прекрасные глаза и промолвила:

— Вы, Андрей Иванович, будто на наши похороны приехали.

— Катерина-а-а! — закричал на дочь светлейший князь.

— Отчего, папенька? Разве тебе не ведомо, кто научил тебя и помогал тебе сослать в Сибирь светлейшего князя Александра Даниловича? Мне про это сам Петр рассказывал.

— Катерина-а-а! — Прасковья Юрьевна готова была прикрыть рот дочери ладонью.

— Скоро поздно будет говорить! Петр так и говорил: бойся, Катя, только одного Андрея Ивановича. Да, да. Так и сказал незадолго до смерти. Могу перед всеми на колени встать, коли говорю неправду.

Невозможно представить, какой вулкан ненависти взорвался в душе вице-канцлера. Но он не был бы Остерманом, если бы не имел власти над собой. Вместо того чтобы высказать возмущение или показаться оскорбленным, он закатился смехом.

— Все это вздор,— спокойно произнес Андрей Иванович.— Все это обида.

— Нет, не обида. Мне ведомо, как к вам обращался за помощью больной Александр Данилович, и Петр уже готов был сменить свою обиду на милость, но вы удержали тогда Петра. И теперь мое сердце вещает: скоро и нам будет прописан рукой императрицы указ,— с вызовом сказала Екатерина и ушла, не пожелав поклониться гостям.

К счастью, неловкость сгладил приезд графини Натальи Борисовны, которая в эти дни решительно настояла на поездке в Петербург на кладбище — поклониться своему батюшке фельдмаршалу Шереметеву. Ездила с братом и не услышала ни одного слова утешения, кроме: оставь Долгоруковых!

Андрей Иванович, оказав знаки внимания Наталье Борисовне, откланялся.

В карете ему стало дурно: стало плохо дышать, крупной дрожью сотрясло тело, он весь покрылся потом. Марфа Ивановна развязала тесемки ворота, сташила с головы мужа парик и накинула на голову полотняный плат, которые всегда лежал в углу кареты, приговаривая: «Мокрохвостка, соломенная вдова». Она хорошо знала,

отчего ее супругу стало так плохо. Еще бы! Стерпеть такое — про него, которому весь двор кланяется в пояс!

К такому состоянию его привели ее прозорливость, предчувствие и предупреждение: ведь она высказала истинную правду. Не далее как этой ночью, сочиняя для императрицы указ, он уже предполагал, какие слезные письма станут слать ему все Долгоруковы: кто из Сибири, кто из Шлиссельбурга, кто с Соловецких островов.

Ему показалось, что она всю ночь стояла у него за спиной и вычитывала каждое слово. «Да ведь Екатерина права!» — хотелось ему признаться Марфе Ивановне.

— А Алексей-то Григорьевич остался доволен нашим визитом? — не открывая глаз, спросил он у жены.

— Еще бы быть недовольным. Кто к ним в их сегодняшнем положении приедет? Кому они теперь нужны? Хотя бы и эта царская невеста?

Но самому Андрею Ивановичу так и слышался непримиримый тон, каким говорила Екатерина. Нет, он никогда не был так унижен! Никем, если не считать Петра Алексеевича, который принародно оттаскал его за волосы за непочтительные слова в адрес царского токаря — Андрея Константиновича Нартова. Так то был сам Петр Алексеевич, а тут какая-то Екатерина Долгорукова.

В покои дочери Алексей Григорьевич вошел не сразу. Такта и умения вести себя подобающе с чужими у светлейшего князя доставало, но с домашними он разговаривал, как с дворовыми, не подбирая слов и выражений. Но тут был особый случай. Он постучал.

— Входите, папенька,— был ответ дочери, которая, и не оборачиваясь, угадала его приход.

— Зачем ты так сказала ему, Катерина? — спросил Алексей Григорьевич.

— А кто ему скажет об этом? Разве тебе не ведомо все, о чем я дерзнула высказать в глаза Андрею Ивановичу? Мы все, в том числе и ты, папенька, ведем себя притворно. Он нас откровенно за дураков считает. И поделом ему. Разве ты не замечал в его лице ухмылку, а за ней...— Она не договорила, подошла к зеркалу и долго разглядывала на голове жемчужные нити, которые так украшали ее пышную прическу.— Он уже предрешил нашу судьбу, папенька.

— Что ты наделала, Катерина? Быть может, без этого разговора все и обошлось бы. Он ведь опять возле императрицы.

— А более всего он возле фаворита Анны — Эрнста Бирона, который коршуном летает возле ее трона. Добычи ждет.

— Откуда ведомо, Катерина? Напраслину несешь.

— Папенька, не обманывай себя. Не напраслину. Сама Елизавета Петровна мне сказывала: люд бунтует, просят на престол Лизавету, а ей будто уготовлен монастырь.

— Не бойся, до нее не дотронутся.

— Может быть, может быть,— ответила Екатерина.— До Елизаветы не дотронутся, а уж до нас, Долгоруковых, кто привел на трон эту герцогиню... над нами сгустились тучи. А разве ты, будь на троне, не искал бы своих врагов?

— Истинно, истинно,— поникшим голосом ответил дочери светлейший князь.

Глава сороковая

Екатерина оказалась права. В один из ясных майских дней, когда в саду буйно цвела сирень и неугомонно щебетали птицы, в усадьбу Долгоруковых примчались нарочные. Алексей Григорьевич сразу догадался: из Сената. В доставленном и переданном в руки князя пакете было объявлено: «Велено вам ехать в дальние деревни и жить до указу». И хотя все семейство изо дня в день ожидало каких-нибудь вестей, приезд нарочных застал всех врасплох. Оставить родное гнездо, где знаком каждый уголок, каждая вещица, каждая ступенька и порог, каждый гвоздь в стене, каждая лавка. Оставить сад с узкими аллеями и диковинными растениями, конюшни с лошадьми, псарни со стаями гончих, охотничьих собак!

— Господи,— взмолился Алексей Григорьевич.— Уехать и никогда не вернуться?..— Но он решительно переборол в себе страх: — На все Божья воля.— И чтобы никто не увидел его полным бессилия, широкими шагами

вышел во двор, а через него в сад — побыть какое-то время одному. Переступив порог, в полной памяти и сознании, упал на колени, упершись руками о деревянный настил. Огляделся боязливо по сторонам и, собрав все силы, подтянул себя к лавке, срубленной из толстых сосновых плах. Белый лохматый кот, по-видимому гревшийся на солнцепеке, испугался стука, спрыгнув с козырька крыльца и очутился возле ног Алексея Григорьевича. Светлейший князь, не любивший котов, тут вдруг взял мышелова на руки, провел ладонью по теплой спине. «Фу, весь в саже. Видать, своих подружек возле печных труб водил? Ступай, грязнуля»,— он столкнул с колен кота, провел ладонью по влажной плахе и ошутил зарубки. Пригляделся. Иван, Николай, Александр, Алексей — были вырезаны ножом имена сыновей. Не явись сегодня в усадьбу нарочный, ни в жизнь бы на это не обратил внимания Алексей Григорьевич, а тут все они вроде бы встали перед его глазами: красивые, здоровые.

Деншик, потерявший из виду хозяина, обежал все хоромы, заглянул в каждый закуток, боялся спросить, не видел ли кто князя. И без этого в хоромах было суетно. Шли сборы. Безутешно рыдала Прасковья Юрьевна, причитала, обнимала прислугу, велела складывать все, что попадало на глаза. Но разве хватит десяти подвод, чтобы сложить все драгоценности Долгоруковых. Хладнокровнее всех была Екатерина. Она сама смотрела за сборами. Любимые наряды, сшитые из шелка и парчи, тафтяные, золототканые и серебротканые специально для нее, царской невесты, расшитые узорами, украшенные дорогими каменьями, отделанные прошвами и мехами... Младшие княжны складывали в сундуки связки бус, кольца, ожерелья, разноцветные ленты. Княжичи выводили из конюшен лучших коней, а главный конюшенный толкал под сиденья карет драгоценные сбруи.

— Не забудьте сундук с алмазами да перстнями, портреты Его Величества Петра Алексеевича и Екатерины Алексеевны в бриллиантовой оправе, все ордена и орденские ленты, все звезды! — наказывал слугам Алексей Григорьевич, придерживаясь за руку денщика.

— Поторапливайтесь! Через час явится караул,— оповестил прискакавший верхом нарочный, снаряженный по-дорожному.

— Какой еще караул? — возмутился Алексей Григорьевич.— Или мои холопы не знают дороги до дальнего поместья?

— Двадцать четыре солдата будут охранять вас в дороге,— пояснил светлейшему князю нарочный, по всей видимости знавший полное предписание Сената.— И подвод надобно взять не более десяти...

Самая дальняя вотчина Долгоруковых находилась в восьмистах верстах от Москвы, в Рязанской губернии.

Караул и в самом деле был из двадцати четырех солдат. Они шумно подъехали к усадьбе на разбитых телегах и, на удивление всему семейству, стали по-хозяйски выбирать из каретного навеса самые крепкие телеги. Им никто не мог воспротивиться...

Никто из семейства Долгоруковых не бывал в этом дальнем имении. В этом не было нужды: подушная подать собиралась исправно, доходы пополняли долгоруковскую казну, и сам Алексей Григорьевич только вчера узнал название поместья: Луговое.

В полдень, минуя столицу, семейство светлейшего князя навсегда оставляло родовое имение Горенки. Навсегда! Мыслимо ли?

Леса благоухали молодой зеленью, поля — цветением многотравья. Ошалело, неугомонно щебетали, заливались пением птицы, весенняя земля источала пьянящие запахи, и все живое на ней, не исключая и самого человека, радовалось жизни и всему сущему на ней.

Но эти рязанские лесные дороги! В жидком месиве тонули по самую ступницу телеги, фургоны, кареты. Кони храпели, сидевших в каретах подбрасывало, швыряло из стороны в сторону.

Княжичи уже давно бежали по обочине дороги, не отставая от подвод. Попыталась выскочить и Екатерина, но сразу завязла в грязи и утопила кожаный башмачок. Всех труднее переносила тряску Наталья Борисовна: ее тошнило, рвало, в глазах темнело, и если бы не сидевший рядом князь Иван, крепко прижимавший ее к себе и шептавший ей самые ласковые слова, она бы давно лежала без чувств. «Понесла наша невестка»,— догадалась Прасковья Юрьевна, увидев ее на привале.

— Неужто еще поедем? — спросила Алексея Григорьевича княгиня.

Усатый офицер, сделав несколько кругов на забрызганной грязью лошади вокруг княжеских экипажей,

приостановился. Гвардии капитан Сергей Лопатин жалел господ, особенно княжен, не способных переносить поездку, и не знал, чем облегчить их мучения.

— Что делать-то станем? — спросил совета у Алексея Григорьевича.

— Господи, неужели еше поедем? — заплакала Прасковья Юрьевна.

— Погода хорошая, поляна сухая — можно и остаться на ночлег.

— Здесь, посреди поля? И на что покупали это имение, будь оно трижды проклято.

— Оно подарено Петром Алексеевичем. Дареному коню в зубы не смотрят,— ответил князь, осматривая поляну.

— Как, Иван, заночуем здесь? — Отец знал, что сын его, проводивший с императором-отроком почти всю прошлую осень на охоте, умел выбирать места для ночлега.

— Пока сумерки не пали, надо готовить ночлег. Итак уж туман поплыл над травами. Сырье несет.

— На ночлег, так на ночлег,— согласился Сергей Лопатин и, хлестнув плеткой коня, помчался давать задание караулу, думая про себя: «Кого караулят-то?»

Все в жизни проходит. Прошла и эта ночь. С первыми лучами солнца поехали дальше.

— Деревень-то отчего поблизости нету? — удивлялась Прасковья Юрьевна. Она уже была согласна спать в деревенской избе.

— Реки рядом нету. Что делать в лесной глуши? — услышала ответ, но не поняла.

Княжичи успели познакомиться с солдатами, были обласканы ими, а гвардии-капитан позволил взять верховых лошадей и ехать с ним рядом, не отлучаясь в сторону.

— Кабы не княжны да не кареты, мы б дня через три прискакали в Луговое,— пояснил княжичам офицер.

— Экая даль! — удивился княжич Александр. Сергей Лопатин кивнул в ответ.

— А тебе не кажется, что за нами кони несутся? — вдруг спросил княжич офицера.

Младшие уже оказались на земле.

— Вмах кони несутся! Кто-то нас нагоняет! Кто-то нагоняет! — кричали княжичи, подбегая к каретам.

— Началось,— вздохнул Алексей Григорьевич, зная порядки Сената.— Начнутся обыски, конфискация имущества. Где шкатулка с наградами, царскими портретами, орденскими лентами? — Кареты остановились. Княжны вышли, встали возле дороги.

На одном из выездных долгоруковских жеребцов впереди всех мчался офицер Преображенского полка Липатий Пономарев. Увидев князя Ивана, в чьем подчинении был до недавнего времени, сконфузился, по привычке отдал честь и вынул из-под обшлага короткого кафтана императорский указ: велено снять с князей Долгоруковых все кавалерии! Отобрать драгоценности. Особливо у царской невесты.

...Только на исходе четвертой недели, когда вдали показалось стадо коров, князь Иван выскочил из кареты, намереваясь узнать от пастуха, чье это имение. Его остановил Сергей Лопатин: «Погодь!» И поскакал, поднимая конскими копытами росную траву.

— Имение светлейшего князя Алексея Григорьевича Долгорукова! — радостно кричал он издали.

Господский дом стоял посреди села, на красном месте, окнами на реку. Конечно, этот дом, выстроенный из строевого леса, не шел ни в какое сравнение с усадьбой в Горенках, но это была его, Алексея Григорьевича, собственная крыша над головой. Здесь все было его, земля вокруг, поля, леса и все крепостные крестьяне от стариков до младенцев. Проведав о приезде хозяина, крестьяне стояли на коленях вдоль всей дороги, боясь приподнять обнаженные головы.

Но измученному невыносимо трудной дорогой княжескому семейству было не до принятия почестей. Сельский староста, по обыкновению, был строг и учтив: седобородый, колючими черными глазами из-под нависших бровей осмотрел он экипажи и отдал распоряжения, по всей видимости, прислуге, поддерживающей порядок в имении.

— Топите бани,— первым делом сказал князь старосте.

— Топятся, ваша светлость. Пять бань топятся, мужики поехали на телегах за свежим березняком для веников.

— Слава Тебе, Господи! — перешагивая порог, размашисто перекрестился Алексей Григорьевич, чему последовало все семейство.

Но спокойных дней в Луговом было немного.

По просохшей под теплыми лучами солнца дороге поднималась столбами пыль. Коляска неслась прямиком к широкому крыльцу долгоруковского дома. Верховые драгуны не сразу остановились, проскакали вдоль улицы, вспугнув порхающих в пыли и песке кур. Медленно возвращались, ведя разгоряченных коней под узды к коновязи. Из коляски вышел офицер. По-видимому, он тоже устал от дальней дороги. Слуга уже тащил в большом деревянном ковше, выдолбленном из ствола липы, терпкий квас.

— Незнаком в обличье,— наблюдая из окна за приезжим, сказал князь и глубоко вздохнул, не хотелось верить, что от прибытия в село военных добра ждать не приходится.

Офицер вошел решительно, почти по-хозяйски, не задавая лишних вопросов. Достал пакет, передал громко:

— Велено везти все ваше семейство в дальние города. Собирайтесь. Завтра поутру.— Сказал и тут же исчез.

— Куда? — крикнул вслед ему князь Иван, подумавший о том, что Наталья Борисовна может не вынести дальнего путешествия.

По всей видимости, офицер имел строгое предписание не вести разговоров с членами княжеской семьи. «Выскочил, как ошпаренный»,— Алексей Григорьевич был рад хотя бы тому, что не было рядом княгини. Холодный пот выступил на морщинистом лбу князя. Казалось, еше звучали слова, которые он боялся произнести вслух. Какое-то время он молча сидел возле самовара, кусал вареные бублики.

Сергей Лопатин, привыкший к семейству, а особенно к княжичам, был ошеломлен известием о срочной ссылке семейства Долгоруковых.

— Кабы так и оставили,— сочувственно проговорил он.

Светлейший понимал, что у гвардии-капитана совсем нет никаких полномочий, как только сопровождать ссыльных, доставить их до места назначения. Алексей Григорьевич осознал свою полную беспомощность, но мириться с этим не хотел.

— Так и будем сидеть сложа руки да нюни распускать? — сердито закричал он на князя Ивана.— Так и будешь сидеть возле бабьей юбки? И надо же смолоду быть такой гнилой,— бросил он обвинение в адрес Натальи Борисовны, которой сильно нездоровилось.

— Папенька! — воспротивился князь Иван.

— Папенька, папенька. Чего — папенька? Надобно мужские дела решать, а он с ложечки ее кормит.

— Так мы собираемся,— попытался оправдаться сын, зная, что коли прибыл из Сената нарочный, то послабления не будет.

— Знаешь, где остановился нарочный?

— Как не знать — у старосты.

— По наитию отвечаешь или точно?

— Точно. Княжич Александр сказывал.

Алексей Григорьевич накинул на плечи кафтан зеленого бархата, заставил денщика обуть в заморские туфли с модными пряжками, в которых расхаживал по паркету дворцов. Шел к дому старосты по широкой улице и чувствовал, как отовсюду провожают его любопытные взгляды крестьян.

Нарочный, здоровенный детина, пыхтя от удовольствия, шарашился возле калитки, пытаясь закрыть ее деревянным штырем.

— Оставь, я сам! — кто-то кричал ему из огорода. Парень шел из бани: по распаренному красному лицу струился пот. Холщовое полотенце свисало через плечо. Увидев перед собой Алексея Григорьевича, машинально потряс головой, не поверив собственным глазам. Смутился и староста, застрявший в калитке в широких льняных портках и в новых липовых лаптях на босу ногу.

— Куда гвардии капитан глядит? — придя в себя, невесть кого спросил офицер, догадавшись, кто явился в дом старосты.— Или неясно в бумаге написано? Или главный караульный не готовится к отъезду? — повысил он голос.

Минуту светлейший князь был в замешательстве, он понимал, что от его поведения и ответа будет зависеть многое.

— Какую власть может иметь надо мной, столбовым дворянином, какой-то караульный? Да ведомо ли тебе, что тут моя дочь Екатерина — царская невеста? Бумага твоя — тьфу! Сожгу и скажу, что в глаза не видывал.

— Не стращай! Со мной гайдуки — парни бывалые. Клятву верности императрице дали ране всех, еще в селе Всесвятском.

При упоминании императрицы староста, заграбастав мокрую бороду в кулак, свернул к сараю, скрылся из виду, будто провалился сквозь землю.

«Этого голой рукой не возьмешь»,— подумал светлейший, перебирая в кармане прихваченный на всякий случай перстень.

— Знамо, служба,— пошел на попятную светлейший князь. «Да чего там — голой рукой, этот и бриллиантами попустится».— Мне, мил человек, самую малость от тебя узнать надо: далеко ли тот острог?

— Все в бумаге сказано. В дальние города прописано.

— А где эти дальние города? Россия-то наша столько городов имеет. И все они — дальние.— Голос светлейшего князя дрогнул.

— Гвардии капитан скажет. Вас до места повезет.

— Да ни слова не вымолвит! Я его знаю, этакого служаку! — наговаривал Алексей Григорьевич на Сергея Лопатина, радуясь уже тому, что сопровождать их будет тот, к которому привыкли.— Не скажет!

— Стоит тот острог от столицы за четыре тысячи верст,— сказал и прошел мимо светлейшего князя, давая понять, что разговаривать больше не станет. А поднимаясь на низенькое крылечко в дворцовые сенцы, нарочный обернулся и со смешком в голосе добавил:— Сам черт ту дорогу веревкой мерил, да она порвалась.

Алексей Григорьевич почувствовал, как что-то затрещало в ушах, зашумело в голове и жаром опалило щеки. Парень обернулся и заметил, что лицо князя то краснеет, то враз бледнеет.

— Где караул? Где денщик? — подхватил он под руку Алексея Григорьевича. И как бы в свое оправдание, а скорее всего, представив, что со светлейшим князем может на его глазах произойти непоправимое, заговорил торопно:— Держать станут под жестким караулом, в город пущать не будут, окромя как в церковь, писем писать не позволят, бумаг и чернил давать не будут. Ну, держись, князь,— пожал он руку светлейшему, когда в воротах показался караул.

— Так-то глядите,— буркнул он.

«Куда-то в снеговой океан,— приободрившись, рассудил Алексей Григорьевич.— Ясное дело, в Сибирь».

Князь Иван не отходил от окна, ожидая возвращения отца. А в это время караул распахнул ворота, стал помогать прислуге грузить вещи.

Расставание Долгоруковых с селом Луговым было недолгим. Впереди будет еще не одно село и не одно расставание...

К городу Касимову, что на реке Оке, княжеское семейство прибыло в полдень. Земли вокруг города еще сохранили название Касимского царства, потому что управлялись татарскими «царями», перешедшими на русскую службу, однако помнившими, что первым владельцем этих земель был казанский царь Касим-хан. Величественным украшением города были минарет и мавзолей — символ татарской веры. С подчинением города Москве тут была выстроена христианская церковь с золотыми куполами и звонницей.

Княжеские экипажи в сопровождении караула, без всякой остановки в городе, были подогнаны к пристани. На берегу было многолюдно. Воды величественной Оки облизывали песчаный берег, несли прохладу. Огромные баржи, мелкие суденышки, лодки, разномерные плоты были пришвартованы к берегу. Речной ветер шевелил в кострах затухающие угли, из-под которых вырывались огоньки шаяших поленьев, и уносил к берегам облака дыма. Мужики стояли кучками. Это были бурлаки — главная рабочая сила на речных российских просторах.

— Да не бойтесь! Выводите своих пассажиров из карет! Всяких видывали! — крикнул кто-то из толпы.

Но когда на дощатый настил стали выходить одна за другой молодые княжны, громкоголосые бурлаки будто онемели.

— Сразу идите в струги,— распоряжался Сергей Лопатин.— Сразу!

На этот раз караул держался на приписанном указом расстоянии. Струги были лучшими судами на Оке. В них были окна, перегородки, там можно было поставить стол, расстелить постель. Их эксплуатация стоила больших денег, но на сей раз об этом позаботилась императрица.

Настала гвардии капитану Лопатину пора сказать, что в подорожной написано: всю прислугу оставить на берегу, кроме двух — для бывшей царской невесты. Раньше всех запричитала княгиня Прасковья Юрьевна, не умевшая ни застегнуть, ни зашнуровать.

— Без рук, без ног осталась! — причитала она.

— Дуньку мою возьми.— бросая на всех пренебрежительный взгляд, Екатерина первой вошла в струг.

Горше всех со своей любимицей мамзель Штауден расставалась Наталья Борисовна. Обхватив друг друга

за шею, они обе плакали беззвучно и не помнили, кто и когда разнял. Наталья Борисовна открыла глаза в каком-то чулане, князь Иван обтирал ее лоб и виски спиртом. Видно, при расставании она обронила с пальца свой жемчужный перстень. «Не жаль, не до него, когда вся жизнь потеряна»,— скажет она после. А пока она слышала всплески воды под веслами, управляемыми тридцатью гребцами.

Под дождями и ветрами, под грозовыми раскатами плыли изгнанники в столицу Сибири — Тобольск. Но поскольку «опасные временшики» уже проходили через эти края, то, учитывая многие обстоятельства, в указе императрицы было оговорено о нежелательности задерживаться ссыльным в городе, где только что был губернатором один из рода Долгоруковых.

По великому Иртышу, особенно в низовьях, где, сливаясь с Обью, речной простор казался безбрежным, ходили особые суда-донники, или, по-здешнему, осетрины — просторные, длинные и плоские, размером тринадцать футов в длину и десять в ширину. В них тоже хватало места для лавок и постелей, стола и сундуков. Неудобство состояло в том, что нельзя было стоять не наклонив головы.

Вот и долгожданный Березов. Сосьва в этом году обмелела, и дощаник с трудом причалил к пристани. Снежная крупа, как рожь из дырявого мешка, сыпалась с низкого неба. Издали тесовые крыши невысоких изб походили на заснеженные стога сена. Вдоль всего берега лежали перевернутые вверх днищами неказистые лодки. На берегу было пустынно и безлюдно. И только шустрые охотничьи лайки, обладающие особым чутьем, расслышав людские голоса, выскочили на берег многочисленной стаей, принюхивались к незнакомым запахам приезжих людей. Они не лаяли. Усевшись недалеко от берега, скалили острые зубы.

Новый воевода города Березова Аркадий Иванович Бобровский в сопровождении двух десятков казаков Сибирского гарнизона чуть припоздал. О скором приезде семейства Долгоруковых он узнал дня три назад: для оповещения держал на берегу сторожа, который, промерзнув, как раз в это время убегал в ближний кабак погреться.

В глазах княжон стоял неописуемый страх. Цепенели мысли.

— Помогите всем выйти на берег,— сказал воевода, видя полную беспомощность доставленных ссыльных.

Всех грузили на простые крестьянские телеги. Для княжон, одетых в вытащенные из багажа шубы, на телеги бросили одеяла, шали — все, что лежало поблизости. Оставшимся слугам помогли казаки Сибирского гарнизона да судовая команда.

Прасковья Юрьевна не могла стоять на ногах. Князю Ивану пришлось взвалить ее себе на плечи, вынести на берег и посадить на телегу между Екатериной и Натальей Борисовной.

— В острог? — спросил воеводу казак.

— В острог! Куда же?! — ответил Бобровский, а это означало: селиться им в том же месте, где первые дни обживалось семейство Александра Даниловича Меншикова.

Затарахтели колеса телег по подмерзающей земле. Воевода пошел восвояси. За ним увязались шустрые северные лайки, так ни разу не тявкнувшие на новых приезжих, собачьим чутьем угадав, что явились эти люди надолго. Не зря говорят в Сибири: понапрасну собаки не лают!

Глава сорок первая

Несколько дней после выдворения семейства Долгоруковых из столицы Андрей Иванович Остерман не заводил разговоров о верховниках. А так хотелось! Но когда ему донесли, что Василий Лукич требует предоставить ему немедленную встречу с императрицей, он забеспокоился. Василий Лукич, как передали вице-канцлеру, принародно кричал, что выведет Остермана на чистую воду! «Может, и выведут, да не ты!» — подумал и вызвал Бирона, который с приезда Долгорукова в Митаву возненавидел его всей душой и был рад выполнить указ императрицы: «...лишить чинов и орденов,

сослать в дальнюю его деревню и там жить безвыездно за крепким караулом». Когда Бирон ушел, Андрей Иванович пришел в себя и подумал: «Пока в дальнюю деревню, а потом видно будет».

Сама Анна Ивановна, подписав указ, не желала к нему возвращаться: она еще не привыкла принимать такие строгие меры и немало переживала, хотя Андрей Иванович и убеждал ее, что без этого не обойтись. Такие столпы, думала она, представив, что может случиться с князьями. Она, если честно признаться, и разговаривать-то с ними боялась. Как только вспомнит про Александра Даниловича Меншикова — мороз по коже. А эти Долгоруковы повалили его! С кем решила тягаться? Теперь уж надо держаться за Андрея Ивановича!

Чтобы развеять грустное настроение, приказала позвать шута Балакирева, знала, что он тем и терпим был Петром Алексеевичем, что говорил ему всю правду в глаза.

Издали было слышно приближение Балакирева: одежда его была вся увешана колокольчиками-щелкунчиками и разными погремушками. Они были нашиты везде: на рукавах, воротнике, на подоле длинной рубахи, на пелерине, на широких штанах. Однако, имея столько погремушек, он мог зайти в палаты царя и без единого звука.

После смерти Петра Алексеевича он почти не был востребован: умные речи никому не нужны, а для потех палаты полны карлов и карлиц. И потому он имел намерение уйти в монастырь, в какую-нибудь дальнюю северную обитель, где никто бы и не узнал о его жизни возле царских особ.

К Анне Ивановне шел в хорошем расположении духа, издали его бубенцы выговаривали легкие, веселые напевы. Перед императрицей, которая восседала в кресле, сделал низкий реверанс, обласкал слух Анны Ивановны нежными комплиментами и вдруг:

Я пел, теперь я плачу, но едва ли
Так сладостны бывали песни мне.
Я обращен всем сердцем к вышине
И дорожу источником печали.

— прочел шут, уставив из-под густой челки черные выразительные глаза.

Анна Ивановна не смогла вникнуть в суть стиха.

— Наслышана о тебе, шут Балакирев. Зарубежные послы считают тебя мудрецом из мудрецов. А сам как считаешь?

О зависть, о коварное начало,
Как ты вошла, какой нашла ты путь...

— Угомонись, шут! — краснея, сказала Анна Ивановна, но Балакирев, отпрыгнув в сторону, поднял картинно руку над головой:

Жизнь — это счастье, а утрата — честь,
Мне кажется, не столь большое горе.
Нет! Если честь не свойственна синьоре,
То в ней ничто нельзя за благо счесть.

— Дело шута веселить господ...

—...Балагурить, балясничать, проказничать,— опередил шут императрицу, чувствуя негодование Анны Ивановны, с которым она не знала, как справиться, и умоляюще смотрела на Бенигну.

— Умей шутить, умей и отшучиваться! — подпрыгнул вдруг Балакирев так высоко, что Анна Ивановна отпрянула. Бенигна взвизгнула, на щеках ее появился румянец, она подбежала к шуту, схватила его за рукав, на что Балакирев разразился таким смехом, что, казалось, его невозможно было остановить.

— Ступай, ступай, Балакирев! — махнула рукой Анна Ивановна, пожалевшая, что позвала к себе шута в надежде услышать от него какие-нибудь шутки-прибаутки о московской знати. А он о какой-то зависти и чести, да так заковыристо. Разве бы Андрей Иванович растолковал. «Зависть» — запало ей это слово. Да, Анна Ивановна была завистлива, подолгу держала обиды, умела мстить. Сейчас, например, она завидовала красивому стану и походке всеми признанной красавицы Трубецкой, легкости общения княгини Воронцовой. Но о какой зависти говорил Балакирев? Он ведь не просто так стал читать ей этакие замысловатые вирши. «Прогнать бы совсем этого шута,— мелькнула мысль, но она тут же остановила себя: — Шут Балакирев ведет разговор с иностранцами, знает много языков. Черт с ним!» — решила императрица, попросив Бенигну оставить ее одну.

Однако одной ей оставаться совсем не хотелось. Она позвонила в колокольчик, по которому явилась ее Дуняша.

— Голова кругом идет: указ подписала, всех Долгоруковых в ссылку сослала, чинов лишили, имущества. Сделать-то сделала, а теперь все сердце саднит.

Дуняша замерла.

— Для пользы дела, говорит Андрей Иванович. Иначе эти верховники организуют переворот. Чего молчишь, Дуняша? У тебя сердце все чует. Мое все истерзалось.

— Маленький я человек, тут моих советов быть не должно. Даже лепета моего не допускай, если осмелюсь когда рот открыть. Ты теперь — государыня. Мне до тебя и дотрагиваться надо за честь считать. Одно вечно: сердце свое слушай да медовых слов бойся.

— Умница ты моя, разумница,— вытирая слезы, ответила Анна Ивановна, направляясь в свои покои. Дуняша долго смотрела на поникшие плечи императрицы. Она понимала, что Эрнст и Андрей Иванович не дают ей покоя, боятся потерять власть. Этот старый хрен, подумала она про Остермана, днями решил подарить Дуняше, или, как ее теперь величают, Авдотье Андреевне, подарок, конечно, не без умысла. Служанка вместо благодарности ответила ему, что при своей хозяйке ей живется хорошо и она всем довольна. На что Андрей Иванович ничего не ответил и, сунув в карман маленькую коробочку, пошел восвояси, обозвав Дуняшу дурой.

Бенигна бойко рассказывала что-то Андрею Ивановичу о шуте Балакиреве. Андрей Иванович шел к государыне с множеством дел, которые не терпят отлагательства, хотя с главными из них, поступающими в Сенат в первую очередь, она была знакома. Он решил выведать мнение императрицы о первых указах, охраняющих, как он говорил, государыню от зловредных нападок верховников.

Возле покоев Анны Ивановны приостановился, пристально поглядев на камердинеров. Но именно в этот миг из покоев императрицы донесся выстрел. Камердинеры рывком распахнули двери. Стража ввалилась в покои. Бенигна кричала. Анна Ивановна сидела возле открытого окна с фузеей в руках и стреляла в орущих в саду птиц. Это желание сидело в ней давно. А тут, оставшись одна, решила пострелять в горластое воронье.

Увидев перепуганную стражу, весело засмеялась и, снова прицелившись, выстрелила. Птицы тучей поднялись над деревьями, кремлевскими крышами, башнями, колокольнями, куполами церквей.

— Фу, напугала-то как, Ваше Величество,— проговорил Остерман по-немецки, обтирая лицо и шею своим большущим платком.

— Отвела душу. Пусть теперь орут,— закрывая окно, сказала Анна Ивановна, искоса поглядывая на вице-канцлера.

— Что Балакирев молол? — будто между прочим спросил вице-канцлер Анну Ивановну, посмотрев на перепуганную Бенигну, теребившую спадающий на плечо локон. К этой прическе супруга Эрнста еще не привыкла. Локоны могли носить только фрейлины императрицы, а она ею стала всего несколько дней назад.

— Шутил,— поднимаясь с кресла, сказала Анна Ивановна, давая понять Андрею Ивановичу, что не желает говорить ни о каком шуте. Колокол звал к обедне.

— Боже милостивый! Все перепуталось: половина двора — лютеране. Скоро и помолиться будет не с кем.

Андрей Иванович покраснел.

— Ежели бы прибыл дон Мануил, то он веры католической!

Анна Ивановна попросила не продолжать больше разговора, пора было собираться в церковь.

Напоминание о доне Мануиле, который всего несколько дней грел ее сердце, заставило почувствовать себя оскорбленной. Но даже не знала, на кого направить свой гнев. Легкая интрижка Андрея Ивановича удалась: Эрнст взбеленился, австрийский посол, не получив никакого ответа, посчитал неудобным заводить еще раз разговор о своем инфанте. Она считала ниже своего достоинства начинать об этом разговор с вице-канцлером, который только того и добивался.

Многочисленная свита, сопровождавшая императрицу в церковь, ждала ее в местах, установленных регламентом, и на крыльцо уже выходила в полном составе. К ее выходу приостанавливалась ходьба во дворце Кремля, запирались все двери, в четком карауле стояла стража. И только вдалеке, на спуске к парку, шли две удаляющиеся фигуры. В одной из них она вроде угадала Василия Лукича Долгорукова. Скоро он уже не сможет здесь бывать. Ее рука подписала указ. А кто же осме-



лится не исполнить его? Ей вспомнилось любезное времяпрепровождение с этим образованным человеком, членом Верховного тайного совета, послом России в чужих землях, кавалером многих орденов. Сколько достоинств было в нем!

Настроение Анны Ивановны трудно было обсказать. Возле церковных дверей ее встречал перепуганный Эрнст Бирон. Услышав про выстрелы в покоях императрицы, он, не помня себя, бежал по дворцу, расшвыривая всех на своем пути. Увидев в покоях Авдотью Андреевну, схватил ее и стал трясти:

— Где? Где? — кричал истерично, но служанка спокойно ответила:

— В церковь ушла. В церковь.

Бирон корил себя: не кто иной, как он, по просьбе императрицы принес в покои фузею, обещая вместе с ней пострелять в птиц.

— Чего же ты так напугался? — успокаивала фаворита служанка.— Да все уже давно прошло, забылось. Ушла наша государыня в церковь. Напугала всех до смерти и ушла.

Бирон не выдержал пережитого волнения, увидев Анну Ивановну, упал на колени и стал целовать полы ее нарядной одежды и легкие, сшитые из замши, сапожки.

Анна Ивановна была смущена порывом Эрнста Бирона. Царственным, несколько пренебрежительным жестом оттолкнула его. Рано утром он был на каретном дворе, с восхищением осматривал только что доставленные из Германии позолоченные кареты и жил надеждой порадовать Анну Ивановну. Он ждал, когда государыня пойдет с ним в каретный двор, а тут этот выстрел. Как же теперь? Он сгорал от нетерпения прокатить императрицу по столице в такой невиданной карете. В России такая была только у светлейшего князя Меншикова. «Но эта лучше, лучше»,— твердил Эрнст, забывающий обо всем на свете, когда речь шла о лошадях, каретах или красивой упряжи.

Боясь получить отказ, Бирон умолял Андрея Ивановича уговорить Анну Ивановну после всех сегодняшних неприятностей прокатиться в новой карете. Она согласилась.

Белые кони, запряженные шестерней, птицами летели по дороге среди изумрудной зелени лесов и полей,

вдоль извилистой ленты реки. Несколько встречных крестьянских телег съехали в сторону, оттесняемые верховными царской охраны, и только белошерстная собачонка храбро выскочила на дорогу и облаяла величественный экипаж.

На широком лугу Анна Ивановна приказала остановить карету. Сопровождающая ее свита старалась угадать намерение императрицы. Когда она подставила служанке ногу, чтобы та сняла с нее башмачок, и, оставшись в белых шелковых чулках, сделала несколько шагов по траве, все ахнули.

— Ваше Величество! — запротестовал кто-то слабым голосом.— Ножку наколете.

Но кому было не известно, что Анна Ивановна, родившись в Измайлово, досыта набегалась по луговым травам Подмосковья. Приподнимая подол платья, она шла по лугу без устали и без оглядки.

Бирон шел сзади, на почтительном расстоянии, и мысленно представлял, как по возвращении в царские палаты будет говорить ей о ее красоте и о том, что она и сама еше не знает, как идет ей быть повелительницей. Он шел, рвал цветы не выбирая. Вернее, наклоняясь, срывал какую попало травинку, и, увидев это, Анна Ивановна громко засмеялась.

Белое ромашковое поле, веселое посвистывание кружившихся над ним мелких легкокрылых птиц, разноцветные дребезжащие сухими крыльями стрекозы и перекличка кузнечиков — зеленых кобылок, выпрыгивающих из-под ног. И дали без конца и без края! Анна Ивановна остановилась. И она хозяйка всей этой земли? Нет, от этой мысли Анна Ивановна не пришла в восторг, она испугалась. Где взять столько ума для такой великой страны?

— Что ты, Аннушка? Побледнела вся. Солнышко голову напекло? — Отшвырнув свой букет и подхватывая под руку императрицу, спросил Бирон.

В кремлевские хоромы приехали к ужину с охапками полевых цветов.

И опять перед глазами императрицы оказался Андрей Иванович Остерман. Он ничего не говорил, а только стоял возле дверей в низком поклоне. Она сняла с головы первой попавшейся под руку фрейлины венок и, к всеобщему веселью, надела его на парик вице-канцлера. Решив поправить его, Андрей Иванович умудрился

разорвать стебельки васильков, и голубые цветочки посыпались на блестящий паркет. Все засмеялись, а вице-канцлер громче всех. Редко кто видел смеющегося Остермана.

— Пройдемте ко мне в кабинет, Андрей Иванович,— пригласила вдруг вице-канцлера императрица. От неожиданности он даже переспросил: «В кабинет?»

Для двух дежурных денщиков было полной неожиданностью появление в приемной комнате императрицы. Они даже не успели переглянуться от изумления, вскочили и замерли. Пройдя мимо них, она оказалась в обширном зале, где работали писари и сидел обер-секретарь, в его обязанности входило ведение дневника, в котором записывалось, кто и когда заходил и выходил из кабинета Ее Величества.

Сколько раз бывал в царском кабинете Андрей Иванович? Нет счету. При Петре Алексеевиче он робко садился в кресло возле порога, при Екатерине придвинулся и сидел у стола, во время опеки над Петром-отроком светлейшего князя Меншикова попытался было подвинуться поближе, но, встретившись с грозным взглядом Александра Даниловича, уселся снова к порогу. При Долгоруковых опять нашел место поближе к императорскому столу. Ну а теперь садился с императрицей совсем рядом!

Стены царского кабинета, мебель, часы, изготовленные английскими мастерами — все примелькалось Андрею Ивановичу, все не внове, но всегда его восхищало изящество, мастеровитость, высокий вкус мастеровых людей!

— Ну что? — с какой-то загадочностью спросила Анна Ивановна. Уеживаясь в кресло, с облегчением вздохнула.

— Слушаю, наша государыня.

— Выгнали Долгоруковых? Упекли?

Остерман съежился. Враз заболели зубы. «Зачем такими словами?» — подумалось, но отвечать надо было, и он кивнул головой.

— Все, как приписали.

Анна Ивановна засмеялась.

— Уж поточнее, Андрей Иванович. Я на этот раз только подпись поставила. Первый и последний раз.

— А про Василия Лукича Эрнст Иванович приказал дописать,— уведомил он императрицу на всякий случай.

— И его тоже?

— Нашли вину и у Василия Лукича Долгорукова — тоже в Шлиссельбургскую крепость определили.

— Хватит, Андрей Иванович! — остановила она вице-канцлера: ей показалось, что этот с виду покорный и смиренный человек исходит ядовитой злобой.

«Возьмет еще да вернет Долгоруковых! Чего ей стоит»,— сник Остерман, а вслух цинично добавил:

— Да полно их.

Анна Ивановна молчала. Откровенная ненависть Остермана к Долгоруковым насторожила. Она поймала себя на мысли, что не помнит ни одной фамилии русского князя, боярина, дворянина, о ком бы вице-канцлер сказал доброе слово.

— Тебе известно, что светлейший князь Александр Данилович умер? — спросила будто между прочим, хотя в душе искренне жалела этого неугомонного человека.

— А как же! Нашел смерть в ледяной пустыне. Недолго прожил вор.

— Царство ему небесное,— ответила Анна Ивановна, уже негодуя на вице-канцлера.— Вор не вор, а всех в трепете держал. И тебе, сказывают, от него не раз попадало. И ты ему туфли пранародно чистил.

— Было дело,— процедил Остерман и провел ладонью по лицу, будто вытер плевок. С ехидной улыбкой добавил: — И Мария Александровна, обрученная с вашим дражайшим племянником, там же Богу душу отдала.

— Сейчас же напиши указ о возвращении детей Меншикова в столицу!

Остерман откинулся на спинку стула, молчал, долго и пристально глядел на императрицу, чувствуя, как она волнуется и даже теряется перед его наглостью. «Поймали голубушку. Сейчас Бирона в эту драку втравлю!» — подумал и ответил императрице:

— Племянник ваш давал такое приказание. Сам видел. Бывал у него один из отроков Дол-го-ру-ковых,— протянул он по-русски,— Федор. Морской офицер. Просил за детей Меншиковых. Получил повеление.

— Так где они? В столице, в своих селениях или где за границей? У светлейшего по всей Европе земли куплены были. И почему вдруг Долгоруковы?

— Любил этот Дол-ко-ру-ков Марию Александровну. Весь двор знал. Говорят, он в Сибирь ездил. У князя Меншикова благословение просил!

— Опять Долгоруковы! — с какой-то радостью улыбнулась Анна Ивановна, почти явственно представляя красивые лица князей Долгоруковых.— Со всем семейством Алексей Григорьевич отправлен? В свои дальние селения? — полюбопытствовала императрица.— С детьми?

— Со всеми,— не моргнув, ответил он.— Рубить, так рубить под корень надо.

— Уходи, Андрей Иванович! — вдруг грозно сказала Анна Ивановна, гневно сверкнув большими глазами.

— Ваше Величество! — почувствовав, что вывел Анну Ивановну из равновесия, рухнул на колени.

— Уходи с глаз моих. Да думай: мы, Романовы — тоже великого рода и в гневе пострашнее многих. Помнить тебе, холуй, об этом надобно.

Она встала из-за стола, стала ходить по кабинету широкими шагами, заломив руки за спину.

— Извести верховников собрался? Думаешь, лучше их управлять станем?

Руки Андрея Ивановича затряслись. Он мысленно уже попал в застенки тайной канцелярии Ушакова.

— Не к лицу тебе, Андрей Иванович, этак на коленях ползать. Или на воре шапка горит?

В глазах Остермана потемнело: он не был готов услышать из уст вроде бы послушной императрицы такие убийственные для его уха слова.

— Одно прошу, наша повелительница: побыстрее переезжай в Санкт-Петербург. Даже Петр Алексеевич не смог одолеть в Москве мятежного духа. Поезжай от греха подальше в новую столицу.— Эти слова он готовил для Анны Ивановны давно, стараясь оградить ее от неприятностей, которые подстерегали ее отовсюду.

— Уходи,— непримиримо грозно потребовала она от Андрея Ивановича.— Если вся твоя зловредность выплывет наружу, тоже Сибири не миновать! Сам уйдешь или караул позвать?

— Сам,— собрав все силы, поднялся Андрей Иванович. Никогда еще в жизни он не испытывал такого страха. Крепко запали в сердце великого интригана ее слова.

Не смогла Анна Ивановна побороть над собой власть Бирона, а значит, и Остермана, который с этого часа хотя и стал тише воды, ниже травы, но продолжал творить свои темные дела.

Но и его не миновала участь Меншикова и Долгорукова. Остаток дней своих и смерть он тоже нашел в суровом Березове, но для его окончательного падения понадобились долгие десять лет. Были они для России невыносимо трудными: бал правили иноземцы.

Глава сорок вторая



Острог, в котором когда-то жил Меншиков с семейством, стоял в запустении. Дня за три до прибытия в ссылку Долгоруковых новый воевода Березова Аркадий Иванович Бобровский уведомил об этом капитана казачьего гарнизона Петрова. В острог были посланы служивые казаки, они подмели там полы и каждый день протапливали печи, чтобы прогреть воздух и подсушить стены, во многих местах покрывшиеся плесенью.

Телеги, груженные княжеским скарбом, дребезжали и подпрыгивали на кочках. Вдали, возле покосившихся ворот, горел костер, разведенный казаками.

— Вот тут и будет пристанище,— весело сказал капитан Лопатин Ивану, который вел неказистую лошаденку под уздцы. Капитан, проплывший почти двухтысячный путь по могучей Оби, проникся почти отеческой заботой о беззащитных и совершенно беспомощных княжнах. Если княжичи уставали и спали ночи, как убитые, то княжны ночами плакали. Особенно тревожила княгиня. «Долго не проживет»,— думал он.

— Вроде еще рано наступать зиме,— прикрывая ладонью лицо, сказал князь Иван.

— В Сибири во всем свои порядки... Вот тут и будет ваше пристанище,— снова повторил капитан, догадавшись, что князь Иван не может поверить, что там, за тыном, за частоколом должны будут обживаться Долгоруковы.

— Маменька не вынесет,— поникшим голосом ответил князь Иван.

Подводы остановились. От догоравшего костра стлался по промозглой земле едкий дым. Княжны закашлялись.

— Вставайте, господа хорошие, приехали,— как можно спокойнее сказал капитан.— Тихонько ступайте к месту, где огонек мелькает. Это казак фонарем машет.

В обморочном состоянии входила княжеская семья под низкие потолки острога, освещаемого тусклым фонарем да лучиной. Даже служанки, привезенные с княжеской семьей и видавшие беспросветную нищету и убогость строений, пришли в отчаяние.

Внутри острога мелькала фигура невысокого сухопарого мужика.

— Сюда княгиню ведите. Тут нары шире и лампадку зажечь можно. Я припас,— по-хозяйски приоткрывал он скрипучую дверь в крохотную келью.— А барышням-то вона справа заходить можно. Там окно на солнечную сторону. Места поболе. Сюда ступайте, голубушки. Сюда идите, красавицы.

В словах мужика, в его голосе было столько доброты, что, когда он стал показывать место для княжичей, Алексей Григорьевич не сдержался, тихонько взял его за рукав старого зипуна.

— Кто такой? — спросил тихо.

— Я-то? Лука — раб Божий,— услышал в ответ.— И слугой, и деншиком, и спальником был тут при светлейшем князе Александре Даниловиче Меншикове. Каждый уголок тут знаю.

В толкотне, в полутьме трудно было его разглядеть.

— Экое подземелье,— не то удивлялась, не то кого-то спрашивала Прасковья Юрьевна.— Мужик-то Лука сказывает: полярная ночь движется, вот и облака к земле спускаются, и темень настает.

Караульные стояли возле дверей, сморенные усталостью, и не знали, куда прислониться.

— Помирать привезли,— проговорила Прасковья Юрьевна, упавшая навзничь на деревянный настил, уже застланный разными одеялами.— Помереть-то можно было и в Луговом. Там какая земля теплая!

У Алексея Григорьевича не было слов: кто бы что ни сказал, всюду он чувствовал свою вину.

— Чай-то кто подаст? — подала голос царская невеста.

— Каганец найти не можем, и дровец нет,— услышала она плачущий голос служанки.— Может, кваску

испить изволите? Мужичок-то Лука туесок берестяной принес с квасом. «Княгиням».— сказал и убег.

Лука, вернувшись домой, залез на полати. Здесь он облюбовал себе место для ночлега. После смерти Александра Даниловича у него совсем не стало дел. Молодой княжич, не привыкший к капризам, спал по ночам славно. Все прихоти и привычки его Лука знал, а потому все время пропадал в церкви — помогал священнику Петру Дубасову, ухаживал за господскими могилами и усердно молился.

Узнав о Долгоруковых, хотел помочь им всей душой, вспомнив, какие трудности пережили Меншиковы, обживая острог, но боялся: как бы не обидеть господ. А потому о своем желании помочь князьям сказал княжне Александре Александровне. Та ответила не сразу, и если бы не память о князе Федоре, пригрозила бы Луке наказанием. Но потом сухо ответила:

— Не усердствуй.

Между тем над землей нехотя поднималось солнце. Не жаркие, но еще теплые лучи слизывали с земли снежную крупу, какой встретила семейство Долгоруковых темная туча, пришедшая с севера.

Раздался глухой колокольный звон.

— То ли церковь так далеко, то ли звонарь бестолковый,— не открывая глаз, сказала Прасковья Юрьевна, но светлейший князь не мог ей ответить.

И тут же, почти над самым ухом, звонкоголосо ответил колокол на меншиковской церкви во имя Воскресения Христова. Это звонил княжич Александр Александрович Меншиков.

Семейство Долгоруковых еще ничего не знало о жизни в этих местах Александра Даниловича. Не знали, что он выстроил церковь, оставив по себе добрую память. Но то, что теперь его тень станет преследовать их, Алексей Григорьевич не сомневался.

— Лука,— позвал княжич слугу, который тоже каждое утро залезал на колокольню.— А они в нашу церковь ходить станут?

— Не знаю, Александр Александрович. Поживем-поглядим. Куда княгине-то ходить? Еле передвигается.

— Глянь-ка, кто-то вышел из острога,— сказал княжич. С их колокольни все было хорошо видно.

— Это молодой князь, видать, с супругой. Оне места не могли найти, так я им чулан показал. И княжон

полная комната, и княжичей. Экая семьища.— Скорее всего, Лука рассуждал сам с собой, княжич был еще в такой поре, что вести разговоры о житейском не умел.

— Лука! — вдруг закричал княжич.— Глянь, сколько господ в ограде! — Ему показалось, что он сбился со счету.— Все выходят и выходят.

— Слушай-ка, друг ты мой разлюбезный,— уставился на княжича Лука.— Это который день ты не ходишь к подьячему? Третий али четвертый? Он сказывал, будто ты на уроке истории фортели выказывал. Спорил с ним.

— Спорил,— ответил княжич, опустив глаза. Светлейший князь просил сына не бросать учение, и он ему пообещал не только на словах, но и перед иконой. И князь его благословил.— Он про Полтавскую битву неправду рассказывал. Будто царь наш великодержавный не один раз отступал. А я от батюшки доподлинно слышал, что в том сражении сам Петр I, наш папенька да генерал Брюс и одержали славную викторию. Этакий был триумф. Батюшке за то был вручен орден Андрея Первозванного. А он ничего не знает и спорит со мной.

— Я прослушал: сколько ден-то не ходил к нему? — Луке все равно было невдомек, о чем спорил княжич с подьячим.

— Ныне пойду,— ответил княжич.

Со стороны поселка к острогу ехала знакомая колымага, в которой разъезжал по Березову капитан казачьего гарнизона Захар Демидович Петров.

— Не вздумай подходить к ссыльным,— наставительно говорил слуга.— Не велено. С меня какой спрос: я раб, а вам нельзя. От греха подальше. Вдруг да вас заместо их обменяют? — Он хотел было засмеяться от таких мыслей, а вместо этого заплакал.

— Ты чего заплакал? — удивился отрок, которому и в голову не могло прийти, что слуга его Лука может заплакать от каких-то воспоминаний.

— Сон видел. Верфи Петербургские. Думал, что забыл тот город, а он приснился. Князя Федора видел: будто он корабли строит, а меня узнал, рукой помахал. Поди, ишо и не знает, что нашей царицы не стало. Так как же тут не заплакать?

— А по мне, так князь Федор приедет.

— Кабы приехал. Твои слова да Богу в уши.— Как никогда много в это утро говорил Лука.

Но бывают необъяснимые переклички душ: именно в эти дни князь Федор торопился в Сибирь. Печальным был его путь. Он уже получил указ молодого императора о возвращении детей светлейшего в столицу, когда пришла скорбная весть: умерла Мария Александровна. Умерла та, ради которой хотелось жить, идти пешком на край света. И мог ли он найти оправдание самому себе, зная, что она умерла от тоски, от ожидания. Что из того, что он уходил в дальнее морское плавание? Везде, в любой стране его находил тоскующий голос Марии.

И, возвращаясь из плавания, он мысленно уже был в Сибири, в Березове, на могиле, где была похоронена его любовь.

В это время уже шла расправа с верховниками. Род Долгоруковых был гоним. Мало хорошего предвещала жизнь и ему — морскому офицеру, когда слава русского флота никому не была нужна.

И снова он опоздал сплавиться по воде.

— У нас с тобой проверенная дорога — через Урал,— сказал он Мирону, который в ожидании своего друга чуть было не женился.

К Верхотурью подъехали в сумерках: дорога трудная, в рытвинах и промерзших колдобинах.

— До снега где-нибудь надо погодить,— сказал Мирон, обтирая взопревшие спины лошадей.

— Перекуем в какой-нибудь деревеньке,— согласился князь Федор, понимая, что совсем не вовремя оказался в дороге. «Самая распутица»,— говорили ему многие.

— Мил человек,— обратился Мирон к проходившему мимо чернобородому мужику.— Не скажешь, где тут живет скотобоец Черемных?

Они решили воспользоваться приглашением прошлогоднего попутчика.

— Вона дом на горе. Все окошки в кружевах,— был ответ мужика.

Антон Дмитриевич Черемных, по-видимому, вышел из-за стола — с холщовым полотенцем на плече. Работник, сдерживая грозных псов, вопрошающе смотрел на хозяина.

— Проходите,— вытирая руки, сказал хозяин, пристально вглядываясь в вошедших.— Не припомню что-то, люди молодые.

— Мы тогда купцами были,— засмеялся Мирон.— Сам просил заглянуть, коли нужда приспичит. Вот, гора с горой не сходится...

— Боже милостивый! — воскликнул Антон Дмитриевич.— Отколь знать, что вы офицеры? — И, помогая Федору раздеться, заметил: — Ты, мил человек, подурнел. Али оттого, что бородой обзавелся? Милости прошу, милости прошу! На улице этакая непогодь! Ну да ладно. У Господа много ясных дней.

— Федоровна, выходь, гости к нам с ночевкой. Видать, снова в северную сторону отправляются.

— Опять опоздали проплыть до Березова водой.

— Какая теперь вода? Неделю назад из Тобольска воротился. Иртыш бушует, зверем ревет.

В горницу с большим блюдом пельменей вошла розовощекая женщина в красивом сарафане, на голове платок. От пельменей шел ни с чем не сравнимый запах. Хозяйка низко поклонилась, зарделась, будто застеснялась своей красоты.

— Хозяйка моя, Елена Федоровна. Вот, вырастили детей, всех пересватали и теперь коротаем жизнь вдвоем.

Не появись Елена Федоровна, можно было бы спросить Антона Дмитриевича: как живется? Но ухоженность Елены Федоровны, степенность, размеренность в жестах, тихий голос привносили в дом такое умиротворение и покой, что любые вопросы на этот счет были нелепыми.

— Сама-то садись,— подставляя крашеный табурет, сказал Антон Дмитриевич. Лукаво подмигнул: — Я сейчас вас таким травником угощу! Сам только понюхал да языком лизнул.— Он подошел к высокому шкафу, приподнялся на цыпочках.

— От себя прятал,— улыбнулась Елена Федоровна.

— От себя,— сознался Антон Дмитриевич.— Купил эту настойку у одного купца из Санкт-Петербурга. Тертый мужик. Уж я не промах, не дам себя вокруг пальца обвести, а он еще круче.

— Слушайте вы его, простофилю,— засмеялась Елена Федоровна.— Поди, за эту бутылку половину товару отдал.

— Половину не половину, но... Так это же особливый травник, зовется, как вы думаете? — И подмигнул.— «Ерофеичем»! Каково? Этой-то настойкой один цирюльник, по имени Ерофей, своего графа лечил. И вылечил. Тепереча эта настойка так и зовется: «Ерофеич»! Не пробовали? Сказываете, барское вино с ним и рядом не стояло.

— Пельмени стынут,— поторопила гостей Елена Федоровна.

Началась трапеза. И на столе, как на скатерти-самобранке, появились уральские яства: заливная лосиная губа, грибная икра, соленые хариусы. В березовом жбане пенился терпкий хлебный квас, только что вынутый из голбца.

— В государстве-то у нас опять неладно,— вздохнул Антон Дмитриевич.— Наслушался в Тобольске всякой всячины. Губернатора-то нашего, Долгорукова, сместили. Знать, новым властям не угодил.

Мирон посмотрел на Федора.

— И тайно сказывали, будто по Иртышу, под большим караулом отправили в ссылку сродственников его. Их даже в город не пустили, сразу — на Север.

— Теперь до Долгоруковых добрались,— в задумчивости сказал князь Федор.

— А ты чего скажешь на это? — поставив рюмку на стол, спросил Антон Дмитриевич.

— Да ведь новая метла по-новому метет,— не желая портить настроение хозяину, ответил гость.— Да чего нам ломать над этим голову? — схитрил князь Федор.— Ай да «Ерофеич»! Чего там наши винокуры! — попытался он переменить разговор.

— Давай свою рюмку, Елена Федоровна, чокнемся. За доброе твое здоровье! — Антон Дмитриевич опрокинул рюмку, сладко крякнул, обтер красные губы, подтвердил довольство своей жизнью.

Глава сорок третья

Весть о прибытии в Березов новых ссыльных вызвала интерес. А более всего вызвало интерес то, что этих преступников следует держать под стражей постоянно, даже в церковь водить под ружьем.

После вечерней пороши дороги в Березове совсем размякли, а тропинка из острога, проложенная семейством Меншиковых, давно заросла травой.

Двое солдат шли впереди. За ними гуськом растянулось семейство светлейшего князя.

— Экие господа,— зашушукались любопытствующие березовчане, не сводя глаз с длинной вереницы людей.

— Кого караулить-то? Экие былинки. От кого караулить? От нас? Али мы звери какие? — возмутилась приказчица.

Воеводша Милитина Федоровна за этот год пережила смерть Николая Степановича. Он умер внезапно, в первый день, как вернулся с охоты. Надо сказать, что и смерть светлейшего князя Меншикова, и его дочери Марии Александровны постоянно оплакивалась этой доброй женщиной. После смерти воеводы ее продолжали называть «воеводшей».

Присланный из Тобольского губернского управления новый воевода Аркадий Иванович Бобровский, с первого взгляда человек неопределенного возраста, навестил Милитину Федоровну, чтобы выразить ей свое сочувствие, да так и остался у нее. Роста он был высокого, сухощав, строен, пригож лицом, но малоразговорчив. Быть может, по причине своего заикания. Приехавший с ним писарь ненароком обронил, что Аркадий Иванович — бобыль, семьи никогда не имел. Эта новость с быстротой ветра облетела каждую избу в Березове. На что бойкая жена целовальника ответила:

— Милитина Федоровна введет его в грех!

В словах женщины была правда, да не вся. Траура Милитина Федоровна с себя не снимала, лицом была сумрачна: видать, тосковала по Николаю Степановичу, а то, что не воспротивилась, а даже сама предложила жить в ее доме новому воеводе, так это было ее дело. Да и Аркадий Иванович обращался к ней только по имени-отчеству, не выказывая никаких претензий на близость.

Приставшие к экономке Милитины Федоровны бабы ничего разузнать не могли.

— Живут каждый в своей комнате, столуются вместе.

— Чо к ней пристаете? — заступилась за экономку рассудительная жена подьячего.— За ноги их не держала, а стало быть, не вводите девку в грех — сказывать вам напраслину.

А Милитина Федоровна то ли в самом деле не догадывалась, то ли махнула рукой на бабьи сплетни, вела себя спокойно, погруженная в собственные думы.

Вечером за столом узнала она от Аркадия Ивановича, что в острог доставлено семейство светлейшего князя Долгорукова.

Милитина Федоровна обомлела, услышав эту фамилию. Перед глазами встал князь Федор.

— А среди них есть царская невеста.

— Как царская невеста? Или Мария Александровна была не царская невеста? — вскочила из-за стола воеводша.

— Д-другая теперь. Долгоруковых дочь. Но ей в вину этого не поставлено. Главный виновник и преступник отец ее — Алексей Григорьевич да сын его — царский фаворит Иван, а там все княжичи и княжны молодые.

— Так чего же это император-то наш все женится-переженится? — со вздохом проговорила Милитина Федоровна.— Сколько невест у него? Да все их ссылает в Сибирь. А как нам, подданным, жить?

— Умер наш император,— растягивая слова, сказал Аркадий Иванович и пошел спать.

Ночью Милитина Федоровна спала плохо. Разгулявшийся с вечера ветер, принесший непогоду, стучал в ставни, хлопал оторванной на крыше сарая доской. «А вдруг да под ружьем приведут в церковь князя Федора? Боже милостивый»,— вздохнула она, припомнив до мельчайших подробностей, как она устроила ему тайное венчание с княжной Марией Александровной.

В церковь шла дрожа всем телом, в глазах стояли слезы.

— Разве Долгоруковы бывали в Березове? — спросил воевода Милитину Федоровну, когда они выходили из дома.— Отчего такое волнение, Милитина Федоровна?

Она молча кивнула головой.

Все глазели на длинную вереницу людей, шедших с такой осторожностью, будто боялись ступить на землю.

Милитина Федоровна по-своему смотрела на идущих к церкви. Она не замечала их невиданных одежд, а обратила внимание на идущего впереди семейства светлейшего князя, отметила, что этот вельможа не идет ни в какое сравнение с Александром Даниловичем. За ним шел молодой человек, и сердце ее похолодело: «Неужто князь Федор»?

Она и радовалась, и боялась узнать в нем князя Федора. Когда же молодой князь подошел ближе, воеводша вздохнула с облегчением. «Но как же похож. Как похож. Сразу видно — одного корня»,— и еле сдержала слезы.

Она не разглядела молодых княжон и княжичей, успокаивала себя тем, что приехали они сюда не на день, и, по возможности, она опять постарается познакомиться с ними, хотя, кто знает, как на это поглядит Аркадий Иванович. Что наперед загадывать?

Служба шла своим чередом. Молились опальные усердно. Каждый в церкви за ними наблюдал. Пахло ладаном и незнакомым запахом от княжеских одежд. Милитина Федоровна нет-нет да поглядывала в сторону князя, и каждый раз сердце ее замирало. Она не могла объяснить отчего. Возле молодого князя стояла молоденькая женщина и часто касалась его руки. «Поди, жена»,— подумала воеводша. Это была Наталья Борисовна. Уставшая всего бояться, она смиренно покорилась судьбе и радовалась счастью быть возле своего благоверного.

Старый князь стоял ближе всех к алтарю, часто опускался на колени и, опершись ладонями о сосновый пол, бил челом. Все семейство следовало ему.

— Старая-то княгиня пойти не смогла. К ней из гарнизона лекаря послали,— шепнула Милитине Федоровне подьячиха.

Служба закончилась, из церкви вышел воевода. Караул отошел от дверей. Обойдя лужи, воевода остановился, поджидая Милитину Федоровну.

— Для чего этакий караул прислали? — будто между прочим сказал воевода, подавая ей руку.— Лишние расходы, и хлопот с этими караульными будет больше, чем с опальными Долгоруковыми.

— Как они там разместились? Семья Меншикова в два раза меньше была, и то такая теснота.

Аркадий Иванович ничего не мог ответить. В остроге он ни разу не был и не собирался этим заниматься. На это в Березове были другие службы. Но как только случались какие непорядки, то в первую очередь голову подставлять надо было ему.

После возвращения из церкви Екатерина разразилась плачем. Ее причитания были слышны за оградой острога. Она швыряла все, что попадало под руку,

никого не подпуская к себе, не слушала ничьих слов, виня весь белый свет, а главное, своего непутевого родителя!

Наталья Борисовна зашла в свой чулан, спрятала голову под одеяло и читала молитвы, прося Всевышнего послать успокоение рабе Божией Екатерине, хотя и сама готова была выть вместе с ней.

— Сглазили, сглазили нашу Катеньку,— хлопотала служанка. Набрав полон рот холодной воды, брызнула прямо в лицо княжны.

Екатерина распахнула глаза и остановилась. У нее не было сил сопротивляться. Служанка обтерла ей лицо платком и прикрыла теплым одеялом. Казалось, Екатерина только и ждала этого: тело ее сразу обмякло, глаза закрылись, и она будто провалилась, засыпая.

Остальные княжны хныкали и капризничали: кто-то не мог снять сапожки, кто-то не мог расшнуровать ботинки, у кого-то промокли ноги. И только одна Наталья Борисовна терпеливо молчала. Она старалась все делать сама, и мало-помалу у нее стало получаться. Она даже с удовольствием стала застегивать пуговицы на камзоле князя Ивана, сама складывала постель и была довольна собой.

— Холодно нам будет тут,— сказала она князю.— Как бы утеплить, а то в щели дует.

Алексей Григорьевич был в полной растерянности. У него гудели ноги, кружилась голова, Прасковья Юрьевна, не унимаясь, стонала, и это разрывало его сердце. «Нет, не долгий я жилец в этом крае, Алексашка — дело другое: он простолюдин! Ему все нипочем было. За год с небольшим все обустроил, церковь выстроил, а я? Да я ему в подметки не гожусь!» — признавался себе Алексей Григорьевич, не зная, у кого просить послабления, у кого просить помощи. Нет таких! А ведь долг платежом красен. Хватаясь за шершавые стены, он торопливо вышел на улицу — вдохнуть свежего воздуха.

Никто не остановил его, никто не спросил, куда он собрался. И только Наталья Борисовна протянула руку, помогла выйти во двор.

— Ничего, ваша светлость,— услышал он чей-то голос, обернулся. В воротах опять увидел того юркого меншиковского денщика.— Токмо место обживете — душа сама притихнет,— сказал он Алексею Григорьевичу.

Светлейшему и хотелось бы поговорить с мужиком, да не хватало сил. «Хоть бы такого деншика иметь,— подумал он.— Эти девки-служанки только и умеют чулки княжнам натягивать да ленточки развязывать».

— Отчего это гарнизонный капитан повел вас не в меншиковскую церковь? Наша новая, под боком,— раздался голос мужика, юркнувшего мимо караульных.

Глава сорок четвертая

На севере зима сразу приходит хозяйкой. Сырость и слякоть длятся не больше двух недель. В это время моросят дожди, буйствуют ветра да идет мокрый снег, предупреждают: ждите! И в одну ночь зима обнимает землю ледяной коркой. Из-подо льда, как из-под стекла, каждая травинка и ягодка видна, а ступишь — под ногою ледок захрустит и мелкими осколками рассыплется: вымороэило всю водицу. И хотя поутру может выглянуть солнце, но лучами только лед посеребрит, а растопить уже сил не хватает. Еще трех холодных ночей хватит проморозить всю землю, а там и снежок повалит. Пришла пора первопуток обновлять! Другое дело — реки. Тут каждая свою силу имеет. Тихие речушки льдом покрываются. Многоводные долго в своих волнах шугу купают. Сосьва-река свой нрав имеет, а уж Обь великая, которая в низовьях на море-океан похожа, грозно и долго буйствует.

В первый такой день, когда все лужи покрылись хрупким льдом, Прасковье Юрьевне полегчало, и первым делом она велела собрать ее в церковь. В теплой меховой шубе, покрытой зеленого цвета узорчатой тканью, с разрезом, расшитым сверху донизу кружевами и такими же застежками для кованых пуговиц, в высокой шапке с кикой, она, держась за руку Алексея Григорьевича, с боязнью вышла из кельи и очутилась во дворе острога.

В широко раскрытых глазах дрожали слезы, и все вокруг для нее слилось в одно пятно.

— Пойдем, Прасковья Юрьевна,— сказал ей светлейший князь, успевший за несколько дней оглядеться. Княгиня молчала: не о чем было спрашивать — все на виду!

От колокольного звона Прасковья Юрьевна вздрогнула.

— Совсем рядышком Божий храм. Я слышала, да не верила.

— Сей храм — творение рук Александра Даниловича Меншикова, — кусая губы, еле слышно сказал Алексей Григорьевич.— Он, как сказывают, сам и службу вел в нем. Благословение на то получил от протопопа Антония, который приезжал в Кондинский монастырь и был слезно приглашен Александром Даниловичем. Антоний-то тот из самой Тобольской епархии был.

Прасковья Юрьевна не нашлась, что ответить мужу, а только беспрестанно кивала головой, быть может, вспоминала проворного царского фаворита, который и тут оказался первым.

Из острога выходили княжны и княжичи, кланялись поясно матери, целовали ей руку, обласканные ее добрыми словами. Все они показались Прасковье Юрьевне смиренными, с опечаленными лицами. Веселее других был князь Иван. Вчера он узнал, что подвезут тес и можно будет обить стены тесового чулана, где обосновались они с Натальей Борисовной.

— Какие все пригожие,— подумалось князю.— Как же выжить-то здесь? Самая пора. Николаю вон — семнадцать лет, Алексею — четырнадцать, Александру — двенадцать, Екатерине — скоро восемнадцать, Елене — пятнадцать, Анне — тринадцать. Горохом сыпались один за другим. Все рождались на радость! — Он даже сам удивился, как память его просветлела и он безошибочно перечислил годы рождения всех своих чад.— Один Иван — двадцать двух годов да кое-что видывал в жизни, а эти? Чему и где учиться-то станут?"

— Кого ждем? — спросила вдруг Екатерина. Лицо ее было бледным, как показалось всем, без единой кровинки, на нижней губе — маленькая капелька запекшейся крови. Вчерашняя истерика не прошла даром. Оставила печать на ее красивом лице.

— Наталья Борисовна задержалась,— ответил князь Иван и помчался в острог.

Один за другим через узкую калитку вышли к берегу Сосьвы. Караульный шел по узкой тропке впереди. Пожухлые травы прижались к земле вдоль всего берега, будто ошпаренные кипятком. Над водой стоял туман, источая влажную прохладу, пробирался под полы шуб, холодил спины.

Звонкий голос колокола летел за темный лес на противоположной стороне Сосьвы, поднимался ввысь, словно приподнимал низкие облака.

Тропинка вела к церкви. Сразу увидеть ее мешала изгородь острога. Но вот и она! Деревянная, стройная, со звонницей и куполом. «Пути Господни неисповедимы!» — Алексей Григорьевич готов был тут же встать перед ней на колени, но удержался.

Княжны и княжичи восхищались. Конечно, они мало что знали об отцовской вине перед Меншиковым. Они почти ничего не знали о жестокой борьбе за власть между царским фаворитом и Долгоруковыми.

— Какая пригожая! — Екатерина, стоя поодаль, задрала вверх голову и разглядывала крест и маковку, золоченную червонным листовым золотом. Полуглавия были выкрашены зеленой краской, херувимы покрыты тоже червонным золотом.

— Так кто строил-то? — не вытерпел Алексей Григорьевич и машинально поднял вверх руки.— Кто строил-то? Сам Александр Данилович! — Поднявшись по ступенькам на крыльцо церкви, переступив порог, он пал на колени с причитаниями: — Прости, прости Александр Данилович! Всей жизни не хватит мне замолить вину!

— Папенька,— схватив отца за плечо, сказала княжна Екатерина.— Папенька, не надо.

Прихожане расступились, при виде важного вельможи многие сочли, что он прибыл сюда, чтобы отдать дань светлейшему Александру Даниловичу.

Петр Дубасов громко и внятно читал Евангелие, изредка бросая взгляд на новых прихожан, и сердце его замирало. Молодые княжны напомнили ему прелестный образ Марии Александровны. Он наивно верил, что где-то есть такая сторона, где родятся только царские невесты, если в дальний Березов прислана уже вторая!

Княжич Александр Александрович Меншиков, ранним утром взобравшись на звонницу, глядел на двор острога, наблюдал за всем, что делалось там. Фамилия Долгоруковых часто упоминалась в их доме и казалась

ему ненавистной, хотя к князю Федору относился с почтением, как к батюшке. Давно оставив роскошный дворец в Петербурге, где прошло его детство в полном довольстве, он все реже вспоминал о нем. И только по ночам, во сне он видел красивых коней в золоченой упряжи, большие корабли, куда брал его батюшка. Все путалось в сознании отрока, привыкшего к каждодневному убожеству.

И вот из острожной ограды в их церковь вошло семейство князя Долгорукова. «Вот бы батюшка встал да взглянул на них хоть одним глазком! — подумалось княжичу, но другое, завистливое чувство обогнало первое.— Наш батюшка тоже носил красивые кафтаны! Я помню! — Стремглав спустившись по крутой лестнице колокольни, выбежал на улицу через боковую дверь к Сосьве-реке, спустился по скользким ступенькам к воде, снова поднялся на берег и побежал в избу. С силой, какая была в нем, ударил в дверь, бросил на пол недавно купленный глиняный кувшин, который тут же разлетелся на мелкие черепки.

— Александр Александрович! — побежала за ним кормилица Анна — старая преданная служанка, пережившая все горести и напасти семьи, оплакивающая несчастье не только свое, но господ.

Забежала к брату княжна, целыми днями сидевшая за вышиванием и не имевшая никакого желания встречаться с Долгоруковыми.

Княжич плакал. Это было так удивительно. «Даже во время погребения батюшки он не издал ни звука, а тут так громко плачет?» — удивлялась Александра Александровна.

— У нашего батюшки тоже были такие наряды? Мы были такими же богатыми? Были? — кричал княжич.

— Куда как краше! — отвечала кормилица, стараясь успокоить княжича.— Краса вашего батюшки затмевала царскую! Угомонись, ангел мой. Чует мое сердце — перемены будут,— уже продолжала кормилица,— и ты скоро станешь носить такие красивые кафтаны. Коли Долгоруковы тут, вас назад позовут. А меня-то не забудешь, как вольным станешь? — кормилица знала, что такие просьбы нравились княжичу: ему уже хотелось стать чьим-нибудь покровителем.— Ваша светлость, возьмите меня в Россию. Как доедете до Воронежу — отпустите. Пешком к матушке схожу, поклонюсь

в ножки,— размечталась кормилица и добавила:— А коли вспомните про меня да вам нужна буду — позовете али карету за мной пошлете.— Сочинив такую сказку, она засмеялась, погладила княжича по вихрастой голове.

— Правду сказываешь: была такая шуба у батюшки? — спросил у сестры княжич.

— Тышу! Тышу таких шуб было у нашего батюшки! — закричала княжна.— Да чего эти шубы? На нас с тобой еще хватит наследства! Батюшка наш так богат был, что никому и не снилось!

— Вона оне,— подбежала к окну кормилица,— и чуть приоткрыла занавеску.— А я, кажись, видела в нашем дворце этого князя,— сжав на груди руки, испуганно проговорила она.— Видела.

— Княгиня-то еле идет. Видать, хворает,— сказала Александра Александровна.— А матушку так и не довезли до Березова.— И княжна вдруг заплакала, вспомнив все недавние переживания, в особенности матушку, на могилу которой уже никто никогда не придет.

— А день-то бусый,— протирая ладонью запотевшее стекло, проговорила кормилица.— Так и кажется, что где-то за лесом, за лугами, за рекой снег повалил. На дворе снегом пахнет,— пыталась она отвлечь княжну.

— Глянь-ка, Анна, это ведь наш Лука обгоняет светлейшее семейство? Куда это он?

Кормилица, зная, что Лука после смерти светлейшего князя никого не боится, кроме княжны и княжича, пригрозившего ему наказанием — отправить в гарнизон, где проучат его нагайками за неповиновение, сразу нашлась:

— По молоко побежал. Да творожку наказывала принести, да свежей сметанки.

Конечно, Лука мог и не попадать на глаза Долгоруковым. Но ему так хотелось... Конечно, шел он на почтительном расстоянии. Увязавшаяся за ним веселая собачонка вдруг перевернулась на спину, повалялась, повизгивая, и, вскочив, бросилась бежать в сторону поселка.

— Собаки тут без хозяев? — приостановившись, спросил Луку князь Иван, боясь, как бы она не напугала Наталью Борисовну.

— Туто все вольные, и собаки, и люди,— ответил Лука и, увидев караульного, по каким-то делам задержавшегося в церкви и нагонявшего семейство, побежал напрямик, по промороженным кочкам.

Вдруг, придерживая полы длинной шубы, Наталья Борисовна побежала вперед, обгоняя всех.

— Ишь как торопится в подземелье,— съязвила Екатерина, которая нынче утром успела рассориться со всеми, а на Наталье Борисовне стала срывать свою злость. Нынешним утром ей вдруг показалось, что та долго умывается. Служивые девки, которые по утрам протирали ноги Екатерине теплой водой, задержались. Не вытерпев этого, она подошла и опрокинула всю лохань на пол, замочив подол платья Натальи Борисовны. Но тут оказался князь Иван, который бесцеремонно схватил ее за шиворот и втолкнул в свою келью. Она хотела было закричать, но вместо этого бросила с постели подушку в дощатую перегородку чулана.

Екатерина невзлюбила Наталью Борисовну, которая по наивности не могла понять причины такого к ней отношения. Она и сейчас хотела было подойти к Екатерине и попросить у нее прощения, хотя и не знала, в чем ее вина, но князь Иван остановил.

— Катерина несчастна,— сказал князь.— Она завидует тебе.

— Отчего же? — удивилась Наталья Борисовна.

— Все от того, что у тебя есть я.

Наталья Борисовна бежала, спрятав лицо в воротник, молила Бога, чтобы успеть добежать до сарая.

— Скоро быть тебе дедом,— шепнула на ухо Алексею Григорьевичу княгиня.

Светлейший князь приостановился, хотел что-то сказать жене.

— Иди, иди, или не догадался? Тошнит ее, вот и бежит ото всех. Куда денешься — дело молодое.— Прасковья Юрьевна хотела было улыбнуться, но вместо этого только скривила губы, обернулась к Ивану: — Чего не догоняешь ее? — спросила с укоризной, по себе зная, как нелегко переносить первые недели беременности.

Он нашел Наталью Борисовну за оградой острога. Крепко обняв березовый ствол, она стояла, закрыв глаза. Он дотронулся до ее плеча.

— Ванюша,— упала она ему на грудь. Ей так много хотелось сказать. Нет, не пожаловаться на судьбу и на неудобства, а сказать, что она самая счастливая на свете.

— Радость моя единственная,— сказал он, целуя руки

Наталье Борисовне. Разве он мыслил когда-нибудь, что весть о появлении наследника услышит возле тына березовского острога? — Зябко здесь, — сказал князь Иван, чувствуя на себе чей-то взгляд. То был старый солдат.

— Уйди с глаз! — вдруг крикнула Наталья Борисовна.

Князь Иван остановил ее.

— Отчего же? Отчего же я должна молчать? На меня нет царского указа. Буду требовать к себе почтительного отношения. Я дочь фельдмаршала Шереметева! — кричала она караульному.— Прочь с глаз моих. Не позволю!

Князь Иван прижал к себе Наталью Борисовну. Он был удивлен ее смелостью.

— Разве ты не Долгорукова? — тихо спросил князь Иван.

— Для нашего семейства я — Долгорукова! Для чиновников — Шереметева! Могу же я напомнить им, нашим недругам, кто я! Заставлю их уважать или хотя бы знать и помнить об этом.

Князь Иван не мог возразить Наталье Борисовне.

— Не могу, мой ангел, запретить тебе в нашем опальном положении. Бог видит.

— Ничего не говори, Иван Алексеевич!

— Наташа? — схватил он за плечи жену, пытаясь заглянуть ей в глаза, найти причину отчужденного обращения по имени и отчеству.

Взгляд Натальи Борисовны был весел. Казалось, случилось что-то невероятно важное, подающее крохотную надежду на послабление. А дочь фельдмаршала Шереметева решила отвоевать свое место под холодным сибирским небом!

Узнав об этом, капитан гарнизона Захар Демидович Петров немедленно послал в Тобольск депешу с просьбой послать на сей счет разъяснения. И изъявил желание лично встретиться с Натальей Борисовной.

Перемены в отношении к Наталье Борисовне пришли позже, а пока она довольствовалась тем, что рядом был ее единственный человек, ее надежда.

— Скажи, Ванюша, как тебе понравилось убранство церкви? — решила она перевести разговор.— Какой богатый трехъярусный иконостас! Киот дорогой отделки. Кадила серебряные вызолоченные и гравированные.

— Все видел, но боюсь тревожить сердце батюшки: такая нелюбовь была у него к светлейшему князю Меншикову, что...

— Какая теперь нелюбовь! Быть может, его нелюбовь и помогла нам оказаться в Березове? Смирение в душе станет спасением,— говорила Наталья Борисовна, и князю Ивану эти ее мысли показались мудрыми. Не будь он все это время рядом с ней, непременно подумал бы, что живет она чьими-то наставлениями, хотя все сказанное было истиной.

Они вышли на берег реки. Порывистый ветер подгонял льдины к берегу. Ударяясь одна о другую, они скрежетали, издавая какое-то зловещее урчание. Волны были тяжелого свинцового цвета. Все опустело вокруг, затаилось в ожидании снега. И совсем невероятным показалось появление на середине реки лодки. Какой-то смельчак проворно греб к берегу, умело лавируя между льдинами. Наталья Борисовна схватила за руку князя Ивана. Лодка приближалась быстро и почти была выброшена на прибрежный лед. Парень подбежал к носу лодки, ловко прыгнул на берег и потащил ее к кустам, опрокинув вверх дном. Все это он делал с какой-то невероятной быстротой и ловкостью. На берег вбежал, хватаясь за ветки кустарника.

Увидев на берегу незнакомых людей, приостановился, стащил с головы шапку:

— Солнце взбирается на седьмое небо,— сказал вместо приветствия и пошел напрямик, не выбирая тропы. Лед похрустывал у него под ногами. Вблизи Наталья Борисовна успела разглядеть опоясывающий серый охотничий лузан — ремень, украшенный дятловыми носами. После узнала Наталья Борисовна, нашивают их охотники как обереги от встречи с лесными духами.

— «Солнце взбирается на седьмое небо»,— повторил князь Иван, все больше понимая, что многое, сказанное людьми, давно живущими в этом крае, имеет свой особый смысл.

Глава сорок пятая



— Нет, этот опальный князь не идет ни в какое сравнение с Меншиковым,— говорила за ужином Милитина Федоровна.— У того все в руках горело. Ни свет ни заря уж на ногах. А как церковь строить начал, так, считай, весь город будил своим топором. Караульные еле поспевали за ним, жаловались: то на пристань идет, то в гарнизон, то к подьячему, то к приставу, в лавку, к священнику. Все вокруг него, как нитки возле веретена, вились, потому, какое слово ни скажет — все в строку шло. А этот, — имела она в виду Алексея Григорьевича,— как гриб моченый: неповоротлив, взгляд тяжелый. На него и смотреть неохота. Идет — еле ноги переставляет, будто шуба к земле прижимает.

Воевода молчал. Он уже не раз убеждался, что разлюбезная его хозяйка не умеет хранить секретов. О важных делах и новостях умалчивал. Но тут увидел прищуренные глаза Милитины Федоровны и молчаливый вопрос: не доверяете?

— Предписано: держать под крепким караулом,— сказал Аркадий Иванович.

— Да про то в Березове каждый малец знает. Слепому надо быть, чтоб не заметить, как пасут солдаты это семейство. А караулить-то кого? Разве только княжичей да князя Ивана. А он куда может податься? У него жена на сносях.

— Велено бумаги и чернил не давать, посуду дорогую отобрать, а дать арестантские плошки.

— Это для куражу. Для изгальства,— заключила Милитина Федоровна.— А на что этот караул? Больше-то, поди, хлопот с солдатами. Они вон по нашим бабам забегали. Один-то среди других приметнее остальных — чернявый такой, с горбатым носом. Его как-то не по-нашему кличут: Вольжерамр, что ли? Так он проходу не дает дочери пристава. Караулит. Она, сказывают, уж который день в избе сидит, даже на посиделки не ходит. Боится. Парни-то, правда, собрались ему бока намять.

У них сбудется. Ну на что столько прислали? Али со своим гарнизоном не справиться?

Аркадий Иванович чуть было не поперхнулся пельменем. Обтер губы полотенцем.

— Нам про чужие мысли неведомо, Милитина Федоровна. Есть указ. Наше дело — выполнять его.

Воеводша осталась довольна собой: не мытьем, так катаньем заставила заговорить Аркадия Ивановича.

— Там, в остроге-то, они, поди, как грибы в туеске. Такая теснота!

— Хором для ссыльных не строят,— встал из-за стола воевода, но Милитина Федоровна вроде и не заметила его возмущения.

— Сказывают, старшая-то княжна лежкой лежит, не подымается и в церковь ходить не может. Один раз была в церкви Александра Даниловича. Кто видел, говорят: пригожа лицом.

— Вот ежели подтвердится, что невеста их, Наталья Борисовна — дочь фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, то будет послабление ей, а значит, и другим будет полегче. Она сможет избу купить. Ей дозволено будет ходить без караула. А пока везде караул. Так следует.

Милитина Федоровна оживилась, глаза засверкали. Все это время она сгорала от нетерпения познакомиться с княжнами, поговорить о дворе. Ведь как много рассказывала ей Мария Александровна! Но везде солдаты!

— Дочь фельдмаршала? Тогда, пожалуй, она. Отчество-то Борисовна — это я доподлинно знаю. Молодой князь ее Борисовной величает. Да скоро подтвердиться-то?

— Теперь скоро. Санная дорога налажена. Вчера первый обоз из Обдорска в Тобольск прошел. Подорожную подписывал. Значит, нарочный вот-вот вернется.

Князь Федор ехал в Березов старым путем. Навстречу им попался обоз. Три десятка саней, груженных высокими возами сена, туго придавленного крепкими березовыми бастрыгами, остановились. От лошадей, торивших путь, тянуло потом, от возов — запашистыми травами. Потревоженные зароды, сметанные в жаркие солнечные дни, сохранили запах цветущих лугов. На уральских заводах торговля сеном была самым при-

быльным делом. С осени основным товаром было сено. После — пушнина, рыба, морошка, клюква. Расторопные уральские мужики, не пропуская ни одного погожего дня, со всем семейством выезжали на покосы, попутно заготовляли грибы и ягоды. Зимой начиналась торговля или обмен на товары.

Не раз случалось, что возвращались мужики обчищенные ворами до ниточки.

Веселые лайки уже облаяли кибитку, угомонились, сели, будто прислушиваясь, о чем разговаривают мужики со встречными.

— Ипат! — вдруг крикнул Мирон, узнав в рыжебородом бывшего в услужении бойкой Зосимовны мужика.— Не признал? Как там Зосимовна? Как сынок?

Мужики, не скрывая удивления, уставились на рыжебородого.

— Вот так встреча! — промолвил Ипат.

— С этакими господами дружбу водит и молчит! — вставил мужик, большими рукавищами стряхивая снег с валенок.

— Опять на Север? Ноне оленьи упряжки ишо не бывали. А Зосимовна — дома.

— Как только ты, молчун-старовер, смог окрутить ее? Поди, оттого, что не куришь и не пьешь?

— Да посты блюдешь? Да из другого ковша пьешь? — хохотали мужики.

Ипат от смущения не знал куда глядеть.

— Надо встречных попотчевать подорожниками. Бабы шанег напекли, есть не переесть! Ишо тепленькие, мягонькие.

Мирон, сумевший выклянчить у скотобойца два шкалика «Ерофеича», удивил мужиков, хотя и досталось всем по одному глотку. Пили, хвалили, кряхтели, только Ипат был верен себе: не дотронулся.

— Нам боле достанется,— сказал мужик в шапке-треухе и махнул рукой.

— Вот скажи: пустит их в свою избу твоя Зосимовна? — допытывались они у Ипата.

— Да пустит, пустит, если сташат с головы шапки да вверх побросают. Как увидит — так и ворота откроет.

— Ну, старовер, ну, придумал.

— Чо ржете? — огрызнулся рыжебородый.— Она ноне уже сколько разов про вас вспоминала,— повернулся он к князю Федору.— Вогулов-то допытывала про

вас — никто ничего не сказал, а торговцы говорили, будто ваша светлость изволили тайно венчаться.

— Ничего себе тайно! — заорал парень, стаскивая с головы треух.— В Сибири тайно венчались, за Уралом — все знают!

— Так на то причина есть.— защищался рыжебородый, по всей видимости знавший о кончине светлейшего князя и Марии Александровны.

— Все верно говорит Ипат,— признался князь Федор.— Умерла моя жена в Березове, на сей раз еду на могилку поклониться.

Мужики стащили с головы шапки, постояли с минуту молча.

— Память — дело святое. Прошай, князь,— мужики поклонились.

— И на том спасибо, что не поморговал с нами потрапезничать.

— Первая-то лошадь, что снег мнет, ваша,— сказал Ипат, когда, нарушая лесную тишину, разнесся пронзительный свист. Поехали! Собаки встрепенулись, побежали вдоль обоза, пурхаясь в снегу. Скрипнули полозья.

— Коли Зосимовна зауросит — ко мне стучись. Токо у меня ребят на печке — как горшков на полке. Бабу Таисьей зовут.

Мимо княжеской упряжки, заведенной в сторону, проходили подводы, постукивая привязанными к бастрыгам бадьями — поить в дороге лошадей.

Упряжка неслась легко. Заливисто позванивал под дугой одинокий колокольчик, который привязал Мирон сзади, как только почувствовал, что места в этих краях пошли безопасные. Езда по зимней дороге кажется нескончаемо длинной. Князь Федор ехал закрыв глаза, покачиваясь и подремывая. И временами казалось, что сани изменили направление, бегут в обратную сторону. Скрипит промороженная упряжь, наклоняется кибитка на поворотах или ухабах, вот-вот перевернется, ан нет, выровняется, и мчат ее выносливые лошади навстречу полярной ночи. А полярная ночь надвигалась с севера на стылую землю. Солнце показывалось только по краю гарнизонта, медленно ползло по макушкам деревьев, словно давая всему живому время успеть спрятаться и найти для себя приют, и скоро терялось из вида, посылая вместо себя на землю сырые сумерки и сильные ветры.

До Зосимовны нашим путникам ехать надо было еще суток двое, ночевать где-нибудь в крестьянских избах. Однако это было не впервой, и у Мирона имелся некоторый опыт: расстилая на полу меховое одеяло, он натягивал на подушку князя чистую наволочку, снимал с князя обувь, испросив у хозяина или хозяйки разрешения, ставил на просушку к печи. Сам ложился рядом и, ощущая спиной присутствие князя, засыпал. Но спал чутко.

К селению подъехали в сумерки. Окутанные изморозью крыши и стены делали низенькие избы похожими на большие стога сена, и если бы не лай собак, крохотные огоньки от лучины в тусклых слюдяных оконцах, можно было бы их не заметить.

Но нет. Дальше не было никаких следов: село окружали бескрайние снега и снега. Дом Зосимовны нельзя было не заметить. Он отличался от всех: высокий, добротный, с расписными ставнями и крепкими воротами. Зосимовна долго не открывала. И только когда деншик, вконец рассердившись, стал стучать в переплетные рамы, с крыльца послышался голос:

— Эко зубенят! Хозяина ноне нет дома — не пущу.

— Мы шапки над головой бросали, или не видела, Зосимовна! — закричал Мирон.

— Обоз, что ли, встретили? — спросила она тише, освещая ступеньки слюдяным фонарем.— Ладно, проходьте.

Князя Федора узнала не сразу, а узнав, всплеснула руками, борода изменила обличье. Засуетилась: в печке вспыхнули сухие лучины, сразу загорели дрова, осветив светом до желтизны выскобленные стены. Полезла в голбец за припасами и начала выставлять на пол один берестяной туесок за другим. Мальчонка, рыжий как огонек, сидел на кровати в мягких подушках, с удивлением глядел на появившихся в доме незнакомых людей, куксился. И вдруг разразился плачем.

— Не пужайся, Егорушка! Не пужайся,— подбежала к мальчонку Зосимовна, поглаживая его по курчавым рыжим волосам. Голос ее был тихий и ласковый. Мальчонка так же быстро перестал плакать, как начал, будто только и ждал ее прикосновения.— Побегу, баньку затоплю — там только дров подбросить, все готово. Пока то да се, она и поспеет. С дороги нет лучше, чем в бане попариться. Я ране-то тоже в обоз ходила — знаю эту

заклятую дорогу. Бывало, зуб на зуб не попадает, а помоюсь в бане — и усну, как птичка.

— Неужто в обоз ходила? — спросил Мирон.

— Ходила. При обозе всегда баба должна быть. Мужики бывают бестолковы. Зелье их сразу наповал валит, а после хоть трава не расти. Голыми приедут. В прошлом-то годе все воротились голым-голехоньки. Ладно, хоть лошадей не пропили, а ноне Ипата уговорили. Считай, с лета уговаривали, он в рот не берет. Отколь бы у меня такая изба была? — не без гордости говорила Зосимовна.— И кто бы меня стал Зосимовной величать — годов-то я не почтенных, а все кличут по отчеству. Как была Фенькой, так бы и осталась Фенькой. А капитал всех наповал валит и почет дает. Всяк знает — обозами я эти деньги заработала.— Сказала, похвастала, да спохватилась, добавила: — Людского сглаза боюсь. Оттого и сижу взаперти, никого не пушаю. Все охают да ахают, как мой дом увидят. Про сглаз и заговоры в наших глухих местах много знают. А как бы люди жили, коли в чудеса не верили? Опосля, время будет, расскажу, не на ночь же сзывать в избу нечистых духов.

После бани и вкусной трапезы уснули наши путники крепким, спокойным сном. Но петух утром закукарекал так громко и голосисто, что не услышать его мог только глухой.

Князь Федор проснулся на широком деревянном настиле, сколоченном для гостей, на теплой постели. Он увидел сон, будто они с Мироном взобрались на снежное облако, оно унесло их через снега и опустило прямо во дворе воеводского дома в Березове.

Расторопная Зосимовна уже была на ногах. Во дворе слышался шорох метлы, сметающей снег. Мирон встал, приоткрыл край занавески. Зосимовна, поднимая метлой вихрь снежинок над головой, была как снежная красавица этих мест — сказочная Миснэ.

— Снежища сколь навалило,— с порога сказала она проснувшимся.— Над моим домом кто-то тучу ножом разрезал,— засмеялась, еще несколько раз хлопнула возле порога рукавицу об рукавицу.— Днями в нашу сторону вогулы приедут, первую тропу торит шаман. Колдун он, ездит по чумам с бубном, пляшет до упаду, пока изо рта пена не повалит. Люди сказывают, будто звери разные ему повинуются. Да что про него — вам в глаза ему глядеть... Я лучше про Мозотку расскажу.

Он тоже тут, в наших краях, жил. Сказывают, веру нашу принял. Жена и дети в церковь ездили, свечи ставили, молились. А он все равно духов своих не оставил. А может, они его? — рассказывала Зосимовна, выставляя на стол еду.

— В нашей стороне тоже бывают домовые,— как-то неуверенно поддержал хозяйку Мирон.— Но я про то плохо знаю.

— Ладно, доскажу. Пока солнце по земле ходит, не страшно. Это доподлинно было. У нашего соседа Егора из конюшни пропали хомуты. Ну куда лошадь без хомута? Искали пропажу всем селом — не нашли. А кто-то мужику и подскажи: съезди к вогулу Мозотке. Егор поначалу упирался, мол, человек он другой веры, еше порчу нашлет. Мужики тогда и сказали Егору: твои хомуты — пушай у тебя и голова болит. Помаялся Егор, помаялся, решил к вогулу поехать, а одному боязно глядеть на ворожбу. Позвал знакомого мужика вогула по имени Сидорко. Так-то он Сидор, а потому как ума легонького, так и остался Сидоркой. Добрый человек. Всем идет в услужение. Захватил с собой Егор две бутылки огненной воды, поехал к Сидорке. Тот в чуме на шкуре лежал, подле чувала грелся. Рассказал Егор все о своей беде, и поехали они к Мозотке.

Мозотка в своей зимней избушке был. Встретил мужиков, как следует встречать гостей. Посидели, поели, попили смородинового чаю, угостились привезенной огненной водой. Егор опосля сказывал: по глоточку. Послушал Мозотко о беде Егора, долго молчал, потом согласился испытать свои силы. Пошел на улицу, запер окна берестяными одеялами, припер подставками. Когда зашел в избу, то велел мужикам связать его ремнями по рукам и ногам и положить среди пола, погасить в чувале огонь и сидеть на лавках, не шевелиться. Стал он скликать своих духов, которые должны будут унести его на то место, где лежат хомуты, и даже покажут вора. Егор после сказывал: сидели, де, они ни живы ни мертвы, когда Мозотко стал бормотать все громче и громче. Потом начал кричать страшными голосами. Вдруг вверху над потолком избушки послышалось рычание медведя, немного погодя — лисий лай, визг соболя, щекотание сороки, уханье филина. Егор и Сидорко сидели не дыша от страха. И тут все опояски с руки и ног Мозотки стали сами спадать и какой-то

неведомой силой были брошены прямо в лицо Егора. Наверху, в самой трубе, послышался шорох крышки, которой снаружи закрывалась дымоходная труба. Потом все стихло. Так тихо стало, что у мужиков заболели уши. Затем наверху опять послышалось медвежье урчание и страшные крики других животных. Тут с пола донесся голос Мозотки: он попросил зажечь огонь. Егор засветил лучину. Мозотко лежал на полу в поту, рубаха на нем была мокрая. Он еле поднялся, сел на березовый чурбан, долго молчал.

— Хомуты твои украл высокий, черноволосый, худощавого обличья крестьянин. Он еще молод, с черными бровями и карими быстрыми глазами.

Егор сразу узнал парня по имени Филенка, но молчал. Мозотко добавил:

— На нем полушубок, правая пола замарана дегтем, на бродних — заплаты.

Он еще долго сидел, приходя в себя. Егор взял кружку, налил в нее привезенную огненную воду, протянул Мозотко.

— Против дома этого вора стоит амбар,— продолжал он, отхлебнув несколько больших глотков.— за амбарами крутой обрыв, там много снега. Вот под этим снегом, где для приметки брошена палка, и лежат твои хомуты.

Егор достал из кармана рублевый билет. Не подал его Мозотке, потому что тот не взял бы его, а оставил на краешке стола в благодарность.

— Хомуты лежали на том месте, где указал Мозотко,— закончила Зосимовна, глядя на удивленные лица приезжих. Потом громко засмеялась, встала из-за стола и какой-то горделивой походкой пошла к постели — на тихое покряхтывание малыша. И от того, как в зеленых глазах женщины сверкнули веселые искорки, денщику вдруг показалось, что и сама Зосимовна знает немало разных наговоров, а про себя подумал: «Уезжать надо — заколдует».

— Правильно думаешь,— услышал сзади голос хозяйки и побоялся обернуться.

К полудню князь Федор услышал звон колокольчиков. Зосимовна убрала край платка за ухо, прислушиваясь. Весело улыбнулась. Вообще, вся она казалась и князю Федору, и Мирону какой-то солнечной и веселой, что так не гармонировало со всею суровостью природы, окружающей ее.

Как и говорила, шаман из рода Соболей торил первым в эту сторону оленью тропу. Он сказал Зосимовне, что торопился в Березовский край с верховья Лозьвыреки в оленьи стада на убой оленей, которых в этом году оказался большой приплод.

Ночевать шаман не остался. Его пастухи торопились поскорее управиться с делом. Упряжки погнали в пургу. Но, к счастью, наших героев это не напугало.

Зосимовна, распахнув ворота, заводила во двор княжеских лошадей, поясно кланялась, благодаря за подарок, слезно просила взять с нее денег, на что князь Федор не согласился.

Она долго стояла возле распахнутых ворот, скрестив на груди руки, пока снежная пыль не стала заметать оленьи следы и не смолк звон колокольчиков.

Глава сорок шестая

С наступлением холодов семейство Долгоруковых стало испытывать большие неудобства. Оказалось, что средства, определенные на их содержание, оказались мизерными. День ото дня стол становился скуднее. Вчера княжна Екатерина вылила в лохань сваренную из свежего налима уху и чуть было не бросила в лицо кухарки краюху ржаного хлеба. Кухарка слезно оправдывалась, что муку продают подмоченную. Кто в Березове и печет хорошие хлеба, так то из муки старых запасов или ездят в другие селения. И печь никуда не годная: с одного боку вывалились кирпичи, потому хлеб выпекается закалым. Один бок буханки не пропечен, другой — горелый.

Светлейший князь молчал. Оказалось, что он совсем не способен управлять хозяйством.

— У Натальи-то хлеб получается добрый,— поставил он в пример сноху, которую отделили от стола сразу, как только выехали из Горенок, и графиня мало-помалу приучилась все делать сама.

Больше месяца не поднимающаяся с постели Прасковья Юрьевна принимала еду только из рук Натальи Борисовны. Она хвалила запеченную на противне рыбу — невестка выбирала для нее самые вкусные куски. С удовольствием пила кисели, сваренные из брусники и клюквы. Княгиня часто просила у Натальи Борисовны прощения за мелкие ссоры, за горькие слова, сказанные всуе, из-за которых Наталья часто плакала.

— Что старое вспоминать? — говорила она.— Только бы зиму пережить, а после все образуется. Княжичи растут сильные, сами с Иваном Алексеевичем дрова пилят.

— Я, пожалуй, до солнечных дней не доживу,— горько говорила княгиня, и тихая слеза ползла к уху, прячась в ее седеющих на висках роскошных русых волосах.

Наталья Борисовна не знала, что отвечать свекрови, и укрывала ее одеялом.

— Не плечи, Наташенька, у меня замерзли, — душа леденеет от дум. Стольких нарожала! Каждое дите рожала на счастье. А сейчас... Больно видеть несчастными.

— Алексей Григорьевич грозится письмо написать Андрею Ивановичу,— шептала Наталья Борисовна на ухо княгине.

— Тому есть за что благодарить наш род. Мог бы слово замолвить. Да чего теперь-то? Когда уж на краю света. Там, дома, надо было депеши писать. А теперь... Алексей Григорьевич сам вытребовал императрицу из Митавы. Сами супротив всех пошли,— княгиня умолкала, дыхание ее стало частым и прерывистым, лицо покрылось потом.

— Не надо. Не вспоминайте, матушка. В Березове ведь тоже люди живут. Живут весело и сытно. Неужто мы не справимся? Только всем друг за друга держаться надо. Про обиды забыть: не помощники они в нашей нынешней жизни. Испейте кисельку.

Но разговор дальше не получался. В келью вошла княжна Елена. Она только что вернулась из лавки, куда ходила за кренделями, и торопилась рассказать матери, что видела невиданных, впряженных в легкие сани зверей. Оленями их все зовут. Пробежали они по главной улице — рогатые, с множеством колоколец, а у переднего-то оленя борода до самой земли. Бежит и будто дорогу подметает. Люди на них одеты в такие же шкуры.

— Одежда, поди, из шкур оленей сшита,— удивилась Наталья Борисовна.— А так люди как люди.— Сказала и ушла.

И так каждый день приносил что-нибудь диковинное, новое. Вчера, например, князь Иван узнал, что на этой неделе все взрослые мужики отправляются в леса, на охоту.

— Кабы не караул — нашли бы не утеху, как раньше, а отправились бы на промысел. От этой вести светлейший князь повеселел. Ему было радостно слышать об охоте. А еше удивительнее было узнать о том, что после в северном городе Обдорске состоится большая торговая ярмарка, куда придут обозы со всей России. За мягкой рухлядью.

— На охоту собираются? Вот радость-то! А кто такой указ писал, чтоб держать нас «под крепким караулом»? Неужто Андрей Иванович — плесень немецкая? — впервые вслух сказал о своем «единомышленнике» Алексей Григорьевич.

— Кабы не это ограничение, нашли бы охотников, кто бы нас в эти леса свозил, а уж после мы с Александром, да Николой, да Алексеем развернули бы дело! — загорелся князь Иван, зная толк в охоте.

— Коли послабления не будет,— ответил сыну Алексей Григорьевич,— на другой сезон заставим с нами караул послать. Пушай сидят и караулят.

Князь Иван залился смехом.

— Кто нам ружья-то даст?

— А мы со стрелами да капканами на охоту ездить станем. Нет нам в том запрета!

Светлейший князь был уверен, что со временем все образуется. Оставшись один, он все думал об Александре Даниловиче Меншикове. Охоту-то он не любил, вспоминал Алексей Григорьевич. Однажды в угоду молодому императору сопровождал его на охоте. Сколько народу было! Сколько гончих! И ездил-то Александр Данилович в мягком седле, и егеря к нему одного из лучших приставили, и кабана подогнали, а у него никакого азарта! Значит, и здесь не бывал на охоте. Не слышно, никто не сказывал.

На душе светлейшего князя чуть повеселело. Одевшись в длиннополый тулуп, вышел за ворота острога, дав знак караульному. Тот кивнул ему, разрешая пройтись вдоль тына.

Проезжая дорога была от острога саженях в тридцати, так что даже лошадиной упряжки он не мог встретить на пути, разве только разглядеть цвет масти. Меншиковская изба была выстроена чуть ближе к острогу, но от нее вела только узкая тропка, проторенная меншиковским слугой Лукой. «Крепко обиду держат,— подумал светлейший, стоя возле тына.— Кабы не мы с Остерманом, отбывал бы светлейший ссылку в Ранненбурге, в своем имении. Больше-то это дело моих рук. Вот и несу кару. Ничего назад не воротишь».

Из дому Меншиковых выбежала княжна и торопливо направилась к церкви. Ага, тут-то ее и подожду, смекнул Алексей Григорьевич и пошел вдоль тына к храму. И не ошибся: княжна скоро вернулась. Мог ли он когда-нибудь подумать, что так трепетно застучит сердце при виде этой девочки.

Одетая в меховую душегрейку, в цветастом платке поверх высокой шапки, она заметила светлейшего князя и заторопилась, хотела пробежать по тропке, но вдруг услышала:

— Александра Александровна!

Она приостановилась, но не поглядела в его сторону.

— Для чего вы бежите? Вы не узнали меня? Неужели должны хранить неприязнь в этих местах и в этом положении, в каком теперь мы все находимся?

Княжна не знала никаких подробностей о поселившихся в остроге опальных Долгоруковых. Эта фамилия вызывала в душе княжны беспокойное чувство тревоги. Сразу вспоминался князь Федор, Мария, и на глаза навертывались слезы. Он гнала от себя желание встретиться с княжнами, которых не раз видела в окно, но не торопила время. О том, что именно этот князь был главным виновником всех бед семейства Меншиковых, ей не приходило в голову.

— Кто вы? — спросила княжна.— И какая причина мне ненавидеть вас?

— Разве вы не узнали меня? Я так часто бывал в доме на Неве, у вашего батюшки.

— Нет,— искренне ответила княжна.— Мало ли кто бывал в нашем доме. Разве мне ведомо было? — Она взглянула на заросшее шетиной лицо светлейшего князя, на длинный тулуп и простую шапку. Всем своим видом он вызывал сострадание и был жалок.

— Я князь Долгоруков!

Александра Александровна заметила на дрожащих пальцах старика драгоценные перстни. Она попятилась от его ястребиного взгляда.

— Слышала, что за преступления против Бога и царя заточены вы сюда со всем семейством.

— Не говорите о царе! — проронил старик.— Он скончался через три недели после обручения с моей дочерью, которая теперь сидит в остроге, а жена моя лежит на смертном одре.

Александра Александровна вдруг представила лицо молодого императора. Ведь он жил в их доме. Они весело играли с ним в парке, катались на Неве.

— Нет. Не может того быть! Наш император еще молод, чтоб умереть.

— Разве вы не знаете о последних событиях?

— Не знаю и знать не хочу,— ответила с жаром княжна, но приостановилась: — В здешних пустынях можем ли мы знать, что там далеко делается?

— Знай же, что император наш Петр Второй скончался. Трон российский заняла герцогиня Курляндская, которой мы, российские дворяне, предложили его, вопреки правам законной наследницы цесаревны Елизаветы Петровны. Мы не знали характера Анны Ивановны. Думали через нее править государством...

Из всего сказанного княжна не могла ничего понять, кроме одного: император умер!

— Боже, печаль какая. Наша Мария тоже была его невестой. Боже, государь? А верно ли все, что вы говорите? — закрыв лицо руками, она заплакала.— Если вы говорите правду, то великое горе постигло Россию.— Она говорила так, как в такие важные минуты говорил бы отец ее, Александр Данилович.

— Приняла она власть,— Алексей Григорьевич, боясь, что княжна не станет его больше слушать, продолжал:— Поставила нам все дела в вину... Нас везли сюда, как злодеев, лишили всего! Все семейство!

— Бог всех рассудит, нам не подвластны его деяния.

Александра Александровна скрылась в доме. Кормилица Анна гладила княжну по голове, зная, что, выплакавшись, она сама все расскажет.

— Наш император умер! Петруша умер. Поди-ка давно уже, коли виновных нашли и сюда сослали. А здесь еще одна царская невеста. В остроге!



— Про царскую невесту слышал,— сказал прибежавший из церкви княжич.— Она, мне священник Петр сказал, была обручена с ним после нашей Марии Александровны. А про то, что император умер?..— Княжич сел на табуретку. Пожалуй, впервые княжна увидела его таким задумчивым. Сейчас он походил на отца. Даже маленький свой кулачок так же подставил под подбородок.— Значит, этот Долгоруков — злейший враг нашего батюшки! — вдруг закричал княжич.— Конечно, он. Отчего наш батюшка не любил попервости князя Федора? Все оттого, что он Долгоруков. Мне об этом княжна Мария говорила.

— Не смей ничего говорить про князя Федора. Не смей! Он муж нашей покойной сестрицы.— И она заплакала так горько, что княжич стал просить у нее прощения.

К исходу дня князь Федор со своим денщиком, промерзнув в снегах, подъезжал к Березову. Из-под широких копыт оленей летел снег, скрипели полозья нарт, звенели звонкие щелкунчики, заливались лаем собаки. Все это тревожило сердце князя.

Олени, почуяв запах дыма и скорый отдых, влетали в город во весь мах.

Вихрем промчавшись мимо церкви, упряжки остановились. Каюр, с красным лоснящимся лицом без единой морщинки, будто отшлифованным ветром и снегом, подошел к князю Федору, который завороженно глядел на золоченый купол церкви, вспоминая в ней свое венчание и все, что было пережито здесь.

Конечно, князю Федору хотелось вначале навестить Милитину Федровну, но это показалось ему неудобным, и он еще в дороге решил остановиться у плотника Семена Баженова.

— К пристани поедем,— сказал он каюру. Тот не понял.

— Лавка, кабак, — повторил князь, зная, что эти заведения в любом селе знает каждый инородец.

Семен Баженов немало удивился, когда упряжки остановились возле резных ворот его дома. Он один из немногих не занимался зимним промыслом, а значит, не вел большой дружбы с вогулами, хотя и знал многих, живущих в ближних чумах.

Выйдя из калитки, Семен долго присматривался, отметив, что приезжие не умеют стаскивать с себя меховых

савиков: запутались в широких подолах, и каюр, улыбаясь, помогал приезжим.

— Пустишь погреться, Семен Илларионович? — спросил князь, все еще не узнаваемый плотником.

— Заходите. Места хватит,— ответил без радушия в голосе плотник, но вдруг обернулся с проворностью испуганного медведя, схватил князя в объятия, все крепче и крепче прижимая к себе, будто велел и ему, князю, сжаться, собраться с духом, чтобы пережить все случившееся с семейством светлейшего князя Александра Даниловича. «Кабы не любил, не помнил, не томился душой — разве явился бы в такую даль»,— подумал Семен Илларионович.

От него Федор узнал, что Семен Илларионович своими руками похоронил светлейшего князя и княжну с двумя младенцами.

— И все-таки выстроил храм! — глядя на золоченый купол и звонницу, говорил князь.

— И избу хорошую,— добавил Семен Илларионович. — Спешил, так спешил, будто боялся не успеть. Будто чувствовал свой скорый конец.— И еле слышно добавил:— Оба от тоски умерли. От тоски. Княжна Мария по вашей светлости, а князь — по своей дочери. Царство им небесное. Не всякому такое на роду написано.

— Пойдем, Семен Илларионович, к осиротевшим голубям. За ними приехал. Привез царский указ об их возвращении в столицу. Да скорее в храм да на могилы.

Над городом сгустились сумерки. На сером небе с низкими темноватыми облаками, похожими на разбросанные по нему оленьи шкуры, явственно вырисовывался золоченый крест на куполе церкви. Князю почудилось, что у него под ногами подрагивает земля, а разбушевавшаяся метель кружит между домов с особым завыванием. И казалось, если бы он остановился и прислушался, то смог бы услышать такой желанный, такой незабываемый голос княжны. Но князь Федор переборол наваждение, поспешил за плотником и Мироном, не скрывшим своего нетерпения увидеть княжича и княжну.

Кормилица Анна, очутившись возле окна, сразу узнала Семена Илларионовича, который нет-нет да навещал их. Зато двое других были ей незнакомы.

— Княжна,— позвала она к окну Александру Александровну,— быть может, ты разглядишь, кто идет с Семеном Илларионовичем.

Девушка, остановившись рядом с кормилицей, вдруг закричала:

— Это князь Федор! Князь Федор! Как его можно не узнать? — Она стремглав выскочила из избы. Она бежала, запинаясь и падая, поднималась и снова бежала, ничего не видя вокруг. С зажмуренными глазами бросилась на шею князю Федору. Она плакала, смеялась, без устали целовала его лицо, и казалось, не сможет остановиться. Князь Федор взял ее на руки и занес в избу.

Кормилица Анна побежала в церковь за княжичем.

— Мы так ждали. Мы так ждали-и-и! — протянул княжич с порога и сел напротив князя на пол, долго не находя слов. Ему тоже хотелось прижаться к князю Федору, рассказать о своих переживаниях, но он, помятуя, что он мужчина и ему негоже уподобляться рыдающей княжне, не мог этого сделать.

— Жить-то у нас будете,— вдруг сказал он по-хозяйски, поднимаясь с пола.

Богу одному известно, как Милитина Федоровна узнала о приезде князя Федора. Она захлопотала, засуетилась, несколько раз принималась плакать и была уверена, что князь Федор непременно придет попроведать ее.

— Гостя жду. Князя Долгорукова,— призналась Аркадию Ивановичу воеводша.— Сказывают, приехал.

— Коли он объявился, то за детьми Меншикова. Пришло царское повеление: прибыть им к самой императрице.

— Что же вы, Аркадий Иванович, держите меня все время в неведении? Знаете и молчите. Ведь я же была его свахой. Я их тайно от всех повенчала с Марией Александровной.

Аркадий Иванович, собравшийся было уходить, так и присел на стул возле порога.

— Мыслимо ли? Мыслимо ли вам этакие штуки вытворять? Вы же могли лишить вашего супруга не только должности, но и... — Он не договорил.

— Все прошло. Все былью поросло. Кто знал про то, давно забыл, а если не забыл, язык за зубами держит.

Как в былые времена, семейство Меншиковых шло к воеводскому дому неторопливо, и князь Федор успел разглядеть в окне чей-то любопытствующий взгляд.

Узнав князя, Милитина Федоровна не вытерпела, выбежала на крыльцо и оказалась в объятиях князя. Душа воеводши была переполнена переживаниями.

На столе прежде всего появились кутья и блины — поминки по усопшим. Не легко и не просто было разговаривать, не возвращаясь к прошлому, к пережитому, к тому, о чем невозможно было забыть, особенно здесь, в Березове. А все дорогое требует тишины.

Но не быть бы ей воеводшей и Милитиной Федоровной, если бы она не попыталась подробнее узнать о новых ссыльных в Березове. На этот раз — Долгоруковых.

— Дядюшка мой,— без утайки ответил князь Федор.— Горестно все. Такое большое семейство. Но на то царская воля.

— Вчера князя Ивана и его жену в воеводство под караулом водили,— сказала Милитина Федоровна.— Жена-то его, сказывают, дочь какого-то генерала. Ей послабление пришло.

— Не генерала. Она дочь русского фельдмаршала. Героя многих великих викторий, принесших славу России,— Бориса Петровича Шереметева.

Милитина Федоровна ахнула, сложив руки на груди.

— А старая-то княгиня, сказывают, лежит, не поднимается.— Ей так хотелось узнать, станет ли князь Федор навешать Долгоруковых, но она понимала, что одного его желания мало. И вместо вопроса только вздохнула, добавив: — Свой своему — поневоле друг.

По улице она не без гордости шла рядом с князем Федором. Высокий, стройный, с гордой осанкой, он не оставлял никого равнодушным. Молва о его любви к Марии Александровне, как мы знаем, пережила века.

Воеводша несколько раз снимала с себя рукавички, поглядывая на перстень, который подарил ей князь Федор. Перстень был червонного золота с несколькими алмазами. Такого не было ни у кого во всем Березове.

Караулу семейства Долгоруковых было строго наказано: в эти дни крепко держать ссыльных в остроге и не проговориться им, что один из их родственников прибыл в Березов.

Но что-то тревожило светлейшего князя. Он стал собираться на улицу в надежде встретить княжну Меншикову и обмолвиться словом, хотя она и не расположена была разговаривать с ним. Вчера обежала церковь: по-видимому, увидела его и не хотела встречаться.

По тропке шел княжич. В задумчивости он не смотрел по сторонам. Алексея Григорьевича не заметил и, не сделай тот шаг в сторону, мог натолкнуться на него.

— Неужели вы все еще храните злобу на меня в нынешнем нашем положении? — сразу спросил его князь и понял, что юнец знает о встрече с княжной, ответил не раздумывая:

— Признаюсь. Я сохранил злобу.

— Ведь у нас один жребий. Будьте милосерднее.

— Но мы скоро оставим Березов,— сказал, не дав Алексею Григорьевичу опомниться. Обежал его, пурхаясь в снегу, пробурчал:— Запрет с вами говорить, вдруг да пристав из-за этого воспротивится нашему отъезду.— И побежал в храм, куда бегал на дню по нескольку раз.

Кормилица Анна и слуга Лука, для которых князь Федор тоже велел приобрести теплый возок, готовились к отъезду. Раскладывая по корзинам одежду, они почти каждую вещь оплакивали. Бархатный зеленый кафтан с красными нашивками светлейший князь надевал в Тобольске — на прием к генерал-губернатору. Лука из своего баула вдруг вытащил платье княжны Марии — шелковое, белого цвета с подволокою, с золотым шитьем по подолу. Это платье Лука спрятал на дно баула при обыске, да так и забыл про него. Кормилица схватила платье и уткнулась лицом в шелковую ткань.

Когда княжич, запыхавшись, вбежал в дом, из баула выпал колокольчик и, звеня, покатился по полу.

— Откуда это? — спросил княжич у слуги.

— Тут еще есть. Видно, батюшка покупал. Мечтал с такими колокольчиками домой возвратиться.

Между одеждами лежало еще несколько колокольчиков разных форм и величины. Литые поддушные, на «юбках», в нижней части, по кругу,— литой текст. По нему можно было узнать имя мастера, отлившего колокольчик, или хозяина завода. Княжич читал: «Купи — не скупись, езди — веселись». Взял другой: «Милому издалече весть подавай».

— Еще в чулане хомут со шлеями нашла,— шепнула кормилица.— Видать, крепкую думу держал — уехать.

У деншика на этот раз было немало хлопот с покупкой кареты для князя. Хотелось приобрести добротную и красивую, на что Семен Иллиарионович сказал, что все возки здесь сработаны добротно, а красоту в Тобольске надо искать. На том и успокоились.

Был назначен день отъезда. И вдруг словно все испугались этого. Только княжич от радости бегал, смеялся.

Увидев священника, от радости бросился ему на шею, на что тот ответил, смущаясь:

— Можно ли этак, барин?

Священник Петр Дубасов с первого дня служил в церкви Меншикова. Сколько слез пролил он со смертью княжны Марии Александровны! Всем сердцем, издали, любил он княжну. После службы он вставал на те половицы, где стояла княжна, дышал воздухом, которым она дышала, в запахе ладана ощущал запах ее одежд. Он и теперь каждый день чувствует ее присутствие в храме, а также и тень Александра Даниловича.

— Как же, княжич? — сорвалось с уст священника. Он сел, безвольно опустив руки, забыв о том, что пора звонить в колокол.

— Ты разве не рад? — удивился княжич.— Мы так все мечтали об этом.

Мог ли он понять священника? Княжич и сам не мог понять, что значит для него Березов. Сколько раз его мысли будут улетать в северный край к оставленным могилам! Сколько тоски будет по этой северной тишине, хмурым лесам, добрым людям! Сколько раз будет появляться желание навестить этот город, повстречаться со священником Петром Дубасовым, который научил его состраданию убогим и страждущим. И звонить в колокола.

— Ох, княжич,— был ответ священника. А тот уже бежал домой, чуть было не столкнувшись лицом к лицу с Алексеем Григорьевичем, опять поджидающим его возле тына.

— Княжич!

— Напугали-то как! — отпрыгнул он в сугроб и побежал домой, не оборачиваясь.— И что этот старик все время караулит меня! — закричал он с порога.— Княжич да княжич. В тот раз спросил меня: неужели я храню на них злобу?

— И ты что ответил? — спросила Александра.

— Сказал, что храню!

— Отчего ты так немилосерден? Нам Господь ниспослал свободу.

— Они же наши враги! — защищался княжич, нет-нет да посматривая в сторону князя Федора.

— А что ты, княжич, на мои слова скажешь...— уставила свои прекрасные глаза на брата княжна. Как же

она походила в эту минуту на Марию Александровну! Особенно голос: спокойный и тихий.— А что, если мы оставим свой дом Долгоруковым? Мы его хозяева. Ты же знаешь, как в остроге душно и тесно?

— Ни за что! — закричал княжич и вдруг заплакал. Все это было абсолютно неожиданно для князя Федора, который мучился желанием свидеться с дядюшкой, но боялся рисковать. Одного доноса хватило бы загубить не только его жизнь, но и лишить права на выезд из Березова детей Меншикова.

— Не повезем же мы его в столицу. Или желаешь, чтобы им стали пользоваться караульные гарнизона?

Княжич, еще вытирая кулаком глаза, поглядел на сестру удивленно.

— Караульным? Казакам? Нет! Князь Федор, что же вы молчите? — обратился к нему княжич.

Надо заметить, что князю в голову не приходила такая мысль. Она, по мнению князя Федора, была права.

— Как скажете, так и сделаем. Хорошо ли ты подумала, Александра Александровна? И с кем совет держала? — спросил князь Федор.

— С Анной и Лукой,— не моргнув глазом ответила княжна.— Ко всему, они нашего батюшку знали. Поминать станут, Богу молиться.

— Как говорят, хозяин-барин. Вам решать, но об этом надо не опальному князю говорить, а вначале идти в воеводство,— подсказал князь Федор.

В воеводстве были немало удивлены желанием детей светлейшего князя Александра Даниловича, не поверив, что они сами могли додуматься до такого решения, не имея чьего-нибудь наставления. Зная, что не сегодня-завтра они оставят Березов, Аркадий Иванович решил все тут же, в присутствии князя и княжичей. Подьячий справил бумагу и послал с ними счетчика — Мартына Лебедева, которого взяли в канцелярию из служивых людей. Росту Мартын был высоченного, мерил землю большими широкими шагами.

С Мартыном Лебедевым караульные без слов открыли ворота.

Надо ли говорить, что означало появление в остроге вначале начальника казачьего гарнизона капитана Захара Демидовича Петрова, а после и остальных.

День выдался метельным, но все равно все семейство Долгоруковых, исключая Прасковью Юрьевну, высыпало

во двор. Сколько же взглядов — добрых, молящих, любящих — пришлось встретить князю Федору!

— Видя вас в несчастном состоянии,— обращаясь сразу к светлейшему князю Алексею Григорьевичу, заговорил княжич Александр Александрович,— я с подсказки и наставления моей сестры Александры Александровны решил сказать, что ненависть моя должна погаснуть в душе моей. Я прощаю вас от всего сердца, тем более что покойный наш батюшка простил вас. Он всех простил!

Больше всех эти детские, наивные речи княжича взволновали Наталью Борисовну. Она подбежала к княжичу и поцеловала его в щеку.

— Я ведал, что еще император дал позволение вам возвратиться,— еле слышно вставил светлейший Алексей Григорьевич.

— Да! — с надменной гордостью ответил княжич.— И...— остановился он,— и чтобы нам не поставили в вину, что мы говорили с вами, мы сходили к самому высокому чину в Березове.

Чувствуя горячность юнца, Алексей Григорьевич поклонился:

— Забудьте ради Бога всю неприязнь, что питаете к нам. Вспоминайте иногда о несчастных, которых оставляете здесь.

— Папенька! — послышался голос одной из княжон, которая не хотела видеть отца в таком унижении.

— Чувствую, что мы все погибнем здесь...— сквозь слезы говорил князь.

— Мы оставляем место нашей ссылки,— сказала тут княжна Александра Александровна, пытаясь угомонить брата,— и потому решили оставить вам наш дом, построенный папенькой. Он довольно удобен для житья.

Подьячий в подтверждение сказанного княжной подал бумагу князю Ивану.

— При нем есть маленькое хозяйство: скотный дворик, птичник,— добавил княжич.— Запасы, присланные добрыми людьми, имена которых мы не ведаем. Примите подарок наш с таким же добрым расположением сердца, с каким мы отдаем его.

— Завтра можете перейти. На рассвете мы уезжаем,— вставил князь Федор.

Алексей Григорьевич упал на колени перед малолетними благодетелями, которым сам некогда уготовил такую печальную участь.

На рассвете, когда в придавленном снегами Березове многие еще досматривали последние сны, три упряжки выезжали на широкую наезженную дорогу. С низкого неба еще не ушла луна: освещала серебристый след полозьев да купол храма. Оставался и острог, в котором томились жертвы новой власти.

Глава сорок седьмая



В Березове мало кто сразу заметил отъезд детей светлейшего князя Меншикова, но два человека, Петр Дубасов и воеводша Милитина Федоровна, каждый по-своему пережили разлуку.

Священнику стало казаться, что без княжича колокола стали издавать монотонно тоскующие звуки, похожие на плач. Милитина же Федоровна, узнав от Аркадия Ивановича о желании детей Меншикова оставить свой дом Долгоруковым, не сумела скрыть восторга.

Мало кто мог предположить, что Наталья Борисовна окажется такой предприимчивой и находчивой. Всю ночь она провела в раздумьях, как и кому лучше всего перейти жить в меншиковский дом. В своем чулане, продуваемом со всех сторон, она спасалась только тем, что князь Иван настоятельно потребовал спать с ним в одной постели и пригревал своим телом. Она, в свою очередь, к гнилым стенам складывала все шубы и полушубки, в изголовье укладывала пуховую шаль. Она жила надеждой на лето, когда, как говорил князь Иван, они починят все щели. И тут вдруг теплая чистая изба. Нет, о себе она меньше всего думала. Была тревога за больную Прасковью Юрьевну, а главное — за малыша, который должен был скоро появиться на свет.

Утром в острог пришел сопровождавший их в дороге капитан. Долго стряхивал снег с валенок, бурчал, что всю дорогу к острову перемело.

— Надо было по сеновозной, а там к храму хорошая тропка. Прихожане вдоль нее по сторонам расставили елки на расстоянии десяти шагов: и видно в любую погоду.

«Не по доброй воле пришел,— подумал князь,— нужда заставила».

Так и оказалось. Отогревался, потирая руки, пристально глядел то на одну княжну, то на другую, будто выбирал из них себе невесту, и обратился к Наталье Борисовне:

— Надлежит со мною явиться в воеводскую канцелярию.

— Зачем же, позвольте полюбопытствовать? — спросил князь Иван, не скрывая своего удивления.

— Не ведаю,— ответил капитан. Он слукавил, он знал, что из тобольской канцелярии пришла бумага о том, что указ Ее Императорского Величества о ссылке семейства Долгоруковых не относится к графине Шереметевой.

— Ей трудно в ее сегодняшнем положении. Быть может, пойду я?

Лопатин не любил, когда его пытались в чем-то убедить или обращались к нему с просьбой.

— Одевайтесь,— был его ответ.

Как и следовало ожидать, князь Иван пошел со своей супругой в воеводство. Там их встретили любезно, провели к воеводе, который, чуть заикаясь, уведомил супругу Долгорукова, что с сегодняшнего дня на нее не распространяются никакие ограничения и что с сей минуты она абсолютно вольна в своих делах и поступках.

Чета Долгоруковых была в смятении.

— Что? Это разлука? — спросила несмело Наталья Борисовна.

— Воля ваша: хотите — уезжайте, хотите — в остроге живите,— ответил Аркадий Иванович.

Екатерина, узнав такую новость, воспылала еще большей завистью к Наталье Борисовне, на голову которой, как она считала, так и сыплется благодать.

— Да Долгорукова она! — кричала разгневанная Екатерина.— Долгорукова-а-а!

Светлейший князь, понимая, что это кое-какое послабление, хотел, как и положено, воздать хвалу Богу, но не тут-то было: раз Екатерина разошлась, ее не сразу можно было остановить.

— Ну что, графиня Шереметева,— сверкнула глазами Екатерина.— Ты же теперь главная. Думаю, в твоей светлой головке уже есть план: кому жить в чистой избе, кому тут оставаться гнилые углы нюхать. Как же, теперь без твоего совета и батюшка не обойдется.

— Катерина! — закричал Алексей Григорьевич.— Ты всех введешь в грех.

— Да, такая я — вся в тебя: пересолю да выхлебаю!

— Маменька с папенькой да все княжны пусть идут жить в новую избу, а мы с князем Иваном да княжичами останемся здесь,— совсем неожиданно сказала Наталья Борисовна.

Воцарилось молчание, и только младший сынок, которому понравилась комната княжича Александра Александровича, где были оставлены корабли, боты, фрегаты, накуксился.

Все эти события внесли в жизнь семейства светлейшего князя оживление. Наконец-то княжне Елене нашелся прибитый в уголке столик, на котором она могла разложить свои ленты, коробочку с булавками и пуговицами, гребень, шпильки. Княжичи перетаскивали пожитки сестер. Из чулана постель переложили в освободившуюся каморку Алексея Григорьевича и Прасковьи Юрьевны. Сколько радости было у Натальи Борисовны!

Милитина Федоровна, узнав о послаблении жене молодого князя, сгорала от желания познакомиться с ней.

— Ох, Милитина Федоровна,— сочувственно покачивал головой воевода, заметив, что, о чем бы ни шел разговор, не обходилось без упоминаний о Долгоруковых.

Воеводша вскинула на Аркадия Ивановича строгий взгляд, тряхнула головой так, что тяжелая коса, сложенная на затылке в клубок, скатилась на спину.

— Не ставьте мне в укор это любопытство, Аркадий Иванович. Ведь они подле царского трона были. Про что бы ни заговорили — все интересно. И про ассамблеи или про наводнение в столице. Про все знают. А мы чего? Живем в снегах. Кроме вогулов никто в наш город не приезжает. Скука, Аркадий Иванович.

— Каждому свое,— ответил воевода.

Проходя мимо, не удержался — перекинул косу Милитины Федоровны со спины на плечо.

— Мне при встрече с ними тоже есть о чем рассказать. Про смерть Александра Данилыча никто толком не знает, а уж как пройдет время — спохватятся. У одного, у другого станут спрашивать, а я доподлинно до последнего часу знала его жизнь.

— Кто, Милитина Федоровна, спрашивать про него станет? — усомнился Аркадий Иванович. Он готов был сказать, что новая императрица особый сыск за людьми учинила, что из губернии шлют бумагу за бумагой, но передумал.

— Со второй бы царской невестой познакомиться, я бы их сравнила. Мария-то Александровна, почитай, на моих руках умерла.

— Будет еше время. Не на день же они сюда прибыли!

Долго ждать не пришлось. Как-то в церкви зазвонил колокол в неурочный час.

— Кто-то преставился! — Вначале думали, что испустил дух живший на окраине города шорник Дмитрий Перепелкин. Он уже больше года лежал с переломанной шеей. Медведь его наломал. «Толку нет, а туда же полез! — говорили охотники, которые нашли его возле медвежьей берлоги.— Пошевелил хозяина, а тот, видать, матерый был. Все едино уже не жилец!»

Но Дмитрий был еше жив и даже разговаривать стал,— оказалось, что преставился кто-то из семейства Долгоруковых.

Умерла Прасковья Юрьевна. Умерла среди бела дня и для всех неожиданно. Она еще своими ногами дошла до меншиковской избы, была рада светлой, просторной комнате, где они расположились с Алексеем Григорьевичем и откуда виден был храм.

— А летом-то вовсе будет славно. Берез-то сколько! — говорила она Алексею Григорьевичу. И у того прошли тревоги и опасения. И вдруг, сидя у окна, повалилась и бездыханно упала на пол. Отчего? Никто не мог найти на это ответа. Еще утром в церкви она долго разговаривала со священником.

— Оставила всех без родительского благословения, никого не простила, никому ничего не наказала,— рыдал Алексей Григорьевич.

Катерина тоже видела, как мать отвела священника в сторону и долго с ним разговаривала. Одевшись, она побежала в храм, узнать об их разговоре.

Священник давно знал, что княжна Екатерина была

царской невестой. Она была совсем не похожа на княжну Марию Александровну, в которой было столько кротости, смирения и красоты, что при виде ее он плакал от умиления. Катерина тоже была красы царственной, но от нее всегда веяло холодом и надменностью.

— Батюшка! — услышал он голос за спиной. Обернувшись, увидел княжну. В ее глазах стояли слезы.

— Слушаю, дочь моя,— смутившись, ответил священник.

— Маменька наша преставилась,— дрожащим голосом сказала Екатерина. Прихожанки, оставшиеся в церкви после молебна, чтобы почистить подсвечники, убрать оплавившийся со свечей воск, вымыть полы, услышали, что сказала княжна, и, перекрестившись, без разговора пошли помочь: омыть и одеть, собрать рабу Божию в иной мир.

Екатерина, встав на колени перед иконами, неистово молилась, прося у всех святых заступничества. Она решила не уходить из церкви, пока не поговорит со священником — не узнает, о чем они разговаривали с матушкой.

А отец Петр поднялся на колокольню. Он боялся разговора с княжной, боялся ее вызывающего взгляда. С колокольни он увидел, как к церкви потянулись люди. Отсиживаться дальше было неприлично.

Екатерина подошла к Петру.

— Про что с нашей матушкой утром разговор у вас был? — сухо спросила Екатерина.

Петр был не готов к ответу, нахмурил лоб, словно вспоминал:

— А спрашивала княгиня меня про Александра Даниловича,— сказал в задумчивости.

— Что, про Меншикова?

— Она все время о нем спрашивала, не только в это утро.— И, помолчав, сказал: — Пойдемте, княжна. Сейчас возле нее мое слово нужно.

Березовские старушки тянулись к дому Меншикова. Не отставала от других и Милитина Федоровна. В плетенную из мягкого ивняка корзину она наложила много съестного: горячего и холодного копчения отборных пород рыбу и полон туесок черной икры. Приподняла корзину и присела. Не долго думая, велела служанке позвать дровокола Пашку. Тот поднял корзину за ручки, которые чуть было не оторвались, зашагал, куда

было велено, получив от воеводши награду. Стащив шапку с головы, вошел, поклонился.

— Вам гостинцы от воеводши Милитины Федоровны,— сказал тихо, показав на корзину, оставленную в сенцах.

— Благодарствую,— ответила Наталья Борисовна.

Сама Милитина Федоровна пришла позже. Больше всего ее напугал вид светлейшего князя Алексея Григорьевича. Он никого не узнавал, говорил какие-то нелепости: то велел привести архиерея, то спрашивал, не подали ли катафалк и отчего так мало певчих. Никто его не останавливал. Он был один в своем безутешном горе. Объявилась плакальщица, прямо с порога заголосила:

— На кого ты, раба Божия, свое семейство оставила? Али не любили тебя твои детушки? Погляди-ка на них, они стоят осиротелы.

Подхватила ее завывания березовская подьячиха:

— Пошто мало пожила на незнакомой тебе земле? А быть может, она бы тебе понравилась.

Семен Баженов сколотил гроб из сухих, легких досок, стружками от которых набили подушечку.

— Не забудьте, Милитина Федоровна, свою корзиночку,— как давней знакомой, сказала Наталья Борисовна, поблагодарив за подарки. Она не осталась в долгу. На дне корзины лежало два отреза ткани невиданной в этих местах красоты.

Никто не выказал удивления, когда священник сказал Долгоруковым, что в разговоре с ним княгиня несколько раз настоятельно просила похоронить ее в церковной ограде меншиковского храма.

Похороны состоялись на третий день.

На следующий день капитан казачьего гарнизона уведомил Тобольскую канцелярию о кончине княгини Прасковьи Юрьевны Долгоруковой.

Глава сорок восьмая

Скоро при дворе всем стало очевидно, что фаворит и камергер — Бирон и Ливенвольд, а главное — вице-канцлер Остерман управляют страной от имени императрицы. Они чувствовали себя хозяевами, получали звания, голубые ленты ордена Святого Андрея Первозванного — самого высшего в Российской империи и категорично заявляли, что ни при каких условиях не станут читать и писать по-русски. Чтобы читать деловые бумаги или писать указы, есть полная канцелярия писарей и секретарей, заявил Бирон. Анна Ивановна, много прощавшая Бирону, все же просила его быть поосторожнее с высокими чинами в государстве, чтобы не сердить дворян: до нее стали доходить известия, что почти каждую ночь на иноземцев совершались разбойные нападения. Вчера, например, из проруби Москвы-реки достали трупы трех немецких музыкантов, этим утром нашли парикмахера-ливонца с рассеченной головой, а в немецкой слободе каждую ночь вспыхивают пожары. Бирон негодовал и требовал от императрицы усилить сыск и карать каждого подозреваемого.

Андрей Иванович, зная обычаи и характер русских, смертельно боялся бунта и государственного переворота. Не упуская случая, настоятельно просил Анну Ивановну переехать в новую столицу, в Санкт-Петербург.

— Вельможи не любят Северную Пальмиру,— убеждал он Анну Ивановну.— В Москве они крепко держатся корнями. В Петербурге нет отцовских могил.

Анна Ивановна молчала, не давая ответа, но понимала его правоту. Она и без Остермана чувствовала к себе неприязнь со стороны дворянства, при поддержке которого она оказалась на троне. Теперь же она боялась их гнева и поощряла намерения Бирона припугнуть их, так как ссылка Долгоруковых и других дворян не возымела никакого действия. Так или иначе, советы Андрея Ивановича казались ей верными. Но как же не хотелось уезжать из Москвы, из кремлевских палат.

Не меньше думал Андрей Иванович и о своей собственной персоне. Теперь он был поставлен на такую высоту в государстве, что раньше ему не могло и присниться.

Узнав о сгоревшем до тла доме немецкого портного Иоганна Ретера, императрица позвала к себе Эрнста, Остермана и в негодовании закричала:

— Эта затхлая столица!

— Да! — сбивчиво заговорил Бирон.— У этих русских так много праздников! Все время они ходят на богослужения, кормят ниших, раздают милостыню.

— Но это богоугодное дело,— остановила его Анна Ивановна.

— Где праздник, там вино, драки, пьяные толпы, попробуй среди них отыщи преступников.

— Уезжать надо в Санкт-Петербург! — резко сказала Анна Ивановна.— Не зря же Петр Алексеевич для пользы дела оставил Москву! И праздники он ограничил, издав указ еще в 1722 году: «Смотреть, чтобы с образами по Москве, по городам и уездам для собирания на церковь или на церковное строение отнюдь не ходили. А кто будет ходить, тех брать». А они все свое.

— В Москве давно плюют на все указы Петра Алексеевича.

Андрей Иванович хотел было возмутиться, но вынужден был высказать мнение москвичей на этот указ:

— Они не верят, что его издал государь Петр. «Это не наш государь, а немец. А наш государь в немцах, в бочку закован да в море пущен! А потому как жили, так и жить станем». И ничего с ними не сделать — только огнем спалить.

— И ты туда же, Андрей Иванович?

— Нет, матушка Анна Ивановна. В Петербург надобно переезжать. Там ассамблеи, маскарады, там дух европейский.— Говоря об этом, Андрей Иванович вспомнил свой особняк в Петербурге и, как бы продолжая мысль императрицы, добавил: — Петра Алексеевича влекло к лютеранству. Он высоко ставил Лютера... А красот и в новой столице хватит. Дворец Меншикова всех иностранцев удивлял своей красотой, приводил в восторг.

Вошедший в покои Ливенвольд, не особо вникая в смысл разговора, но, услышав, что речь идет о Меншикове, как бы между прочим изрек:

— А дети светлейшего князя Меншикова уже возвратились из Сибири.

— Как? — первым воскликнул Андрей Иванович.

— Слышал, живут в деревне их родного дяди Василия Михайловича Арсеньева.

— Как это возможно? — возмутилась Анна Ивановна.

— Я все в точности узнал: их привез из Сибири один из семейства Долгоруковых. Он имел на руках указ Верховного тайного совета, подписанный вашим предшественником, императором Петром. В нем написано: «Освободить из ссылки детей князя Меншикова с позволением жить, не возвращаясь в Москву, в деревне дяди их Василия Арсеньева».

— Сомнения нет, Анна Ивановна. Я знал об этом указе,— ответил Андрей Иванович, фамилия Меншикова для него теперь была пустым звуком.

Но тут оживился Эрнст Бирон. Задавал один вопрос за другим, и это удивляло всех.

— При чем тут Долгоруковы? — вдруг спросил он.

— О, Эрнст, там была такая любовь, с которой никто не мог справиться.

— Как я знаю, старшая дочь его была помолвлена с Петром Вторым.

— Так в ту пору Петр-то был совсем ребенком,— со смешком заметил Андрей Иванович.— А этот Долгоруков — офицер флота, обласкан обществом, герой сражений.

— Где он теперь? — спросил Бирон у Ливенвольда.

— В Петербург спешил. Наверное, ушел в плаванье.

— Я слышал, у Меншикова были несметные богатства.

— Про то уж говорили, говорили и устали. Уже рукой махнули. Все в распыл пошло, концов не найдешь: раздарили кому попало его обширные имения. Только сто тысяч душ крестьян, семнадцать домов в Петербурге и Москве, двести лавок, двадцать миллионов банковских билетов, четыре миллиона наличными деньгами, бриллианты, драгоценности...

— И ты обо всем этом помнишь, Андрей Иванович? — удивилась Анна Ивановна.

— А как же,— протянул вице-канцлер и добавил: — Разве это все? — снизил он голос, посмотрев в ту сторону открытых дверей на сидевших за столом писарей.

— Все одно ничего не понимают по-немецки,— махнул рукой Эрнст Бирон. Он сгорал от нетерпения узнать побольше о богатствах Меншикова.

Остерман сразу смекнул, что любопытство Эрнста не случайно, и решил еше подлить масла в огонь, тогда Бирон не удержится и выскажет все свои замыслы.

— А знаешь ли ты, что Петр Алексеевич подарил Александру Даниловичу Васильевский остров? С постройки усадьбы столичного губернатора, коим был назначен Меншиков, началась застройка острова. Там, в первом «мазанковом» доме, родилась его первая дочь Мария — крестница Петра. А младшие, брат и сестра, коих привезли из Сибири, родились уже в каменном дворце. Теперь его зовут Посольским домом. Много чего видели стены этого дворца. Там все по европейскому образцу. Как только переедем — все будет у ваших ног, Анна Ивановна.

Бирон заметно волновался, хотя, как казалось Анне Ивановне, повода к тому не было. А он думал о судьбе своего брата Ливенвольда, которому он при русском дворе приглядывал подходящую партию.

— Богат был Александр Данилович,— словно подразнивал Андрей Иванович Бирона.— И что интересно, виду европейского. Не было среди знатных вельмож человека, который смог бы соперничать с ним в изящных манерах, кто бы умел так танцевать все европейские танцы.

Но Бирона эти рассказы о светлейшем князе не занимали. Его интересовало другое.

— А сколько лет княжне, княжичу, прибывшим из Сибири? — спросил он.

— Сколько же лет? — призадумался Андрей Иванович.— А что долго считать — Мария Александровна родилась в день победы под Полтавой — это 1711 год. А те младше. Значит, лет пятнадцать — семнадцать. Помнится мне, княгиня Дарья Михайловна уже выводила в свет младшую дочь.

— Если капитал еще сохранился, то женихи сразу найдутся,— как можно равнодушнее сказал Бирон.

— Надо дать распоряжение и отправить кареты за детьми,— произнесла Анна Ивановна.

Ливенвольд откланялся — пошел выполнять распоряжение императрицы.

Андрей Иванович поймал себя на мысли, что впервые в жизни так много говорит о светлейшем князе. Да, теперь он мог говорить о нем без страха. Только теперь. Все эти годы, пока не пришло известие о кончине Александра Даниловича, он замирал от страха, что фортуна может повернуться лицом к Меншикову.

— Если поискать его денежки в банках других государств...— Остерман закатил под лоб глаза.

Анна Ивановна промолчала, потому что ничего иного от вице-канцлера и не ожидала.

— Кому в то время было проверять его счета? Все за власть дрались. А имения у него не только в России. В Польше, в Пруссии, в Австрии, очень может быть, что лежат его капиталы в Лондоне или Амстердаме.

— И они могут быть возвращены его детям? — спросил Бирон.

— А кому еще? И дворянство вернем,— добавила императрица.

Родной брат жены светлейшего князя Александра Даниловича Василий Михайлович Арсеньев в момент его восхождения к власти, а главное, после состоявшегося обручения княжны Марии с малолетним Петром, был в великой чести: назначен гофмаршалом при будущей императрице, получил награды и ордена, немало земель с крестьянами. А тут крутой поворот в судьбе. Одному Богу известно, по каким тропам объезжал он селения, лишь бы не встретить никого на пути.

А уж деревня во псковском лесу — прямо глушь таракань! «Но все лучше, чем дыба»,— думал дворянин.

А тут совсем неожиданный приезд племянников: лучше и не вспоминать тот день. Засыпанные снегом мчавшиеся к усадьбе возки, казалось ему, были посланы за ним. Он побежал в сарай, готовый залезть в давно заготовленную петлю, но плач деншика остановил Василия Михайловича и заставил покориться судьбе. Каково же было его изумление, когда в офицере он узнал князя Федора, а потом и опальных племянников.

— Милости прошу, милости прошу,— захохотал он, принимая гостей, утомленных тысячеверстным расстоянием.

Князь Федор на следующий день распростился со всеми, скупо сказал, что дорога его — в Петербург. А как прилет из плавания — даст о себе знать. С княжны Александры Александровны взял честное слово писать

ему на почту в Рижский порт, куда непременно заходят все дальние корабли.

Тоскливо и тягостно было у всех на душе, но разлука была неминуема.

Василий Михайлович отчетливо понимал, что прибывших детей светлейшего князя не оставят в покое. Их вытребуют в столицу даже ради любопытства.

Ждать долго не пришлось. Гонцы показались на взгорье в воскресный день пополудни. В размягшем от солнечных лучей снегу кони вязли, храпели. Деревенские ребятишки мчались напрямик к дому своего хозяина с нескрываемым страхом в глазах. Больше всего их удивили вооруженные драгуны, которых никогда здесь не видели.

На этот раз Василий Михайлович не испытывал такого волнения.

— Экий медвежий край. Экая ранняя распутица! — стонал полковник Шлеин, вызвавшийся поехать за детьми Меншикова в надежде получить побольше жалованья.— Все кости растряс.

— В баню, в баню,— Василий Михайлович знал, чем усладить приезжих.

Бумагу с гербом императрицы полковник подал сразу, чтобы не томить Василия Михайловича.

— Прочитай-ка сам. Я глазами ослаб,— сказал Арсеньев. На что услышал:

— Читать не стану, а скажу: за гостями из Сибири приехал. Сама государыня увидеть пожелала.

Василий Михайлович перекрестился: на все есть царская воля.

Ночью перед отъездом княжны и княжича долго мучился одной тайной: не знал, сказать или не сказать Александре Александровне, но решил повременить. В то суматошное время, когда предписано было Александру Даниловичу срочно выезжать из столицы в Ранненбург, он перебросил в возок Василия Михайловича баул с драгоценностями нареченной невесты и велел, не останавливая лошадей, мчаться восвояси. Что и было сделано. В бауле оказалось четыре бриллиантовых креста, много нитей жемчуга, бриллианты и изумруды, серьги, броши, пряжки, подвески, запонки, портреты Петра Алексеевича и царицы Екатерины, пудреницы, чернильницы, игла золотая. Сверху лежало шесть вееров, в углу — кружевные манжеты, несколько кисейных

галстуков и шелковых чулок и еще всякая мелочь. И никто про это ни сном ни духом не знает.

Прощался бывший гофмаршал с племянниками со слезами, больше всего смотрел на бледное личико княжны и хотел по взгляду угадать: ведомо ли ей о бауле?

— Коли трудность какая случится, весть подайте, да и в добрые минуты не забывайте старика,— обнимал он племянников.

— Поторапливайся, голубка,— фамильярно сказал полковник Шлеин, привыкший при сопровождении во дворец барышень высоких сословий смущать их вольностями, скабрезными анекдотами или пошлыми рассказами о своих любовных похождениях.

— Побеспокойтесь проводить меня до кареты,— строго сказала княжна полковнику.— Мне кажется, мы прощены государыней, и за непочтение вы будете нести ответственность!

Надо было видеть изумление и гордость на лице Василия Михайловича. «И эта в отца!» — с радостью подумал он, зная, что с таким характером ее не так-то легко будет обидеть.

Царский двор широко распахнул двери перед детьми светлейшего князя Меншикова. Анна Ивановна без колебания и раздумья определила княжича на службу в Преображенский полк. Александру Александровну сделала своей фрейлиной, а вскоре она стала женой брата Бирона.

Глава сорок девятая

С кончиной Прасковьи Юрьевны осиротело семейство Долгоруковых. Порвалась невидимая нить, крепко державшая всех вместе. Теперь каждый стал сам по себе. Многое стало необязательным. Если при жизни Прасковьи Юрьевны никто не мог и помыслить, чтоб не быть с ней рядом на службе в меншиковском храме,

то через неделю княжичи решили, что отныне будут ходить молиться в дальнюю, Березовскую, церковь. Им доставляло удовольствие поутру пробежать наперегонки две версты от острога до церкви. А там, где полно народу, получше разглядеть воеводу, начальника казачьего гарнизона, приказчиков и подьячих, служащих канцелярии, которые старались найти себе местечко поближе к начальству, непременно попасться на глаза воеводе и выразить ему свое почтение. Все были в храме. Особо у княжичей вызывали интерес два инородца, разнаряженные, с косами до плеч. Как скоро они узнали — ясачные шуленги, избранные сородичами для управления сборщиками ясака. Им была дана власть над сородичами, какую имели мирские приказчики. Не без восторга княжичи наблюдали за оленьими упряжками, лихо проезжающими по улицам, погоняемые диковинными наездниками, стоящими на легких нартах.

Наталья Борисовна, получив разрешение ходить по городу без караула, имела возможность снять для себя жилье или купить избу, но не хотела принимать эти послабления. Все радости и неудобства она давно решила делить с князем Иваном.

Недавно нанятая в помошь единственная служанка — девка Настасья была скромна и услужлива. Родившись в Березове, она знала все улочки-переулочки и каждого жителя в лицо. Она и стала проводницей Натальи Борисовны. Поскольку дома ей было строго-настрого наказано самой не вступать в разговор с господами, то надо было иметь большое терпение, чтобы удержаться от многочисленных вопросов к своей хозяйке. Наталья Борисовна, отстающая от Настасьи шага на три, вдруг подбежала к ней и попросила идти с нею рядом, поскольку для нее в этом городе все ново и необычно.

— Чо необычного-то? — рассмеялась служанка.— Экая невидаль. На улице-то только одни лошади.

В самом деле, лошадей разных мастей, запряженных большей частью в сани-розвальни, была полна улица. Из всех переулков и распахнутых тесовых ворот выезжали подводы. Мужики, одетые в овчинные полушубки, опоясанные разноцветными кушаками, лихо насвистывали, размахивали над головами ременными вожжами, подгоняя сытых лошадей, заодно вызывая многоголосный лай собак, бежавших за хозяином.

— Куда они? — сторонясь, спросила Наталья Борисовна.

— А Бог их знает, кто куда,— ответила Настасья.— Митька Косой Бок за лозняком поехал — корзины плетет, Костя Берестнев — на Обь. Он и зимой хорошую рыбу ловит. Вона с ним трое сынов. Капитон Сергеевич, поди-ка, к вогулке Софье направился. Она красивые, расписные нярки шьет, а он ими торгует. Инородцы-то дорогу проторили, с ярмарки возвращались, теперича к ней проехать можно. А этот,— засмеялась Настасья, показывая на мужика в расстегнутом полушубке,— по дрова. Летом-то не готовит, как путние люди, а зимой каждонедельно ездит. Всяк по-своему живет,— смеялась служанка, по-доброму отзываясь о каждом встречном. Многие махали Настене руками, а иногда, приостанавливая подводу, разглядывали с любопытством госпожу.

Встречные кланялись Наталье Борисовне, будто знали ее давно. Даже собаки приветливо виляли хвостами.

— Не тронут собаки,— спокойно говорила служанка, оборачиваясь и прикрикивая на них.— Это охотничьи собаки. Они смирные. Лают-то от радости.

У Натальи Борисовны все равно заходилось сердце, и она волей-неволей брала служанку за руку.

— Они всех приезжих обнюхивают.

Между тем навстречу им шла Милитина Федоровна. Она даже не поверила собственным глазам, заспешила, радуясь. Тут же полюбопытствовала, как здравствует наследник. О князе Иване не стала спрашивать: видела его сама в очень неприглядном виде возле кабака, мимо которого проходила с женой подьячего.

— Слава Богу,— услышала в ответ, но почувствовала, что Наталья Борисовна была не расположена к разговору. Однако Милитина Федоровна не хотела упускать возможности, полюбопытствовала:

— А княжна Катерина Алексеевна чем занята? — Все это время воеводше не удавалось ближе познакомиться с нею, а все, как считала она, из-за светлейшего князя Алексея Григорьевича, который, как давно определила Милитина Федоровна, не шел ни в какое сравнение с Александром Даниловичем.

— Да они все рукоделием заняты. Ризы золотом вышивают. Церкви подарить хотят.

— Вышивают? Не девки, а сами?

— Екатерина Алексеевна большая рукодельница,— не без гордости сказала Наталья Борисовна.— У белошвеек училась по собственному желанию. Икону вышила да подарила церкви. Будете — полюбопытствуйте.

Воеводше очень хотелось узнать, куда направлялась Наталья Борисовна, но не посмела спросить.

Узнав от Настасьи о чеботаре Василии Горцунове, который шьет обувь всему березовскому начальству, надумала сходить — попробовать договориться. Она узнала от служанки, что он шил и чинил сапожки Меншиковым и что они были очень довольны.

— Всех господ обшивает. Берет дорого — знает себе цену. Сапожки и полусапожки мастерит с каблуками и без каблуков, кому со шнурками, а кому с пряжками.

В Березове только старики помнят, когда появился безногий Василий Горцунов. Никому не было дела, что заставило его приплыть на барже, прибывшей за соленой рыбой, хранившейся в наскоро сколоченных складах. Хозяином этой рыбы был известный на Оби рыботорговец Глеб Мартынов, любивший нанимать убогих и сирых, платя им самый мизер. Таким посчитали и Василия. Но скоро баржа уплыла в сторону Тобольска, а безногий калека так и остался в Березове. Сказывают, что его несколько дней держали в гарнизоне, но скоро отпустили: оказалось, что ногу он потерял в сражении на османско-крымской войне. Как-то по пьяному делу он сам об этом проговорился, а позже не без гордости рассказывал, как совершал многотрудный переход под командованием фельдмаршала Шереметева к Пруту, где и приняли российские войска бой. Войска везира оказались в пяти милях от лагеря, и конница крымских татар во главе с ханом уже соединилась с османами. Отдыхать после длительного похода не пришлось. В долине реки Прут русские дали сражение османско-крымским войскам, число которых превосходило русских в четыре раза. Но пыл янычар и крымцев был остановлен огнем российской артиллерии. В этом бою Василий и был ранен.

Мало кто слушал Василия: кому в том была нужда? И кто знал, где этот Крым и на что он нужен, чтобы говорить о нем в Сибири?

А в памяти Василия навсегда сохранилась дорога на грязной повозке, которую еле-еле тащили истощенные лошади да стонущие раненые солдаты, просящие воды.

И лежать бы ему где-нибудь в безымянной могиле, не окажись рядом сибирского мужика Ивана Морозова с отсеченной саблей рукой. Он-то и выходил Василия и позвал в привольный сибирский край. Дня через два, по прибытии в стольный город Тобольск, Василий Горцунов с Иваном Морозовым пошли в кабак и там сильно повздорили. Василий спустился с пристани, увидел судно, готовое к отплытию, и, не раздумывая, ни у кого ничего не спрашивая, забрался на баржу, лег под рогожные кули и поплыл по Иртышу. Дня два так отлеживался, пока от голода не стали плясать в глазах синие огни. На одном из причалов встал на барже во весь рост. На судне заметили его и, покрыв отборной матерщиной, оставили. Распростились только в Березове.

Говорят, что иногда и сирым солнышко улыбается. Живущая на окраине поселка вдовствующая староверка Акуля, не расспрашивая, кто там стучится, пустила Василия в свою избу, бросила к порогу лопатину, буркнула: «Спи до утра. Туто тепло». Василий рад был приклонить голову. Всем ясно: кому жить охота — надо только ногой на землю ступить, а уж она, родная, даст силы.

Надо заметить, что в Сибири, как правило, почти нет увечных людей: разве кто от роду с горбом родится или кого на охоте зверь помнет. И чахлых мало бывает: говорят, от морозов всякая зараза промораживается. Люди здоровые. Недаром всем желают здоровья сибирского. Василий был роста высокого, с чуть приподнятым правом плечом, вместо шапки — кудрявая русая шевелюра. Лицо суровое, но большие зеленые глаза светились добротой и выказывали мягкий характер. Захаживая в кабак, рюмку мимо рта не проносил. В первой своей драке в этом веселом заведении он выбил передние зубы почтенному городскому писарю Льву Сергеевичу, о чем сразу же узнали в городе. Гарнизонное начальство требовало суда над чеботарем, хотя сам писарь слезно просил не делать этого, боясь разоблачения. Ведь тогда всем станет известно о его постоянном посещении кабака в ночное время. Василий же грозился немедленно вывести его на чистую воду — поведать, что писарь постоянно привязывается к инородкам, тискает их помимо их желания, чему он, Василий, не раз был свидетелем и за что огрел его оплеухой.

Холостым жил года два, снимая угол у Акулины Мартемьяновны. Она хвалила Василия за услужливость

и жалостливость. Хвалила и за то, что деньги за проживание платит исправно и кладет на стол больше, чем договаривались. На одинокой вдове Ольге женился сразу, без сватовства и обхаживания. Только и сказал: «Глянешься мне кротостью да красивой косой». Женившись, сразу купил просторный дом у казацкого сотника Серафима Бородина, вышедшего в отставку.

Ольга лет пять кряду одаривала Василия сыновьями, похожими друг на друга, как грибы-боровики возле одного пенька.

Рассказывая о детях, Ольга весело смеялась:

— Отколь им плохо-то расти, отец без них крошки в рот не берет, а как зачнут есть, так только из одной чашки: он жидкое хлебает, а оне всю густерню, да каждый лучший кусочек малышу из своей ложки в рот положит.

Двоих сыновей-погодков в прошлом году Василий в Тобольск к архиерею на учебу отправил. Проведал он какого-то миссионера, что есть царский указ, по которому каждому архиерею надлежало при своем доме иметь школу для обучения будущих священников. Вот он и надумал.

— Али у тебя грехов полно? — голосила Ольга, не желая расставаться с сыновьями. Но Василий как постановил, так и сделал. Отправил с надежными людьми, попросил не только дьякона письмо написать, но и священника Андрея Георгиевича Страхова слово о сыновьях замолвить. Тот, находясь в почете и уважении у архиерея, не отказал чеботарю. Ночью, поглаживая рассыпанные по плечам волосы Ольги, тихо шептал:

— Неужто ты хочешь, чтоб все наши сыновья охотниками-промысловиками были или рыбаками? Или как я — чеботарями? На жизнь этих промыслов хватит, так ведь человеку этого мало. Кабы наши парни были несмышлеными — быть им подле твоей юбки. А оне ведь на лету каждое слово ловят. Али сама не видишь?

— От самого-то опять русским духом пахнет,— вместо ответа сказала Ольга, на что он ответил:

— Как же мне повезло иметь подле себя такую теплую и ласковую бабу.

Вечерело. Казалось, что тусклое солнце не могло справиться с громадами облаков, все ниже и ниже приседало к земле. Какое-то время оно пробиралось по зубчатым верхушкам темного пихтача и спряталось за ним. Нависла серая хмарь.

Наталья Борисовна отметила, что дом чеботаря добротный, ворота высокие и по всему фасаду шли кудрявые деревянные кружева.

Только Настасья, отогнав пушистого щенка, крутившегося возле ног, зашла на расчищенный двор чеботаревского дома, как со стороны огорода донесся пронзительный женский крик, распахнулась калитка, из которой выбежала женщина с растрепанными волосами. Путаясь в длинном подоле холщовой рубахи, кричала как ошпаренная. За ней, проваливаясь в снег и беспрестанно падая, прыгал Василий. В руках его были порты. Вывалившись из калитки во двор, кричал:

— Сколько годов ишо прожить надобно, штоб ты запомнила, какую штанину обрезать надо! Столько портов перепортила. Ну хошь бы уж вспоминала, с какого боку я к ней прилаживаюсь! Ишь, завопила,— уже укрощая гнев и прыгая на крыльцо, бурчал он. Потом постоял немного и, не оборачиваясь, сказал:

— Завтра приходите. Попали под горячую руку.— Он с шумом распахнул дверь и бросил порты.

Ольга не переставая голосила.

— Перестань, дура. Али из-за штанины этот грех? — сказал и ушел в дальнюю горницу, долго лежал, подложив руки под голову. Он слышал, как Ольга, швыркая носом, стояла возле косяка в горницу, желая попросить у него прошения, но боялась. Она ждала, когда Василий охладится и сам позовет ее.

— Кто эта госпожа, которая с Настасьей приходила? — спросил, зная, что Ольга где-то недалеко.— Не местная. Видать, на сносях.

— Почем я знаю-ю-ю,— Ольга подала Василию в деревянном ковше пенистую брагу, которую сама варила.— Шел — в землю глядел, а заметил, что на сносях.

— Кто такая? - крякнул от удовольствия после нескольких глотков браги: — Коли не знаешь, так поди узнай. Это тебе не инородка какая-нибудь, а госпожа. Из-за тебя прогнал ее со двора. Кабы не орала на весь Березов.

— Да ссыльная она. Из острога,— ответила Ольга, сворачивая на затылке волосы в большой клубок.— Все оне под караулом ходят, а ей одной послабление пришло. Велено везде отпушать, как вольную. Ишо сказывают, будто ей можно и избу купить и, коли вздумает,—

то и уехать, да она никуда от своего суженого. Она, сказывают, дочь какого-то, не знаю я, как обзывают их, из тех, кто на войну солдат гонит, но и сам вместе с ними бывает.

— Вот, для Милитины Федоровны,— вскочил он с кровати и подал аккуратные сапожки, только вчера дошитые.— Отнеси да заведи с ней разговор — узнай, кто она такая. Знаю, запомнить-то ты ничего не запомнишь, а вот фамилию как скажет, так хоть в зубах, да неси.

— Ополоумел, Василий! Куда так торопно? Али утра не будет?

— Ступай,— сказал чеботарь, и что-то было в его словах такое, что Ольга не стала больше препираться, надела опушенную соболем телогрейку, взяла под мышки новенькие сапожки и побежала к воеводскому дому.

В голове Ольги перепутались все мысли. Она несколько раз принималась плакать и даже пробежала воеводский дом, а когда спохватилась, то оказалось, что бежала в сторону острога. В испуге перекрестилась.

Милитина Федоровна шла из церкви и была немало удивлена, что сама чеботариха несла ей сапожки:

— Куда такая торопность?

— По пути,— ответствовала чеботариха. Про Милигину Федоровну нельзя было сказать, что она так просто станет заводить разговор с каждым встречным-поперечным. Конечно, и с чеботарихой перебросилась несколькими фразами, будто сплевывала каждое слово через губу, да и то потому, что на улице уже никого не было. Ольге ничего не оставалось, как идти домой.

— Отнесла? — сухо спросил Василий жену и не стал допытываться ни о чем.

Не зря у Василия вечером щипнуло сердце. Утром после церкви встретил гарнизонного казака, который в разговоре об опальном семействе упомянул графиню Шереметеву, которой пришло послабление.

Василий еле приковылял домой, сбросил возле порога полушубок и упал на кровать, не проронив ни слова. К вечеру у него поднялся жар. Ольга не на шутку испугалась, понимая, что на этот раз у Василия была не простуда, а какая-то горячка, с которой настоями трав ей не справиться. Запрягла лошадь, съездила за лекарем в гарнизон, позвала Акулину Митрофановну, знающую много наговоров от сглаза.

Василий болел недели две: не пил и не ел, находясь в каком-то полузабытье. Очнувшись, обвел помутневшим взглядом все вокруг и пересохшими губами чуть слышно произнес: «Шереметева?» Ольга, перебравшая в памяти разные причины неожиданной горячки супруга, передумала многое, не исключала и приход к ним графини Шереметевой. Услышав первое произнесенное Василием слово, закивала головой:

— Ага. Она дочь етого, Шеремета. Она...

— Я раб ее,— приподнимая голову с подушки, сказал Василий.— Раб, а выказал себя перед ней господином.

— Чо ты морозишь, Василий? Какой ты раб? — задрожав, спросила Ольга.

— Слушай, запомни и тут же забудь,— опершись локтем о подушку, сказал чеботарь.— Давно, во время Полтавской виктории, наш государь Петр Алексеевич наградил ее отца, фельдмаршала Шереметева, землями, на которой стояла наша деревня Черная Грязь. А коли была подарена деревня, то и все люди на ней.

Для Ольги все сказанное Василием было непонятно, за исключением одного — «раб», но она почувствовала, что в жизни ее благоверного есть тайна.

— Сказать-то я своей госпоже ничего не скажу, а служить, коли надо будет, стану изо всех сил.— Василий снова положил голову на подушку и закрыл глаза.

Ольга запричитала, жалеючи Василия, взобралась к нему на постель и стала целовать его шеки, глаза, губы.

Глава пятидесятая

Первые схватки у Натальи Борисовны начались посреди ночи. Ойкнув, она стала успокаивать себя: каждый человек на земле появляется в муках, а значит, и ей надо крепиться. Недавно она слышала рассказ, что здешние инородки, боясь испоганить жилье, с приближением родов уходят в лес, прихватив с собой оленью

шкуру. Там, отыскав какое-нибудь раскидистое дерево, ломают ветки и устраивают себе ложе. Обычно берут с собой какую-нибудь из собак, привязывают поблизости, и та бывает единственным свидетелем мук роженицы. Если роженица не сможет разродиться и умрет, оголодавшая собака начнет лаять на привязи. По ее лаю находят бедную женщину и справляют обряд, прося великого Торума взять к себе на небо ее грешную душу.

Со страхом представив себя на месте бедной инородки, Наталья Борисовна подошла к постели князя Ивана, дотронулась до его плеча.

— Ложись ко мне под одеяло, Наташа,— спросонья сказал князь.— Сколько раз говорил: одной спать холодно.— Но тут же вскочил, все поняв, разбудил Настасью, княжичей. Вскочил и спавший крепким сном караульный. Настасья знала, где живет повитуха Шариха, но, выскочив из острога, тут же вернулась: одна бежать боится, на дворе невиданная метель. Княжичи побежали в меншиковский дом за княжнами. На память всем пришли несчастные роды в остроге, от которых умерла княжна Мария Александровна. Слуга зажег во всех углах свечи.

Княжна Екатерина бежала в острог, пурхаясь в снегу, и вспоминала слова матушки, которая велела хотя бы до рождения внука жить Наталье Борисовне в чистой меншиковской избе. «Дух умершей княжны в остроге летает»,— не раз говорила она, но никто не обращал на это внимания, теперь же княжна Екатерина уливалась слезами. Она боялась, как бы не случилось новой беды.

Дородная повитуха Шариха была в постоянной готовности. Все нужное у нее было заранее приготовлено в узелке, и стука в ворота она не боялась. Обычно зимой за ней приезжали на подводе, а тут вдруг надо было торопиться в острог. Повязав вокруг головы белый платок, поверх которого она надела пуховую шаль, и накинув на шубейку суконную клетчатую, она в мыслях была уже возле роженицы.

Метель кружила, поднимая над землей вихри снега, слепила глаза, раскачивала голые ветви берез, и те свистели на ветру протяжно. Шариха приостановилась, поджидая Настасью.

— Кажись, кора на березе трещит,— подавая руку девушке, сказала она, отворачивая лицо от нового порыва ветра. Березы и в самом деле будто переговаривались

между собой звонкими щелчками лопающейся коры.— Непогода — хороший признак. Я будто знала — третий день постую.— Повитуха заметила вдали крохотный огонек. Это караульный возле ворот острога размахивал фонарем.

Не впервой Шарихе бабничать, принимать в свои руки новую жизнь, но каждый раз боязно. Заснеженную одежду и валенки, большую суконную шаль оставила возле порога. Тут же попросила теплой воды, умылась, перекрестилась.

— Оставь, голубок, нас вдвоем,— сказала князю Ивану, грея озябшие руки.— Никому не сказывайте про нас,— закрыла она за князем дверь кельи.— Мене людей знает про таинство — легче наследники рождаются. Да далеко не уходите.

Шариха умела говорить роженицам нужные слова на ухо, которых после и сама не помнила. Однако эти слова, казалось, помогали в самый ответственный момент. Ближе к рассвету Шариха приоткрыла дверь:

— Опросталась, слава Господу Богу, наша матушка.

Вбежала княжна Екатерина, подала повитухе мягкую тряпицу. Та, укутывая ребенка, приговаривала:

— Прилетите тридцать три ворона, унесите тридцать три камня с потолочку, с уголочку, бросьте в чистое поле, в синее море, чтобы ключ ко дну — и не вынырнул. Дайте младенцу сну и спокою на темну ноченьку, на белы денечки,— и подала княжне Екатерине младенца на руки, а сама хвалила Наталью Борисовну, неумолчно говорила ей ласковые слова.

Алексей Григорьевич вошел в острог тихо, не без душевного трепета, вновь и вновь вспоминая рождение каждого из своих чад. Разве мог он подумать, что ему, светлейшему князю, находившемуся при царском троне, придется ждать появления наследника в прогнивших стенах холодного острога? И что в руки его возьмет какая-то простолюдинка-пупорезка? Он присел на лавку, погладил по голове князя Ивана, севшего с ним рядом.

— С наследником,— шепнул и спрятал лицо в ладони.

— Отцовские порты приготовь, обернем младенца, чтоб спокойным рос,— доносилось из кельи.— А чтоб красивым был, надо покрывать его тряпицей зеленого цвету.

Алексей Григорьевич вроде как забылся, крепко держа в ладони перстень с самым большим бриллиантом,



который когда-то был подарен Прасковье Юрьевне за рождение первенца — князя Ивана.

В остроге было суетно.

— Вытащи-ка из моего кармана в телогрейке беличью шкурку — ею оботру мальца,— донеслось до уха светлейшего князя, даже не предполагавшего, что столько разных примет знают повитухи, чтобы с первого часу беречь человека от разных невзгод.

В келью к Наталье Борисовне Алексей Григорьевич вошел, когда повитуха распорядилась накрывать на стол и всем садиться за обед, на котором должен быть обязательно горшок с гречневой кашей да тарелка со штофом. Первую чарку пьет сама, вторую — отец, после — все другие.

— На «зубок» твоему первенцу,— сказал Алексей Григорьевич, подавая Наталье Борисовне перстень и целуя ей руку.

— Велико оно, папенька. Упадет и закатится между плах,— сказала княжна Екатерина.— Дай-ка лучше ленточку в него пропустим да Наталье на шею наденем.

Как и положено, повитуха на несколько дней осталась жить при Наталье Борисовне. Поила ее богородицкой травой, душицей, анисом, ромашкой, чтобы все это восстанавливало силы роженицы.

Милитина Федоровна узнала о появлении на свет еще одного Долгорукова на второй день и собралась было в дом Меншикова, но, узнав, что роды состоялись в остроге, полная суеверия, испугалась.

— Привести бы надо ее в нашу баньку,— сказала служанке. Вместе с повитухой Шарихой. Она в банях расправляет мальцу каждую косточку, ощупывает да приговаривает: ножка с ручкой, ручка с ножкой! Все выправит с мыльцем, и спит после этого младенец полные сутки. Но вспомнила, что светлейший князь Александр Данилович наперед избы срубил мыльню, или еще называл ее термой.

Обдумав все, Милитина Федоровна велела собрать две корзины разных яств и отнести их в подарок повитухе Шарихе.

Узнав о намерении Милитины Федоровны навестить в остроге Наталью Борисовну, воевода высказался определенно:

— Ежели вы, Милитина Федоровна, позволите себе такую вольность, мне придется оставить ваш гостеприимный дом или расстаться с должностью.

— Но, Николай Степанович...— попыталась было возразить Милитина Федоровна.

— Не пугайте меня,— сказал Аркадий Иванович таким голосом, что по спине Милитины Федоровны пробежал холодок, и она побоялась встретиться с ним взглядом. «У Бога много дней»,— успокоила себя воеводша, некоторое время сидя в задумчивости. И, решив все-таки узнать о творившемся в остроге, пошла в храм с намерением увидеться со священником Петром Дубасовым, который, по привычке, раболепствовал перед ней. Перешагнув порог храма, она неожиданно встретилась лицом к лицу с чеботарихой Ольгой, одетой по-праздничному. Милитина Федоровна удивилась: «эту-то каким ветром сюда занесло?» — но не решилась спросить.

— Священник тут?

— А где ему быть, коли храм открыт,— сказала Ольга, по всей видимости на этот раз не испытывая желания разговаривать с воеводшей и боясь ее расспросов.

— Василий-то поправился?

— Слава Богу,— нашлась Ольга.— Вот и в храм пришла свечку поставить за его, нашего кормильца, здравие.

Широко распахнулась дверь, княжич-подросток, стащив с головы шапку, пробежал мимо Милитины Федоровны и стал подниматься по лестнице, ведущей на колокольню.

— Заместо княжича Александра стал звонить в колокол,— не без радости сказала Ольга, из чего Милитина Федоровна сделала вывод, что чеботариха часто здесь бывает.

— Священник-то наш сколько горевал, а тут, слава Богу, княжич Александр. Надо же, тоже Александр охоту проявил. Батюшка им нахвалиться не может.

Петр Дубасов при виде Милитины Федоровны зарделся. Он сразу угадал, зачем пожаловала воеводша: переглянувшись, они поняли, что думают об одном и том же.

— Не крестили мальца? — спросила она, осматриваясь.

— Рано еще. Успеется. Повитуха-то омыла, от «большой беды» нарекла Михаилом. Она все еще в остроге живет. Начальник гарнизона разрешил: боится, кабы чего не случилось, и, немного помолчав, добавил: — Наученные мы все горем. Княжна Екатерина с этаким усердием стала молиться. Икону Божией Матери вышила

золотом,— Он подошел к иконостасу, поставил свечу перед иконой. Милитина Федоровна отметила про себя мастерство княжны.— Светлейший князь Алексей Григорьевич, сказал княжич Александр, подарил на «зубок» Наталье Борисовне дорогой перстень.

— А эта что тут делает? — кивнула воеводша в сторону Ольги.

— Молиться приходила,— удивился такому вопросу священник и вдруг уставился на воеводшу: — Зыбку для младенца принесла и освятить просила.

— Зыбку? Освятить? Откуда она знает господ? — удивилась Милитина Федоровна и поспешила сесть на лавку возле порога.

Священник ничего не мог ответить. Немного подумав, добавил:

— И березовый очеп для зыбки привезли, только повесить осталось.

— Кто привез?

— Кажись, тоже от чеботаря Василия Горцунова.

«Эко как вырядилась»,— подумала Милитина Федоровна и с какой-то завистью посмотрела на Ольгу, будто увидела ее в первый раз. Чеботариха, почувствовав на себе взгляд воеводши, торопливо вышла из храма.

Загадку загадал Милитине Федоровне Василий Горцунов. Но никогда не суждено было ей узнать тайну бывшего драгуна прославленного фельдмаршала Шереметева. Безродный и покалеченный в огне сражений, Василий Горцунов, как и многие его друзья, пустился в неведомый, свободный край, пытаясь забыть о своем рабском прошлом. Но вот он рок! Василий перебирал в своей жизни каждый прожитый день. Его удел — быть слугой своих господ. Такими были его родители, таким должен быть и он. Но не может он позволить, чтобы холопкой стала его жена, его дети. Только он один, до скончания своих дней, стает верным слугой своей госпоже Наталье Борисовне.

Наверное, сапожки княжнам чинил Василий или новые заказывали, размышляла воеводша. Они, господа, знают толк в туфельках, Василий-то хоть и мастеровой, а все одно холопская душа. Вот и посылает свою Ольгу им поясно кланяться. Но тут она призадумалась, вспомнив светлейшего князя Александра Даниловича. К нему чеботарь и близко не подходил, а ежели надо

было какую обутку справить княжнам, слуги бегали. Размышления воеводши выводили ее на правильную догадку. Но одно дело догадываться, и совсем другое — знать. А знать ей было не дано.

— Приду на крестины,— сказала она Петру Дубасову и пошла.

Глава пятьдесят первая



Началось все с чарочки за здоровье наследника. Домашние были в растерянности, когда князя Ивана, еле живого, вдрызг пьяного, привели под руки два караульных и грозились закрыть в голбец, если он не перестанет браниться прилюдно и говорить разные непотребные слова в адрес российской государыни.

— Отрыжка, отрыжка,— сокрушенно говорил Алексей Григорьевич, вспоминая старые пороки сына: попойки с дворцовыми фрейлинами и даже самой цесаревной Елизаветой Петровной. Сколько тогда было кутежа! Не зря говорят: семь лет, как видел коровий след, а молоком отрыгается. На днях княжна Екатерина пожаловалась отцу, что видела своими глазами, как князь Иван, упав на оленьи упряжки, просил инородца покатать его.

Гарнизонное начальство обеспокоилось: в царском указе не сказано, кому сколько есть-пить, кому в какой одежде ходить, все строгости, какие прописаны, выполнялись в точности.

— Чего, папенька? — развязно спросил отца князь Иван.— Вижу, не нравится. А мне кажется, жизнь здесь привольная. Никаких подглядов, никаких жалоб. Все просто: в кабаке шапку подбросил к потолку — и сразу всем сват и брат.

— На кого похож? — построжал Алексей Григорьевич.— Где твое княжеское достоинство, коли в кабаке со всякой челядью рад обниматься?

— Брось, папенька,— сплюнул на пол князь Иван. Наталья Борисовна поморщилась, вытащила из кармана платок и бросилась к князю обтирать губы, шепча ему что-то на ухо.

— Брось, Наташа. Не пытайся скрыть мое пьянство. В этом блаженном состоянии все вокруг таким светлым кажется.

— Все «брось да брось»! — возмутился Алексей Григорьевич.— Пора бы и призадуматься: сына имеешь. Вчера сам капитан гарнизона в острог заходил. Сказывал: на тебя жалоба поступила. А как пойдет письмо в Сенат, там не станут долго раздумывать. Быстро новый указ напишут.

— Пусть пишут,— с откровенной беспечностью ответил Иван.— Куда дальше-то посылать? В Обдорск? Там ни острога, ни казачьего гарнизона нет.

— Не шути, Иван, с огнем!

— Уж кто бы говорил,— пренебрежительно ответил князь Иван отцу.— Сам-то по каким угольям ходил. Знал ведь — не видать тропы к трону, а что делал? То ему Иван подложное письмо пиши, то иди, Иван, к войскам и готовь их к захвату власти, а теперь — «не шути с огнем». Все мудры задним умом.

— Боже милостивый. В уме ли ты?

— Да нет, папенька,— поднялся с лавки князь Иван. Отыскав блуждающим взглядом Наталью Борисовну, улыбнулся ей искаженной улыбкой.

Молчаливый укор увидел он во взгляде жены.

— Ну, на вас глядеть — тоска берет. То ли дело в кабаке! Шум, разговоры, купчишки с Обдорской ярмарки возвращаются. И причина есть. Сынка обмываю. Кто мне запретит?

— Да у твоего сына скоро зубы прорезаться будут, а ты все пьешь.

— Помолчи, папенька. Коли кого слушать стану, так только Наташу, а пока душа нараспашку — ее слово не берет за сердце.

Наталья Борисовна до этого запоя мужа никогда не видела ничего подобного. Она слышала, будто князь Трубецкой напивался до белой горячки, но то были слухи. Теперь же, когда коснулось ее, была в полном смятении. А он, несколько раз громко икнув, понес несусветную околесицу, что покойный государь великий Петр Алексеевич был безнравственный развратник,

полный антихрист и палач, сам участвовал в казнях. Попытался было рассказать о подробностях казни фрейлины Гамильтон, но Наталья Борисовна зажала ладонями уши и в слезах убежала, захлопнув за собой дверь.

На следующий день Наталья пошла к Петру Дубасову и стала настоятельно просить его ускорить ходатайство о духовном наставнике для всего опального семейства. Священник, казалось ей, имел малое влияние на вышестоящие чины. Не долго думая, она отправилась в храм к отцу Андрею.

— Не только князя Ивана надобно спасать от грехопадения,— сказала она,— но и о молодых княжичах думать надобно. Вы ведь их знаете. Они прихожане вашего храма.

Отец Андрей выслушал Наталью Борисовну, лестно отозвался о княжичах и даже намекнул, что у него есть намерение похлопотать за одного из них — отправить на учебу в Тобольск.

— То еше погодит, отец Андрей, а эта беда, что приключилась с князем Иваном, всему семейству может принести новые беды.

С этим батюшка согласился и пообещал еще раз обратиться в Тобольск с подобной просьбой.

Проснувшись утром, князь Иван собрался было по привычке в кабак, но был остановлен караульным: выпускать князя за пределы острога было не велено, так распорядился начальник гарнизона капитан Петров.

— Боюсь я вашего капитана,— расхрабрился князь Иван. Но не тут-то было. Поставленный в караул новый капрал был неумолимо строг.

— Только на службу в храм Воскресенья Христова,— сказал и захлопнул калитку в воротах острога.

От бессилия князь Иван несколько раз ударил кулаком по промороженным плахам ворот.

— Не пустил его капрал, не пустил,— забегая в острог, сказал княжич Алексей. Наталья Борисовна прижала к себе голову княжича, погладила по густым, волнистым волосам. Тот, соскучившись по ласке, не отбежал от Натальи Борисовны, а прижался, смущаясь.

— Не выпустил? — спросил Алексей Григорьевич и отставил кружку с горячим чаем.

— Не выпустил. Сказал: не велено.

Светлейший князь призадумался: не выпускают, значит, на то есть распоряжение. Не волен караул поступать

по своему хотению. Значит, в гарнизон, в воеводство поступила жалоба, если появился новый караул. Светлейший князь не ошибся. Из Березова в Сенат ушла на князя Ивана первая жалоба от капитана Петрова, в которой он писал, правда, в обтекаемой форме, что в семействе светлейшего князя Долгорукова бывают частые ссоры меж собой.

Раздосадованный на все и на всех, князь Иван вышел на берег реки, взял в пригоршню снег и, бросив несколько снежков на середину реки, принялся обтирать лицо.

Близилась весна. С неба лились яркие лучи солнца. Снег искрился так, словно в каждой промороженной снежинке нашел место крохотный лучик солнца. Со стороны реки дул ветер и приносил с противоположного берега запахи великанов пихтачей, на стволах которых поселились густые мхи. Бочком, теряя быстроту полета, летела к березняку стайка белых куропаток. Князь Иван с тоской проследил за вольными птицами, которые облюбовали гибкие ветви берез и склевывали похожие на ржаные зерна почки.

— Братец Иван! — крикнул княжич Алексей.— Иди испить чаю.

Князь Иван догадался, что это Наталья Борисовна за ним послала. Он покачал головой, давая понять, что чай пить не придет: было совестно глядеть ей в глаза. Но больше он сокрушался о том, что отняли возможность бывать там, где людно, где он может узнавать новости о жизни России.

Березов стоит в стороне от Великой Оби, и у каждого, кто ехал в Обдорск на ярмарку, были свои тропы, засеки, свои проводники, что коротким путем добирались в места, о которых в народе говорили: «шерсть живого соболя по земли ся волочит», «от стука и от огня и дыма всякий зверь выбегает», а точнее — в златокипящую Мангазею, в которой скапливалось не по одной тысяче людей. Из Устюга, например, дорога шла на Печору, с Печоры на Обь и в Обскую губу, по Тазовской губе на Таз и дальше на восток, где ловили зверя местные охотники кулем — ловушками или собаками с сетью — обметами.

Там, на ветрах и в снегах купцы втягивались в такой невообразимый запой, что не было никакой надежды на выздоровление. И кто-то на ярмарке распустил слух,

будто бы в Березове в одной из кабацких лавок есть знахарь, который за день-другой снимает с несчастного все страдания, и тот даже при виде рюмки, наполненной вином, исходит рвотой и вскорости становится трезвым человеком. И зовут этого знахаря Анисимом.

В Березов валом повалили купчишки, а больше приказчики, посланные хозяевами вести торги с прибылью. Анисим, мужик чистой трезвости, ни сном ни духом не знал ни о каких наговорах от зелья, и его удивление и сказ, что он ничего не знает и не ведает об этом, приехавшим мужикам казался куражом.

— Не поскуплюсь! — рыдал какой-то вологодский купец.— Денег на избу дам, али на приобретение лодок, али на покупку цельного стада оленей, только освободи от видения хмельников, ни днем ни ночью покою от них нет.

Он и тут, в кабаке, несколько раз кричал недобрым голосом — призывал на помощь ловить рогатого, который корчит ему рожи, выглядывая из-за бутылей на полках.

— Экий крюк сделал, добираясь до вашего Березова,— стонал приказчик с осоловелыми глазами.— Мне бы надо ехать прямо на Камень, а я на тыщу верст круг сделал. Как хочешь, а лечи!

С прошлой зимы, когда началось паломничество запойных торговцев, Анисим надумал уехать из Березова, но то ли жаль было оставлять свой дом, свою лавку, то ли подумал, что все позабудется,— остался. Но на всякий случай сделал к кабаку пристрой, приобрел два чугунка и взял в подмастерья расторопного тобольского татарина по кличке Зверобой. Разводить с запойными мужиками тары-бары было бесполезно. Летом на барже привез татарин несколько мешков луговых трав. Зверобой, анис, иван-чай, малиновые и смородиновые листья, черемухи и рябины, настаивал их в березовых чуманах, плотно прикрытых крышками.

Делать было нечего. Завел Анисим рыдающего вологодского купчишку в свой пристрой, посадил на лавку возле кипящего чугунка и сказал тихо:

— Тогда слухай. Перво-наперво помолись. Долго гляди на иконы Николы Чудотворца и проси заступничества. Дело твое, об чем ты станешь его просить, а после выпьешь вот этот настой,— показал он на кружку, стоявшую на приступке печи,— и будешь пить его

до тех пор, пока пот не прошибет и ко сну не потянет. Спать будешь на оленьих шкурах, за печкой.

Несчастный, трясущийся в хмельном ознобе, соглашался со всем, был, как дитя малое, слаб, безволен и охоч до слез. Наутро Анисим подал ему чарку вина. Глядел купчишко плачущими глазами, а рука сама тянулась. Дрожала, а тянулась. Выпил. И тут началась у него страшная рвота. Уж как выворачивало и трясло мужика, только ему одному ведомо. Потихоньку поговаривали, что в эту чарочку Анисим наливает щучью слизь. От нее и начинается «чистка» несчастного запивохи. До изнеможения корчился бедняга, обессилев, пот ручьями лил по лицу. После татарин Зверобой отпаивал страдальца холодной простоквашей, она-то и спасала и поправляла здоровье.

Но березовских мужиков Анисим лечить не брался. А уж сколько просили его, сколько уговаривали. Твердил одно: ищите всяк свою траву. В травах спасение от зелья, а для березовских мужиков, говорил, настои варить надо не из трав, а из кореньев. Каких — не сказывал, а может, и не знал.

Далек северный край. Большие торги только на ярмарке, а вкус зелья известен давно. Из гриба мухомора варили то зелье. Но и гриб не растет в холодной тундре. Купец с приуральской стороны привозил на ярмарку мешки сушеного мухомора и обменивал на белку, куницу, горностая, соболя. Ямальские ненцы с торговцами мухоморами рассчитывались оленями. Но на что купцу олени? Шел бойкий обмен. Взрослого оленя приравнивали к шестидесяти белкам, за черную лису давали трех оленей. У обдорских и березовских купцов шел торг на муксунов: пуд муки — 13—15 муксунов, пуд соли — 10—30 муксунов, пуд табака — 100—300. Покупали конский волос для вязания крепких сетей, поясные наборы, клыки белого медведя, которые носили на поясах. Многие покупали русских кукол для домашних идолов.

Обо всем этом узнал князь Иван в кабаках да лавках, где в зимние дни всегда было многолюдно. Он понял, что никто здесь не знает ни о каких дворцовых переворотах, интригах. Здесь всякий живет по своему укладу, сложившемуся веками. И странно было, что за все время проживания в Березове он ни разу не услышал о столице.

Князь Иван был крайне оскорблен неожиданным запретом нового караульного. Вдруг показалось, что жизнь кончена. Сбежать бы, куда глаза глядят. Да разве возможно? Мысли о прошлом казались сном, и он научился отгонять их. И тут вдруг вспомнился прелюбопытнейший факт, правда, тогда он не очень обратил на это внимания, а сейчас стал лихорадочно восстанавливать в памяти. Как-то возле кабака остановилась кибитка и из нее вышел степенного вида господин. Князь Иван смутился, отошел в сторону, чтоб остаться незамеченным. Вспомнился спокойный его голос, так отличающийся от орущей кабацкой толпы. В разговоре с попутчиком он упоминал о какой-то оставшейся зимовать в Обдорске морской экспедиции, которая прошла между материком и островом Вайгач. Позже он узнал, что они ехали в стольный город Тобольск. И князь Иван выпил несколько рюмок за их счастливую дорогу. Только теперь он понял весь драматизм своего положения: он, князь Иван, отброшен обществом навсегда и должен доживать жизнь в каком-то остроге, его персона уже ни у кого не вызовет интереса. Сильная боль сжала сердце.

Он не заметил, как во двор острога вышла Екатерина. Встречи с ней он не хотел. Он знал, что она скажет. Лучше помолчать, но не удержался и съязвил:

— Явилась, царская невеста?

В ответ Екатерина рассмеялась, что крайне удивило князя.

— А что, Ванюша,— с каким-то сарказмом в голосе ответила она, в то же время не переставая улыбаться,— а как да впрямь была б царица? Ты бы сейчас не потягивался передо мной. Непременно бы в ногах валялся да ручки целовал.

Князь Иван стал оправдываться:

— Да я, Катерина, и теперь тебе ручку поцелую за то, что мы с тобой из одного гнезда, за то, что царской невестой нареченной была, за то...

— Хватит маскараду,— строго ответила Екатерина, и улыбки как не бывало на ее красивом лице.

— Прости меня, Катерина. Ты все равно осталась в памяти людей царской невестой. Они еще пожалеют, что ратовали за полную власть этой дуры — Курляндской герцогини. Разве ее ума хватит? Гляди-ка, как велика Россия.

— И у меня не более ее ума,— ответила брату Екатерина.

— Так кто про то говорит, у кого сколько ума. Возле тебя крутились бы, вертелись все российские дворяне.

— Все былью поросло, князь Иван,— Екатерина провела ладонью по его небритой щеке и направилась в острог.

— Слушай, Катерина,— остановил он сестру.— Давай на будущий год, на будущую зиму поедем в Обдорск, на ярмарку. Там, сказывают, людей — со всех волостей. И товару видимо-невидимо.

В ответ Екатерина только пожала плечами.

— До зимы времени много. Уговорим капитана, упросим воеводу,— размечтался князь Иван.

— Коли так балагурить будешь, то Бог знает куда отправят.

— Не говори, не говори ничего об этом, Катерина. И так знаю свою вину.

— А это еще страшнее: знаешь порок и творишь его,— постаралась перевести разговор.— Иди, зыбку к потолку приладить надо.

— Или слуг нет?

— Повитуха сказала: отцу надо. Прелестную зыбку нам принесли и сказали: от чеботаря Василия Горцунова, а немного погодя привезли березовый очеп — тоже от него. Мужики, снимая с березы кору, сказали: береза проснулась. По стволу сок пошел, кора сама со ствола сползла.

— Да оно и видно — весна рядом.

Глава пятьдесят вторая

Весна в Сибирь прилетает стремительно. Всему начало дает солнце. Взобравшись высоко на небо, оно шлет пронзительные лучи-иглы, перед которыми не могут устоять снега. А буйные ветры несут на своих

легкокрылых плечах запахи оттаявшей земли, соснового бора, пихтача, болотистых мхов. Шуршат, стонут оседающие снега. Горластые черные вороны облетают березняк и начинают свой вороний праздник после дальней дороги.

Сеновозная дорога просела. Отливает свинцом колея, заполненная талой водой. В высоком небе появляются первые стаи уток. Они кружат над озерами, первыми проталинами на болотах, шумят, радуясь скорому отдыху.

В одну их светлых ночей послышался грохот, будто пушечный выстрел. Это рухнул, оторвался от берегов лед на реке Сосьва. Холодный, влажный ветер застучал в стены острога, пробежал по крыше, с которой княжичи только вчера сбросили талый снег. Утром на берег вышло все семейство — посмотреть, как могучие волны уносят к великой Оби льдины. Коренные жители, по старому языческому обычаю, одаривают кормилицу кусками хлеба, сухарями, салом, мясом, рыбой, пирогами, шепчут, просят утопить в водах и унести в дальние дали их несчастья и беды.

Проходит день-другой, и янтарной зеленью покрывается вся бескрайняя земля. В нежной зеленой дымке березовой листвы теряются дали, прячутся под зеленью дома, сараи, конюшни. Безмерное множество красок, неподвластное описанию, рассыпано чьей-то щедрой рукой с небес и украшает болотистую равнину, безмолвно подбадривает живущих на ней: глядите, радуйтесь!

Однако с приходом теплых дней оживают и неисчислимые полчища комарья. Эти назойливые существа пробираются во все щели и щелочки, нет житья ни днем ни ночью.

Бедные княжны расцарапывали до крови каждый укус. Священник Петр, заметив на щеке княжны Елены несколько багровых пятен, посоветовал перебить и выгнать из избы всех до единого комара, плотно закрыть все окна и входную дверь, возле крыльца развести дымокур, то есть поджечь сыроватое гнилое полено, не способное воспламеняться, а только дымить.

— Это попервости оне вас пугают,— говорил мужик, пришедший развести возле порога избы дымокур.— Кровушки вашей попробуют и привыкнут. Оне на вас, как на медоносные цветки, налетели. А мы живем и не

замечаем. Из-за этих тварей сокрушаться, так и жить некогда будет. Их уж из этих местов не вывести. Они тутo жители вековечные,— похохатывал мужик, то и дело хлопая себя то по щеке, то по лбу, сам этого не замечая.

Княжна Екатерина попробовала помазать духами волдыри на лбу и руках младшей княжны Анны, которая, не переставая, плакала, не знала, как и куда спрятаться от комаров. И была удивлена: этих жужжащих кровопийц не стало.

Но где было взять столько духов? Несколько капель оставалось на донышке маленького пузыречка.

— Осталось только понюхать,— сказала княжна Екатерина и бросила флакон в раскрытую шкатулку.

— Папенька, духи помогают, комары их боятся! — восторженно сказала малолетняя княжна, но не получила никакого ответа.

Алексей Григорьевич с приходом весны затосковал. Перелетные птицы: гуси, утки, лебеди, беспрестанно перекликающиеся над головой, тревожили его, не давали спать по ночам. Он, привыкший к охоте, не находил себе места, хотя понимал, что охота здесь отличается от охоты в средней полосе России. Но разве можно забыть охотничий азарт, приготовления и хлопоты, лошадей, гончих собак?! Разве птицы изменили свои повадки, рассуждал светлейший князь, ранним утром вышедший на берег Сосьвы. Он не без зависти глядел на проплывающие мимо лодки, на носу которых обязательно виднелись ушастые головы собак. «Надо что-то делать. Под лежачую колоду вода не течет. Кому теперь до меня есть дело? Ведь коли я тут, то и братьям моим не легче,— он вспомнил их всех: Сергей, Иван, Александр Григорьевичи, Василий Лукич и его брат Александр, светлейший князь Василий Владимирович, князья Степановичи — все Долгоруковы. Неужто у каждого такая же горькая судьба?» — И вдруг он повалился на землю, потеряв сознание.

Княжичи возвращались из церкви в острог. Молодые и пригожие, они нравились жителям Березова. Особенно румяным девушкам, пригласившим их на гулянье.

— А ты что, так и будешь за нами пастухом ходить? — спросил караульного княжич Александр.

— Рад бы не ходить, да велено. Мне и жалованье за это платят,— ответил караульный, закрывая за ними

ворота. Княжич Николай удивился, увидев на берегу батюшкин кафтан зеленого бархата.

От удара, случившегося на берегу, Алексей Григорьевич долго не мог оправиться. Наконец-то прибывший из Тобольска священник Серафим, ставший их духовником, каждый день бывал у него, исповедовал, утешал: у всех людей есть заступник — Господь Бог, и только вера в него приносит облегчение.

С приходом весны к Долгоруковым все чаще стал похаживать плотник Семен Баженов, выстроивший вместе с Александром Даниловичем храм и избу. Он долго присматривался к новым обитателям острога и понял, что эти господа и в подметки не годятся неугомонному Александру Даниловичу, но по своей доброте не смел осуждать людей. Чего с них взять? Господа они от рождения. Больно смотреть на их беспомощность, а по-другому они жить не могут и не умеют. Вот кабы их сейчас к ремеслу приучать: одному топор в руки, другого к рыбалке, третьего охотничьему делу учить, а так одна дорога — в кабак. Она самая легкая, рассуждал плотник, выходя из меншиковского дома, куда позвал его, постучав в окно, сам Алексей Григорьевич. Больше всего светлейший князь расспрашивал его про весеннюю охоту на водоплавающую птицу. Сам-то Семен не знал особой прелести в этом занятии, а по рассказам мужиков мог ответить князю на многие вопросы. Но не упустил случая сказать и про нынешнюю охоту, потому что приехавший с охоты сосед Прохор Зыбин захворал. Сказывают, от гомона птиц у него стало кружить голову, и он вовсе оглох. Алексей Григорьевич, представив, по-видимому, уплывающего от птиц охотника, засмеялся.

— У меня лодки есть. Могу куда недалеко с княжичами сплавать. Мне все берега знакомы.— Сказал и опомнился: они ж все под караулом! — Поутру, на зорянку, можно,— подмигнул Семен.— Александр-то Данилович много разов со мной плавал к Евлампию, и ничего!

У Алексея Григорьевича так и вертелось на языке: ему чего, этакому ухарю! Он, кабы захотел, и Неву перебрел, но ничего не сказал, передумал, зная, что одно слово потянет другое и, чего доброго, на худое выведет. По всему было видно, добрую память оставил Меншиков в душе этого человека.

— Как же устроить? Вот бы княжичи обрадовались! Может, караульного с собой взять? Кто тогда острог охранять станет? — спросил Алексей Григорьевич, спуская с постели ноги, и вдруг уставился на Семена. Еще утром ему помогали спуститься с кровати, а вот сам! По всей видимости, хорошее настроение, воспоминание об охоте и желание доставить радость сыновьям отвлекли его от грустных дум и от болезни, и вот на-ка! Хотелось заплакать от радости, но он поборол в себе эту слабость.

— Князь-то Иван пусть будет дома, а мы потихоньку, потихоньку, по подберегу и уплывем с ними. Пусть порадуются,— весело говорил Семен, и было в его словах так много бескорыстной щедрости, что светлейший князь не находил слов благодарности за участие. Но сказать об этом не смел.

— А далеко? — только и осмелился спросить.

— На глазок верст десять — двенадцать. Одним словом, сразу после двух песков начинается крутояр. Вот там и стоят два чума Евлампия. Дале-то не поплывем. Обратная дорога работы потребует, а княжичи, поди, и весла в руках не держали.

— Твоя правда, не держали. На лодках-то плавали, сколь душе было угодно, так возле них были слуги да гребцы.

От радости княжичам плохо спалось. Да и как в это время отличить день от ночи, если эти ночи белые.

Семен приплавил к острогу две лодки, бросил в нос котомку с едой. Не успели княжичи резьбу на веслах осмотреть, как увидели на противоположном берегу Сосьвы сохатого. Он огляделся, подняв большую рогатую голову.

— Лосиха,— зашептал кто-то из братьев, когда прокатилось мычание зверя. Все затаились. Из чащобы выбежал лосенок, ткнулся крутым лбом в материнский бок и, согнув передние ноги, стал сосать молоко.

— Не боится,— сказал Семен, хлопнул веслом по воде. Вспугнул лосиху. Она как-то смешно подпрыгнула, приподняв передние ноги и оттолкнувшись задними, и побежала вдоль берега.— Кто ее в эту пору убивать станет? Кабы в зиму, так можно было завалить на мясо, а теперь только потехи ради? Так такого «охотника» судить станут. А эта еще с лосенком.

Прежде чем разместиться по лодкам, Семен сказал княжичам:

— Остановимся на присаде, куда на лето ставит чум Евлампий. Он сам-то русский, только женился на вогулке, да и живет-поживает там уж много годов.

Две лодки поплыли вдоль берега, не выплывая на середину, вниз по реке. В одной сидели караульный с княжичем Николаем, на другой — Семен с младшими княжичами.

Чувствовалась предутренняя свежесть дремавшей земли. Ветер шевелил прибрежные кусты, сбросив с веток дрему, пробежал по волнам, сморщил их в мелкую рябь. Скоро каждый почувствовал речную прохладу. Семен потянулся за полушубком.

Низко над рекой пролетела, просвистев крыльями, пара чирков. На горизонте заполыхала зорянка. Речные волны легко несли лодки. Семен взмахивал веслами только для того, чтобы выправлять ход.

Чуткие лайки давно расслышали всплески весел и с лаем выскочили на песчаный плес, обнюхивая воздух.

— Сейчас Евлампий покажется,— сказал Семен и добавил: — У него девок полон чум, а сыновей нету. Но они и парням не уступят: на рыбалку ездят, на охоту ходят, оленей пасут.

Ждать пришлось недолго: мужик в длиннополой рубахе, с окладистой бородой и длинными волосами вышагивал по песчаной косе, а на самой кромке крутого берега выстроились, будто напоказ, его дочери. Разноцветные платья и цветастые платки раздувал ветер. Увидев прибывших мужчин, они не сделали и шага навстречу. Зато Евлампий открыто радовался.

— Охотники-то все мимо плывут! — обтерев руки о холщовые шаровары, поздоровался он с княжичами.— Кому дело до моего бедного жилья?

— Не прибедняйся,— засмеялся Семен.— Столько невест! — кивнул он в сторону крутояра. Сказал Семен это шутя, вовсе не подумав, как его слова отзовутся в сердцах княжичей. Диковинными, сказочными феями показались им дочери Евлампия. Больше всего удивила их красочная, невиданная до этого одежда. Сшитые по одному крою, платья их казались неповторимыми. Замысловатый орнамент из разноцветных полосок по подолу, как думалось княжичам, не шел ни в какое сравнение с блеском одежд царских фрейлин.

На берег они шли, завороженные увиденным, хотя

лица девушек были прикрыты платками. Княжич Николай спросил об этом отца девушек:

— От сглаза не открывают лица?

— Нет. Это по материнской вере. По вогульской вере. Кабы вы были пожилыми или родичами, не закрывали бы они платками лица. Я уж не лезу в их дела. Научил только разговаривать по-русски, а остальное — все мать делает. Да вы проходите, проходите, гости дорогие,— суетился Евлампий, то и дело прикрикивая на собак, обнюхивающих приехавших.

Заметив интерес княжичей к дочерям, Евлампий все же не придал этому значения. Сестры были погодками, мало отличались одна от другой.

— Семеро тут на берегу, да еще одна в чуме,— смеялся Евлампий, чувствуя, как дочери отодвигаются от крутояра, и стоит княжичам сделать еще несколько шагов, как они убегут с берега. Так и случилось.

Евлампий с охотой говорил Семену, что из зимней избушки переехали только две недели назад, что оленей пустили пастись на болото до самой осени. И чум один новый поставили с девками, помощницы уже стали, рассказывал он.

— А где они? — спросил Николай.— Куда делись?

Евлампий засмеялся.

— В чум заходите,— звал он к островерхому берестяному жилищу.— Уха свежая варится. Только-только сети проверил. Славный улов.

Семен нес котомку с едой, а вернее — с березовскими гостинцами.

— Где дочери ваши? — настойчиво повторил Николай.

— Да тут где-то,— спокойно ответил Евлампий, будто речь шла о бегающих по берегу собаках, не обращая внимания на любопытство красивого княжича. О новых поселенцах острога он вызнал давным-давно, теперь пришел черед разглядеть младших княжичей. Что они пригожи лицом — хватило одного пристального взгляда.

Откинув сшитую из больших березовых кусков коры дверь, княжичи стали заходить в чум — своеобразный конусообразный шатер, остовом его были аккуратные жерди, искусно переплетенные вверху так, чтобы было видно небо. На этих жердях лежали те же березовые листы, крепко обвязанные сыромятными веревками.

В углу горел чувал — очаг, бросая на пол яркие блики. На больших плахах вдоль стен были постланы оленьи шкуры.

Вбежала бойкая женщина. Это была жена Евлампия. Лицо ее было открыто, красивый платок прикрывал волосы.

Женщина поставила посреди чума низенький стол. Легкий звон наполнил чум: прогремели украшения, вплетенные в длинные косы вогулки.

И тут — как видение! Хорошо приглядевшись, княжичи увидели смирно сидящую на оленьих шкурах девушку с открытым лицом. Длинные косы, большие черные глаза под узкими бровями, чуть вздернутый носик — придавали ее белокожему лицу очарование.

— Ей можно,— перехватив взгляд Николая, спокойно сказал Евлампий и уже тише добавил: — Она слепая. Дусей звать.

По-видимому, девушка догадалась, что говорят о ней, поправила на коленях широкий подол расшитого платья и, немного погодя, поднялась со шкуры, вышла из чума.

— Слепая она от роду,— вздохнул Евлампий. Он не стал бы говорить этого, если бы князь Николай, как околдованный, не вышел за девушкой следом. Она пошла к крутояру. Невесть откуда появившиеся сестры побежали за ней, о чем-то разговаривая. На их лицах не было опасения за сестру, которая вдруг залилась веселым смехом. Что-то колдовское, завораживающее было во всем, что увидел Николай, а особенно этот звонкий смех.

С реки дул холодный ветер, свистел в ветвях берез, раскачивал их.

— Простудишься! — закричал вдруг княжич, будто всю жизнь знал ее. Вогулочка замерла. Ей показалось, что голос этот опустился откуда-то сверху.

— Простудишься,— юноша снял с плеч бархатный кафтан и накинул его на плечи девушки.— Бог мой, как же ты хороша,— кто бы мог подумать, что княжич скажет принародно такие слова простой инородке. Да ко всему — слепой.

Княжичи хихикнули, но возглас Семена остановил их.

— Что это? Ладно ли? — всплеснул он руками и в недоумении глядел на растерявшегося Евлампия, на караульного, на всех кругом.

— Что же мне делать? — взяв Дусю за руку и поднося к губам горячую ладонь девушки, спрашивал княжич Николай.

Дуся стояла, словно завороженная, плохо понимая, что творится.

— Боже милостивый! Ладно ли с ним? — уже закричал плотник, обращаясь к Евлампию.— Или он бывал у вас? Давно знает ее? Не может же такого быть — увидел и прильнул. У меня еще брюхо от ухи не остыло.

Евлампий был ошарашен поведением дочери, ни одним жестом не воспротивившейся держащему ее за руку княжичу.

— Дуся,— шептал он, подходя к дочери. В стороне, как побитая собачонка, тихо повизгивала вогулка мать, пряча от всех глаза и не зная, что говорить и как быть дальше.

Девушка вдруг вздрогнула, словно проснулась.

— Я была там! — подняла она голову, указывая на небо.— Я говорила с хозяйкой нашего рода — священной птицей гагарой.

— Нет, Дуся. Это я с тобой разговаривал, князь Долгоруков. Это я стою возле тебя. Любовь твоя и моя встретились перед Богом.

Дуся весело засмеялась.

— Наша гагара жила с нами, пока не пришли из-за гор чужие люди. Они пришли к нам с огнем, и она улетела к Торуму, но каждую ночь спускается на землю, чтобы знать, как мы живем. Никто никогда не видел, как она, сияя огненным светом, падает на землю и как в блеске солнца, в его ярких лучах она поднимается ввысь. Говорят, что только шаманы могут видеть ее в ночи, слышать шум ее крыльев, тихие крики, похожие на песни. Я видела нашу гагару, потому и не видят твоего лица мои глаза. Но она вернет мне мой свет.

— Радость моя! — говорил Николай, не обращая внимания на удивленные возгласы.

— Зачем так шутить над бедной девушкой? — лепетал Евлампий, не зная, что делать.

— Чего рот-то разинул! — закричал караульному Семен.— До беды недалеко. Видно, и надо было держать вас в остроге. Думал ведь, как лучше. Вот наказание-то! Прильнул к бедной девушке.

— Отец! Угощай богов. Князь пойдет в наш чум. Так велела наша священная птица гагара.

...Осенью на широкую поляну, куда собиралась молодежь Березова, пришел княжич Николай, держа за руку слепую вогулку. Все переглянулись, зашушукались, но праздник продолжили веселой песней:

Как я Дусю целовал, миловал,
К своей печке я кухарочку нанял,
Да и сам я по водицу ходил,
Свою Дусечку я за руку водил...

Все знали, что вчера у них было венчание в церкви.

Глава пятьдесят третья



Много воды утекло в Сосьве-реке за те восемь лет, что прожило семейство Долгоруковых в Березове. Много бурь и метелей прошумело, много дождей и снегов упало на землю. Почти все здесь стало для них привычным и обыденным. И по-прежнему стоял возле острога караул.

После женитьбы Николая на слепой вогулке Дусе преставился светлейший князь Алексей Григорьевич. Похоронен он был рядом с женой и «злейшим» своим врагом — Александром Даниловичем Меншиковым. У князя Ивана с Натальей Борисовной родился еще один сын, который наречен был Дмитрием. Княжны коротали жизнь в крохотных горенках меншиковской избы, княжичи — по соседству, в остроге.

Никто уже из жителей Березова не бегал за ними по пятам с желанием посмотреть на царскую невесту, на красивые их одежды.

Воеводша Милитина Федоровна уже без оглядки заходила проведать княжон и сидела у них часами, обсуждая новости, о которых узнавала из первых рук, с удовольствием щелкала кедровые орехи, чаевничала со сдобными шаньгами или черемушными пирогами, которые пекла дворовая кухарка Матрена.

Уж до чего же хотелось воеводше поговорить с княжной Екатериной про сердечные дела, но та, в отличие от Марии Александровны Меншиковой, не допускала ее к своему сердцу. А что говорить с Еленой или Анной? «Какой с них спрос? — думала воеводша.— Эти выросли на глазах, а царской невесте есть что вспомнить, хоть и молода была». Но княжна не любила вспоминать. На глазах ее сразу появлялись слезы.

Возле них всегда был первенец Долгоруковых — Миша, а его крестной матерью была Милитина Федоровна. Это она при крещении в церкви приняла младенца на руки. Милитина Федоровна искренне любила малыша, баловала его разными игрушками, сладостями и часто просила Наталью Борисовну отпустить его к ней, крестной, ночевать. Привык к нему и воевода Аркадий Иванович, а когда Наталья Борисовна разродилась вторым сыном, даже намекнул, правда, очень осторожно, не отдадут ли Долгоруковы на воспитание им Мишу. Но сколько ни крутилась Милитина Федоровна возле Натальи Борисовны, не решилась спросить об этом, чувствовала безмерную ее любовь к сыну.

Больше всех в Березове знали князя Ивана. Высокий, статный, с прекрасными манерами, он имел притягательную силу. Возле него всегда было полно любопытных, ожидавших его «возвышенного» настроения, которое являлось к нему после нескольких чарок «березовской романеи» — так обозвал он сладкую морошковую настойку, сваренную на ячменной браге. Тогда он ходил в обнимку с любым выпивохой, мог упасть на нарты к какому-нибудь инородцу и кататься с ним на оленьих упряжках. Тогда являлся караульный и отводил его в острог, иногда привозили на подводе. И какое-то время даже в церковь водили под караулом двух капралов. Он все это принимал как должное, ни на кого не держал обиды. Ежедневно парился в бане, по избе и в ограде ходил в сохранившемся придворном мундире. Надо сказать, что после смерти светлейшего князя и женитьбы Николая они перебрались из тесного острога в меншиковскую избу. Он часто подолгу молчал и был доволен, когда воеводша приносила им газету, приходившую в одном экземпляре. То были «Санкт-Петербургские ведомости», которые издавались в России по указу Петра Великого. Из них он узнал, что императрица Анна Ивановна со всем двором переехала в Петербург.

Из этой же газеты он узнал о судьбе многих известных людей. Но с особым трепетом прочел о судьбе своих дядьев: «...бывший фельдмаршал князь Василий Долгоруков, который... презря нашу к себе многую милость, и свою присяжную должность, дерзнул не токмо наши государству полезные учреждения непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять, в чем по следствию дела изобличен, да бывший гвардии капитан князь Юрья Долгорукой... приговорены... к смертной казни, однакож Мы... той смертной казни всемилостивейше их освободили, а указали отобрать у них чины, и движимое и недвижимое имение, послать в ссылку под караулом. А именно: князя Василия Долгорукова в Шлюшельбург, а протчих в вечную работу, князя Юрья Долгорукова в Кузнецк, Барятинского в Отхотцкой острог, а Столетова на Нерчинские заводы...»

Тогда еще жив был князь Алексей Григорьевич, и, боясь рассказать ему об указе императрицы, князь Иван тут же отдал газету Милитине Федоровне и предался запою. «Тот, кто привел ее на престол! Тот, кто, вопреки всему московскому дворянству, хотел дать послабление, был предан и оклеветан больше других»,— оплакивал он судьбу своих родных. И князь Иван решил больше не читать «Санкт-Петербургских ведомостей». Ему даже стало казаться, что он боится этого листка.

Но прошло время. Однообразная жизнь и тоска делали свое дело. Вновь появилось желание знать о жизни в Москве и Петербурге, царского двора, перестановках в армии и флоте. И однажды прочел: указ императрицы предписывал Второй Камчатской экспедиции обследовать побережье от Архангельска до Камчатки. Все это многотысячное расстояние разделялось на четыре участка. Руководителем Обско-Енисейского участка был назначен лейтенант флота Дмитрий Овцын. «Значит, будут плыть по Оби,— подумалось, и даже мелькнула мысль: — Дерзнуть бы с экспедицией!» — Но он знал, что его желанию никогда не суждено сбыться.

Кто мог знать, что он, Дмитрий Овцын, по счастливой случайности, 30 ноября 1729 года, в день обручения княжны Екатерины Долгоруковой с императором Петром Вторым, окажется среди зевак? Незабываемая картина.

Когда обер-камергер двора открыл дверцу кареты, подавая невесте руку, он оцепенел от блеска, роскоши и красоты. Он старался разглядеть лицо невесты, но все было напрасно. Царский фаворит, а им был князь Иван, взяв ее под руку, повел ее по большой лестнице во дворец, где их встречала царица Евдокия Федоровна Лопухина.

Прежде чем войти во дворец, княжна Екатерина остановилась, с улыбкой повернулась к толпе, словно кого-то искала. Молодому мичману Овцыну показалось тогда, что ее взгляд встретился с его влюбленным взглядом. Часто застучало сердце. Он закрыл глаза, чтобы сохранить это видение, а когда открыл — широкая дворцовая лестница была пуста. Палили пушки, гремела музыка, барабанный бой повис над площадью.

В сумрачном осеннем небе полыхали иллюминация и фейерверки. Молодой мичман мерил шагами булыжную мостовую. С неба сыпалась снежная крупа, дул пронзительный ветер, а он все ждал выхода из дворца царской невесты.

Была уже ночь, когда на лестнице появилась большая свита. Он бросился к ступенькам, но был остановлен стражей. И все-таки успел разглядеть ее лицо. Один Бог знает, сколько дум передумал юноша, прекрасно понимая, что лик ее можно будет увидеть только на орденских лентах. Но пьянящая мысль о ней еще долго дурманила голову. Он вернулся в Петербург, успешно учился в Морской академии штурманскому искусству. Первым учителем его был капитан-лейтенант Алексей Чириков. Участник Первой Камчатской экспедиции, он прививал им, молодым офицерам, любовь к морским плаваниям, но прежде всего готовил их к обустройству быта матросов, строительству казарм и судов для плавания по коварным, порожистым сибирским рекам.

Смерть молодого императора была воспринята молодым офицером как личное горе.

Многим показалось неожиданным желание лейтенанта Овцына отправиться в дальнее плавание, куда уже плавали русские корабли. Он ушел в дальний поход, к берегам Испании и Италии, чтобы навсегда переболеть несбыточной мечтой — увидеть княжну Екатерину.

Вернувшись в Петербург, ни у кого ничего не спрашивал о царских делах. До этого ли было простым смертным?

Скоро лейтенант Дмитрий Овцын отправился на Балтику. Он долго не выходил на берег родного порта, заводил свое судно в гавани и бухты чужих государств. Мало-помалу он успокоился. Казалось, что все происшедшее было сном. Узнав, что все семейство Долгоруковых сослано в Сибирь, не проявил никакого интереса. Лишь спустя несколько дней, будучи в Адмиралтействе, как-то мимоходом спросил о царской невесте.

— Тоже в Сибири,— услышал равнодушный ответ.

У Дмитрия застучало сердце. Было в этом холодном ответе так много цинизма, откровенного пренебрежения к недавно властвующей фамилии. Лейтенант попытался заглушить сострадание. «Княжна — везде княжна, сколько бы ни пытались ее унизить. В памяти людей она все равно останется царской невестой,— думалось ему.— Завистливые люди, завистливый мир!» Он искренне сожалел, что у него нет ни власти, ни возможности помочь опальному семейству.

Назначение руководителем Обско-Енисейской экспедиции не вызвало у него особого восторга. «Но... это же Сибирь,— мелькнула вдруг мысль.— Где-то там, где-то там в ссылке семейство Долгоруковых!» И он сразу же приступил к делу.

— Не торопись,— остановил его лейтенант Прончищев.— Нынче в Обскую губу все равно не попасть. Отправь по последнему зимнему пути главный обоз до Твери. После, как Волга очистится ото льда, перегрузите имущество на баржи и поплывете вниз до Казани. Там до середины лета успеете запастись материалами для строительства кораблей и провиантом.

— А если поторопиться — успеем сейчас в Тобольск? — спросил Дмитрий.

— Экий ты хват,— засмеялся Прончищев.— Слышал, офицеры между собой поговаривают: Академия нам, дескать, не указ, чтобы мы торопились на край света.— Вздохнув, добавил: — Добро бы на свадьбу, а то в Сибирь.

— Со мной добровольцы поплывут.

— Смотри, не оконфузился бы! — сказал Прончищев, не со слов знающий о реках Сибири.

Знал бы он, что торопило в Сибирь лейтенанта Овцына!

Сибирская столица участников экспедиции приняла с почестями, ведь указ Сената о Второй Камчатской

экспедиции был подписан самой императрицей. Анна Ивановна, вникнув в кое-какие дела, надеялась, что открытие Северного морского пути прославит ее имя.

В Тобольске все волнует нового человека: всплеск могучих иртышских волн, кольчуга Ермака, дороги, на которых сошлись торговые пути Запада и издавна проторенные еще в Искер пути Востока. С яра на Троицком мысу можно стоять часами: завораживали великая сибирская река, темная стена лесов, крутые холмы и золоченые купола церквей. Но более всего потряс Дмитрия ссыльный колокол. Может, и не обратил бы он внимания на слово «ссыльный», не будь в Березове опального семейства Долгоруковых.

Угличский колокол с отсеченным «языком», чтоб неповадно было ему трезвонить крамольные «речи», так порешил тогда хитроумный царь Борис Годунов, был доставлен сюда в знойное лето 1593 года, на заре тобольской истории. И распорядился тогда воевода Лобанов-Ростовский укрепить его на церкви Всемилостивейшего Спаса. Все в Сибири благоговели перед его глухим, будто плачущим звоном, считали его первым мучеником и страдальцем, который проторил в Сибирь путь всем ссыльным, всем опальным, всем колодникам.

И не было дня, чтобы Овцын не вспоминал о ссыльном семействе Долгоруковых. Причиной тому были частые разговоры торговых людей, купцов и простых мирян, не раз бывавших в дальней северной стороне.

Работа по строительству большой дубель-шлюпки спорилась. Генерал-губернатор не раз приглашал к себе Дмитрия Леонтьевича, с любопытством слушал о предстоящем плавании в Тазовскую губу, о которой знал только понаслышке, хотя территория эта была в подчинении Тобольской губернии.

— Следует сделать съемку восточного берега Обской губы, дойти до самого побережья, а там двигаться на восток. Выйти по Оби в Енисей,— раскладывая на столе генерал-губернатора карту, показывал лейтенант.

— Не успеть, милок,— расправляя пушистые усы, говорил генерал-губернатор.— Тазовская-то губа, сказывают, в августе уже вся льдами забита, а вам еще Обскую губу — целый море-океан проплыть надо. Нет, лучше перезимовать в Обдорске. Но не оставайтесь

у самоедов. Кто говорит — и они люди, но в Обдорске наши казаки живут, бани есть, хлеб пекут...

Во второй половине мая на Иртыше тронулся лед. У отряда все было готово к отплытию: большая дубель-шлюпка «Тобол», четыре дошаника с запасами провианта были освящены и спущены на воду.

С берега донеслись пушечные выстрелы. Сам генерал-губернатор со своими приближенными прибыл на берег в роскошной карете.

Дул пронзительный ветер, моросил дождь, с криком летали над волнами речные чайки. Берег усыпали тобольские мальчишки, глазея на новые суда и на матросов, обутых в высокие сапоги с широкими раструбами, на матросские парусники, на шапки-треухи особого покроя.

Генерал-губернатор пожелал всем членам экспедиции удачного плавания и попутного ветра.

Зазвонили колокола церквей. Могучие волны Иртыша приняли на свои плечи судна и понесли их вниз, в студеную сторону.

Глава пятьдесят четвертая

За неделю «Тобол» спустился вниз по Иртышу. Обь встретила их штормом. Крутые волны, словно проверяя дубель-шлюпку на прочность, бросали ее на волнах, то прибивая к берегу, то отбрасывая на середину. Пришлось сменить лоцманов.

Бескрайни и пустынны берега реки. Прибрежный тальник к этой поре еще не раскинул лист, по берегам глубоких безымянных речушек еще лежал снег. И только стаи перелетных птиц в безоблачной выси, выстроившись в цепочку, а иногда клином, посылали на землю тревожные клики. Было что-то трогательное в их тысячеверстных перелетах.

Мысли молодого лейтенанта были заняты княжной Екатериной. Он пытался отогнать их, но чем свирепее

бушевали ветра, бились о борт крутые волны, тем тревожнее было у него на душе. Он представлял, как по этой реке плыло опальное семейство, какого страха должны были они натерпеться, сколько неведомого и непредвиденного ожидало их впереди. Хватило ли у них сил? «О ком мечтаю? — усмехнулся, он, уже отболевший безответной любовью.— Да и что я могу ей сказать? Что обещать?» — трезво подумал он и удивился сам себе. Появилась даже мысль: не проплыть ли мимо устья Сосьвы-реки.

Густой белоствольный березняк выстроился для встречи судна, вошедшего в Сосьву. Спрятанный от холодных обских ветров, он уже покрылся здесь зеленоватой дымкой листвы.

Многие вышли на палубу, где ярко и тепло грело солнце.

— Вот и Березов,— в задумчивости сказал подошедший подштурман Стерлигов.— Далеко спрятан, сразу и не отыщешь. Знать надо.

— Кому надо — находят. И в царских дворцах про них часто вспоминают: Березов, Нерчинск, Пелым — одинаково с языков не сходят, как Соловки или Шлиссельбург.

Подштурман не предполагал о сердечных делах лейтенанта, но что сюда сослано все семейство светлейшего князя Алексея Григорьевича Долгорукова, узнал, и, надо сказать, совсем недавно.

— Воевода-то должен знать о нашем прибытии: губернатор и в Березов, и в Обдорск депеши писал с просьбой содействовать нам в плавании,— добавил Дмитрий Леонтьевич, услышав с берега чей-то пронзительный свист. На обрыве показалось несколько мальчиков с берестяными набирками через плечо. По-видимому, они собирали березовый сок. Через какое-то мгновение их словно ветром сдуло с берега.

— В село побежали,— улыбаясь, сказал Стерлигов, очевидно вспомнив своих сыновей, которые приходили провожать его.

Когда за поворотом на берегу показались люди, взгляд Дмитрия ни на ком не мог остановиться. Цветастые платки, серые шали, картузы, шапки, сарафаны, юбки раскрасили зеленый берег. А люди все прибывали. Лайки, проспавшие приплытие судна с подветренной стороны, бежали наперегонки, изредка взлаивая. Маль-

чишки в длиннополых зипунах, в шубейках с чужого плеча, в старых стоптанных бахилах или броднях весело махали руками; засунув в рот пальцы, свистели, приветствуя дубель-шлюпку, которая отличалась от всех судов, прибывавших в Березов. В окружении многочисленных обывателей на помосте, шага на два впереди, стоял, облаченный в парадный мундир, воевода Бобровский и капитан казачьего гарнизона Петров.

Судно медленно причаливало. Обыватели на какое-то время умолкли, пораженные особым обмундированием прибывших. Дивились и на шлюпку, разглядывали бушприт — переднюю мачту, лежащую наклонно вперед за водорезом для треугольного паруса. Березовчане видели немало купеческих судов-парусников и множество других речных посудин, но такую шлюпку — впервые.

Дмитрий с волнением осматривал берег в надежде увидеть кого-нибудь из опального семейства. Он даже приподнялся на цыпочки, твердя про себя: не может быть! не может быть! При этом он имел в виду, что не могло же за эти годы случиться так, что их невозможно будет отличить от других. Пролетели мимо ушей приветственные слова воеводы и капитана Петрова.

Дмитрия Леонтьевича в карету пригласил сам Аркадий Иванович. Эта единственная в Березове карета привезена была лет тридцать назад воеводой Евлампием Митрофановичем Мингалевым, который у здешних жителей не оставил о себе никаких добрых воспоминаний. А был он беспробудный пьяница. Карету же привез из Тобольска на свою погибель. Гоняя по покосам на лихой тройке, опрокинул карету, вылетел из нее и ударился головой о березовый пень. Тут и смерть свою нашел. А карета, излаженная тобольскими мастерами, имела ценность, но ездить на ней никто не хотел.

Рассказав о намерениях экспедиции и о том, что императрицей предписано обязательное содействие в ее проведении всем властям на обширной территории, лейтенант не упустил случая поблагодарить власти Березова.

В нынешнем году предстояло описать побережье между устьями Оби и Енисея, к северу от Гыданского полуострова и у входа в Енисейский залив через проливы между островами, которые еще совсем не изучены.

— Погоди, мил человек,— остановил Овцына, сконфуженно покашливая, здоровенный белобрысый мужик в казацкой форме.— Несбыточно говоришь. Про то давно говорится, а толку никакого. Кака ноне Гыда? Обская губа ужо в августе льдами захлебывается. А Обская-то губа — кто ее мерил? Верст восемьсот будет.

— Ты-то отколь знаешь? — спросил кто-то.

— Помор я. С Печоры. Знамо, как от Печоры до Чукотки пробирались. А Печора посмирнее Оби. Гыда! Мудрено,— мужик удивленно пожимал плечами.

— Говори, говори, помор,— не скрывая любопытства, попросил Моисей Ушаков, да и все остальные офицеры переглянулись.

— Гыды ныне не увидите,— спокойно и категорично сказал помор.— Припоздали. Ноне времени хватит только фарватер проложить вдоль берега Обской губы.

— Откуда ты такой выискался? — строго спросил мужика капитан Петров.

— Коли не знал бы, молчал бы, как остальные,— не по уставу твердо ответил помор, и в голосе его чувствовалась решительность, какая бывает у людей, уверенных в своей правоте. — Да я из Архангельска на новом коче под командой самого Степана Войновича Муравьева прошел через Югорский Шар да пересекал Байдарацкую губу. На западе до Ямала доходили. Кабы не заболели, кабы нас не повалила цинга...

— Продолжай, любезный,— подбодрил его подштурман Стерлигов.

— Боле говорить нечего. Только доплыть до Гыды в мечтах не держите.

— В каком чине там был? — спросил капитан Петров.

— Матросом был, по кличке Песец,— ответил бойко. Все, кто был рядом, расхохотались. Для офицеров команды судна «Тобол» помор оказался чистой находкой. Каждое сказанное им слово было так убедительно обосновано, что не требовало никаких уточнений.

— Не уходи, мил человек. Назовись по имени-отчеству,— схватил за локоть казака Ушаков.— Как-то неловко без имени с тобой разговаривать.

— Семкой кличут, а фамилия Медведев.

— Услужи службу, поговори со мной. Преблагодарен буду услышать от тебя несколько советов.

— Барин,— протянул казак, сконфузившись.— Нешто я чо не знаю?

Когда же капитан гарнизона Петров подтвердил слова Семена Медведева, что им, казакам, нечем помочь экспедиции, подштурман Стерлигов решительно возразил.

— Нижайше просить будем отпустить Семена Медведева с нами в плавание.

Все обомлели. Ну, плавал где-то по Печоре, так сам же рассказывал, какие мытарства пережил, какими болезнями все маялись, зимовали среди снегов. И вот взял сразу и согласился, будто пряником поманили. Чудно, ей-Богу. Простору захотел.

А Семен и вправду был счастлив до слез. Боялся поверить, боялся, как бы высокие господа не передумали. Душа его, познавшая простор и волю, тлела в гарнизонной службе, и он не знал, как вырваться, и вдруг такой оборот. «Да я, коли на палубу взойду, упаду плашмя к ногам братии! — думал Семен.— А уж ежели придется фарватер строить, тут всем фору дам. Не пообидятся на Семена Медведева. Научен этому!»

Над Березовом в этот день стояло высокое солнце. Пожалуй, не было здесь человека, который не знал бы о прибытии экспедиции. На главной улице, по обочинам дороги, стояли жители, приветствующие гостей.

— Истинно русские люди,— не удержался Дмитрий Леонтьевич, заметив белобородого старика с хлебом-солью на подносе.

— Милости просим, милости просим! Припоздали мы. Не судите шибко. Неведомо было о вашем прибытии! — сказал смиренно.— Батюшка вас поджидает,— староста Сысоев посмотрел на воеводу. Тот остался доволен поступком старика.

— Форпост российский! — продолжил мысль Дмитрия Леонтьевича воевода.— Вскоре после победы Ермака был освоен и бассейн Иртыша. В 1593 году был построен острог. В основном-то здесь жили вогулы. Они не стали пускать пришлых людей. Тогда зимой 1594 года из Березова на Конду против них пошел письменный голова Иван Змеев.

— Зачем? — полюбопытствовал Стерлигов.

Аркадий Иванович понял, что неуместно рассказывать сейчас всю историю заселения края русскими. Махнув рукой, весело пригласил всех отобедать.

— Так-то лучше! — сказал и остался доволен собой.

Истомившаяся возле окна в ожидании Аркадия Ивановича Милитина Федоровна увидела бежавшего через

улицу скорохода. Вести были хорошие: будут гости. В деревянных корытцах застучали остро заточенные сечки, готовя фарш из жирной оленины.

Воеводша все же сумела выглядеть прибывших в город гостей. Она была в толпе на берегу и с удивлением отметила, что там не было никого из семейства Долгоруковых. «Княжичи-то могли прийти или младшие княжны,— рассуждала она, увидев бравого лейтенанта Овцына.— Ну как же они все похожи. Не брат ли он им? Откуда такая привлекательность? Сколько людей приезжает, бывают именитые купцы, а все едино — не та стать, да и только!»

Милитина Федоровна решила все-таки сходить к Долгоруковым, к тому же у нее было заделье: принести Наталье Борисовне привезенные из Кондинского монастыря парафиновые свечи. Сложила их в плетеную корзинку, прикрыв сверху отбеленной холстиной, и пошла. Именно в это время из проулка вышла чета Долгоруковых: Наталья Борисовна и князь Иван, который в последние годы ходил с женой по поселку без караула. Их заметил лейтенант Овцын. Лицо его побелело. Он приостановил шаг — чуть поодаль стоял тот, кто вводил царскую невесту по лестнице Лефортовского дворца. Не было никакого сомнения — это был царский фаворит князь Иван Долгоруков! Так долго рисовал себе эту встречу лейтенант, и такой обыденной и простой оказалась она на самом деле.

— Вы знакомы? — заметил волнение Дмитрия Леонтьевича капитан Петров.

— Не знаю,— искренне признался лейтенант.

— Это царский фаворит, князь Иван Долгоруков со своей женой графиней Шереметевой,— пояснил капитан.

— Да, — ответил Дмитрий, уловив на себе пристальный взгляд князя.— Да. Видел я этих высоких особ.— И Овцын тут же подумал о княжне Екатерине, о которой все время болело сердце, но которая в лучшем случае может вот так же поклониться ему, и не больше.

Чета Долгоруковых шла в церковь. Колокол сзывал всех в храм.

— Видеть — не значит знать,— не без горести ответил Дмитрий Леонтьевич, то и дело оглядывая улицу.

— Остальные-то из семейства Долгоруковых редко ходят в этот храм, все больше в меншиковскую церковь. Она на берегу реки, ближе к острогу. Если будет

желание, сходим. А вон и еще один из них — князь Николай. Скажу по секрету: он обвенчался со слепой инородкой Дусей.

— Как? Женился здесь, на слепой инородке? — переспросил лейтенант.— Неужто это дозволено?

— Дозволено не дозволено,— вздохнул Захар Демидович.— Никому больно-то не докладывали. Все живем и ждем: думали, кто-нибудь донос на нас пошлет, а вот уж два года прошло: молчат. Князь Николай чуть было руки на себя не наложил. Из петли вытащили. Постановил: или разрешим на Дусе жениться, или все равно никому не укараулить его. Без Дуси ему свет не мил.

Дмитрий был поражен услышанным: словно яркая молния сверкнула. «Неужто такое возможно?» — так и вертелось на языке.

— А что, лейтенант? В моих возможностях такого высокого гостя познакомить с другими членами семейства.— Тут он сделал остановку, добавил:— У нас здесь царская невеста Екатерина Алексеевна. Своенравная. Знает себе цену. Всех держит на расстоянии. Да и две другие княжны повзрослели. Невесты!

Капитан словно читал его мысли. Он понимал, что княжна Екатерина, скорее всего, не узнает его, а если и вступит в разговор, то из деликатности, из желания пообщаться с человеком, занятым необычным делом. «Откуда ей знать о его любви? Сколько было таких воздыхателей!»

— С удовольствием воспользуюсь этой возможностью. Не каждому суждено увидеть сразу столько знаменитых людей,— был ответ лейтенанта. Он старался не проявлять лишнего любопытства, хотя в вопросах о здоровье царской невесты или о том, чем она занята, не было ничего подозрительного.

Церковь была полна народу. Милитина Федоровна, давно выбравшая себе место возле Натальи Борисовны, сегодня не сводила взгляда с двери, ожидая Аркадия Ивановича, и даже охнула, увидев воеводу в окружении капитана Петрова и прибывших офицеров. А в лейтенанте Овцыне она снова увидела точную копию, как ей показалось, князя Федора. Заметив, что громким вздохом привлекла к себе внимание, потупила глаза.

Служба шла исправно. Усердно молились матросы.

От взгляда воеводши не ускользнул порыв князя Ивана подойти к Овцыну, но Наталья Борисовна придержала его за рукав, шепнула что-то на ухо.

— Да я только одно слово спрошу,— услышала Милитина Федоровна.

— Успеется. Захар Демидович не упустит случая пожаловать с ними к нам. Разве ты не заметил: всем приезжим показывает наше семейство. И этим покажет. Особенно Катерину — царскую невесту. А чем еще он может козырнуть перед другими, как не тем, что именитые люди в государственной опале. А он над ними голова.

— Будет, Наташа,— остановил ее князь Иван.— Мало он нам послаблений сделал? Пусть глядят, если охота.

Наталья Борисовна не возразила.

Подходя к дому, она увидела на крыльце радостно оживленную княжну Екатерину.

— Поглядите, какая красота. Черемуха как нынче цветет: белым-бело. Будто вишня в нашем саду, там, дома, в Горенках.

— Да вроде каждый год так буйно цветет,— ответил князь.

— Не скажи, братец, — в голосе Екатерины звучали какие-то новые, светлые нотки, так не свойственные ей последнее время. — Что там, в нашем Березове, нового? — с улыбкой спросила она.

— Катерина, что с тобой? — удивился князь Иван.

— А сама не знаю. Черемуха виновата. Княжичи вон на лодке катаются, на покосном лугу колокольчиков нарвали. Елена венков наплела, вот я и повеселела. О Горенках вспомнила. Хорошо о них вспомнила, весело. А то, бывало, как вспомню, так и плачу.

— А в Березове тоже есть новость,— заметил князь Иван.— Экспедиция по Оби отправлена императрицей, так остановку здесь сделали.

— Экспедиция? — переспросила Екатерина.

— Добротно снаряжена: судно дубель-шлюпка, четыре баржи. Команда из молодых офицеров.

Княжна села на ступеньку крыльца.

— Любопытно.

Бежала с охапкой цветов подросшая, ясноглазая княжна Анна. Будь все по-прежнему, давно бы за кого-нибудь просватана была.

— Что же ты, ивушка,
Не лазорево цветешь?
Или тебя, ивушка,

Солнышко печет,
Частым дождичком сечет? —

напевала она, заходя в калитку.

— Поем тут, а по Березову добры молодцы расхаживают,— сказала Екатерина младшей сестре. Сказала и вдруг вспыхнула, будто чего-то испугалась. Вошла в избу, плотно закрыла за собой дверь. Села за вышивание, вновь попыталась выйти из избы, но остановилась, не находя объяснения своему беспокойству. «Экспедиция? Что я знаю о них? — успокаивала себя Екатерина.— Неужто сама Анна Ивановна додумалась? — Ворох всевозможных мыслей роился в голове княжны,— князь сказал: молодые офицеры.— Не от этого ли у меня закружилась голова?» — призналась себе Екатерина, и от слез у нее затуманились глаза.

Глава пятьдесят пятая

Ночью Екатерина не могла заснуть, ворочалась на мягкой постели, прислушиваясь к тишине. Слышала, как во сне заплакал маленький племянник Дмитрий и как, ступая босыми ногами по скрипучим половицам, подбежала к его постели Наталья Борисовна. Малыш успокоился. Во сне что-то пробормотала княжна Елена. Как всегда, она распинала одеяло, и один край его оказался на полу. Где-то возле самого уха пищал комар. Княжна долго прислушивалась к монотонному жужжанию невидимого кровопийцы, хлопнула ладонью по лбу, по шеке, но он снова запищал над ухом.

Накинув на плечи шаль, Екатерина вышла на крыльцо. Прохладный утренний ветерок ополоснул лицо, пошевелил длинный подол. На горизонте появилась узкая полоска зари, освещая дальний край неба. Загадочным шепотом наполнилась округа, словно все разом вздохнуло и затаилось в ожидании солнечных

лучей. К этой поре комариные полчища прячутся в травы. И одинокий, нудный писк крохотного насекомого вызвал у княжны раздражение: «Надоедливые твари».

Донесся крик первого голосистого рановстая. Ответ не заставил себя долго ждать. Петушиная перекличка возвестила начало нового дня.

Посидев за гостеприимным воеводским столом и попарившись в жаркой бане, лейтенант Овцын, к удивлению воеводы, высказал желание пойти ночевать к начальнику гарнизона. У Дмитрия Леонтьевича были на то свои причины. Он с самого утра мог пойти с капитаном в меншиковскую церковь, встретить там когонибудь из опального семейства, а может, посчастливится увидеть княжну Екатерину.

Спать лейтенанту не хотелось, но он не хотел тревожить хозяев и лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к перекличке горластых петухов. Теперь, находясь рядом с княжной, он понимал нелепость своих желаний и надежд. «Княжна Екатерина рядом, но она даже не знает меня,— издевался лейтенант над собой, уткнувшись лицом в подушку.— Она пройдет мимо меня, как мимо тысячи других, не примеченных ею. А столько мечтал, воображал! Господи, какая чушь сидела в моей голове многие годы! Чтобы не терзать сердце, он встал и вышел во двор.

Захар Демидович был уже на ногах, босой расхаживал по ограде.

— Люблю щупать подошвами землю,— протяжно зевая, говорил он.— Так бы и не обувался, так бы и на службу готов идти.

Из собачьей конуры, стоявшей в углу ограды, выставилась голова серой остроухой сучки. Собака чуть слышно урчала.

— Чужого учуяла. Сказывают, вчера ощенилась, так сердится. Я тебе! — погрозил он в сторону конуры.— Я сейчас из ее щенят медвежатника выберу.

За воротами простучала колесами телега, донесся глухой кашель.

— Пашка Миков к реке на волокушах поехал. Лес приплавил. Избу чинить собрался да пристрой ладить,— сказал, даже не взглянув в сторону дороги.— Митька, принеси-ка мне щенков. Отберу одного, а с остальными что хочешь, то и делай.

С поветей, нащупывая ногой приставную лестницу, слезал косматый парень.

— Не холодно там дрыхнуть-то? Опять, поди, вчера в кабаке блудил?

— Не-ет,— ответил парень, не поднимая глаз.

— Ну так неси! — сказал и жестом позвал Дмитрия в избу.— Сучка-то злющая, без привязи. Да еще от нее щенят отбирать станут. Пойдем от греха подальше.

Через какое-то время в горницу, возле кухни, где Захар Демидович уселся на низенький стульчик, вошел парень с корзиной. Слышалось легкое попискивание. Парень перевернул корзину, вывалил на половики мохнатые комочки. Беспомощные кутята тыкались влажными мордочками в пол, перебирали лапками, на которых еще не умели стоять.

Расправив на коленях тряпицу, Захар Демидович взял за загривок первого щенка и стал приподнимать его. Щенок, сжав лапки, пискнул.

— Иди в корзину-у,— пренебрежительно сказал Захар Демидович, небрежно отшвырнув кутенка в сторону. Так было со вторым, третьим, четвертым.— Так не будет, что ли, ни одного медвежатника? — Шестой, поднятый вверх щенок не подал голоса. Положив его на колени, погладил по мягкому пушку. Раскрыв щенку розовую пасть, повернул к свету и стал считать на нёбе собаки рубцы. — Только девятый порван. Молодец, медвежатник! — сказал, погладил щенка и передал в руки парню.— Этого растите. Чего так рано? — обтирая руки о тряпицу, спросил Захар Демидович лейтенанта.— Рано встают только старики. За жизнь свою натворят грехов — вот им и не спится. А у вас еще какие грехи? — Захар Демидович был коренаст, плечист, и во всем его теле чувствовалась сила.

В церковь капитан гарнизона ходил всегда со всем семейством: тремя детьми и пригожей, белолицей хозяйкой — Марией Петровной. Как всегда, они шли впереди него, а он вышагивал сзади, степенно кланяясь по сторонам на ответные приветствия.

— Жаль, конечно, барышни-то хорошие,— заговорил Захар Демидович.— Уже и младшая стала невестой. Привезли подростком, лет тринадцати, а теперь прибавь восемь годов.— И капитан вздохнул.— Попервости глаза на них пялили — все было в диковинку, а теперь попривыкли. Как свои. Ну зачем для них караул? Разве

только за князем Иваном. Того, как только промочит горло, скорее уводить надо: говорит всякое непотребное о государыне. Сколько раз ему говорили, а он все свое.

Дмитрий Леонтьевич был весь внимание. Отчего-то стало жарко.

— А вон княжич Александр в церковь побежал. Он там в колокола звонит, священник Петр не нарадуется его старанию и понятию во всех церковных делах,— Захар Демидович приостановился.— Как бы не перепутать княжну Елену с царской невестой: росту-то они одинакового. А вон и царская невеста идет нам навстречу. Видать, за духовником ходила. Вон и он ее догоняет.

У Дмитрия замерло в груди. Мог ли он представить, что ему доведется встретиться с царской невестой лицом к лицу? Но теперь не было никакого сомнения — ему навстречу шла та, о которой были все его молодые мечты. Он узнал ее по гордой осанке и высоко поднятой голове.

Захар же Демидович рассказывал лейтенанту, сколько усилий стоило вытребовать из Тобольска духовника специально для опального семейства, без которого, как стал утверждать священник Петр Дубасов, у них «сломался дух». Смерть Алексея Григорьевича, неожиданная женитьба князя Николая на слепой инородке, частые запои князя Ивана — все сводилось к тому, что над Долгоруковыми сгустились сумерки.

Под молодым лейтенантом качалась земля. Он вновь мог видеть ее выразительные глаза, густые ресницы, мягкую улыбку.

— Что-то раненько, ваша светлость Екатерина Алексеевна,— издали сказал Захар Демидович, тут же добавив:— Доброго вам утра!

Княжна поздоровалась, но на лейтенанта не взглянула, пока его не представил капитан казачьего гарнизона.

— Приветствую вас, лейтенант флота Дмитрий Леонтьевич Овцын,— отчеканил он, скорее по уставу, и, привстав на одно колено, поцеловал руку княжны.— Видел вас в столице в день вашего обручения с государем нашим. Имею честь поздравить.— Это было уже слишком. Капитан удивленно посмотрел на Овцына, который никак не мог понять своей оплошности.

— С чем поздравляете меня, лейтенант флота? — с улыбкой спросила княжна, чувствуя волнение офицера.— С тем, что в Березове под караулом?

— Великодушно простите мою неловкость,— зардевшись, ответил он. Екатерина снисходительно поклонилась лейтенанту.

— Я видел вас еще на водосвятении вместе с императором. Стоял в первом ряду.

— Мне знакомо ваше лицо,— после некоторого молчания ответила княжна.

— Так вы знакомы? — удивился Захар Демидович, не зная, как поступить, что говорить. Мария Петровна с девочками стояла на тропинке и призывно махала отцу рукой.

— Таких знакомых у ее светлости пол-России,— был ответ Овцына. Он уже овладел собой, хотя подходящих слов не находил, молчал, боясь опять сказать какую-нибудь несуразицу. Ему показалось, княжна не торопилась оставить их. Спросила еще что-то у Захара Демидовича и обратилась к Овцыну:

— Значит, вы в плавание отправляетесь? Любопытно.

Наблюдая с колокольни за спешившими к заутрене, княжич обратил внимание на разговор сестры с незнакомым человеком и раньше времени зазвонил в колокол.

— Пора! — сказал Захар Демидович, и все, не спеша, пошли в церковь. Долгоруковы стояли вместе: княжичи и княжны, инородка, двое малолетних сыновей, одного из которых князь Иван до начала службы держал на руках. Рядом — Наталья Борисовна. Щемящее чувство несправедливости и полное бессилие, невозможность чем-либо помочь им удручали лейтенанта Овцына. Что он может? И чем больше он задавал себе вопросов, тем горестнее было на душе. Укорял себя, как мог дерзнуть — думать о своей любви. И тут он заметил, вернее, уловил мимолетный взгляд княжны, но тут же отогнал, как он считал, крамольные мысли. Отыскал взглядом Захара Демидовича. Он уйдет с ним тотчас же, как закончится служба! Он не может, не имеет права даже в мыслях лелеять мечту! — так решил для себя Дмитрий.

Служба закончилась. Прихожане, не торопясь, выходили на широкое крыльцо, щурясь от ярких лучей солнца. Кто-то взял его за локоть. Это был князь Иван. Они посмотрели друг другу в глаза.

— Нет ли у вас желания, лейтенант, отдать почесть светлейшему князю Александру Даниловичу Меншикову? Здесь его могила.

— С превеликим желанием,— ответил Дмитрий Леонтьевич, к стыду своему не знавший ничего о последних годах верного сподвижника Петра Великого.

— Тут и дочь его — Мария Александровна, и матушка наша, и батюшка нашли свой приют, свое успокоение.

— Мне подождать вас? — шепотом спросил капитан у Овцына.

— Если дозволите и если лейтенант соизволит зайти к нам на чашку чаю, милости просим.

— Отчего же нет?

Княжны были уже в меншиковской избе, приказали накрывать стол.

— Значит, в плавание по Оби, во льды, в Енисей,— с осведомленным видом говорил князь Иван, разглядывая лейтенанта, который, чувствовалось, пришелся ему по душе.

— Да-да,— отвечал лейтенант смущенно.

— Это после испанских да итальянских берегов отправились в нашу северную глушь? Не в наказание ли?

— Нет, не в наказание,— так же односложно ответил Дмитрий Леонтьевич, хотя мог бы по этому поводу сказать много интересного. Но у него снова не складывался разговор.

— Дмитрий Леонтьевич, расскажите нам о петербургских новостях. Бывает здесь много народу, да все купцы, все провинциальные люди.

Все с ожиданием смотрели на гостя.

— Разве я смогу ответить на ваши вопросы, князь?

— Да даже то, что по столичным улицам ходили, и то сердце порадуется. Вот, сказывают, да я и сам прочитал, что курляндская кикимора со страху снова перенесла столицу из Москвы в Петербург.

— Ванюша,— остановила мужа Наталья Борисовна.

— Видел пышный приезд государыни. Карета роскошная. А за ее каретой шло сорок восемь лакеев. Сам считал. Для чего — не знаю.— Оживился наконец Дмитрий.

— Сорок восемь лакеев! — возмущенно крикнул князь Иван и хлопнул ладонью по столу.

— А за ее фаворитом — двадцать четыре!

— За этим конюхом Бироном — двадцать четыре лакея! Прет в Россию эта чужеземная мразь. Спасу нет. А все началось с Петра Алексеевича, царство ему небесное. Ведь хотели наши старики ограничить эту власть. Поставить эту дуру на трон, а самим управлять Россией по-своему! Так вот где все оказались. Остерман всех перехитрил, теперь на самой вершине власти. Попомните мое слово — гнить ему в этих краях.

— Остановись, Иван,— подошла к столу княжна Екатерина, положив руку на плечо брата.— Эта песня пета да перепета. Про радость какую-нибудь услышать хочется. Эта царская борьба надоела. И все годы об одном и том же,— будто бы пожаловалась она Дмитрию Леонтьевичу, который оказался в таком нелепом положении, что труднее представить невозможно.

— Вот в Тобольске,— начал было он, но замолчал, не зная, как продолжить.

— Что в Тобольске? — весело спросила княжна Елена, подсаживаясь к столу. У Дмитрия Леонтьевича перехватило дух.— Довелось мне побывать на приеме у губернатора. Справлялись его именины. Наехало уральское купечество. Мужики здоровущие, бородатые. Одного запомнил, был невысокого росту, да зато борода до пупа. Ну на кого ни посмотришь — так в памяти и останется. Всяк себе господин. Разговаривают с достоинством, неторопливо. Но особо запомнились их глаза: какие-то острые, пронзительные, глядишь, и даже страшновато. Кажется, они уже все знают.

— А дамы были с ними? С этими медведями? — спросила княжна Елена.— Вы говорите, а я уж их боюсь.

— Да я, если честно говорить, не разглядывал. А запомнил вот что. Два купца привезли с собой дворовых девушек. И такой они хоровод водили, и такие песни пели, что все слезами заливались.

— А что это за песни, если от них плакать хочется?

— Говорили, что купец этими девушками торгует.

— Так у нас исстари ведется,— равнодушно ответил князь Иван.— Только поглянись — та и твоя будет. У кого кошелек толше — тот и хозяин.

— Так именины были или торг? — ввела в полное замешательство Дмитрия Леонтьевича настойчивая княжна.

— Пожар еще был в Тобольске,— старался переменить разговор Дмитрий Леонтьевич и пожал плечами.— Вот про купцов я вам плохо рассказал. Не смог. В них какая-то особенная сила. Когда они начали петь величальную песню губернатору, так мне показалось, потолки могут обвалиться.

— А молодые купцы были? — вдруг неожиданно спросила княжна Екатерина.

— Молодые? — переспросил Дмитрий Леонтьевич.— Пожалуй, были. Только они тоже все бородатые,— сказал и улыбнулся.

Князь Иван стал наполнять чарки.

— Подвигайся к столу, Дмитрий Леонтьевич. В Сибири простые нравы. Пришел и стал гостем. Сейчас выпьем и в острог сходим, чтоб, когда доведется о нас разговор вести, рассказал, куда великих русских князей в ссылку посылают. Так долго еще будет у нас в России. Наши отцы ссылали, мы ссылали, нас сослали. И еще будут ссылать.

Все три дня лейтенант Овцын умудрялся видеть княжну Екатерину, хотя общение с князем Иваном было ему уже в тягость.

В день отплытия Дмитрий пошел в меншиковский храм со своими товарищами: одному ему было уже неудобно совершать постоянные прогулки мимо их дома. Там он надеялся сказать прощальное слово княжне. Офицеры все, как один, нашли княжну «очаровательной». На почтительном расстоянии поклонились ей, когда выходили из храма. Это было, казалось Овцыну, его последнее свидание с Катериной.

— Лейтенант Овцын! — услышал он сзади ее повелительный голос. Он остановился. — Возьмите на память,— она подала ему вышитый ею носовой платок.

— Боже мой, государыня моя! — вырвалось непроизвольно у Дмитрия Леонтьевича, который уже навсегда было простился со своей мечтой, моля Бога дать ему для этого силы.

Над головой шумели березы. В отдалении шли его друзья, а он, целуя ей руки, говорил:

— Я упаду в ноги императрицы, буду умолять ее о разрешении на нашу женитьбу. Только для этого мне



надо проплыть по Оби в Енисей. Мне надо явиться победителем.— Все эти слова он говорил много раз в тоскливых мечтах, а тут они вырвались сами.

— Напрасно, Дмитрий Леонтьевич,— крепко сжав его пальцы, сказала ему княжна Екатерина.— Императрица не позволит этого. Наш род Долгоруковых хотел лишить ее императорского трона. Спросите у капитана Петрова, у него есть инструкция: не допускать моего замужества.

— Екатерина Алексеевна, простите, что так дерзнул! — с трепетом сказал Овцын.— Вы оставляете мне надежду?

Екатерина опустила голову, и он не мог увидеть ее печальных глаз. Он крепко держал ее ладонь в своей и не мог понять, у кого из них дрожат руки.

— Я буду молиться,— сказала еле слышно Екатерина.

— За что такая награда? — бессвязно говорил он, едва сдерживая себя от желания обнять, прижать к себе княжну.

Это был самый счастливый день в жизни лейтенанта Овцына.

— Мы придем на берег проводить вас,— услышал он.

Глава пятьдесят шестая

Гостеприимный Березов лейтенант Овцын оставлял с нескрываемой тоской. До самой излучины реки во всей многочисленной толпе провожающих он видел только ее — княжну Екатерину Алексеевну. Ее слова могли показаться ему сном, если бы не лежал в кармане ее крохотный подарок.

Дубель-шлюпка «Тобол», подхваченная крутыми волнами и подгоняемая попутным ветром, шла стремительно. Местный лоцман, не раз плавающий до Обдорска, вел судно уверенно. Обдорск — последнее русское селение на пути экспедиции, но останавливаться надолго

там не стали. Местный лоцман, честно признавшись, что никогда не плавал по Обской губе, сошел на берег. Фарватер Обской губы никому не был известен. Дня два плыли на ощупь, из-за обилия мелей пришлось выслать вперед гребную лодку и ставить вешки.

— Идем, как слепые котята,— первые дни шутили матросы, вглядываясь в береговые льды, которые еще не растопили яркие лучи солнца.

Совсем скоро тучи закрыли солнце, и с неба посыпался мокрый снежок. В густом тумане потерялись берега, разбушевавшийся ветер раскачивал волны, разбрасывал донники, как легкие щепки. Ничего не оставалось, как подойти к берегу и бросить якорь. Опасаясь потопить провиант и все продукты, решили было построить склад и выгрузить половину груза. Из плавника, принесенного к берегам волнами, стали торопливо сколачивать склад. Помор Семка Медведев, улучив момент, дотронулся до плеча Дмитрия Леонтьевича, прошептал:

— Плыть надо.— И отошел, виновато опустив голову.

Оставив небольшой караул и наполовину сколоченный склад, подштурман Стерлигов отдал команду к отплытию. Но «Тобол» мог плыть только самым тихим ходом, чтобы не врезаться в одну из многочисленных мелей. Из-за сильных ветров и волн пришлось плыть на шлюпках. Матросы скоро устали, признавались на недолгих привалах, что им надоела холодная пустынность берегов, сплошь покрытых оленьим мхом — ягелем.

— А впереди — только льды,— пошутил лейтенант.— Если бы было легко и просто, давным-давно плавали бы к нам суда из чужих морей. И наши купцы-смельчаки не раз испытывали судьбу, пытались проплыть вдоль берегов, да не тут-то было! Сможем ли мы?

— Сможем,— сказал только подштурман Стерлигов, а Семен Медведев поправил:

— Только не в нынешний год.

Широкой Тазовской губы, впадающей в Обскую, достигли, когда день уже пошел на убыль: в небе загорланили гуси, утки, лебеди, стаями улетая в теплые края.

К однообразному плеску волн и свисту ветра вдруг прибавился собачий лай. Было трудно понять, с какой стороны бескрайнего простора он мог долететь. Но долго ждать не пришлось. Многочисленная стая веселых лаек с неумолчным тявканьем выскочила на самую кромку песчаного обрыва.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте! — замахали им матросы, будто подплывали к многолюдной пристани.— Значит, и люди близко.

Поодаль паслось оленье стадо, и четверо мужчин невысокого роста с луками в руках пристально вглядывались в мореплавателей. Один достал из колчана стрелу. Так встречали некоторые самоеды священнослужителей, пытавшихся обратить их в другую веру. Но кочующие народы остались верны своим идолам, своим богам! Толмач! Толмач, включенный в экспедицию по настоянию генерал-губернатора, заговорил-закричал издали. Мужчины, одетые в короткие малицы из оленьих шкур, опоясанные широкими ремнями со всевозможными амулетами-оберегами, внимательно слушали толмача.

Встреча с человеком в дальней дороге всегда счастье, не исключением была и эта. С опаской встретили наших путешественников: с детства уверовали они в злонамеренность пришлых людей. И только один подштурман Стерлигов сообразил, чем можно заинтересовать кочующих с оленьими стадами людей: он приказал одному из матросов достать медный котел и два топора.

Каково же было удивление на лицах самоедов! Сколько восторга! Они долго оживленно разговаривали между собой, не дотрагиваясь до выставленных вещей. Потом самый старший из них подозвал толмача, отвел в сторону, и они о чем-то говорили, пытаясь хоть както понять друг друга. Толмач был самоедом с западного побережья острова Вайгач, и диалекты их сильно отличались. Первое, что он смог понять, они приглашают всех к себе в чум. Будут колоть оленя — в знак уважения и гостеприимства. Потом они могли бы отвезти их на оленьих упряжках в любую сторону, куда путешественники пожелают. Толмач перечислял названия рек Таз, Пур, Надым, упоминал Гыду, когда же перевел им, что они должны пройти этот путь только Обью, поднялся невообразимый крик: жестами, мимикой, устрашающими голосами они показывали, что делать этого не надо: там живет зубастая рыба — зверь Иур. Он зубами перекусит их лодки, перевел толмач и позвал их, как просили пастухи-оленеводы, в жилище. От вареной оленины никто не отказался, все пошли в глубь берега. В мягком мху ноги утопали по самые колени. Каждая болотная кочка была усыпана клюквой. Показались два больших чума, покрытые оленьими шкурами. Множество

нарт виднелось в отдалении, на большинстве стояли деревянные ящики-лари с домашним скарбом.

Неистово лаяли собаки, чувствуя приближение незнакомых людей. Кто-то просвистел долгим пронзительным свистом, и вдруг в чуме загремел бубен. Оттуда стали выбегать женщины, дети, с криком бежали кто к нартам, кто к пасущемуся стаду оленей. Это была настоящая паника. Толмач перевел:

— Остановитесь! — Его послушались.

Пастухи кричали, свистели своим соплеменникам, просили остановиться. Но это случилось не сразу, а только тогда, когда бубен оказался в руках молодого пастуха, вскочившего на нарты. Оказывается, жители рода Нура испугались чужих людей. Они думали, что это приехал русский поп — обращать их в чужую веру.

Мало-помалу все прояснилось. С опаской осматривая прибывших людей, а главное, передавая из рук в руки топоры и медный котел, женщины и дети заходили в дальний чум, мужчины в тот, где сидел старый самоед с разукрашенным бубном и деревянной колотушкой. Чум был большим, вдоль стен на полу лежали мягкие оленьи шкуры. Посредине шаяли угольки костерка.

По-видимому, старику уже успели рассказать о намерениях прибывших людей. Он пристально глядел на всех подслеповатыми глазами, долго молчал, потом заскорузлым пальцем выгреб из-за верхней губы черные крошки перепревшего табака, бросил их в угли. Достал сшитый из кожи и разукрашенный орнаментом мешочек-табакерку, вынул шепоть, ловко заложил за губу и остатки поднес к широким ноздрям. Запрокинув голову, вдыхал с наслаждением, пока его не пробрал чих. Только потом он заговорил. Голос его не по годам был громким, и он, не в пример пастухам, говорил неторопливо. Толмач перевел его слова. Он повторил то, что сказали его соплеменники, только добавил, что может дать им столько оленей, сколько они попросят.

Но каково же было удивление всех, когда Овцын, передав благодарность, отказался от оленьих упряжек, а толмач перевел, что их дорога — по реке. Старик искренне изумился и даже всплеснул руками, потом поднял их над головой, что означало обращение к богу.

— Нет-нет,— перевел толмач.— Лед не пустит. Человек сдохнет.

На больших берестяных скатертях женщины заносили куски свежего мяса. Аппетитный запах его наполнил чум. Лица у всех были закрыты платками, и только по аккуратным, маленьким ручкам, выставляющимся из-под расшитых рукавов платья, можно было угадать, что все они молоды.

Расставаясь, старик вышел из чума, кланялся. В разговоре с толмачом несколько раз произнес слово «Обдорск». Толмач перевел: обратно в Обдорск он повезет вас на оленях. Лодки замерзнут во льдах.

Дмитрий Леонтьевич достал из кармана складной нож и подарил его старику. Тот защелкал языком, что означало восторг, и толмач повторил: в Обдорск олени побегут быстрее ветра!

Обская вода приобретала темный свинцовый блеск, будто со дна реки шло холодное дыхание, вызывающее озноб. Но об этом не пристало думать путешественникам. И снова Стерлигов и Ушаков с матросами, а главное, с помором Семеном Медведевым настойчиво промеряли глубины, ставили вешки.

От сильного встречного ветра стали на прикол. Это был северный берег Тазовской губы: мыс с тремя песчаными холмами, названный помором Трехбугорным. Взобравшись на холмы, он звал с собой рудознатца Захара и твердо настаивал убедить лейтенанта именно здесь установить маяк. Захар долго и пристально осматривал даль. Несколько раз спускался и поднимался на холм, выходивший к Оби.

— Ты откуда этакий грамотный выискался? — спросил строго.

— Я вовсе не грамотный. А маяк тут ставить надо. Я два года по Печоре плавал. В Карских льдах зимовал,— ответил помор. Рудознатец Захар Медведев, его однофамилец, крепко знающий свое дело, удивлялся его смекалке и наивной простоте: будто ничего особого в этом и нет. Поставить на веки вечные маяк на новом, никому не ведомом мысу! Отчего бы не поставить маяк? И жил бы он века, пока будут плавать люди по открытым берегам. Так и поставили, и записали «Трехбугорный».

Через неделю из низких туч хлопьями повалил снег. Надо было думать о зимовке. Удобное место трудно было найти на пустынных берегах, к тому же, как сказал Овцыну Стерлигов, продовольствия мало: надо пополнять

запасы. И добавил: от частых посадок на мель в трюме «Тобола» обнаружена течь.

— Белые мухи летают — еще не страшно, еще можно плыть,— рассуждал помор, к которому все стали прислушиваться. — Вот как после трех дней снег на мху не растает — пора останавливаться, а пока надо плыть.

Семену Медведеву все было под силу, и, наблюдая за ним, Овцын не сомневался: если понадобится, он сможет перетащить любую лодку волоком.

Дни стали убывать стремительно. Вместо редких сырых хлопьев снега вдруг посыпалась их с неба целая лавина. В пяти шагах трудно было разглядеть человека в непроглядной снежной кутерьме. Был созван совет офицеров. Надо было срочно принимать решение. Предлагались разные варианты. Спасительным вариантом был, как предлагали самоеды, Обдорск. Но никто об этом не проронил ни слова. Однако полярная ночь наступала быстро.

— Мой совет — возвращаться в Обдорск,— сказал подштурман Стерлигов.— Трудно плыть против течения, но у нас теперь сделаны промеры, есть фарватер.

— Пусть теперь ночь нас догоняет, а мы от нее — к людям! Даст Бог, на будущую весну за неделю по нашему фарватеру промчимся! — налегая на весла, подбадривал Семен уставших матросов, хотя и у самого все ладони были в кровавых мозолях. Только ближе к устью Оби поплыли под парусами.

Обдорск — небольшая крепость с двумя воротами, с четырьмя башнями глухими и одной башней проезжей. В крепости был поставлен дом заседателем, съезжая изба, разделенная на две половины. В одной помещался и вел дела приказчик, назначенный березовским воеводой, в другой — ясачные инородцы, избранные из коренного населения для сбора ясака, ближе к берегу склады, чуть поодаль пороховой погреб, деревянная церковь Василия Великого, несколько кабаков, сараи для обработки рыбы в осеннюю путину и купеческие склады. Жителей сотни две, в основном русские отставные казаки с семьями. Домики неказистые, на курьих ножках. Расторопные обдорские бабенки, услышав от мужей, что вернулась назад шлюпка с четырьмя донниками, стали топить бани, выпекать хлеба, чтобы в кармане копейка зазвенела. Пока еще съедется на ярмарку торговый люд. А у приказчика рыботорговца Земцова

в лавке красивые кашемировые платки и пуховые шали, красивые бусы и костяные гребенки. Соблазн! Денег же взять неоткуда. Опередить надо кабатчиков, которые тут же все деньги у матросов выгребут. И давай поскорее пироги печь, да больше всего сладкие, ягодные шанежки, блины скоромные. Матросы расквартировались по избам: в банях намылись-напарились, на полатях выспались, блинами объелись. Хозяйкам хорошо заплатили. Многие за постой рассчитались вперед, до весны. На дворе стояла распутица. Никуда не уплывешь, не уедешь. По реке шла шуга. Само собой, санного пути нет. Сытые, откормленные лошади еле вытаскивали из грязи телеги, а по ночам, в непогоду, не лаяли, а протяжно скулили собаки.

Затосковал лейтенант Овцын, помрачнел. Никому не расскажешь о своем нестерпимом желании оказаться в Березове. А душа была там, возле стройных берез, возле небольшого бревенчатого дома. Хоть бы раз взглянуть на нее. Ко всему его неотступно преследовала мысль, что сделано вверенной ему экспедицией еще слишком мало. Впереди неизведанные берега, течения, появление безымянных островов. Впереди морозы и дожди, непроходимые льды, а главное — ответственность за судьбы людей, за успех вверенного дела. И все равно перед глазами стояла княжна Екатерина, подарившая ему крохотную надежду.

Подоспел праздник иконы Казанской Божией Матери. Самое время причаститься.

Миряне, одевшись в праздничные одежды, все без исключения отправились в церковь. В избах остались только больные и малолетние. Священник Нестор службу вел долго. Все знали: он не терпел небрежности в богослужении. Весь народ с иконами вышел из храма, пошел к часовне, где служился молебен.

Все было торжественно и тихо. Овцыну показалось, что именно в этот день появилось солнце, а к вечеру сильно похолодало. Открылись кабаки. В каждой избе праздничный обед, в съезжей избе — гулянье. Моисей Ушаков начищал мундир. Сегодня он успел подмигнуть белолицей молодухе с нарумяненными щеками. Словом с ней не обмолвился, а понял: ждать будет. Матросы — парни бравые. На всех в Обдорске свободных девиц не сыскать, поглядывали молодок побойчее. Казаки, пришедшие на службу, тоже не из слабых и робких. Тут может из-за этих голубушек пойти сила на силу.

— Пойдете? — спросил Моисей друзей-офицеров, пристрастившихся по вечерам играть в карты да шахматы.— Одному-то неловко являться.

— Явимся! — Стерлигов вскочил с табуретки, с какой-то лихостью раскинул руки в стороны и долго, с наслаждением потягивался.— Явимся и уведем твою кралю.

Примерно через неделю пошел густой снег, закрыв землю до горизонта. Это были не белые, ленивые хлопья, а настоящий северный колючий снег. Падая на землю, он шуршал, будто что-то нашептывал.

На совете было решено: Ушаков и рудознатец Медведев с помором и еще двумя казаками должны поехать вдоль побережья и поставить знаки, указывающие фарватер по обеим сторонам Обской губы. Подштурману Стерлигову с группой матросов ехать дальше и нанести на карте береговую линию до самого моря.

Купить в Обдорске оленей не составляло труда. Да и санный путь установился скоро. Пришла в Обдорск казенная почта.

Лейтенант Овцын взял на себя заботу о строительстве новых судов для экспедиции. Но первым делом, наняв оленьи упряжки, с гардемарином Перепаго и тремя матросами помчался в Березов для приобретения экипажей для поездки в Тобольск. Но только ли для этого?

Сердце его готово было выскочить из груди, когда каюр, хорошо владеющий русским языком, сказал, что видит колокольню храма Воскресения Христова.

Глава пятьдесят седьмая

Оленьи упряжки появились в поселке с подветренной стороны. Привыкшие к равномерным звонам колоколец, жители не проявили любопытства. Над крышами домов столбами струился дым, что предвещало тихую погоду на завтра.

Дежурный гарнизона уже располагался на лавке, но услышал разговор. Пригляделся. Упряжки и в самом деле остановились у ворот, что было редкостью для казачьего гарнизона. Инородцы казачий гарнизон всегда объезжают стороной. Так повелось с тех пор, когда силой и огнем завоевывались сибирские земли.

Накинув полушубок, по еле приметной тропке между огородами дежурный побежал к начальнику гарнизона Захару Демидовичу Петрову, оставив вместо себя печника.

По санному пути в Березов постоянно приезжали разные люди. Многие, не имея денег на проезд, шли пешком от села к селу, везли свой нехитрый скарб на санках-салазках. Заходили пимокаты, знахари и гадалки, ковальщики, швеи, мастерицы по стежке одеял, умелицы ставить пиявки — отсасывать «черную кровь». Одним словом, шли те, кто умел своим ремеслом зарабатывать денежку. Некоторых ждали с нетерпением, посылали навстречу лошадей, другие ходили из избы в избу, показывали свое умение, оставались жить подолгу, если ремесло было востребовано жителями села. Большинство останавливалось на ночлег в съезжей избе за небольшую плату. Но инородцы никогда не переступали порога этой избы, предпочитая, если нет знакомых, прикорнуть возле нарт, прижавшись одним боком к оленю.

Поэтому привратнику показалось удивительным, когда возле ворот увидел четыре оленьих упряжки.

Захар Демидович, узнав в приезжем лейтенанта Овцына, искренне был рад. Помог ему стащить тяжелый меховой савик, который надевают в дальнюю дорогу при езде на оленьих упряжках. Определив всех приехавших на ночлег в теплые казармы, настоятельно попросил Дмитрия Леонтьевича остановиться у него. Петрову было любопытно узнать, как закончилось плавание и почему он вдруг оказался в Березове. Утаивать ему было нечего, если не считать того, что не смог жить в Обдорске, когда совсем рядом живет княжна Екатерина. Хотелось ему спросить о жизни Долгоруковых, но не мог, хотя и не находил объяснения своей щепетильности. Да капитан Петров был человеком смекалистым и как бы между прочим обмолвился:

— У нас тут из Тобольска живет один тип — подьячий Тишин, прибыл вроде составлять книги податей

с инородцев, ездил в стойбища. Пора бы уехать, а он все живет и живет. Но я-то доподлинно знаю: на Долгоруковых был послан в Тобольск новый донос, и даже знаю, что написал его наш офицер Муравьев после того, как князь Иван угостил его оплеухой. Уж сколько раз говорил: не связывайся, Иван, с казаками да офицерами, а ему хоть кол на голове теши. Как подвыпьет, так и лезет в драку, обзывает непотребно. Но беда-то в другом: государыню нашу костерит на чем свет стоит. У него лучшего слова для нее нет, как «ду-ра»,— шепотом сказал, перекрестился на сон грядущий и ушел.

Капитан Петров сказал Дмитрию чистую правду. Подьячий Тишин все проверял и перепроверял донос Муравьева, «обличавший» Долгоруковых в том, что они-де утаили от властей множество ценных вещей, которые, по его разумению, должны быть обязательно в государевой казне. И что всяких тканей невиданной красоты у них полным-полно и удостовериться в этом нетрудно, потому что в церковь ими подарена дорогая парча на новое облачение священнику. Высокому начальству преподносят подарки из красивых тканей. Только повитухе, за благополучные роды, подарили такой плат, какого во всем Березове никто и в глаза не видывал. Не считая мелких вещиц.

Офицер Муравьев повсюду сопровождал Тишина, но тот уже стал слушать его вполуха.

— Да он про государыню такие слова говорит — оторопь берет.

— Коли оторопь берет — молчи,— посоветовал Тишин.— Ты мне лучше поподробнее про царскую невесту расскажи. Или правда, что все эти годы она живет, как монахиня? Никаких любовников не имеет?

Муравьев отпрянул, уставился на невзрачного, белобрысого служаку.

— Неужто на царскую невесту глаз положил? — не скрыл изумления Муравьев.— Ослеп, что ли? Этакая красота да подле тебя? Ты как приехал сюда — еше в бане не парился.— И, прищурив злые глаза, строго сказал Тишину: — Коли дело приехал делать, так делай!

— Твоя жалоба — не жалоба. С ней можно только до ветру сходить. Подумаешь, тряпья много привезли. Так что за эти годы у них осталось? Одна парчовая рвань. Пустячная твоя ябеда, и никакого наказания им за это не будет.

— Так ты, значит, решил за царской невестой приударить? — рассердился Муравьев.— Да погляди на себя, чучело.

— Ты живи тише воды, ниже травы. Чего бы про меня кому дурного ни говорил — все одно не одолеешь.

И подьячий Тишин был прав. Не случайно в Березов послали не кого-нибудь, а его. Он умел заводить интриги, сталкивать людей лбами и выходить сухим из воды. Он уже сошелся с князем Иваном. Несколько раз выпивал с ним. Выведал, что у того почти все сельчане добрые знакомые. Похвально отзывался о воеводе Бобровском, от Милитины Федоровны был вообще в полном восторге. Раза два Тишин заходил в меншиковскую избу, но княжны Екатерины не видел. Она все была в своей горенке. Зато сумел завести разговор с Натальей Борисовной, даже помог ей вытащить из санок маленького княжича. На душе у него стало благостно от этого разговора, и вечером, встретив в кабаке князя Ивана, заглянувшего всего на минутку, навязался к нему в провожатые и даже промямлил:

— Может, сроднимся? Пригожая у тебя старшая сестра.

Князь Иван не сразу вник в бормотание подьячего, ему даже в голову не могло прийти, чтобы этот прыш дерзнул на подобное.

— Что-о-о-о? — вдруг неистово закричал князь, враз позабыв все слова, какими можно было обозвать это ничтожество. Он схватил его за грудки, плюнул в лицо, оттолкнул в сторону с такой силой, что подьячий полетел через тропу в глубокий сугроб. Схватив пригоршнями снег, князь брезгливо обтер руки.

— Ну поглядим, кто кого,— прошипел Тишин сквозь зубы, возвращаясь в гарнизон. «Поглядим-поглядим! Если и она такая же ретивая — несдобровать Долгоруковым! Я знаю, за какое место укусить! Не такой дурак Тишин»,— успокаивал себя подьячий.

Поутру пришел в храм раньше обычного: был тих и смирен. Проглядел все глаза, пока дождался прихода в церковь семейства Долгоруковых. Но удивительно: среди них не было княжны Екатерины. Бочком, по стенке, он шмыгнул в двери, как мышь, чуть было не сшиб с ног духовника княжеского семейства. Семенящими шажками, будто кем-то подгоняемый сзади, подошел к калитке меншиковской избы. «Мне бы только княжне Катерине одно слово сказать. Нет, не сказать,

а пока только в глаза поглядеть да голос услышать. А какое слово-то говорить? Я путних-то не знаю. Другим-то девицам ничего не говорил. Они сами догадливы. О, Господи! Связался с кем? Это ж только слово сказать, так сколько сил потратить надобно! — Лоб подьячего взмок, пришлось стащить шапку и потной подкладкой обтереть лицо.— Ведь только щеколду открыть да зайти. Одна она там. А ноги не идут».— Он еще простоял кое-какое время, успокаивая себя, и, решительно войдя во двор, вскочил в сенцы, не стуча, распахнул дверь.

Княжна Екатерина, простившись с духовником, еще не закончила чтение Псалтыри. Не обернулась, зная, что вошел кто-то из своих.

Тишин мял в руках меховую шапку, глядел на молящуюся княжну.

С шумом распахнулась дверь, и неистовый голос князя Ивана наполнил избу:

— Ведомо ли тебе, что к нам чужим людям ходить запрет наложен?

— Ведомо,— потерянным голосом промолвил подьячий.

— Какого черта делаешь тут? Кто тебя звал?

Княжна Екатерина, испугавшись крика, ничего не могла понять.

— Иван Алексеевич! — всплеснула она руками.— Как можно?

— Этот прыщ, было бы тебе известно, царица наша, в женихи к тебе напрашивается. Ты погляди на этого заморыша!

Екатерина, не взглянув на Тишина, вышла.

Князь Иван вытолкнул подьячего, пригрозил переломить Тишину ноги, если он еще раз перешагнет их порог.

Екатерина Алексеевна, войдя в комнату, горько заплакала. Она была оскорблена дерзостью подьячего, а главное, тем унизительным положением, когда каждый мог позволить себе встать с ней вровень и не испытывать никакого смущения. «Доведется ли когда-нибудь еще услышать такие слова, какими одарил Дмитрий Леонтьевич Овцын? Их было так мало, но памятными останутся на всю жизнь!» — подумала она и услышала шаги князя Ивана, который робко вошел в горенку сестры, подал ей кружку с холодной водой и вышел безмолвно.

Подьячий был переполнен злобой. «Как сыр в масле катаются! А еще ссыльные, еще опальные. Весь Березов готов на них Богу молиться. Попомнят подьячего Тишина!»

Таких подробностей о командированном в Березов подьячем не знал и сам Захар Демидович, но оброненные им фразы отогнали сон, прошла всякая усталость. Что творилось в душе лейтенанта! Ревность, обида, любовь, негодование, желание немедленно увидеть княжну.

— Успокойся, Дмитрий Леонтьевич. Все мы были молоды,— шептал капитан.— Слышу, всю ночь не спишь. Дернуло меня за язык сказать про этого Тишина.

Овцын в ответ чуть слышно простонал, спрятал голову под подушку. Предутренний сон обнял его своей невидимой рукой.

Утром лейтенант отправился в воеводство. Аркадий Иванович встретил его с распростертыми объятиями. Не скрывал желания знать о плавании — первой попытке экспедиции пройти к морскому побережью рекой. Незамедлительно скорой государственной почтой отправил на имя генерал-губернатора бумагу с просьбой содействовать в первоочередном строительстве судов для экспедиции и о том, что березовское воеводство, зная трудности предпринятого дела, помогает ей. Милитина Федоровна при встрече с лейтенантом Овцыным даже прослезилась и как бы между прочим спросила, нет ли у него желания пойти к Долгоруковым, которые после отъезда экспедиции часто вспоминали его.

— Намерен был,— коротко ответил он воеводше, которая, пристально поглядев ему в глаза, погрозила пальчиком с великолепным перстеньком червонного золота — не иначе, подарок Долгоруковых!

В это утро княжна Екатерина рассказывала сон Наталье Борисовне, будто их духовник надел ей на голову митру и подал в руки зеленую веточку. Услышав это, Наталья Борисовна так и села на табуретку:

— Да стоит ли отгадывать такой сон, княжна? Даже пусть все будет несбыточным, но то, что такое благостное сновидение явилось,— и то Божья благодать.

Быть может, поэтому у них было хорошее настроение. А тут еще с хорошей добычей белых куропаток явились княжичи Александр и Алексей. Им давно уже березовское начальство разрешило заниматься охотой в окрестностях, с оговоркой: к вечеру непременно являться

в острог. Научившись мастерить и ставить ловушки, петли на зайцев, слопцы, они спозаранку вставали на лыжи и бежали по проторенным тропам собирать добычу. Как говорил князь Александр, зверь в округе ходил пешком.

Княжна Екатерина к добыче не подходила, смотрела только издали, никогда не разделяла восторга братьев, которые могли часами рассказывать о повадках каждого зверька и птицы. Тут же, в кухонном закутке, возле добычи смирно сидели на лавках малолетние сыновья князя Ивана: Дмитрий и Михаил. Старший уже привык к «уснувшим» птицам, не боясь, гладил ручонками жесткие крылья куропаток. Скоро княжна Екатерина удалилась в свою горенку, но тут же вернулась с озабоченным видом.

— Куда-то запропастился наперсток.— Княжна любила эту изящную вещицу, изготовленную в Великом Устюге специально для нее. Наперсток был украшен чернью, перегородчатой эмалью, аметистом, сердоликом. Без этого наперстка она не могла обходиться, занимаясь рукоделием, а потому, не найдя его в шкатулочке с иголками, пуговицами и другими швейными мелочами, решила спросить у княжон Елены и Анны. Закатиться и угодить в какую-нибудь щель на полу он не мог, потому что к нему была мастерски прикреплена тонкая золотая цепочка. Другой конец ее Екатерина пристегивала к золотому браслету на руке. Но, как бы там ни было, наперстка на месте не оказалось.

— У нашей тетушки потерялся наперсточек,— внимательно посмотрев на детей, громко сказала Наталья Борисовна. Уставив на мать глаза, малолетний княжич Дмитрий сполз на животе с лавки, взял мать за руку и подвел к крынке с простоквашей, стоявшей на полке за печкой. Когда вылили содержимое, там оказался не только наперсток, но и несколько брошей и булавок. Счастливый княжич радостно смеялся.

Не раз по ночам Наталья Борисовна оплакивала будущее своих детей, все больше напоминающих простых крестьянских детей.

Шел еще один день с мелкими житейскими хлопотами. Князь Иван с удовольствием чистил двор после обильных снегопадов. Он давно научился работать деревянной лопатой и метлой, и это ему нравилось. Упершись подбородком в черенок лопаты — передохнуть, он

вдруг стал всматриваться в идущих к их дому. Милитину Федоровну узнал сразу, но мужчину рядом с ней не то чтобы не узнал, а не поверил собственным глазам: «Неужто Дмитрий Леонтьевич?» — и, с шумом влетев в избу, крикнул:

— Поглядите, кто идет с Милитиной Федоровной!

Все бросились к крохотным окнам.

— Лейтенант! — радостно крикнула княжна Анна и, накинув на плечи шаль, выбежала на крыльцо, а за нею все семейство. Трогательной была встреча малознакомых людей, но она радовала всех. Истосковавшиеся по общению с людьми равными себе, они радовались встрече с человеком, помнившим их по прежней жизни. Это согревало душу. Они почти никогда не говорили о светской жизни, о случившемся, принимая свою опалу как должное, хотя память о высоком их положении в государстве в прошлом всегда присутствовала и заставляла с этим считаться. И только княжна Екатерина не вышла на крыльцо, была в полном замешательстве. Теперь царская невеста, какую видел в момент обручения с императором флотский мичман Овцын, была совсем не та капризная и влюбленная в себя княжна. У нее дрожали губы, в глазах стояли слезы. Она чувствовала, что, сколько бы ни старалась, не сможет скрыть своего волнения, понимала, что это от нестерпимого желания обнять Дмитрия Леонтьевича. Ей хотелось быть обласканной этим сильным, красивым молодым человеком, от которого веяло добротой. «Только бы и он не оробел!» — подумала она. В сенцах слышались громкие голоса. Не скрывая радости, смеялась младшая княжна Анна.

Распахнулась дверь. Первой вошла Милитина Федоровна.

— Встречайте гостя! — радостно щебетала она.

И каково же было ее изумление, когда княжна Екатерина, выпорхнув из своей горенки, птицей подлетела к Дмитрию Леонтьевичу и упала к нему на грудь. Она никогда не видела, ничего не слышала, только ощущала запах мундира, прикосновение его рук, обнимающих ее за плечи. Кто знает, как отнеслось к этой встрече семейство. Но Милитина Федоровна от неожиданности опустилась на скамейку возле порога, пыталась расстегнуть булавку, скрепляющую шаль под подбородком. Но не смогла: дрожали пальцы. Княжна Анна помогла ей справиться с этой булавкой, затем подала воды.

— Похудели-то вы как, Дмитрий Леонтьевич,— проведя теплой ладонью по его шеке, тихо сказала княжна Екатерина и, приподнявшись на цыпочках, несколько раз поцеловала в щеку обомлевшего лейтенанта.— Не сон это, Дмитрий Леонтьевич! — громко сказала княжна.

— Боже мой, неужто явь, государыня наша? — от растерянности лейтенант не находил нужных слов. Да кому они были сейчас нужны?

Молва о сердечной любви лейтенанта к княжне Екатерине витала над Березовом. Милитина Федоровна, когда надо было, умела молчать. Но на днях воевода получил донос, где подьячий Тишин ставил ему в вину, что ссыльным Долгоруковым живется слишком вольготно, тогда как существует указ с предписанием «держать их под крепким караулом». Аркадий Иванович будто ненароком спросил Милитину Федоровну о том, что ей известно об отношениях лейтенанта Овцына и княжны Екатерины. Милитина Федоровна удивленно пожала плечами.

— Но вы же знаете, что в городе идут ненужные толки. А вы там бываете часто, может, что и заметили.

— Да вы же, Аркадий Иванович, говорите со слов подьячего Тишина.

— Да, с его,— был ответ воеводы.— Но он человек из столицы. Ему со стороны видней.

— Кабы сам не топтал пороги возле них, не набивался в женихи к княжне Екатерине, и не заметил бы, как живут Долгоруковы,— возмутилась воеводша.

— Разве?

— Оттого и исходит злобой. Только один он и знает, что офицер Овцын ходил в баню с князем Иваном. Парились у мещанина Ерохина. Все в вину Долгоруковым, все им в вину ставит.

— Да, Милитина Федоровна,— улыбнулся воевода.— Не вместе ли с Тишиным вы писали донос на Долгоруковых? Слово в слово. Только там, уважаемая, добавлено: как бы такое попустительство не сказалось на вашей карьере, господин воевода.

— Ах он мерзавец! Экая дерзость! Убирался бы побыстрее восвояси. Всем глаза промозолил. Помолчал бы сам-то. Все знают: когда ездил по чумам — ведомости или какие книги составлял,— прелюбодействовал с молодыми инородками. И не как-нибудь, а против их

желания. И еще знаю: вогул Хозган чуть самострелом его не прострелил.

Аркадий Иванович махнул рукой, давая понять, что у него нет желания продолжать этот разговор. Так или иначе, к острогу был поставлен второй караульный, а князю Ивану опять на несколько дней не позволили выходить, только в церковь, и то под наблюдением капрала.

Подьячий Тишин, не стесняясь, повсюду ходил за лейтенантом: в гарнизон, в воеводство, в храм. Знал про него все и то, что нарочного отправил в Тобольск с просьбой к генерал-губернатору. Но, когда узнал, что предписано самой императрицей оказывать экспедиции всяческую поддержку, охладил свой пыл. А лейтенанту Овцыну и вовсе было не до какого-то подьячего Тишина. Его душа, казалось, поднялась к небесам. Он был счастлив, но боялся загадывать наперед, давать обещания, которым, быть может, и не суждено сбыться.

— Опять где-то промашку дал,— пожаловался князь Иван Оцыну, увидев в церкви караул.— Тут нам всяк господин,— с обидой в голосе произнес он. Князь явно не хотел показывать лейтенанту своей слабости. Так хотелось быть уверенным, что все эти беды не навсегда, что еще настанут и светлые дни в их жизни.— Надо ж было этому подьячему попасть мне под руку: «Может, еще придется сродниться»,— сказал он мне, имея в виду княжну Екатерину.

Овцын приостановился в изумлении.

— Вы это серьезно?

Князь кивнул, добавив:

— Княжна не знает про этот разговор.

Отыскав в толпе прихожан ютившегося возле семейства Долгоруковых неказистого Тишина, лейтенант уловил на себе его нагловатый взгляд.

— Дождется он у меня, намнем ему бока,— после неловкого молчания сказал князь и, взяв под руку княжну Екатерину, пошел к заснеженным холмам княжеских могил.— Попомнит еще,— и какое-то удальство сверкнуло в карих глазах князя Ивана.

— Не стоит руки марать,— сказал Овцын.

Княжна Екатерина не могла понять, о чем у них шел разговор, да и не хотелось ни о чем слышать, ни о чем расспрашивать. Рядом был Дмитрий. Он поправил на ней теплую шаль, угол которой ветер закинул

на меховую шапку, и будто мимоходом провел ладонью по ее щеке.

— Пойдемте в осторг берегом,— предложила княжна и потянула князя Ивана к острожному тыну.

— Ты что, Катерина? Там столько снега! Там только бродом.

— Хочу бродом! — настаивала княжна.— Там никто не глядит мне в спину.— С первых же шагов валенки ее наполнились снегом.

— Катерина! — пытался остановить ее брат, но она уже не могла вытащить ногу и разгребала снег руками, хотя и безуспешно. Лейтенант Овцын в три прыжка оказался перед княжной.

— За лопатой сбегаю,— не зная, как остановить сестру, предложил князь Иван, пробираясь по ее следу.

— Не надо лопаты! — смеялась княжна, и было что-то тревожное в ее неестественно громком смехе. Дмитрий Леонтьевич усердно утаптывал снег, по нескольку раз ступая в один и тот же след, протягивал княжне руку и тянул ее к себе. Все смешалось в снежном клубке: смех, снег, слезы, похожие на тающие снежинки, мимолетные поцелуи. И вокруг никого! Стена острожного тына, сугроб в человеческий рост, и они, безмерно счастливые! Князь Иван уже обежал по тропке острог, выскочил на обрыв реки и остановился в раздумье, как помочь им, таким бесшабашным. Брести навстречу? Не долго думая, спустился на легкой оленьей нарте, что стояла возле острога.

— Садитесь, садитесь. Я вытяну! — хохотал князь Иван, давно забывший о потехах.

Князь Николай прибыл в березовскую ссылку восемнадцатилетним юношей, поэтому женитьба его на вогулке Дусе не насторожила власть, хотя молодые березовские девушки долго смачивали слезами подушки.

Князь Николай был воспитан в традициях русского дворянства. Он не бывал за границей, как князь Иван и княжна Екатерина, несколько лет прожившие в Польше, где дед их многие годы служил в русском посольстве. Был человеком чести и высокой нравственности. Вспыхнув любовью к несчастной и прекрасной девушке-инородке, он никогда не изменил своим чувствам к ней даже в помыслах. Он не стеснялся своей избранницы и тотчас же познакомил ее с лейтенантом Овцыным.

— Какие у вас красивые руки,— сказала она Дмитрию Леонтьевичу, который немного даже смутился. Другое дело, если бы эта молодая женщина сказала ему, что руки горячие или даже дрожащие, что было бы тоже правдой. Но она сказала — красивые. Будто видела их.

По-видимому, инородке Дусе, из рода Гагар, жилось с князем Николаем счастливо, легко и свободно. И никто из княжеского рода не видел ее ущербности. Она была обворожительна. Ее наряд не блистал золотом парчи и блеском дорогих украшений, но простое ярко-красное платье с национальным орнаментом и расшитое бисером подчеркивало ее удивительное, чуть смугловатое лицо.

— Это моя благоверная Евдокия Евлампиевна. Батюшка ее — русский казак,— сказал князь Николай, а Дуся поклонилась и ушла, как хозяйка, распорядиться. Служивая девка стала быстро накрывать стол. На помощь ей явилась девушка с прикрытым цветастым платком лицом.

Это была младшая сестра Дуси — Акулина.

На столе появились экзотические кушанья, к которым сам князь Николай уже давно привык: сваренная большими кусками щука, запеченные в горячей золе куропатки, холодец из оленьих губ и множество ягод — от золотистой морошки до клюквы. Разложенные в сшитые из бересты маленькие чуманчики, они украшали стол, покрытый берестяной же скатертью. Но больше всего Овцына удивила строганина, когда на отдельный столик была принесена мороженая оленья холка, а возле нее положены острые ножи с крепкими костяными рукоятками.

— Николушка,— взмолилась княжна Екатерина, увидев, как князь Николай провел острием ножа вдоль холки. Показались тонкие завитки, похожие на стружку.

— Вот эта строганина!

— Николушка,— княжна отвернулась.

— Если бы этот кочующий народ не ел строганины, все давно погибли бы от цинги,— сказал он и проглотил сырой кусочек мяса, предварительно его посолив. Надо полагать, что никто более не притронулся к этому лакомству.

— Николай Алексеевич,— сказала подошедшая к столу Дуся.— Вы не слышите звона колоколец? Мне кажется, княжичи домой возвращаются.— Ее не обманул

слух. Из отцовского стойбища возвращались княжичи Александр и Алексей, которые, как стало известно позже, ездили к Евлампию на забой оленей.— Нынче был хороший отел. Оленей народилось много,— пояснила Дуся.

Присмиревшая, уставшая княжна Екатерина находилась в каком-то опьянении, когда явь борется со сном. Дмитрий бережно поддерживал ее под руку, когда они выходили из острога к берегу реки. Она не отошла от него и тогда, когда княжичи, ловко выпрыгнув из заиндевелых меховых савиков, положили на нарты хорей и выбежали на берег, искренне радуясь гостям.

— Как мне не хочется оставлять вас,— вырвалось из уст Дмитрия. Там, в снегу, княжна Екатерина показалась ему не столько уставшей, сколько глубоко несчастной и нуждающейся в его заботе и любви.

— А стоит ли тебе, Дмитрий, мерзнуть в снегах ради славы этой Курляндской герцогини? — не упустил случая сказать князь Иван, стоило им остаться вдвоем.— Объяви ей: в море пройти судами невозможно. Никто же не смог до тебя пройти вдоль берегов. Кто проверит?

— Не шути так со мной, князь Иван, если желаешь быть мне другом,— построжал лейтенант.— Мы делаем свое дело не ради Курляндской герцогини, а ради России.

— Не сердись, друг,— сразу же отступил Долгоруков.— Сердце лопнуть готово, когда слышу о ее владычестве, а главное, о Бироне, который правит все Россией. Носит самые высокие ордена нашего Отечества на голубой ленте! Замки ледяные строит, под корень норовит извести русского человека.

— Успокойся, князь. Все в нашем мире переменчиво,— вздохнул Овцын.— Только служение Отечеству — наш вечный долг,— и, как показалось князю Ивану, лейтенант говорил это не столько ему, сколько, и прежде всего, самому себе.

Глава пятьдесят восьмая



С вечера завьюжило: порывистый ветер поднял ввысь снежные вихри, белесой мутью заволокло всю округу. Метель срывала с деревянных изб и сараев доски и дранку, пугая спрятавшихся в конурах или под сенцами собак. В такие ночи плохо спит и человек — прислушивается к завываниям метели, и многим кажется, что слышат они чьи-то голоса, крики, плачи. Кто-то встает и молится, другие ворочаются с боку на бок, стараясь забыться во сне, другие подходят к окнам и видят, что буран забил снегом слюдяные окошки и до неузнаваемости перемел дорогу, забелил крыши, ворота, стены соседних изб. Березовчане знают: не занеси с вечера в сенцы лопату — долго придется откапывать двери, занесенные снегом.

Именно в такую метельную ночь держал в своих объятиях лейтенант Овцын княжну Екатерину. Лежал в постели и не верил, что она, такая недотрога, лежит на его руке притихшая, с затаенным дыханием. Только влажные теплые губы княжны шепчут ему на ухо какие-то волшебные слова. Он не понимает их, но от них кружится голова. Молодое, крепкое тело княжны горячо, руки нежны.

— Царица моя,— прошептал Дмитрий Леонтьевич, боясь поверить, что это не сон.

Стучит в слюдяное окно метель, шуршат промороженные снежные лавины по покатой крыше острога.

— Братцы останутся в стойбище. Евлампий не отпустит их в такую метель. Это наша ночь с тобой, Митенька. Наша! — шептала Екатерина.— Обидно-то как, даже ложе с любимым разделить негде. И как это ты уговорил караульного?

Не мог же лейтенант признаться княжне, что этому надоумил его князь Иван. Так прямо и сказал Дмитрию: «Не томи Катерину. Любит она тебя. По глазам вижу. Дай караульному денежку, он и закроет глаза.

Келья братьев пуста. Хоть одну ночку побудете вместе — и то слава Богу. Не знаю, как ты, а Катерина извелась, по ночам плачет. Никола-то с Дусей не маленькие».

Сильный порыв ветра ударил в окно. Хлопнула дверь в келье Николая.

— Неужто скоро утро? — крепко обняла княжна Дмитрия.— Куда в этакую пургу торопиться?

Губы его пересохли, внутри все было опалено жаром, мелкая дрожь нет-нет да пробегала по его спине.

— До отдыха ли нам, голубь мой? Когда еще такое счастье явится? Когда еще смогу вот так погреться возле тебя? Жарок ты. Твое тело негой дышит. Боже, любо-то как.— Со стороны дверей послышались глухие удары.— Никола из острога выйти не может. Дверь снегом завалило,— догадалась Екатерина.

— Надо помочь.

— Ты чего, Митенька? — обнимая его, говорила княжна.— Да пусть метет эта пурга не переставая, пусть завалит весь острог... Караульный-то там услышит. Ему сподручно... Не поднимайся, не уходи.

Метель, будто испугавшись ночных проказ, к рассвету утихла, оставив на поле боя сброшенные с крыш тесины, оторванные доски, разметенные с поветей клочья сена, пересыпанные снегом, и они, как косматые бабьи головы, торчали то тут, то там.

На широких охотничьих лыжах, обитых оленьим камусом, прокладывали вдоль дороги лыжню веселые ребятишки. Лихо промчались к кабаку оленьи упряжки. Лошади тяжело и грудно буровили снег.

Приближалось время Обдорской ярмарки. Торговый люд тянулся в северный край со всех сторон. За многие годы научились бывалые люди торить дороги в снегах.

Глухо, будто из-под земли, звонил церковный колокол, сзывая христиан под своды храма. «Какая благодать!» — подумалось в этот миг морскому лейтенанту, не знавшему домашнего уюта, ласки женщины, посвятившему свою жизнь морскому делу, морской стихии. Конечно, он многое отдаст за счастье быть рядом с княжной. Он согласен разделить с ней все годы опалы, прожить в Березове до конца своих дней, но только потом. Только после плавания. До этого он не вправе обещать ничего. За его плечами великое дело.

— Мне, Катенька, ничего на свете не надо, кроме того, что ты рядом со мной,— ответил Дмитрий.— Мне бы

экспедицию успешно провести, описать морское побережье, чтоб русские суда первыми прошли возле этих берегов, и тогда жить спокойно стану.

— Молиться буду за твое возвращение, Митенька,— шептала Екатерина.— Видать, трудное дело тебе предстоит делать. Чего я в нем понимаю?

— Кабы легкое было — давно бы уже сделано было. И до нас неглупые люди жили. Сколько раз порывались к северным морям выйти, да не могли: многие в снегах замерзали, многие от болезней умирали, многих льды раздавили.

— Так зачем зимой-то идти в эти страшные моря? — удивилась княжна.— Поди-ка, в теплое время проплыть можно.

— Не сумел,— признался Дмитрий.— Отчего оказался в Березове? Да все оттого, что к морю не вышли, а Обская губа льдами заполнилась. Зимовать надо было в безлесой тундре. Вот и воротились в Обдорск. С первыми льдинами да по сделанным промерам и выплывем в море, а там как Бог пошлет.

Княжна затаилась, услышав о предстоящем плавании.

— А вдруг да ваше судно во льдах замерзнет?

— На Бога надейся, а сам не плошай. Вот почему и надо быстрее в Обдорск возвращаться, к своим друзьям-матросам.

— Боже мой,— с дрожью в голосе сказала княжна.— Не думала, что такие ждут тебя страсти.

— Один мой товарищ, Василий Прончищев, перед походом женился, так жена его молодая, Мария, добилась того, что тоже отправилась в плавание. Они из Иртыша плыли к Енисею, там по Верхней Тунгуске, потом...

— А она-то зачем в этакие места напросилась?

— Чтобы рядом с любимым человеком быть.

— Долго она была в экспедиции? — полюбопытствовала Екатерина.

— Более четырех лет. Одним словом, до самого своего смертного часа.

— Там и умерла?

— Вначале умер Василий. Похоронили его на берегу Оленекского залива, где они остались на зимовье. Всего две недели пережила его Мария. Она умерла от болезни и горя. Похоронили ее на том же высоком берегу, рядом с мужем. И над ее могилой прозвучали ружейные

выстрелы. Команда прощалась с Прончищевыми и поклялась закончить начатую экспедицию. Он выходил к Енисею с востока, а мне надлежит пройти такой же путь с запада.

— Митенька, прости меня, неразумную,— зарыдала княжна.— Откуда мне все это знать? Сколько же времени будешь ты в плавании?

— Пока не пройду к Енисею,— ответил Дмитрий, сожалея, что эту божественную ночь закончил таким печальным рассказом.

— Боязно, Митенька. А вдруг да тебя тоже болезнь подкараулит или на зимовье не успеете вернуться?

— На все, моя царица, Господня воля. На то у меня друзья-товарищи есть.— Дмитрий откинулся на подушку. В слюдяное окно еле-еле пробивался свет, и Екатерине был хорошо виден профиль любимого: высокий лоб, прямой нос, волевой подбородок.

— Голубь ты мой! Нет, орел ты мой! — поправила она себя и, приподнявшись на локти, припала к его горячим губам.— Прости меня, Митенька,— уже в который раз просила она его, словно позабыв все остальные слова. Овцын молчал какое-то время, понимая, что такие безумные ночи, как эта, выпадают нечасто, и за это надо благодарить судьбу.

— Все хорошо, царица моя. Одарила ты меня своей любовью — вспоминать буду всю жизнь.

— Зачем же так, Митенька? Зачем же так говоришь — вспоминать буду! Не можем мы с тобой теперь расстаться. Ждать тебя стану. Раньше бы не сказала этого. Прости меня за все! В ноги тебе поклонюсь.

Овцын стал строг и замолчал, крепко прижав к себе княжну, и этим было сказано больше, чем словами.

Подьячий Тишин извелся: пора бы уже возвращаться на службу, а он никак не может оставить Березов. И все, считал он, из-за лейтенанта. Значит, ему можно любезничать с Катериной, а ему, Тишину, дорога заказана, думал Тишин. Ясное дело, были вместе. Тишина не проведешь! По глазам видно. Все внутри подьячего дрожало. Не будь этот лейтенант обласкан всеми, даже самим генерал-губернатором, он давно бы нашел способ отвадить его от Долгоруковых, но этот для него был крепким орешком. На него в драку не пойдешь, вразумлял себя подьячий, покусывая губы. Плюнуть на эту

княжну да уехать. После можно и вернуться. Куда она денется? Про нее, про эту царскую невесту, все говорят шепотом, а главное, о том, что блюдет она себя строго, с каждым не разговаривает, а с домашними, караульные сказывают, поступает, как обычная русская баба — ссорится с князем Иваном, говорит непотребные слова. В гневе может выбросить всю посуду во двор, а служанку оттаскать за косы. Смертная, как и все. Попытать удачу все-таки решил.

Подкараулив ее из храма, бесцеремонно взял за руку и, глядя ей в глаза, сказал:

— Я нынче вечером назначаю вам свидание.— Оглянувшись по сторонам, добавил: — Как к дому подкатит кибитка...

— Как смеешь, раб! — вспыхнув, громко сказала Екатерина.

— Нет, не кибитка, я сам приду за вами,— глядя белесыми глазами, паясничал Тишин, пытаясь обратить на себя хоть чье-то внимание.

— В чем дело? — лейтенант интуитивно почувствовал, что этот человек с бегающими глазами говорит княжне что-то неприятное.

— Да вот княжне свидание назначаю, а она на этот раз отвергает меня. Так не забудь, княжна, я буду ждать.

У княжны Екатерины от гнева перехватило дух. Она не знала, что сказать, и, запинаясь в длиннополой шубе, бежала домой, уливаясь слезами.

— Катерина Алексеевна, не слушайте этого негодяя! — с порога крикнул Дмитрий Леонтьевич.— Он нарочно это говорил, чтобы обидеть вас.

Князь Иван не стал долго разговаривать, собрался и пошел прямиком к казачьему атаману Якову Лихачеву, с которым любил проводить веселые застолья. Там, ясное дело, пили сивуху. Мурлыкал какую-то песню под нос боярский сын Кошпиров, невесть откуда взялся чеботарь Василий Горцунов. Громко обсуждали и спорили о ценах на мягкую рухлядь. Яков утверждал, что в цене будет соболь, он только что вернулся с охоты, знает, что зверек этот нынче ушел на восток, там было больше корму. Орал еше и потому, что ввязались в разговор совсем ничего не знающие в охотничьем деле мужики: чеботарь безногий да боярский сын, ни разу не бывавшие в лесу.

— Туда же лезут! — сплюнул Яков и, облегченно вздохнув, пригласил за стол князя.— Вот он, к примеру, коли ничего не знает в охотничьих делах, так не лезет.

— Погоди,— остановил его князь.— Охота охоте — рознь. Если я тебе расскажу про царскую охоту, так у тебя волосы зашевелятся. А нынче мне не до разговоров.— Он подмигнул атаману, приглашая выйти для разговора в сенцы.

— Понял,— после недолгого разговора ответил атаман.— Сделаем. Посчитаем ребрышки. А то я все дивлюсь: чего он в Березове торчит? Что вздумал! — На том и расстались. Про атамана ходила молва: атаман он везде атаман! Лихачев — не его подлинная фамилия, доставшаяся от отца с матерью, а так прозвали его люди за нрав.

На следующее утро княжна Анна, ходившая за молоком, прибежала домой, запыхавшись:

— Подьячего-то Тишина, сказывают, так отдубасили, что он до сих пор в беспамятстве лежит.

Из своей горенки выбежала княжна Екатерина, испуганно поглядела на князя Ивана, который был в эти дни трезв.

— Главное-то, по башке трахнули,— слово в слово передала княжна услышанное на улице.— И будто это сделал безногий чеботарь.

Князь Иван громко захохотал.

— Больше во всем Березове не нашлось кому. Ха-ха!

— Да он смирен, этот чеботарь,— заступились за Василия Наталья Борисовна, но тут же вспомнила, как увидела его бегущим из бани за своей женой.

— Говорят, в снегу следы от костылей. Возили чеботаря в гарнизон,— продолжала княжна Анна,— а он отпирается. Сказывает: мимо проходил, а подьячий уже лежал возле конюшни. По пути? — спрашивали.— Живешь на другом конце.— А он свое: мол, пьян был, повсюду кружил. Может, и там водила нечистая сила. Ну подумайте, на что мне сдался этот подьячий?

Василий-чеботарь, конечно, говорил неправду. Это они, после ухода князя, подкараулили захмелевшего подьячего и устроили ему темную.

Очнулся Тишин в лазарете казачьего гарнизона. Долго не мог понять, где лежит и что с ним, кто осмелился поднять на него, государственного человека, руку? На первое место поставил лейтенанта Овцына и князя

Ивана. Но, как выяснилось, один был под караулом, второй ездил с капитаном Петровым в ближайшее стойбище — нанимать оленьи упряжки для отъезда в Обдорск. Узнав от следователя, что, по всей видимости, это дело рук безногого чеботаря, рассердился не на шутку: за дурака держите! Поплатитесь за такие штучки! Горько поплатитесь!

Донос его на опальное семейство Долгоруковых, адресованный не только в тобольскую канцелярию, но и в Петербург, был готов.

Глава пятьдесят девятая



Не могла Анна Ивановна при своем царственном могуществе допустить, чтобы жила среди людей молва о том, что именно они, Долгоруковы, помогли ей, Курляндской герцогине, взойти на русский престол. Первой ее жертвой стал всеми почитаемый, в прошлом предмет ее любовных увлечений, член Верховного тайного совета, наместник, посол, губернатор, кавалер многих орденов — Василий Лукич Долгоруков, тот, который привез ее из Митавы. Он почти восемь лет просидел в каменном «мешке» Соловецкого монастыря, куда еду ему спускали на веревке. А он, поедаемый вшами, гревшимися на его изможденном теле и шевелившими отросшую ниже пояса бороду, был обезглавлен. Стоит ли после этого описывать другие его страдания.

К этому времени она уже, насладившись земными благами, перепробовав все, на что был способен ее изощренный ум, тлела не только душой, но и телом. Подкарауленная раньше времени неизлечимым недугом, а было ей без году пятьдесят, Анна Ивановна стала страшна своим видом. Она и раньше-то не блистала красотой, а теперь, заплыв нездоровым жиром, с одутловатым, съеденным оспой лицом, стала еще страшнее.

Мучившая ее жаба клокотала в зобу и мешала дышать. Большие черные глаза, когда-то излучавшие блеск, помутнели, провалились в больших глазницах. Облаченная в парчовые наряды, она еле передвигалась по дворцовым кабинетам, изнывая от злобы, ненависти ко всему молодому, здоровому, красивому.

К великому несчастью рода Долгоруковых, о них не забывали. Понадобился посланник в Англию, и оказалось, что самым подходящим из всех высокопоставленных особ был князь Сергей Долгоруков.

— Опять Долгоруковы? — воскликнула она.— В европейских газетах давно сообщали о государственных воровских замыслах Долгоруковых, в которых они не только были изобличены, но и сами винились. Сколько им рубили головы? Все они были в фаворе: дипломаты, сенаторы, губернаторы, фельдмаршалы... Сколько же их еще? Близко не подпускать их к трону! — кричала императрица, а перед глазами будто воочию стояла царская невеста Екатерина. Она помнила ее еше по измайловскому дому, в ее счастливые минуты с племянником Петром Вторым! Красавец, царский фаворит князь Иван, его жена Наталья Борисовна Шереметева — все они теперь несут наказание в Сибири. С корнем надо выкорчевать этот род. Всех на эшафот.

Уж как кстати письмо-донос из Тобольска! Главный инквизитор России Андрей Иванович Ушаков от удовольствия потирал руки. Там, в Тобольске, начальником тайной канцелярии работал его родственник. Проворны подлые люди! Облеченные властью, уверенные в своей безнаказанности, палачи выслеживают свои жертвы.

Иван Лукич Ушаков сам отправился в Березов. В руках его было наставление: втянуть Долгоруковых в опасное дело, хотя и одного доноса подьячего Тишина хватило бы для приговора. Все давно забыли про тумаки, доставшиеся подьячему Тишину. Мало ли кому после этого разминали косточки березовские мужики. Получали их и свои, и заезжие задиры. Ничего, поделом. Какие обиды промеж собой? Русский мужик отходчив. «По рукам!», «на посошок» — и обида прочь.

Капитан Сибирского гарнизона Ушаков тоже был русским человеком. Но в этих делах у Андрея Ивановича Остермана была своя тактика. Старый и осторожный интриган, жаждущий власти, осторожничал сам и учил

этому Бирона: мы, немцы, не можем пачкать руки в крови... Наше дело властвовать и управлять. С русскими пусть русские сами и управляются.

А они, немцы, чувствуя в это время угасание власти Анны Ивановны, уже принюхивались к богатому царскому пирогу, состряпанному на разорении богатых русских родов. К тому времени в ограбленной, обнищавшей стране Анна Ивановна была самой богатой из всех до нее правящих российских императоров. Свое кровавое десятилетие она наполняла сундуки всем, что попадало под руку.

Анна Ивановна и в своих приближенных видела ту же жадность.

— Запрещаю делить мое наследство, пока я жива! — говорила она, задыхаясь.— Или... рука не дрогнет.

— Моя Анхен! Ваше Императорское Величество! — вопил Бирон, ползая возле ее ног и целуя колени. Струсил и Остерман. Мало ли что может прийти в голову этой бабе, суть которой, как они понимали, состоит из одних пороков.

Быть может, именно хитрый ум Остермана навел императрицу на мысль о полном истреблении Долгоруковых. Не Бирон, а именно он, Андрей Иванович Остерман, боялся в случае смерти Анны Ивановны возвращения ко двору этого славного рода.

Опальному семейству уже был подписан смертный приговор. Явившись в Березов, Ушаков сумел выведать все: с кем и когда бражничал князь Иван, принимал ли начальник гарнизона Долгоруковых, бывал ли у них в гостях? Какие оскорбительные слова говорил во хмелю князь Иван про Ее Императорское Величество? Кто из духовенства благоволил к ссыльным? Все выведал незаметно.

Прибыв первым суденышком, Ушаков простудился. Капитан Петров сам парил его в бане, отпаивал малиновым чаем. Хвалил семейство Долгоруковых, особенно княжон. Он искренне надеялся, что вскорости может быть послабление для опальных Долгоруковых.

Давно пролетели перелетные птицы, береза распустила лист, хотя с севера еще дышали холодные ветра. Жена князя Николая Дуся стала задумчивой и плохо спала по ночам. Князь Николай не сразу заметил это...

Дусю он нашел на берегу Сосьвы. Накинув на плечи теплую малицу, хрупкая женщина стояла на коленях, подняв руки к небу. Явно, она обращалась к своим богам. «Чем же я обидел ее? — промелькнула мысль у князя Николая.— Разве обиделась, когда я попросил ее вместо малицы надеть бархатную шубу Прасковьи Юрьевны, завещанную любой из первых снох. Она ничего не сказала, но не надела. Может, по их обычаям этого делать нельзя? Но Дуся не из таких, чтобы не сказать обо всем без утайки. Она человек рассудительный, коли обручилась в русской церкви, значит, поверила в Божье заступничество. Теперь же обращается к своим богам».

— Дуся,— позвал ее князь шепотом, чтобы не испугать.— Дуся.

Быстро вскочив с колен, как зрячая, Дуся быстро подбежала к Николаю и уткнулась лицом в его широкую грудь.

— Я боюсь! — сказала она, и князь почувствовал, как дрожат ее плечи.

— Я здесь. Кого ты боишься, моя лебедушка?

— Гагары боюсь,— ответила Дуся.— Послушай, как она плачет,— она беду учуяла.

Князь Николай насторожился. И в самом деле, со стороны озера, расположенного на другой стороне Сосьвы, доносился стон гагары. Даже не видя птицы, можно было представить, с какой надсадой вытягивает она шею, чтобы оповестить округу таким громким и тревожным криком.

— Ты чего, Дуся? — попытался он успокоить жену.— Да теперь перелетная пора. Сколько птиц прилетело. Что ты, Дуся?

— Не говори так, князь. Не говори так, Николушка! — возразила она.— Гагара — птица нашего рода. Она не станет понапрасну тревожить нас. Все птицы после отдыха улетают. А она осталась. Кричит уже много ночей. Почуяла беду. Плачет, что не может помочь.— Была в этих словах какая-то страшная правда.— Она плачет много ночей, будит меня! Что же не едет отец? Я жду его, жду. Он может не слышать, как не слышишь и ты, и все Долгоруковы. В том нет вашей вины. Гагара — наша птица. Наша покровительница, и мать моя тоже не спит. Быть может, они завтра приплывут к нам.

Дуся редко бывала у Долгоруковых в меншиковском доме — вначале стеснялась княжон и того, что не так

выговаривала русские слова, а может, из-за своего наряда или из-за всего вместе.

Впервые ее привела в дом сама княжна Екатерина. В очередную годовщину со дня смерти Прасковьи Юрьевны князь Николай наотрез отказался прийти без своей избранницы. Тогда она была усажена за стол и долго ощупывала пальцами кромку льняной скатерти, украшенную простой мережкой. Все были с ней учтивы. Она чувствовала это и улыбалась. Особо привязалась к ней младшая княжна Анна. Привезенная в Березов совсем ребенком и не получив никакого светского воспитания, если не считать семейных традиций, она походила на обыкновенную березовскую девочку и благодаря этому быстро сошлась с Дусей, которая, в свою очередь, научила ее многим житейским премудростям.

Наталья Борисовна тоже жила в какой-то постоянной тревоге, и приход Дуси насторожил ее. Княжна Анна обрадовалась, подбежал к Дусе и маленькой княжич Мишутка с клеткой, в которой жила белочка. Когда Дуся, сложив трубочкой губы, высвистывала какие-то звуки, белочка соскакивала с колесика и доверительно подбегала к тонким прутикам клетки и даже брала из рук Дуси кедровые орешки или сухарики.

— Что сегодня делают княжичи? — поинтересовалась Наталья Борисовна.

— Лодку смолят под берегом. Алешенька хотел меня к вам проводить, да я с делами не справилась. Самой надо делать. Как сестрица что сварит, княжичи сердятся. А как я сварю, едят — не разговаривают. Поди, слышали: у нас из острога служанку убрали. Караульный сказал: не положено, а она была проворная. Разве про то князь Иван не ведает?

— Запамятовал,— вздохнула Наталья Борисовна: князь Иван опять три дня был в запое.

— Сердце давит? — спросила Дуся, уловив вздох Натальи Борисовны.— У меня тоже все внутри дрожит,— призналась.— И ночами плохо сплю.

— Отчего же? Не заболела ли?

— Гагара спать не дает, по ночам кричит, плачет, будит меня.

— Какая гагара? — Наталья Борисовна взяла Дусю за руку и вывела на крыльцо, села с ней на скамеечке.

— Примета плохая, Наталья Борисовна, когда гагара плачет. К беде это.

— Откуда ты все это знаешь? Мало ли какая птица кричит? Может, дерутся из-за старых гнезд.

Дуся помотала головой.

— Гагара — птица нашего рода, наша покровительница. Наш род от нее! По Сосьве и Лозьве, по берегам рек и озер, текущих в эти реки, живет наш род Гагар. Разве я не похожу на гагару? — Дуся вдруг встала перед Натальей Борисовной, приподняла горделиво голову, откинула назад плечи, будто поправила крылья.

— И в самом деле...— замерла Наталья Борисовна, не найдя слов для ответа.

— Гагара плачет,— уже твердо сказала Дуся.

— Какая беда, Дуся? Недавно из Тобольска приезжал высокий чиновник, чай у нас пил, поговаривал: может, скоро нашему семейству придет послабление.

Дуся стояла наклонив голову, словно виноватая.

— Гагара плачет,— тихо повторила она, и сказано это было с такой горечью, что Наталье Борисовне стало не по себе.

Ушакову можно было уже уезжать, но он, как хищник, схвативший добычу, предвкушал наслаждение. С какой-то особой изощренностью ругал и хулил он императрицу. Порой князю Ивану казалось, что нет на свете таких слов, какими бы он не обозвал хозяйку российского трона. Уходил всегда в каком-то возбужденном состоянии, злорадствуя, «сейчас захлопнется за вами западня».

Еще его интересовал морской офицер Овцын, упомянутый в доносе Тишина. Однако никто ничего не знал о делах экспедиции и потому не мог рассказать чего-нибудь вразумительного. Но все подтвердили: в доме у Долгоруковых молодой человек бывал частенько.

— А сказывают, с бывшей царской невестой сильно амурничал? — спросил капитана Петрова. Тот стушевался.

— Не ведаю,— и уж совсем доверительно добавил: — Милитина Федоровна в Березове про все сердечные дела знает.

— Кто такая?

— Да вы гостили у них! Жена воеводы. Она у нас щебетунья.

Милитине Федоровне приезжий господин совсем не понравился. Была в его голосе злость. Она промелькнула и в глазах, глубоко спрятанных под густыми черными бровями.

— Про того морского лейтенанта ничего не ведаю,— затрясла она из стороны в сторону головой.— Они, люди образованные, с какой стати станут со мной о чем-то разговор вести?

— Сказывай! — грубо сказал Ушаков, готовый ударить ее.

— Эко какие страсти! Али ты оборотень какой? — закричала Милитина Федоровна и скрылась в дальней горнице.

Ушаков уже не владел собой. Придя к капитану Петрову, не смог сдержаться. С порога вызывающе крикнул:

— Та растопча не такая дура, как вы! Может, ты сам держал за ноги царскую невесту?

Захар Демидович замер и какое-то время не мог вымолвить ни слова.

— Ладно, молчи. И до лейтенанта руки дотянутся.

— Судно причалило. Вас ждут на берегу.

Увидев побледневшее лицо капитана Петрова, Ушаков несколько поутих.

— Пошли,— сказал пренебрежительно, ногою открывая дверь. Капитан Петров шел к берегу, еле переставляя ноги.

Семейство Долгоруковых, живя надеждой на то, что, быть может, вскорости им придет послабление, приветливо улыбалось Ушакову, который с размаху бросил на палубу мешок с отборными соболями и, прежде чем пройти по трапу, отозвал капитана Петрова в сторону:

— На, олух, указ Ее Императорского Величества! И чтоб выполнен был в точности и сегодня же! — Сделав несколько шагов, обернулся: — Будет проверено. Выполнить сей же день.

Капитан Петров еле дошел до первой березы, присел возле нее, прижавшись спиной к стволу, и почувствовал нестерпимую боль в сердце.

— Так обманулись. Все обманулись. Во всем обманулись,— твердил Захар Демидович, передавая указ атаману Якову Лихачеву, который не мог ничего прочитать и подозвал князя Ивана.

Князь Иван принял указ с какой-то смиренностью.

— Не наша воля, князь,— взмолился атаман Лихачев.— Сам видишь, как он всех нас обвел вокруг пальца.

Князь Иван дня за два до этого распознал Ушакова, но было уже поздно.

— Домой пойдешь али как? — растерялся атаман.

Узнав об аресте князя Ивана, предписанном Ее Императорским Величеством, Наталья Борисовна словно окаменела: не было сил ни плакать, ни кричать, ни говорить, ни двигаться.

— Говоришь, Дуся, гагара плакала? — спросила сноху Наталья Борисовна.— А она, сердечная, правду вещала.

— Наташенька, свет ты мой лазоревый. Ненаглядная моя лада,— прижимал к себе жену князь Иван. Громко и жалобно вдруг заплакал Мишутка, все время игравший на берегу с березовскими мальчишками. Бросился к отцу на шею.

Весть об аресте князя разнеслась по Березову мгновенно. Трудно было представить опальное семейство без этого красивого, беззлобного человека. К меншиковскому дому семейство шло, как на похороны.

— Я погожу, Иван Лексеевич,— назвал Яков Лихачев князя по имени-отчеству.— Туто, на завалинке посижу.

— Прости меня, Наташа. Чуяло мое сердце — не принесу я тебе радости и счастья. Вспомни-ка, говорил: не вяжи своей жизни с моею.

— Про то ли теперь говорить, радость моя,— поборов в себе растерянность, ответила она, но не сдержалась, когда княжна Екатерина вдруг упала перед братом на колени:

— Прости-и-и! — И все княжны и княжичи, а с ними и вогулка Дуся на коленях просили у него прощения. Просили прощения за все, что было сделано и чего уже никогда не изменишь. А он, на удивление им, оказался таким терпеливым.

— Возьми-ка, Наташа. Как добрые времена придут, снова сама и наденешь,— попытался улыбнуться и снял с пальца перстень со смарагдом, подаренный государем Петром Алексеевичем фельдмаршалу Шереметеву и завещанный Борисом Петровичем своей дочери Наташе. Отец велел надеть перстень на палец ее суженому, что и было ею сделано при обручении.

Глава шестидесятая



По возвращении в Обдорск лейтенант Овцын остался доволен командой. Побывавшая целое лето в объятиях обских волн команда удостоверилась, что тут шутки плохи, что на удачу надеяться — гибельное дело. Питали надежду на проложенный форватер и лот.

Настроение у Дмитрия Леонтьевича было неописуемо радостное. Образ княжны Екатерины всегда и везде сопровождал. Каких только слов не сказала ему княжна: сердечных, доверительных, тихих, от которых замирало сердце. Ненароком услышав о ее вздорном характере, Дмитрий нашел этому оправдание. Он понимал, что по-другому, не защищая себя, ей трудно было выжить в этом мире, сохранив себя, чистоту чувств. Многим хотелось в этом жестоком мире прикоснуться к девичьей красоте и сделать ее покладистой игрушкой в своих руках. И здесь, в Сибири, она не давала никому повода даже заглаза судить себя каждому встречному-поперечному. Она и там, в столице, не могла допустить, чтобы по дворцовым коридорам шептались о ней, как о цесаревне Елизавете, которая для любовных потех переодетой являлась в солдатские казармы лейб-гвардии Павловского полка, а в ее дворце светские отроки находили себе место для любовных увеселений.

Но все это уже быльем поросло. У лейтенанта Овцына была одна, главная цель: удачное плавание экспедиции. Только тогда он сможет дать волю своим мечтам, только тогда он сможет с полным правом просить если не разрешения на помилование княжны Екатерины, то своей отставки. Он готов был приехать в Березов и жить там, лишь бы быть рядом со своей любимой.

С нетерпением ждали мореплаватели-исследователи ледохода. Побывавшая в обских волнах дубль-шлюпка «Тобол» смело держала курс вниз по Оби и скоро вышла на просторы, где уже не было видно берегов. Подняли паруса. Скоро шлюпку, как легкую щепку,

стало бросать с волны на волну. Лейтенант сам стоял за штурвалом. Немилосердно светило солнце, хотя и не хватало у него сил растопить громадные льдины, плавающие огромными айсбергами, между которыми надо было прошмыгнуть крохотной шлюпке и баржам. Команда знала свое дело: измерялась глубина, сила ветра, наносились координаты, описывалась береговая линия. Вышли за Ямал, сумели обогнуть северный мыс полуострова, поставили на нем высокий маяк. А ветер уже снова гнал редкие снежинки: они уже покрывали палубу, липли к парусам, предвещая ненастье. «Добраться бы до устья Енисея!» — думал каждый, когда разыгравшийся шторм готов был рассыпать судно на щепки. Морозы уже дышали в лицо. Ледяное крошево шуршало и покачивалось. По всем предположениям, здесь должно быть устье Енисея. Никто еще и никогда не проплывал мимо этого побережья!

— Енисей! Енисей! — восторженно закричали мореплаватели, радуясь близости земли, близости берегов. Многие из членов экспедиции болели, двое матросов метались в бреду, но, услышав радостные крики, приободрились, поднялись на палубу. По Енисею до Туруханска еще триста верст! С какой легкостью пробегают это расстояние оленьи упряжки! Сколько проложено оленьих троп от Оби до Енисея! Но Овцыну с его командой нужно пройти водным путем, водной дорогой.

«Нет, триста верст до Туруханска не проплыть. Не успеть!» — думал Дмитрий, но он знал, что к устью Енисея должен был выйти Михаил Выходцев. Он должен был нанять оленей у кочевых ненцев, сделать съемку восточного берега Обской губы и выехать к устью. Так и оказалось. «Тобол» был оставлен на зимовку севернее Туруханска. А всю команду на оленьих упряжках доставили в поселение.

Полярная ночь наступала с непрерывными ветрами, способными за одну ночь сровнять с берегами русла многочисленных безымянных рек. Северная зима! Завывают вьюги, метут метели, тревожно воют собаки. Как плач, слышится протяжный, монотонный напев каюра, вырывающийся из груди лишь для того, чтобы напомнить себе, что еще жив.

Больной, с кровоточащими от цинги деснами, распухшим лицом, глухим кашлем, приехал Дмитрий Леонтьевич в Туруханск. И в первую же ночь ему приснилась

Екатерина. Пришла веселая, улыбающаяся. У Дмитрия радостно забилось сердце. Но, откуда ни возьмись, появилась перед ним река и крохотная лодка-калданка. Княжна оказалась в ней без весла, и крутые волны стремительно понесли эту легкую лодку. Дмитрий проснулся и сел, обтирая ладонью вспотевшее лицо. Спал он в крохотной комнате капитана казачьего гарнизона Игнатьева, на грубо сколоченном топчане, устланном оленьими шкурами. От топившейся печи было жарко и душно. Появившийся в дверях усатый, ростом под потолок парень только кивнул головой и первым делом подал Дмитрию Леонтьевичу кружку с густым темным отваром пихтовой хвои.

— Выпейте все,— приказным тоном сказал парень.— У нас здесь таков порядок,— сказал и ждал, пока лейтенант, испытывая неимоверную горечь во рту, выпил все до последнего глотка и, зажмурившись, еще долго передергивал плечами.

— Матрос Воробьев умер,— после недолгого молчания сказал лекарь.— Простыл сильно и помер в горячке, не приходя в память.

Дмитрий Леонтьевич не удивился случившемуся. Еще на судне матрос Воробьев был в постоянном бреду и мало кого узнавал из товарищей. «Почти все, хотя несколько времени, пребывали головными, грудными, цинговыми болезнями, паче горячками больны»,— написал в этот день в своем дневнике лейтенант Овцын после отпевания матроса в крохотной часовне Туруханска.

Настроение было подавленным: почти все члены команды еле передвигались и со страхом думали, что бы могло случиться с ними, не найди они устье Енисея и останься на зимовку во льдах!

Скоро лейтенант поправился. На широком столе, сколоченном из толстых плах, при тусклом свете лучины принялся Дмитрий Леонтьевич за обработку собранных в нелегком плавании материалов. Не сделай он этого, не составь карты, не определи контуры берегов, не произведи измерения и промеры, не обозначь точные градусы больших и малых островков и полуостровов — все плавание могло был так и остаться трудным путешествием, забытым всеми. Лейтенант флота Овцын знал важность этой работы и старался изо всех сил. Только бы все доставить в Адмиралтейство! Только бы сделать так, чтобы все было сделано безошибочно и дать

возможность уже другим судам проплывать по этим местам безбоязненно и уверенно. В работе его подогревала мысль: будущая встреча с княжной! Быть может, он обретет свое счастье. Иногда являлась шальная мысль: сесть на оленьи упряжки и умчаться в Березов. Путь не ближний, но проторенный. Хотелось хоть одним глазком посмотреть на княжну, хоть часок посидеть за столом гостеприимных Долгоруковых. То ему вдруг вспоминался сон: что княжна куда-то уплыла на верткой калданке, и это беспокоило лейтенанта. В один из вечеров, когда вернулся из якутовских стойбищ капитан гарнизона Игнатьев, они предались воспоминаниям. Дмитрий, не называя имени своей княжны, рассказал сон, на что захмелевший Игнатьев, растягивая слова, сказал:

— Дела твои плохи, лейтенант. Не твои, а твоей возлюбленной. Уплыла она. У-плы-ла!

Дмитрий Леонтьевич изменился в лице, тихо вымолвил:

— Не может такого быть.

— Не знаю тогда, что тебе и ответить. Я снам доверяю и разгадывать их умею. Только хочу узнать, какой это был день недели. Не во все дни сны сбываются. Если среда или пятница — то сны пустые, а если в другие дни, то, как говорят, сон в руку! К счастью, он не помнил дня недели, и это вселяло надежду, что слова капитана пустой бред.

Наутро он снова сидел за составлением карты. С особой тщательностью описывал побережье между Обью и Енисеем, указав два особо трудных участка к северу от Ямала — семьдесят третий градус северной широты, длинного и узкого северо-западного выступа Гыданского полуострова и у входа в Енисей через проливы между островами, до них никем не изученные. По решению команды Енисейский залив между островами Оленьим и Сибирякова был назван именем лейтенанта.

И опять назойливая мысль — посетить Березов, махнуть на оленях через Мангазею и Обдорск! Но смерть Захара Медведева остановила его. Всему свой черед! К тому же пришли жгучие морозы. Даже пастухи, всю жизнь кочующие по тундре, не запрягали оленей, не рисковали ездить даже в ближние стойбища, объяснив, что после езды по такому морозу олени начинают дохнуть — обмораживают легкие. Олень начинает харкать кровью, чахнуть и погибает.

В такую стужу на небосклоне появляется северное сияние. Огромное зарево играющих на небосклоне огней. Разноцветные огненные столбы освещают весь горизонт, то гаснут, то вспыхивают с новой силой. Этот переливающийся холодными огнями-всполохами небосвод подавляет человека. Хочется спрятаться от блеска этих холодных лучей. Беспокойно ведут себя олени, собаки, пряча и отворачивая морды. «Быть может, и моя Екатерина видит это сияние»,— подумал Дмитрий Леонтьевич с тоской.

На окраине поселка была врыта в землю крохотная хибарка с крохотным оконцем. Именно в нее было предписано Ушаковым посадить князя Ивана. В сарай возле острога поселить посчитал недопустимым, так как слишком легким будет ему такое наказание: и родные рядом, и в еде не будет ущемления!

Наталья Борисовна слегла. Ей казалось, что все небо заволокли черные тучи. Княжны, имеющие привычку возражать друг другу и ссориться, вдруг почувствовали себя осиротевшими. Правда, в первый момент, когда князя Ивана увели, Екатерина в сердцах сказала: «Достукался!» — но скоро залилась горькими слезами. Лихачество брата, его озорство, вольнодумие, пристрастие к спиртному казались ей не стоящими такого сурового наказания. Она была в полной растерянности. Хотелось сесть и написать письмо самой императрице, но, как и раньше, ей не дали ни чернил, ни бумаги. Хотелось обратиться к кому-нибудь из дядюшек — больших сенаторов при дворе. Но откуда ей было знать, что все они давно в опале и тоже нуждаются в помощи и защите. Да и кому нужны опальные? Кто захочет иметь с ними дело, тем более признаваться в родстве?

Для охраны князя Ивана были приставлены прибывшие на днях в гарнизон казаки из нового пополнения. Они не подпустили княжон Елену и Анну к брату.

В Березове об аресте князя судачили меж собой бабы, удивлялись мужики, а капитан Петров обеспокоился не на шутку, про себя подумал: этим не кончится! Да и воевода Аркадий Иванович, во избежание лишних неприятностей, наказал Милитине Федоровне не ходить к Долгоруковым.

— Как можно! — возмутилась воеводша.— Кто не знает, что мы с ними дружбу водили. И люди они обхо-

дительные.— Нет. Тут воеводша не могла попуститься своими правилами и после молебна чуть было не бегом забежала в калитку меншиковского дома. И сразу же непривычная тишина встретила ее возле порога, словно кто-то лежит в гробу.

Духовник отец Федор был у Натальи Борисовны, разговаривал и с княжной Екатериной, велел ей испить святой воды, сходить в церковь и еше помолиться Божией Матери-заступнице.

— Да полно вам, голубушки мои,— стараясь подбодрить молодых, растерявшихся женщин, как можно веселее сказала воеводша.— Разве впервой его запирают? Сколько раз — на телегу да в острог! И это пройдет.

— Теперь — другое, Милитина Федоровна,— ответила княжна Екатерина.— Теперь это дело от императрицы зависит. У нее много разных слуг. Она только слово молвит, а уж как его исполнить... Разве вы не слыхали про казни в Тобольске? Вот и сюда те же руки протягиваются... Господи милостивый, спаси и помилуй от всяких напастей! И от царского гнева! — перекрестилась княжна.

— Слыхать-то слыхала,— испугавшись услышанного, ответила воеводша.— В Березове-то все люди смирные.

— На озере всю весну гагара плачет,— вдруг подала голос сидевшая поодаль Дуся.

— Гагара? А при чем тут гагара? — испуганно спросила Катерина. А воеводша, услышавшая об этом, так и присела на табуретку. У Дуси вздрогнули губы, красивые, невидящие глаза были обращены к Екатерине. Той стало жутко. Лицо Дуси было одухотворено и печально. Княжна разволновалась. «Не зря ею был так очарован князь Николай!» — молнией пронеслась мысль.— Дуся, что значит плач гагары? — переспросила княжна.— Повтори. Я ничего не понимаю.

— Гагара всю весну плакала на озере и теперь не улетает.

— Почему плачет? — не выдержала воеводша.

— Беду чует, вот и плачет. Она нам знак подает. Отец приезжал — сказывал. Думали, она улетит гнездо вить,— не улетела. Вот послушайте на восходе солнца. У нас в остроге слышно.

— Боже, Дуся, какие страсти ты говоришь!

— Не хотела бы говорить, да как утаить? И князя Ивана в землянку посадили, а она все плачет и плачет.

Думала, одна беда пришла — улетит птица, а она того горше кричит,— заплакала Дуся.— Мама рассказывала: когда русские пришли наши селения зорить да вогуличей в полон брать, как птицы кричали! Крыльями над головами махали, чуть было не выталкивали людей из чумов, а они не поняли птичьих тревог. Вот князю Николаю говорю, он тоже не верит, что беда где-то возле порога.

К счастью, Натальи Борисовны не было дома. Она, едва поднявшись, тайком пошла к земляной хибаре, упала в ноги к караульным, стала просить их ради Христа разрешить свидеться с мужем, передать ему еды. Казаки были несговорчивы.

На пригорке возле поворота тропинки Наталью Борисовну подкарауливал Василий Горцунов. Узнав о ее несчастье, он несколько ночей не спал. Теперь же, когда несчастной молодой женщине не на кого было надеяться и не от кого было ждать помощи, он решил ей признаться во всем, чтобы, когда придет смертный час, не носить в сердце вину перед своей госпожой.

— Светлейшая графиня моя Наталья Борисовна! — дрожа, сказал Василий и упал на одно колено перед Натальей Борисовной.— Выслушай меня.

— Это немыслимо! — не зная, как назвать чеботаря, смутилась графиня.

— Послушайте. Я раб ваш! Я, я, Васька Горцунов. Из вашей деревни Черная Грязь. Более двадцати лет, как отвоевался, и не вернулся обратно. Сбег сюда. Я раб вашего батюшки, а значит, и вашей светлости тоже.

— Зачем мне знать про это? — покраснела Наталья Борисовна.

— Прости меня, моя госпожа! Бейте меня. Сдайте в острог. Без услужения вам жить не хочу.

— Успокойся, Василий,— спокойно сказала Наталья Борисовна, приказывая чеботарю подняться. Только теперь ей стало понятно, отчего так внимателен и заботлив был к ней чеботарь.

— Дайте корзину, моя госпожа. Ублажу я караул. Какой с меня спрос?

Наталья Борисовна не стала возражать.

На следующий день чеботарь, стесняясь подойти к Наталье Борисовне, прислал свою бабу и велел передать, что под вечер она может не только принести

князю еду, но и повидаться с ним. Никто толком так и не узнал, как удалось Василию ублажить караульных.

— Мир опустел без тебя,— не веря в новую встречу с мужем, говорила Наталья Борисовна, нежно поглаживая его по лицу. Наталье Борисовне так бросились в глаза его опавшие, обрастающие щетиной щеки.

— Мишутку поцелуй, Дмитрия, княжон. Не забудь Катерину,— князь Иван старался улыбнуться.— Коли лейтенант вернется — тоже кланяйся.

— Что это ты, Ванюша, прощаешься с нами? — собрав в себе все мужество, остановила его Наталья Борисовна.— Мы подле тебя. Скоро опять вместе будем.

— Так не забудь про лейтенанта, а коли у них свадьба будет налаживаться, так знай: я даю ей свое благословение.

Домой Наталья Борисовна уходила, ласково с ним прощаясь, а уж как шла — сквозь слезы не видела белого света.

Быстро прополыхало заревом светлых ночей короткое северное лето. По березняку пробежали легкой лисой морозцы, оставили на ветках рыжий лисий цвет.

В хибару, где сидел князь Иван, незаметно вползла морозная сырь. Чеботарь переносил туда много разной лопотины, да и Наталья Борисовна посылала ему теплые меховые душегрейки, но все равно его мучил по ночам удушливый кашель.

В один из темных сентябрьских вечеров, когда чеботарь Василий возвращался леском домой, он заметил, как к берегу подплыли три лодки.

— До утра надо управиться,— узнал чеботарь голос подьячего Тишина.— Этого, из землянки,— первого и сразу в трюм, а остальных сами найдете.

На берег выскочили бравые казаки.

— Не забудьте воеводшу!

— Боже милостивый! — перекрестился чеботарь, предчувствуя беду.— Собаки-то все вымерли, что ли? Когда не надо, пугают людей, а тут молчат.

Василий не знал, куда бежать и кого предупреждать. Домой бежать мимо воеводского дома. Милитине-то Федоровне он все-таки расскажет об услышанном, хотя и не понял, кому и для чего понадобилась воеводша.

Костыль проваливался в жидкую грязь. Выбирать место потверже даже и в голову не приходило: запинался, падал, будто кем-то подталкиваемый в спину. Как

на зло, ни одного встречного. Дождь и заунывный ветер в голых ветвях берез. «Господи, кто хоть это такие? Ведь с умыслом? А с каким? Ну разве князя Ивана — так кто им помешает? Ночью-то только вороги. Ночью-то только пакостные дела делаются».

— Олимпиада! — попытался крикнуть он, но не мог: в горле застрял комок. Олимпиада, вдова мужика, которого в позапрошлую зиму на охоте сломал медведь, бегала к соседям и, готовясь к ночи, запирала ставни, боясь, что разыгравшийся ветер попортит старую слюду.

— Чо тебе? — узнала она чеботаря.— Али напился, дойти не можешь? — Шлепая по грязи размокшими чириками, она подошла к Василию.

— Беги, Олимпиада, в гарнизон, скажи: на берег высадились какие-то солдаты. Бог их знает, чего у этих казаков на уме,— хрипел чеботарь.— Беги, не останавливайся. Да не бойся. Токо постучи в ворота да крикни: мол, на берег казаки с ружьями высадились — и дуй домой.

В ворота воеводского дома стучал костылем сколько было сил. Всполошил собак, поднял на ноги всю прислугу.

— Милитину Федоровну позовите! Милитину Федоровну,— сипел он.

— Да оне уже спать укладываются,— вышла к нему горничная. Прижавшись плечом к воротам, чеботарь стучал изо всех сил костылем.

Воеводша вышла на крыльцо в накинутой на плечи меховой телогрейке, всплеснула руками.

— Матушка, Милитина Федоровна, прятайся, голубка. Ни об чем не спрашивай. Завтра казнить меня будешь, а теперича прятайся.

— Ты чо, опьянел? Как ты смеешь, Василий?

— Прячься, Милитина Федоровна. Опосля, опосля, все узнаем. Айда в сарай пока.— Он схватил за руку Милитину Федоровну.

В городе поднялся запоздалый собачий лай. Где-то поблизости голосила баба: она звала на помощь. Крик ее был визгливый, жалобный, протяжный...

Трудно себе представить ту трагическую ночь в далеком Березове!

В острог, в меншиковский дом казаки ворвались без стука, бесцеремонно.

— По указу Ее Императорского Величества все семейство ссыльных князей Долгоруковых надлежит доставить



в Тобольск! — кричал с порога бравый офицер, пока прислуга дрожащей рукой пыталась зажечь свечу.

Подьячий Тишин струсил зайти в дом и стоял на улице, под дождем. «Попалась»,— злорадно думал он о царской невесте. Все, что попадало под руку княжне, летело в толпившихся возле порога казаков, не решавшихся прикоснуться к ней.

— Собирайтесь — и все к реке,— обороняясь рукой от летевшей в его сторону кружки, приказывал офицер.— Которая тут дочь фельдмаршала? Приказано оставить. Остальным всем на пристань. Собирайте скарб, какой надобно, и марш!

— На реке холодно,— шепнул кто-то из казаков.— Одевайтесь.

Служанки бросали в холщовые котомки, что им казалось самым необходимым.

— Прощай, Наталья! Прощай и прости! — не выдержала княжна Екатерина. Младшие прижали испуганных племянников, целовали их, и только одно слово «прости-и-и-и!» слышалось в доме.

Священник Петр был немало напуган ворвавшимися в храм незнакомыми вооруженными казаками. Но сообразил: стремительно поднялся на колокольню и успел три раза ударить в колокол. С колокольни его уже тащили волоком. И лежать бы ему на полу, и не поднимать головы — остался бы живым и невредимым, но молод был Петр Дубасов, вскочил, подбежал к алтарю, стал отбирать у казака позолоченный крест...

Опустел и острог. Обезумевшая и ничего не понимающая Дуся плакала и, хватая князя Николая за руку, кричала:

— Беда! Николушка! Беда!

Князь Николай хотел было взять ее на руки и унести с собой на пристань.

— Не велено! Не велено брать инородку! — отталкивая Дусю, кричал казак.

— Служивый! — воскликнула вдруг Дуся, пряча лицо в его пропахший потом кафтан.— Я боюсь! Мне кажется, глаза мои увидели небо: высокое, с тучами.

Караульный поднял голову: так оно и было. Все происходящее в остроге вызвало в душе караульного смятение, он не мог ничего ответить инородке. Он взял ее за руку и повел в дом к Долгоруковым.

— Где воеводша? — объявился вдруг подьячий Ти-

шин.— Отчего ее нет? Она больше всех знает про всех и про все! — не вытерпел он.

Но Милитина Федоровна, послушавшись чеботаря, вначале спряталась с ним в конюшне, а когда на крыльце застучали сапогами солдаты, прикрикивая и на Аркадия Ивановича, поползла в огород к копне сена и стала зарываться в него. Рядом с нею пыхтел чеботарь, не в силах проговорить ни слова.

Глава шестьдесят первая

Лейтенант Овцын с нетерпением ждал вскрытия Енисея, торопился в Петербург, в Адмиралтейство, с готовыми чертежами и картами, с нанесенными градусами и минутами открытых ими безымянных островов. А после? А после он даже боялся подумать, как может все измениться в его жизни. Кто знает наперед о своей судьбе? И все-таки человеку хочется заглянуть в завтра раньше, чем придет этот день.

Экспедиция шла вверх по Енисею. Возле одного скалистого утеса пришлось причалить к берегу. Волоком шлюпку не перетащить, надо было немало потрудиться, чтобы миновать каменистый порог. Причалили к берегу и тут все услышали грохот бубна. Оказалось, шаман лесной стороны отправлял сородичей на удачную охоту на морского зверя. Промысел этот опасен. Люди просят шамана отогнать от берегов чудовище, которое бьет хвостом по льдинам, пускает кверху струи. От его ударов лед раскалывается, как щепы, а большие волны с белыми гребнями с силой ударяют в низкий тундровый берег. Охотники боятся выходить в море. Шаман поднимал над головой разогретый над костром бубен и ударял по нему колотушкой.

Когда команда подошла ближе, колотушка в руках шамана замелькала быстрее и сам он, запыхавшись, произнес:

— По темному небу кто-то скачет. Кто-то гремит тяжелой нартой. Будет, будет вам удача. Ждите: когда солнце пройдет еще полкруга — поезжайте к морю.

— Предскажи и нам дорогу,— попросил шамана кто-то из команды. Толмач перевел его слова. Самоеды глядели на незнакомых людей хмуро, пряча глаза. По всему было видно, насторожились. Но шаман только окинул взглядом бывалых и удалых мужиков, поднял с земли бубен и снова быстро-быстро застучал колотушкой. Медные подвесные погремушки, изображающие священных животных, рыб, птиц, забренчали, запели в его руках. Шаман убрал со лба мокрые от пота волосы, пристально посмотрел на пришлых и долго молчал, будто собирал звуки, унесенные эхом.

— Плывите. Дорога чистая! — перевел толмач, но когда шаман встретился взглядом с Дмитрием Леонтьевичем, то вдруг вздрогнул и бросил в сторону колотушку. Через какое-то время толмач тихо проронил: «Тебе он гадать не будет. Его боги устали».

Тяжелое чувство поселилось в душе лейтенанта, хотя вроде и не было причин для особого беспокойства. Енисейск был в трех сутках плавания. Здесь уже зазеленели деревья и травы по берегам, стали попадать встречные лодки: большие тесовые, юркие калданки и осетрины, связанные плоты, дощаники.

С неописуемым волнением подъезжал Овцын к Тобольску. Скоро решится его судьба, его мечта, все ближе Петербург. Чего только не думалось ему при виде златоглавых куполов церквей! Но в планы его не входило задерживаться в сибирской столице. Щемило сердце — Бог знает отчего. Если бы не в Петербург, он бы рискнул — хоть одним глазом взглянуть на Березов, на княжну.

Но отчего так тревожно на сердце? Наверное, из-за этого шамана! Лучше было бы не выходить на берег... Вот и почтовый двор Тобольска. Осталось оформить подорожную и — дальше. Каково же было его удивление, когда сопровождавшие его двое матросов вбежали в гарнизон перепуганные: подорожные отобрали.

Пришлось Дмитрию Леонтьевичу самому идти выяснять, в чем причина. При виде его чиновники канцелярии переглянулись.

Но именно в этот момент широко распахнулась дверь, и запыхавшийся преображенец, вытащив шпагу, с порога крикнул:

— Ты арестован, лейтенант!

Овцын посмотрел на чиновников, спокойно обратился:

— Успокойте преображенца. Он меня с кем-то перепутал.

— Ты арестован, лейтенант Овцын! — повторил пожилой офицер с багровым сабельным шрамом на щеке.

— Недоразумение! Я спешу в Петербург, в Адмиралтейство, по важному делу. У меня отчет о работе экспедиции. Его следует доставить в целости и сохранности.

— Вы задержаны, лейтенант Овцын, по указу тайной розыскной канцелярии,— строго ответил офицер.— Следуйте за мной.

Овцын был ошеломлен. Но была надежда на скорое выяснение его личности, его непричастности ко всякого рода неблагонадежным делам. Тобольский тюремный острог ничем особым не отличался от других подобных ему. Простые люди, напуганные слухами, старались обходить его стороной.

Вид лейтенанта, его выправка и умение держаться с достоинством укротили желание офицера обращаться с ним грубо. Преображенец со шпагой приостановился, но офицер приказал идти дальше. Именно в это время невдалеке вели двух арестованных, в одном Овцын узнал атамана Якова Лихачева. Молил Бога, чтобы это оказалось плодом его воображения. И вдруг подумал: что-то случилось в Березове. Быть может, дело рук Тишина, этого мерзкого человека?

За спиной лейтенанта захлопнулась дверь. Сумрачное помещение. Воздух сперт. Офицер бросил на стол треуголку и тут же задал Овцыну вопрос:

— Какие разговоры против императрицы слышал от князей Долгоруковых?

— Как вы смеете? Я человек государственный,— возразил Дмитрий Леонтьевич и услышал сиплый смех в углу. Сидевший за столом писарь ерзал на скрипучей табуретке, вытирая с лица пот рукавом.

— Вы же часто бывали у них,— утвердительно сказал офицер с сабельным шрамом.

— Позвольте сесть.

— Придется постоять,— сказал тот нагло.— Вы же бывали у них?

— Кто не встречался с Долгоруковыми? Персоны важные. Не сразу можно встретить столько высоких господ бывшего царского двора.

Вошел человек, с виду почтенный, и, как старому знакомому, сказал Овцыну:

— Ну вот и свиделись, лейтенант. Надеюсь, вы нам поможете вывести с корнем это долгоруковское крапивное семя. Мы знаем, что вы причастны к заговору.

— Вы меня с кем-то путаете, господа. Я выполнял государственное дело! Моя экспедиция прошла морским побережьем. Мы первые открыли проливы между безымянными островами. С чьего позволения вы учиняете мне допрос? Какой заговор?

— Перестаньте врать! — в гневе закричал почтенный с виду человек. Это был сам Иван Лукич Ушаков, для которого и без объяснений лейтенанта было ясно, что никакой вины Овцына нет.

По всей видимости, Ушаков не мог долго находиться в пыточной из-за спертого воздуха. Вконец обозленный, он распахнул дверь и сипло проронил:

— Не таких, как ты, здесь обламывают.

— Соглашайся, парень,— донесся из угла голос писаря.— Душат тут всех немилосердно. И всех делают без вины виноватыми. Долгоруковы-то уже все признались.

Пожалуй, только из этих слов писаря лейтенанту стало ясно, что его пытаются склонить к обвинению семейства Долгоруковых. Мыслимо ли? Дмитрий Леонтьевич вдруг понял, что судьба его определена этими невежественными людьми и слова его о великом значении сделанного им дела кажутся им комариным писком. Его охватило негодование. По сути, не было никакого выхода! Он в руках инквизиторов, которым, как он понял, дозволено все.

В скрипучую дверь вошел, как выяснилось после, первый помощник Ушакова, Василий Суворов, наглый и циничный тип.

— Признаешься во всем — отправишься в свое Адмиралтейство подобру-поздорову. Иначе... Ты, поди, уже сообразил: дело не в тебе, а в Долгоруковых.

Овцын молчал.

— Али на дыбу хочешь? Али в хомуте побывать? Дело Долгоруковых уже сделано. Все они давным-давно во всем признались.

— Где Долгоруковы? — спросил Овцын, на что Суворов разразился смехом. Он понял, что лейтенанту ничего не известно о трагедии в Березове и о том, что здесь, в застенках, перебывали все привезенные в ту

осеннюю ночь жертвы. С особой циничностью Суворов, через зевоту, будто между прочим, сказал:

— Капитану Петрову голову отрубили за великую любовь к Долгоруковым, а заодно еще, кажется, девятнадцать голов березовчан с плеч слетело! Там и солдаты казачьего корпуса, и боярские сыновья, любившие покутить с князем Иваном. Священников били кнутами и отправили в дальние сибирские селения.

— Зачем мне это знать? — спросил, стараясь быть хладнокровным, Овцын, хотя поднять голову и посмотреть в глаза инквизитору у него не было сил.

— Для твоего вразумления. Ну так как, лейтенант, станешь говорить? Ты молод еще, не пожил. Да, забыл сказать: княжна Екатерина жива. И все княжны живы, только в дальние монастыри отправлены — под другими именами и фамилиями.

«Ни слова не скажу!» — решил Дмитрий, когда услышал истерический крик Суворова:

— В пыточную его!

«Лучше бы погибнуть во льдах!» — мелькнула мысль.

— На дыбу? — громко спросил палач, длинной веревкой связывая за спиной руки лейтенанта.

— Погоди, успеешь,— Суворов кивнул в угол.— Ему еще надо поговорить кое с кем.

В углу, на корточках, сидел окровавленный человек. В нем трудно было узнать подьячего Тишина.

— Ну, говори, чего вчера молол,— подходя к углу и толкая в лицо сапогами, спрашивал подьячего явившийся в пыточную Ушаков.— Явствуй, как царская невеста Екатерина Долгорукова любилась с этим лейтенантом в остроге. Повтори!

— Пьян я был! — завопил Тишин.— Со зла молол. Со злобы. Не бывал я в свидетелях.

— А в бане чего говорил князь Иван про императрицу нашу? Какими словами обзывал Ее Императорское Величество?

Подьячий протяжно завыл.

— Говорил, коли жилы тянули. Бейте, бейте меня! — кричал он.— Не все же люди виноваты. Я пуще других. Меня и бейте!

Вначале Овцыну было назначено десять горячих ударов. Пыточных дел мастер долго выбирал кнут по руке. Он хорошо знал свое дело: привязанного к скользкой от крови скамейке лейтенанта хлестал с оттяжкой.

Кнут был с железами, и от каждого удара на спине лопалась кожа.

— Поглядим, какой ты храбрый. Молчишь?

— В российском флоте трусов не держат,— был ответ Овцына.

— Добавить еше десять!

Овцын потерял сознание. Очнулся в сарае, на прелой соломе. Две недели его истязали ежедневно. Он уже перестал чувствовать боль.

— Заговоришь, а отсюда уже никогда не выйдешь,— говорил Ушаков после гневных слов лейтенанта.

— Вы русскими себя считаете, а людей-то жалеть надо,— сказал лейтенант.— Не о себе говорю! — И плюнул прямо в лицо Ушакову, зная, что пошады ему все равно не будет. Но удивительно: его перестали выводить на допросы и пытки. Прошло два месяца, и Овцын, передумав все, совсем не рассчитывал на милость палачей.

Но были еще в России люди, радеющие за российский флот. В Адмиралтействе, получив карты и все важные сведения об экспедиции, со дня на день ждали прибытия лейтенанта Овцына — руководителя экспедиции. Но шло время. Последние сведения о нем были из Тобольска. И тут, почувствовав неладное, срочной почтой было направлено письмо на имя генерал-губернатора, в котором содержался запрос о лейтенанте флота Овцыне, «весьма нужном в Петербурге для чтения посланных им карт и чертежей». Ушаков рвал и метал, скрежетал зубами, сожалея, что долго возился с лейтенантом, не предал казни. Ему хотелось покуражиться над гордым и непокорным мореплавателем! Он был уверен, что никто не сможет быть освобожден из его цепких рук.

Сообщить об освобождении лейтенанта из острога был послан какой-то подьячий, который, распахнув двери на ржавых петлях, прогнусавил:

— Повезло тебе, флотский! — И бросил на солому мундир.

Делать нечего, пришлось капитану Ушакову встречаться с Овцыным.

— Видать, в рубашке родился,— сквозь зубы сказал Иван Лукич.— Вина Долгоруковых и без тебя доказана. Ты для нас не великая сошка. Жаль, оказался непонятливым. Мог бы остаться офицером, а теперь разжалован в матросы.

— Вот как! Я думал, что заслужил награду, а оказался кругом виноват!

— Но-но! — повысил голос Ушаков.— Богу молись, кабы не письмо из Петербурга... Не помог бы генерал-губернатор. Он у нас вот где сидит! — показал Ушаков сжатый кулак.

— Даже плюнуть в твою сторону, капитан Ушаков, неохота. Собакой живешь, собакой и сдохнешь.— Дмитрий Леонтьевич и сам удивился своим словам.

Распахнулась дверь. Там по-прежнему стоял преображенец со шпагой. Будто так с тех дней никуда и не уходил.

Над Иртышом, в высокой голубизне неба, серебрились легкие перистые облака. Над волнами кружились чайки, разрезая воздух сильными крыльями. Вдоль берега, насколько можно было охватить взглядом, сновали, подходили к берегу, отчаливали от него всевозможные речные суда и лодки. И людские голоса — отовсюду, со всех сторон! Как истосковался Дмитрий по беззаботному людскому говору, по щебету птиц, по солнцу!

Глаза туманили слезы. Он крепился. Отыскал взглядом место, где генерал-губернатор провожал его в плавание, вспомнил, как с берега палили пушки, благословляя дубль-шлюпку «Тобол». Пригляделся. Несколько судов поднимались вверх по Иртышу — в северную сторону. Что-то теперь в Березове? Какими добрыми и сердечными были его жители! Задумался о его трагедии, о судьбе Долгоруковых.

Эпилог



Дождливой сентябрьской ночью 1739 года около пятидесяти человек было увезено в застенки тобольской тайной полиции. Березов осиротел. Почти каждая семья потеряла кормильца. Горький плач разносился из конца в конец.

Несколько дней кряду с неба лили дожди, будто сама природа вместе с людьми оплакивала судьбу своих близких.

Милитина Федоровна надломилась духом: пропал блеск в ее красивых глазах, голос стал тихим. Чеботарь Василий Горцунов сильно поседел, часто навещал горемычную Наталью Борисовну, у которой от слез не просыхали глаза. Вогулка Дуся уехала в родное стойбище, но прожила там недолго, вернулась в острог, помогала Наталье Борисовне. Говорят, в горе она прозрела, могла одна ходить по берегу реки, от меншиковского дома и обратно в острог и все прислушивалась к крикам птиц. Но гагара больше не кричала, не плакала на озере: быть может, улетела вить гнездо?

После жестоких пыток в Тобольске князь Иван был переведен в Шлиссельбургскую крепость и позднее, вместе с дядьями своими Василием Лукичом, Сергеем и Иваном Георгиевичами, был отвезен в Новгород и 8 ноября 1739 года за городом близ Скудельничего кладбища казнен. Сначала его колесовали, потом отрубили голову. Остальным мученикам отрубили головы. Главный инквизитор Андрей Иванович Ушаков специально приезжал на казнь Долгоруковых. Николая с отрезанным языком отправили на Сахалин, других, Александра и Алексея, высекли кнутами, вырвали ноздри и заслали на Камчатку. Всех княжон, в том числе и Екатерину, сослали в самые дальние и ветхие монастыри под вымышленными именами.

Все пятьдесят арестованных жителей Березова претерпели наказания. Девятнадцать были казнены. Самому первому отрубили голову капитану Петрову, священников били кнутами, разослали по дальним сибирским городам. Большинство офицеров казачьего гарнизона отправили рядовыми в сибирские полки.

Не прошло и года этих событий, как отдала Богу душу кровавая правительница России Анна Ивановна. В стране начался кавардак. Сколько было претендентов на русский престол! Но триста гренадеров совершили переворот в пользу дочери Петра Первого — Елизаветы, «дшери Петровой». Говорят, редко кто из русских правителей пользовался такой любовью простых людей, как Елизавета Петровна. Елизавета была последней русской императрицей еще в «дореформенном» значении этого слова. Благом для России стало уже то, что императрицу окружили умные, знающие советники, для которых главной заботой стал расцвет и процветание науки, искусства, возрождение флота...

Она повелела возвратить из ссылки князей Долгоруковых. Приглашена была ко двору из Березова Наталья Борисовна — вдова казненного князя Ивана. Отыскали в монастырях княжон Долгоруковых, и прежде всего бывшую невесту Петра Второго — княжну Екатерину, которая стала фрейлиной при государыне. Вскоре Елизавета нашла ей жениха — графа Александра Романовича Брюса. Любовь к лейтенанту Дмитрию Леонтьевичу она сохранила до конца дней. Тот, по ходатайству самого Витуса Беринга, был восстановлен в звании, уехал в экспедицию к командору и собственноручно закрыл глаза великому мореплавателю. Возвратясь из экспедиции, вновь плавал на судах Балтики. Однажды они виделись с Екатериной...

Березовский острог не долго пустовал, прибыл сам Андрей Иванович Остерман, немало отправивший сюда ему неугодных. Он умер в Березове, памяти о нем в Березове не осталось.



ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая
4

Глава вторая
12

Глава третья
24

Глава четвертая
36

Глава пятая
45

Глава шестая
57

Глава седьмая
67

Глава восьмая
74

Глава девятая
85

Глава десятая
99

Глава одиннадцатая
103

Глава двенадцатая
117

Глава тринадцатая
125

Глава четырнадцатая
138

Глава пятнадцатая
148

Глава шестнадцатая
155

Глава семнадцатая
164

Глава восемнадцатая
174

Глава девятнадцатая
185

Глава двадцатая
191

Глава двадцать первая
199

Глава двадцать вторая
207

Глава двадцать третья
213

Глава двадцать четвертая
220

Глава двадцать пятая
232

Глава двадцать шестая
242

Глава двадцать седьмая
250

Глава двадцать восьмая
255

Глава двадцать девятая
262

Глава тридцатая
269

Глава тридцать первая
277

Глава тридцать вторая
287

Глава тридцать третья
299

Глава тридцать четвертая
304

Глава тридцать пятая
311

Глава тридцать шестая
317

Глава тридцать седьмая
324

Глава тридцать восьмая
331

Глава тридцать девятая
335

Глава сороковая
340

Глава сорок первая
350

Глава сорок вторая
361

Глава сорок третья
367

Глава сорок четвертая
372

Глава сорок пятая
380

Глава сорок шестая
388

Глава сорок седьмая
402

Глава сорок восьмая
408

Глава сорок девятая
414

Глава пятидесятая
422

Глава пятьдесят первая
429

Глава пятьдесят вторая
436

Глава пятьдесят третья
445

Глава пятьдесят четвертая
451

Глава пятьдесят пятая
459

Глава пятьдесят шестая
468

Глава пятьдесят седьмая
475

Глава пятьдесят восьмая
488

Глава пятьдесят девятая
494

Глава шестидесятая
502

Глава шестьдесят первая
513

Эпилог
519

Анисимкова М.К.

А 67 Плач гагары: Исторический роман.— Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1997.— 528 с.: ил.

ISBN 5-7529-0676-8

В пер.: 10 000 экз.

Роман Маргариты Анисимковой, члена Союза писателей России, повествует о событиях малоизвестной читателю эпохи дворцовых переворотов и охватывает 1729—1739 гг. В центре романа — судьба одного из крупнейших аристократических родов России — Долгоруковых.

Рисунки А. Коротича.

А $\frac{4702010200-011}{M158(03)-97}$ Без объявл.—97 ББК 84Р7

Анисимкова Маргарита Кузьминична

ПЛАЧ ГАГАРЫ

Редактор М. Э. Чупрякова
Художник А. В. Коротич
Художественный редактор В. С. Солдатов
Технический редактор Т. Н. Черепанова
Корректор М. Ф. Худякова

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 064913
выдана 14.01.97 г.
ИБ № 147

Сдано в набор 18.04.97. Подписано в печать 09.06.97.
Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 27,7. Уч.-изд. л. 29,5.
Тираж 10 000. Заказ 150.

Открытое акционерное общество
«Средне-Уральское книжное издательство»,
620219, Екатеринбург. ГСП-351. Малышева, 24.

Издательско-полиграфическое предприятие
«Уральский рабочий»,
620219, Екатеринбург. ул. Тургенева. 13.

BIS NIJNEVARTOVSK
33959



Маргарита Кузьминична
АНИСИМКОВА
родилась на Урале,
в Ивделе Свердловской области.
После окончания Свердловского
педагогического института много лет
проработала учителем
в отдаленных районах Урала.
Придя в литературу, исколесила едва
ли не весь север
Урала и Западной Сибири,
изучая фольклор и быт коренных
народностей здешних мест.
В 1960 году М. Анисимкова
дебютировала как литератор со сборником
«Мансийские сказы».
Затем были книги «Танья-богатырь»,
«Земное тепло», «Ваули»,
«Лицом к ветрам», «Порушенная невеста».
С 1974 года живет в г. Нижневартовске
Тюменской области.

Екатеринбург
Средне-Уральское книжное
издательство
1997